

Ян Потоцкий Рукопись, найденная в Сарагосе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Будучи офицером французской армии, я принимал участие в осаде Сарагосы. Через несколько дней после завоевания этого города, оказавшись в одном из отдаленных его кварталов, я обратил внимание на домик довольно изящной архитектуры, который – это было сразу видно – французские солдаты еще не успели разграбить.

Подстрекаемый любопытством, я подошел к двери и постучал. Она оказалась незапертой, – я слегка толкнул ее и вошел внутрь. На мой зов никто не откликнулся; поиски не дали результата: в доме не было ни души. Казалось, что из дома вынесли все ценное; на столах и в шкафах остались одни ненужные безделицы. Только в углу на полу я увидел несколько исписанных тетрадей. Перелистал их. Рукопись была испанская; хоть я очень слабо знал этот язык, но все же понял, что нашел что-то интересное: рукопись содержала повествование о каббалистах, разбойниках и оборотнях. Чтение необычайных историй казалось мне прекрасным средством рассеяния среди походных трудов. Решив, что рукопись навсегда утратила законного владельца, я без колебаний взял ее себе.

Через некоторое время нашей армии пришлось оставить Сарагосу. К несчастью, я оказался в стороне от главных сил и, вместе со своим отрядом, попал в руки противника. Я думал, что пробил мой последний час. Когда нас привели на место, испанские солдаты стали делить наше имущество. Я попросил, чтобы мне оставили один только предмет, не представлявший для них к тому же никакой ценности, а именно – найденную мной рукопись. Сперва они не соглашались, но потом попросили указаний командира. Тот, кинув взгляд на тетради, лично поблагодарил меня за то, что я спас произведение, очень для него важное, так как в рукописи речь шла об одном из его предков. Я объяснил, каким образом драгоценные тетради попали ко мне в руки. Испанец взял меня к себе на квартиру, хорошо со мной обходился, и я довольно долго прожил у него. По моей настоятельной просьбе он перевел рукопись на французский язык, а я точно записал его перевод.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

До того как граф Олавидес заселил Сьерра-Морену, в этих неприступных горах, отделявших Андалузию от Манчи, жили контрабандисты, разбойники и небольшое количество цыган, о которых шел слух, что они пожирают трупы убитых путников. Отсюда, может быть, возникла испанская пословица «Las gitanas de Sierra-Morena quieren carne de hombres»¹. Мало того. Говорили, что путешественника, решавшегося вступить в эту дикую местность, преследовали тысячи ужасов, один вид которых приводил в трепет самых смелых. Он слышал голоса плачущих, мешающиеся с шумом горных потоков, его манили блуждающие огни и невидимые руки под свист бури толкали в бездонную пропасть.

Правда, на этой страшной дороге можно было изредка встретить какую-нибудь венту, то есть уединенный трактир, но духи, еще более дьявольские, чем сами трактирщики, заставляли последних уступать им свои места и удаляться в края, где только голос совести нарушал их покой, и трактирщики, выбирая из двух зол меньшее, предпочитали иметь дело со вторым, то есть с совестью. Трактирщик из Андухара клялся святым Иаковом Компостельским, что в рассказах этих нет ни слова неправды. И в заключение прибавил, что

¹ двусмысленная фраза, которую можно перевести либо как «Цыганки Сьерра-Морены любят человеческое мясо», – либо как «Цыганки Сьерра-Морены любят мужскую плоть» (исп.)

лучники святой Германдады всегда отговариваются от походов в горы Сьерра-Морены, а путешественники предпочитают дорогу на Хаэн или Эстремадуру.

Я ответил ему на это, что такой выбор может прийти по вкусу заурядным путешественникам, но если король дон Филипп V удостоил меня звания капитана валлонской гвардии, священный долг чести повелевает мне ехать в Мадрид кратчайшей дорогой, будь она хоть самой опасной.

– Молодой господин мой, – возразил трактирщик. – Позвольте мне обратить внимание вашей милости на то, что ежели король удостоил вас звания капитана, прежде чем наилегчайший пушок оказал такую же честь подбородку вашей милости, то было бы уместным прежде всего доказать свое благоразумие, – тем более что уж ежели злые духи облюбуют себе какое-нибудь место...

Он наплел бы мне еще с три короба, но я дал шпоры коню и умирил его бег, только когда решил, что слова трактирщика уже не дойдут до меня. Тут, обернувшись, я увидел, что он машет руками, указывая мне дорогу на Эстремадуру. Мой слуга Лопес и погонщик мулов Москито глядели на меня с состраданием, как будто разделяли предостережения трактирщика. Я сделал вид, словно ничего не понимаю, и пустился в чашобу – туда, где позже возникло селение под названием Ла-Карлота.

На том месте, где теперь почтовая станция, тогда находилось пристанище, хорошо известное погонщикам мулов, которое они называли Лос-Алькорнокес, то есть «Пробковые Дубы», так как два прекрасных дерева этой породы осеняли там отделанный белым мрамором обильный источник. Это был единственный водопой и единственная тень, какие можно было найти от Андухара до трактира Вента-Кемада, большого и удобного, хоть и стоящего в пустынной местности. Собственно говоря, это был старинный мавританский замок, приведенный в порядок по распоряжению маркиза Пенья Кемада, откуда и название Вента-Кемада. Позже маркиз сдал замок в наем одному горожанину из Мурсии, который устроил там самый большой на этой дороге трактир. Путешественники утром выезжали из Андухара, съезжали в Лос-Алькорнокес имевшуюся у них провизию и ехали ночевать в Вента-Кемаду. Там они нередко проводили весь следующий день, готовясь к переходу через горы и запасаясь новой провизией.

Таков был и мой план.

Но когда мы приближались к «Пробковым Дубам» и я напомнил Лопесу о том, что пора подкрепиться, оказалось, что Москито куда-то пропал вместе с мулом, навьюченным всеми нашими запасами. Лопес ответил, что погонщик отстал от нас на несколько сотен шагов, чтобы поправить выюки. Мы подождали его, потом проехали немного вперед, потом опять остановились, стали звать его, потом вернулись той же дорогой, думая найти его, но – напрасно.

Москито исчез и увез с собой драгоценнейшую нашу надежду, то есть весь наш обед. Я с вечера ничего не ел, а Лопес все время жевал взятый в дорогу тобосский сыр, однако от этого ему было ничуть не веселей моего, и он ворчал себе под нос, что андухарский трактирщик был прав, и бедного Москито, видно, унесли черти.

Приехав в Лос-Алькорнокес, я увидел возле источника корзинку, накрытую виноградными листьями, наверно, забытые кем-нибудь из проезжих фрукты. С любопытством запустив в нее руку, я обнаружил там четыре отличные фиги и апельсин. Две фиги я хотел отдать Лопесу, но он поблагодарил и отказался, говоря, что может подождать до вечера. Тогда я съел все сам, а потом захотел напиться воды из источника. Но Лопес удержал меня, утверждая, что после фруктов пить воду вредно, и подал мне оставшееся у него небольшое количество аликанте. Я принял угощение, но, как только вино оказалось в желудке, у меня вдруг защемило сердце. Небо и земля закружились перед моими глазами, и я наверняка потерял бы сознание, если б Лопес не поспешил мне на помощь. Он привел меня в чувство, сказав, что я не должен удивляться и что дурно мне стало от голода и усталости. В самом деле, ко мне не только вернулись силы, но я даже почувствовал необычайное возбуждение. Окрестности, казалось, засверкали тысячью красок, предметы заискрились у

меня в глазах, словно звезды летней ночью, а кровь стремительно побежала по жилам, застучав в висках и на шее.

Лопес, видя, что я пришел в себя, возобновил свои жалобы:

– Ах, зачем не послушался я брата Херонимо Тринидадского, монаха, проповедника, духовника и оракула нашего семейства. Недаром он, будучи шурином пасынка невестки отчима моей мачехи и, таким образом, ближайшим нашим родственником, не позволяет, чтобы у нас в доме что-нибудь делалось без его совета. А я поступил по-своему и вот – получаю по заслугам. Как часто толковал он мне, что офицеры валлонской гвардии – сплошь еретики, о чем ясно говорят их светлые волосы, голубые глаза и румяные щеки, – ведь у добрых христиан цвет лица, как у мадонны из Аточы, которую написал святой Лука.

Я прервал этот поток дерзостей, приказав Лопесу подать мне двустволку и остаться при лошадях, а сам решил взобраться на одну из окрестных скал в надежде обнаружить заблудившегося Москито или хотя бы его следы. В ответ Лопес залился слезами и, кинувшись к моим ногам, стал заклинать ради всех святых не оставлять его одного в таком опасном месте. Тогда я решил остаться самому с лошадьми, а Лопеса отправить на розыски Москито, но это намерение испугало его еще больше. Однако в конце концов я привел ему столько убедительных доводов, что он позволил мне уйти и, вынув из кармана четки, начал усердно молиться.

Горные вершины, на которые я решил подняться, находились гораздо дальше, чем мне показалось на первый взгляд, и, для того чтобы добраться до них, я потратил не меньше часа. Поднявшись на макушку горы, я увидел под собой дикую и пустую равнину, без малейших следов человека, зверя или какого-нибудь жилища, каких-либо дорог, кроме той, по которой я приехал; и вокруг – глухая тишина. Я нарушил ее криком; мне ответило только эхо вдали. В конце концов я вернулся к источнику, где нашел своего коня, но Лопес... Лопес исчез бесследно.

Передо мной было два пути: либо обратно в Андухар, либо дальше, вперед. Выбрать первое мне даже в голову не приходило; я сел на коня и, пустив его крупной рысью, через два часа выехал на берег Гвадалквивира, который не разливается здесь тем великолепным спокойным потоком, каким он омывает стены Севильи. При выходе из гор Гвадалквивир мчится быстрой стремниной, не зная дна и берегов, колотясь волнами о скалы, на каждом шагу мешающие его разбегу.

Долина Лос-Эрманос начинается в том месте, где Гвадалквивир выбегает на равнину. Долина получила свое название от трех братьев, которых жажда разбоя объединяла гораздо больше, чем кровное родство. Место это долго было ареной их злодеяний. Из трех братьев двоих поймали, и в том месте, где начиналась долина, можно было видеть тела их, качающиеся на виселицах; третий же, по имени Зото, бежал из тюрьмы в Кордове и, говорят, укрылся в горах Альпухары.

Удивительные вещи рассказывают о двух повешенных братьях. Их не называют прямо оборотнями, но утверждают, что часто по ночам тела их, оживленные нечистой силой, сходят с виселиц и преследуют живых. Эта история почитается столь достоверной, что один богослов из Саламанки написал обширный трактат, где доказывал, что висельники являются чем-то вроде вампиров, что подтверждается многочисленными примерами, которые убедили в конце концов даже самых недоверчивых. Ходили также слухи, будто эти двое были осуждены невинно и, мучая путников и проезжих, мстят за себя с позволения неба. Я много слышал об этом в Кордове и, подстрекаемый любопытством, подъехал к виселице. Зрелище было тем более отталкивающим, что, когда ветер шевелил мерзкие трупы, свирепые коршуны принимались раздирать им внутренности и склевывать последние остатки тела. Я с отвращением отвернулся и пустился в горы.

Надо признать, что долина Лос-Эрманос, казалось, была создана для разбойничьих нападений, предоставляя преступникам повсюду укрытия. На каждом шагу путник встречал препятствия в виде обвалившейся скалы или вывороченного бурей векового дерева. Во многих местах дорога пересекала русло потока и проходила мимо глубоких пещер, зловещий

вид которых не внушал доверия.

Миновав эту долину, я вступил в другую и увидел трактир, где мне предстояло искать приюта, но вид его уже издали не сулил ничего хорошего. Я заметил, что у него нет ни окон, ни ставен, дым не шел из трубы, вокруг – ни малейшего движения, и прибытие мое не было ознаменовано собачьим лаем. Отсюда я сделал вывод, что это место из числа тех, о которых андухарский трактирщик говорил, как о раз и навсегда оставленных.

Чем ближе подъезжал я к трактиру, тем глубже казалась мне тишина. Наконец, подъехав вплотную, я увидел у входа кружку для сбора милостыни с такой надписью: «Господа путешественники, помолитесь за душу Гонсалеса из Мурсии, бывшего хозяина Вента-Кемады. Но самое главное – не задерживайтесь здесь и ни в коем случае не останавливайтесь на ночлег».

Я решил смело ждать опасностей, которыми грозила надпись, – отнюдь не потому, что не верил в существование привидений, а, как покажет дальнейшее повествование, потому, что в моем воспитании больше всего усилий было направлено на то, чтоб выработать во мне чувство чести, а честь, по-моему, заключается в том, чтобы никогда не обнаруживать боязни.

Солнце еще не совсем зашло, и я воспользовался последними его лучами, чтоб осмотреть это жилье, по правде говоря, не столько для того, чтоб оградить себя от адских сил, сколько чтоб отыскать что-нибудь съестное, так как теми крохами, которые я нашел в Лос-Алькорнокес, едва можно было на короткое время заморить червячка, но ни в коем случае не утолить мучивший меня голод. Я прошел несколько просторных комнат. Большая часть их была украшена мозаикой до высоты человеческого роста, потолки покрывала великолепная резьба, какой в свое время по праву гордились мавры. Я осмотрел кухню, чердак и погреба – последние были высечены в скале, а некоторые из них соединены с подземельями, уходившими, видимо, далеко в глубь гор, – но ничего съестного не нашел. Наконец, когда уже начало смеркаться, я вернулся к лошади, которая все это время стояла привязанная во дворе, отвел ее на конюшню, где увидел охапку сена, а сам пошел в ту комнату, где стояла жалкая кровать, единственное ложе, оставшееся во всем трактире. Попробовал заснуть, но безуспешно, и тут, как назло, обнаружилось, что я не могу найти не только пищи, но и света.

Чем темней становилась ночь, тем все более мрачный оттенок приобретали мои мысли. Я думал то о внезапном исчезновении обоих моих слуг, то о том, как подкрепить свои силы. Мне приходило в голову, что грабители, неожиданно выскочившие из кустов или какого-нибудь подземного укрытия, схватили Лопеса и Москито, а на меня побоялись напасть, видя, что я – человек военный и что это отнюдь не сулит им легкой победы.

Больше всего меня занимала мысль о том, как бы утолить голод; на горах я видел коз, при них, конечно, должен быть и пастух, и трудно представить себе, чтоб у него не нашлось молока и хлеба. Кроме того, я рассчитывал на свое ружье. Но ни за что на свете не вернулся бы я в Андухар, опасаясь насмешливых расспросов трактирщика. И я твердо решил без колебаний продолжать свой путь дальше.

Когда со всеми этими размышлениями было покончено, я не мог не вспомнить известной истории о фальшивомонетчиках и многих других в таком же роде, которые мне рассказывали на сон грядущий в детстве. Приходила в голову надпись на кружке для сбора милостыни. Я не допускал мысли, чтобы трактирщику свернул шею дьявол, но не мог найти объяснения его печальному концу.

Так в мертвой тишине протекал час за часом, как вдруг я вздрогнул от неожиданного звона колокола. Я насчитал двенадцать ударов, а, как известно, злые духи имеют власть только от полуночи до первого пения петуха. Как было не изумиться, если до этого часы ни разу не били, – и бой их произвел на меня зловещее впечатление. Вскоре дверь в комнату открылась, и я увидел на пороге черную, но отнюдь не страшную фигуру; это была красивая полунагая негритянка с двумя факелами в руках.

Негритянка подошла, отвесила мне глубокий поклон и обратилась ко мне на чистом испанском языке с такими словами:

– Сеньор кавалер, две иностранки, остановившиеся на ночлег в этом трактире, просят тебя провести вечер в их обществе. Не угодно ли следовать за мной?

Я поспешил за негритянкой и, пройдя несколько коридоров, оказался в ярко освещенной зале, посреди которой стоял стол с тремя приборами, уставленный японским фарфором и графинами из горного хрусталя. В глубине залы возвышалось роскошное ложе. Несколько негритянок сновали туда и сюда, наводя порядок, но вдруг они почтительно расступились, образовав два ряда, и я увидел двух входящих женщин; лица их, цвета розы и лилии, чудно оттенялись эбеновым цветом прислужниц. Молодые женщины держали друг друга за руку. Одеты они были немного странно, по крайней мере, мне так показалось, хотя впоследствии, в дальнейших моих странствиях, я убедился, что это был обычный наряд, распространенный на берберийских побережьях. Он состоял, по существу, только из рубашки и корсажа. Верхняя половина рубашки была полотняная, а от пояса – из мекинесского газа, материи, которая была бы совершенно прозрачной, если бы широкие шелковые ленты, друг с другом соприкасаясь, не скрывали прелестей, находившихся под этим легким покровом. Корсаж, богато расшитый жемчугом и украшенный алмазными застежками, тесно охватывал грудь, а рукава рубашки, тоже газовые, были пристегнуты на плечах. Драгоценные браслеты покрывали их руки у запястий и выше локтей. Ножки незнакомок, ножки, повторяю, которые, принадлежи они злым духам, конечно, были бы кривые и оснащены когтями, были обуты в вышитые восточные туфельки, едва скрывавшие маленькие пальчики. На щиколотках у незнакомок сияли бриллиантовые браслеты.

Незнакомки подошли ко мне с приветливой улыбкой. Обе были несравненные красавицы, каждая в своем роде. Одна – высокая, стройная, яркая, другая – нежная, робкая. Фигура и черты старшей с первого взгляда поражали своей правильностью. У младшей, полненькой, были пухлые губки, а прищуренные глаза оттенены необычайно длинными ресницами. Старшая обратилась ко мне на чистейшем испанском языке с такими словами:

– Сеньор кавалер, спасибо тебе за любезность, с которой ты пожаловал на наш скромный ужин. Я думаю, он будет нелишним...

Она произнесла это с такой улыбкой, что я подумал, уж не по ее ли приказу был уведен мой мул с провизией. Но сердиться не приходилось – ущерб был щедро восполнен.

Мы сели за стол, и та же незнакомка промолвила, придвигая ко мне блюдо из японского фарфора:

– Сеньор кавалер, это – оля подрида, приготовленная из мяса всякого рода, кроме одного, так как мы – правоверные, или, говоря точнее, мусульманки.

– Прекрасная чужеземка, – ответил я, – ты, безусловно, очень точно выразилась. Кому же более пристало говорить о верности? Ведь это религия искренне любящих сердец. Однако, прежде чем утолить мой голод, не откажите в любезности сделать то же самое с моим любопытством, – скажите, кто вы?

– Кушай, сеньор кавалер, – возразила прекрасная мавританка. – У нас нет от тебя никаких тайн. Меня зовут Эмина, а сестру мою – Зибельда; мы живем в Тунисе, но семья наша родом из Гранады, и некоторые наши родственники остались в Испании, где тайно исповедуют веру отцов. Неделю тому назад мы покинули Тунис и высадились на пустынном берегу возле Малаги. Потом перевалили горы между Лохой и Антекерой и, наконец, приехали сюда, чтобы переодеться и уйти от поисков. Как видишь, сеньор, наше путешествие – большая тайна, которую мы вверяем твоей порядочности.

Я уверил прекрасных путешественниц, что меня им нечего опасаться, и стал подкреплять свои силы; ел я с некоторой жадностью, однако не без вынужденного изящества, о котором никогда не забывает молодой человек в обществе женщины.

Увидев, что первый голод мой утолен и я перехожу к тому, что в Испании называют los dulces², прекрасная Эмина велела негритянкам показать мне, как у них на родине танцуют.

² лакомства (исп.)

Кажется, никакое приказание не могло быть для них приятнее. Они исполнили его с увлечением, которое почти граничило с распушенностью. И я, наверно, не сумел бы положить конец этим пляскам, если б не спросил прекрасных незнакомок, не предаются ли они тоже иногда этой забаве. В ответ они встали и велели подать им кастаньеты. Танец их напоминал болеро, зародившееся в Мурсии, и фэффу, которую танцуют в Альгарве. Кто знает эти края, тот легко представит себе его, однако никогда не сумеет постичь того очарования, которое придавали ему прелести обеих африканок, прикрытые прозрачными складками, сбегаящими по их стройным станам.

Некоторое время я спокойно смотрел на восхитительных плясуний, но в конце концов их движения, все более стремительные, оглушающий звук мавританской музыки, чувства, возбужденные обильными яствами, — все это, вместе взятое, ввергло меня в дотоле неизведанное волнение. Я просто не знал, женщины это или какие-то коварные призраки. Я уже не смел смотреть, не хотел видеть, закрыл глаза рукой и в то же мгновение почувствовал, что теряю сознание.

Обе сестры подошли ко мне и взяли меня за руки. Эмина заботливо осведомилась, как я себя чувствую, — я успокоил ее. А Зибельда спросила, что это за медальон на груди моей, — наверно, портрет возлюбленной?

— Это талисман, полученный от матери. Я обещал никогда его не снимать. В нем заключена частица животворящего креста.

Услышав это, Зибельда отступила и побледнела.

— Ты испугалась, — продолжал я. — А ведь креста бояться только злые духи.

Эмина ответила за сестру:

— Сеньор кавалер, ты ведь знаешь, что мы мусульманки, и не должен удивляться огорчению, которое ты невольно причинил моей сестре. Признаюсь, у меня тоже такое чувство: нам досадно, что ближайший наш родственник принадлежит к христианскому вероисповеданию. Эти слова удивляют тебя, но ведь твоя мать — из рода Гомелесов. Мы тоже принадлежим к этому роду, который ведет свое происхождение от Абенсеррагов... Но сядем на этот диван, я расскажу тебе подробнее...

Негритянки ушли. Эмина усадила меня в углу дивана и села рядом, подогнув под себя ноги. А Зибельда легла по другую сторону, облокотившись на мою подушку, и мы были так близко друг от друга, что наши дыханья смешивались. Эмина, казалось, минуту обдумывала; потом, бросив на меня полный участия взгляд, взяла меня за руку и начала так:

— Я не хочу скрывать от тебя, милый Альфонс, что нас свел с тобой не просто случай. Мы ждали тебя здесь, и если бы, движимый страхом, ты выбрал другую дорогу, ты навсегда лишился бы нашего уважения.

— Ты мне льстишь, прекрасная Эмина, — возразил я. — Не понимаю, отчего тебя так интересует моя храбрость.

— Нас очень интересует твоя судьба, — продолжала мавританка, — но, может быть, это покажется тебе менее лестным, когда ты узнаешь, что ты — первый мужчина, которого мы встретили в жизни. Тебя удивляют мои слова, и ты как будто сомневаешься в их правдивости. Я обещала рассказать тебе историю наших предков, но, наверно, будет лучше начать с нашей собственной.

ИСТОРИЯ ЭМИНЫ И ЕЕ СЕСТРЫ ЗИБЕЛЬДЫ

Наш отец Газир Гомелес, дядя по матери дею, который правит теперь в Тунисе. Братьев у нас не было, мы никогда не знали отца и, оставаясь с малых лет запертыми в стенах сераля, не имели ни малейшего представления о вашем поле. Но природа наделила нас неизъяснимой склонностью к любви, и, за отсутствием кого-либо другого, мы страстно полюбили друг друга. Привязанность эта возникла уже в младенческие годы. Мы заливались слезами, когда нас хотели ненадолго разлучить. Если одну из нас наказывали, другая плакала навзрыд. Днем мы играли за одним столиком, а ночью спали в одной постели.

Это сильное чувство, казалось, росло вместе с нами и особенно усилилось благодаря одному обстоятельству, о котором я тебе расскажу. Мне было тогда шестнадцать лет, а сестре четырнадцать. Мы давно заметили, что мать старательно прячет от нас некоторые книги. Сначала мы не обращали на это особенного внимания, и без того наскучив книгами, по которым нас учили читать; но с возрастом в нас проснулось любопытство. Улучив минуту, когда запретный шкаф был открыт, мы быстро вытащили маленький томик, в котором описывались чувства Меджнуна и Лейлы, в переводе с персидского, сделанном Бен-Омаром. Это захватывающее произведение, изображающее пламенными красками любовные наслаждения, зажгло наше молодое воображение. Мы не могли их понимать, никогда не встречая представителей вашего пола, но повторяли новые для нас выражения. Мы обменивались речами любовников и в конце концов страстно пожелали любить друг друга, как они. Я взяла на себя роль Меджнуна, а сестра – Лейлы. Сперва я открывала свою страсть, подбирая цветы и букеты (этот способ объяснения в любви применяется во всей Азии), потом стала кидать на нее полные огня взгляды, падала перед ней на колени, целовала следы ее ног, умоляла ветерок передать ей мою тоску и пробовала воспламенить его жаркими вздохами.

Зибельда, следуя указаниям поэта, назначила мне свидание. Я упала к ее ногам, стала целовать ей руки, обливаться слезами ее колени. Моя возлюбленная сначала оказывала легкое сопротивление, но вскоре позволила мне сорвать несколько поцелуев и, наконец, целиком разделила мои пламенные чувства. Наши души, казалось, слились в одно, и более полного счастья мы не могли себе представить.

Не помню уже, как долго занимали нас эти страстные сцены, но постепенно порывистость наших чувств заметно охладела. У нас проснулся интерес к некоторым наукам, в частности, о растениях, которые мы изучали по трудам славного Аверроэса. Моя мать, убежденная, что нельзя пренебрегать никакими средствами, способными рассеять скуку сераля, относилась с сочувствием к нашим занятиям и, желая облегчить нам ученье, выписала из Мекки святую женщину по имени Хазарета, что означает святая из святых. Хазарета учила нас законам Пророка и преподавала нам науки тем чистым и мелодичным языком, каким говорят теперь только потомки корейшитов. Мы не могли вдоволь ее послушаться и скоро знали наизусть почти весь Коран. Потом мать рассказала нам историю нашего рода и передала множество сочинений, из которых одни были написаны по-арабски, а другие по-испански.

Дорогой Альфонс, ты не поверишь, как нам стала противна ваша религия, как возненавидели мы ее служителей. А с другой стороны, превратности и несчастья, выпавшие на долю тех, чья кровь текла в наших жилах, необычайно заинтересовали нас. Мы восхищались то Саидом Гомелесом, перетерпевшим мученья в застенках инквизиции, то его племянником Леиссом, который долгие годы вел в горах жизнь дикую, мало чем отличающуюся от жизни хищных животных. Подобные описания будили в нас восхищение перед мужчинами, нам хотелось увидеть их, и часто мы поднимались на террасу в саду, чтобы хоть издали взглянуть на моряков на озере Голетта или правоверных, спешащих к источнику Хамам-Неф. Хотя мы и не забыли уроков любезного Меджнуна, однако с тех пор больше им не следовали. Я даже думала, что моя любовь к сестре совершенно погасла, как вдруг новое событие доказало мне, что я ошибаюсь.

Однажды мать привела к нам некую принцессу из Тафилета, женщину преклонных лет. Мы постарались принять ее как можно лучше. После ее ухода мать объявила мне, что принцесса сватает меня за своего сына, а сестра моя предназначена в жены одному из Гомелесов. Новость эта поразила нас как гром среди ясного неба. Первое время мы не могли вымолвить ни слова, потом горе разлуки так живо встало у нас перед глазами, что мы предались самому жестокому отчаянию. Мы рвали на себе волосы и оглашали сераль воплями. Наконец, когда проявления нашей горести достигли грани безумия, мать, испуганная, обещала не выдавать нас насильно и предоставила нам возможность либо остаться в девушках, либо выйти за одного и того же мужчину. Эти заверения немного нас

успокоили.

Вскоре после этого мать сказала нам, что говорила с главой нашего рода и он согласился, чтоб мы вышли за одного и того же человека, но чтобы он был из рода Гомелесов.

Мы ничего не ответили, но с каждым днем мысль иметь одного и того же мужа все больше нам улыбалась. До тех пор мы ни разу не видели ни старика, ни молодого мужчины, разве только на большом отдалении; но поскольку молодые женщины казались нам привлекательнее старых, нам очень хотелось, чтоб и супруг наш был тоже молод. Мы надеялись, что он сумеет объяснить нам некоторые места в книге Бен-Омара, которых мы сами не могли понять...

Тут Зибельда перебила сестру и, сжимая меня в объятиях, промолвила:

– Милый Альфонс, зачем ты не мусульманин! Как я была бы счастлива видеть тебя на груди у Эмины и разделять ваше наслаждение, участвовать в ваших ласках. В нашем доме, как и в семье Пророка, потомки по женской линии имеют такие же права, как и по мужской, от тебя зависело бы стать главой нашего рода, который уже клонится к упадку. Для этого было бы довольно открыть свое сердце лучам нашей веры.

Слова эти показались мне до такой степени похожими на дьявольское искушение, что я посмотрел, не заметны ли следы рожек на прекрасном челе Зибельды. Я пробормотал несколько слов о святости моей религии. Обе сестры отстранились от меня. Лицо Эмины приобрело строгое выражение, и прекрасная мавританка продолжала в таком духе:

– Сеньор Альфонс, я слишком много рассказывала о себе и Зибельде. Это не входило в мои намерения; я села рядом с тобой, чтобы сообщить подробности, касающиеся рода Гомелесов, от которых ты производишь по женской линии. Вот что я хочу тебе поведать.

ИСТОРИЯ ЗАМКА КАСАР-ГОМЕЛЕС

Родоначальником нашим был Масуд бен Тахер, брат Юсуфа бен Тахера, который вступил в Испанию во главе арабов и дал свое имя горе Джебаль-Тахер, или, как вы произносите, Гибралтар. Масуд, много содействовав успеху арабского оружия, получил от калифа Багдадского в управление Гранаду, в которой он оставался до смерти своего брата. Он занимал бы эту должность и дальше, так как пользовался большим уважением как мусульман, так и мозарабов, то есть христиан, оставшихся при господстве мавров, – но у него были сильные враги в Багдаде, которые очернили его в глазах калифа. Он узнал, что его ждет неминуемая гибель, и решил сам удалиться. Собрал горстку верных ему людей и скрылся в Альпухаре, которая, как ты знаешь, представляет собой продолжение хребта Сьерра-Морены и отделяет королевство Гранаду от королевства Валенсии.

Визиготы, у которых мы отняли Испанию, никогда не добирались до Альпухары; большая часть долин была совершенно безлюдна. Только три из них населяли потомки древнего иберийского племени, так называемые турдулы. Они не знали ни Магомета, ни твоего пророка из Назарета; основы их религии и законов сохранились в песнях, переходивших от отцов к детям. Когда-то у них были священные книги, но с течением времени они пропали.

Масуд покорила турдулов скорей с помощью убеждений, чем силой, научился их языку и привил им основы ислама. Оба народа смешались через браки, и вот этому слиянию племен и горному воздуху обязаны мы с сестрой тем свежим цветом лица, которым отличаются дочери Гомелесов. Правда, и среди мавров можно встретить светлых женщин, но они по большей части бледны.

Масуд принял титул шейха и приказал возвести сторожевой замок, назвав его Касар-Гомелес. Скорей судья, чем властитель своего племени, Масуд был доступен каждому, дверь его была открыта для всех, только в последнюю пятницу каждого месяца он расставался с семьей, спускался в подземелье замка и проводил там взаперти целую неделю. Эти исчезновения давали повод для разных толков. Одни утверждали, что шейх ведет беседы с

Двенадцатым имамом, который должен явиться перед концом света; другие – что в подземелье сидит антихрист; остальные утверждали, что там почивают семь спящих братьев вместе со своим верным псом Калемом. Шейх на все эти домыслы не обращал никакого внимания и управлял своим народом, пока хватало сил. Наконец он выбрал самого рассудительного из всего племени, нарек его наследником, отдал ему ключ от подземелья, а сам удалился в пустыню, где прожил еще много лет.

Новый шейх правил в духе своего предшественника, также исчезая в последнюю пятницу каждого месяца. Это положение сохранялось до тех пор, пока Кордова не получила своих калифов, совершенно независимых от властителей Багдада. В это время альпухарские горцы, принимавшие деятельное участие в этих переменах, стали оседать на равнинах, где вскоре прославились под названием Абенсеррагов. Другие же, оставшиеся верными шейху Касар-Гомелеса, сохранили имя Гомелесов.

Между тем Абенсерраги скупили богатейшие поместья в королевстве Гранады и самые роскошные дворцы города. Их излишества всем бросались в глаза. Возникло подозрение, что в подземелье шейхов спрятаны несметные сокровища, но никто не мог проверить, насколько это верно, так как сами Абенсерраги не знали источника своих богатств. В конце концов, когда прекрасные королевства эти навлекли на себя гнев божий, Аллах предал их в руки неверных. Гранада была взята штурмом, и через несколько дней после этого славный Гонсальв из Кордовы во главе трех тысяч испанцев вступил в Альпухару. Шейхом нашего племени был тогда Хатем Гомелес. Он вышел навстречу Гонсальву и отдал ему ключи от замка. Испанец потребовал ключи от подземелья, шейх их сейчас же принес. Гонсальв спустился в подземелье, но вместо сокровищ нашел там гробницу да несколько старых книг, поднял на смех пустые бредни своих соотечественников и поспешил обратно в Вальядолид, куда его звали страсть и любовные интрижки.

До вступления на престол Карла в наших горах царил мир. Шейхом тогда был Сефи Гомелес. Этот человек по неизвестным причинам сообщил императору, что откроет ему важную тайну, если Карл прийдет в Альпухару какого-нибудь знатного испанца, которому полностью доверяет. Не прошло двух недель, как к Гомелесам явился в качестве императорского посла дон Руис из Толедо; но он уже не застал шейха в живых: его убили накануне приезда посла. Дон Руис начал было следствие над несколькими лицами, но, наскучив бесплодными усилиями, вернулся к императорскому двору.

Таким путем тайна шейхов перешла к убийце Сефи. Этот человек по имени Биллах Гомелес собрал племенных старейшин и объяснил им необходимость сокрытия столь важной тайны. Было решено посвятить в нее нескольких членов рода Гомелесов, но так, чтобы каждый из них знал только часть тайны. Избранные были обязаны представить доказательства благоразумия, верности и бесстрашия.

Тут Зибельда опять перебила сестру, сказав:

– Милая Эмина, тебе не кажется, что Альфонс выдержал бы все эти испытания? Ах, может ли в этом быть сомнение! Дорогой Альфонс, как жаль, что ты не мусульманин: ты, конечно, стал бы обладателем несметных сокровищ.

Это явно было новым искушением. Дух тьмы, не сумев соблазнить меня наслаждением, старался теперь пробудить во мне жадность к золоту. Но тут мавританки прижались ко мне, и я почувствовал убедительное прикосновение живых тел, а не призраков. Немного помолчав, Эмина продолжала:

– Дорогой Альфонс, ты хорошо знаешь о преследованиях, которые претерпело наше племя в царствование сына Карла – Филиппа. У нас отнимали детей, воспитывали их в Христовой вере и отдавали им имущество родителей, не желавших отказаться от веры отцов. Тогда-то один из Гомелесов был принят в орден дервишей святого Доминика и достиг звания великого инквизитора...

Тут мы услышали пенье петуха, и Эмина замолчала... Петух пропел еще раз. Человек суеверный подумал бы, что обе красавицы тотчас улетят в дымовую трубу. Этого не

произошло, – однако девушки вдруг нахмурились и погрузились в размышление.

Эмина первая прервала молчание.

– Любезный Альфонс, – сказала она, – уже светает, слишком дороги минуты, которые мы можем провести с тобой, чтоб тратить их на рассказы о далеком прошлом. Мы можем стать твоими женами, если только ты примешь закон Пророка. Но никто не мешает тебе видеть нас во сне. Ты хочешь этого?

Я согласился.

– Но это не все, – сказала Эмина с выражением величайшего достоинства, – это не все, дорогой Альфонс. Нужно еще, чтоб ты поклялся своей честью никогда не выдать тайну наших имен, нашего существования и всего, что знаешь о нас. Отважишься ты взять на себя такое обязательство?

Я обещал исполнить все, что от меня требуется.

– Это хорошо, – сказала Эмина. – Теперь, сестра, принеси чашу, освященную главой нашего племени Масудом.

Пока Зибельда ходила за закланной чашей, Эмина, став на колени, читала арабские молитвы. Зибельда вернулась с чашей, которая показалась мне выточенной из одного большого изумруда. Обе сестры пригубили ее и велели мне осушить ее одним духом. Я послушался. Эмина поблагодарила меня за сговорчивость и нежно меня обняла. Потом Зибельда прильнула к моим губам и долго не могла от них оторваться. Наконец, они покинули меня, сказав, что я скоро опять их увижу, а пока они советуют мне постараться скорей заснуть.

Столько удивительных происшествий, чудесных рассказов и неожиданных впечатлений хватило бы мне для раздумий на всю ночь, но должен признаться, что больше всего интересовали меня обещанные сновиденья. Я поспешно разделся, лег на приготовленное для меня ложе и с удовольствием удостоверился, что здесь места хватит не для одних только сновидений. Но едва успел я сделать это наблюдение, как неожиданный сон смежил мои веки, и все ночные иллюзии овладели моими чувствами. Одно фантастическое видение сменялось другим, и мысль моя, летящая на крыльях желанья, невольно переносила меня в африканские саванны, открывала прелести, скрытые среди их очарованных стен, и погружала в пучины невыразимых наслаждений. Я чувствовал, что сплю, и в то же время сознавал, что сжимаю в своих объятиях отнюдь не призраки. Я терялся в бесконечных пространствах безумнейших обманов чувств, но хорошо помню, что все время находился в обществе прекрасных родственниц. Засыпал у них на груди и просыпался в их объятиях. Не помню, сколько раз испытал я эти восхитительные перемены...

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Наконец я проснулся по-настоящему. Солнце жгло веки, и мне с трудом удалось их поднять. Я увидел небо, так как находился на открытом воздухе, но сон еще не совсем покинул меня. Я уже не спал, но еще не вполне пробудился. Мучительные картины проходили перед моим умственным взором. Меня охватила тревога. Я вдруг поднялся и сел.

Где найти слова, чтоб описать ужас, овладевший мной? Я лежал под виселицей Лос-Эрманос. Трупы двух братьев Зото не висели, а лежали по обе стороны от меня. Без сомнения, я провел между ними всю ночь. Подо мной были обрывки веревки, остатки колес, кости и отвратительные лохмотья.

Я подумал, что еще сплю и меня гнетет скверный сон. Закрыв глаза, я стал вспоминать впечатления минувшей ночи. И вдруг почувствовал, как мне в бок впираются когти. Я увидел коршуна, который опустился на меня и стал пожирать одного из моих товарищей по ночлегу. Боль, причиненная когтями, заставила меня окончательно проснуться. Одежда моя лежала возле меня, я стал поспешно одеваться. Одевшись, хотел было выйти из виселичной ограды, но ворота были заперты, и, несмотря на все усилия, я не мог их открыть. Пришлось влезть на эту мрачную изгородь. Взобравшись наверх, я оперся о столб виселицы и стал

озирать окрестности. Место мне было уже знакомо. В самом деле, я находился у входа в долину Лос-Эрманос, недалеко от берегов Гвадалквивира.

Обведя все вокруг блуждающим взором, я заметил у реки двух путников, один из которых готовил завтрак, а другой держал за поводья двух коней. Меня так обрадовало это зрелище, что я тотчас стал кричать: «Агур! Агур!» – что значит по-испански: «Привет тебе».

Путники, услышав приветствия, которые кто-то кричит с верхушки виселицы, на мгновение остолбенели, но тут же вскочили на коней и во весь дух поскакали по дороге на Алькорнокес. Я кричал им, чтобы они подождали, но напрасно: чем громче я их звал, тем проворней они удалялись и тем сильнее шпорили коней. Наконец, совсем потеряв их из вида, я стал прежде всего думать о том, как бы выйти из того положения, в котором находился. Я прыгнул на землю, но упал и ушиб себе ногу.

Хромая, добрал я до берега Гвадалквивира и нашел тут готовый завтрак, с такой поспешностью покинутый двумя путниками. Подкрепление это было как нельзя более кстати, потому что силы мои были страшно истощены. Я нашел здесь еще кипящий шоколад, пропитанное аликанте эспонхадо, хлеб и яйца.

Поев, я стал перебирать в памяти события минувшей ночи. В голове у меня все спуталось, однако я хорошо помнил, что дал честное слово хранить тайну, и решил свято блюсти клятву. Устранив в этом вопросе всякое сомнение, я начал обдумывать, как быть дальше, какую выбрать дорогу. Теперь больше чем когда-либо мне было ясно, что священный закон чести повелевает мне ехать через Сьерра-Морену.

Может показаться странным, что я уделял столько внимания вопросу моей чести и так мало – событиям прошлой ночи, но такой образ мыслей был следствием моего воспитания, как будет видно из дальнейшего. А пока возвращаюсь к своему путешествию.

Мне очень хотелось знать, что сделали черти с моим конем, которого я оставил в Вента-Кемаде; так как путь мой вел опять туда, я решил заглянуть в трактир. Пришлось пройти пешком через всю долину Лос-Эрманос, а также следующую, в которой находилась вента, и я был так измучен, что с нетерпением ждал минуты, когда отыщу своего коня. И вот я нашел его в той самой конюшне, где оставил вчера. Верный мой конь не утратил обычной своей веселости, а блеск его шкуры говорил о том, что кто-то о нем тщательно позаботился. Я не мог понять, кто дал себе этот труд, но мне довелось увидеть столько чудес, что не имело смысла задумываться над одним-единственным. Я тотчас пустился бы в дорогу, если б мне не пришло желание еще раз осмотреть трактир. Я нашел комнату, где лег сначала, но, несмотря на самые упорные розыски, не мог найти залы, в которой познакомился с прекрасными мавританками. Наскучив безрезультатным осматриванием всяких закоулков, я сел на коня и тронулся в дальнейший путь.

Когда я проснулся под виселицей Лос-Эрманос, солнце уже почти достигло полудня, почти два часа я потратил на то, чтобы дойти до венты; теперь, сделав еще несколько миль, надо было подумать о новом пристанище, но, не видя нигде признаков жилья, я ехал вперед. Наконец я узрел вдали готическую часовню, к которой прилепилась маленькая хижина, напоминающая жилище отшельника. Все это находилось на значительном расстоянии от дороги, но, так как меня начал мучить голод, я, не колеблясь, свернул туда в надежде найти пищу.

Подъехав, я привязал коня к дереву, постучал в дверь хижины, и оттуда вышел монах весьма почтенной наружности. Он обнял меня с отеческой лаской и промолвил:

– Входи скорей, сын мой, не оставайся ночью под открытым небом, остерегись искушений, ибо господь отвел от нас десницу свою.

Я поблагодарил отшельника за его доброту и напомнил ему о голоде, который меня мучил.

– Подумай пока о спасении души, сын мой, – ответил он, – ступай в часовню, преклони колени и помолись перед распятием. А я позабочусь о потребностях твоего тела. Но тебе придется довольствоваться скромной трапезой, какую можно найти в бедной хижине отшельника.

Я пошел в часовню и на самом деле стал молиться, оттого что не только сам никогда не был безбожником, но даже не понимал, как могут существовать неверующие. Все это было привито мне моим воспитанием.

Через четверть часа отшельник пришел за мной и отвел меня в хижину, где я нашел довольно порядочный ужин. Его составляли превосходные маслины, артишоки, маринованные в уксусе, соус из испанского лука и сухари вместо хлеба; нашлась и бутылка вина, которое отшельник не пил, а употреблял только для святого причастия. Узнав об этом, я тоже до вина не дотронулся.

Во время моей приятной трапезы в хижину вошла такая страшная фигура, какой я до сих пор в жизни не видел. Это был человек, на вид еще молодой, но худобы устрашающей. Волосы взъерошены, один глаз выщерблен и еще кровоточил. Из рта высовывался язык, покрытый пеной. Незнакомец был в довольно приличном черном платье, но не имел ни рубашки, ни исподних.

Отвратительное виденье, не говоря ни слова, уселось, скорчившись, в углу и неподвижно, как статуя, единственным глазом своим вперилось в распятие, которое сжимало в руках. После ужина я спросил отшельника, кто это.

– Сын мой, – ответил старец, – это одержимый, из которого я изгоняю бесов. Страшная история его ясно свидетельствует о той власти, которую ангел тьмы забрал над этой несчастной местностью. Повесть его жизни может содействовать твоему спасению, поэтому я велю ему начать. – И он обратился к одержимому с такими словами: – Пачеко! Пачеко! Именем твоего испкупителя приказываю тебе рассказать свою историю.

Пачеко, страшно зарывчав, начал.

ИСТОРИЯ ОДЕРЖИМОГО ПАЧЕКО

Я родился в Кордове, где отец мой жил в полном довольстве. Три года назад умерла моя мать. Первое время отец мой казался безутешным, но через несколько месяцев ему пришлось поехать в Севилью, и он влюбился там в молодую вдову по имени Камилла де Тормес. Женщина эта не пользовалась хорошей репутацией, и друзья моего отца старались отвести его от этого знакомства; но, словно им наперекор, отец женился на ней через два года после смерти первой жены. Свадьбу сыграли в Севилье, и через несколько дней отец мой вернулся в Кордову с новой супругой и ее сестрой Инезильей.

Поведение моей мачехи целиком оправдывало распространяемые о ней слухи. Прибыв в наш дом, она стала бросать на меня нежные взгляды. Но это не вызвало во мне ответного чувства; я безумно влюбился в ее сестру Инезилью. Страсть моя вскоре до такой степени усилилась, что я упал отцу в ноги и стал умолять его, чтоб он дал мне ее в жены. Отец ласково поднял меня и сказал:

– Запрещаю тебе, сын мой, думать об этом браке по трем причинам: во-первых, неприлично тебе быть шурином своего отца; во-вторых, святые законы церкви не допускают таких браков; в-третьих, я не хочу, чтоб ты женился на Инезилье.

Приведя эти три довода, отец отвернулся от меня и ушел. А я отправился к себе в комнату и предался горькому отчаянию. Мачеха моя, узнав от отца, в чем дело, пришла ко мне и уверила меня, что я напрасно так убиваюсь; хотя я не могу быть мужем Инезильи, ничто не мешает мне стать ее кортехо, то есть любовником, и она берется все это устроить. В то же время, однако, она сказала о своей любви ко мне и о жертве, которую она приносит, уступая сестре первенство. Я жадно слушал эти отрадные для моего уха слова; но, зная скромность Инезильи, нисколько не льстил себя надеждой, что они исполнятся.

Вскоре после этого отец мой отправился в Мадрид, где хотел выхлопотать себе должность коррехидора Кордовы, и взял с собой жену и ее сестру. Путешествие должно было продлиться всего два месяца, но для меня, который не мог дня прожить без Инезильи, время тянулось неслыханно медленно. В конце второго месяца я получил от отца письмо, в котором он приказывал мне ехать ему навстречу и ждать его в Вента-Кемаде, при въезде в

Сьерра-Морену. За несколько недель до того я не посмел бы пуститься в Сьерра-Морену, но теперь, когда только что повесили двух братьев Зото, вся банда разбежалась, и дороги стали безопасными.

Я выехал из Кордовы около десяти часов утра и приехал ночевать в Андухар, к самому болтливому трактирщику во всей Андалузии. Велел приготовить обильный ужин и половину его съел, а половину оставил себе на дорогу.

На другой день я подкрепился этими остатками в Лос-Алькорнокес и вечером приехал в Вента-Кемаду. Отца еще не было, но, так как он приказал мне ждать его, я послушался тем охотней, что трактир оказался большой и удобный. Хозяин его, некий Гонсалес из Мурсии, человек добрый, хоть и большой хвастун, обещал приготовить мне ужин, достойный гранда первого класса. Пока он его готовил, я пошел пройтись по берегу Гвадалквивира, а вернувшись, убедился, что ужин в самом деле неплох.

Насытившись, я велел Гонсалесу постелить мне постель. Он смутился и пробормотал что-то невнятное. В конце концов я выяснил, что в трактире завелась нечистая сила. Сам он с семьей перебирается на ночь в соседнюю деревушку на берегу реки; и прибавил, что, если я желаю провести ночь спокойно, он постелет мне подле себя.

Предложение трактирщика показалось мне неуместным, — я сказал ему, чтоб он ложился спать, где хочет, и прислал бы мне моих слуг. Гонсалес не стал спорить; он ушел, качая головой и пожимая плечами.

Вскоре появились мои слуги; они уже слышали о предупреждении трактирщика и стали меня уговаривать провести ночь в соседней деревне. Я довольно резко отклонил их советы и велел постелить мне в той самой комнате, где ужинал. Они безропотно, хоть и неохотно, исполнили это приказание и, когда постель была готова, вновь со слезами на глазах стали умолять меня отказаться от мысли ночевать в трактире. Раздраженный их настойчивостью, я позволил себе несколько жестов, заставивших их обратиться в бегство. Я легко обошелся без их помощи, так как имел обыкновение сам раздеваться, — однако почувствовал, что они заботились обо мне больше, чем я того заслуживал своим обращением: они поставили у моей постели зажженную свечу и вторую, запасную, положили два пистолета и несколько книг. Последние должны были занять меня в часы бодрствования, так как мне в самом деле уже совсем не хотелось спать.

Несколько часов провел я, то читая, то ворочаясь в постели, как вдруг услышал звон колокола или скорей часов, бьющих полночь. Я удивился, тем более что до этого часы как будто ни разу не били. Тотчас дверь отворилась, и я увидел свою мачеху в легком дезабилье, со свечой в руке. Она подошла ко мне на цыпочках, жестом приказывая молчать, поставила свечу на столик, села на постель, взяла мою руку в свои и повела такую речь:

— Дорогой Пачеко, наступило мгновение, когда я могу исполнить данное тебе обещание. Час тому назад мы приехали в этот трактир. Твой отец отправился ночевать в деревню, а я, узнав, что ты здесь, попросила, чтобы он разрешил нам с сестрой остаться. Инезилья ждет тебя. Она ни в чем тебе не откажет, но помни об условии твоего счастья. Ты любишь Инезилью, а я люблю тебя. Из нас троих двое не должны наслаждаться счастьем за счет третьего. Я хочу, чтобы мы все трое спали в одной постели. Иди за мной.

Мачеха не дала мне времени для ответа; взяв меня за руку, она провела меня по длинным коридорам — к последней двери и заглянула сквозь замочную скважину.

Насмотревшись, она сказала мне:

— Все идет как надо, гляди сам.

В самом деле, я увидел прелестную Инезилью она лежала на ложе, но в ней не было ничего от ее обычной скромности. Выражение лица, частое дыхание, пылающие щеки, самая поза — все говорило о том, что она ждет появления любовника.

Камилла, дав мне насмотреться, промолвила:

— Побудь здесь, милый Пачеко. Я скоро за тобой приду.

Когда она вошла в комнату, я снова приложил глаз к замочной скважине и увидел множество таких вещей, которые мне нелегко описать. Камилла не спеша разделась, легла в

постель к сестре и сказала ей:

– Несчастливая Инезилья, неужели ты в самом деле хочешь иметь любовника? Бедная девочка! Ты не знаешь, какую придется тебе пережить боль. Он на тебя накинется, стиснет, ранит...

Сочтя это поучение достаточным для своей воспитанницы, Камилла открыла дверь, подвела меня к постели сестры и легла вместе с нами. Что могу я сказать об этой несчастной ночи? Я познал вершины греха и наслаждения. Боролся со сном и природой, чтобы как можно дольше продлить адские утех. Наконец я заснул, а наутро проснулся под виселицей братьев Зото, трупы которых лежали по бокам от меня.

Тут отшельник прервал одержимого, обратившись ко мне со словами:

– Ну как, сын мой? Что ты об этом думаешь? Наверно, у тебя в голове помутилось бы от страха, окажись ты вдруг между двумя повешенными?

– Ты меня обижаешь, отец мой, – возразил я. – Дворянин не должен ничего бояться, особенно когда имеет честь быть капитаном валлонской гвардии.

– Однако же, сын мой, – перебил отшельник, – слышал ли ты, чтобы с кем-нибудь произошел подобный случай?

Мгновенье помолчав, я ответил:

– Если подобный случай произошел с сеньором Пачеко, он вполне мог произойти и с другим. Думаю, лучше будет, если ты велишь ему продолжать.

Отшельник, повернувшись к одержимому, произнес:

– Пачеко! Пачеко! Именем твоего искупителя приказываю тебе продолжать.

Пачеко, страшно зарывав, стал рассказывать дальше:

– Я убежал из-под виселицы ни жив, ни мертв. Потащился сам не зная куда, наконец встретил путников, которые сжалились надо мной и отвели меня к Вента-Кемаде. Я застал трактирщика и слуг моих в большой тревоге о моей судьбе. Спросил у них, действительно ли отец мой провел ночь в деревне поблизости. Они ответили, что никто из моих родных пока еще не приезжал.

Я больше не в силах был оставаться в Вента-Кемаде и вернулся в Андухар. Приехал я туда уже после захода солнца; трактир был полон народа, и мне постелили на кухне. Я лег, но напрасно старался заснуть: мерзости минувшей ночи не выходили у меня из головы. Я поставил на кухонном очаге зажженную свечу, но она вдруг погасла, и я почувствовал, что кровь стынет у меня в жилах от смертельного ужаса. Что-то начало тянуть мое одеяло, и я тотчас услышал тихий голос, говорящий такие слова:

– Это я, Камилла, твоя мачеха. Я дрожу от холода. Милый Пачеко, пусти меня под одеяло.

– Это я, Инезилья, – перебил другой голос, – позволь мне лечь к тебе. Мне тоже холодно.

И я почувствовал, как холодная рука гладит меня по подбородку. Собрав все свои силы, я крикнул:

– Отойди от меня, сатана!

На это оба голоса по-прежнему тихо ответили:

– Как? Ты нас гонишь? Ведь ты – наш муж! Нам холодно, мы разведем огонь в печи.

В самом деле, вскоре в очаге занялось легкое пламя. Когда немного посветлело, я открыл глаза и увидел уже не Камиллу и Инезилью, а двух братьев Зото, висящих над очагом.

При этом страшном зрелище я чуть не лишился чувств. Вскочил с постели, выпрыгнул прямо в окно и бросился бежать в поле. Через несколько мгновений я подумал, что счастливо отделался от ужасных призраков, но, обернувшись, увидел, что висельники гонятся за мной. Я пустился со всех ног вперед и вскоре оставил висельников далеко позади. Но радость моя недолго длилась. Гнусные создания пошли колесом, пустив в ход руки и ноги, и в одну

минуту догнали меня. Я попробовал было убежать, но в конце концов силы мои иссякли.

Вдруг я почувствовал, что один из повешенных схватил меня за левую лодыжку; я хотел ее выдернуть, но тут второй встал мне поперек дороги. Остановился, вытаращил на меня свои страшные глаза и высунул красный, как раскаленное железо, язык. Я стал просить пощады – напрасно. Одной рукой он схватил меня за горло, а другой – вырвал вот этот глаз, – до сих пор рана никак не заживет. Потом всунул в пустую глазницу свой раскаленный язык и начал лизать мне мозг, так что я взревел от боли.

В то же время тот висельник, что схватил меня за левую ногу, стал работать когтями. Сперва начал щекотать мне подошву; потом это адское чудовище содрало с нее кожу, повывтаскивало все нервы, очистило их от крови и стало перебирать по ним пальцами, словно по струнам музыкального инструмента. Но, видя, что они не издают приятных для него звуков, впустил когти мне под колено, поддел связки и начал их подкручивать, точь-в-точь как если бы настраивал арфу. В конце концов он принялся играть на моей ноге, превратив ее в какое-то подобие гуслей. Я слышал его дьявольский смех, и адские завывания сливались с моими пронзительными криками. Уши мои раздирал скрежет окаянных: мне казалось, что они разрывают зубами все фибры моего тела; в конце концов я лишился чувств.

Утром пастухи нашли меня в поле и принесли сюда. Я исповедался в грехах и у подножия алтаря нашел некоторое облегчение своим страданиям.

Сказав это, одержимый страшно зарычал и умолк. Теперь заговорил отшельник.

– Убедился, юноша, в могуществе сатаны, так молись и плачь. Но время уже позднее, нам пора разойтись. Я не предлагаю тебе на ночь своей кельи, – обратился он ко мне, – там крики Пачеко не дадут заснуть. Лучше ляг в часовне; крест обережет тебя от злых духов.

Я ответил отшельнику, что лягу, где он укажет. Мы внесли в часовню походную койку, и отшельник удалился, пожелав мне доброй ночи.

Оставшись один, я начал перебирать в памяти рассказанное Пачеко. На самом деле, его история в некоторых отношениях напоминала пережитое мной самим; когда я раздумывал над этим, пробило полночь. Не знаю, звонил ли отшельник в колокол, или это прозвучал дьявольский сигнал. Потом я услышал, как кто-то скребется в дверь. Я привстал и спросил:

– Кто там?

Тихий голос ответил мне:

– Нам холодно... открой... это мы... твои милые.

– Как бы не так, проклятые висельники, – крикнул я. – Убирайтесь прочь, на свои глаголи! И не мешайте мне спать!

Тихий голос снова отозвался:

– Ты смеешься над нами, потому что сидишь в часовне. А ты выйди к нам сюда, во двор!

– Извольте! – не долго думая ответил я.

Я выхватил шпагу из ножен и хотел выйти, но – не тут-то было. Дверь оказалась запертой. Я сказал об этом упырям, но те не ответили ни слова. Тогда я лег спать и проспал до утра.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Разбудил меня голос отшельника, видимо, несказанно обрадованного тем, что я цел и невредим. Со слезами на глазах он обнял меня и промолвил:

– Удивительные дела творились этой ночью, сын мой. Открой мне правду: не ночевал ли ты в Вента-Кемаде и не имел ли там дело с нечистой силой? Зло еще можно исправить. Преклони колени у подножья алтаря, признайся в своей вине и сотвори покаяние.

Он довольно долго увещевал меня, потом умолк и подождал, что я отвечу.

– Отец мой, – сказал я, – ведь я исповедался перед выездом из Кадиса и с тех пор, по моему, не совершил никаких смертных грехов, – разве только во сне. Я действительно

ночевал в Вента-Кемаде, но если что там видел, у меня есть свои основания не вспоминать об этом.

Отшельник, видимо, весьма удивился такому ответу; он стал корить меня за то, что я впал в сатанинскую гордыню, и в конце концов принялся убеждать в настоятельной необходимости исповедаться. Однако вскоре, увидев, что я непоколебимо стою на своем, смягчился, оставил апостольский тон, каким говорил со мной, и промолвил:

– Сын мой, меня удивляет твоя отвага. Скажи мне, кто ты, кто тебя воспитал и веришь ли ты в духов, – утоли, пожалуйста, мое любопытство.

– Отец мой, – ответил я, – ты делаешь мне честь, желая ближе узнать мою особу, и будь уверен, что я эту честь умею ценить. Позволь мне одеться, я приду в келью и расскажу о себе подробности, какие только пожелаешь.

Отшельник опять обнял меня и ушел.

Одевшись, я отправился в келью. Я застал старца за кипячением козьего молока, которое он подал мне с сахаром и хлебом, сам удовлетворившись какими-то кореньями. Позавтракав, он обратился к одержимому со словами:

– Пачеко! Пачеко! Именем твоего искупителя приказываю тебе гнать коз на гору.

Пачеко страшно зарычал и пошел.

А я начал рассказывать свою собственную историю.

ИСТОРИЯ АЛЬФОНСА ВАН ВОРДЕНА

Я происхожу из старинного рода, который не изобиловал, однако, ни знаменитыми мужами, ни того менее – значительными богатствами. Все наше владение состояло из рыцарского лена под названием Ворден, входившего в состав Бургундского герцогства и расположенного в Арденнских горах.

Отец мой, имея старшего брата, должен был довольствоваться небольшой частью наследства, которой ему, однако, хватало, чтобы вести жизнь, приличную офицеру. Он прослужил всю войну за испанское наследство, и после заключения мира Филипп V возвел его в чин подполковника валлонской гвардии.

В испанской армии действовал тогда кодекс чести, разработанный с необычайной мелочностью, однако, по мнению моего отца, он был еще недостаточно строг. Говоря по правде, отца нельзя за это упрекать, поскольку честь в армии должна быть превыше всего. В Мадриде не было ни одного поединка, в котором отец не выступал бы арбитром, и если он говорил, что удовлетворение достаточное, никто против этого решения не осмеливался возражать. Если же случалось, что кто-то остался не вполне удовлетворенным, то он имел дело с моим отцом, который подкреплял каждое свое суждение острием шпаги. Кроме того, у отца была большая книга, в которой он записывал историю каждого поединка со всеми его особенностями, и в чрезвычайных случаях обычно обращался к ней за советом.

Занятый целиком своим кровавым трибуналом, отец мой долго оставался недоступным любви; но в конце концов сердце его не устояло против очарования одной очень молодой девушки – Урраки Гомелес, дочери оидора Гранады, происходящей из рода прежних королей этого края. Общие друзья вскоре сблизили обе стороны и сосватали их.

Мой отец решил пригласить на свадьбу всех, с кем когда-либо дрался на дуэли и которых, само собой разумеется, не убил. За стол село сто двадцать два человека; тринадцати не было в Мадриде, о местопребывании тридцати трех, с которыми он дрался в армии, он не мог получить никаких сведений. Мать говорила мне, что никогда не видела такого веселого пира, на котором царила бы такая задушевная непринужденность. И я охотно этому верю, так как у отца было прекрасное сердце и все его любили.

Отец мой, очень привязанный к Испании, никогда не оставил бы по собственной воле службу, если бы через два месяца после женитьбы не получил письма за подписью мэра города Буйона. Ему сообщали, что брат его умер, не имея потомства, и оставил ему все состояние. Известие это ошеломило отца, и, по словам матери, он впал в такое оцепенение,

что от него нельзя было добиться ни слова. Наконец он раскрыл свою хронику, отыскал в ней двенадцать человек, на счету которых больше всего было дуэлей в Мадриде, пригласил этих людей к себе и обратился к ним с такими словами:

– Дорогие товарищи по оружию, вы знаете, как часто я успокаивал ваши сомнения, когда ваша честь была под угрозой. А нынче я сам вынужден обратиться к вашему просвещенному совету, так как боюсь, что мое собственное суждение может оказаться не вполне правильным, или, верней, пристрастным. Вот письмо от буйонского мэра, свидетельство которого заслуживает доверия, хоть он и не дворянин. Скажите мне, повелевает ли мне честь поселиться в замке моих предков или и дальше служить королю дону Филиппу, который осыпал меня благодеяниями и в последнее время возвел в чин бригадного генерала. Оставляю письмо на столе, а сам ухожу. Через полчаса вернусь, чтоб узнать, как вы решите.

С этими словами отец мой вышел из комнаты. Когда он вернулся, началось голосование. Пять голосов было за то, чтоб остаться на службе, семь за переселение в Арденнские горы. Отец безропотно подчинился решению большинства.

Моя мать охотно осталась бы в Испании, но она так любила мужа, что без малейшего сожаления согласилась покинуть родину. С этой минуты единственным занятием отца и матери стали сборы в дорогу да наем кое-каких людей, которые могли бы среди Арденнских гор напоминать об Испании. Хоть меня тогда не было на свете, однако отец мой, нисколько не сомневаясь в моем появлении, подумал, что пора уже подыскать мне учителя фехтования. С этой целью он обратился к Гарсиасу Иерро, искуснейшему мастеру фехтования во всем Мадриде. Этот юноша, наскучив тычками, каждый день получаемыми на Пласаде-ла-Себада, охотно согласился на предложенные ему условия. Со своей стороны, моя мать, не желая пускаться в дальний путь без духовника, выбрала Иньиго Велеса, богослова, получившего образование в Куэнке, который должен был научить меня основам католической религии и испанскому языку. Все эти меры были приняты за полтора года до моего появления на свет.

Когда все уже было готово к отъезду, отец пошел проститься с королем и, по обычаю, принятому при испанском дворе, преклонил одно колено, чтобы поцеловать ему руку, но вдруг печаль так стиснула ему сердце, что он потерял сознание и в обморочном состоянии был доставлен домой. На другой день он пошел проститься с доном Фернандо де Лара, который был тогда первым министром. Дон Фернандо принял его очень приветливо и сообщил, что король жалует ему двенадцать тысяч реалов пожизненной пенсии со званием сархенто хенераль, что соответствует дивизионному генералу. Отец отдал бы полжизни за то, чтобы иметь счастье еще раз припасть к стопам монарха, но так как он уже простился, то должен был на этот раз ограничиться письменным выражением чувства горячей благодарности, которым проникся до глубины души. Наконец, не без горьких слез, он покинул Мадрид. Дорогу он выбрал через Каталонию, чтобы еще раз увидеть поля, на которых столько раз доказал свою отвагу, и проститься с несколькими старыми товарищами, которые командовали отрядами войск, расположенными вдоль границ. Оттуда через Перпиньян он въехал во Францию.

Вся дорога до Лиона прошла как нельзя более спокойно, но после Лиона, откуда отец выехал на почтовых, его обогнал легкий экипаж, который первым прибыл на станцию. Подъехав к почте, отец увидел, что у опередившего его экипажа уже меняют лошадей. Он немедленно взял шпагу и, подойдя к проезжающему, попросил его уделить ему минуту для разговора наедине. Проезжающий, какой-то французский полковник, видя, что отец мой в генеральском мундире, чтоб быть на высоте, тоже пристегнул шпагу. Оба вошли в находившийся напротив почты трактир и потребовали отдельное помещение. Когда они остались с глазу на глаз, мой отец обратился к проезжему с такими словами:

– Сеньор кавалер, ваш экипаж обогнал мою карету, стремясь во что бы то ни стало первым достичь почты. Поступок этот, как бы он ни был сам по себе незначителен, мне все же не по вкусу, так что потрудитесь дать объяснение.

Полковник, крайне удивленный, свалил всю вину на почтальона и дал слово, что сам в

это дело отнюдь не вмешивался.

– Сеньор кавалер, – перебил мой отец, – я отнюдь не придаю этому обстоятельству большого значения и поэтому считаю достаточным драться до первой крови.

С этими словами он обнажил шпагу.

– Одну минуту, сударь, – сказал француз. – По-моему, это не мои почтальоны обогнали ваших, а наоборот – ваши отстали из-за своей нерадивости.

Мой отец немного подумал, потом сказал:

– Кажется, вы правы и, если бы вы поделились со мной этим соображением раньше, то есть до того, как я обнажил шпагу, то, несомненно, дело обошлось бы без поединка. Но теперь, сеньор, когда мы зашли так далеко, без небольшого кровопролития нельзя разойтись.

Видимо, полковник нашел довод вполне основательным; он тоже обнажил шпагу. Бой был короткий. Мой отец, почувствовав, что ранен, тотчас опустил острие своей шпаги и извинился перед полковником, что решился его затруднить, а тот в ответ предложил свои услуги и назвал место, где его можно найти в Париже, после чего сел в экипаж и уехал.

Отец мой сначала не обращал внимания на рану, но на теле его было столько следов прежних ран, что новый удар пришелся по старому рубцу. Шпага полковника вскрыла огнестрельную рану, в которой еще оставалась мушкетная пуля. Теперь свинец вышел наружу, и только после двухмесячных припарок и перевязок родители мои отправились в дальнейший путь.

Едва прибыв в Париж, отец поспешил навестить маркиза д'Юрфе (так звался полковник, с которым он имел столкновение). Этот человек пользовался большим влиянием при дворе. Он принял моего отца с исключительным радушием, обещал представить его министру, а также высшим французским сановникам. Отец поблагодарил маркиза и попросил только, чтоб он представил его герцогу де Таванн, тогдашнему председателю суда чести, желая получить более подробные сведения относительно этого суда, о котором был всегда высокого мнения, часто говорил о нем в Испании как о чрезвычайно мудром учреждении и всеми силами старался ввести его в той стране. Маршал тоже рад был познакомиться с моим отцом и рекомендовал его кавалеру Бельевру, первому секретарю суда чести и референдарию упомянутого трибунала.

Кавалер в один из своих частых визитов к моему отцу увидал у него летопись дуэлей. Это произведение показалось ему до такой степени единственным в своем роде, что он попросил позволения показать его господам маршалам, то есть членам суда чести, которые разделили мнение своего секретаря и обратились к моему отцу с просьбой разрешить сделать копию, которая будет передана на вечные времена в архив трибунала. Просьба эта доставила отцу невероятное удовольствие, и он с радостью дал согласие.

Подобное внимание все время услаждало моему отцу жизнь в Париже; но совсем иначе обстояло дело с моей матерью. Она приняла непоколебимое решение не только не учиться французскому языку, но даже не слушать, когда на нем говорят. Ее духовник Иньиго Белее все время едко высмеивал терпимость галликанской церкви, а Гарсиас Иерро кончал каждый разговор утверждением, что французы – трусы и недотепы.

Наконец родители мои оставили Париж и после четырех дней пути приехали в Буйон. Отец исполнил все требуемые формальности и вступил во владение имуществом. Кров наших предков был давно лишен не только присутствия хозяев, но и черепиц; дождь лил в комнатах совершенно так же, как на дворе, с той лишь разницей, что мощный двор скоро просыхал, между тем как в комнатах лужи становились все больше. Затопление домашнего очага очень нравилось моему отцу, так как напоминало осаду Лериды, когда он провел три недели, стоя по пояс в воде.

Несмотря на эти милые воспоминания, он все же постарался поместить постель жены в сухом месте. В просторной гостиной был фламандский камин, у которого с удобством могли усесться пятнадцать человек. Выступающий свод камина образовывал как бы крышу, поддерживаемую с каждой стороны двумя колоннами. Дымоход заколотили и под крышей поставили постель моей матери, столик и кресло; а так как устье камина находилось на фут

выше уровня пола, получился как бы остров, в какой-то мере недоступный для наводнения.

Отец обосновался в противоположном конце гостиной на двух столах, соединенных досками, и между обеими постелями был перекинут мост, подпертый посередине чем-то вроде плотины из ящиков и сундуков. Сооружение было закончено в день приезда в замок, и ровно через девять месяцев я появился на свет.

Во время горячих хлопот по устройству жилья отец получил письмо, переполнившее его сердце радостью. В этом письме маршал, герцог де Таванн, просил его быть арбитром в одном деле чести, которое оказался не в силах рассудить весь трибунал. Отца это доказательство исключительного расположения так обрадовало, что он решил по этому поводу устроить для соседей пышный бал. Но так как у нас не было никаких соседей, бал свелся к фанданго, которое станцевали мой учитель фехтования и главная камеристка моей матери сеньора Фраска.

Отец мой в своем ответном письме маршалу попросил, чтобы в дальнейшем ему присылали выписки решений трибунала. Эта любезность была ему сделана, и с этих пор в начале каждого месяца он получал большой пакет, который давал на четыре недели пищу для домашних разговоров в долгие зимние вечера – у камина, а летом – на двух скамьях, прислоненных к воротам замка.

Когда я уже ясно дал знать о предстоящем своем рождении, у отца только и было с моей матерью разговоров, что о сыне, которого он ждал, и о выборе крестного отца. Мать высказывалась за герцога де Таванна или маркиза д'Юрфе; отец признавал, что это было для нас очень почетно, но опасался, как бы эти господа не подумали, что оказывают нам слишком большую честь. Подчиняясь вполне обоснованному чувству осторожности, он остановился на кавалере Бельевре, который, со своей стороны, почтительно и с благодарностью принял приглашение.

Наконец я появился на свет. В трехлетнем возрасте я уже размахивал маленькой рапирой, в шестилетнем – стрелял из пистолета, не зажмуривая глаза. Мне было почти семь лет, когда мой крестный отец приехал к нам с визитом. Потом кавалер женился и занимал в Турней пост лейтенанта коннетаблии и референдария при суде чести. Звание это сохранилось еще от времен божьих судов, потом его передали трибуналу маршалов Франции.

Госпожа де Бельевр была очень слабого здоровья, и муж вез ее на воды в Спа. Оба страшно меня полюбили и, не имея своих детей, стали просить моего отца, чтоб он доверил им мое воспитание, которое не может быть достаточно тщательным в безлюдной местности, где мы жили. Отец охотно уступил их просьбам, особенно соблазненный званием референдария суда чести, обещавшим ему, что в доме Бельевров я заблаговременно усвою принципы, способные обеспечить мне успехи в будущем.

Сначала предполагалось, что со мной поедет Гарсиас Иерро, так как отец всегда держался того мнения, что самый благородный поединок – это шпага в правой и кинжал в левой руке. Во Франции же такой способ был совершенно неизвестен. Но ввиду того, что отец привык каждое утро фехтовать с Гарсиасом у замковой стены и это развлечение стало необходимым для его здоровья, он решил оставить учителя фехтования при себе.

Собирались также послать со мной теолога Иньиго Велеса, но, так как мать говорила только по-испански, невозможно было лишить ее духовника, знающего этот язык. Так был я разлучен с двумя людьми, предназначавшимися еще до моего рождения мне в учителя. Однако мне дали испанского слугу, чтобы я не забывал материнский язык.

Я уехал с крестным отцом в Спа, где мы провели два месяца; оттуда мы отправились в Голландию, а в конце осени вернулись в Турней. Кавалер де Бельевр как нельзя лучше оправдал надежды моего отца и в продолжение шести лет не жалел усилий, чтоб из меня со временем вышел отличный военный. В конце шестого года моего пребывания в Турней умерла госпожа де Бельевр. Муж ее покинул Фландрию и переехал в Париж, а меня вернули в родительский дом.

Путешествие из-за дождливой погоды было мучительное. Приехав в замок через два

часа после захода солнца, я застал всех его обитателей у камина. Отец, хоть и счастливый моим приездом, не проявил, однако, никаких признаков радости, боясь сделать смешным то, что вы, испанцы, называете *la gravedad*³; зато мать встретила меня со слезами. Теолог Иньиго Белее приветствовал меня благословением, а что касается Иерро, то он подал мне рапиру. Я тотчас сделал выпад против него и несколько раз его тушировал, дав присутствующим представление о моем незаурядном искусстве. Отец был слишком тонким знатоком, чтобы не сменить холодной сдержанности бурным восхищением.

Был подан ужин, и все весело сели за стол. После ужина опять собрались у камина, и отец сказал теологу:

– Преподобный дон Иньиго, сделай милость, принеси большую книгу с удивительными историями и прочти нам какую-нибудь из них.

Теолог пошел к себе в комнату и скоро вернулся с огромным фолиантом в белом пергаменте, уже пожелтевшем от старости. Раскрыл наугад и стал читать.

ИСТОРИЯ ТРИВУЛЬЦИО ИЗ РАВЕННЫ

Жил-был много лет тому назад в итальянском городе под названием Равенна юноша по имени Тривульцио, красивый, богатый, но при этом крайне надменный. Когда он проходил по улицам, равеннские девушки выглядывали из окон, но ни одна не могла произвести на него впечатления. Если все же случалось, что какая-нибудь ему и понравится, он молчал из боязни оказать ей слишком большую честь. Но в конце концов чары юной Нины деи Джерачи сокрушили его гордость, и Тривульцио признался ей в любви. Нина ответила, что это ей крайне лестно, но что она с детских лет любит своего двоюродного брата Тебальдо деи Джерачи и не перестанет любить его до самой смерти. Выслушав этот неожиданный ответ, Тривульцио ушел, проявляя признаки яростного гнева.

Через неделю – это было как раз в воскресенье, когда все жители Равенны направлялись в собор святого Петра, – Тривульцио увидел в толпе Нину под руку с ее двоюродным братом. Он завернулся в плащ и поспешил за ними.

В церкви, где нельзя закрывать лицо плащом, влюбленные могли бы легко заметить, что Тривульцио преследует их, но они были всецело заняты собой и не обращали внимания даже на богослужение, что, по совести говоря, большой грех.

Между тем Тривульцио сел позади них на скамью и стал слушать их разговор, растравляя в себе злобу. Вскоре священник вышел на амвон и сказал:

– Милые братья, оглашаю желающих сочетаться друг с другом Тебальдо и Нину деи Джерачи. Нет ли у кого из вас возражений против этого брака?

– У меня есть возражение! – крикнул Тривульцио и в то же мгновение нанес влюбленным более десяти ударов кинжалом.

Его хотели задержать, но он опять схватился за кинжал, вырвался из собора, скрылся из города и бежал в Венецию.

Тривульцио был горд и развращен жизненными успехами, но душа у него была чувствительная; угрызения совести мстили ему за несчастных жертв. Он стал переезжать из города в город, проводя жизнь в печали. Через некоторое время родственники его уладили все дело, и он вернулся в Равенну; но это уже был не прежний сияющий от счастья и кичливый своей красотой юноша. Он до того изменился, что даже кормилица не узнала его.

В первый же день по приезде Тривульцио спросил, где могила Нины. Ему ответили, что Нина похоронена вместе со своим возлюбленным в соборе святого Петра, рядом с тем местом, где они были убиты. Тривульцио, дрожащий, пошел в собор, упал на гробницу и облил ее горячими слезами. Несмотря на боль, испытываемую несчастным убийцей, слезы все же принесли ему облегчение; он отдал свой кошелек ключарю и получил позволение

³ серьезный момент (исп.)

входить в церковь когда угодно. С тех пор он приходил каждый вечер, и ключарь так к нему привык, что не обращал на него и малейшего внимания.

Однажды вечером Тривульцио, проведя предыдущую ночь без сна, заснул на могиле, а проснувшись, обнаружил, что церковь уже заперта; тогда он смело решил провести ночь в месте, которое так отвечало его глубокой печали. Он слушал бой часов – час за часом – и каждый раз жалел, что последний удар не несет с собой последнее мгновение его жизни.

Наконец пробило полночь. Отворилась дверь в ризницу, и Тривульцио увидел ключаря с фонарем в одной и метлой в другой руке. Но это был не обычный ключарь, а скелет; у него, правда, сохранилось немного кожи на лице и что-то вроде ввалившихся глаз, но было ясно, что стихарь прикрывает голые кости.

Страшный ключарь поставил фонарь на большом алтаре и зажег все свечи, будто для вечерни; потом принялся подметать церковь и смахивать пыль со скамей, несколько раз прошел даже мимо Тривульцио, но словно не замечал его. Наконец подошел к двери ризницы и стал звонить в колокольчик, в ответ гробницы раскрылись, вышли увитые в покровы мертвецы и затянули мрачную литанию. Потом один из мертвецов, в стихаре и епитрахили, вышел на амвон и сказал:

– Милые братья, оглашаю вам предстоящее бракосочетание Тебальдо и Нины деи Джерачи. Проклятый Тривульцио, у тебя есть возражения?

Тут отец мой прервал теолога и, обращаясь ко мне, промолвил:

– Сын мой Альфонс, а ты испугался бы, если б был на месте Тривульцио?

– Дорогой отец, – ответил я, – мне кажется, я страшно испугался бы.

Услышав это, отец мой рванулся в приступе бешеного гнева, кинулся к шпаге и хотел было пригвоздить меня ею к стене.

Присутствующие бросились между нами и сумели кое-как его успокоить. Сев на место, он посмотрел на меня грозным взором и сказал:

– Сын, недостойный своего отца, твоя низость в некотором отношении позорит полк валлонской гвардии, в который я хотел тебя определить.

После этих горьких упреков, от которых я готов был сгореть со стыда, наступило глубокое молчание. Гарсиас первый прервал его, обратившись к моему отцу со словами:

– Может, лучше было бы, ваша светлость, постараться убедить сына вашей милости, что на свете нет ни ведьм, ни вампиров, ни мертвецов, поющих литанию. Тогда он, конечно, забыл бы о них и думать.

– Сеньор Иерро, – сухо ответил мой отец, – вы забываете, что вчера я имел честь показывать вам историю о духах, написанную собственной рукой моего прадеда.

– Я вовсе не собираюсь подвергать сомнению правдивость прадеда вашей светлости, – возразил Гарсиас.

– Что ты хочешь этим сказать? – возразил отец. – «Вовсе не собираюсь подвергать сомнению правдивость...» Разве мы не понимаем, что это выражение допускает возможность с твоей стороны сомнений в правдивости моего прадеда?

– Ваша светлость, – ответил Гарсиас, – я знаю, что представляю собой слишком малозначительную особу, чтобы светлейший прадед вашей милости мог потребовать от меня какое-либо удовлетворение.

Тут мой отец с еще более угрожающим видом воскликнул:

– Иерро! Сохрани тебя бог от оправданий, заключающих в себе возможность оскорбления.

– В таком случае, – сказал Гарсиас, – мне остается лишь покорно перенести кару, которую вашей милости угодно будет назначить мне от имени вашего прадеда. Осмелюсь только просить, чтобы во избежание поругания моей чести кара эта была наложена нашим духовником: тогда я мог бы рассматривать ее как церковную епитимию.

– Это неплохая мысль, – сказал мой отец, заметно успокаиваясь. – Помню, я написал когда-то трактатец о способах удовлетворения чести в тех случаях, когда не могла иметь места дуэль; надо будет об этом поразмыслить.

Сперва отец как будто размышлял об этом предмете, но, переходя от одного соображения к другому, в конце концов заснул в своем кресле. Моя мать и теолог давно уже спали, и Гарсиас не замедлил последовать их примеру. Я ушел к себе в комнату; так прошел первый день после моего возвращения в родной дом.

На другое утро я фехтовал с Гарсиасом, потом отправился на охоту, а после ужина, когда все уселись вокруг камина, отец опять послал теолога за большой книгой. Его преподобие принес книгу, открыл ее наугад и принялся читать следующее.

ИСТОРИЯ ЛАНДУЛЬФА ИЗ ФЕРРАРЫ

В итальянском городе Ферраре жил некогда один юноша по имени Ландульф. Он был распутник без чести и веры, наводивший страх на всех благочестивых жителей. Негодяй этот предпочитал общество непотребных женщин; он знал их всех, но ни одна так не нравилась ему, как Бианка де Росси, потому что превосходила всех остальных в разврате.

Бианка была не только распутна, жадна и испорчена в самом своем существе, но, кроме того, требовала от своих любовников низких поступков. Как-то раз она попросила Ландульфа, чтобы тот сводил ее ужинать к своей матери и сестре. Ландульф сейчас же пошел к матери и объявил ей об этом намерении, словно не видел в этом ничего непристойного. Бедная мать, заливаясь слезами, стала заклинять сына, чтоб он не позорил сестру. Ландульф остался глух к этим просьбам, обещал только по возможности блюсти тайну, потом пошел за Бианкой и привел ее к себе в дом. Мать и сестра Ландульфа приняли негодницу гораздо лучше, чем она заслуживала; но Бианка, видя их доброту, удвоила наглость, повела непристойные речи и принялась посвящать сестру своего любовника в такие вещи, без которых та вполне обошлась бы. Наконец, выпроводила обеих из комнаты, заявив, что желает остаться с Ландульфом наедине.

На следующее утро бессовестная распространила эту историю по всему городу, и несколько дней только об этом всюду и шла речь. Наконец весть об этом дошла до Одоардо Дзампи, брата Ландульфово́й матери. Одоардо был отнюдь не склонен оставлять обиды безнаказанными, он вступился за свою сестру и в тот же самый день приказал убить негодную Бианку. Придя к своей любовнице, Ландульф нашел ее истекающей кровью и мертвой. Вскоре он узнал, что это дело рук его дяди, и кинулся мстить, но Одоардо окружили преданные друзья и стали еще насмехаться над бессильной злобой Ландульфа.

Не зная, на кого излить свой гнев, Ландульф побежал к матери, чтобы оскорбить ее. Бедная женщина как раз сидела с дочерью и ужинала; увидев входящего сына, она спросила, придет ли Бианка и нынче ужинать.

– Если б только она могла прийти, – крикнул Ландульф, – и увести тебя в ад вместе с твоим братом и всем семейством Дзампи.

Несчастливая мать упала на колени, воскликнув:

– Господи боже, прости ему это богохульство!

В это мгновение дверь с грохотом открылась, и на пороге показался страшный призрак, весь покрытый стилетными ранами, в котором, однако, нельзя было не узнать труп Бианки.

Мать и сестра Ландульфа стали усердно молиться, и бог смиловался над ними, позволив им вынести это ужасное зрелище и не умереть со страху.

Призрак медленно подошел и сел за стол, как бы собираясь ужинать. Ландульф с отвагой, которую мог ему внушить только ад, подвинул к нему блюдо. Призрак разинул такую огромную пасть, что казалось – голова у него распалась надвое, и оттуда полыхнуло красноватое пламя; потом он протянул осмоленную руку, взял кусок, проглотил его, и сейчас же стало слышно, как этот кусок падает под стол. Таким способом призрак пожрал все содержимое блюда: все куски оказались под столом. Тогда, устремив на Ландульфа страшные глаза, призрак произнес:

– Ландульф, я у тебя отужинала и ночевать буду с тобой. Ступай в постель.

Тут мой отец, перебив духовника, обратился ко мне с такими словами:

– Сын мой Альфонс, испугался бы ты на месте Ландульфа?

– Дорогой отец, – ответил я, – ручаюсь, что нисколько не испугался.

Этот ответ понравился отцу; и он в течение всего вечера был весел.

Так проходили день за днем, с той разницей, что зимой мы сидели у камина, а летом – на скамье у ворот замка. Шесть лет протекло в этом сладостном покое, и теперь при воспоминании о них мне кажется, что каждый год длился не больше недели.

Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец решил определить меня в полк валлонской гвардии и с этой целью написал некоторым старым своим приятелям, на помощь которых мог рассчитывать. Эти почтенные, уважаемые военные общими усилиями добились для меня звания капитана. Получив это известие, отец так разволновался, что опасались за его жизнь. Однако он скоро пришел в себя и с тех пор был занят одними только приготовлениями к моему отъезду. Он хотел, чтоб я отправился морем и, высадившись в Кадисе, сперва представился наместнику провинции дону Энрике де Са, больше всего сделавшему для моего назначения.

Когда во двор к нам уже въехала почтовая карета, отец повел меня в свою комнату и, заперев двери на замок, сказал:

– Дорогой Альфонс, я хочу открыть тебе тайну, которую передал мне мой отец, а ты – придет время – передашь твоему сыну, убедившись, что он этого достоин.

Уверенный, что речь пойдет о каком-нибудь кладе, я ответил, что гляжу на золото единственно как на средство, позволяющее оказывать помощь несчастным.

– Ты ошибаешься, милый Альфонс, – возразил отец, – дело не в золоте или серебре. Я хочу научить тебя до сих пор незнакомому приему, при помощи которого, парируя удар и осуществляя выпад сбоку, ты наверняка выбьешь оружие из руки противника.

Тут он взял рапиру, показал мне этот прием, благословил на дорогу и проводил до кареты. Я обнял мать и через мгновение покинул родительский замок.

Добравшись по суше до Флисингена, я сел там на корабль и высадился в Кадисе. Дон Энрике де Са принял во мне такое участие, как если б я был его родным сыном, помог мне экипироваться и рекомендовал двух слуг, одного из которых звали Лопес, а другого – Москито. Из Кадиса мы отправились в Севилью, из Севильи в Кордову, потом в Андухар, откуда я решил ехать через Сьерра-Морену. К несчастью, возле источника Лос-Алькорнокес оба слуги мои покинули меня. Несмотря на это, я в тот же день прибыл в Вента-Кемаду, а вчера вечером – к твоей обители.

– Дитя мое, – сказал отшельник, – твоя история живо меня заинтересовала, спасибо тебе за то, что ты рассказал мне ее. Теперь я вижу, что полученное тобой воспитание сделало тебя совершенно недоступным страху. Но так как ты провел ночь в Вента-Кемаде, боюсь, не подвергся ли ты там искушениям двух висельников и не ждет ли тебя печальная участь одержимого Пачеко.

– Отец мой, – ответил я, – почти всю ночь раздумывал я над приключениями сеньора Пачеко. Хотя в него вселился бес, он все-таки дворянин, и я не допускаю мысли, чтобы все, что он говорит, не было чистейшей правдой. Но, с другой стороны, наш духовник Иньиго Велес ручался мне, что если прежде, особенно в первые века христианства, было довольно много одержимых, то теперь их вовсе нет, и его свидетельство представляется мне тем более важным, что отец мой приказал мне в вопросах религии слепо верить преподобному Велесу.

– Как же так? – возразил отшельник. – Разве ты не видел ужасного лица одержимого, у которого дьявол выщербил глаз?

– А все-таки, отец мой, сеньор Пачеко мог получить это увечье и другим путем. В общем, в такого рода делах я всегда полагаюсь на тех, кто понимает больше меня. С меня довольно того, что я не боюсь никаких призраков или оборотней. Но если ты хочешь ради покоя души моей дать мне какую-нибудь святую реликвию, обещаюсь носить ее с верой и благоговением.

Отшельник, видимо, улыбнулся моей простоте, потом сказал:

– Вижу, сын мой, что ты еще не утратил веру, но опасаясь, как бы этого не случилось позже. Эти Гомелесы, от которых ты ведешь свой род по женской линии, только недавно стали христианами, а некоторые из них, кажется, в глубине души остались верны исламу. Если б они обещали тебе несметные богатства при условии перейти в их веру, как бы ты поступил?

– Я отказался бы, – ответил я, – так как считаю, что тот, кто отрекся от своей веры или сдал знамя врагу, достоин только позора.

Отшельник и на этот раз как будто улыбнулся.

– С грустью вижу, – сказал он, – что добродетели твои опираются на преувеличенное чувство чести, и предупреждаю тебя, что в Мадриде теперь уже не бывает столько поединков, сколько было при твоём отце. К тому же добродетель теперь покоится на других, более прочных основаниях. Но не хочу отнимать у тебя время, раз впереди у тебя еще долгий путь, прежде чем ты достигнешь Вента-дель-Пеньон, или Постоялого двора под Скалой. Трактирщик живет там, не обращая внимания на грабителей, так как рассчитывает на защиту цыган, стоящих табором в окрестностях. Послезавтра ты прибудешь в Вента-де-Карденас и окажешься уже по ту сторону Сьерра-Морены. У седла ты найдешь снесь на дорогу.

С этими словами отшельник ласково меня обнял, но не дал мне никакой реликвии для сохранения спокойствия души. Я не стал напоминать и, сев на коня, оставил скит.

В пути я мысленно перебирал все суждения отшельника, не понимая, каким образом добродетель может опираться на более прочное основание, нежели чувство чести, которая, по моему мнению, сама является вместилищем всех добродетелей.

Я раздумывал об этом, как вдруг какой-то всадник, показавшись из-за скалы, встал поперек дороги и промолвил:

– Вы – Альфонс ван Ворден?

Я подтвердил.

– В таком случае арестую тебя именем короля и святейшей инквизиции. Изволь отдать мне шпагу.

Я молча исполнил это требование, после чего всадник свистнул, и меня со всех сторон окружили вооруженные люди. Они на меня накинулись, связали мне руки за спиной, повезли меня окольными путями в горы, и через час езды я увидел укрепленный замок. Был опущен подъемный мост, и мы въехали во двор. Возле замковой башни меня через боковую дверь втолкнули в яму, не позаботившись развязать веревки, которыми я был опутан.

В узилище было совсем темно; не имея возможности вытянуть руки перед собой, я боялся, как бы на ходу не удариться головой о стену. Поэтому я сел на том месте, где меня оставили, и – нетрудно догадаться – стал размышлять о причинах столь жестокого со мной обращения. Я сразу подумал, что инквизиция схватила Эмину и Зибельду, их служанки рассказали про все, что было в Вента-Кемаде. В таком случае у меня, конечно, станутпытывать о прекрасных африканках. Передо мной было два пути: либо предать моих родственниц, нарушив данное им честное слово, либо отрицать знакомство с ними; выбрав второй путь, я запутался бы в сетях самой бессовестной лжи. После некоторого размышления я решил хранить глубочайшее молчание и не отвечать ни слова ни на один вопрос.

Покончив с этим, я начал перебирать в памяти события двух последних дней. Я был глубоко уверен, что имел дело с женщинами из плоти и крови, – какое-то непонятное чувство сильнее всех представлений о могуществе злых духов укрепляло меня в этом мнении; в то же время я был возмущен гнусной проделкой, в результате которой я оказался под виселицей.

Время шло. Меня начал донимать голод; зная, что в тюрьмах всегда дают хлеб и воду, я стал шарить ногами, не найдется ли чего-нибудь съестного. И на самом деле вскоре я коснулся какого-то полукруглого предмета, который оказался хлебом. Вопрос был только в том, как поднести его ко рту. Я лег рядом с хлебом и попробовал схватить его зубами, но он каждый раз ускользал от меня за отсутствием опоры; наконец я припер его к стенке и,

обнаружив, что это разрезанная пополам небольшая буханка, сумел ее укусить. Если бы хлеб не был разрезан, мне этого ни в коем случае не удалось бы. Потом я нащупал ногой и кувшин, но опять никак не мог приблизить его к губам: кончилось тем, что не успел я слегка промочить горло, как вся вода вылилась наземь. Продолжая поиски, я нашел в углу охапку соломы и лег. Руки мои были связаны так искусно, что я не чувствовал никакой боли и вскоре уснул.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Кажется, я проспал несколько часов, как вдруг меня разбудили. Я увидел входящего монаха-доминиканца и с ним несколько человек весьма неприятной наружности. У некоторых были в руках факелы, у других совершенно неизвестные мне инструменты, – явно орудия пытки. Я вспомнил о сделанном мною выборе и решил ни на волос от него не отступить. Подумал о своем отце; правда, его никогда не пытали, но я знал, что при многочисленных и болезненных хирургических операциях, каким он подвергался, он даже ни разу не крикнул.

«Последую его примеру, – сказал я сам себе, – словечка не пророню, вздоха не издам».

Инквизитор крикнул, чтоб ему принесли кресло, сел возле меня, придал своему лицу ласковое, приветливое выражение и обратился ко мне с такими словами:

– Милый, дорогой сын, благодари небо, что оно привело тебя в эту темницу. Но какой дал ты для этого повод? Какой грех совершил? Исповедуйся, в слезах и смирении ищи облегчения на груди моей. Не хочешь отвечать?.. Увы, сын мой, дурно, очень дурно поступаешь ты. Не в наших правилах допрашивать преступника. Мы предоставляем ему свободу изобличения самого себя. Такие признания, хоть отчасти и вынужденные, имеют свою хорошую сторону, особенно когда виновный находит нужным назвать соучастников. По-прежнему молчишь? Тем хуже для тебя; я вижу, что должен сам вывести тебя на правильный путь. Знаешь ли ты двух африканских принцесс, или верней – двух мерзких колдуний, гнусных ведьм, дьяволиц в образе человеческого? Не отвечаешь?.. Ввести сюда этих двух инфант Люциферовых!

Тут ввели обеих моих родственниц, с руками, связанными, как мои, – после чего инквизитор продолжал:

– Ну как, милый сын, узнаешь ты их? Продолжаешь молчать? Дорогой сын, пусть не устрасит тебя то, что я тебе скажу. Тебе сделают немного больно. Видишь вон те две доски? Твои ноги вложат в эти доски и стянут веревками, а потом вобьют тебе молотком между колен вот эти клинья. Сперва ноги твои нальются кровью, потом кровь брызнет из больших пальцев, а на других отвалятся ногти; подошвы полопаются, и вытечет жир, смешанный с раздавленным мясом. Это уже будет больней. Все не отвечаешь? Ты прав, это только подготовительные мученья. Но ты все-таки потеряешь сознание, однако тотчас очнешься с помощью вот этих солей и спиртов. Потом у тебя вынут эти клинья и вобьют вон те, большего размера. После первого удара у тебя раздробятся коленные суставы и кости, после второго ноги треснут сверху донизу, выскочит костный мозг и, вместе с кровью, обagrит эту солому. Ты упорствуешь в своем молчании? Хорошо, сожmite ему пальцы.

Услышав это, палачи схватили меня за ноги и положили между двумя досками.

– Не хочешь говорить?.. Вбейте клинья!.. Молчишь?.. Подымите молотки!..

В это мгновенье послышалась ружейная стрельба.

– О, Аллах! – воскликнула Эмина. – Мы спасены. Зото идет нам на помощь!

Зото вошел с толпой своих, выгнал вон палачей и приковал инквизитора к железному обручу, вбитому в стены тюрьмы. Потом развязал меня и обеих мавританок. Как только девушки почувствовали, что руки у них свободны, они обвинили ими мою шею. Нас разлучили. Зото велел мне садиться на коня и ехать вперед, обещая сейчас же поспешить вместе с женщинами вслед за мной. Авангард, с которым я выступил, состоял из четырех всадников. На рассвете в безлюдной местности мы сменили коней; потом стали карабкаться по

вершинам и склонам крутых гор.

Около четырех пополудни мы оказались около скалистого грота, где решили переночевать. Я радовался, что солнце еще не зашло, и вид был захватывающий, особенно для меня, видевшего до тех пор только Арденны и Зеландию. У ног моих простиралась очаровательная Вега-де-Гранада, которую жители упрямо называют la Nuestra Vegilla⁴. Я видел ее всю: шесть городов ее и сорок деревень, извилистое русло Хениля, потоки, низвергающиеся с вершин Альпухары, тенистые рощи, беседки, дома, сады и множество усадеб. Восхищенный чарующим зрелищем стольких соединенных вместе предметов, я сосредоточил все свои чувства в зрении. Во мне проснулся обожатель природы, и я совсем забыл о своих родственниках, которые не замедлили прибыть в носилках. После того как они уселись на разложенных в гроте подушках и немного отдохнули, я сказал им:

– Сударыни, я ничуть не жалею, что провел ту ночь в Вента-Кемаде, но, говоря откровенно, ее окончание пришлось мне не по вкусу.

– Считай нас, Альфонс, виновницами только приятных твоих снов, – сказала Эмина. – Кроме того, на что ты жалуешься? Разве ты не искал повода выказать сверхчеловеческую отвагу?

– Как? – перебил я. – Кто-нибудь может сомневаться в моей отваге? Если б такой нашелся, я дрался бы с ним на плаще или с платком в зубах.

– На плаще, с платком в зубах? Я не знаю, что ты под этим подразумеваешь, – возразила Эмина. – Есть вещи, о которых я не могу тебе говорить. И даже такие, о которых сама до сих пор ничего не знаю. Я исполняю только приказание главы нашего рода, приемника шейха Масуда, владеющего тайной Касар-Гомелеса. Могу лишь сказать тебе, что ты – наш близкий родственник. У отца твоей матери, оидора Гранады, был сын, оказавшийся достойным узнать тайну; он принял веру Пророка и женился на четырех дочерях дея, который правил тогда в Тунисе. Только у самой младшей из них были дети, и это была как раз наша мать. Вскоре после рождения Зибельды мой отец и три жены его умерли от чумы, опустошавшей тогда берега Берберии. Но довольно толковать об этих предметах, о которых ты потом узнаешь подробно сам. Поговорим о тебе, о той благодарности, которую мы к тебе испытываем, или верней – о нашем преклонении перед твоей отвагой. С каким спокойствием взирал ты на приготовления к пытке! Какую хранил нерушимую верность своему слову! Да, Альфонс, ты превзошел всех героев нашего племени, и отныне мы принадлежим тебе.

Зибельда, не прерывавшая сестру в тех случаях, когда разговор шел о деле, вступала в свои права в минуты чувствительности. Осыпанный лестными знаками внимания и похвалами, я был доволен сам собой и другими.

Вскоре приехали негритянки, и был устроен ужин, за которым сам Зото прислуживал нам со всей возможной почтительностью. После ужина негритянки постлали в пещере удобные постели для моих родственников, а я нашел себе другую пещеру, и мы тотчас погрузились в сон, потребность в котором давала так сильно себя чувствовать.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

На другое утро, чуть свет, караван был готов в поход. С гор мы спустились в глубокие долины, или скорей – в пропасти, казалось доходившие до самых недр земных. Они пересекали горный хребет в столь разнообразных направлениях, что невозможно было распознать ни нашего местоположения, ни цели, к которой мы стремились.

Так продвигались мы вперед шесть часов, пока не достигли развалин брошенного города. Тут Зото велел нам спешиться и, отведя меня к колодезю, промолвил:

– Сеньор Альфонс, загляни, пожалуйста, в этот колодец и скажи, что ты о нем думаешь. Я ответил, что вижу воду и что это, по-моему, обыкновенный колодец.

⁴ наша долина (исп.)

– Ты ошибаешься, – возразил Зото. – Это вход в мой дворец.

С этими словами он наклонился над отверстием и издал какой-то особенный клич.

В ответ с боков сруба на моих глазах выдвинулись доски, образовав возвышающийся на несколько пядей над водой помост, по которому из отверстия колодца вышел один вооруженный, а за ним другой.

Когда они ступили на землю, Зото сказал мне:

– Сеньор Альфонс, имею честь представить тебе двух моих братьев: Чичо и Момо. Ты, наверно, видел их висящими на виселице, но, несмотря на это, оба в добром здравии и будут всегда исполнять твои приказания; они, как и я, – на службе и на жалованье у великого шейха Гомелесов.

Я ответил ему, что очень рад видеть братьев человека, оказавшего мне такую важную услугу.

Волей-неволей пришлось спускаться в колодец. Принесли веревочную лестницу, по которой обе сестры сошли – проворней, чем я предполагал. Я последовал их примеру. Оказавшись на досках, мы обнаружили маленькую боковую дверь, в которую надо было войти, согнувшись пополам. Вскоре, однако, мы увидели широкие ступени, высеченные в скале и освещенные светильниками. Мы спустились примерно на двести ступеней под землю и наконец очутились в подземелье, разделенном на множество комнат и зал. Стены помещения для защиты от сырости были выложены пробкой. Позже я видел в Синтре, недалеко от Лиссабона, высеченный в скале монастырь, кельи которого были тоже обиты пробкой, почему его и прозвали Пробковым монастырем. Кроме того, все время поддерживаемый огонь сохранял в подземелье Зото приятное тепло. Кони размещены были поблизости, но в случае нужды их можно было отправить под землю по потайному ходу, выходящему в соседнюю долину. Для этого был даже устроен специальный ворот, к которому, однако, редко когда прибегали.

– Все эти чудеса, – промолвила Эмина, – создание Гомелесов. Они вырубили пещеры в этих скалах, когда были еще властителями страны, или, верней, окончили работу, начатую язычниками, населявшими Альпухару в момент их прибытия. По мнению ученых, на этом месте находились прииски чистого бетийского золота, а древние пророчества утверждают, что вся эта местность снова станет когда-нибудь собственностью Гомелесов. Как по-твоему, Альфонс? Неплохое было бы наследство.

Слова Эмины были мне не по душе, и я прямо ей это высказал; затем, чтоб направить разговор на другое, спросил, какие у нее виды на будущее.

Эмина ответила, что после всего, что произошло, они не могут больше оставаться в Испании, но хотят немного отдохнуть, пока для них не будет приготовлен корабль.

Подали обед, состоящий главным образом из дичины и сухих фруктов. Три брата прислуживали нам с беспримерным усердием. Я заметил моим родственникам, что трудно было бы найти более радушных висельников. Эмина с этим согласилась и, обращаясь к Зото, промолвила:

– Наверно, у тебя и твоих братьев было в жизни много необыкновенных приключений, о которых мы с большим удовольствием послушали бы.

После некоторых уговоров Зото сел рядом с нами и начал.

ИСТОРИЯ ЗОТО

Я родился в городе Беневенто, столице герцогства того же названия. Отец мой, которого тоже звали Зото, как и меня, по профессии был весьма искусным оружейником. Но так как в городе таких было трое и двум другим больше везло, заработка его едва хватало на прокорм жены и трех детей, то есть меня и двух моих братьев.

Через три года после свадьбы моей матери ее младшая сестра вышла замуж за торговца оливковым маслом по фамилии Лунардо, который в виде свадебного подарка преподнес ей пару золотых сережек и такую же цепочку на шею. Когда мать вернулась со свадьбы, у нее

был очень огорченный вид. Муж стал допытываться о причине, она долго отказывалась объяснить, в чем дело, но в конце концов призналась: ее мучит досада, что у нее нету таких сережек и такой цепочки, как у сестры. Отец ничего не сказал. У него в кладовой было охотничье ружье превосходной работы, с такими же пистолетами и охотничьим ножом. Ружье, над которым отец работал четыре года, давало четыре выстрела от одного заряда. Отец оценивал его в триста неаполитанских золотых унций. Он пошел в город и продал весь набор за восемьдесят унций. Потом купил серьги, цепочку и принес жене. Мать в тот же день пошла похвалиться перед женой Лунардо и страшно обрадовалась, когда было признано, что ее серьги гораздо красивее и богаче.

Через неделю жена Лунардо пришла навестить мою мать. На этот раз волосы у нее были сплетены и уложены в косу, заколотую большой золотой шпилькой с изящной рубиновой розой. Роза эта вонзила в сердце моей матери острый шип. Опять начались терзания и прекратились не прежде, чем отец обещал купить ей точно такую же шпильку. Но шпилька стоила сорок пять унций, и отец, не имея ни этих денег, ни возможности добыть их, вскоре сам впал в такое уныние, в каком была за несколько дней до того моя мать.

В это время к отцу зашел местный браво по имени Грилло Мональди, – принес ему пистолеты, чтоб тот их почистил. Заметив мрачный вид отца, Мональди спросил о причине, и отец все ему рассказал. После небольшого размышления Мональди обратился к нему с такими словами:

– Синьор Зото, я тебе должен больше, чем ты думаешь. Несколько времени тому назад мой кинжал был случайно обнаружен в теле человека, убитого по дороге в Неаполь. Суд посылал этот кинжал всем оружейникам, и ты великодушно заявил, что первый раз его видишь, хотя кинжал – из твоей мастерской и ты сам мне его продал. Сказав правду, ты мог доставить мне большие неприятности. Вот здесь сорок пять унций, которые тебе нужны. И, кроме того, помни, что отныне кошелек мой в твоём распоряжении.

Отец с благодарностью принял деньги и сейчас же пошел покупать золотую шпильку, с которой мать в тот же самый день предстала перед своей кичливой сестрой.

Домой она вернулась уверенная, что супруга Лунардо вскоре появится, украшенная какой-нибудь новой драгоценностью. Но в голове у той родился совсем другой замысел. Она решила пойти в церковь с наемным лакеем в ливрее и сообщила об этом мужу. Лунардо, от природы невероятно скупой, легко соглашался на покупку драгоценностей, которые, по его мнению, были в такой же безопасности на голове жены, как в его собственной шкатулке, но он отнесся совершенно иначе к просьбе уделить унцию золота для бездельника, который неизвестно зачем должен был полчаса стоять за скамейкой его жены. Однако синьора Лунардо так его мучила и беспрестанно терзала, что он в конце концов решил, ради экономии, сам надеть ливрею и поторопиться за женой в церковь. Синьора Лунардо нашла, что муж подходит для этой роли не хуже всякого другого, и решила со следующего воскресенья появляться в церкви с этой новой разновидностью лакея. Правда, соседи смеялись над этим маскарадом, но тетя моя приписывала это непреодолимому чувству зависти.

Когда она первый раз подходила к церкви, нищие стали кричать во все горло на своем своеобразном наречии:

– Mira Lunardu, che fa lu criadu de sua mugiera!⁵

Но так как бедняки простирают свою смелость только до известного предела, синьора Лунардо спокойно вошла в церковь, где перед ней расступились с надлежащим почтением. Ей подали святой воды и посадили ее на лавку, в то время как мать моя стояла среди женщин из низших слоев.

Вернувшись домой, мать сейчас же принялась обшивать голубой отцовский кафтан старым желтым галуном, отпоротым от какой-то ладунки. Отец, удивленный, спросил, для

⁵ Посмотрите на Лунардо, который превратился в слугу своей жены! (ит диал.)

чего это, и она рассказала ему про сестру, муж которой был так любезен, что, надев ливрею, пошел с женой в церковь. Отец уверил ее, что он не способен на такую любезность, но на следующее воскресенье нанял за унцию золота лакея в расшитой галуном ливрее, который пошел с моей матерью в церковь, и опять синьора Лунардо должна была уступить сестре.

В тот же самый день, как только кончилась месса, к отцу пришел Мональди и обратился к нему с такими словами:

– Дорогой Зото, я узнал о состязании в чудачествах, которые жена твоя затеяла со своей сестрой. Коли ты это сразу не прекратишь, то будешь несчастен всю жизнь. Перед тобой два пути: либо как следует проучить жену, либо заняться ремеслом, которое дало бы тебе возможность покрывать ее расходы. Если ты выберешь первый путь, я дам тебе ореховый прут, который я часто пускал в ход, имея дело с покойной женой. Прут этот, правда, не из тех, которые, если их взять за оба конца, поворачиваются в руках и служат для обнаружения подземных ключей, а иной раз и кладов, но, ежели взять его за один конец, а другим коснуться спины твоей жены, я ручаюсь, что ты легко и быстро вылечишь ее от всяких причуд. Но ежели ты желаешь удовлетворять все ее капризы, я познакомлю тебя с самыми бесстрашными людьми во всей Италии, которые теперь как раз гостят в Беневенто, так как это пограничный город. Полагаю, ты меня понял, так подумай и дай мне ответ.

С этими словами Мональди положил прут моему отцу на верстак и ушел.

Между тем мать моя после мессы отправилась на корсо и зашла кое к кому из приятельниц, чтобы похвалиться своим лакеем. Наконец вернулась, радостная, домой, но отец встретил ее совсем иначе, чем она рассчитывала. Он схватил ее левой рукой повыше локтя, а в правую взял лещинный прут и начал приводить в исполнение совет приятеля. Он с таким пылом взялся за дело, что мать упала без чувств, а испуганный супруг бросил прут, стал просить прощения, получил его, и мир был восстановлен.

Через несколько дней после этого отец отправился к Мональди и, сообщив ему, что прут не помог, попросил свести его с бесстрашными своими товарищами, о которых тот упоминал. Мональди ответил так:

– Меня удивляет, что, не имея духу наказать как следует свою собственную жену, ты рассчитываешь найти в себе мужество подстерегать прохожих на краю леса. Впрочем, это вполне возможно; в сердце человеческом таится столько противоречий. Я охотно познакомлю тебя со своими друзьями, но ты должен сперва совершить хоть одно убийство. Вечером, кончив работу, возьми длинную шпагу, сунь стилет за пояс и, приняв нахальный вид, расхаживай перед порталом Мадонны. Может быть, кому-нибудь понадобится твоя помощь. А пока будь здоров. Да благоприятствует небо твоим замыслам.

Отец послушался совета Мональди и вскоре заметил, что некоторые кавалеры вроде него и даже сбирь приветствуют его многозначительными взглядами. Через две недели таких прогулок к нему подошел какой-то богато одетый синьор и сказал:

– Вот тебе, сударь, сто унций. Через полчаса ты увидишь двух молодых людей с белыми перьями на шляпах. Ты подойдешь к ним, как бы желая сообщить какую-то тайну, и скажешь вполголоса: «Кто из вас – маркиз Фельтри?» Один ответит: «Это я». Ты сейчас же ударишь его стилетом в сердце. Другой юноша – жалкий трус и обратится в бегство. Тогда ты прикончишь Фельтри. А потом спокойно ступай домой и не старайся искать убежища в церкви. Я буду ждать тебя.

Мой отец выполнил в точности данное ему поручение и, вернувшись домой, увидел там незнакомца, чьей ненависти оказал такую добрую услугу.

– Синьор Зото, – сказал незнакомец, – я тебе очень благодарен за твою услугу. Вот тебе другой кошелек с сотней унций, который прошу принять, и еще один – с такой же суммой, его ты сунешь в руку слуге правосудия, когда он к тебе явится.

Сказав это, незнакомец завернулся в плащ и ушел.

Вскоре после этого к отцу явился начальник сбирь; однако, получив сто унций, предназначенных для правосудия, он пригласил отца к себе на приятельский ужин. Они вошли в помещение, прилегающее к городской тюрьме, и увидели здесь тюремного

надзирателя и тюремного духовника, уже сидящих за столом. Отец был немного взволнован, как обычно бывает после первого убийства. Священник, заметив его смущение, промолвил:

– Синьор Зото, отложи в сторону печаль. Месса в кафедральном соборе стоит двенадцать таро штука. Говорят, убили маркиза Фельтри. Закажи двадцать месс за упокой его души и получишь полное отпущенье.

И больше об этом событии не было речи, – ужин прошел весело.

Утром к отцу пришел Мональди – поздравить с отличным началом. Отец хотел отдать ему сорок пять унций, которые прежде у него занял, но Мональди сказал:

– Зото, ты обижаешь меня; если ты еще раз напомнишь мне об этих деньгах, я подумаю, что ты коришь меня за скупость. Мой кошелек всегда к твоим услугам, и ты можешь быть уверен в моей дружбе. Не стану скрывать от тебя, что я – главарь смельчаков, о которых тебе говорил; все это люди почтенные и безупречной порядочности. Если хочешь присоединиться к ним, скажи, что едешь в Брешию закупать стволы для мушкетов, и присоединяйся к нам в Капуе. Просто заезжай в трактир «Под золотым крестом», а об остальном не беспокойся.

Через три дня отец поехал и выполнил поручение столь же почетное, как и выгодное. Хотя климат Беневенто очень хороший, отец, еще не привыкнув к новому ремеслу, не хотел пускаться в путь в плохую погоду. Поэтому он провел зиму в кругу семьи. С тех пор каждое воскресенье ливрейный лакей сопровождал мою мать в церковь, и, кроме того, у нее появились золотые застёжки на корсаже и золотое кольцо для ключей.

Когда наступила весна, к моему отцу подошел на улице какой-то незнакомый слуга с просьбой пройти вместе с ним к городским воротам. Там их ждали пожилой дворянин и четыре всадника.

Дворянин сказал:

– Синьор Зото, возьми вот этот кошелек с пятьюдесятью цехинами, и поедem со мной в соседний замок. А пока позволь завязать тебе глаза.

Отец согласился на все и после продолжительной езды оказался наконец с незнакомцем в замке. Его ввели внутрь и развязали глаза. Он увидел женщину в маске, с кляпом во рту, привязанную к креслу. Старик сказал ему:

– Синьор Зото, вот тебе еще сто цехинов. А теперь будь добр, убей мою жену.

– Ты ошибся, синьор, – возразил мой отец. – Сразу видно, что ты меня не знаешь. Да, я нападаю на людей из-за угла либо в лесу, как пристало человеку порядочному, но никогда не исполняю обязанностей палача.

С этими словами он бросил оба кошелька под ноги ревнивому супругу, который больше не настаивал на своем требовании; Зото опять завязали глаза, и слуги отвели его к городским воротам. Этот великодушный, благородный поступок снискал отцу большое уважение, а вскоре и другой в таком же роде прибавил ему доброй славы.

В Беневенто было два богатых и почтенных человека; одного звали граф Монтальто, а другого – маркиз Серра. Монтальто прислал за моим отцом и обещал ему пятьсот цехинов за убийство маркиза. Отец только попросил об отсрочке, так как знал, что Серра имеет сильную охрану.

Через два дня маркиз Серра вызвал отца в уединенное место и сказал ему:

– Этот кошелек с пятьюстами цехинами будет твой, Зото, если ты дашь мне честное слово, что убьешь графа Монтальто.

Отец взял кошелек и заявил:

– Синьор маркиз, я даю честное слово, что убью графа Монтальто, но должен тебе сказать, что сперва обещал ему убить тебя.

– Но, надеюсь, ты этого не сделаешь, – со смехом сказал маркиз.

– Прошу прощенья, синьор маркиз, – спокойно возразил мой отец. – Я дал слово и не нарушу его.

Маркиз отпрянул на несколько шагов и схватился за шпагу, но отец вынул из-за пояса пистолет и разmozжил ему голову. Потом пошел к Монтальто и сообщил ему, что его врага

больше нет в живых. Граф обнял его и отсчитал пятьсот цехинов. Тут отец мой, немного смущенный, объявил, что маркиз перед смертью заплатил ему пятьсот цехинов за убийство графа; Монтальто выразил свою радость по поводу того, что успел опередить врага.

– Это не имеет никакого значения, синьор граф, – возразил отец. – Я ведь дал ему честное слово, что ты умрешь.

И он ударил его стилетом. Падая, граф страшно закричал, и на крик сбежались слуги. Отец проложил себе дорогу стилетом и скрылся в горы, где отыскал шайку Мональди. Все храбрецы, в нее входившие, не знали, какие воздать хвалы столь тонкому чувству чести. Готов поручиться, что случай этот до сих пор на устах у всех жителей Беневенто, и о нем долго еще будут говорить в этом городе.

Когда Зото кончил рассказывать об этом эпизоде из жизни своего отца, пришел один из его братьев и сообщил, что от него ждут указаний насчет приготовления корабля. Поэтому Зото покинул нас, попросив разрешения отложить дальнейшее повествование на завтра. Однако и то, что я уже слышал от него, крайне поразило меня. Мне казалось удивительным, что он все время восхваляет доблесть, щепетильность и незапятнанную честь людей, которые должны были бы считать милостью, если их только повесят. Злоупотребление словами, которыми он самоуверенно бросался, привело меня в великое смущение.

Видя мою задумчивость, Эмина спросила, в чем ее причина. Я ответил, что история отца Зото напомнила мне слышанное мною два дня тому назад от одного отшельника, который утверждал, что в наши дни добродетели опираются на нечто более надежное, чем чувство чести.

– Дорогой Альфонс, – сказала Эмина, – почитай этого отшельника и верь всему, что он тебе говорит. Ты с ним встретишься еще не раз в жизни.

После этого обе сестры встали и удалились, вместе с негротянками, в свои комнаты, то есть в отведенную для них часть подземелья. Вернулись они к ужину, после которого мы все пошли спать.

Когда в пещере все затихло, я увидел на пороге Эмину. В одной руке она держала светильник, как Психея, а другой вела свою сестру, более прекрасную, чем Амур. Постель моя была постлана так, что обеим было где сесть. Эмина промолвила:

– Милый Альфонс, я тебе уже сказала, что мы обе принадлежим тебе. Великий шейх простит нам, что мы немного предварили его разрешение.

– Прекрасная Эмина, – ответил я, – вы тоже должны простить меня. Если это – еще одно испытание, которому вы хотите подвергнуть мою добродетель, то очень опасаясь, что на этот раз ей несдобровать.

– Не бойся, – прервала прекрасная мавританка и, взяв мою руку, положила ее себе на бедро. Я почувствовал, что у меня под пальцами пояс, не имеющий ничего общего с поясом богини Венеры, хоть и вызывавший представление о ремесле ее супруга. У родственников моих не было ключика от замка, во всяком случае, так они утверждали.

Кроме самого центра, мне, к счастью, не был заказан доступ ни в какие другие пределы. Зибельда вспомнила роль возлюбленной, которую репетировала с сестрой. Эмина увидела во мне предмет тогдашних своих любовных восторгов и всеми своими чувствами отдалась этой сладкой иллюзии; младшая сестра ее, искусная, живая, полная огня, затопила меня своими ласками. Мгновенья эти были, кроме того, полны чего-то более неопределенного – помыслов, на которые мы едва намекали, и того сладкого вздора, который у молодых людей служит интермедией между свежим воспоминанием и надеждой на близкое счастье.

Наконец сон стал одолевать прекрасных мавританок, и они пошли к себе. Оставшись один, я подумал, как было бы неприятно, если б я утром проснулся опять под виселицей. Эта мысль показалась мне смешной, но в то же время не выходила у меня из головы, пока я не заснул.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Разбудив меня, Зото сказал, что я порядочно заспался и что уже готов обед. Я поспешно оделся и пошел к своим родственницам, которые ждали меня в столовой. Взгляд их остановился на мне с нежностью; казалось, девушки больше заняты воспоминаниями прошедшей ночи, чем приготовленным для них угощением. После обеда Зото сел рядом с нами и продолжал рассказ о своих похождениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЗОТО

Мне пошел седьмой год, когда отец мой вступил в шайку Мональди, и я хорошо помню, как мою мать, меня и двух моих братьев отвели в тюрьму. Но это было сделано только для вида, так как отец не забывал делиться своим заработком со слугами правосудия, которые легко позволили себя убедить, что у нас нет с отцом ничего общего. Начальник сборов во время нашего заточения принимал в нас горячее участие и даже сократил нам срок пребывания в тюрьме.

Выйдя на волю, мать моя была встречена с великим почетом соседками и жителями всего квартала, потому что на юге Италии разбойники – такие же народные герои, как в Испании – контрабандисты. Часть всеобщего уважения досталась и на нашу долю; в особенности меня признали главарем всех сорванцов на нашей улице.

Между тем Мональди погиб в одной из вылазок, и отец мой, приняв атаманство над шайкой, решился на отчаянно дерзкий поступок. Он устроил засаду на дороге в Салерно, по которой должен был проехать конвой с деньгами, отправленными вице-королем Сицилии. Предприятие увенчалось успехом, но отец был ранен мушкетной пулей в поясницу и больше не мог заниматься своим ремеслом. Его прощание с товарищами было невероятно трогательным. Говорят, несколько разбойников плакали навзрыд, чему я с трудом поверил бы, если бы сам раз в жизни не плакал горько, убив свою любовницу, о чем расскажу вам потом.

Шайка не могла долго существовать без главара; некоторые ее участники подались в Тоскану, где их повесили, остальные же присоединились к Теста-Лунге, который начал приобретать тогда известность в Сицилии. Отец мой переплыл пролив и направился в Мессину, где попросил убежища в августинской обители Дель-Монте. Он передал свои сбережения в руки инок, принес публичное покаяние и поселился близ церковной паперти. На новом месте он повел спокойный образ жизни, ему было разрешено гулять по монастырским садам и дворам. Монахи давали ему похлебку, а за остальными блюдами он посылал в соседний трактир; кроме того, монастырский служка перевязывал ему раны.

Видимо, отец часто посылал нам деньги, так как у нас в доме царил доволство. Мать принимала участие во всех развлечениях карнавала, а великим постом устраивала нам «презепио»⁶, то есть представление, изображающее вертеп, дарила нам куколок, дворцы из сахара, игрушки и тому подобные безделицы, которыми обитатели Неаполитанского королевства стараются друг друга перещеголять. Тетя Лунардо тоже устраивала такие представления, но гораздо скромней наших.

Мать, насколько я помню, была женщина добрая, и часто мы видели ее плачущей при мысли об опасностях, которым подвергался ее муж; но вскоре возможность появиться в каком-нибудь наряде или драгоценном уборе, на зависть сестре или соседям, осушала ее слезы. Радость, доставленная пышным «презепио», была для нее последней. Каким-то образом она схватила воспаление легких и через несколько дней умерла.

После ее смерти мы не знали бы, что делать, если б тюремный надзиратель не взял нас к себе. Мы пробыли у него несколько дней, после чего нас отдали на попечение одному

⁶ ясли (ит.)

погонщику мулов. Тот провез нас через Калабрию и на четырнадцатый день доставил в Мессину. Отец уже знал о смерти своей жены; он принял нас с трогательной нежностью, велел нам расстелить свои циновки возле его циновки и представил нас монахам, после чего мы были приняты в число детей, прислуживавших во время мессы.

Мы стали служками, поправляли фитили у свечей, зажигали лампы, а в остальное время дня бездельничали на улице – не хуже, чем в Беневенто. Поедим супу у монахов, получим от отца по одному таро на каштаны да баранки и уйдем развлекаться в порту, чтобы вернуться только поздно ночью. В общем, на свете не было уличных мальчишек счастливей нас, пока одно происшествие, о котором я до сих пор не могу говорить без возмущения, не перевернуло всю мою жизнь.

Однажды в воскресенье, перед самой вечерней, я прибежал ко входу в церковь, нагруженный каштанами, которые купил для себя и своих братьев, и стал делить между ними любимые плоды. В это время к церкви подъехал роскошный экипаж, запряженный шестерней, с парой свободных лошадей той же масти – впереди. Дверцы отворились; из экипажа вышел дворянин и подал руку красивой даме, за ними последовал священник и, наконец, мальчик моего возраста, прехорошенький, в венгерском костюме; так одевали тогда многих детей.

Венгерка из синего бархата, расшитая золотом и отороченная соболем, спускалась ниже колен, покрывая верх его желтых сафьяновых сапожков. На голове у него была шапочка тоже из синего бархата, отороченная соболем и украшенная султаном из жемчуга, падавшим ему на плечо. У пояса из золотых позументов и шишечек висела осыпанная драгоценными камнями сабелка. В руке он держал молитвенник в золотом переплете.

Вид такого нарядного мальчика моих лет до того меня восхитил, что я, сам не зная, что делаю, подошел к нему и протянул ему два каштана, которые были у меня в руке; но подлый негодяй, вместо благодарности за мою приветливость, изо всей силы ударил меня в нос молитвенником. Этим ударом он чуть не выбил мне левый глаз, а застежка переплета, зацепившись за ноздрю, разорвала ее, и я в одно мгновение залился кровью. Кажется, я слышал, как барчук пронзительно закричал, но не могу сказать наверное, так как упал, потеряв сознание. Очнулся я у садового колодца, окруженный отцом и братьями, которые обмывали мне лицо и старались остановить кровотечение.

Когда я еще лежал так, окровавленный, мы увидели, что к нам подходят барчук с тем дворянином, который вышел первым из экипажа; а за ними идут священник и два лакея, у одного из которых пук розог в руках. Дворянин в коротких словах объявил нам, что герцогиня де Рокка Фьорита требует, чтоб меня выпороли до крови за то, что я посмел испугать ее самое и ее маленького Принчипино. Лакеи тотчас приступили к исполнению приговора. Отец мой, боясь, как бы монастырь не отказал ему в прибежище, сперва не решался сказать ни слова, но, видя, как безжалостно терзают мое тело, в конце концов не выдержал и, обращаясь к дворянину, с глубоким возмущением промолвил:

– Сударь, прикажи кончить эту пытку, а не то имей в виду: я убил не одного стоившего в десять раз дороже, чем ты.

Дворянин, конечно, понял, что это не пустая угроза, и велел перестать, но, когда я еще лежал на земле, Принчипино подошел ко мне и ударил меня ногой в лицо со словами:

– Managia la tua faccia de banditu!⁷

Бесчестие это переполнило чашу моего терпения. Могу сказать, что с этой минуты я перестал быть ребенком, или вернее – с тех пор не испытал ни одной радости, свойственной этому возрасту, и долго потом не мог хладнокровно видеть человека в богатой одежде.

Несомненно, что месть – это первородный грех нашего края, так как, несмотря на свои восемь лет, я день и ночь только и думал, как бы покарать Принчипино. Не раз вскакивал я с постели, увидев во сне, будто держу его за волосы и осыпаю ударами, а наяву продолжал

⁷ Бандитская рожа окаянная! (ит диал.)

раздумывать, каким бы способом отомстить издали (я понимал, что мне не дадут подойти к нему) и, удовлетворив свое страстное желание, сейчас же убежать. Наконец решил угодить ему камнем в лицо, так как был довольно ловок; а пока, чтоб еще лучше набить руку, целые дни кидал в цель.

Как-то раз отец спросил меня, по какой причине я с такой страстью отдаюсь своей новой забаве. Я ответил, что решил разбить морду Принчипино, а потом убежать и стать разбойником. Отец сделал вид, будто не поверил, но по его улыбке я понял, что он одобряет мое намерение.

Наконец наступило воскресенье, намеченное мной как день мести. Когда карета подъехала и я увидел выходящих, я было смутился, но тотчас собрался с духом. Мой маленький враг заметил меня в толпе и высунул мне язык. Камень был у меня в руке, я кинул его, и Принчипино упал навзничь.

Я сейчас же пустился бежать и остановился только на другом конце города. Там я встретил знакомого подмастерья-трубочиста, который спросил меня, куда я иду. Я рассказал ему всю историю, и он отвел меня к своему хозяину. Тому как раз нужны были ребята, он не знал, где их взять для такого неприятного ремесла, и охотно меня принял. Он уверил, что никто меня не узнает, как только кожа моя почернеет от сажи, а лазанье по крышам и дымоходам – искусство, нередко очень полезное. Он был прав; впоследствии я не раз был обязан жизнью приобретенному тогда проворству.

Сначала дым и запах сажи очень меня донимали, но, к счастью, я был в том возрасте, когда можно привыкнуть ко всему. Уже полгода занимался я этим новым ремеслом, когда со мной произошел следующий случай.

Я находился на крыше, прислушиваясь, из какой трубы отзовется мой хозяин; мне показалось, что голос слышится из соседней. Я стал поспешно спускаться, но под крышей обнаружил, что дымоход расходится в разные стороны. Мне надо было еще раз подать голос, но я не сделал этого и, не подумав, стал слезать через первое попавшееся из двух отверстий. Спустившись, я оказался в богато обставленной комнате, и первое, что я увидел, был мой Принчипино в рубашке, играющий в мячик.

Хоть маленький глупец, наверно, уже не раз в своей жизни видел трубочистов, он принял меня за черта. Он упал на колени, сложил руки и стал меня просить, чтоб я не утаскивал его с собой, обещая, что будет вести себя хорошо. Я, может быть, и смягчился бы, слыша эти уверенья, но в руке у меня была метла трубочиста, искушение пустить ее в ход было слишком сильно; к тому же, хоть я и отомстил за удар молитвенником и отчасти за розги, однако в памяти у меня было еще живо то мгновение, когда Принчипино пнул меня ногой в лицо, промолвив: «Managia la tua faccia de banditu!» Да и помимо всего прочего, каждый неаполитанец, мстя, предпочитает всегда лучше немного перегнуть палку, чем хоть чуть-чуть недогнуть ее.

Я вырвал пук розог из метлы, разорвал рубашку на Принчипино и, обнажив ему спину, принялся изо всех сил хлестать его. Но удивительное дело: парнишка от страха не пикнул!

Нахлестав вдоволь, я вытер себе лицо и сказал:

– Ciucio maledetto, io no zuno lu diavolu, io zuno lu picciolu banditu delli Augustini⁸.

Тут к Принчипино сразу вернулся голос, и он принялся громко звать на помощь; я, понятно, не стал ждать, пока кто-нибудь прибежит, и скрылся той самой дорогой, по которой пришел.

Оказавшись на крыше, я опять услышал голос хозяина, звавшего меня, но не почел за нужное отвечать. Я помчался по крышам, пока не очутился на крыше какой-то конюшни, перед которой стоял воз сена; я спрыгнул на этот воз, с воза на землю и побежал во весь дух в монастырь августинцев. Там я все рассказал отцу, который слушал меня с большим интересом, а потом сказал:

⁸ проклятый осленок, я не черт, я маленький разбойник из монастыря августинцев (ит диал.)

– Zoto, Zoto! Gia vegio che tu sarai banditu⁹.

Потом обратился к стоявшему рядом с ним неизвестному мне человеку со словами:

– Padron Lettereo, prendete lo chiotosto vui¹⁰.

Леттерео – очень распространенное в Мессине крестное имя. Происходит оно от некоего письма, якобы написанного пречистой девой к жителям этого города и датированного ею: «В 1452 году от рождения моего сына». Мессинцы относятся к этому письму с таким же благоговением, как неаполитанцы – к крови святого Януария. Объясняю вам это обстоятельство, так как полтора года спустя вознес к Мадонне делла Леттера молитву, как я думал, последнюю в своей жизни.

Папаша Леттерео был капитаном вооруженного парусного трехмачтовика, предназначенного якобы для добычи кораллов; на самом же деле почтенный моряк занимался контрабандой, а случится – так и разбоем. Правда, это не часто ему удавалось, так как, не имея пушек, он был вынужден довольствоваться ограблением кораблей у пустынных берегов.

Об этом хорошо знали в Мессине; но Леттерео возил контрабанду для богатых купцов города, таможенники тоже имели от этого доход; с другой стороны, не было тайной, что папаша охотно поигрывает стилетом, и это последнее обстоятельство сдерживало всех, кто задумал бы мешаться в его дела.

Леттерео отличался видной наружностью, высокий рост и широкие плечи выделяли его среди толпы; но, кроме того, весь его облик так соответствовал роду его деятельности, что один вид этого человека вызывал дрожь у более робких. Сильно загорелое лицо его еще больше почернело от порохового дыма; и эту просмоленную кожу он разукрасил разными чудными рисунками.

Средиземноморские моряки имеют обыкновение татуировать себе на плечах и груди разные цифры, кресты, рисунки кораблей и тому подобные украшения. Леттерео превзошел в этом всех. На одной щеке он вытатуировал себе Мадонну, а на другой – распятие, но видны были одни верхушки этих изображений, так как все остальное скрывала густая борода, которую никогда не трогала бритва и только ножницы удерживали в каких-то границах. Прибавьте к этому огромные золотые серьги в ушах, красную шапку, такого же цвета пояс, кафтан без рукавов, короткие матросские штаны, руки, голые до плеч, а ноги – до колен, и карманы, полные золота.

Утверждали, будто, когда он был молод, в него влюблялись разные знатные дамы, но теперь он пользовался успехом только среди женщин своего круга и был грозой их мужей.

Наконец, чтобы закончить портрет Леттерео, скажу вам, что когда-то он был в большой дружбе с одним известным человеком, позже прославившимся под именем капитана Пепо. Они вместе служили у мальтийских корсаров. Потом Пепо перешел на королевскую службу, Леттерео же, ценивший деньги дороже чести, задумался целью разбогатеть любыми средствами и сразу стал заклятым врагом прежнего своего товарища.

Отец мой, чье занятие в монастыре заключалось лишь в перевязывании своих ран, исцеления от которых он уже не ждал, охотно вступал в разговор с такими же рыцарями с большой дороги, как он. Он подружился с папашей Леттерео и, поручая меня ему, не думал встретить отказа. И не ошибся. Тронутый доверием, Леттерео сказал моему отцу, что период ученичества будет для меня легче, чем для других юнг, объяснив, что овладевший ремеслом трубочиста в два дня без труда научится забираться на мачты.

Эта перемена меня просто осчастливила, так как новое занятие представлялось мне гораздо более благородным, чем выскребывание печных труб. Я обнял отца, братьев и весело зашагал с папашей Леттерео на его корабль. Поднявшись на верхнюю палубу, Леттерео

⁹ Зото, Зото! Уж вижу, что ты будешь бандитом (ит диал.)

¹⁰ папаша Леттерео, возьмите его лучше к себе (ит диал.)

созвал двадцать своих матросов, вид которых как нельзя лучше соответствовал его наружности, и представил меня этим синьорам, сказав при этом:

– Anime managie, quistra criadura e lu filiu de Zotu, se uno de vui a outri li mette la mano sorpa, io li mangio ranima¹¹.

Эта рекомендация возымела желанное действие, меня хотели даже посадить за общий стол, но, видя, что двое юнг прислуживают матросам, а сами едят, что останется, я присоединился к ним. Поступок этот снискал мне всеобщее расположение. А когда потом увидели, как быстро я карабкаюсь по рейке, со всех сторон послышались крики удивления. На кораблях с латинским парусным оснащением рейка играет роль реи, но удержаться на рейке куда трудней, чем на рее, так как реи находятся всегда в горизонтальном положении.

Мы распустили паруса и на третий день подошли к проливу Святого Бонифация, отделяющему Сардинию от Корсики. Оказалось, что более шестидесяти барок промышляют там сбором кораллов. Мы тоже стали собирать, или, вернее, делать вид, что собираем, кораллы. Что касается меня, я не терял времени даром: за четыре дня научился плавать и нырять не хуже самого ловкого из моих товарищей.

Восьмидневная грегалада – так называют на Средиземном море бурный северо-восточный ветер – рассеяла наш маленький флот. Каждый спасался, как умел. Нас пригнало к побережью Сардинии, в безлюдную местность, известную под названием Пристани святого Петра. Мы застали там венецианскую полакру, видимо, сильно потрепанную бурей. В голове у Леттерео тотчас зародились какие-то планы насчет этого корабля, и он бросил якорь рядом с ним. Потом часть матросов спрятал в трюме, чтоб экипаж казался не таким многочисленным. Предосторожность, впрочем, совершенно бесполезная, так как на трехмачтовиках с латинским оснащением экипаж всегда больше, чем на других кораблях.

Наблюдая за венецианским кораблем, Леттерео установил, что его экипаж состоит из капитана, боцмана, шести матросов и одного юнга. Кроме того, он заметил, что марсель у него совсем изорванный и спущен для починки, так как торговые корабли не имеют парусов для смены. Произведя эти наблюдения, он сложил в шлюпку восемь ружей и столько же сабель, прикрыл все это просмоленной холстиной и стал ждать подходящей минуты.

Когда распогодилось, матросы вскарабкались на марс-рею, чтобы поднять марсель, но взялись за дело так неловко, что пришлось подняться и боцману, а затем и капитану. Тогда Леттерео приказал спустить шлюпку на море, потихоньку сел в нее с семерыми матросами и напал на венецианский корабль с тыла. Увидев это, капитан, стоя на рее, закричал:

– A larga ladron! A larga!¹²

Но Леттерео взял его на мушку, грозя убить каждого, кто попытается спуститься на палубу. Капитан, – видимо, человек отважный, – пренебрегая угрозой, бросился вниз между снастями. Леттерео убил его влет; капитан упал в море, и только его и видели. Матросы сдались. Леттерео поставил четырех своих стеречь, а сам с троими спустился внутрь корабля. В каюте капитана он нашел бочонок, в каких держат оливки; но бочонок был тяжеловат и тщательно обит обручами, и он подумал, что там, может быть, что-то поинтересней. Он разбил бочонок и с приятным удивлением увидел вместо оливок несколько мешочков с золотом. Удовлетворившись этим, он протрубил отбой. Отряд вернулся на борт, мы подняли паруса и, проходя мимо венецианского судна, крикнули ему в насмешку:

– Viva san Marco!¹³

Через пять дней мы пришли в Ливорно. Леттерео с двумя матросами сейчас же отправился к неаполитанскому консулу и сообщил о том, что между его матросами и

¹¹ окаянные висельники, этот малый – сын Зото, если кто из вас его тронет, я из того дух вышибу (ит диал.)

¹² Убирайся, разбойник! Убирайся! (ит диал.)

¹³ Слава святому Марку! (ит.)

экипажем венецианской полакры произошла ссора и что капитан последней упал в море, так как его случайно толкнул один из матросов. Определенная часть того, что содержал в себе бочонок для оливок, придала этому сообщению отпечаток неопровержимой истины.

Леттерео, обладавший неодолимой склонностью к морскому разбою, без всякого сомнения, продолжал бы заниматься этим ремеслом, если бы в Ливорно перед ним не открылись иные возможности, которым он отдал предпочтение. Один еврей, по прозванию Натан Леви, учтя, что папа и неаполитанский король получают огромную прибыль, чеканя медную монету, решил тоже заняться этим выгодным промыслом. С этой целью он заказал большое количество этих монет в одном английском городе под названием Бирмингем. Когда заказ был выполнен, еврей поселил своего фактора в Флариоле – рыбацкой деревушке, лежащей на границе, а Леттерео взял на себя доставку и размещение товара.

Торговля эта приносила нам великий доход, и целый год наш корабль, груженный римской и неаполитанской монетой, курсировал по одному и тому же маршруту. Может быть, мы продолжали бы и дальше эти рейсы, но Леттерео, отличавшийся торговой предприимчивостью, уговорил еврея перейти с медной монеты на золотую и серебряную. Еврей послушался его совета и основал в самом Ливорно небольшое предприятие по чеканке цехинов и скудо. Наши доходы пробудили зависть властей. Однажды, когда Леттерео находился в Ливорно и должен был вот-вот отправиться в очередной рейс, его известили, что капитан Пепо получил от неаполитанского короля приказ схватить его, но выйти в море Пепо может только к концу месяца.

Это была коварная выдумка Пепо, уже четыре дня кружившего возле берега. Леттерео попался на удочку; ветер был попутный, он решил, что успеет совершить свой рейс, и поднял парус. А утром, на рассвете, мы увидели, что находимся посреди эскадры Пепо, состоящей из двух галиотов и стольких же скампавий. Окруженные со всех сторон, мы не имели никакой возможности бежать. Глаза папаши Леттерео метали молнии. Он поднял все паруса и приказал держать прямо на главный галиот. Пепо стоял на мостике и отдавал приказания, стремясь взять наш корабль на абордаж. Леттерео схватил ружье, прицелился в него и раздробил ему плечо. Все это было делом нескольких секунд.

Вслед за тем все четыре судна двинулись на нас, и мы слышали со всех сторон:

– Maina ladro! Maina can senza fede!¹⁴

Леттерео повернул корабль в наветренную сторону, так что он одним бортом лег на воду; потом, обращаясь к экипажу, крикнул:

– Anime managie, io in galera non ci vado. Pregate per me la santissima Madonna della Lettera¹⁵.

Услышав это, все мы упали на колени. Леттерео положил себе в карманы два пушечных ядра, мы подумали, что он хочет броситься в море, но у коварного разбойника было другое намерение. На подветренной стороне судна стояла большая бочка, полная медью. Леттерео схватил топор и перерубил удерживавшие ее веревки. Бочка сейчас же покатила к противоположному борту, и так как судно имело уже сильный крен, оно тотчас совсем перевернулось. Все мы, стоящие на коленях, упали на паруса, которые в то мгновение, когда корабль пошел ко дну, отбросили нас, благодаря своей упругости, на несколько локтей.

Пепо выловил всех из воды, кроме капитана, одного матроса и юнги. Нас вытаскивали, связывали и бросали в трюм. Через четверо суток мы высадились в Мессине. Пепо сообщил судебным властям, что хочет передать им несколько молодцов, заслуживающих внимания. Высадка наша не лишена была торжественности. Она происходила как раз во время корсо – в

¹⁴ Сдавайся, разбойник! Сдавайся, неверный пес! (ит диал.)

¹⁵ Окаянные висельники, я не пойду на каторгу. Молитесь за меня пресвятой Мадонне делла Леттера (ит диал.)

те часы, когда весь большой свет совершает прогулки по набережной. Мы выступали важным шагом, сопровождаемые спереди и сзади сбирами.

Среди зрителей оказался Принчипино. Он сразу узнал меня, как только увидел, и крикнул:

– Ecco lu picciolu banditu deli Augustini!¹⁶

Он тут же подскочил ко мне, впился мне в волосы и расцарапал лицо. Руки у меня были связаны, я почти не мог защищаться. Но вспомнив прием, применяемый английскими матросами в Ливорно, я высвободил голову и изо всей силы ударил его головой в живот. Негодяй упал навзничь. Но тут же вскочил в бешенстве, выхватил из кармана ножик и хотел меня пырнуть. Чтобы помешать этому, я подставил ему ногу; он грохнулся на землю и к тому же ранил себя своим собственным ножом. В эту минуту появилась герцогиня и приказала лакеям повторить со мной сцену в монастыре; но сбирь этому воспрепятствовали и увели нас в тюрьму.

Суд над нашей командой был недолог: всех приговорили к розгам и пожизненной каторге. Что же касается спасенного юнга и меня, то нас отпустили, как несовершеннолетних.

Выйдя из тюрьмы, я сейчас же побежал в монастырь августинцев. Отца я не застал в живых; послушник-вратарь сказал мне, что он умер, а братья мои поступили юнгами на какой-то испанский корабль. Я попросил разрешения переговорить с отцом приором, и меня провели к нему. Я рассказал ему обо всех своих приключениях, не умолчав ни о подножке, ни об ударе, нанесенном Принчипино головой в живот. Его преподобие выслушал меня с великой добротой, потом сказал:

– Дитя мое, твой отец, умирая, оставил монастырю значительную сумму денег. Это богатство было нажито несправедливым путем, и вы не имели на него никакого права. Теперь оно в руках Господа и должно быть употреблено на содержание его слуг. Однако мы осмелились взять из него несколько скудо для испанского капитана, принявшего на себя заботу о судьбе твоих братьев. Что касается тебя, мы не можем дать тебе прибежища у нас в монастыре из-за герцогини де Рокка Фьорита, знатной нашей благодетельницы. Ты отправишься, дитя мое, в принадлежащую нам деревеньку у подножья Этны и славно проведешь там свои детские годы.

После этого приор позвал брата Лэ и дал ему соответствующие указания относительно дальнейшей моей судьбы.

На другой день я тронулся с братом Лэ в путь. Приехали в деревушку; там меня устроили на жительство, и с тех пор единственной моей обязанностью стало носить посылки в город. Во время этих маленьких путешествий я старался по возможности не встречаться с Принчипино. Но как-то раз он увидел меня на улице, когда я покупал каштаны, узнал и велел лакеям немилосердно избить меня. Через некоторое время я опять влез, переодетый, к нему в комнату и, конечно, вполне мог бы его убить; до сих пор жалею, что не сделал этого, но в то время я еще недостаточно освоился с такого рода обхождением и поэтому ограничился тем, что хорошенько отхлестал его.

Несчастливая звезда моя, как вы видите, сделала то, что в ранней моей юности не проходило полугода, чтобы я не встретился с проклятым Принчипино, причем сила обычно была на его стороне. В пятнадцать лет я хоть возрастом и разумом оставался еще ребенком, однако по силе и отваге был уже взрослый мужчина, но это не должно удивлять вас, если вы учтете, что морской, а потом горный воздух очень содействовал моему телесному развитию.

Мне было пятнадцать лет, когда я впервые увидел знаменитого своим образом мыслей и отвагой Теста-Лунгу, самого порядочного и благородного из разбойников, какие когда-либо жили на Сицилии. Завтра, если вам угодно, я расскажу об этом человеке, память о котором вечно останется в моем сердце. А сейчас я должен вас покинуть: моя обязанность

¹⁶ Это ты, маленький разбойник из монастыря августинцев! (ит диал.)

наблюдать за тщательным порядком в пещере.

Зото ушел, и каждый из нас на свой лад стал судить о том, что услышал. Признаюсь, я не мог отказать в известного рода уважении таким отважным людям, какими были те, которых изобразил Зото в своем повествовании. Эмина утверждала, что отвага заслуживает нашего уважения лишь в том случае, если применяется для защиты правого дела. Зибельда, со своей стороны, заметила, что в юного шестнадцатилетнего разбойника можно было влюбиться.

После ужина каждый пошел к себе, но вскоре обе сестры вдруг снова вернулись ко мне. Они сели, и Эмина промолвила:

– Милый Альфонс, не можешь ли ты принести ради нас одну жертву? И даже не столько ради нас, сколько ради себя.

– К чему все эти предисловия, моя прекрасная родственница? – ответил я. – Скажи мне просто, что я должен сделать.

– Дорогой Альфонс, – прервала Эмина, – этот талисман, который ты носишь на шее и называешь частицей животворящего креста, смущает нас и повергает в невольную дрожь.

– О, что касается этого талисмана, – поспешил возразить я, – не просите его у меня. Я обещал матери никогда не снимать его, и, по-моему, не тебе сомневаться в том, умею ли я держать свое слово.

В ответ мои родственницы слегка насупились и замолчали; но вскоре смягчились, и ночь прошла так же, как и предыдущая. Этим я хочу сказать, что пояса моих родственников остались нетронутыми.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

На другое утро я проснулся раньше, чем накануне, и пошел проводить моих родственников. Эмина читала Коран, а Зибельда примеряла жемчуг и шали. Я прервал эти важные занятия нежными ласками, выражавшими в равной мере и любовь и дружбу. Потом мы обедали, а после обеда Зото в таких словах продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЗОТО

Я обещал рассказать вам о Теста-Лунге и теперь исполняю свое обещание. Мой друг был мирным жителем Валь-Кастеры, маленького городка у подножья Этны. У него была красавица жена. Молодой герцог Валь Кастера, осматривая однажды свои владения, увидел эту женщину, пришедшую вместе с женами самых почтенных горожан приветствовать его. Надменный юноша, вместо того чтобы принять с благодарностью дань уважения, которую его подданные пришли воздать ему устами красоты, посвятил все свое внимание прелестям синьоры Теста-Лунга. Без дальних околичностей он объяснил ей, какое впечатление произвела она на его чувства, и сунул ей руку за корсаж. В то же мгновение муж, стоявший за спиной жены, вынул нож из кармана и погрузил его в сердце молодого герцога. Мне кажется, на его месте каждый порядочный человек поступил бы так же.

Совершив это, Теста-Лунга укрылся в церкви и сидел там до наступления ночи. Полагая, однако, что ему надлежит найти более надежное убежище, он решил пристать к нескольким разбойникам, уже скрывавшимся в это время на вершинах Этны. Он ушел к ним, и они объявили его своим атаманом.

Этна в то время извергала невероятное количество лавы; среди огненных ее потоков Теста-Лунга укрыл свою банду в потайных местах, одному ему известных. Достаточно обезопасив себя таким образом со всех сторон, этот храбрый атаман обратился к вице-королю с просьбой о помиловании для себя и своих товарищей. Власть отказала, по-моему, из боязни уронить свой авторитет. Тогда Теста-Лунга вступил в переговоры с главными арендаторами окружающих поместий.

– Будем грабить сообща, – сказал он им. – Когда я буду приходить к вам, давайте мне, что сами захотите, и за это можете перед хозяевами валить все свои грабежи на меня.

Конечно, это тоже был грабёж, но Теста-Лунга добросовестно делил все между товарищами, оставляя себе лишь столько, сколько ему было необходимо для жизни. Мало того: проходя через какую-нибудь деревушку, он приказывал платить за все вдвое, так что очень скоро стал кумиром обеих Сицилий.

Я уже говорил вам, что некоторые разбойники из шайки моего отца присоединились к Теста-Лунге, несколько лет остававшемуся на южном склоне Этны, откуда он производил набеги на Валь-ди-Ното и Валь-ди-Мазара. Но в то время, о котором я говорю, то есть когда мне исполнилось пятнадцать лет, шайка вернулась в Валь-де-Мони, и однажды мы были свидетелями ее появления в деревушке августинцев.

Вы даже отдаленно не можете себе представить весь блеск и великолепие этого зрелища. Товарищи Теста-Лунги были в мундирах, кони их – покрыты шелковыми сетками; пояса, оцетиненные пистолетами и стилетами, на боку длинные сабли, за спиной огромные ружья, – вот как была вооружена эта разбойничья шайка.

В три дня разбойники съели наших кур и выпили наше вино, а на четвертый им донесли, что из Сиракуз выступил отряд драгун, чтобы окружить их. Это известие привело их в самое веселое настроение. Они устроили засаду на перекрестке дорог, ударили на отряд и разбили его наголову. Силы неприятеля превосходили их силы в десять раз, но у каждого разбойника было больше десяти пуль, из которых ни одна не ударила мимо цели.

Одержав победу, шайка вернулась в деревушку, и я, наблюдавший издали весь бой, был в таком восхищении, что упал в ноги атаману, умоляя его принять меня в число своих Теста-Лунга спросил, кто я такой.

– Сын разбойника Зото, – ответил я.

Услыхав это почетное имя, все, кто служил под началом моего отца, издали крик радости. Потом один из них схватил меня в свои объятия, поставил на стол и промолвил:

– Друзья, в последней схватке мы потеряли лейтенанта и не знаем, кто его заменит. Пускай нашим лейтенантом будет молодой Зото. Сыновьям герцогов и графов часто доверяют командование полком. Отчего же нам не поступить так же с сыном храброго Зото? Ручаюсь, что он окажется достойным такой чести.

Слова оратора были покрыты громкими рукоплесканиями, и меня единодушно избрали лейтенантом.

Сначала это мое звание казалось им шуточным, и ни один разбойник не мог удержаться от смеха, называя меня *signore tenente*¹⁷, но вскоре им пришлось переменить свое мнение. Я не только был всегда первым в нападении и последним в отступлении, но никто из них не умел лучше меня проникнуть в замыслы противника или обеспечить шайке безопасность. То я влезал на вершины скал, чтоб охватить взглядом всю местность и дать условный знак, то проводил целые дни среди врагов, перепрыгивая с дерева на дерево. Часто случалось мне даже просиживать целые ночи напролет на самых высоких каштанах Этны, привязав себя поясом к суку на случай, если одолеет дремота. Все это было под силу для того, кто хорошо изучил ремесло трубочиста и юнги.

Так мало-помалу я снискал всеобщее уважение, и мне доверили охрану всей шайки. Теста-Лунга полюбил меня, как родного сына, и, смею сказать, я приобрел славу, чуть не превышающую его известность; вскоре по всей Сицилии ни о чем другом не говорили, как только о блестящих подвигах молодого Зото. Слава не сделала меня равнодушным к забавам, свойственным моему возрасту. Я уже говорил вам, что у нас разбойники – народные герои, и вы легко поймете, что самые хорошенькие пастушки Этны, не колеблясь, отдали бы мне свое сердце; но мне было суждено оказаться под властью более изысканных чар, и любовь приготовила для меня более лестную добычу.

¹⁷ господин лейтенант (ит.)

Мне уже исполнилось семнадцать лет, и я был два года лейтенантом, когда новое извержение вулкана уничтожило все наши прежние укрытия и вынудило нашу шайку искать приюта где-нибудь южнее. После четырехдневного похода мы пришли к замку под названием Рокка-Фьорита, местопребыванию и главному владению моего врага Принчипино.

Я давно уже забыл об испытанных от него обидах, но название замка снова разбудило во мне жажду мести. Это нисколько не должно вас удивлять: в наших краях сердца неумолимы. Если бы Принчипино был тогда в своем замке, я, наверно, предал бы это проклятое гнездо огню и мечу. На этот раз, однако, я ограничился тем, что причинил возможно больший ущерб, в чем товарищи мои, для которых не были тайной мои побуждения, усердно мне помогли. Замковая прислуга, сперва пытавшаяся было оказать нам сопротивление, покорила обильным потокам господского вина, добытого нами из погреба, и не замедлила перейти на нашу сторону. Одним словом, мы превратили замок Рокка-Фьорита в настоящий остров изобилия.

Гульба длилась пять дней. На шестой лазутчики предупредили меня, что против нас послан из Сиракуз целый полк и что вскоре из Мессины должен приехать Принчипино с матерью и многочисленным женским обществом. Я вывел шайку, но сам решил непременно остаться и забрался на вершину развесистого дуба в конце сада. А для того, чтоб было легче скрыться в случае надобности, пробил отверстие в садовой ограде.

Наконец я увидел приближающийся полк, который остановился у ворот замка, расставив вокруг караулы. Вслед за этим прибыл целый ряд носилок, в которых сидели дамы, а в последних носилках расположился сам Принчипино на гряде подушек. Он с трудом вышел, поддерживаемый двумя конюшими, выслал вперед отряд солдат и только после того, как ему доложили, что никого в замке больше нет, вошел туда с женщинами и несколькими дворянами, принадлежавшими к его свите.

Под моим дубом бил родник холодной воды, и тут же рядом стоял мраморный стол, окруженный скамьями. Это была самая красивая часть сада; я был уверен, что скоро сюда придет вся компания, и решил не слезать, чтобы хорошенько ее рассмотреть. В самом деле, через полчаса я увидел, что сюда подходит молодая особа моих лет. Она была прекрасней ангела; при виде ее меня внезапно охватило такое сильное волнение, что я, может быть, упал бы с дуба, если бы с обычной осторожностью крепко не привязал себя поясом к суку.

Молодая девушка шла, опустив глаза, и лицо ее выражало глубокую печаль. Она села на скамейку, облокотилась на мраморный стол и горько заплакала. Не зная сам, что делаю, я слез с дерева и встал так, что мог ее видеть, оставаясь незамеченным. Тут появился Принчипино с цветами в руке. За три года, что я не встречал его, он сильно вырос, лицо у него похорошело, но было невыразительно.

Молодая девушка окинула его презрительным взглядом, за который я был ей очень благодарен. Несмотря на это, Принчипино, полный самодовольства, подошел к ней с веселым видом и промолвил:

– Дорогая невеста, вот тебе цветы, только обещай мне не вспоминать об этом негодном бездельнике.

– Герцог, – ответила девушка, – по-моему, условия вашей благосклонности несправедливы. К тому же, если я никогда не скажу при вас ни слова о Зото, весь дом вечно будет напоминать вам о нем. Ведь даже ваша мамка утверждала в вашем присутствии, что никогда в жизни не видела более красивого юноши.

– Синьорина Сильвия! – прервал Принчипино, задетый за живое. – Не забывайте, что вы – моя невеста.

В ответ Сильвия только залилась слезами.

Тогда Принчипино в ярости воскликнул:

– Негодница, ты любишь разбойника, так получай по заслугам!

И он дал ей пощечину.

– Зото!.. Зото! – крикнула бедная девушка. – Зачем тебя здесь нет, чтобы наказать этого негодяя!

Она еще не успела договорить, как я вдруг вышел из своего укрытия и сказал герцогу:

– Ты узнаешь меня? Я разбойник и мог бы тебя убить, но слишком уважаю синьорину, призвавшую меня на помощь. Поэтому я согласен драться с тобой, как принято у вас, дворян.

При мне было два кинжала и четыре пистолета; я разделил оружие на две равные части, положил одну часть в десяти шагах от другой и предоставил ему выбор. Но жалкий Принципино упал без чувств на скамью.

Между тем Сильвия обратилась ко мне с такими словами:

– Я благородного происхождения, но бедна и завтра должна либо выйти за герцога, либо уйти на всю жизнь в монастырь. Но я отвергаю то и другое и выбираю тебя.

И она упала в мои объятия.

Вы понимаете, что я не заставил себя долго просить. Однако надо было принять меры, чтобы герцог не помешал нам бежать. Я взял стилет и, за отсутствием молотка, камнем прибил его руку к скамье, на которой он лежал. Он вскрикнул от боли и снова лишился чувств. Мы пролезли сквозь отверстие в садовой ограде и бежали в горы.

У всех моих товарищей были любовницы, так что они радостно приветствовали мою, а девушки их присягнули Сильвии в верности.

В конце четвертого месяца моей совместной жизни с Сильвией я был вынужден разлучиться с ней, чтобы посмотреть, какие изменения произошли на северном склоне после недавнего извержения вулкана. Во время этого путешествия я открыл в природе такие красоты, на которые прежде не обращал внимания. На каждом шагу попадались прелестные луговины, пещеры, рощи – в местах, раньше казавшихся мне пригодными только для обороны или засад. Сильвия смягчила на время мое разбойничье сердце, но скоро ему предстояло обрести прежнюю суровость.

Возвращаясь к своему путешествию по северному склону горы. Употребляю это выражение потому, что сицилийцы, говоря об Этне, всегда называют ее *il monte*, то есть просто гора. Сперва я направился к так называемой Башне философа, но не мог туда добраться. Из пропасти, раскрывшейся на склоне вулкана, вырывался поток лавы; несколько выше башни он разделялся, охватывая ее как бы двумя рукавами, соединявшимися одною милей дальше, и образуя таким образом своего рода неприступный остров.

Я сразу оценил всю выгоду такого положения; к тому же на самой башне у нас был порядочный запас каштанов, который мне хотелось непременно сохранить. После тщательных поисков я нашел подземный переход, которым прежде часто пользовался и который привел меня прямо в башню. Я сразу решил поместить на этом острове наших женщин. Велел построить шалаши из ветвей и один из них особенно тщательно украсил. Потом вернулся на юг и перевел обрадованных женщин в это новое укрытие.

Теперь, переносясь памятью в то счастливое время, которое я провел на этом острове, я вижу, до какой степени оно было не похоже на ужасные тревоги, обуревавшие меня всю жизнь. Огненные потоки отделяли нас от остальных людей; огонь любви владел всеми нашими помыслами. Все подчинялось моим приказаниям, все повиновалось малейшим желаниям моей возлюбленной Сильвии. Наконец, в довершение моего счастья, оба мои брата приехали ко мне. Оба они испытали много необычайных превратностей судьбы, и могу вас уверить, что если вы пожелаете когда-нибудь послушать их рассказы, они займут вас несравненно больше, чем мои.

Мало кому ни разу в жизни не довелось пережить хоть несколько счастливых дней, но не знаю, найдется ли такой человек, который может измерять свое счастье годами. – Мое, во всяком случае, не длилось и года. Участники шайки вели себя порядочно относительно друг друга, ни один из них не посмел бы заглядеться на любовницу товарища, а тем более на мою; поэтому ревность была неведома, или верней – на какое-то время изгнана с нашего острова. Но безумное чувство это слишком легко находит дорогу туда, где поселилась любовь.

Молодой разбойник по имени Антонине без памяти влюбился в Сильвию и не в силах был даже скрывать свою страсть. Я сам это заметил, но, видя его печальным и удрученным, полагал, что возлюбленная моя не отвечает ему взаимностью, и был спокоен. Мне хотелось

бы только излечить Антонине, которого я любил за его отвагу. Был у нас в шайке еще разбойник по имени Моро, которого я, наоборот, за низкий образ мыслей от всей души ненавидел, и если бы Теста-Лунга мне поверил, он уже давно бы его выгнал.

Моро сумел вкрасься в доверие к Антонине и обещал помочь его любовным стремлениям; снискал он и доверие Сильвии и убедил мою возлюбленную, будто у меня есть любовница в соседней деревне. Сильвия побоялась высказать мне возникшие у нее подозрения, но обращение ее со мной становилось все более принужденным, и я стал думать, что огонь прежней любви остывает в ней. Со своей стороны, Антонине, обо всем осведомленный благодаря Моро, удвоил свои старания, и радостный вид его заставил меня думать, что он счастлив.

Я плохо владел искусством распутывания такого рода интриг. Я убил Сильвию и Антонине. Последний, умирая, открыл мне коварство Моро. С окровавленным стилетом я побежал к предателю; Моро испугался, упал на колени и пролепетал, заикаясь от страха, что герцог Рокка Фьорита заплатил ему, чтоб он сжил со света меня и Сильвию, и что он, Моро, единственно с этой целью вступил в нашу шайку. Я погрузил стилет ему в грудь. Потом отправился в Мессину, пробрался переодетый во дворец герцога и отправил его на тот свет вслед за его наперсником и обеими жертвами его мести.

Кончилось мое счастье, а заодно и моя слава. Отвага моя превратилась вся без остатка в полное равнодушие к жизни, а так как я стал проявлять такое же равнодушие к безопасности товарищей, то вскоре лишился их доверия. В общем могу вам сказать, что с тех пор стал самым заурядным разбойником.

Вскоре от воспаления легких умер Теста-Лунга, и шайка его рассеялась. Братья мои, хорошо зная Испанию, уговорили меня переехать туда. Во главе двенадцати человек я вышел к Таорминскому заливу и скрывался здесь три дня. На четвертый день мы завладели двухмачтовым судном и приплыли на нем к берегам Андалузии.

Хотя в Испании нет недостатка в горах, где мы могли бы найти безопасное убежище, я остановил свой выбор на хребте Сьерра-Морены и не пожалел об этом. Я захватил два каравана с пиастрами и совершил потом еще несколько столь же выгодных налетов.

Слух о наших успехах дошел до Мадрида. Губернатор Кадиса получил приказ доставить нас живыми или мертвыми и выслал против нас несколько полков. С другой стороны, великий шейх Гомелесов предложил мне поступить к нему на службу и предоставил мне в качестве убежища вот эту пещеру. Я, не долго думая, принял его предложение. Суд в Гранаде, не желая обнаруживать свое бессилие и в то же время будучи не в состоянии нас найти, приказал схватить двух пастухов из долины и повесить их под видом братьев Зото. Я знал этих двоих, и мне известно, что они совершили несколько убийств. Но говорят, что повешенье взамен нас рассердило их, и они по ночам срываются с петли и творят всякие пакости. Своими глазами я этого не видел, так что ничего не могу сказать. Но не раз, проходя ночью мимо виселицы, особенно при лунном свете, я хорошо видел, что там нет ни одного повешенного, а к утру они опять были на месте.

Вот история моей жизни, с которой вы желали познакомиться. Думаю, что братья мои, жизнь которых шла спокойней, могли бы рассказать вам более интересные события, но на это у них не будет времени, так как король уже готов, и я получил строгий приказ завтра выйти в море.

Когда Зото ушел, прекрасная Эмина печально промолвила:

– Он прав: счастье недолговечно. Мы провели здесь три дня, которые, быть может, в нашей жизни никогда больше не повторятся.

Ужин был невеселый, и я поспешил пожелать сестрам доброй ночи. Я надеялся, что увижу их в моей комнате, и тогда мне легче будет развеять их грусть.

В самом деле, они пришли даже раньше, чем обычно, и в довершение моего счастья я заметил, что они держат свои пояса в руках. Символическое значение этого поступка нетрудно было понять, однако Эмина, не рассчитывая на мою сообразительность, сказала:

– Дорогой Альфонс, твое самопожертвование ради нас было безгранично, и мы хотим,

чтобы точно такой же была и наша благодарность. Быть может, мы никогда уже не встретимся. Для других женщин это было бы поводом к сдержанности, но мы хотим вечно жить в твоей памяти, и если женщины, которых ты встретишь в Мадриде, превосходят нас своими манерами и обхождением, то ни одна из них не окажется более нежной и пылкой, чем мы. Но, дорогой Альфонс, ты должен еще раз поклясться в том, что сохранишь тайну и что не поверишь, если услышишь о нас что-нибудь плохое.

Я невольно улыбнулся, услышав последнее условие, но согласился на все и получил награду в виде самых нежных ласк.

После небольшого молчания Эмина промолвила:

– Дорогой Альфонс, нас смущает эта реликвия, которую ты носишь на шее. Не можешь ли ты снять ее на некоторое время?

Я отказался, но Зибельда обняла меня за шею и перерезала ленту ножницами, которые были у нее в руке. А Эмина тотчас схватила реликвию и бросила ее в расщелину скалы.

– Завтра ты снова ее наденешь, – сказала она, – а пока повесь себе на шею вот этот шнур из наших волос с привязанным к нему талисманом, который оградит тебя, может быть, от непостоянства, если что-нибудь на свете способно оградить влюбленных от этого.

Потом Эмина вынула из своей прически золотую шпильку и тщательно заколола ею занавеси ложа.

Я следую ее примеру и опускаю занавеску на продолжение этой сцены. Достаточно сказать, что приятельницы мои стали моими женами. Бывают, конечно, такие положения, когда насилие, сопряженное с кровопролитием, представляет собой злодейство; но бывают и такие случаи, когда жестокость содействует самой невинности, позволяя ей проявиться во всем блеске. Именно так было и с нами, из чего я заключил, что родственницы мои не были участницами моих снов в Вента-Кемаде.

Чувства наши утихомирились, мы были уже совершенно спокойны, когда вдруг послышался печальный звон колокола. Часы пробили полночь. Этот звук вызвал во мне невольную тревогу, и я высказал моим родственницам опасение, не произошла ли какая-нибудь беда.

– Мне тоже страшно, – ответила Эмина. – Опасность близка, но послушай, что я тебе скажу: не верь ничему, что о нас ни сказали бы, не доверяй даже собственным глазам своим.

В это мгновение кто-то грубо разорвал занавес ложа, и я увидел человека величественной наружности в мавританских одеждах. В одной руке он держал Коран, а в другой обнаженную саблю; родственницы мои припали к его ногам со словами:

– Могушественный шейх Гомелесов, прости нас!

– *Adonde estan las fajas?*¹⁸

Потом, обращаясь ко мне, он промолвил:

– Презренный назорей, ты осквернил кровь Гомелесов! Ты должен либо перейти в веру Пророка, либо умереть.

В это мгновение я услышал страшный вой и увидел одержимого Пачеко, подававшего мне какие-то знаки из глубины комнаты. Сестры тоже увидели его, сердито кинулись к нему и вытолкали его из комнаты.

– Презренный назорей, – повторил шейх Гомелесов, – выпей одним духом напиток, содержащийся в этом кубке, или ты погибнешь позорной смертью и труп твой, повешенный между телами братьев Зото, станет пищей ястребов и игралищем духов тьмы, которые будут пользоваться им для своих адских козней.

Я нашел, что в подобных обстоятельствах честь повелевает мне покончить с собой. И только воскликнул с болью:

– Ах, отец мой, на моем месте ты поступил бы так же!

После этого я взял кубок и осушил его до дна. Почувствовал невыносимую тяжесть и

¹⁸ Где пояса? (исп.)

потерял сознание.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Так как я имею честь рассказывать вам о своих приключениях, вы, конечно, догадываетесь, что я не помер от питья, которое считал ядом. Я только лишился чувств и не знаю, как долго пробыл в таком состоянии. Но помню, что опять проснулся под виселицей Лос-Эрманос, на этот раз, однако, не без чувства удовлетворения, что еще жив. Кроме того, я находился уже не между висельниками, а лежал слева от них, справа же от себя увидел какого-то человека, которого принял тоже за висельника, так как он производил впечатление мертвого, и на шее у него была петля. Однако вскоре я убедился, что он только спит, и разбудил его. Увидев место своего ночлега, незнакомец засмеялся и промолвил:

– Нужно признать, что в каббалистической практике бывают порой досадные недоразумения. Злые духи умеют принимать столько обликов, что невозможно узнать, с кем имеешь дело. Однако, – продолжал он, – откуда у меня взялась эта веревка на шее – вместо плетенки из волос, которую я носил еще вчера. – Потом, увидев меня, промолвил: – И сеньор здесь?.. Сеньор слишком молод для каббалиста... Но я вижу, у тебя тоже веревка на шее.

В самом деле, оказалось, что он прав. Тут я вспомнил, что вчера Эмина надела мне на шею плетенку из своих и Зибельдиных волос, и сам не знал, как понимать это превращение.

Каббалист поглядел на меня проницательным взглядом и сказал:

– Нет, ты не из наших. Тебя зовут Альфонс. Твоя мать – родом из Гомелесов, ты – капитан валлонской гвардии, у тебя много храбрости, да мало жизненного опыта. Но это не важно; надо прежде всего отсюда выбраться, а там посмотрим, что делать.

Ворота ограды были открыты, мы вышли, и я снова увидел перед собой долину Лос-Эрманос. Каббалист спросил меня, куда я направляюсь. Я ответил, что намерен податься в сторону Мадрида.

– Отлично! – ответил он. – Я тоже в ту сторону, но сперва немного подкрепимся.

Тут он вынул из кармана позолоченный кубок, маленький сосуд с какой-то разновидностью опиата и хрустальную склянку с желтоватой жидкостью. Бросив в кубок ложечку опиата, он влил туда несколько капель жидкости и велел мне сразу все выпить. Я не заставил его повторять, так как помирал с голоду. В самом деле, напиток оказал чудотворное действие. Я почувствовал такой прилив сил, что смело мог пуститься дальше, тогда как только что это было бы попросту невозможно.

Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мы увидели злосчастный трактир Вента-Кемада. Каббалист остановился и промолвил:

– Вот место, где нынче ночью со мной сыграли скверную шутку. Но придется все-таки войти внутрь, потому что я оставил здесь кое-какую снедь, которой мы можем подкрепиться.

Мы вошли в проклятую венту и увидели на столе в столовой паштет из куропаток и две бутылки вина. У каббалиста оказался прекрасный аппетит; его пример придал мне смелости, иначе сомневаюсь, чтобы я рискнул взять что-нибудь в рот. Все виденное за эти несколько дней до того сбило меня с толку, что я сам не знал, что делаю, и если б кому-нибудь вздумалось уверить меня, что я вовсе не существую, он достиг бы цели.

Пообедав, мы обошли все комнаты и попали в ту, где я ночевал впервые после выезда из Андухара. Я узнал свою жалкую постель и, сев на нее, стал раздумывать о том, что со мной было, – в особенности над происшествием в пещере. Вспомнил о том, что Эмина просила меня не верить, если я услышу о ней что-нибудь плохое. Я глубоко ушел в эти размышления, как вдруг каббалист обратил внимание на что-то блестящее, застрявшее в щели пола. Взглянув поближе, я убедился, что это реликвия, которую сестры отняли у меня в пещере. Я видел, как они кинули ее в расщелину скалы, а теперь – вот она, в щели пола. Я действительно начал сомневаться, что выходил куда-нибудь из этого проклятого трактира и что отшельник, инквизитор, братья Зото – призраки, порожденные моим больным воображением. В то же время я, при помощи шпаги, достал реликвию и опять повесил ее

себе на шею.

Каббалист засмеялся и сказал:

– Ведь это твоя собственность, сеньор кавалер. После такой ночи, как та, что же удивительного, что ты проснулся под виселицей. Но это не важно; пойдём отсюда, нам нынче же вечером надо быть в обители отшельника.

Оставив трактир, мы не прошли ещё полдороги, как встретили отшельника, с трудом шагавшего, опираясь на посох. Завидев нас, он воскликнул:

– Ах, молодой мой друг, я как раз ищу тебя. Вернись ко мне в обитель, вырви свою душу из когтей сатаны, а сейчас дай мне опереться на твою руку. В поисках тебя я выбился из сил.

После короткого отдыха мы двинулись дальше. Старик шел, опираясь то на одного, то на другого из нас. Наконец мы подошли к обители.

Войдя, я увидел Пачеко, распростертого посреди комнаты. Мне показалось, что он умирает, – по крайней мере, из груди его вырывался страшный хрип, который служил признаком приближающей смерти. Я попробовал заговорить с ним, но он меня не узнал. Тогда отшельник зачерпнул святой воды и окропил одержимого со словами:

– Пачеко! Пачеко! Именем твоего искупителя повелеваю тебе рассказать, что с тобой было этой ночью.

Пачеко задрожал, издал страшный рев и начал так.

РАССКАЗ ПАЧЕКО

Отец мой, ты был как раз в часовне и молился, когда я услышал стук в дверь и блеяние – будто блеет наша белая коза. Я уж подумал, не забыл ли я ее подоить и вот добросовестное животное пришло напомнить мне о моей обязанности. Это было тем убедительнее, что несколько дней тому назад со мной действительно произошел такой случай. Я вышел наружу и в самом деле увидел нашу белую козу, которая стояла ко мне задом, показывая свое вздувшееся вымя. Я хотел попридержать ее, чтоб оказать ей желанную услугу, но она вырвалась у меня из рук и, все время то останавливаясь, то опять убегая, привела меня на край пропасти, разверзшейся возле скита.

Тут белая коза вдруг превратилась в черного козла. Испуганный этим превращением, я хотел бежать к нашему дому, но черный козел преградил мне дорогу и, поднявшись на дыбы, поглядел на меня огненными глазами. Кровь застыла у меня в жилах. А черный козел стал бодать меня рогами и толкать к пропасти. Когда я был уже на самом краю, он на минуту остановился, словно желая насладиться зрелищем моих мучений. Наконец он столкнул меня в пропасть. Я думал, что разобьюсь вдребезги, но козел оказался на дне пропасти раньше меня и принял меня к себе на спину, так что я нисколько не пострадал.

Но меня тут же снова охватил страх, потому что проклятый козел, как только почувствовал, что я у него на спине, начал дико скакать. Одним прыжком он перепрыгивал с горы на гору, перемахивая через глубочайшие пропасти, будто через обыкновенные рвы; наконец он отряхнулся, и я, сам не знаю как, очутился в пещере, где увидел молодого путника, за несколько дней перед тем ночевавшего в нашей обители.

Юноша сидел на постели, а рядом с ним были две прелестные девушки в мавританских уборах. Осыпая его ласками, девушки сняли у него с шеи реликвию и в то же мгновение утратили у меня на глазах всю свою красоту – я узнал в них двух висельников из долины Лос-Эрманос. Однако молодой путник принимал их по-прежнему за красавиц, обращаясь к ним с самыми нежными речами. Один из висельников сейчас же снял со своей шеи петлю и затянул ее на шее юноши, а тот стал ласками выражать благодарность. Потом они закрыли занавеску, и я не знаю, что они дальше делали, но думаю, что совершали какой-нибудь страшный грех.

Я хотел закричать, но у меня отнялся голос. Это длилось довольно долго; наконец пробило полночь, и я увидел входящего сатану с огненными рогами и пламенным хвостом,

который несли за ним несколько дьяволят.

Сатана в одной руке держал книгу, а в другой вилы. Он стал угрожать юноше смертью, если тот не перейдет в веру Магомета. Тогда, видя христианскую душу в опасности, я собрал все силы, крикнул, и, кажется, юноша меня услышал. Но в это самое мгновение висельники бросились ко мне и вытащили меня из пещеры на двор, где оказался тот самый козел. Один висельник сел на козла, другой на меня, и они снова заставили нас обоих скакать через горы и пропасти. Тот, что сидел у меня на плечах, сжимал мне бока пятками, но, видимо, решив, что я бегу недостаточно быстро, поднял с дороги двух скорпионов, прикрепил их себе к ногам вместо шпор и стал с неслыханной жестокостью раздирать мне бока. Наконец мы прискакали к двери обители, где они меня покинули. В то утро, отец мой, ты нашел меня лежащим без сознания. Очнувшись в твоих объятиях, я понял, что спасся, но яд скорпионов отравил мою кровь. Он жжет мне внутренности, и я чувствую, мне не выдержать этих мучений.

Тут одержимый страшно зарычал и умолк.

Тогда заговорил отшельник, обращаясь ко мне:

– Сын мой, может быть, ты действительно имел половое сношение с двумя дьяволами? Пойдем, исповедайся, покайся в содеянном. Милосердье божие не знает границ. Не отвечаешь? Неужели ты так закошел в грехе?

Немного помолчав, я ответил:

– Отец мой, этот одержимый сеньор видел совсем другое, чем я. Один из нас был, конечно, околдован, может быть, даже мы оба с ним видели не так. Но вот перед тобой благородный каббалист, тоже ночевавший в Вента-Кемаде. Может быть, он согласится рассказать нам о том, что было с ним, и это прольет новый свет на неясные для нас происшествия последних дней.

– Сеньор Альфонс, – прервал каббалист, – люди, занимающиеся, подобно мне, тайными науками, не могут говорить всего. Однако постараюсь, насколько возможно, удовлетворить твое любопытство, только прошу – не сейчас. Поужинаем и ляжем спать. Утро вечера мудреней.

Отшельник угостил нас скромным ужином, и после этого мы разошлись. Каббалист заявил, что должен провести ночь возле одержимого, а я пошел в часовню и лег там на той же самой постели, на которой уже провел одну ночь. Отшельник пожелал мне спокойной ночи и предупредил, что, уходя, на всякий случай запрет за собой дверь.

Оставшись один, я стал размышлять над рассказом Пачеко. Не могло быть ни малейшего сомнения, что он находился вместе со мной в пещере, – я тоже видел, как мои родственницы кинулись к нему и вытащили его наружу; но ведь Эмина предупредила меня, чтоб я не верил, если услышу о ней и ее сестре что-нибудь плохое. К тому же бесы, овладевшие Пачеко, могли помутить его чувства и одурманить их всякими наваждениями.

Таким способом старался я всячески оправдать и оградить свою любовь к обеим сестрам, как вдруг пробило полночь. Тотчас вслед за этим послышался стук в дверь и как бы блеянье козы. Я взял шпагу, подошел к двери и крикнул громким голосом:

– Если ты – дьявол, так постарайся сам отпереть дверь, которую запер отшельник.

Коза замолчала. Я снова лег и проспал до утра.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Отшельник пришел, разбудил меня и, сев на край моей постели, сказал:

– Дитя мое, нынче ночью злые духи опять строили у меня в обители адские козни. Пустынники Фиваиды страдали от преследований сатаны не больше, чем я; кроме того, я не знаю, что думать о человеке, который пришел с тобой и называет себя каббалистом. Взятся исцелить Пачеко и в самом деле очень ему помог, но не прибегал к экзорцизмам, которые предписаны ритуалом нашей святой церкви. Пойдем ко мне в хижину, завтрак уже готов, а

потом мы, наверно, услышим историю, обещанную вчера каббалистом.

Я встал и пошел за отшельником. Действительно, Пачеко был в гораздо лучшем состоянии, и лицо его показалось мне не таким отталкивающим. Он и теперь был кривой, но уже не высовывал так противно язык. Рот перестал пениться, и единственный глаз был не такой дикий и блуждающий. Я поздравил каббалиста, но он ответил, что это – лишь слабое доказательство его искусства. Тут отшельник принес завтрак, состоящий из кипяченого молока и каштанов.

Во время этой скромной трапезы в комнату вдруг вошел человек, худой и бледный, весь облик которого внушал ужас, хотя невозможно было сказать, чем, собственно, этот ужас вызывается. Незнакомец преклонил передо мной колени и снял шляпу. Голова у него оказалась повязанной. Он протянул ко мне шляпу, словно прося милостыню. Я бросил ему золотой. Причудливый нищий поблагодарил и прибавил:

– Сеньор Альфонс, твой добрый поступок не останется втуне. Имей в виду, что тебя ждет важное письмо в Пуэрто-Лапиче. Прочти его, прежде чем въехать в Кастилию.

Сделав мне это предупреждение, незнакомец преклонил колени перед отшельником, который наполнил его шляпу каштанами, а затем – перед каббалистом, но тут вдруг вскочил со словами:

– От тебя мне ничего не надо. Если скажешь, кто я, то в свое время горько об этом пожалеешь.

После этого он ушел. Когда мы остались одни, каббалист засмеялся и сказал:

– Чтоб вы знали, как мало я боюсь угроз этого человека, я сразу вам скажу, что это Вечный Жид, о котором вы, конечно, слышали. Вот уже семнадцать веков, как он ни разу не присел и не прилег, не отдыхал и не заснул. Нигде не останавливаясь, он на ходу съест ваши каштаны и завтра утром будет отсюда миль за шестьдесят. Обычно он обегает во всех направлениях необозримые пустыни Африки. Питается он дикими плодами, и хищные звери проходят мимо него, не причиняя ему вреда, благодаря священному знаку «тав» на лбу. Вот почему, как вы заметили, у него на голове повязка. Он никогда не бывает в наших краях, кроме как по зову какого-нибудь каббалиста. Но могу вас уверить, что я его сюда не вызывал, так как терпеть его не могу. Однако нельзя не признать, что ему бывает известно очень многое; так что советую, сеньор Альфонсо, не пренебрегать его словами.

– Сеньор каббалист, – ответил я. – Вечный Жид сказал мне, что в Пуэрто-Лапиче есть письмо на мое имя. Я рассчитываю быть там послезавтра и не забуду спросить об этом у хозяина трактира.

– Нет надобности ждать так долго, – возразил каббалист. – Слишком мало значил бы я в мире духов, если б не мог доставить это письмо скорей.

Тут он склонил голову к правому плечу и произнес повелительным тоном несколько фраз. Через пять минут на стол упал большой конверт на мое имя. Я распечатал конверт и прочел следующее:

«Сеньор Альфонс!

По повелению Его королевского величества, нашего всемилостивейшего государя. Дона Филиппа V, предуведомляю тебя, что тебе надлежит воздержаться от приезда в Кастилию. Этот запрет имеет единственной причиной несчастье, приведшее к тому, что ты навлек на себя гнев Святого трибунала, обязанность которого охранять чистоту веры в Испании. Но пускай это обстоятельство ничуть не ослабляет в тебе усердия и желания служить королю. Прилагаю при сем разрешение на трехмесячный отпуск. Проведи это время на границе Кастилии и Андалузии; однако не оставайся подолгу ни в одной из этих провинций. Приняты необходимые меры, чтобы успокоить твоего почтенного отца, и все это дело представлено ему в самом успокоительном свете.

*Твой доброжелатель
дон Санчо де Тордепеньяс,
военный министр».*

К письму был приложен документ об отпуске на три месяца с соответствующими подписями и печатями.

Мы подивились быстроте посланцев каббалиста, а потом попросили его сдержать свое обещание и рассказать о событиях прошлой ночи в Вента-Кемаде. Он опять предупредил нас, как и накануне, что мы не поймем многого из того, что он нам расскажет, но, помолчав, начал свое повествование.

ИСТОРИЯ КАББАЛИСТА

В Испании меня называют доном Педро де Уседа, и под этим именем я являюсь владельцем прекрасного замка на расстоянии одного дня пути отсюда. Настоящее же мое имя – рабби Цадок бен Мамун, так как я еврей. Такое признание в Испании не вполне безопасно, но помимо того, что я рассчитываю на вашу порядочность, должен заранее сказать, что повредить мне не так-то легко. С первых мгновений моей жизни на жребии моем начало сказываться влияние созвездий. Отец мой, составив мой гороскоп, с великой радостью увидел, что я появился на свет в тот момент, когда солнце переходило в созвездие Девы. Он действительно приложил все свое искусство для достижения этой цели, но не надеялся на такой превосходный результат.

Нет надобности говорить вам, что отец мой, Мамун, был первым астрологом своего времени. Но чтение звезд принадлежит к самым несложным наукам, которые он знал; особенно глубоко, как ни один раввин до него, проник он в тайны каббалистики.

Через четыре года после моего появления на свет у отца родилась дочь – под знаком Близнецов. Несмотря на эту разницу, воспитывали нас одинаково. Мне не было еще двенадцати лет, а сестре восьми, как мы уже говорили по-древнееврейски, по-халдейски, по-сирохалдейски, знали наречия самаритян, коптов, абиссинцев и разные другие мертвые или умирающие языки. Кроме того, мы без помощи карандаша могли разложить буквы любого слова по всем способам, предусмотренным правилами каббалистики.

Мне как раз исполнилось двенадцать лет, когда волосы наши с необычайной тщательностью были уложены в кольца; и чтобы не оскорблять стыдливости, свойственной созвездиям, под которыми мы родились, нас кормили мясом чистых животных, выбирая для меня самцов, а для сестры моей – самок.

Когда мне пошел шестнадцатый год, отец решил открыть нам доступ к тайнам каббалы «Сефирот». Он начал с того, что дал нам в руки «Сефер Зохар», так называемую «Светлую книгу», в которой ничего нельзя понять, настолько блеск этого произведения ослепляет сознание созерцающих. Затем мы углубились в «Сифра Дизениута», или «Книгу тайн», в которой самое понятное предложение может вполне сойти за загадку. Наконец приступили к «Идра Рабба» и «Идра Зутта», то есть к «Великому» и «Малому Собранию». Это – беседы, в которых рабби Симон, сын Иохая, автор двух предыдущих произведений, снижая свой язык до обычной повседневной речи, делает вид, будто объясняет своим друзьям самые простые вещи, а в то же время открывает им самые удивительные тайны, – верней, все эти откровения исходят непосредственно от пророка Илии, тайно покинувшего небесные края и присутствующего среди собеседников под именем раввина Аввы.

Может быть, вы все воображаете, что могли бы получить представление об этих божественных книгах по латинскому переводу, изданному, одновременно с халдейским оригиналом, в тысяча шестьсот восемьдесят четвертом году в маленьком немецком городке Франкфурте, но нам смешна самонадеянность тех, по мнению которых довольно обычного человеческого зрения, чтоб читать эти книги. Этого, конечно, достаточно, имея дело с некоторыми теперешними языками, но в древнееврейском каждая буква есть число, каждая фраза – хитрое сочетание, каждое предложение – грозная формула, произнеся которую с соответствующим придыханием и ударением можно без труда передвигать горы и осушать реки.

Вы хорошо знаете, что Адонай словом создал мир, после чего сам превратился в слово; слово приводит в движение воздух и мысль, воздействует одновременно и на ощущение и на душу. Хоть вы и непосвященные, однако в состоянии сделать отсюда вывод, что слово есть необходимый посредник между материей и духом.

Могу вам лишь сказать, что мы приобретали каждый день не только новые знания, но и новое могущество. Если даже мы еще не смели им пользоваться, то все же радовались, гордые тем, что, по нашему внутреннему убеждению, сила эта таится в нас. Но вскоре одно в высшей степени печальное происшествие положило конец нашим каббалистическим наслаждениям.

С каждым днем я и сестра убеждались в том, что отец наш Мамун теряет силы. Он казался чистым духом, затем только принявшим человеческий облик, чтобы его лучше видели подлунные существа. Наконец однажды он велел позвать нас к нему в рабочую комнату. Вид его был такой дивный и просветленный, что мы невольно упали перед ним на колени. Он оставил нас в этом положении и, указав на песочные часы, промолвил:

– Когда этот песок пересыплется, меня уж не будет на этом свете. Запомните все, что я вам скажу... Сын мой, к тебе обращаюсь я прежде всего. Я предназначил тебе небесных жен, дочерей Соломона и царицы Савской. До их появления на свет никто не думал, что они станут бессмертными, но Соломон научил царицу произносить имя Сущего. Царица произнесла его имя в то мгновение, когда разрешалась от бремени. Прилетели духи Великого Восхода, приняли двух близнецов, прежде чем они коснулись нечистого обиталища, которое зовется Землей, а потом унесли их в сферу дочерей Элоима, где они были наделены даром бессмертия и способностью разделить его с тем, кого обе сестры-близнецы выберут впоследствии своим общим мужем. Это как раз те две жены с необозначенными приметами, которых отец их вспоминает в своей «Шир-гашширим», или «Песни Песней». Вдумайся в эту божественную эпिताму, останавливаясь на каждом десятом стихе... Для тебя, дочь моя, я предназначил гораздо более блестящий брак. Твоими мужьями будут двое Тоамимов, те самые, которых греки знали под названием Диоскуров, а финикийцы – Кабиров, словом, Близнецы Зодиака. Что я говорю!.. Сердце твое слишком чувствительно... боюсь, как бы какой-нибудь смертный... Весь песок ушел из клепсидры... Я умираю...

С этими словами отец исчез, и на том месте, где он лежал, мы нашли лишь горстку легкого светлого пепла. Я собрал эти драгоценные останки, положил их в урну и поместил в домашнем святилище под крыльями херувимов.

Вы понимаете, что надежда стать бессмертным и обладать двумя небесными женами удвоила во мне рвение к каббалистическим наукам. Однако в течение многих лет я не решался подняться в безграничную высь и довольствовался тем, что подчинил себе при помощи заклятий несколько духов восемнадцатой ступени. Но с каждым годом я набирался большей смелости. В прошлом году начал трудиться над первыми стихами «Шир-гашширим». Не успел я разложить первый стих, как слух мой поразил оглушительный грохот, словно весь мой замок рушился до самого основания. Я ничуть не испугался; напротив, убедился, что дело у меня идет на лад. Перешел к следующему стиху, и когда покончил с ним, светильник со стола упал на пол, подскочил несколько раз и неподвижно остановился перед большим зеркалом, висевшим в глубине комнаты. Я поглядел в зеркало и увидел кончики двух прелестных женских ножек. Сейчас же вслед за ними показались две другие ножки. Я с наслаждением подумал, что восхитительные ножки эти принадлежат небесным дочерям Соломона, но не решился продолжать свои занятия.

Следующей ночью я снова взялся за работу и увидел две пары ножек до лодыжек; а двадцать четыре часа спустя стали уже проступать колени, но тут солнце вышло из созвездия Девы, и мне пришлось прервать свои труды.

Когда солнце вступило в созвездие Близнецов, сестра моя предприняла такие же действия и увидела не менее удивительные явления, но я не стану передавать вам то, что не имеет никакого отношения к моей собственной истории.

В этом году я собирался возобновить прерванную работу, но узнал, что через Кордову

как раз должен проехать знаменитый адепт. Спор, возникший у меня с сестрой по этому поводу, побудил меня посетить его. Я немного задержался с выездом из дому и к ужину достиг только Вента-Кемады. В трактире было пусто из-за водившихся там духов, но так как я совершенно их не боюсь, то устроился в столовой и приказал маленькому Немраэлю принести ужин. Немраэль – маленьких дух очень низкой ступени, которым я пользуюсь для такого рода поручений; как раз он и принес тебе письмо из Пуэро-Лапиче. Он отправился в Андухар, где ночевал какой-то приор бенедиктинцев, без всяких церемоний отнял у него ужин и принес этот ужин мне в трактир. Ужин составлял паштет из куропаток, который ты нашел еще на другой день утром: я так устал, что едва до него дотронулся. После этого я отослал Немраэля к моей сестре и лег спать.

Посреди ночи я был разбужен боем часов, пробивших полночь. Эта музыкальная прелюдия заставила меня ждать появления какого-нибудь духа, и я стал готовиться к изгнанию его, так как в большинстве случаев это нежеланные, непрошеные гости. Во время приготовления я вдруг увидел на столе, стоящем посреди комнаты, сильный свет, потом появился маленький голубой раввин, который стал бить поклоны перед аналоем, как обычно делают раввины во время молитвы. Он был ростом самое большее в пядь, и голубой была не только его одежда, но даже лицо, борода, аналой и книга. Я сразу понял, что это не дух, а гений двадцать седьмой ступени. Имя его было и осталось мне неизвестным. Но я применил заклинание, которому всюду подчиняются все Духи.

Маленький голубой раввин сейчас же обернулся ко мне и промолвил:

– Ты начал свою работу не с того конца, и в этом причина, что ты увидел сперва ноги дочерей Соломона. Начни с последних стихов и старайся прежде всего отгадать имена небесных красавиц.

С этими словами маленький раввин бесследно исчез. То, что он мне сказал, противоречило всем правилам кабалистики; но я был так неосмотрителен, что послушался его совета. Начал складывать последний стих «Шир-гашширим», и поиски привели меня к таким именам двух бессмертных: Эмина и Зибельда. Я был крайне удивлен, однако начал заклинание. Тогда земля страшно задрожала под моими ногами, мне показалось, что небо раскалывается у меня над головой, и я упал без чувств.

Придя в сознание, я увидел, что нахожусь в месте, полном необычайного сияния. Несколько юношей прекрасней ангелов держали меня в объятиях, и один из них обратился ко мне с такими словами:

– Сын Адама, очнись! Ты в местопребывании тех, которые не умирают. Нами правит патриарх Енох, ходивший перед Элоимом и взятый на небо. Пророк Илия – наш первосвященник, и колесница его всегда будет в твоём распоряжении, как только ты захочешь совершить поездку на какую-нибудь из планет. Мы – эгрегоры, то есть дети, порожденные сынами Элоима и дочерьми человеческими. Ты увидишь среди нас также несколько нефилимов, но лишь не много. Пойдем, мы представим тебя нашему повелителю.

Я пошел за ними и остановился у ступеней трона, на котором восседал Енох. Не было никакой возможности вынести блеск его очей, я не смел даже поднять взгляд выше его бороды, подобной бледному свету, окружающему месяц в туманную ночь. Я опасался, в состоянии ли будут уши мои вынести звук его голоса, но голос этот оказался слаще небесных органов.

Кроме того, он еще смягчил его, обратившись ко мне со словами:

– Сын Адама, сейчас приведут твоих жен.

В то же мгновение я увидел пророка Илию; он вошел, держа за руки двух красавиц, чьих прелестей ни один смертный не в силах был бы постичь. Сквозь прозрачные тела их можно было видеть души и подробно проследить, как пламя страсти бродит по их жилам и смешивается с кровью. Два нефилима несли за ними треножник из металла, во столько же раз более драгоценного, чем золото, во сколько золото дороже свинца. Дочери Соломона приблизили ко мне руки и повесили мне на шею ожерелья, сплетенные из их волос. В тот же миг живой и чистый пламень вырвался из треножника и пожрал все, что было во мне

смертного. Нас проводили в спальню, блистающую светом и пламенеющую любовью, отворили огромное окно, выходившее на третье небо, и тотчас зазвучали райские напевы ангелов. Наслаждение овладело всеми моими чувствами...

Что же сказать вам еще? Утром на другой день я проснулся под виселицей Лос-Эрманос между двумя отвратительными трупами, – так же, как вот этот молодой путник. Из этого я заключил, что имел дело с неслыханно коварными духами, природы которых хорошо не знаю. Боюсь даже, как бы это происшествие не повредило мне в глазах настоящих дочерей Соломона, чьи ножки я видел.

– Несчастный слепец! – сказал отшельник. – О чем ты жалеешь? В твоей проклятой науке – все призрак. Духи тьмы, только посмеявшиеся над тобой, причинили бедному Пачеко гораздо более страшные мученья. Точно такая же участь ждет, несомненно, и этого молодого офицера, не желающего из-за пагубного упрямства признать свою вину. Альфонс, Альфонс, сын мой, исповедуйся в грехах своих, пока еще есть время.

Меня вывели из терпения эти настойчивые требования отшельника, чтоб я покался. Я холодно ответил ему, что высоко чту его святые предостережения, но что главный двигатель всех моих поступков есть чувство чести, и мы заговорили о другом.

– Сеньор Альфонс, – сказал каббалист, – раз тебя преследует инквизиция, а король велит тебе провести три месяца в этой пустыне, я готов предоставить тебе мой замок. Ты познакомишься с моей сестрой Ревеккой, которая так же красива, как и учена. В самом деле, поедem ко мне; ты – из рода Гомелесов, и отпрыск их имеет право на наше сочувствие.

Я посмотрел на отшельника, стараясь понять по выражению его лица, как он отнесется к этой мысли. Казалось, каббалист догадался о моих сомнениях и, повернувшись к отшельнику, сказал:

– Отец мой, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Вера дает тебе великую власть. Мои средства, хоть и не столь святые, однако и не дьявольские. Не откажись тоже воспользоваться моим гостеприимством, вместе с Пачеко, которого я, будь уверен, совершенно вылечу.

Прежде чем ответить, отшельник стал молиться; после короткого размышления он подошел к нам с веселым лицом и сказал, что готов присоединиться к нам. Каббалист склонил голову к правому плечу и приказал подать коней. Тотчас мы увидели перед дверью обители двух прекрасных коней для нас обоих и двух мулов – для отшельника и одержимого. Хотя замок, по словам Бен-Мамуна, находился на расстоянии дня пути, мы уже через час были у цели.

Бен-Мамун все время рассказывал мне о своей ученой сестре, и я ждал увидеть какую-то черноволосую Медею с волшебной палочкой в руке, бормочущую непонятные каббалистические заклинания. Я ошибся в своих ожиданиях. Восхитительная Ревекка, встретившая нас у ворот замка, оказалась самой прелестной, очаровательной блондинкой, какую только можно себе представить. Прекрасные золотые кудри падали с непринужденной грацией ей на плечи. Белоснежное одеяние, застегнутое пряжками, которым нет цены, свободно ниспадало вдоль ее дивного стана. На первый взгляд могло показаться, что она не придает особого значения одежде; однако, если б это было даже не так, и тогда она не могла бы усилить колдовское действие своих дивных чар.

Ревекка кинулась брату на шею со словами:

– Как я за тебя тревожилась, особенно в первую ночь, когда никак не могла разузнать, что с тобой случилось! Что ты в это время делал?

– Потом расскажу, – ответил Бен-Мамун. – А сейчас постарайся как можно лучше принять гостей, которых я тебе привел. Это – отшельник из долины, а вот этот юноша – из рода Гомелесов.

Ревекка поглядела равнодушно на пустычника, но, кинув взгляд на меня, слегка покраснела и печально промолвила:

– Надеюсь, что сеньор, по счастью, не принадлежит к нам.

Мы вошли в замок, и тотчас за нами был поднят подъемный мост. Замок был

просторный и содержался в отменном порядке, хотя вся прислуга состояла из одного молодого мулата и мулатки. Бен-Мамун повел нас прежде всего в свою библиотеку – маленькую круглую комнату, служившую в то же время столовой. Мулат постелил скатерть, принес олью подриду и четыре прибора; Ревекка не села с нами за стол. Отшельник, смягчившись, ел больше обычного. Пачеко, хоть по-прежнему кривой, успокоился, однако не посветлел лицом и хранил молчанье. Бен-Мамун кушал с аппетитом, но был по-прежнему рассеян и признался нам, что вчерашнее происшествие не выходит у него из головы. Когда мы встали из-за стола, он сказал:

– Дорогие гости, вот книжки для вашего развлечения. Мой мулат – в вашем распоряжении; а сейчас позвольте мне удалиться, у меня кое-какие неотложные дела с сестрой. Мы встретимся с вами завтра в обеденную пору.

Бен-Мамун ушел, оставив нас, можно сказать, хозяевами его замка. Отшельник взял с полки легенду о первых отцах пустынножителех и велел Пачеко, чтоб тот прочел ему несколько глав. Я вышел на замковую террасу, висящую над пропастью, в глубине которой мчался, грохоча, поток. Как ни мрачна показалась мне местность, я с невероятным наслаждением всматривался в нее или, скорей, отдавался впечатлению необычайного зрелища. Не столько печаль владела мной, сколько все душевные силы мои охватило оцепенение, вызванное теми страшными тревогами, которые я испытал за последние дни. Чем больше размышлял я над событиями, которых был свидетелем, тем меньше понимал их; в конце концов я стал бояться думать о них – из опасения, как бы не сойти с ума. Надежда провести несколько спокойных дней в замке Уседы вносила немного отрады в мою измученную душу.

С такими мыслями я вернулся в библиотеку. На склоне дня мулат подал нам ужин, состоявший из холодного мяса (причем мясо нечистых животных отсутствовало) и сушеных плодов. После этого мы разошлись: отшельника и Пачеко отвели в одну комнату, а меня в другую.

Я лег и заснул, но вскоре прекрасная Ревекка разбудила меня и сказала:

– Сеньор Альфонс, прости, что я вынуждена прервать твой сон. Я сейчас от брата, с которым мы творили самые страшные заклинания, чтобы познать природу тех духов, что напали на него в Вента-Кемаде. Но все наши усилия оказались напрасными. Мы думаем, что он стал игрушкой ваалов, над которыми мы не имеем никакой власти. Однако страна Еноха действительно такая, какой он ее видел. Все это для нас невероятно важно, и я умоляю тебя рассказать нам о твоих собственных приключениях.

С этими словами Ревекка села на постель рядом со мной, но, казалось, занята была одной лишь тайной, выяснения которой ждала от меня. Однако я упорно молчал, ссылаясь на то, что дал честное слово ни при ком не упоминать о виденном.

– Как ты можешь думать, сеньор Альфонс, – продолжала настаивать Ревекка, – будто честное слово, данное двум дьяволам, к чему-то тебя обязывает? Мы уже установили, что это два женских злых духа, один – по имени Эмина, другой – по имени Зибельда, но пока не можем проникнуть в природу этих дьяволов, потому что в нашей науке, как и во всех других, нельзя знать все.

Я опять отказался говорить и попросил красавицу больше меня ни о чем не спрашивать. Тогда она взглянула на меня с невыразимой нежностью и промолвила:

– Какой же ты счастливый, что можешь так твердо держаться основ добродетели, которая озаряет все твои поступки! Каким спокойным сознанием чистой совести можешь ты наслаждаться! И насколько наша участь не похожа на твою! Мы хотели увидеть предметы, недоступные взорам смертного, и постигнуть то, чего дух человеческий не в состоянии понять. Я не создана для этих сверхъестественных знаний; на что мне пустая власть над злыми духами? Во сто раз предпочла бы я властвовать над сердцем преданного супруга, но отец мой захотел, и я должна покориться моему предназначению.

Тут Ревекка вынула платочек и утерла слезы, катившиеся жемчужинами по ее прекрасному лицу, а потом прибавила:

– Сеньор Альфонс, позволь мне завтра вернуться в этот самый час и еще раз постараться преодолеть твое упорство, или, как ты это называешь, нерушимую верность своему слову. Скоро солнце перейдет в созвездие Девы, – тогда уж не останется времени, и предназначение исполнится.

На прощанье Ревекка дружески пожала мне руку и с видимой досадой пошла опять заниматься своими каббалистическими трудами.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Я проснулся раньше обычного и вышел на террасу – подышать свежим воздухом, пока солнце еще не начало печь. Вокруг царили мир и тишина, даже поток как будто шумел не с таким грохотом, позволяя слышать гармоническое пенье птиц. Безмятежное спокойствие стихий отразилось на душе моей, и я мог трезво обдумать все происшедшее со мной после выезда из Кадиса. Только тут вспомнил я несколько выражений, случайно вырвавшихся у наместника провинции дона Энрике де Са, и понял, что он тоже что-то знает о таинственном существовании Гомелесов и даже в какой-то мере причастен к самой тайне. Он лично рекомендовал мне обоих слуг – Лопеса и Москито, – и не по его ли приказу они покинули меня у входа в злосчастную долину Лос-Эрманос? Мои родственницы не раз давали мне понять, что меня хотят подвергнуть испытанию. Я подумал, что в Вента-Кемаде мне дали снотворного питья, а затем сонного перенесли под виселицу. Пачеко мог окриветь совсем по другой причине, а его любовные отношения и страшное происшествие с двумя висельниками могли быть басней. Отшельник, желавший посредством исповеди вырвать у меня тайну, стал мне казаться орудием Гомелесов, чья цель была испытывать мою стойкость.

В конце концов туман, окутывавший мои приключения, стал рассеиваться, и я уже начал мыслить о них, не предполагая обязательного участия сверхъестественных сил, как вдруг услышал звуки веселой музыки, доносящейся откуда-то из окружающих гор. Звуки все приближались, и наконец я увидел толпу цыган, шагающих в такт и поющих под аккомпанемент бубнов и медных тарелок. Они остановились табором под самой террасой, так что я мог вдоволь надивиться своеобразному изяществу их одежд и всего табора в целом. Я подумал было, не те ли это воры-цыгане, под чью защиту укрылся трактирщик Вента-Кемады, как рассказывал мне отшельник; но они показались мне слишком лощеными для мошенников. Пока я их рассматривал, они разбивали шатры, вешали котелки над огнем и люльки с младенцами – на сучьях ближайших деревьев. А покончив со всеми этими приготовлениями, отдались радостям кочевой жизни, среди которых на первое место они ставят праздность.

Шатер вожака отличался от других не только воткнутой у входа большой булавой с серебряной шишкой, но и более нарядной отделкой и богатой бахромой, какой у обыкновенных цыган не бывает. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, как из этого шатра выходят обе мои родственницы в том прелестном наряде, который в Испании называют а-ля gitana maja¹⁹. Они подошли к самому основанию террасы, но, казалось, совершенно не замечали меня. Подозвав подруг, они стали танцевать поло под знакомую мелодию:

Quando me Paco me azze,
Las palmas para vaylar,
Me se puene el corpecito
Como hecho de mazzapan...²⁰

¹⁹ на цыганский манер (исп.)

20

Когда Пако ведет меня

Прекрасная Эмина и очаровательная Зибельда покорили меня в мавританских одеждах, а теперь в этом новом наряде показались мне еще восхитительнее. Я заметил только, что на этот раз уста их искривляет коварная, насмешливая улыбка, хоть и естественная у цыганских гадалок, однако говорящая о том, что девушки готовят мне новые козни под этим новым неожиданным обликом.

Замок каббалиста был заперт со всех сторон; хозяин держал ключи при себе, так что я не мог спуститься вниз, к цыганкам. Но, пройдя подземельем, выходящим к руслу потока и кончавшимся железной решеткой, я мог видеть их на близком расстоянии и даже с ними разговаривать, оставаясь не замеченным обитателями замка. Я воспользовался этим тайным проходом, и вскоре только поток отделял меня от плясуний. Но это были совсем не мои родственницы. Они показались мне даже несколько вульгарными, что вполне соответствовало их положению.

Устыдившись своей ошибки, я медленно вернулся на террасу. Опять поглядел и опять совершенно отчетливо узнал своих родственниц. И они тоже как будто узнали меня: расхохотались и убежали в шатры.

Я возмутился. «Господи! – подумал я. – Может ли быть, чтобы два таких милых, прелестных создания были злыми духами, которые привыкли издеваться над смертными, принимая всевозможные облики, либо колдуньями, или, что еще страшней, вампирами, получившими от неба позволение оживить отвратительные трупы висельников из долины Лос-Эрманос?» До сих пор я полагал, что сумею объяснить себе эти явления обычным способом, но теперь уж сам не знал, чему верить...

Поглощенный такого рода размышлениями, я вернулся в библиотеку, где нашел на столе большую книгу, написанную готическим шрифтом, под заглавием «Любопытные повествования Ханпелиуса». Книга была раскрыта, и страница, как нарочно, загнута в начале главы, содержащей нижеследующее.

ИСТОРИЯ ТИБАЛЬДА ДЕ ЛА ЖАКЬЕРА

Жил-был в одном французском городе, стоящем на берегах Роны и называемом Лион, богатый купец по имени Жак де ла Жакьер. Жак принял эту фамилию после того, как бросил торговлю и был избран первым советником, – должность, предоставляемая лионцами только людям зажиточным и с безупречной репутацией. Именно таким и был почтенный советник де ла Жакьер: покровитель бедных, благодетель монахов и священников, которые суть истинные бедняки перед господом.

Но совсем не похож на отца был единственный сын советника, прапорщик королевской гвардии господин Тибальд де ла Жакьер, шалопай, забияка, гроза девушек, игрок, враг оконных стекол и фонарей, кутила и богохульник. Часто случалось ему ночью останавливать мирных горожан, чтобы обменять у них свой старый плащ либо поношенную шляпу на новые. Вскоре слухами о подвигах господина Тибальда наполнились Париж, Блуа, Фонтенебло и другие королевские резиденции. В конце концов дошли они и до нашего светлейшего государя, светлой памяти Франциска I. Разгневанный проделками дерзкого вояки, он отослал его в наказание к отцу, почтенному советнику де ла Жакьеру, жившему тогда возле площади Белькур, на углу улицы Сен-Рамон.

В отцовском доме молодого Тибальда встретили с такой радостью, словно он вернулся из Рима, наделенный всеми видами отпущений от святейшего отца. По случаю его приезда

за руку танцевать,
тело мое становится мягким,
как марципан

(исп диал.)

заклали не только тучного тельца, но советник де ла Жакьер устроил целый пир, потратив на это больше золотых, чем было пирующих за столом. Дело не ограничилось и этим. Провозглашались тосты за здоровье единственного сына, и каждый желал ему побольше рассудительности и благоразумия. Но эти благие пожелания пришлись ему не по вкусу. Беспутный юноша взял со стола золотой кубок и, наполнив его вином, воскликнул:

– Тысяча проклятий самому дьяволу! Осушая этот кубок, клянусь отдать ему свою кровь и душу, если когда-нибудь изменюсь!

При этих страшных словах у пирующих волосы встали дыбом, некоторые перекрестились, а иные поднялись из-за стола. Господин Тибальд тоже встал и вышел прогуляться на площадь Белькур, где встретил двух давнишних своих приятелей, таких же бездельников, как он сам. Он заключил их в объятия, привел к себе в дом и приказал принести для них несколько бутылок вина, не обращая внимания ни на отца, ни на остальных гостей.

Так повел себя Тибальд в первый день после своего возвращения. На другой он повторил то же самое и в дальнейшем продолжал вести такой же образ жизни.

Бедный отец, терзаемый горем, решил обратиться к своему патрону, святому Иакову, и поставить у его алтаря восковую свечу стоимостью в десять ливров, украшенную двумя золотыми кольцами, по пять марок каждое. Но, укрепляя свечу на алтаре, он уронил ее и опрокинул серебряный светильник, горевший перед святым образом. Советник велел отлить свою свечу по другому поводу, но, считая самым важным возвращение сына на путь истинный, с радостью совершил эту жертву. Однако, увидев свечу на земле и светильник опрокинутым, усмотрел в этом дурное предзнаменование и печальный вернулся домой.

В тот же день Тибальд устроил пир для своих друзей. После того, как было опорожнено множество бутылок и уже давно настала ночь, они втроем вышли на площадь Белькур. Там они взяли друг друга за руки и стали, задрав головы, расхаживать взад и вперед по площади, как обычно делают распутники, желающие привлечь к себе внимание девушек. На этот раз, однако, им не повезло: вокруг – ни одной женщины, и ночь была такая темная, что в окнах тоже нельзя было увидеть ни одной.

Когда им надоело одиночество, молодой Тибальд грубым голосом и, по своему обыкновению, чертыхаясь воскликнул:

– Тысяча проклятий самому дьяволу, которому я готов прозакладывать свою кровь и душу, если он не пришлет мне сейчас же свою дочь. Я бы с ней переспал, до того от вина кровь разыгралась!

Эта речь не понравилась приятелям Тибальда, которые еще не были такими закоренелыми грешниками, и один из них промолвил:

– Подумай, друг: ведь сатана – вечный враг человека, и нет нужды просить его и называть по имени, чтоб он человеку навредил!

На что Тибальд возразил:

– Как я сказал, так и сделаю!

В это мгновение трое бездельников увидели, что из-за угла вышла закутанная в покрывало женщина, статная и, по-видимому, совсем молодая. За ней бежал арапчонок, но вдруг споткнулся, упал ничком на землю и разбил фонарь, который нес в руке. Молодая незнакомка испугалась и стала озиаться по сторонам, словно не зная, как ей быть.

Господин Тибальд сейчас же подошел к женщине и весьма учтиво предложил ей руку, чтобы проводить до дому. Бедная девушка после минутного размышления согласилась. Господин Тибальд, вернувшись к приятелям, промолвил вполголоса:

– Видите: тот, кого я вызывал, недолго заставил себя ждать. До свидания, покойной вам ночи!

Друзья поняли, что он хотел сказать, и простились с ним, смеясь и пожелав ему приятно провести время.

Тибальд взял незнакомку под руку, арапчонок тотчас же с погасшим фонарем пошел вперед. Сперва казалось, молодая женщина от смущения близка к обмороку; но скоро она

пришла в себя и смелее оперлась на руку спутника. Несколько раз она споткнулась; при этом она сжимала его руку, чтобы не упасть. Со своей стороны, Тибальд, желая поддержать незнакомку, прижимал ее руку к сердцу, всякий раз, однако, с величайшей осторожностью, чтобы не вспугнуть дичи.

Они шли вместе так долго, что в конце концов Тибальд подумал, уж не заблудились ли они среди улиц Лиона. Но он не стал жалеть об этом, полагая, что теперь красавица не будет так дорожить. Тем не менее, чтобы заранее знать, с кем он имеет дело, он предложил ей присесть отдохнуть на каменной скамье у дверей какого-то дома. Незнакомка согласилась, и они сели рядышком. Тибальд, не теряя времени, учтиво взял ее за руку и с непривычным для него остроумием промолвил:

– Прекрасная блуждающая звезда, раз моя звезда судила мне нынче ночью встретить тебя, будь так добра – скажи мне, кто ты и где живешь.

Молодая женщина, после некоторого колебания, набравшись смелости, начала так.

ИСТОРИЯ ПРЕЛЕСТНОЙ ДЕВУШКИ ИЗ ЗАМКА СОМБР-РОШ

Меня зовут Орландина, по крайней мере, так называли меня несколько человек, живших вместе со мной в замке Сомбр-Рош в Пиренеях. Я не видела ни одного человеческого существа, кроме моей дуэньи, которая была глухая, служанки, которая так сильно заикалась, что ее можно было считать немой, да старого слепого привратника.

У привратника было не много дела, так как он только раз в год открывал ворота – и то одному только господину, приезжавшему к нам, чтобы взять меня за подбородок и поговорить с моей дуэньей на бискайском наречии, которого я совсем не понимаю. К счастью, я уже умела говорить, когда меня заперли в замке Сомбр-Рош, – иначе никогда не научилась бы в обществе двух моих подруг по заточению. Что касается слепого привратника, я видела его, только когда он подавал нам обед через единственное, да и то зарешеченное окно. Правда, моя глухая дуэнья иногда кричала мне в уши какие-то моральные наставления, но я понимала их не больше, чем если б была сама такой же глухой, как она, когда она, например, толковала мне о супружеских обязанностях, ни разу не объяснив, что такое супружество. Не раз говорила она мне и о других вещах, но никогда не давала никаких объяснений. Часто также заика-служанка пыталась рассказать мне какую-нибудь историю, по ее уверению, очень забавную, но, запнувшись на первой же фразе, останавливалась и уходила, лепеча извинения, которые давались ей с таким же трудом, как сама история.

Я тебе уже сказала, что у нас было только одно окно, – во всяком случае, только оно выходило на большой двор замка; остальные открывались на другой двор, где росло несколько деревьев, изображавших сад, и откуда выход был только в мою комнату. Там у меня были посажены кое-какие цветы, и уход за ними был единственным моим удовольствием. Нет, была еще одна столь же невинная забава: большое зеркало, в которое я гляделась каждое утро, как только вставала с постели. Моя дуэнья, не одетая, тоже приходила глядеться, и я забавлялась, сравнивая ее фигуру с моей. Предавалась я этому развлечению и перед отходом ко сну, когда дуэнья уже спала. Иногда я представляла себе, что вижу в зеркале подругу моего возраста, отвечающую на мои движения и разделяющую мои чувства. И тем сильнее поддавалась самообману, чем больше эта игра мне нравилась.

Я уже говорила о важном сеньоре, который раз в год приезжал в замок, брал меня за подбородок и разговаривал с моей дуэньей на бискайском наречии. Однажды этот господин, вместо того чтоб брать за подбородок, взял меня за руку, подвел к карете, в которой заключил, как в темнице, вместе с моей дуэньей. Смело могу сказать – «заключил», так как свет проникал в карету только сверху.

Вышли мы оттуда на третий день или, вернее, на третью ночь, так как достигли цели нашей поездки, когда уже смеркалось. Какой-то незнакомец отворил дверцу кареты и промолвил:

– Вы находитесь на углу площади Белькур и улицы Сен-Рамона. Угловой дом

принадлежит советнику де ла Жакьеру. Куда прикажете вас отвезти?

– Прикажете въехать в первые ворота за домом советника, – ответила моя дуэнья.

Тут Тибальд насторожился, так как в самом деле рядом с их домом жил один дворянин по имени де Сомбр Рош, слышавший невероятным ревнивцем. Он много раз хвалился перед Тибальдом, что докажет ему возможность иметь верную жену; говорил, что растит у себя в замке прелестную девушку, на которой женится, чтоб подтвердить правоту своих слов. Но молодой Тибальд совсем не знал, что в настоящее время девушка находится в Лионе, и страшно обрадовался, что она попала к нему в руки. Между тем Орландина продолжала свой рассказ.

– Мы въехали в ворота. Нас провели в просторные и богатые покои, а оттуда по витой лестнице на башню, откуда, как мне показалось, днем можно видеть весь город. Но я ошиблась, оттуда даже днем ничего нельзя было увидеть, так как окна были затянуты толстым зеленым сукном. Взамен башня освещалась хрустальной люстрой, украшенной эмалью. Дуэнья усадила меня в кресло и для развлечения дала мне свои четки, а сама вышла и задвинула за собой дверь на засов.

Оставшись одна, я отложила в сторону четки, взяла ножницы, висевшие у меня на поясе, и разрешила зеленую материю, закрывавшую окно. Напротив я увидела другое окно, а сквозь него – ярко освещенную комнату, в которой сидели за столом три молодые девушки и трое молодых людей невообразимой красоты. Они пели, пили, смеялись, юноши ухаживали за девушками, даже иногда брали их за подбородок, но с совсем другим выражением лица, чем тот сеньор в Сомбр-Рош, который, однако, только с этой целью приезжал в наш замок. Потом эти девушки и молодые люди начали понемногу сбрасывать одежды, как я обычно делала по вечерам перед зеркалом. И делали они это, как я, а не так, как моя старая дуэнья.

Тут Тибальд понял, что речь идет об ужине, которым он угощал вчера своих приятелей. Обняв стройный стан Орландины, он прижал ее к своему сердцу.

– Именно так делали и молодые люди, – продолжала Орландина. – И по-моему, они страшно друг друга любили. В конце концов один из пирующих сказал, что умеет любить лучше других. Двое остальных утверждали то же каждый о себе. Девушки разошлись в мнениях. Тогда тому, кто первый похвалился своим искусством, пришел в голову оригинальный способ доказать его на деле.

При этих словах Тибальд, хорошо помнивший все, что было на пирушке, покатился со смеху.

– Что же это за способ, прекрасная Орландина? – промолвил он.

– Ах, не смейся, сеньор. Уверяю тебя, что это был необычайно приятный способ, и любопытство мое все возрастало, как вдруг дверь отворилась. Я бросилась к четкам – вошла моя дуэнья.

Она взяла меня за руку и повела в карету, которая уже не была замкнута, как накануне, и, не будь ночь так темна, я могла бы видеть Лион во всех подробностях, – но тут поняла только, что едем мы куда-то далеко. Вскоре мы миновали городские стены и остановились у последнего дома предместья. На вид это обыкновенная хижина, даже крытая соломой, а внутри – все по-другому, в чем ты сам убедишься, если только арапчонок не забыл дороги, но я вижу, он позаботился насчет света и зажег фонарь.

На этом Орландина кончила свой рассказ. Тибальд поцеловал ей руку и спросил:

– Скажи, заблудившаяся красавица, ты одна живешь в этой хижине?

– Совсем одна, – ответила незнакомка, – с одной только дуэньей да арапчонком. Но не думаю, чтобы дуэнья уже успела вернуться домой. Сеньор, приезжавший гладить меня по подбородку, велел мне прийти к его сестре. Так как он не мог прислать за мной кареты, которую послал за священником, мы пошли пешком. На улице кто-то остановил нас, чтобы сказать мне, что я красивая. А глухая дуэнья подумала, что он позволил себе какую-то грубость, и стала отвечать. Собралось много народу, стали вмешиваться в спор. Я испугалась и кинулась бежать. Арапчонок побежал за мной, упал и уронил фонарь; я не знала, что делать, но, к счастью, встретила вас.

Восхищенный этим простодушным рассказом, Тибальд возобновил свои ухаживания, как вдруг появился арапчонок с зажженным фонарем, свет которого упал на лицо Тибальда.

– Что я вижу! – воскликнула Орландина. – Того, кто вчера хвалился своим искусством!

– Ваш покорный слуга! – ответил Тибальд. – Но, смею вас уверить, то, что я делал вчера, ничто по сравнению с тем, чего может от меня ждать приличная, благородная дама. А ни одна из вчерашних девушек этого названия не заслуживает.

– Как же так? А мне показалось, что ты так любишь этих трех девушек... – перебила Орландина.

– Лишнее доказательство, что на самом деле я не люблю ни одной.

Орландина щебетала, Тибальд прижимался к ней, и так они сами не заметили, когда дошли до одинокой хижины в конце предместья, дверь которой арапчонок отпер ключом, висевшим у него на поясе. Внутренность ее не имела ничего общего с наружным убожеством. Фламандские ткани с прекрасными рисунками, изображающими, казалось, живые фигуры, покрывали стены. Под потолком висели серебряные люстры искусной работы. Дорогие шкафы из слоновой кости и черного дерева, кресла генуэзского бархата, украшенные золотой бахромой, стояли возле упругих диванов, крытых венецианским муаром.

Но Тибальд на все это не обратил внимания, он видел только Орландину и ждал развязки удивительного приключения.

Между тем арапчонок пришел накрывать на стол, и только тут Тибальд заметил, что это не ребенок, как ему казалось, а старый черный карлик отвратительной наружности. Однако маленький человечек принес вещи, отнюдь не противные: большое позолоченное блюдо, на котором дымились четыре куропатки, аппетитные и отлично приготовленные, а под мышкой у него была бутылка пряного вина. Наевшись и напившись, Тибальд почувствовал, словно по жилам его побежал огонь. Что же касается Орландины, то она мало ела, но все время посматривала на своего собеседника, то бросая ему нежные и невинные взгляды, то всматриваясь в него такими злыми глазами, что юноша совсем терялся.

Наконец арапчонок пришел убирать со стола. Тогда Орландина взяла Тибальда за руку и сказала:

– Как мы будем проводить вечер, прекрасный кавалер?

Тибальд не знал, что на это ответить.

– Мне пришла в голову одна мысль, – продолжала она. – Видишь вон то большое зеркало? Давай смотреться в него, как я делала в замке Сомбр-Рош. Мне тогда очень нравилось сравнивать фигуру дуэньи с моей; а теперь хочется посмотреть, какая разница между тобой и мной.

Орландина пододвинула кресла к зеркалу, потом расстегнула сверху камзол Тибальда и сказала:

– Шея у тебя, как моя, плечи тоже, – но грудь до чего непохожа! Год тому назад этой разницы еще не было, но теперь я своей просто узнать не могу, так она изменилась. Сними, пожалуйста, пояс и расстегни кафтан. А это что за бахрома?

Тибальд совсем потерял голову, – он понес Орландину на кровать и уже почитал себя счастливейшим из смертных... Но вдруг почувствовал, как будто ему запустили когти в шею.

– Орландина! – воскликнул он. – Орландина! Что это значит?

Никакой Орландины больше не было: вместо нее Тибальд увидел какие-то до тех пор незнакомые ему очертания.

– Я не Орландина! – крикнуло чудовище страшным голосом. – Я – Вельзевул!

Тибальд хотел было призвать на помощь Спасителя, но сатана, угадав его намерение, схватил его зубами за горло и не дал ему произнести этого святого имени.

Утром крестьяне, везшие овощи в Лион на базар, услышали стоны, доносившиеся из развалин дома у дороги, служивших свалкой падали. Войдя туда, они увидели Тибальда, лежащего на разлагающемся трупе животного. Крестьяне подняли неизвестного, отвезли его

в город, и несчастный де ла Жакьер узнал своего сына.

Юношу уложили в постель; вскоре Тибальд как будто стал приходить в себя и наконец почти неслышно промолвил:

– Откройте дверь этому святому отшельнику, откройте скорее.

Сначала никто не понял, но дверь открыли и увидели почтенного монаха, который сказал, чтоб его оставили, наедине с Тибальдом. Требование было исполнено, и дверь за ним заперта.

Долго еще слышались увещанья отшельника, на которые Тибальд громко отвечал:

– Да, отец мой, я раскаиваюсь в грехах своих и возлагаю всю свою надежду на божье милосердие.

Наконец, когда все утихло, открыли дверь. Отшельник исчез, а Тибальд лежал мертвый, с распытием в руках.

Не успел я кончить эту историю, как вошел каббалист, – казалось, он желал прочесть в моих глазах впечатление от прочитанного. Действительно, то, что произошло с Тибальдом, очень меня удивило, но я не хотел этого показывать и пошел к себе. Там я вновь задумался над своими собственными приключениями и почти начал верить, что духи тьмы, стараясь вовлечь меня в свои сети, оживили трупы двух висельников, – и, кто его знает, не являюсь ли я вторым Тибальдом.

Прозвучал колокол, сзывая на обед. Каббалист не пришел. Все казались мне какими-то растерянными, может быть, оттого, что сам я никак не мог собраться с мыслями.

После обеда я пошел на террасу. Цыганский табор уже значительно удалился от замка. Таинственные цыганки совсем не показывались; вскоре наступила ночь, и я пошел в свою комнату. Долго ждал Ревекку, но на этот раз напрасно, и в конце концов заснул.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Ревекка разбудила меня. Открыв глаза, я увидел прекрасную израильтянку, которая сидела на моей постели и держала мою руку.

– Храбрый Альфонс, – сказала она, – ты вчера хотел потихоньку выбраться к двум цыганкам, но ведущая к потоку решетка была заперта. Я принесла тебе ключ от нее. Если они и нынче покажутся у стен замка, я прошу тебя пойти с ними в табор. Можешь быть уверен, что осчастливишь моего брата, если принесешь ему о них какие-нибудь сведения. А что касается меня, – печально прибавила она, – то я должна удалиться. Этого требует моя судьба, мое странное предназначение. Ах, отец мой, зачем не сделал ты меня подобной остальным смертным? Я чувствую, что более способна любить в действительности, чем в зеркале.

– Что ты подразумеваешь под любовью в зеркале?

– Ничего, ничего, – перебила Ревекка, – когда-нибудь узнаешь. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

Еврейка удалилась, сильно взволнованная, а я невольно подумал, что трудно ей будет сохранить верность двум небесным близнецам, которым она была предназначена в жены, как рассказывал мне ее брат.

Я вышел на террасу. Цыгане были уже далеко от замка. Я взял с полки книгу, но не мог долго читать. Мысли мои разбегались, голова была полна посторонним. Наконец пригласили к столу. Разговор, как обычно, вертелся вокруг духов, ведьм и оборотней. Хозяин сказал нам, что древние имели о них смутное представление и знали их под названием эмпуз, ларв и ламий, но что тогдашние каббалисты были такими же мудрыми, как теперешние, хоть назывались всего-навсего философами, разделяя это название со многими, не имевшими ни малейшего представления об оккультных науках... Отшельник напомнил о Симоне Маге, но Уседа доказывал, что славу самого мудрого каббалиста того времени заслуживает Аполлоний Тианский, так как он достиг неслыханной власти над всем демоническим миром.

При этих словах он встал, нашел на полке Филострата, изданного в 1608 году Морелем, и, глядя в греческий текст, без малейшей запинки прочел на чистом испанском языке следующее.

ИСТОРИЯ МЕНИППА-ЛИКИЙЦА

Жил однажды в Коринфе двадцатипятилетний ликиец, остроумный и красивый, по имени Менипп. В городе шел слух, что в него влюбилась одна богатая и прекрасная чужеземка, с которой он случайно познакомился. Они повстречались на дороге в Кенхрею. Незнакомка, нежно улыбаясь, подошла к нему и сказала:

– О Менипп, я давно люблю тебя; я – финикиянка и живу в конце ближайшего предместья Коринфа. Если ты придешь ко мне, то услышишь мое пение и будешь пить вино, какого никогда еще не пробовал. И не думай ни о каких соперниках: я буду всегда тебе верна, ожидая и от тебя такой же верности.

Юноша, хотя от природы и скромный, не устоял против этих сладких слов, произнесенных коралловыми устами, и всей душой привязался к новой любовнице.

В первый раз увидев Мениппа, Аполлоний поглядел на него глазами ваятеля, как бы желающего высечь его бюст, а потом сказал:

– Прекрасный юноша, ты нежишься в коварных кольцах змеи.

Эта в высшей степени странная речь удивила Мениппа. Аполлоний же, помолчав, продолжал:

– Тебя любит женщина, которая не может стать твоей женой. Ты думаешь, она и в самом деле тебя любит?

– Без всякого сомнения, – ответил юноша. – Уверен, что любит.

– И ты женишься на ней? – спросил Аполлоний.

– Почему же мне не жениться на женщине, которую я так безумно люблю.

– Когда будет свадьба?

– Может быть, завтра, – ответил юноша.

Аполлоний запомнил время пира, и когда гости собрались, вошел в комнату со словами:

– Где прекрасная хозяйка этого пиршества?

– Она здесь, рядом, – ответил Менипп и встал, слегка покраснев.

Аполлоний продолжал так:

– Кому принадлежит золото, серебро и убранство этой комнаты? Тебе или этой женщине?

– Женщине, – сказал Менипп. – У меня, кроме нищенского плаща философа, ничего нет.

Тогда Аполлоний обратился к гостям:

– Видели вы когда-нибудь сады Тантала, которые и существуют и не существуют?

– Мы видели их у Гомера, – ответили присутствующие, – потому что сами в преисподнюю не спускались.

Тогда Аполлоний сказал:

– Все, что вы видите, подобно этим садам. Все это – только призрак, а не действительность. И чтоб убедить вас в правде моих слов, скажу вам, что эта женщина – одна из эмпуз, в просторечье называемых ларвами или ламиями. Эти ведьмы жаждут не столько любовных утех, сколько человеческого мяса и соблазняют наслаждениями тех, кого хотят пожрать.

– Ты мог бы сказать нам что-нибудь поумней, – прервала мнимая финикиянка и, пылая гневом, начала поносить философов, называя их сумасбродами. Тогда Аполлоний произнес несколько слов, и золотые, серебряные сосуды и украшения комнаты вдруг исчезли. И вся прислуга тоже пропала в мгновение ока. Тогда эмпуза притворилась, что плачет, и стала умолять Аполлония, чтобы тот перестал ее мучить; однако он, не обращая никакого

внимания на ее просьбы, наступал на нее все сильнее, и в конце концов она призналась, что не жалела для Мениппа удовольствий, чтобы потом пожрать его, и что особенно любит она поедать молодых людей, так как их кровь укрепляет ее здоровье.

— Я полагаю, — промолвил отшельник, — что она хотела пожрать скорей душу, нежели тело Мениппа, и что эмпуза эта была попросту дьяволом похоти; но я не понимаю, какие слова давали такое могущество Аполлонию. Ведь философ этот не был христианином и не мог пользоваться грозным оружием, вложенным нам в руки церковью. Кроме того, хотя древние до рождения Христа могли в некоторых отношениях господствовать над злыми духами, крест, наложив печать молчания на всех прорицателей, окончательно лишил власти идолопоклонников. И я полагаю, что Аполлоний не только не был в состоянии изгнать самого ничтожного беса, но даже не имел ни малейшей власти над последним из духов, так как привидения эти появляются на земле не иначе, как с божьего дозволения, и то всякий раз — с просьбой о заупокойной службе, которая, как вы знаете, в языческие времена была совершенно неизвестна.

Уседа держался другого мнения; он утверждал, что злые духи преследовали язычников не менее, чем преследуют христиан, хотя, может быть, совсем по другим поводам, и в подкрепление своих слов он, взяв книгу писем Плиния, прочел следующее.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФА АФИНОДОРА

Был в Афинах дом, просторный и удобный для жилья, но имевший дурную славу и заброшенный. Не раз в ночной тишине там слышались удары железа о железо, а если напрячь слух, так бряцание цепей, доносившееся сперва как будто издалека, а потом все приближавшееся. Вскоре вслед за тем появлялось привидение в виде исхудавшего и согбенного старика, с длинной бородой, всклокоченными волосами и в ручных и ножных кандалах, которыми он устрашающе потрясал. Этот отвратительный призрак не давал жителям спать, а вечная бессонница вызывала болезни, печально кончавшиеся. Ибо даже днем, когда привидения не было, ужасное зрелище все время стояло перед глазами, повергая в ужас самых отважных. В конце концов дом опустел, целиком предоставленный призраку. Но хозяин вывесил объявление о том, что согласен сдать это ненужное строение внаем или даже продать его, — втайне надеясь, что какой-нибудь незнакомец, не знающий о чудовищных помехах, легко вдастся в обман.

В это время в Афины приехал философ Афинодор. Увидев надпись, он спросил о цене. Удивленный необычайной дешевизной, он стал допытываться ее причины, и, когда ему рассказали всю историю, он не только не отступил, но с тем большей поспешностью ударил по рукам. Въехал в дом, а вечером приказал постелить постель в передних комнатах, принести светильник и таблички для письма, а слугам — уйти в дальнее крыло дома. Потом, опасаясь, как бы разыгравшееся воображение не занесло его слишком далеко и не представило ему предметов, совершенно не существующих, приготовил мысли, глаза и руки к занятиям.

В начале ночи как во всем доме, так и в этой части царила мертвая тишина, однако вскоре Афинодор услышал скрежет железа и звон цепей; несмотря на это, он не поднял глаз, не отложил пера, но, овладев собой, так сказать, принудил себя не обращать ни малейшего внимания на окружающее. Между тем шум, все усиливаясь, раздавался уже за дверью и, наконец, послышался в самой комнате. Подняв глаза, философ увидел призрак — точно такой, как ему описывали. Привидение стояло на пороге и манило его пальцем. Афинодор сделал ему рукой знак подождать и продолжал писать, но призрак, видимо от нетерпения, стал трясти кандалами прямо над ухом философа.

Мудрец обернулся и, увидя, что дух продолжает его звать, поднялся, взял светильник и пошел за ним. Привидение, шагая медленно, словно придавленное тяжестью цепей, вышло во двор и вдруг на самой середине провалилось сквозь землю. Философ, оставшись один,

отметил это место, навалив на него листьев и травы, а утром обратился к властям с просьбой произвести розыски. Стали копать и обнаружили скелет, скованный кандалами. Город постановил почтить эти останки надлежащим погребением, и на другой день, после отдания покойнику этого последнего долга, в дом навсегда вернулся покой.

Прочитав вслух эту историю, каббалист прибавил:

– Духи показывались с древнейших времен, достопочтенный отец. Об этом говорит случай с Аэндорской волшебницей, и каббалисты всегда имели его в виду. В то же время я признаю, что в мире духов произошли большие перемены. Так, например, оборотни, если можно так выразиться, принадлежат к числу новых открытий. Я различаю среди них два вида, а именно – оборотней венгерских и польских, мертвецов, вылезающих по ночам из могил и сосущих человеческую кровь; и оборотней испанских – нечистых духов, которые, войдя в первое подходящее тело, придают ему любые формы...

Каббалист явно хотел свернуть разговор на обстоятельства, меня касающиеся, так что я встал, быть может, даже слишком резко, и вышел на террасу. Не прошло получаса, как я увидел двух моих цыганок, которые, казалось, спешили в замок и на расстоянии были вылитые Эмина и Зибельда. Я решил сейчас же воспользоваться ключом. Зайдя к себе в комнату за шляпой и шпагой, я через несколько мгновений был уже у решетки. Отворив ее, я увидел, что надо еще перебраться на ту сторону потока. К счастью, оказалось, что вдоль стены, словно нарочно, прибиты крюки, при помощи которых я спустился к каменистому руслу; перепрыгивая с камня на камень, я оказался на другой стороне и прямо перед собой увидел двух цыганок, которые, однако, были совсем непохожи на моих родственниц. Хотя вся их внешность была другая, однако манера держаться отличала их от грубоватости плохо воспитанных женщин этого народа. Казалось даже, что они только на время, с какой-то скрытой целью, взяли на себя эту роль. Обе вздумали вместе мне погадать; одна взяла мою руку, а другая, делая вид, будто читает по ней мое будущее, заговорила на своеобразном наречии:

– Ah, Caballero, che vejo en vuestra bast! Dirvanos kamela, ma por quen? Por demonios! – это значит: «Ах, благородный господин, что я вижу на твоей ладони! Страстную любовь, но к кому? К дьяволам!»

Само собой разумеется, я никогда не догадался бы, что dirvanos Pamela – значит по-цыгански «страстная любовь», но девушки перевели мне. Затем, взяв меня под руки, они отвели меня к себе в табор и представили бодрому и крепкому старику, которого они называли отцом. Старик, кинув на меня недобрый взгляд, промолвил:

– Знаешь ли ты, сеньор кавалер, что находишься среди людей, о которых идет повсеместно дурная слава? Не боишься ты нашего общества?

При слове «боишься» я положил руку на эфес шпаги; но старик любезно протянул мне руку и прибавил:

– Прости, сеньор кавалер, у меня не было желания тебя обидеть. Наоборот, я хотел просить тебя провести с нами несколько дней. Если путешествие в горы может тебя занять, мы обещаем показать тебе самые прекрасные и самые страшные места: долины чарующей прелести и рядом – пропасти, полные ужаса; если же ты любитель охоты, у тебя будет возможность удовлетворить эту страсть.

Я принял его предложение тем охотней, что беседы каббалиста начали мне надоедать, а уединенная жизнь в замке становилась с каждым днем несносней.

Старый цыган сейчас же отвел меня в свой шатер, промолвив:

– Сеньор кавалер, шатер этот будет твоим жилищем все время, которое ты пожелаешь провести среди нас. А я прикажу разбить тут же рядом маленький шатер, где сам буду спать, чтобы охранять тебя.

Я ответил, что, имея честь быть капитаном валлонской гвардии, я обязан защищать себя собственной шпагой. На это старик улыбнулся и сказал:

– Сеньор кавалер, мушкеты наших разбойников могут убить капитана валлонской

гвардии, как всякого другого; но эти господа будут предупреждены, и ты можешь спокойно отлучаться. А до этого – было бы неблагоразумно рисковать зря.

Старик был прав, и я устыдился своего неуместного геройства.

Мы посвятили вечер обходу табора и разговорам с двумя цыганками, которые показались мне самыми странными, но и самыми счастливыми созданиями на свете. Потом устроили ужин под развесистым рожковым деревом, тут же, возле шатра вожака; мы расселись на оленьих шкурах, вместо скатерти перед нами расстелили шкуру буйвола, выделанную под лучший сафьян. Кушанья, в особенности дичь, были превосходные. Дочери цыгана наливали нам вино, но я предпочитал утолять жажду водой, которая била прозрачной струей из скалы в двух шагах от нас. Старик любезно поддерживал беседу; он как будто знал о прежних моих приключениях и предостерегал от новых. Наконец пришла пора ложиться спать. Мне постлали постель в шатре вожака цыган и у входа поставили стражу.

Ровно в полночь меня разбудил какой-то шепот. Я почувствовал, что одеяло мое с обеих сторон приподняли и ко мне прильнули. «Господи боже! – подумал я. – Неужели мне опять придется проснуться под виселицей?» Но я не стал задерживаться на этой мысли. «Видно, цыганское гостеприимство предписывало такой способ принимать чужих, а человеку военному в моем возрасте необходимо считаться с местными обычаями», – решил я. Наконец я заснул – в глубокой уверенности, что на этот раз не имел деда с висельниками.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

В самом деле, вместо виселицы Лос-Эрманос я проснулся на своей постели от шума, поднятого цыганами, которые снимались табором.

– Вставай, сеньор кавалер, – сказал мне вожак, – перед нами дальняя дорога. Но ты получишь мула, какого не найдешь во всей Испании, и не почувствуешь усталости.

Я поспешно оделся и сел на мула. Мы выступили в поход с четырьмя хорошо вооруженными цыганами. Весь табор двинулся за нами на некотором расстоянии, причем во главе его шли две девушки, с которыми я, видимо, провел ночь. Извилины горной тропы то подымали меня вверх, то опускали вниз на несколько сот пядей. Тогда я останавливался, чтоб посмотреть на них, и мне опять казалось, что я вижу своих родственниц. Старого цыгана забавляло мое волнение.

Через четыре часа ускоренного марша мы достигли высокого плоскогорья, где нашли множество больших тюков. Вожак тотчас пересчитал и записал их. Потом сказал мне:

– Перед тобой, сеньор кавалер, английские и бразильские товары, которых хватит на четыре королевства: Андалузию, Гранаду, Валенсию и Каталонию. Правда, король терпит некоторый ущерб от нашей скромной торговли, но, с другой стороны, у него ведь не только эти доходы, а испанскую бедноту тешит и забавляет небольшая контрабанда. К тому же тут все этим занимаются. Одни из этих тюков будут размещены в солдатских казармах, другие – в монашеских кельях, третьи – в могильных склепах. Тюки, помеченные красным, попадут в руки таможенников, которые будут хвалиться ими перед властями; но эта уступка еще крепче свяжет их с нами.

После этого старый цыган приказал рассовать товары по разным впадинам в скалах, а потом сделал знак устроить обед в пещере, откуда открывался простор, которого не окинуть взглядом, и земная даль словно сливалась с синевой неба. Красоты природы с каждым днем производили на меня все большее впечатление. Этот вид привел меня в неопикуемый восторг, который был нарушен дочерью старого цыгана, принесшими обед. Как я уже сказал, вблизи они вовсе не были похожи на моих родственниц; в их взглядах, украдкой на меня кидаемых, была ласка, но какое-то смутное чувство говорило мне, что не они участвовали в том, что было ночью. Между тем девушки принесли горячую олью подриду, приготавливавшуюся все утро посланными заранее к месту нашего привала. Старый цыган и я принялись ее уписывать, с той лишь разницей, что он то и дело прерывал еду, чтобы приложиться к большому бурдюку с вином, я же удовлетворялся чистой водой из соседнего

источника.

Утолив голод, я сказал ему, что очень хотел бы подробней узнать его историю; он долго отнекивался, но я усиленно настаивал, так что в конце концов он решил поделиться со мной пережитым и начал так.

ИСТОРИЯ ПАНДЕСОВНЫ, ВОЖАКА ЦЫГАН

Среди испанских цыган я широко известен под именем Пандесовны. Это – достословный перевод на их наречие моего родового имени – Авадоро²¹, – из чего вы можете видеть, что я не родился цыганом. Отца моего звали дон Фелипе де Авадоро; он слыл самым серьезным и педантичным человеком среди своего поколения. Педантичность его была так велика, что если б я рассказал тебе историю одного прожитого им дня, перед тобой встала бы картина всей его жизни, – во всяком случае, промежутка между двумя его супружествами: первым, которому я обязан своим существованием, и вторым, которое вызвало его смерть, нарушив привычный ему образ жизни.

Отец мой, будучи еще на попечении своего деда, полюбил свою дальнюю родственницу и женился на ней, как только стал самостоятельным. Бедная женщина умерла, давая мне жизнь: отец, безутешный в своем горе, заперся на несколько месяцев у себя, не желая видеть даже никого из родных.

Время, успокаивающее все страдания, утетило и его печаль, и наконец его увидели на балконе, выходящем на улицу Толедо. Четверть часа он дышал свежим воздухом, потом пошел, отворил другое окно, выходящее в переулок. Увидев в доме напротив несколько знакомых лиц, он довольно весело им поклонился. В следующие дни он повторял то же самое, так что весть об этой перемене дошла до Херонимо Сантоса, театинца, дяди моей матери.

Этот монах пришел к моему отцу, поздравил его с выздоровлением, потолковал об утешениях религии, потом стал усиленно уговаривать, чтоб он поискал развлечений. Он простер свою снисходительность до того, что даже подал ему совет сходить в комедию. Отец, высоко ставивший авторитет брата Херонимо, в тот же вечер отправился в театр де ла Крус. Как раз шла новая пьеса, которую поддерживала партия Поллакос, в то время как другая партия, так называемая Сорисес, всячески старалась ее освистать. Борьба двух этих партий так увлекла моего отца, что с тех пор он ни разу не пропускал добровольно ни одного представления. Он примкнул к партии Поллакос и посещал княжеский театр, только когда де ла Крус стоял закрытый.

После окончания представления он обычно становился в конце двойного ряда, образуемого мужчинами для того, чтобы заставить женщин идти друг за другом поодиночке. Но он делал это не как другие, с целью получше рассмотреть их, нет, женщины мало занимали его, и, как только проходила последняя, он спешил в трактир «Под мальтийским крестом», где перед отходом ко сну съедал легкий ужин.

С утра первой заботой отца было открыть дверь балкона, выходящего на улицу Толедо. Тут он четверть часа дышал свежим воздухом, потом шел отворять окно, выходящее в переулок. Если он видел кого-нибудь в окне напротив, то учтиво приветствовал его, говоря: «Агур!» – после чего затворял окно. Слово «Агур» часто было единственным, которое он произносил за весь день, хотя горячо интересовался успехом всех комедий, шедших в театре де ла Крус; однако он выражал свое удовольствие отнюдь не словами, а рукоплесканием. Если никто в противоположном окне не показывался, он терпеливо дожидался минуты, когда представится возможность кого-то приветствовать. Потом отец отправлялся слушать мессу у театинцев. К его возвращению комната бывала прибрана служанкой, и он с неопиcуемой тщательностью принимался расставлять вещи по обычным местам. Делал он это с

²¹ Обуздатель страстей (исп.)

придирчивым вниманием, мгновенно обнаруживая малейшую соломинку или пылинку, обойденную метлой служанки.

Приведя комнату в надлежащий, с его точки зрения, порядок, он брал циркуль, ножницы и вырезал двадцать четыре кусочка бумаги одинаковой величины, клал на каждый из них кучку бразильского табаку и скручивал двадцать четыре сигарки, такие ровные и гладкие, что их можно было сравнить с самыми идеальными сигарами. Потом выкуривал шесть этих шедевров, пересчитывая черепицы на дворе герцога Альбы, и еще шесть – ведя учет проходящих в ворота Толедо. Прodelав это, он глядел на дверь своей комнаты, до тех пор пока ему не приносили обед.

После обеда он выкуривал остальные двенадцать сигар, потом вперял взгляд в часы, пока они не возвещали, что время собираться в театр. Ежели случайно в тот день ни в одном театре не было представления, он шел к книготорговцу Морено, где слушал споры нескольких литераторов, имевших обычай в определенные дни собираться там, однако при этом никогда не вмешивался в их беседу. А ежели он заболел и не выходил из дому, посылал к книготорговцу Морено за пьесой, шедшей вечером в театре де ла Крус, и, как только там начиналось представление, приступал к чтению, не забывая от души рукоплескать тем сценам, которые особенно ценились партией Поллакос.

Этот образ жизни был вполне невинный; однако отец мой, желая удовлетворить всем требованиям религии, обратился к театинцам с просьбой назначить ему духовника. Ему прислали брата Херонимо Сантоса, который воспользовался этим, чтобы напомнить ему, что я существую на свете и нахожусь в доме доньи Фелисии Даланосы, сестры моей покойной матушки. Отец мой, то ли из боязни, что я буду напоминать ему любимое существо, чьей смерти был невольной причиной, то ли не желая, чтоб моя детская шумливость нарушала мертвый покой его жизненных навыков, просил брата Херонимо никогда меня к нему не приводить. В то же время он позаботился о том, чтобы я не терпел никаких лишений, отказал мне весь доход с одной деревни, которая была у него в окрестностях Мадрида, и отдал меня под надзор эконому театинцев.

К несчастью, я подозреваю, что отец отдалил меня от себя, предугадывая невероятную разницу между нашими характерами, созданную самой природой. Вы обратили внимание, какой систематичный и однообразный образ жизни он вел? Что же касается меня, то могу утверждать, что не было на свете человека более непостоянного, чем я. Я не в состоянии выдержать даже своего непостоянства, так как мысль о спокойном счастье и жизни в домашнем уюте преследует меня среди моих кочевий, а влечение к переменам не позволяет выбрать постоянного обиталища. Эта неутомимость до такой степени мучила меня, что, познав самого себя, я решил раз навсегда поставить ей преграду, осев среди цыган. Правда, эта жизнь довольно однообразная, но зато не приходится смотреть все время на одни и те же деревья, одни и те же скалы или, что было бы еще несносней, на одни и те же улицы, стены и крыши.

Тут я взял слово и сказал старику:

– Сеньор Авадоро или Пандесовна, я думаю, в своей скитальческой жизни тебе пришлось пережить много необычного?

– Да, – ответил цыган, – с тех пор как я поселился в этой глуши, я повидал немало удивительного. Что же касается остальной моей жизни, то в ней было мало интересного. Поразительна только страсть, с которой я хватался за новые и новые занятия, не умея остановиться ни на одном дольше года или двух.

Дав мне такой ответ, цыган продолжал.

– Как я сказал тебе, меня воспитывала тетка, донья Даланоса. У нее не было своих детей, и, казалось, в своем отношении ко мне она соединяла снисходительность тетки с заботливостью матери: одним словом, я был ее баловнем в полном смысле слова. День ото дня становился я все избалованней и, созревая телесно и умственно, приобретал все больше сил, позволявших мне злоупотреблять ее бесконечной добротой. А с другой стороны, не

встречая никакой помехи своим прихотям, я не препятствовал и желаниям других, благодаря чему прослыл необыкновенно славным мальчуганом. Кроме того, приказания моей тетки сопровождались всегда такой милой, ласковой улыбкой, что у меня не хватало духу не слушаться. В конце концов простодушная донья Даланоса, видя, как я себя веду, убедила себя в том, что природа, поддерживаемая ее усилиями, превратила меня прямо в совершенство. Для полного ее счастья не хватало только, чтобы отец мой стал свидетелем моих неслыханных успехов. Тогда он сразу убедился бы в моих совершенствах. Однако замысел этот было нелегко осуществить, так как отец мой упорствовал в своем решении никогда в жизни меня не видеть.

Но какого только упорства не преодолееет женщина? Сеньора Даланоса так горячо и настойчиво воздействовала на своего дядю Херонимо, что в конце концов тот обещал воспользоваться ближайшей исповедью моего отца и строго осудить его за черствое отношение к ребенку, не сделавшему ему в жизни никакого зла. Брат Херонимо сдержал слово, но отец мой не мог без ужаса думать о той минуте, когда он первый раз впустит меня к себе в комнату. Брат Херонимо предложил устроить встречу в саду Буэн-Ретиро, но гулять там не входило в систематическое и однообразное расписание, от которого отец никогда не отступал ни на шаг. В конце концов он предпочел уж принять меня у себя, и брат Херонимо принес эту счастливую новость моей тетке, которая чуть не умерла от радости.

Надо сказать, что десять лет меланхолии внесли немало странностей в одинокий образ жизни моего отца. Между прочим, у него развилась страсть к изготовлению чернил, причем источник этого странного увлечения был следующий. Однажды, когда отец находился в обществе нескольких литераторов и юристов у книготорговца Морено, зашел разговор о том, как трудно достать хорошие чернила; все присутствовавшие жаловались, что им нечем писать и что каждый из них напрасно старается сам приготовить себе эту необходимую жидкость. Морено заметил, что у него в лавке есть сборник рецептов, среди которых, наверно, найдутся и рецепты приготовления чернил. Он пошел за этой книгой, но не мог ее сразу найти, а когда вернулся, разговор шел уже о другом: говорили об успехе новой пьесы, и никто больше не интересовался ни чернилами, ни способом их приготовления. Но отец мой поступил совершенно иначе. Он взял книгу, сейчас же отыскал рецепт приготовления чернил и очень удивился, обнаружив, что легко понял задачу, которую самые известные испанские ученые считают невероятно трудной. Оказывается, все дело заключалось в умелом смешивании настойки чернильного ореха с раствором серной кислоты и добавлении соответствующего количества камеди. Однако автор предупреждал, что хорошие чернила получаются только при изготовлении сразу большого количества; кроме того, кипятя жидкость, ее тщательно надо мешать, так как камедь, не имея никакого сродства с металлами, все время выпадает из раствора, а ее склонности к органическому разложению можно воспрепятствовать только добавлением небольшого количества спирта.

Отец купил книжку и на другой же день достал необходимые ингредиенты, аптекарские весы и самую большую бутылку, какую только мог найти в Мадриде, согласно указаниям автора. Чернила удались на славу; отец отнес бутылку литераторам, собравшимся у Морено, они нашли, что чернила великолепны, и попросили еще.

При своем тихом и замкнутом образе жизни отец не имел случая оказывать никому никаких услуг и получать за это соответствующие похвалы; теперь, найдя не испытанное ранее удовольствие в том, чтобы делать людям одолжение и выслушивать их благодарности, он стал усердно заниматься делом, доставляющим ему столько приятных минут. Видя, что мадридские литераторы мгновенно израсходовали самую большую бутылку, какая нашлась во всем городе, он приказал доставить из Барселоны бутылку из числа тех, в которых средиземноморские моряки держат вино на корабле. Таким путем он получил возможность приготовить сразу двадцать бутылок чернил, которые литераторы так же быстро израсходовали, осыпая моего отца похвалами и выражениями благодарности.

Но чем огромнее были бутылки, тем больше представляли они неудобств. Невозможно стало в одно и то же время и нагревать жидкость, и перемешивать ее; еще трудней —

переливать ее из одного сосуда в другой. Тогда отец решил привезти из Тобосо большой глиняный котел, какие употребляют для производства селитры. Когда этот котел привезли, он приказал установить его на очаге, на котором при помощи нескольких угольков стал поддерживать неугасимый огонь. Кран, прилаженный внизу котла, служил для выпуска жидкости, и было удобно, встав на край очага, перемешивать приготовляемые чернила небольшим деревянным мешалом. Котлы эти – в человеческий рост, и ты можешь себе представить, сколько чернил отец мог изготовить зараз. А он к тому же имел обыкновение по мере убыли пополнять содержимое котла. Каким это было для него наслаждением, когда к нему заходил слуга или служанка какого-нибудь известного литератора с просьбой отпустить бутылку чернил; и когда этот литератор опубликовал потом свое творение и о новинке у Морено заговорят, мой отец сиял от счастья при мысли, что он тоже причастен к этому триумфу. Наконец, для полноты картины скажу тебе, что во всем городе отца моего не называли иначе, как дон Фелипе дель Тинтеро Ларго, то есть «дон Филипп – большая чернильница». Настоящую его фамилию знали лишь несколько человек.

Мне все это было известно; при мне часто говорили о странностях отца, об обстановке его комнаты, о большом котле с чернилами, и я с нетерпением жаждал узреть все эти диковины своими глазами. Что касается моей тетки, то она не сомневалась, что как только отец увидит меня, он сейчас же откажется от своих чудачеств, чтобы с утра до вечера восторгаться мною. Наконец был назначен день нашей встречи. Отец исповедовался у брата Херонимо в последнее воскресенье каждого месяца. Монах должен был укрепить его в решении увидеть меня, под конец объявить, что я нахожусь у него в доме, и проводить отца домой. Сообщая нам об этом плане, брат Херонимо предостерег меня, чтоб я ничего не трогал в комнате отца. Я был согласен на все, а тетка обещала следить за мной.

Наконец наступило долгожданное воскресенье. Тетка одела меня в праздничный розовый костюм с серебряной оторочкой и пуговицами из бразильских топазов. Она клялась, что я – настоящий амур и что отец мой, увидев меня, сейчас же безумно меня полюбит. Полные надежд и радужных предчувствий, весело пошли мы по улице Урсулинок и дальше, по Прадо, где женщины останавливались, чтобы приласкать меня. Наконец пришли на улицу Толедо и вошли в дом отца. Нас провели в его комнату. Тетка, опасаясь моей резвости, усадила меня в кресло, сама села напротив и ухватила меня за бахрому шарфа, чтобы я не мог встать и трогать аккуратно расставленных вещей. Сначала я вознаграждал себя за это насилие, шныряя глазами по всем углам и дивясь чистоте и порядку, царившим в комнате. Угол, отведенный для производства чернил, был такой же чистый и все предметы в нем так же симметрично расставлены, как во всей комнате. Большой котел из Тобосо выглядел, как украшение, – рядом с ним стоял стеклянный шкаф с нужными инструментами и веществами.

Форма этого шкафа, узкого и высокого, стоящего тут же, рядом с очагом, вдруг породила во мне непреодолимое желание залезть на него. Я решил, что не может быть ничего забавней, как если мой отец начнет напрасно искать меня по всей комнате, в то время как я буду преспокойно сидеть над его головой. В мгновение ока я вырвал шарф у тетки из рук, вскочил на край очага, а оттуда прямо на шкаф.

Сначала тетка пришла в восторг от моего проворства, но потом стала умолять меня слезть. В эту минуту нам дали знать, что отец подымается по лестнице. Тетка упала передо мной на колени, чтоб я скорее спрыгнул. Я не мог не уступить ее трогательным просьбам, но, слезая, почувствовал, что ставлю ногу на край котла. Хотел удержаться, но потянул за собой шкаф. Отпустил руки и упал в самую середину котла с чернилами. Я наверняка утонул бы, если бы тетка, схватив весло для перемешивания чернил, не разбила котел на тысячу мелких осколков. Как раз в это мгновение вошел отец; он увидел, что целая река чернил заливает его комнату, а посередине реки извивается какая-то черная фигура, наполняя дом пронзительным криком. В отчаянии он выскочил на лестницу, сбегая вниз, вывихнул себе ногу и упал в обморок.

Что касается меня, то я скоро перестал кричать, так как, нахлебавшись чернил, потерял сознание. Очнулся я только после долгой болезни, и прошло немало времени, прежде чем

здоровье мое восстановилось вполне. Улучшению моего состояния больше всего содействовала новость, сообщенная мне теткой и доставившая мне такую радость, что опасались, как бы я опять не впал в беспамятство. Оказывается, нам скоро предстоит переехать из Мадрида на постоянное жительство – в Бургос. Впрочем, несказанная радость, испытываемая мною при мысли об этом переезде, убавилась, когда тетка спросила меня, хочу ли я ехать вместе с ней в коляске или предпочитаю совершить путешествие отдельно, в своих носилках.

– Ни то, ни другое, – возразил я в упоении, – я не женщина и хочу путешествовать не иначе, как на статном коне или, по крайней мере, на муле, с хорошим сеговийским карабином у седла, парой пистолетов за поясом и длинной шпагой. Я поеду только при этом условии, и ты, тетя, должна в своих собственных интересах снабдить меня всем этим, потому что отныне моя святая обязанность – защищать тебя.

Я наговорил еще пропасть всякого вздора, казавшегося мне чем-то в высшей степени благоразумным, тогда как на самом деле в устах одиннадцатилетнего мальчика он был просто смешон.

Приготовление к отъезду послужило мне поводом развить необычайную деятельность. Я входил, выходил, бегал, отдавал приказания, всюду совал свой нос и действительно имел много хлопот, так как тетка навсегда уезжала в Бургос, забирая всю свою подвижность. Наконец наступил счастливый день отъезда. Мы выслали багаж дорогой через Аранду, а сами двинулись через Вальядолид.

Тетка, сначала желавшая совершить это путешествие в коляске, видя, что я решил ехать обязательно на муле, последовала моему примеру. Ей устроили вместо седла небольшое кресло с удобным сиденьем и затенили его зонтом. Перед ней для устранения малейшего признака опасности шагал вооруженный погонщик мулов. Остальной караван наш, состоявший из двенадцати мулов, выглядел чрезвычайно пышно; я же, считая себя его начальником, иногда открывал, иногда замыкал шествие, не выпуская из рук оружия, особенно на поворотах дороги и вообще в подозрительных местах.

Нетрудно догадаться, что мне ни разу не представилось случая выказать свою отвагу и что мы благополучно прибыли в Алабахос, где встретили еще два каравана, такие же большие, как наш. Животные стояли у яслей, а путники расположились в противоположном углу конюшни – на кухне, отделенной от мулов двумя каменными ступенями. Тогда почти все трактиры в Испании были так устроены. Весь дом состоял из одного длинного помещения, в котором лучшую половину занимали мулы, а более скромную – путешественники. Несмотря на это, там всегда царил веселье. Погонщик верховых мулов, чистя их скребницей, в то же время волочился за хозяйкой, которая отвечала ему со свойственной ее полу и профессии живостью, пока хозяин своим вмешательством не прерывал, хоть и ненадолго, этих заигрываний. Слуги, наполняя дом треском кастаньет, плясали под хриплое пение козопаса. Путники познакомились друг с другом и приглашали друг друга на ужин, потом все пододвигались к очагу, и каждый сообщал, кто он, откуда едет, порой рассказывал историю своей жизни. Славное было время. Нынче постоянные дворы гораздо удобнее, но беспокойное и дружное дорожное житье имело свою прелесть, которой я не могу тебе описать. Скажу только, что в тот день я был так счастлив, что решил всю жизнь переезжать с места на место и, как видишь, пока твердо выполняю свое решение.

Еще одно обстоятельство утвердило меня тогда в моем намерении. После ужина, когда все путники собрались вокруг очага и каждый поделился своими впечатлениями о краях, в которых побывал, один, до тех пор еще ни разу не раскрывший рта, промолвил:

– Все, что произошло с вами во время ваших разъездов, достойно внимания и памяти; что касается меня, я был бы рад, если бы со мной не приключалось ничего худшего, но, попав в Калабрию, я испытал нечто до того удивительное, необычайное и в то же время страшное, что до сих пор не могу вычеркнуть это из памяти. Воспоминание об этом так меня гнетет, отравляя все мои радости, что часто я сам дивлюсь, как печаль не лишит меня рассудка.

Такое начало возбудило любопытство присутствовавших. Все стали просить, чтоб он облегчил сердце повествованием о столь необычайных происшествиях. Путник долго колебался, не зная, как поступить, но в конце концов начал свой рассказ.

ИСТОРИЯ ДЖУЛИО РОМАТИ

Меня зовут Джулио Ромати. Отец мой, Пьетро Ромати – один из самых известных юристов Палермо и даже всей Сицилии. Как вы понимаете, он очень привязан к своей профессии, обеспечивающей ему приличный доход, но еще больше к философии, которой он отдает каждую свободную минуту.

Не хвалясь, могу сказать, что я успешно шел по его стопам в обоих этих науках и на двадцать втором году был уже доктором права. Отдавшись потом изучению математики и астрономии, я вскоре уже мог комментировать Коперника и Галилея. Говорю вам это не для похвалы своей ученостью, но, имея в виду рассказать вам нечто в высшей степени удивительное, не хочу, чтобы вы считали меня человеком легкомысленным или суеверным. Я до того далек от такого рода заблуждений, что единственной наукой, которой я никогда не уделял никакого внимания, была теология. Что касается других наук, то я погружался в них всей душой, ища отдыха лишь в смене предметов. Бесконечная работа оказала губительное действие на мое здоровье, и отец мой, раздумывая над тем, как бы мне рассеяться, отправил меня в путешествие, приказав объездить всю Европу и вернуться на Сицилию не раньше, чем спустя четыре года.

Сначала мне трудно было оторваться от своих книг, кабинета и обсерватории, но отец этого требовал, и надо было повиноваться. И в самом деле, не успел я начать путешествие, как уже почувствовал невыразимо приятную перемену. Ко мне вернулся аппетит, вернулись силы, – одним словом, я совсем выздоровел. Сперва я путешествовал в носилках, но на третий день нанял мула и весело пустился в дальнейший путь.

Многие знают весь шар земной, за исключением своей собственной родины; я не хотел после своего возвращения услышать подобный упрек и, чтоб этого избежать, начал свое путешествие знакомством с чудесами, которые природа так щедро рассыпала на нашем острове. Вместо того чтоб отправиться прямо по берегу из Палермо в Мессину, я выбрал дорогу через Кастронуово, Кальтанисетту и приехал в деревню, названия которой уже не помню, расположенную у подошвы Этны. Там я стал готовиться к восхождению на гору, решив посвятить этому целый месяц. На деле все это время я занимался главным образом проверкой некоторых недавно установленных опытов с барометром. В ночную пору всматривался в небо и с непередаваемым восторгом открыл две звезды, не замеченные мною из обсерватории в Палермо по той причине, что там они находились значительно ниже горизонта.

С искренним огорчением покинул я это место, где, казалось, моя душа устремлялась к мерцающим светилам, и я участвовал в возвышенной гармонии небесных тел, над чьими кругооборотами столько размышлял в жизни. Нельзя отрицать и того, что разреженный воздух гор особым образом действует на наш организм, – пульс бьется быстрее и легкие работают усиленной. Наконец я спустился с горы в сторону Катании.

Население этого городка составляет дворянство столь же старинное, но более просвещенное, чем в Палермо. Правда, точные науки нашли в Катании, как и на всем нашем острове, мало любителей, но зато жители увлекаются искусством, античными памятниками, а также древней и новой историей народов, когда-либо населявших Сицилию. Тогда все умы были особенно заняты раскопками и множеством добытых при этом ценных реликвий.

Между прочим, тогда была выкопана очень красивая мраморная плита, покрытая совершенно неизвестными письменами. Тщательно рассмотрев надпись, я понял, что она – на пунийском языке, и с помощью древнееврейского, который я довольно хорошо знаю, мне, ко всеобщему удовлетворению, удалось разрешить загадку. Благодаря этому подвигу я снискал лестное признание, и первые лица города хотели меня там удержать, суля

значительный денежный доход. Однако, покинув родной край ради совершенно других целей, я отклонил это предложение и отправился в Мессину. В этом городе, славящемся торговлей, я провел неделю, после чего переправился через пролив и высадился в Реджо.

До тех пор путешествие мое было только развлечением; но в Реджо оно стало делом более серьезным.

Калабрию опустошал разбойник по имени Зото, в то время как триполитанские корсары бороздили во всех направлениях море. Я не знал, как добраться до Неаполя, и, если б не ложный стыд, немедленно вернулся бы в Палермо.

Неделя прошла с тех пор, как моя нерешительность остановила меня в Реджо, когда однажды вечером, расхаживая по пристани, я сел на один из прибрежных камней в месте, где было поменьше народа. Ко мне подошел какой-то человек приятной наружности, в багряном плаще. Не здороваясь со мной, он сел рядом и обратился ко мне с такими словами:

– Синьор Ромати снова занят решением какой-то алгебраической или астрономической задачи?

– Ничуть не бывало, – ответил я. – Синьор Ромати хотел бы перебраться из Реджо в Неаполь и в эту минуту обдумывает, каким способом избежать встречи с шайкой синьора Зото.

На это незнакомец с серьезным видом промолвил:

– Синьор Ромати, твои способности уже теперь делают честь твоей родине. Эта честь, без сомнения, еще приумножится, когда ты, после твоих странствий, расширишь сферу своих познаний. Зото – человек, слишком тонкий в обхождении, чтобы чинить тебе препятствия в столь благородном предприятии. Возьми вот эти красные перышки, заткни одно за ленту шляпы, остальные раздай своим людям и смело пускайся в путь. Что касается меня, я и есть тот самый Зото, которого ты так опасешься. А чтоб ты не сомневался в правоте моих слов – смотри: вот орудия моего ремесла.

С этими словами он откинул плащ и показал мне пояс с пистолетами и стилетами, после чего дружески пожал мне руку и исчез.

Тут я перебил вожака цыган, заметив, что много слышал об этом разбойнике и даже знаю его сыновей.

– Я тоже знаю их, – сказала Пандесовна, – тем более что они, как и я, состоят на службе великого шейха Гомелесов.

– Как? Ты тоже у него на службе? – воскликнул я с изумлением.

В эту минуту один из цыган шепнул несколько слов на ухо старику, который сейчас же встал и удалился, предоставив мне время для размышления о том, что я узнал из его последних слов. «Что это за могущественное сообщество, – думал я, – у которого нет, кажется, иной цели, кроме как блюсти какую-то тайну или обманывать мои глаза странными призраками, но я не успеваю хоть отчасти разгадать их, как новые непредвиденные обстоятельства повергают меня в пропасть сомнения? Совершенно очевидно, что и сам я – одно из звеньев невидимой цепи, которая все туже стягивается вокруг меня.

Тут дочери старого цыгана подошли ко мне и прервали мои раздумья просьбой погулять вместе с ними. Я пошел. Разговор шел на чистейшем испанском языке, без малейшей примеси цыганского наречья. Меня удивили их умственное развитие и веселый, открытый характер. После прогулки подали ужин, а потом все пошло спать. Но на этот раз ни одна из моих родственниц не показывалась.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

Старый цыган велел принести мне обильный завтрак и сказал:

– Сеньор кавалер, приближаются наши враги, а попросту сказать, таможенная стража. Нам надлежит отступить, оставив им поле боя. Они найдут здесь тюки, приготовленные для них, а остальное уже находится в безопасном месте. Подкрепись завтраком, и мы двинемся

дальше.

Таможенники показались на другом конце долины, я наскоро доел завтрак, и весь табор снялся. Мы блуждали с горы на гору, все больше углубляясь в ущелье Сьерра-Морены. Наконец остановились в глубокой долине, где нас уже ждал готовый обед. Утолив голод, я попросил старого цыгана продолжать его жизнеописание, на что тот охотно согласился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Итак, я остановился на том, что внимательно слушал повествование Джулио Ромати. Дальше он рассказывал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДЖУЛИО РОМАТИ

Характер Зото был всем известен, так что я вполне поверил его дружелюбным обещаниям. Вернулся страшно довольный к себе в трактир и сейчас же послал за погонщиком мулов. Скоро их пришло несколько человек и смело предложило мне свои услуги, так как разбойники ни их самих, ни их животных не обижали. Я выбрал одного, который всюду пользовался доброй славой. Нанял одного мула для себя, другого для своего слуги и еще два – вьючных. У погонщика был тоже свой мул и два пеших помощника.

На рассвете следующего дня я двинулся в путь и примерно в миле от города увидел небольшой отряд разбойников Зото; они, казалось, следили за мной издали и удалялись по мере нашего приближения. Так что, вы понимаете, мне нечего было бояться.

Путешествие протекало великолепно, и здоровье мое с каждым днем улучшалось. Я находился уже в двух днях пути от Неаполя, когда мне вдруг пришло в голову свернуть с дороги и заехать в Салерно. Любопытство это было вполне оправдано, так как меня очень интересовала история зарождения искусств, колыбелью которых в Италии была салернская школа. Впрочем, сам не знаю, какой рок толкнул меня на эту несчастную поездку.

Я свернул с большой дороги в Монте-Бруджо и, взяв в соседней деревне проводников, поехал по самому дикому краю, какой только можно себе представить. В полдень мы достигли совершенно развалившегося строения, которое проводник мой называл трактиром, – сам я никогда не подумал бы, что это действительно трактир, особенно по тому приему, какой оказал нам хозяин. Этот бедняк, вместо того чтобы предложить мне поесть, сам стал просить меня, чтоб я уделил ему что-нибудь из своей провизии. К счастью, у меня была холодная говядина, я поделился с ним, с моим проводником и слугой; погонщики остались в Монте-Бруджо.

К двум часам пополудни я покинул это жалкое убежище и вскоре увидел большой замок, стоящий на вершине горы. Я спросил у проводника, как называется этот замок и живет ли в нем кто-нибудь. Проводник ответил, что местные жители обычно называют его «lo monte»²² либо «lo castello»²³, что он совершенно разрушен и необитаем, но что внутри него устроена часовня с несколькими кельями, где живут пять или шесть монахов-францисканцев из Салерно. При этом он с величайшим простодушием добавил:

– Странные истории рассказывают об этом замке, но я хорошенько не знаю ни одной, потому что, только кто заговорит об этом – я сейчас же вон из кухни, иду к невестке Пепе, где почти всегда застаю одного из отцов францисканцев, который дает мне поцеловать свою ладанку.

Я спросил его, будем ли мы проезжать мимо замка. Он ответил, что дорога идет в обход, на полвысоты ниже замка.

²² гора (ит диал.)

²³ замок (ит диал.)

Между тем небо покрылось тучами, и к вечеру разразилась страшная гроза. Мы, как нарочно, находились в это время на склоне горы, где не было никакого убежища. Проводник сказал, что поблизости находится большая пещера, только дорога к ней очень скверная. Я решил воспользоваться его советом, но не успели мы спуститься вниз между скал, как рядом с нами ударила молния. Мул мой пал, а я скатился с высоты нескольких сажен. Каким-то чудом зацепился за дерево и, почувствовав, что цел, стал звать моих спутников, но ни один не отозвался.

Молнии так быстро следовали друг за другом, что при свете их мне удавалось видеть окружающие предметы и ставить ногу на безопасное место. Я продвигался вперед, держась за деревья, и таким способом добрался до небольшой пещеры, к которой, однако, не вело ни одной тропинки, и она не могла быть той самой, о которой говорил проводник. Ливень, вихрь, громовые раскаты, молнии продолжались с удвоенной силой. Я весь дрожал в промокшей одежде, и мне пришлось оставаться в этом нестерпимом положении несколько часов. Вдруг мне показалось, что я вижу факелы, мелькающие на дне ущелья, и слышу какие-то голоса. Я подумал, что это мои люди, стал их звать и вскоре увидел молодого человека благообразной наружности в сопровождении нескольких слуг, – некоторые из них несли факелы, а другие узлы с одеждой. Юноша весьма почтительно поклонился мне и сказал:

– Синьор Ромати, мы челядинцы принцессы Монте-Салерно. Проводник, которого ты взял в Монте-Бруджо, сообщил нам, что ты заблудился в горах, и мы пришли к тебе по приказу принцессы. Не угодно ли надеть вот эту одежду и отправиться с нами в замок?

– Как? – ответил я. – Вы хотите отвести меня в этот пустой замок на самой вершине горы?

– Ничуть не бывало, – возразил юноша. – Ты увидишь роскошный дворец, от которого мы находимся не далее как в двухстах шагах.

Я подумал, что на самом деле какая-то неаполитанская принцесса имеет поблизости дворец, переделся и поспешил за моим молодым проводником. Вскоре я оказался перед порталом из черного мрамора, но так как факел не освещал всего здания, я не мог как следует его рассмотреть. Юноша остановился внизу возле лестницы, и я уже один поднялся вверх и на первом повороте увидел женщину необычайной красоты, которая сказала мне:

– Синьор Ромати, принцесса Монте-Салерно поручила мне показать тебе все красоты своего жилища.

Я ответил, что если судить о принцессе по ее женской свите, то она, конечно, превосходит все, что можно вообразить.

В самом деле, проводница моя отличалась такой совершенной красотой и такой великолепной фигурой, что, увидев ее, я сразу подумал, уж не сама ли это принцесса. Обратил я внимание и на ее наряд, – такие наряды можно увидеть на портретах прошлого века; но подумал, что так одеваются неаполитанские дамы, возродившие эту старинную моду.

Сперва мы вошли в комнату, где все было из литого серебра. Паркет состоит из серебряных квадратов, среди которых одни были блестящие, а другие матовые. Обои на стенах, тоже из литого серебра, имитировали камку: фон блестящий, а рисунок матовый. Плафон напоминал покрытые резьбой потолки старых замков. Панели, бордюры обоев на стене, канделябры, косяки и створки дверей были совершенством ваяния и резьбы.

– Синьор Ромати, – промолвила придворная дама, – ты уделяешь слишком много времени этим пустякам. Это всего лишь прихожая, предназначенная для слуг принцессы.

Я ничего не ответил, и мы вошли в другую комнату, по виду сходную с первой, с той лишь разницей, что если там все было из серебра, то здесь все – золотистое, с украшениями из того черненого золота, которое было в моде пятьдесят лет тому назад.

– Эта комната, – продолжала незнакомка, – для придворных, дворецкого и других должностных лиц нашего двора. А в апартаментах принцессы ты не увидишь ни золота, ни

серебра, там царит простота; ты можешь судить об этом хотя бы по столовой.

С этими словами она отворила боковую дверь. Мы вошли в залу, стены которой были покрыты цветным мрамором, а под потолком вокруг шел барельеф, искусно высеченный из белого мрамора. В глубине в роскошных шкафах стояли вазы из горного хрусталя и чаши прекраснейшего индийского фарфора.

Оттуда мы вернулись в комнату для придворных и прошли в гостиную.

– Вот эта зала, – промолвила дама, – конечно, тебя удивит.

Действительно, я остановился, словно ослепленный, и сперва начал рассматривать паркет из ляпис-лазури, инкрустированный камешками на флорентийский манер. Одна плита такой мозаики поглощает несколько лет работы. Узоры отдельных плит составляли гармоническое целое, образуя общий основной мотив, но, присмотревшись ближе к каждой в отдельности, глаз обнаруживал бесконечное разнообразие отличительных особенностей, не нарушавшее, однако, впечатления общей симметрии. В самом деле, хотя характер рисунка всюду был одинаковый – здесь были изображены чудные пестрые цветы, там раковина, отливающая всеми цветами радуги, там бабочки, там райские птички. Драгоценнейшие камни пошли на подражание тому, что только есть в природе самого очаровательного. В центре великолепного паркета находилась композиция из разноцветных дорогих камней, окруженная нитями крупного жемчуга. Узор казался выпуклым, как барельеф, и напоминал искусные флорентийские мозаики.

– Синьор Ромати, – сказала незнакомка, – если ты будешь все так подолгу рассматривать, мы никогда не кончим.

Тут я поднял глаза и увидел картину Рафаэля, представляющую, видимо, первый эскиз его «Афинской школы», но, писанная маслом, она поражала яркостью красок.

Потом я увидел Геркулеса у ног Омфалы: фигура Геркулеса принадлежала кисти Микеланджело, в женском образе я узнал манеру Гвидо. Одним словом, любая картина совершенством своим превосходила все, виденное мной раньше. Стены залы были обиты гладким зеленым бархатом, превосходно выделявшим красоту живописи.

По обе стороны каждой двери стояли статуи немного меньше натуральной величины. Их было целых четыре: знаменитый Пракситель «Эрот», которого Фрина потребовала себе в дар, «Сатир» того же мастера, подлинная Афродита Праксителя, по отношению к которой «Венера Медицейская» является лишь копией, наконец несказанно прекрасный «Антиной». Кроме того, в окнах стояли мраморные группы.

По стенам гостиной были расставлены комоды с выдвижными ящиками, украшенными вместо бронзы – мастерскими ювелирными изделиями с вделанными в них камнями, какие можно найти только в королевских коллекциях. В ящиках хранились собрания золотых монет, расположенные в предписанном наукой порядке.

– Здесь, – сказала моя путеводительница, – хозяйка замка проводит послеобеденные часы; рассматриванье этих коллекций дает повод для беседы столь же занимательной, сколь и поучительной. Но впереди еще много такого, что заслуживает осмотра, так что пойдем.

И мы вошли в спальню. Это была восьмиугольная комната с четырьмя альковами, и в каждом – роскошная широкая постель. Здесь не было видно ни панели, ни обоев, ни потолка. Раскинутый с изысканным вкусом, все покрывал индийский муслин, расшитый искусными узорами и такой тонкий, что его можно было принять за туман, сотканный в легкую ткань самой Арахной.

– Для чего четыре ложа? – спросил я.

– Чтобы можно было переходить с одного на другое, если жара не дает заснуть! – ответила незнакомка.

– А почему эти ложа такие широкие? – подумав, опять спросил я.

– Иногда принцессу мучает бессонница, и она зовет своих дам. Но перейдем в купальню.

Это была круглая комната, выложенная перламутром с каймой из кораллов. Под потолком тянулась нить крупного жемчуга, поддерживавшая, вместо драпировки, бахрому

из драгоценных камней одинакового размера и вида. Потолок был стеклянный, и сквозь него виднелись плавающие над ним китайские золотые рыбки. Вместо ванны посреди комнаты находился круглый бассейн, обложенный искусственной пенкой, в которой сияли раковины.

При виде этого я больше не мог скрывать своего изумления и воскликнул:

– Ах, синьора, рай земной – ничто по сравнению с этим дивным зрелищем!

– Рай земной! – воскликнула молодая женщина в ужасе. – Рай! Ты что-то сказал о рае? Пожалуйста, синьор Ромати, не прибегай к таким выражениям, очень тебя прошу... А теперь пойдем дальше.

Тут мы перешли в птичник, полный тропическими птицами всех видов и всеми милыми певцами наших краев. Там стоял стол, накрытый для меня одного.

– Неужели ты допускаешь, – сказал я прекрасной путеводительнице, – что можно думать о еде, находясь в этом божественном дворце? Вижу, что ты не собираешься разделить со мной трапезу. А я, со своей стороны, не решусь сесть за стол, – разве только при условии, что ты согласишься сообщить мне кое-какие подробности о принцессе – обладательнице всех этих чудес.

Молодая женщина с очаровательной улыбкой подала мне кушанье, села и начала.

ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ МОНТЕ-САЛЕРНО

– Я дочь последнего принца Монте-Салерно...

– Как? Ты, синьора?

– Я хотела сказать: Монте... Но не перебивай меня.

Принц Монте-Салерно, из древнего рода независимых принцев Салерно, был испанским грандом, главнокомандующим, великим адмиралом, старшим конюшим, старшим мажордомом, старшим ловчим, одним словом, соединял в лице своем все высшие должности Неаполитанского королевства. Хотя сам он состоял на королевской службе, однако среди его собственных придворных было немало дворян, даже титулованных. Среди последних находился маркиз Спинаверде, первый придворный принца, пользовавшийся его безраздельным доверием, наравне с женой своей, маркизой Спинаверде, первой дамой в свите принцессы. Мне было десять лет... Я хотела сказать, что единственной дочери принца Монте-Салерно было десять лет, когда умерла ее мать. Тогда муж и жена Спинаверде покинули дом принца, он – чтобы заняться управлением имениями, а она – моим воспитанием. Они оставили в Неаполе свою старшую дочь, Лауру, занимавшую при принце довольно двусмысленное положение. Маркиза Спинаверде и юная принцесса переехали на жительство в Монте-Салерно. Воспитанием Эльфриды занимались не очень усиленно, а больше старались вымуштровывать ее прислужниц, приучая их исполнять малейшие мои капризы.

– Твои капризы, синьора? – воскликнул я.

– Не перебивай меня, синьор, я уж просила тебя об этом, – ответила она с раздражением, а потом продолжала: – Я любила подвергать терпенье моих прислужниц всякого рода испытаниям. Поминутно я давала им противоречивые приказания, едва ли половину которых они были в состоянии исполнить; а за нерасторопность щипала их или колола им руки и ноги булавками. Вскоре все они меня оставили. Маркиза прислала мне других, но и те не могли долго выдержать. В это время мой отец тяжело заболел, и мы поехали в Неаполь. Я мало его видела, но оба Спинаверде не отходили от него ни на минуту. В конце концов он умер, в завещании своем назначив маркиза единственным опекуном своей дочери и управляющим всех ее имений.

Похороны задержали нас на несколько недель, после чего мы вернулись в Монте-Салерно, где я опять стала щипать моих прислужниц. Четыре года прошли в этих невинных развлечениях, которые были для меня тем приятнее, что маркиза всякий раз признавала меня правой, утверждая, что весь мир существует для моих услуг и что нет достаточно суровой кары для ослушниц.

Но однажды все служительницы одна за другой покинули меня, и вечером мне пришлось раздеваться самой. Я заплакала от злости и побежала к маркизе, которая сказала мне:

– Милая, дорогая принцесса, осуши свои красивые глазки; я сама тебя сегодня раздену, а завтра приведу тебе шесть женщин, которыми ты, я уверена, будешь довольна.

На другой день, после того как я проснулась, маркиза представила мне шесть молодых и очень хорошеньких девушек, при виде которых я испытала какое-то волнение. Они тоже показались мне взволнованными. Я первая овладела собой, прыгнула в одной рубашке с постели, обняла их всех по очереди и уверила, что никогда не буду ни щипать, ни бранить их. В самом деле, хоть они, одевая меня, порой действовали неловко и осмеливались меня не слушать, я на них никогда не сердилась.

– Но, синьора, – сказал я принцессе, – кто знает, не были ли эти молоденькие девушки переодетыми юношами.

Принцесса с гордым видом ответила:

– Синьор Ромати, я просила не перебивать меня.

И продолжала:

– В день моего шестнадцатилетия ко мне явились знатные посетители. Это были: государственный секретарь, испанский посол и герцог Гвадаррама. Последний приехал просить моей руки, а другие двое лишь сопровождали его, чтоб поддержать его просьбу. Молодой герцог был очень хорош собой и, не буду отрицать, произвел на меня большое впечатление. Вечером мы вышли погулять в сад. Не успели мы сделать нескольких шагов, как из-за деревьев выскочил и устремился прямо на нас разъяренный бык. Герцог преградил ему дорогу, с плащом в одной руке и шпагой в другой. Бык на мгновение остановился, но сейчас же ринулся на герцога и упал, пронзенный его клинком. Я подумала, что обязана жизнью отваге и самоотверженности молодого герцога, но на другой день узнала, что его конюх нарочно подвел к нам быка и что хозяин его, по обычаям своей родины, хотел таким способом доказать мне свою преданность. Тогда, вместо благодарности, я рассердилась за тот испуг, который он мне причинил, и отвергла его предложение.

Поступок мой несказанно обрадовал маркизу. Она воспользовалась этим случаем, чтобы пояснить мне все преимущества свободы и подчеркнуть все лишения, которые мне пришлось бы терпеть, став замужней. Вскоре после этого тот же самый государственный секретарь приехал к нам с другим послом – владетельным герцогом Нудель-Гансбергским. Этот искатель был высокий, нескладный, толстый, светловолосый, бледный до синевы и старался развлечь меня разговорами о майоратах, которыми он владеет в управляемых Габсбургами землях Германской империи, но говорил по-итальянски со смешным тирольским акцентом.

Я начала передразнивать его выговор и с тем же самым акцентом стала его уверять, что ему необходимо все время находиться в своих наследственных майоратах. Немецкий герцог уехал в большой обиде на меня. Маркиза осыпала меня ласками и, чтобы сильнее привязать к Монте-Салерно, приказала создать все это великолепие, которым ты тут дивился.

– В самом деле, получилось великолепно! – воскликнул я. – Этот чудный дворец вполне можно назвать земным раем!

Услышав эти слова, принцесса с раздражением встала и промолвила:

– Синьор Ромати, я тебя просила больше не употреблять этого выражения.

После чего она засмеялась, но странным, судорожным смехом, протяжно повторяя:

– ...да... раем... земным раем... нашел о чем говорить... о рае.

Сцена становилась неприятной. Наконец принцесса приняла прежний строгий вид и, устремив на меня грозный взгляд, приказала следовать за ней.

Тут она отворила дверь, и мы оказались в большом подземелье, в глубине которого поблескивало как бы серебряное озеро, в действительности состоявшее из ртuti. Принцесса

хлопнула в ладоши, и я увидел лодку, управляемую желтым карликом. Мы вошли в лодку, и только тут я понял, что у карлы лицо золотое, глаза бриллиантовые, а губы коралловые. Словом, это был автомат, с неслыханным проворством разрезавший маленькими веслами волны ртути. Этот невиданный перевозчик высадил нас у подножья скалы, которая раскрылась, и мы вошли опять в подземелье, где тысячи других автоматов представили нам изумительное зрелище. Павлины распускали усеянные драгоценными камнями хвосты, попугаи с изумрудными перьями летали у нас над головой, негры из черного дерева приносили нам на золотых блюдах вишни из рубинов и виноградные кисти из сапфиров – бесчисленное количество изумительных предметов наполняло эти чудесные своды, конец которых был недоступен глазу.

Тут, сам не знаю почему, у меня опять возникло желание повторить это злосчастное сравнение с раем, чтобы проверить, как принцесса отнесется к нему на этот раз.

Поддавшись коварному соблазну, я сказал:

– Действительно, можно сказать, что синьора владеет раем земным.

Однако принцесса с очаровательной улыбкой ответила:

– Чтоб ты мог лучше судить о приятности этого жилища, я представлю тебе шесть своих слуг.

С этими словами она вынула из-за пояса золотой ключ и открыла огромный сундук, крытый черным бархатом с серебряными украшениями. Когда крышка открылась, из сундука вышел скелет и с угрожающим видом направился ко мне. Я обнажил шпагу, но скелет, вырвав у себя левую руку, пустил ее в ход, как оружие, и с ожесточением напал на меня. Я оказал довольно сильный отпор, но в это время из сундука вылез другой скелет, выломал у первого ребро и со всей силой ударил меня этим ребром по голове. Я схватил его за шею, но он обнял меня костистыми руками и чуть не повалил на землю. В конце концов мне удалось от него освободиться, но тут из сундука выполз третий скелет и присоединился к первым двум. За ним показались еще три. Тогда, потеряв надежду одержать победу в такой неравной борьбе, я упал на колени перед принцессой и попросил у нее пощады.

Принцесса приказала скелетам вернуться в сундук, а потом сказала:

– Ромати, запомни на всю жизнь то, что ты увидел здесь.

И стиснула мне руку выше локтя так, что меня прожгло до самой кости, и я упал без чувств.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении; наконец, очнувшись, услышал где-то поблизости молитвенное пение. Я видел, что лежу среди больших развалин; хотел из них выбраться и забрел во внутренний двор, где увидел часовню и монахов, поющих заутреню. По окончании службы приор позвал меня в свою келью. Я пошел и, стараясь собраться с мыслями, рассказал ему все, что видел в эту ночь. Когда я кончил свое повествование, приор промолвил:

– Сын мой, ты не смотрел, не оставила ли принцесса каких-нибудь знаков на твоей руке?

Я засучил рукав, и в самом деле оказалось, что рука выше локтя обожжена и на ней – след от пяти пальцев принцессы.

Тогда приор, открыв стоявший возле его кровати ларец, достал оттуда какой-то старый пергаментный свиток.

– Это – булла о нашем основании, – сказал он. – Она объяснит тебе то, что с тобой сегодня случилось.

Я развернул свиток и прочел нижеследующее:

«Лета господня 1503, в девятый год правления Фредерика, короля Неаполя и Сицилии, Эльфрида Монте-Салерно, доведя безбожие свое до крайних пределов, во всеуслышание похвалилась, будто владеет подлинным раем, и отреклась от того рая, который ждет нас в будущей жизни. Между тем однажды ночью, с четверга на пятницу, на страстной землетрясение поглотило дворец ее, развалины которого

стали жилищем сатаны, где враг рода человеческого поселил тучу злых духов, преследующих тысячью обманов того, кто отваживается приблизиться к Монте-Салерно, и даже проживающих в окрестностях благочестивых христиан. На основании сказанного мы, Пий III, раб рабов божиих и проч., разрешаем заложить среди означенных развалин малую церковь...»

Я уже забыл, чем кончается булла, помню только, что, по утверждению приора, наваждения стали гораздо реже, но иногда все-таки бывают, особенно в ночь с четверга на пятницу на страстной. В то же время он посоветовал мне заказать несколько месс за упокой души принцессы и самому их отстоять. Я исполнил его совет, после чего пустился в дальнейший путь, но печальная память о событиях той несчастной ночи осталась у меня навсегда, – я ничем не могу ее истребить. Кроме того, у меня болит рука.

С этими словами Ромати обнажил руку выше локтя, и мы увидели на ней ожоги и следы от пальцев принцессы.

Тут я прервал вожака, сказав, что, просматривая у каббалиста повествование Хаппелиуса, нашел там происшествие, очень похожее на это.

– Может быть, Ромати заимствовал свою историю из этой книжки, – заметил вожак. – А может быть, целиком выдумал ее. Как бы то ни было, повествование его сильно оживило во мне дух странствий и в особенности надежду самому пережить столь же необыкновенные приключения, хоть это и осталось только надеждой. Но такова сила впечатлений, полученных в юные годы, что мечты эти долго бродили у меня в голове, и я никогда не мог от них вполне освободиться.

– Сеньор Пандесовна, – сказал я, – разве ты не намекал мне, что с тех пор, как живешь в этих горах, видел такие вещи, которые тоже можно назвать чудесными?

– В самом деле, я видел вещи, напоминающие историю Джулио Ромати...

В эту минуту один цыган прервал нашу беседу, и, так как выяснилось, что у Пандесовны много дела, я взял ружье и пошел на охоту. Преодолевав несколько холмов и, бросив взгляд на раскинувшуюся у моих ног долину, как будто узнал издали роковую виселицу двух братьев Зото. Это зрелище пробудило во мне любопытство, я прибавил шагу и в самом деле оказался возле виселицы, на которой, как обычно, висели оба трупа; я с ужасом отвернулся и пошел, угнетенный, обратно в табор. Вожак спросил меня, куда я ходил; я ему ответил, что дошел до виселицы двух братьев Зото.

– И застал их обоих висющими? – спросил цыган.

– Как? – в свою очередь спросил я. – Разве они имеют обыкновение отвязываться?

– Очень часто отвязываются, – ответил вожак. – Особенно по ночам.

Эти слова совсем расстроили меня. Значит, я снова нахожусь в соседстве с двумя проклятыми страшилищами. Я не знал, оборотни это или выдуманные мною страхи, но, так или иначе, их надо было опасаться. Печаль терзала меня весь остаток дня. Я ушел спать, не ужиная, и всю ночь мне снились одни только ведьмы, оборотни, злые духи, домовые и висельники.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Цыганки принесли мне шоколад и сели со мной завтракать. Потом я опять взял ружье, и сам не понимаю, какая несчастная рассеянность направила меня к виселице двух братьев Зото. Я застал их отвязанными. Вошел в ограду и увидел оба трупа лежащими рядом на земле, а между ними – молодую девушку, в которой узнал Ревекку.

Как можно осторожнее я разбудил ее – однако зрелище, которого я не мог заслонить, ввергло ее в состояние невыразимой скорби. У нее начались судороги, она заплакала и лишилась чувств. Я взял ее на руки и отнес к ближайшему источнику; там обрызгал ей лицо водой и понемногу вернул ее к сознанию.

Никогда не решился бы я спросить ее, каким образом оказалась она под виселицей, но она первая заговорила об этом.

– Я предвидела, что твое молчанье будет иметь для меня губительные последствия. Ты не захотел рассказать нам о своих приключениях, и я, подобно тебе, стала жертвой этих проклятых оборотней, чьи гнусные проделки свели на нет продолжительные усилия моего отца доставить мне бессмертие. До сих пор не могу еще объяснить себе все ужасы этой ночи. Однако постараюсь припомнить их и дам тебе в них отчет, но ты меня не поймешь, если я не начну с самого начала моей жизни.

Немного подумав, Ревекка начала так.

ИСТОРИЯ РЕВЕККИ

Мой брат, рассказывая тебе свою жизнь, отчасти познакомил тебя и с моею. Отец наш предназначал его в мужья двум дочерям царицы Савской, а относительно меня он хотел, чтобы я вышла за двух гениев, движущих созвездием Близнецов.

Брат, которому льстил такой великолепный брак, удвоил прилежание к каббалистическим наукам. Я же чувствовала нечто противоположное: я испытывала такой страх при мысли о том, чтобы стать женой сразу двух гениев, и это так меня угнетало, что я не могла сложить двух стихов на каббалистический лад. Все время откладывала работу до завтрашнего дня и кончила тем, что почти совсем забыла это искусство, столь же трудное, сколь и опасное.

Брат мой вскоре заметил мою нерадивость и осыпал меня самыми горькими упреками. Я обещала ему исправиться, не намереваясь, однако, сдержать обещание. В конце концов он пригрозил мне, что изболочит меня перед отцом; я стала просить пощады. Тогда он обещал подождать до следующей субботы, но, так как я и к этому времени ничего не сделала, он в полночь вошел ко мне, разбудил меня и сказал, что сейчас же вызовет тень нашего отца – страшного Мамуна.

Я упала ему в ноги, умоляя сжалиться, но напрасно. Я услышала, как он произнес грозное заклинание, изобретенное когда-то Аэндорской волшебницей. Тотчас показался мой отец на троне из слоновой кости. Гневный взгляд его пронзил меня ужасом; я подумала, что не переживу первого слова, вышедшего из его уст. Но все же услышала его голос. Боже Авраама! Он произнес страшное проклятье; я не повторю тебе его слов...

Тут молодая израильтянка закрыла лицо руками и, видимо, задрожала при одном воспоминании об этой ужасной сцене; наконец она пришла в себя и продолжала.

– Я не слышала, что еще сказал отец, так как очнувшись уже после того, как он кончил говорить. Очнувшись, я увидела брата, подающего мне книгу «Сефирот». Мне захотелось снова потерять сознание, но надо было подчиниться приговору. У моего брата, хорошо знавшего, что мне надо начать с первооснов, нашлось довольно терпения, чтобы напомнить мне их все – одну за другой. Я начала со складывания слогов, потом перешла к заклинаниям. Мало-помалу возвышенная наука эта совсем меня очаровала. Я проводила ночи напролет в кабинете, служившем отцу моему обсерваторией, и шла спать, только когда исследования мои прерывал дневной свет и я валилась с ног от усталости. Моя мулатка Зулейка раздевала меня, я сама не знаю когда. Поспав несколько часов, я возвращалась к занятиям, для которых совсем не была создана, как ты скоро увидишь.

Ты знаешь Зулейку и, наверно, заметил, до чего она хороша собой. Из глаз ее струится сладость, на губах играет упоительная улыбка, тело поражает совершенством форм. Однажды утром, возвращаясь из обсерватории, я долго не могла ее дозваться, чтоб она пришла и раздела меня; тогда я вошла к ней в комнату, соседнюю с моей спальней. И увидела, что она, высунувшись в окно полуголая, делая знаки кому-то на другой стороне долины и посылает страстные поцелуи, вкладывая в них, казалось, всю свою душу.

До тех пор я не имела ни малейшего представления о любви; выражение этого чувства впервые поразило мой взор. Оно так потрясло и прельстило меня, что я застыла на месте как

вкопанная. Зулейка обернулась; яркий румянец проступил сквозь ореховый цвет ее лица и разлился по всему ее телу. Я тоже покраснела, а потом вдруг побледнела. Я почувствовала, что теряю сознание. Зулейка подбежала, схватила меня в свои объятия, и сердце ее, бьющееся тут же возле моего, пробудило во мне такую же тревогу, которая владела ее чувствами.

Мулатка поспешно раздела меня и, уложив в постель, ушла, как мне показалось, обрадованная, и с еще большим удовольствием заперла за собою дверь. Вскоре я услышала мужские шаги, кто-то вошел к ней в комнату. Быстрым, хоть и невольным движением я выскочила из постели, подбежала к двери и приложила глаза к замочной скважине. Я увидела молодого мулата Танзай с корзинкой цветов в руках. Зулейка побежала ему навстречу, взяла полную горсть цветов и прижала их к груди. Танзай подошел, чтобы подышать их ароматом, смешанным во вздохах его возлюбленной. Я отчетливо видела, как Зулейка задрожала, – причем меня тоже охватила дрожь, – подняла на него томные глаза и упала в его объятия. Я бросилась на постель, облила ее слезами, рыдания перехватили мне дух, и я с мучительной болью воскликнула:

– О моя сто двенадцатая прабабка, имя которой я ношу, чувствительная и нежная жена Исаака! Если с лона своего тестя, лона Авраамова, ты видишь, в каком состоянии я нахожусь, умоли тень Мамуна и скажи ему, что дочь его недостойна той чести, которую он ей уготовал!

Эти стоны разбудили моего брата: он вошел ко мне и, думая, что я заболела, дал мне успокаивающее лекарство. Он пришел еще раз в полдень и, обнаружив, что у меня учащенный пульс, сказал, что согласен взять на себя продолжение моих каббалистических трудов. Я с благодарностью приняла это предложение, так как сама была не способна ни на что. К вечеру я заснула и видела сны, совсем непохожие на те, что слетали ко мне до тех пор. А на другой день грезил наяву или, вернее, была такая потерянная, что сама не знала, что говорю. Взгляды брата почему-то заставляли меня краснеть. Так прошла неделя.

Однажды ночью брат вошел ко мне в комнату. Под мышкой он держал книгу «Сефирот», а в руке – перевязь с созвездиями, на которой было выписано семьдесят два названия, данных Зороастром созвездию Близнецов.

– Ревекка, – сказал он мне. – Ревекка, выйди из этого состояния, которое тебя унижает. Пора тебе испробовать свою власть над духами стихий. Эта перевязь с созвездиями оградит тебя от их нападений. Выбери на окружающих горах место, какое сочтешь более подходящим для твоих действий, и помни, что вся твоя судьба зависит от них.

Сказав это, брат вывел меня за ворота замка и запер их за мной.

Оставшись одна, я призвала на помощь все свое мужество. Ночь была темная, я – в одной рубашке, босая, с распущенными волосами, с книгой в одной руке и магической перевязью в другой. Я направила свои шаги к горе, которая показалась мне ближе других. Какой-то пастух хотел меня схватить; я оттолкнула его рукой, в которой держала книгу, и он упал трупом у моих ног. Это не покажется тебе удивительным, если ты узнаешь, что переплет моей книги был вырезан из дерева ковчега, которое имеет свойство уничтожать все, чего ни коснется.

Солнце уже начало вставать, когда я поднялась на вершину, которую выбрала для своих опытов. Однако начать их я смогла только на другой день в полночь. Я спряталась в пещеру, где оказалась медведица с несколькими медвежатами; она бросилась на меня, но переплет книги и на этот раз сделал свое дело: рассвирепевший зверь упал у моих ног. Торчащие сосцы ее напомнили мне о том, что я умираю от жажды, а еще не имею в своем распоряжении ни одного гения, ни даже блуждающего духа. Решив приспособиться к обстоятельствам, я легла на землю и утолила жажду молоком медведицы. Благодаря остаткам тепла, сохранившимся в теле зверя, эта пища показалась мне не такой противной, но вскоре явились медвежата и потребовали свою долю. Представь себе шестнадцатилетнюю девушку, никогда до тех пор не оставлявшую родного дома и вдруг оказавшуюся в таком ужасном положении. Правда, в руке у меня было страшное оружие, но я не имела привычки

им пользоваться, и малейшая неосторожность могла обратить его против меня.

Между тем я заметила, что трава сохнет у меня под ногами, воздух накаляется и птицы падают мертвые на лету. Я поняла, что духи, зная о том, что должно наступить, уже начинают собираться вокруг. Ближайшее дерево само собой загорелось, окуталось клубами дыма, которые, вместо того чтоб подниматься кверху, окружили мою пещеру и погрузили меня во тьму. Лежащая у моих ног медведица, казалось, оживает, глаза ее загорелись огнем, который на мгновение рассеял тьму. В это мгновение из пасти ее выскочил злой дух в виде крылатого змея. Это был Немраэль, дух низшего достоинства, предназначенный для моих услуг. Вскоре после этого я услышала разговор на языке эгрегоров, наиболее известных падших ангелов, и поняла, что они составляют мне почетный эскорт при первом моем выходе в мир посредствующих творений. Язык их – тот самый, на котором Енох написал свою книгу, над которой я много думала.

Наконец явился князь эгрегоров Семиас, чтоб известить меня, что пора начинать. Я вышла из пещеры, расстелила вокруг свою перевязь с созвездиями, раскрыла книгу и громко произнесла страшные заклинания, которые до тех пор еле решалась читать про себя.

Ты прекрасно понимаешь, Альфонс, что я не в состоянии передать тебе все, что со мной было, да ты и не понял бы. Скажу только, что я приобрела значительную власть над духами, и меня научили приемам, которые давали мне возможность познакомиться с небесными близнецами. К этому времени брат мой увидел кончики ног дочерей Соломона. Я стала ждать, когда солнце войдет в знак Близнецов; с этого дня или, вернее, с этой ночи я приступила к делу. Я напрягла все силы, чтобы достичь цели, и не могла остановиться, продолжая действовать до глубокой ночи, так что в конце концов меня одолел сон, с которым я была уже не в состоянии бороться.

На другой день, посмотрев в зеркало, я увидела две стоящие позади меня человеческие фигуры, обернувшись, но они исчезли; опять кинула взгляд в зеркало – и опять та же картина. Зрелище было совсем не страшное. Стояли два юноши ростом немного выше обычного человеческого. Плечи – шире и слегка округлее, как у женщины; грудь – тоже женской формы; но, кроме этого, ни тот, ни другой не отличались от мужчин. Вытянутые руки прижаты к бедрам, как мы видим у египетских статуй; голубовато-золотые волосы ниспадали локонами на плечи. Я уже не говорю о чертах лица: постарайся сам представить себе красоту этих полубогов, а это в самом деле были небесные близнецы: я узнала их по маленьким язычкам огня, поблескивающим над их головами.

– Как же были одеты эти полубоги? – спросил я Ревекку.

– На них совсем не было одежды, – ответила она. – У каждого было по четыре крыла, из которых два росли из плеч, а два около пояса. Хотя крылья эти были прозрачные, как у мух, но искры серебра и золота, которыми они были затканы, достаточно заслоняли все, что могло бы задеть мою стыдливость.

«Это и есть, – подумала я, – те двое небесных юношей, которым я предназначена в жены».

Внутренне я не могла удержаться от сравнения их с мулатом, который так пламенно любил Зулейку, но вспыхнула при этой мысли. Поглядела в зеркало, и мне показалось, что полубоги смотрят на меня гневно, словно угадав мои мысли и оскорбившись этим сравнением.

В течение нескольких дней я боялась смотреть в зеркало. Наконец отважилась. Божественные близнецы, сложив руки на груди, нежными и ласковыми взглядами рассеяли мою боязнь. Но я не знала, что им сказать. Чтобы выйти из затруднения, я пошла за тем творением Эдриса, которое вы называете «Атласом». Это самая прекрасная поэзия, которую мы имеем. В звуке стихов Эдриса отражается гармония небесных тел. Я недостаточно знакома с языком этого автора; поэтому, боясь, что дурно читаю, украдкой смотрела в зеркало, чтоб уловить впечатление, которое произвожу на слушателей. Я могла быть вполне довольна. Тоамимы обменивались взглядами, полными одобрения по моему адресу, а порой бросали в зеркало взгляды, приводившие меня в сильное волнение.

Тут в мою комнату вошел брат, и виденье исчезло. Он заговорил о дочерях Соломона: он созерцал только кончики их ног. Видя, что он весел, я поделилась с ним своей радостью, тем более что испытывала какое-то дотоле неведомое чувство. Внутреннее волнение, всегда связанное с каббалистическими действиями, уступило место сладкой истоме, об упоительности которой я до сих пор не имела понятия.

Брат велел открыть ворота замка, запертые с той поры, как я ходила на гору, и мы предались удовольствию прогулки. Окрестность казалась мне очаровательной, поля играли ярчайшими красками. Я заметила в глазах брата огонь, не сходный с тем, какой горел в них прежде и был вызван страстью к наукам. Мы вошли в апельсиновую рощу. Он пошел мечтать в одну сторону, я – в другую, и мы вернулись, полны чарующими мыслями.

Зулейка, раздевая меня, принесла зеркало. Видя, что я не одна, я велела его унести, действуя по обычаю страуса: коли сама не вижу, так и меня не увидят. Легла и заснула, но вскоре воображением моим овладели престранные сны. Мне приснилось, будто в бездне небес я вижу две яркие звезды, величественно движущиеся по зодиакальному кругу. Вдруг они свернули со своего пути и через минуту показались снова, влача за собой небольшую туманность из созвездия Возничего.

Три эти небесные тела побежали вместе воздушной дорогой, потом остановились и приняли форму огненного метеора. Вслед за тем засверкали в виде трех светлых колечек и, после долгого кружения порознь, слились в одном пламени. Наконец превратились в огромный нимб или ореол, окружающий трон из сапфиров. На троне сидели близнецы, протягивая ко мне руки и указывая место, которое мне надлежало занять между ними. Я хотела кинуться к ним, но в это мгновение мне показалось, что мулат Танзай схватил меня за талию и держит. В самом деле я почувствовала сильное сжатие и сразу проснулась.

В комнате царил мрак, но сквозь дверные щели я увидела в комнате Зулейки свет. Услыхала ее вздохи и решила, что она заболела. Надо было окликнуть ее, но я этого не сделала. Я не знаю, какая злосчастная опрометчивость заставила меня снова подбежать к замочной скважине. Я увидела мулата Танзай и Зулейку, предающихся утехам, приведшим меня в содрогание; у меня потемнело в глазах, и я потеряла сознание.

Когда я открыла глаза, Зулейка и брат мой стояли у моей постели. Я кинула на мулатку испепеляющий взгляд и запретила ей показываться мне на глаза. Мой брат спросил меня о причине такой суровости; сгорая со стыда, я рассказала ему обо всем, что видела ночью. На это он ответил, что накануне сам их поженил, но ему теперь досадно, что он не предвидел того, что произошло. Правда, только зрению моему нанесен ущерб, – однако его очень тревожила необычайная гневливость Тоамимов. Что касается меня, то я утратила все чувства, кроме стыда, и готова была лучше умереть, чем взглянуть в зеркало.

Брат не знал, какой характер приняли мои отношения с Тоамимами, но понимал, что я им не чужая; и, видя, что я предаюсь все более глубокой печали, опасался, как бы я не прекратила начатых действий. Солнце должно было уже выйти из созвездия Близнецов, и он нашел нужным предупредить меня об этом. Я словно очнулась от сна и задрожала при мысли, что больше не увижу моих полубогов, разлучусь с ними на одиннадцать месяцев, даже не зная, какое место занимаю в их сердцах и не стала ли совершенно недостойна их внимания.

Я решила пойти в верхнюю комнату замка, где висело венецианское зеркало высотой в шесть локтей; а для храбрости взяла книгу Эдриса с поэмой о сотворении мира. Села поодаль от зеркала и стала читать вслух. Потом, остановившись и повысив голос, осмелилась спросить Тоамимов, были ли они свидетелями всех этих чудес. Тогда венецианское зеркало снялось со стены и встало передо мною. Я увидела в нем Тоамимов; они приветливо улыбались мне и наклонили головы в знак того, что на самом деле присутствовали при сотворении мира и все в действительности было так, как пишет Эдрис.

Тут во мне появилась отвага, я закрыла книгу и погрузила свой взгляд в глаза моих божественных возлюбленных. Эта минуту самозабвения могла мне дорого стоить. Слишком еще много было во мне человеческой природы, чтоб я могла вынести такое близкое

соприкосновение с ними. Пламя, блиставшее в их глазах, чуть не испепелило меня. Я опустила глаза и, придя немного в себя, стала читать дальше. Взгляд мой упал как раз на вторую часть, где описываются любовные утехы сынов Элоима с дочерьми человеческими. Невозможно представить себе, как любили в первые века после сотворения мира. Читая эти яркие описания, я часто запиналась, не понимая, что говорит поэт. Тогда глаза мои невольно обращались к зеркалу, и мне казалось, Тоамимы все с большим удовольствием слушают мой голос. Они протягивали ко мне руки и приближались к моему креслу. Раскинули свои великолепные крылья за плечами; я заметила также легкую дрожь тех крыльев, которые были у них возле бедер. Боясь, как бы они их не распахнули, я закрыла глаза одной рукой и в ту же минуту почувствовала на ней поцелуй, так же как на другой, лежавшей на книге. Потом я вдруг услышала, как зеркало разлетелось на тысячу мелких осколков. Я поняла, что солнце вышло из созвездия Близнецов, и они таким образом со мной прощались.

На другой день я в другом зеркале увидела как бы две тени или скорее два легких силуэта моих божественных возлюбленных. Через день все исчезло. После этого я, чтобы разогнать тоску, стала проводить ночи в обсерватории и, приложив глаз к телескопу, следила за моими возлюбленными до самого их исчезновения. Они были давно уже ниже горизонта, а я все воображала, будто их вижу. И только когда хвост Рака исчезал из моих глаз, я шла спать, и часто постель моя была облита невольными слезами, причину которых я сама не могла назвать.

Между тем брат мой, исполненный любви и надежды, усерднее чем когда-либо отдавался изучению тайных наук. Как-то раз он пришел ко мне: по его словам, верные знаки, которые он видел на небе, сказали ему, что знаменитый адепт, уже двести лет проживающий в пирамиде Сеуфиса, едет в Америку и двадцать третьего числа месяца тибби, в семь часов сорок две минуты, проедет через Кордову. В тот же вечер я пошла в обсерваторию и убедилась, что он прав, только мои вычисления дали другой итог. Брат отстаивал свои выводы, а так как не привык менять мнения, то решил сам ехать в Кордову и доказать, что не он, а я заблуждаюсь.

Чтоб осуществить свою поездку, брату хватило бы того времени, какое мне требуется для произнесения этих слов, но он хотел получить удовольствие от прогулки и поехал через горы, где красивые виды сулили ему больше впечатлений. Так он попал в Вента-Кемаду. В путь он взял с собой того самого духа, который показывался мне в пещере, и велел ему принести ужин. Немразль похитил яства приора бенедиктинцев и принес их в Вента-Кемаду. После этого мой брат, больше не нуждаясь в Немразле, отослал его ко мне.

Я была тогда как раз в обсерватории и заметила на небе знаки, которые заставили меня встревожиться за судьбу брата. Я велела Немразлю лететь обратно в Вента-Кемаду и не отходить от него ни на шаг. Тот полетел, но скоро вернулся ко мне с сообщением, что власть, превышающая его собственное могущество, не позволила ему проникнуть внутрь трактира. Тревога моя дошла до крайнего предела. Наконец я увидела возле моего брата тебя. Заметила в чертах твоего лица спокойствие и уверенность в себе, которые доказывали, что ты не каббалист: отец мой предостерег меня, что какой-то смертный окажет на меня губительное влияние, и я испугалась, не ты ли этот смертный.

Вскоре меня поглотили другие заботы. Брат рассказал мне о приключении Пачеко и о том, что с ним самим произошло, но прибавил, к моему великому удивлению, что не знает, с какого рода духами он имел дело. Мы стали с крайним нетерпением дожидаться ночи; наконец она настала, и мы произвели самые страшные заклинания. Все напрасно: нам ничего не удалось узнать ни о природе тех двух существ, ни того, действительно ли мой брат, имея дело с ними, потерял право на бессмертие. Я думала, что ты сможешь дать нам кое-какие объяснения, но ты, верный не знаю какому там честному слову, не стал ничего говорить.

Тогда я, чтобы успокоить брата, решила сама провести ночь в Вента-Кемаде. И вчера двинулась в путь. Была уже поздняя ночь, когда я оказалась у входа в долину. Собрав немного испарений, я сложила из них блуждающий огонек и велела ему вести меня вперед. Это тайна нашего рода: таким способом Моисей, в шестьдесят третьем колене мой брат,

сотворил огненный столп, проводший израильтян через пустыню.

Мой блуждающий огонек отлично засветился и полетел передо мной, но не кратчайшей дорогой. Я заметила его своеволие, но не обратила на него особенного внимания. В полночь я была у цели. Войдя во двор венты, я увидела свет в средней комнате и услышала гармоническую музыку. Села на каменную скамью и произвела некоторые каббалистические действия, которые, однако, не дали никакого результата. Сказать по правде, музыка до такой степени очаровала и отвлекла меня, что я не могу тебе сказать, произвела ли я тогда эти действия, как надо, – наверно, допустила какую-нибудь важную ошибку. В то время, однако, я была уверена, что все сделала правильно, и, решив, что в трактире нет ни духов, ни дьяволов, сделала вывод, что там должны быть люди, после чего стала с наслаждением слушать их пение. Голоса сопровождал струнный инструмент; пение было такое мелодичное, полное гармонии, что никакая земная музыка с ним не сравнится.

Оно будило во мне упоительное ощущение, которое я не могу тебе описать. Долго слушала я, сидя на скамье, но наконец надо было войти, так как, в сущности, я только за тем и приехала. Я открыла дверь в среднюю комнату и увидела двух высоких и стройных юношей, сидящих за столом, кушающих, пьющих и распеваящих от чистого сердца. Одеты они были по-восточному: на головах тюрбаны, грудь и плечи обнажены, у каждого за поясом блестит дорогое оружие. Оба незнакомца, которых я приняла за турок, встали, пододвинули мне кресло, наполнили тарелку и стакан едой и питьем и снова запели под аккомпанемент теорбы, на которой подыгрывали поочередно.

Их непринужденность передалась мне, и я без всяких церемоний приступила к еде, а так как не было воды, выпила вина. После этого мне захотелось попеть вместе с молодыми турками, которые, казалось, были счастливы услышать мой голос. Я затянула испанскую сегидилью; они ответили мне на том же языке. Я спросила, где они выучились по-испански.

– Мы родом из Морей, – ответил мне один из них. – Как моряки, мы легко овладевали языком того порта, в котором останавливались. Но оставим сегидильи. Послушай теперь наши народные песни.

– Что тебе еще сказать, Альфонс? Голос их вел мелодию, проносившую душу по всем оттенкам чувств, а когда волнение доходило до крайнего предела, неожиданные тоны вдруг возвращали сумасбродное веселье. Однако я не дала этим видимостям сбить меня с толку; я внимательно следила за мнимыми мореходами и находила в них необычайное сходство с моими божественными близнецами.

– Вы турки? – спросила я. – Уроженцы Морей?

– Вовсе нет, – ответил тот, который до сих пор не произнес ни слова. – Мы совсем не турки, а греки родом из Спарты и вылупились из одного яйца.

– Из одного яйца?

– Ах, божественная Ревекка, – прервал другой, – как ты можешь так долго нас не узнавать? Я – Поллукс, а это мой брат.

Страх сдавил мне горло. Я вскочила с кресла и забилась в угол комнаты. Мнимые близнецы приняли зеркальный вид, расправили крылья, и я почувствовала, что они поднимают меня на воздух, но, по счастливому вдохновению, произнесла священное слово, известное из всех каббалистов лишь нам с братом. И сейчас же оказалась сброшенной на землю. Из-за этого падения я лишилась чувств, и только твои старания вернули мне их. Внутренний голос убеждает меня, что я не потеряла ничего из того, что должна была сохранить, но я измучена всеми этими необычайными происшествиями. Божественные близнецы! Я не достойна вашей любви. Я родилась для того, чтоб быть обыкновенной смертной.

Этими словами Ревекка закончила свой рассказ, и первой моей мыслью было то, что она с начала до конца просто смеялась надо мной, злоупотребляя моим легковерием. Я довольно поспешно отошел от нее и, начав обдумывать слышанное, сказал себе следующее:

«Эта женщина либо в сговоре с Гомелесами и желает подвергнуть меня испытанию,

заставив перейти в мусульманскую веру, либо ради каких-то других целей хочет вырвать у меня тайну моих родственников. Что же касается последних, то они если не дьяволы, то, конечно, состоят на службе у Гомелесов».

Погруженный в эти размышления, я вдруг увидел, что Ревекка рисует в воздухе круги и другие колдовские фигуры. Через минуту она подошла ко мне и промолвила:

– Я сообщила брату, где я нахожусь, и уверена, что вечером он будет здесь. А мы тем временем поспешим к цыганам, в табор.

Она простодушно взяла меня под руку, и мы явились к старому вожаку, который принял еврейку знаками глубокого уважения. Весь день Ревекка вела себя совершенно непринужденно, казалось, позабыв о тайных науках. Вечером прибыл ее брат, и они вместе удалились, а я пошел спать. Лежа в постели, я некоторое время еще размышлял над рассказом Ревекки, но так как впервые слышал о кабале, об адептах и о небесных знаках, то не мог сделать никакого твердого вывода и заснул в этой неопределенности.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Я проснулся довольно рано и в ожидании завтрака пошел пройтись. Издали я заметил каббалиста, который о чем-то горячо спорил с сестрой. Я повернул в сторону, не желая им мешать, но вскоре увидел, что каббалист устремился к табору, а Ревекка поспешно идет ко мне. Я сделал несколько шагов навстречу ей, и мы продолжали прогулку вместе, не обмениваясь ни словом. Наконец прекрасная израильтянка первая нарушила молчание.

– Сеньор Альфонс, я хочу сделать тебе признание, к которому ты не отнесешься безразлично, если моя участь имеет для тебя какое-нибудь значение. Я раз и навсегда оставляю каббалистические науки. Минувшей ночью я глубоко обдумала это решение. На что мне это ненужное бессмертие, которым мой отец хотел меня наделить? Разве и без этого все мы не бессмертны? Разве не суждено нам соединиться в жилищах праведников? Я хочу прожить эту короткую жизнь не даром, провести ее с настоящим супругом, а не со звездами. Хочу стать матерью, увидеть детей моих детей, а потом, усталая от жизни и сытая ею, заснуть в их объятьях и вознестись на лоно Авраама. Что ты думаешь о моем намерении?

– Одобряю его от всего сердца, – ответил я, – но что говорит об этом твой брат?

– Сперва он пришел в бешенство, – сказала она, – но потом обещал мне сделать то же самое, если будет вынужден отказаться от дочерей Соломона. Он только ждет, когда солнце вступит в созвездие Девы, и после этого примет окончательное решение. А пока он хотел бы дознаться, что это за оборотни издевались над ним в Вента-Кемаде, назвавшись Эминой и Зибельдой. Он не хотел сам расспрашивать тебя об них, полагая, что ты знаешь не больше его. Но нынче вечером он хочет вызвать Вечного Жида – того самого, которого ты видел у отшельника. Он надеется от него получить кое-какие сведения.

Тут нам сказали, что завтрак готов. Он был подан в большую пещеру, куда убрали также шатры, так как небо начало покрываться тучами. Вскоре разразилась страшная гроза. Видя, что нам суждено просидеть весь день в пещере, я попросил старого цыгана продолжить дальше свою историю, что тот и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Ты помнишь, сеньор Альфонс, историю принцессы Монте-Салерно, которую рассказал мне Джулио Ромати; я говорил тебе, какое впечатление эта история произвела на меня. Когда мы легли спать, комната была освещена только слабым светом лампы. Я боялся глядеть в темные углы комнаты, особенно на один ларь, в котором хозяин держал запас ячменя. Мне казалось, что вот сейчас оттуда покажутся шесть скелетов. Я завернулся в одеяло, чтоб ничего не видеть, и скоро заснул.

Рано утром меня разбудили колокольцы мулов; одним из первых я был на ногах. Позабыв и о Ромати и о принцессе, я думал только об удовольствиях, связанных с

дальнейшим путешествием. В самом деле, оно было очень приятное. Солнце, слегка подернутое облаками, жгло не слишком сильно, и погонщики решили ехать целый день без остановок, сделав привал только у колодца Дос-Леонес, где проселок на Сеговию соединяется с большой дорогой на Мадрид. Здесь под живописными деревьями два льва изрыгают воду в мраморный бассейн, что немало содействует прелести этого места.

Был уже полдень, когда мы туда приехали, и не успели мы там остановиться, как увидели путешественников, приближающихся по дороге из Сеговии. На первом муле, открывающем шествие, сидела молодая девушка как будто моего возраста, но на самом деле немного старше. Мула ее вел мальчик, на вид лет семнадцати, миловидный и хорошо одетый, хотя в обычной ливрее конюха. За ними следовала женщина уже в возрасте, которую можно было принять за тетю Даланосу, не столько по чертам лица, сколько по движениям и всему облику, а в особенности по тому же самому выражению доброты, которым дышало ее лицо. Слуги замыкали процессию.

Так как мы прибыли первыми, то пригласили путников разделить с нами трапезу, которую нам накрыли под деревьями. Женщины приняли приглашение, но как-то неохотно, — особенно, молодая девушка. Время от времени она взглядывала на молодого погонщика, усердно ей прислуживавшего, а пожилая дама смотрела на них с жалостью и со слезами на глазах. Я заметил их скорбный вид и был бы рад сказать им что-нибудь утешительное, но, не зная, как начать, ел молча.

Тронулись в путь; добрая моя тетка подъехала к незнакомой даме, а я приблизился к молодой девушке и видел, как молодой погонщик, будто поправляя седло, касался ее руки или ноги, а раз заметил даже, как он поцеловал ей руку.

Через два часа мы достигли Ольмедо, где должны были заночевать. Тетка моя велела поставить стулья перед дверью в трактир и села с попутчицей побеседовать. Через некоторое время она сказала мне, чтоб я пошел и велел принести шоколаду. Я вошел в дом, и в поисках наших людей, попал в комнату, где увидел молодую девушку в объятьях конюха. Оба заливались горячими слезами. При этом зрелище у меня чуть сердце не разорвалось: я кинулся на шею молодому погонщику и разрыдался как безумный. Тут появились обе дамы. Моя тетка в необычайном волнении вытащила меня из комнаты и спросила о причине моих слез. Не зная, из-за чего мы плакали, я не знал, что ответить. Узнав, что я плачу без всякой причины, она не могла удержаться от смеха. А в это время другая дама заперлась с молодой девушкой: мы слышали, как они вместе всхлипывают; появились они только за ужином.

Пир наш был непродолжительный и невеселый. Когда убрали со стола, тетка моя, обращаясь к незнакомой даме, сказала:

— Сеньора, да сохранил меня небо дурно думать о ближних, особенно о тебе, у которой душа, видно, добрая и подлинно христианская... Но мой племянник видел, как эта молодая девушка обнимала простого погонщика мулов, — правда, красивого парня, ничего не скажешь, — и меня удивило, что сеньора не находит в этом ничего предосудительного. Конечно... дело не мое... но, имея честь отужинать с сеньорой... и принимая во внимание, что путь до Бургоса еще далекий...

Тут тетка моя совсем запуталась и никогда бы не выбралась из затруднения, если бы другая дама, прервав ее как раз вовремя, не сказала:

— Нет, нет, сеньора, вы имеете полное право, после того, что видели, спрашивать, почему я им потворствую. Мне следовало бы об этом молчать, но я вижу, что неприлично скрывать от сеньоры, — во всяком случае, то, что меня касается.

Тут почтенная дама достала платок, отерла глаза и начала так:

ИСТОРИЯ МАРИИ ДЕ ТОРРЕС

Я — старшая дочь дона Эмануэля де Норунья, оидора трибунала в Сеговии. В восемнадцать лет я была выдана за дона Энрике де Торрес, полковника испанской армии в отставке. Моя мать умерла за несколько лет перед тем, отца мы потеряли через два месяца

после моей свадьбы и тогда взяли к себе в дом мою младшую сестру Эльвиру, которой было в то время только четырнадцать лет, но она уже славилась по всей окрестности своей красотой. Наследства отец мой не оставил почти никакого. Что касается моего мужа, то он был человек со средствами, но, следуя семейной традиции, должен был выплачивать пенсию пяти кавалерам мальтийского ордена и делать взносы за шесть породнившихся с нами монахинь, так что остававшегося дохода еле хватало на поддержание приличного уровня жизни. Однако ежегодное пособие, которое двор выдавал моему мужу во внимание к его давней службе, несколько улучшало наше положение.

В то время в Сеговии было много дворянских домов не богаче нашего. Вынужденные жить расчетливо, они соблюдали во всем строгую экономию. Редко кто из них навещал соседа; женщины проводили дни у окон, мужчины прогуливались по улицам. Было много игры на гитаре, еще больше вздохов, – ведь это ничего не стоило. Фабриканты вигоневского сукна жили роскошно, но, так как мы были не в состоянии следовать их примеру, мы мстили им презрением и всяческим высмеиванием.

Чем старше становилась моя сестра, тем больше гитар звенело на нашей улице. Некоторые гитаристы вздыхали, другие бренчали, третьи и вздыхали и бренчали одновременно. Местные красавицы зеленели от злости, но та, которая была предметом этого поклонения, не обращала на него никакого внимания. Сестра моя почти всегда скрывалась у себя в комнате, а я, чтоб не казаться неучливой, садилась у окна и говорила каждому несколько любезных слов. Это была неизбежная обязанность, от которой невозможно было уклониться, но, как только уходил последний бренчал, я с невыразимым удовольствием закрывала окно. Муж и сестра ждали меня в столовой. Мы садились за скромный ужин, который оживляли тысячью насмешек над поклонниками. Каждому доставалась своя порция, и думаю, если бы они слышали, что про них говорят, на другой день больше ни один не пришел бы. Мы не щадили никого; разговоры эти доставляли нам такое удовольствие, что мы очень часто расходились по своим комнатам только поздно ночью.

Однажды вечером, когда мы говорили на любимую тему, Эльвира с серьезным видом промолвила:

– Ты не обратила внимания, сестра, что как только все бренчалы уйдут с нашей улицы и в передних комнатах погаснет свет, можно услышать две-три сегидильи, исполненные не обыкновенным любителем, а скорей мастером.

Муж мой подтвердил ее наблюдение, сказав, что он тоже это заметил. Я вспомнила, что в самом деле слышала что-то вроде этого, и мы стали подтрунивать над сестрой и ее новым поклонником. Однако нам показалось, что к этим шуткам она относится не так весело, как обычно.

На другой день, простившись с бренчалами и закрыв окно, я погасила свет и осталась в комнате. Вскоре я услышала голос, о котором говорила сестра. Певец начал с искусного вступления, потом спел песню о тайных наслаждениях, потом другую – о робкой любви, и после этого я не слышала больше ничего. Выходя из комнаты, я увидела сестру, подслушивающую за дверью. Я сделала вид, будто ничего не вижу, но за ужином обратила внимание на то, что она задумчива и рассеянна.

Таинственный певец ежедневно повторял свои серенады и так приучил нас к своему пению, что, только прослушав его, мы садились ужинать. Это постоянство и таинственность возбудили любопытство Эльвиры и произвели на нее впечатление.

В это время мы узнали, что в Сеговию приехало новое лицо, очень всех заинтересовавшее. Это был граф Ровельяс, удаленный от двора и по этой причине ставший очень важной персоной в глазах провинциалов. Ровельяс родился в Веракруссе; мать его, родом мексиканка, принесла в дом мужа огромное приданое, а так как в то время американцы пользовались благоволением двора, молодой креол переплыл море в надежде получить титул гранда. Ты понимаешь, сеньора, что этот уроженец Нового Света имел слабое представление об обычаях Старого. Зато он ослеплял пышностью, и даже сам король забавлялся порою его простодушием. Но его поведение диктовалось кичливым самолюбием

и кончилось тем, что все стали над ним смеяться.

У молодых людей был тогда рыцарский обычай выбирать себе даму сердца. Они носили ее цвета, а иногда и вензель, – например, во время турниров, которые назывались парехас.

Ровельяс, отличавшийся невероятным тщеславием, вывесил вензель принцессы Астурии. Королю эта мысль очень понравилась, но принцесса, сочтя себя оскорбленной, послала придворного алыгвасила, который арестовал графа и отвез в тюрьму, в Сеговию. Через неделю Ровельяса освободили с обязательством не выезжать из этого города. Причина изгнания, как видишь, была не очень лестной для самолюбия, но граф даже ею ухитрился хвастать. Он с удовольствием распространялся о своей опале и давал понять, что принцесса была к нему равнодушна.

В самом деле, Ровельяс страдал всеми видами самомнения. Он был уверен, что умеет все на свете и каждый свой замысел в состоянии осуществить, – особенно тщеславился он своими качествами тореадора, танцора и певца. Не было таких невеж, которые оспаривали бы у него наличие последних двух талантов, только быки не проявляли подобной благовоспитанности. Но граф, с помощью своих пикадоров, почитал себя непобедимым.

Я уже говорила, что мы званых вечеров не устраивали и принимали только пришедшего с первым визитом. Муж мой пользовался всеобщим уважением как ради своего происхождения, так и ради воинских заслуг, поэтому Ровельяс решил начать с нашего дома. Я приняла его, сидя на возвышении, а он сел поодаль, согласно обычаям нашего края, требующим соблюдения расстояния между нами и мужчинами, приходящими нас навестить.

У Ровельяса язык был хорошо подвешен. Посреди разговора вошла сестра и села рядом со мной. Красота ее привела графа в такое восхищение, что он просто онемел. Пролепетал, запинаясь, несколько бессвязных фраз, потом спросил, какой ее любимый цвет. Эльвира ответила, что пока не отдавала предпочтения ни одному.

– Сеньорита, – возразил граф, – ты проявляешь ко мне безразличие, и мне не остается ничего другого, как объявить траур, поэтому отныне единственным моим цветом будет черный.

Моя сестра, совершенно непривычная к подобным любезностям, не знала, что ответить. Ровельяс встал, откланялся и ушел. В тот же вечер мы узнали, что он всюду, где был с визитом, ни о чем другом не говорил, как только о красоте Эльвиры, а на другой день нам сообщили, что он заказал сорок темных ливрей, шитых золотом и черным шелком. С тех пор мы больше не слышали традиционных серенад.

Зная обычай дворянских домов Сеговии, не позволяющий часто принимать гостей, Ровельяс со смирением покорился своей участи и проводил вечера под нашими окнами вместе с молодежью благородного происхождения, оказывавшей нам эту честь. Так как он не получил титула гранда, а большая часть наших знакомых среди молодежи принадлежала к кастильским *titulados*, эти господа считали его своей ровней и обращались с ним соответствующим образом. Однако не замедлили сказаться преимущества богатства: когда он играл, все гитары умолкали, и граф первенствовал как в беседах, так и в концертах.

Но это превосходство не удовлетворяло тщеславие Ровельяса; он горел неодолимым желанием встретиться с быком в нашем присутствии и потанцевать с моей сестрой. Он торжественно объявил нам, что велел доставить сто быков из Гвадаррамы и выложить паркетом место, находящееся в ста шагах от амфитеатра, где, по окончании зрелищ, общество сможет провести ночь в танцах. Эти слова произвели большое впечатление в Сеговии. Граф всем вскружил головы и если не разорил всех, то, во всяком случае, подорвал благосостояние.

Как только разнесся слух о бое быков, наши молодые люди засуетились как одурелые, обучаясь позициям, применяемым в этих боях, заказывая богатые наряды и красные плащи. Ты сама догадываешься, сеньора, что женщины в это время совсем потеряли голову. Они примеряли все, какие только у них были, платья и головные уборы; больше того, выписывали модисток и портних; одним словом, богатство уступило место кредиту.

Все были так заняты, что наша улица почти обезлюдела. Однако Ровельяс в обычное время приходил к нам под окна. Он сказал, что велел вызвать из Мадрида двадцать пять кондитеров, и просит нас решить, достаточно ли они искусны в своем мастерстве. В ту же минуту мы увидели слуг в темной ливрее, шитой золотом, которые несли на золоченых подносах прохладительные напитки.

На другой день повторилась та же история, и муж мой с полным основанием начал сердиться. Он нашел неприличным, чтобы порог нашего дома был местом публичных сборищ. Как всегда, он нашел нужным посоветоваться со мной; я, как всегда, была согласна с ним, и мы решили уехать в маленький городок Вильяку, где у нас были дом и земля. Таким путем нам даже легче было соблюсти экономию, пропустив несколько балов и зрелищ, а также избежав некоторых лишних расходов на одежду. Но так как дом в Вильяке требовал ремонта, пришлось отложить отъезд на три недели. Как только наше намерение стало известно, Ровельяс сейчас же дал выход своему страданию и выразил чувства, которыми пылал к моей сестре. Эльвира в это время, по-моему, совсем забыла о трогательном вечернем пении, но тем не менее принимала объяснения графа с благоприличной холодностью.

Надо заметить, что сыну моему в то время было два года; с тех пор он сильно вырос, – как вы видели, потому что он и есть молодой погонщик, едущий с нами. Этот мальчик, которого мы называли Лонсето, был единственной нашей утехой. Эльвира любила его не меньше, чем я, и могу сказать, что он один веселил нас, когда нам очень уж докучала назойливость сестриных поклонников.

Когда стало можно ехать в Вильяку, Лонсето заболел оспой. Нетрудно понять нашу печаль; дни и ночи проводили мы у постели больного, и все это время тот же нежный вечерний голос опять распевал грустные песни. Эльвира вспыхивала, едва заслышав вступление, однако продолжала усердно хлопотать возле Лонсето. Наконец милый ребенок выздоровел, и окна наши снова открылись для вздыхателей, но таинственный певец умолк.

Как только мы показались в окне, Ровельяс уже стоял перед нами. Он сообщил, что бой быков отложен только ради нас, и просил, чтобы мы сами назначили день. Мы отвечали на эту любезность, как надлежало. В конце концов незабываемый день был назначен на следующее воскресенье, которое наступило – увы! – слишком быстро для бедного графа.

Не буду вдаваться в описание подробностей зрелища. Кто видел хоть одно, тот может представить себе любое другое. Однако известно, что благородные бьются не так, как простолюдины. Господа въезжают верхом и наносят быку уколы «рехоном», то есть дротиком, после чего должны сами выдержать атаку, но лошади приучены так, что удар разъяренного животного чуть царапает их по спине. Тогда дворянин со шпагой в руке прыгает с лошади. Чтоб это удалось, бык должен быть не злой. Между тем пикадоры графа по забывчивости, вместо *toro franco*²⁴ выпустили *toro marrajo*²⁵. Знатоки сразу заметили ошибку, но Ровельяс находился уже внутри ограды, и не было возможности ничего изменить. Он сделал вид, что не замечает опасности, повернул лошадь и ударил быка дротом в правую лопатку, вытянув при этом руку и наклонив корпус между рогами животного – по всем правилам искусства.

Раненый бык притворился, будто бежит к выходу, но вдруг, неожиданно повернувшись, кинулся на графа и поднял его на рога с такой силой, что лошадь упала за пределами арены, а всадник остался внутри изгороди. Тут бык устремился к нему, подцепил его рогом под воротник, закрутил его в воздухе и отбросил на другой конец поля боя. После чего, видя, что жертва ускользнула от его ярости, стал искать ее свирепыми глазами и, увидев наконец графа, лежащего почти бездыханным, уставился на него с возрастающим остервенением, роя землю копытами и стегая себя хвостом по бокам. В это мгновение какой-

²⁴ прирученный бык (исп.)

²⁵ дикий бык (исп.)

то молодой человек перепрыгнул через загородку на арену, схватил шпагу и красный плащ Ровельяса и встал перед быком. Обозленное животное произвело несколько обманных поворотов, которые, однако, не ввели незнакомца в заблуждение; наконец взбешенный бык, наклонив рога до земли, прынул на него, наткнулся на подставленную шпагу и упал мертвый к ногам победителя. Незнакомец бросил шпагу и плащ на быка, поглядел на нашу ложу, поклонился нам, перепрыгнул через загородку и скрылся в толпе. Эльвира стиснула мне руку и промолвила:

– Я уверена, что это наш таинственный певец.

Когда цыганский вожак окончил это повествование, один из его приближенных пришел давать отчет о сделанном за день, и старый цыган попросил у нас позволения отложить дальнейший рассказ до завтра, после чего ушел, чтобы заняться делами своего маленького государства.

– Право, – сказала Ревекка, – мне досадно, что прервали повествование старика. Мы оставили графа лежащим на арене, и, если никто до завтра его не поднимет, боюсь, как бы не было поздно.

– Не беспокойся, – возразил я, – и можешь быть уверена, что богачей так легко не бросают; ведь там его слуги.

– Ты прав, – ответила еврейка, – да меня не это тревожит. Мне хочется знать имя его спасителя и действительно ли он и есть тот таинственный певец.

– Но я считал, что сеньоре известно все на свете! – воскликнул я.

– Альфонс, – перебила она, – не напоминай мне больше о каббалистических науках. Я хочу знать только то, что сама услышу, и желаю владеть только искусством делать счастливым того, кого люблю.

– Как? Значит, ты уже сделала выбор?

– Ничуть не бывало. Пока я ни о ком не думаю. Не знаю почему, но мне кажется, что человек моей веры вряд ли мне понравится, а так как я никогда не выйду за человека вашей религии, то могу выбирать только среди мусульман. Говорят, жители Туниса и Феса очень красивы и приятны. Только бы встретить человека с чувствительным сердцем, больше мне ничего не надо.

– Но откуда такое отвращение к христианам? – спросил я.

– Не спрашивай меня об этом. Скажу только, что я не могу переменить веру ни на какую другую, кроме магометанской.

Мы спорили некоторое время в таком духе, потом беседа начала замирать, я простился с молодой израильтянкой и провел остаток дня на охоте. Вернулся я только к ужину. Застал всех в очень веселом настроении. Каббалист рассказывал о Вечном Жиде, утверждая, что он уже в пути и вот-вот явится из глуби Африки. Ревекка сказала:

– Сеньор Альфонс, ты увидишь того, кто лично знал предмет твоего поклонения.

Эти слова могли втянуть меня в неприятный разговор, так что я заговорил о другом. Мы искренне желали услышать нынче же вечером продолжение рассказа старого цыгана, но тот попросил позволения отложить до завтра. Мы пошли спать, и я заснул мертвым сном.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Стрекотание кузнечиков, такое громкое и неустанное в Андалузии, рано пробудило меня ото сна. Красоты природы производили все большее впечатление на мою душу. Я вышел из шатра, чтобы полюбоваться сиянием первых солнечных лучей, разливающихся по всему небосклону. Подумал о Ревекке. «Она права, – сказал я сам себе, – что предпочитает наслаждения человеческого и материального существования бесплодным мечтаньям идеального мира, в который мы и так рано или поздно попадем. Разве на этой земле не находим мы довольно разнообразных чувств и восхитительных впечатлений, чтобы наслаждаться ими во время короткого пребывания здесь?»

Такого рода размышления занимали меня некоторое время, потом, видя, что все пошли в пещеру завтракать, я тоже направил свои стопы в ту сторону. Мы поели, как едят люди, дышащие горным воздухом, и, утолив голод, попросили старого цыгана продолжать свое повествование, что тот и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЦЫГАНСКОГО ВОЖАКА

Я вам говорил, что мы прибыли на второй ночлег наш по дороге из Мадрида в Бургос и встретили там девушку, влюбленную в юношу, одетого погонщиком, сына Марии де Торрес. Последняя рассказала нам, что граф Ровельяс лежал почти что мертвый на другом конце арены, а молодой незнакомец, на противоположном конце, смертельным ударом сразил быка, готовившегося добить свою жертву.

Что было дальше, об этом вам расскажет сама Мария де Торрес.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРИИ ДЕ ТОРРЕС

Как только сраженный бык упал, обливаясь кровью, слуги графа кинулись к хозяину на помощь. Раненый не подавал никаких признаков жизни; его положили на носилки и отнесли домой. Зрелище было прекращено, и все разошлись по домам.

В тот же вечер мы узнали, что Ровельяс вне опасности. На другой день муж мой послал узнать о его здоровье. Посланец долго не возвращался, но наконец принес нам письмо следующего содержания:

«Сеньор полковник!

Прочитав настоящее письмо, ваша милость убедится, что Вседержителю угодно было оставить мне остатки сил. Однако невыносимые боли в груди заставляют меня сомневаться в полном излечении. Ты, конечно, знаешь, сеньор дон Энрике, что Провидение одарило меня многими благами мира сего. Определенную часть их я предназначаю незнакомцу, поставившему под удар свое собственное существование, чтобы сохранить мое. Из остальной же части этих благ я не могу сделать лучшего употребления, как сложить ее к ногам несравненной Эльвиры де Норунья. Благоволи, сеньор, передать ей выражение моих правдивых и искренних чувств, которые она пробудила в том, который, быть может, скоро станет горсткой пепла и праха, но которому небо еще позволяет подписываться, как

граф Ровельяс, маркиз де Вера Лонса-и-Крус Велада,
потомственный командор Талья Верде-и-Рио Флор,
владелец Толаскес-и-Рига-Фуэра-и-Мендес-и-Лонсас,
и прочая, и прочая, и прочая».

Тебя удивляет, сеньора, что я запомнила столько титулов, но мы в шутку дразнили ими сестру, так что в конце концов выучили наизусть.

Как только муж мой получил это письмо, он сейчас же прочел его нам и спросил мою сестру, что отвечать. Эльвира сказала, что во всем полагается на мнение моего мужа, но прибавила, что добродетели графа поражают ее не так, как самолюбие, которое сквозит во всех его словах и поступках.

Мой муж прекрасно понял истинное значение этих слов и ответил графу, что Эльвира еще слишком молода, чтобы оценить его чувства, но присоединяется к молитвам о его выздоровлении. Тем не менее граф не увидел в таком ответе отказа, а напротив – стал всюду говорить о своей женитьбе на Эльвире как о деле вполне решенном; а мы между тем уехали в Вильяку.

Дом наш, стоявший на самой окраине города, будто в деревне, был расположен в очаровательной местности. Внутреннее устройство не уступало видам из окон. Напротив нашего обиталища была деревенская хижина, украшенная с отменным вкусом: крыльцо все в цветах, окна высокие и светлые, рядом небольшой птичник, – словом, все было аккуратное, новенькое. Нам сказали, что домик этот купил один Лабрадор из Мурсии. Хлебопашцы,

которых в нашей провинции называют лабрадорами, принадлежат к среднему сословию между мелким дворянством и крестьянами.

Был уже поздний вечер, когда мы приехали в Вильяку. Мы начали с осмотра дома – от чердака до подвала, после чего велели поставить кресла снаружи перед дверью и стали пить шоколад. Муж мой шутил с Эльвирой – на тему о бедности жилища, в котором придется жить будущей графине Ровельяс. Сестра принимала его шутки довольно весело. Вскоре мы увидели возвращающийся с поля плуг, запряженный четырьмя могучими волами. Их погонял дюжий парень, а позади шел молодой человек под руку с девушкой приблизительно того же возраста. Молодой Лабрадор отличался благородной осанкой, и, когда он приблизился к нам, мы с Эльвирой узнали в нем спасителя Ровельяса. Муж мой не обратил на него внимания, но сестра кинула на меня взгляд, который я прекрасно поняла. Юноша поклонился нам издали, видимо не желая заводить знакомство, и вошел к себе в дом. Подруга его внимательно к нам присматривалась.

– Красивая парочка, правда? – сказала донья Мануэла, наша ключница.

– Как это – красивая парочка? – воскликнула Эльвира. – Разве это – муж и жена?

– Конечно, – возразила Мануэла, – и ежели говорить по правде, то союз этот заключен против воли родителей. Брак увозом. Тут все об этом знают; сразу заметили, что это не крестьяне.

Муж мой спросил Эльвиру, почему она так взволнована, и прибавил:

– Можно подумать, что это наш таинственный певец.

В эту минуту в доме напротив послышались звуки гитары и голос, подтвердивший подозрения моего мужа.

– Странное дело, – заметил он. – Но так как этот человек женат, очевидно, серенады его предназначались для кого-нибудь из наших соседок.

– А я, – возразила Эльвира, – была уверена, что они были предназначены мне.

Мы посмеялись над ее простодушием и перестали об этом говорить. В течение шести недель, проведенных в Вильяке, окна домика напротив оставались все время закрытыми, и мы больше не видели наших соседей. Кажется даже, что они покинули городок раньше нас.

К концу этого срока мы узнали, что Ровельяс чувствует себя лучше, и бой быков должен возобновиться, но без личного участия графа.

Мы вернулись в Сеговию, где сразу окунулись в самую гущу празднеств, пиров, зрелищ и балов. Ухаживанья графа взволновали сердце Эльвиры, и свадьбу справили с невиданной пышностью.

Через три недели после венчанья граф узнал, что его изгнание окончено и он может явиться ко двору. Он с радостью заговорил о представлении ко двору и моей сестры. Но он хотел, перед тем как выезжать из Сеговии, узнать фамилию своего избавителя и поэтому велел объявить, что кто сообщит ему адрес незнакомого торреро, тот получит в награду сто золотых, по восемь пистолетов каждый. На другой день пришло такое письмо:

«Сеньор граф!

Ты задаешь себе напрасный труд. Оставь попытки узнать человека, спасшего тебе жизнь, и удовлетворишься уверенностью, что ты навеки погубил его».

Ровельяс показал письмо моему мужу и заявил высокомерно, что оно, несомненно, от какого-нибудь соперника, что он не знал о существовании у Эльвиры романов в прошлом, а зная это, никогда бы на ней не женился. Мой муж попросил графа быть осторожней в выражениях и с этих пор решительно порвал с ним.

Об отъезде ко двору больше не было речи. Ровельяс стал сумрачный, раздраженный. Все его самолюбие превратилось в ревность, а ревность – в затаенное ожесточение. Муж сообщил мне содержание анонимного письма; мы пришли к выводу, что крестьянин в Вильяке был переодетый поклонник. Мы распорядились собрать более точные сведения, но незнакомец исчез, продав свой домик. Эльвира ждала ребенка, и мы скрыли от нее перемену

в чувствах мужа к ней. Она ее хорошо заметила, но не знала, чему это внезапное охлаждение приписать. Граф уведомил ее, что, не желая нарушать ее покой, решил переселиться в другое помещение. Он видел Эльвиру только в обеденные часы, разговор шел туго и почти всегда с оттенком насмешки.

Когда приблизилось время родов, Ровельяс выдумал, будто какие-то важные дела требуют его присутствия в Кадисе, а через неделю к нам явился официальный посланец, вручивший Эльвире письмо, с просьбой прочесть его при свидетелях. Мы собрались и услышали следующее:

«Сеньора!

Я узнал о твоих отношениях с доном Санчо де Пенья Сомбра. Я давно догадывался об измене, но его пребывание в Вильяке окончательно убедило меня в твоей подлости, которую неловко прикрывала сестра дона Санчо, выдававшая себя за его жену. Богатства мои, несомненно, давали мне преимущество; но ты не поделишь их со мной, так как мы больше не увидимся. Несмотря на это, я обеспечу тебя, хотя не признаю ребенка, которого ты носишь в своем лоне».

Эльвира не дождалась конца письма и при первых же словах упала без чувств. Мой муж в тот же вечер поехал, чтобы отомстить за обиду, нанесенную сестре. Но Ровельяс только что сел на корабль и отплыл в Америку. Муж взошел на другой корабль, но страшная буря поглотила их обоих. Эльвира родила девочку, которую ты видишь теперь со мной, и через два дня умерла. Как я осталась в живых, не понимаю, но думаю, что самая безмерность страдания дала мне силы перенести его.

Девочка при крещении получила имя Эльвира. Она напоминала мне мою сестру, а так как, кроме меня, у нее не было никого на свете, я решила посвятить ей свою жизнь. Принялась хлопотать о закреплении за ней отцовского наследства. Мне сообщили, что надо обратиться в мексиканский суд. Я написала в Америку. Меня известили, что все наследство поделено между двадцатью дальними родственниками и что, как всем хорошо известно, Ровельяс не признал ребенка моей сестры. Всего моего дохода не хватило бы на оплату двадцати исковых заявлений. Я ограничилась тем, что получила в Сеговии удостоверение о рождении и звании Эльвиры, продала наш городской дом и переехала в Вильяку со своим почти трехлетним Лонсето и Эльвирой, которой было столько же месяцев. Самым большим моим огорчением был вид домика, в котором жил когда-то проклятый незнакомец, пылавший тайной страстью к моей сестре. Но в конце концов я привыкла, и дети стали единственным моим утешеньем.

Прошел почти год с моего переезда в Вильяку, как вдруг однажды я получила из Америки письмо такого содержания:

«Сеньора!

Это письмо посылает тебе несчастный, почтительная любовь которого оказалась причиной несчастий твоей семьи. Мое уважение к незабвенной Эльвире было, быть может, даже сильнее любви, которую я почувствовал к ней с первого взгляда. Я ведь дерзал давать волю своему голосу и гитаре, только когда улица была уже пуста и не было свидетелей моей смелости.

Когда граф Ровельяс объявил себя невольником чар, сковавших и мою свободу, я почел нужным затаить в себе малейшие искры пламени, которое могло стать губительным для твоей сестры. Однако, узнав, что вы вознамерились провести некоторое время в Вильяке, я отважился приобрести там маленький домик и, спрятавшись за жалюзи, время от времени смотрел на ту, с которой не смел заговорить, а тем более открыть ей свои чувства. Со мной была сестра, которую мы выдавали за мою жену, чтоб устранить всякую возможность подозрений, что я переодетый поклонник.

Опасная болезнь матери потребовала нашего присутствия, а когда я вернулся, Эльвира уже стала графиней Ровельяс. Я оплакал потерю счастья, о

котором, однако, никогда не осмеливался мечтать, и уехал, чтобы скрыть свое горе в дебрях другого полушария. Там дошла до меня весть о низостях, которых я был невольной причиной, и о преступлении, в котором обвинили мою любовь, полную почтительности и благоговенья.

Торжественно заявляю, что граф Ровельяс гнусно лгал, утверждая, будто мое преклонение перед несравненной Эльвирой могло быть причиной появления на свет ее ребенка.

Торжественно заявляю, что это ложь, и клянусь верой и спасением души своей никогда ни на ком другом не жениться, кроме как на дочери божественной Эльвиры. Это будет хорошим доказательством, что она – не моя дочь. В подтверждение этого призываю в свидетели Пречистую Деву и драгоценную кровь Ее Сына, который да не оставит меня в мой последний час.

Дон Санчо де Пенья Сомбра.

P.S. Я дал заверить это письмо коррехидору Аканулько; будь добра, сеньора, сделать то же самое в трибунале в Сеговии».

Кончив читать это письмо, я вскочила с места, проклиная дона Санчо и его почтительную любовь.

– Ах, негодяй, – сказала я, – чудище, дьявол, Люцифер! Лучше б бык, которого ты убил у нас на глазах, выворотил тебе все внутренности! Твое проклятое преклонение привело к смерти моего мужа и сестры. Ты лишил этого бедного ребенка состояния, обрек меня на слезы и бедность, а теперь приходишь и требуешь себе в жены десятимесячного младенца... Разрази тебя небо... поглоти преисподняя.

Изливши все, что у меня было на сердце, я поехала в Сеговию и велела заверить письмо дона Санчо. Здесь я обнаружила, что денежные дела наши из рук вон плохи. Уплату за проданный дом удержали в счет ежегодной пенсии, выплачиваемой нами мальтийским кавалерам, а пособие, которое получал муж, мне выдавать прекратили. Я окончательно рассчиталась с пятью кавалерами и шестью монахинями, так что в моем владении остался только дом в Вильяке с угодьями. Тем дороже стал для меня этот приют, и я вернулась туда с большим удовольствием, чем когда-либо.

Детей я застала здоровыми и веселыми. Я оставила при себе женщину, ходившую за ними, а сверх того один слуга да один батрак составили весь мой штат. Так я жила не богато и не бедно. Мое происхождение и прежняя должность мужа придавали мне вес в городке, и каждый старался услужить мне, чем только мог. Так прошло шесть лет – если б только я никогда в жизни не ведала более несчастных!

Как-то раз ко мне пришел алькальд нашего городка. Ему было хорошо известно о том своеобразном предложении, которое сделал нам дон Санчо. Держа в руке номер мадридской газеты, он сказал:

– Позволь мне, сеньора, поздравить тебя с прекрасной партией, ожидающей твою племянницу. Прочти вот это сообщение:

«Дон Санчо де Пенья Сомбра, оказавший королю важные услуги, во-первых, приобретением двух богатых залежами серебра провинций на севере Новой Мексики, а во-вторых, умелыми действиями по усмирению восстания в Куско, возведен в сан испанского гранда с титулом графа де Пенья Велес. Одновременно его королевское величество изволили назначить его генерал-губернатором Филиппинских островов».

– Благодарение небу, – ответила я алькальду. – У Эльвиры будет если не муж, то хоть опекун. Только б ему благополучно возвратиться с островов, стать вице-королем Мексики и помочь нам вернуть наше имущество.

Через четыре года желания мои исполнились. Граф де Пенья Велес получил должность вице-короля, и тогда я написала ему письмо, ходатайствуя за племянницу. Он ответил, что я к нему жестоко несправедлива, если думаю, будто он может забыть о дочери божественной Эльвиры, и что он не только не повинен в подобной забывчивости, но, наоборот, уже предпринял необходимые шаги в мексиканском трибунале; процесс продлится долго, но он

не может повлиять в сторону ускорения, так как хочет жениться на моей племяннице, и ему нельзя в своих собственных интересах нарушать заведенные в суде порядки. Я увидела, что дон Санчо не отказался от своего намеренья.

Вскоре после этого банкир из Кадиса прислал мне тысячу золотых, по восемь пистолетов каждый, отказываясь сообщить, от кого эта сумма. Я догадалась, что это – любезность вице-короля, но из деликатности не хотела принимать, ни даже трогать эти деньги и попросила банкира поместить их в банке Асьенто.

Я старалась хранить все эти события в строжайшей тайне, но так как нет такой вещи, которой люди не обнаружили бы, в Вильяке узнали о видах вице-короля на мою племянницу, и с тех пор ее не звали иначе, как «маленькая вице-королева». Эльвире было тогда одиннадцать лет; другой девочке подобные мечты совсем вскружили бы голову, но ее сердце и мысли были чужды всякого легкомыслия. На беду, я слишком поздно заметила, что она с детских лет научилась произносить слова любви, а предмет этих преждевременных чувств был ее маленький двоюродный брат Лонсето. Часто думала я о том, что надо бы их разлучить, но не знала, что делать с моим сыном. Я выговаривала племяннице, но добилась только того, что она стала передо мной скрывать.

Ты знаешь, сеньора, что в провинции все развлечения состоят в одном только чтении романов или повестей да в мелодекламации романсов под аккомпанемент гитары. У нас в Вильяке было томов двадцать этой изящной литературы, и мы одалживали их друг другу. Я запретила Эльвире брать какую бы то ни было из этих книг в руки, но прежде чем я подумала о запрете, она уже знала их наизусть.

Удивительно, что мой маленький Лонсето имел тоже романтический склад души. Оба прекрасно друг друга понимали и таились от меня, что им было совсем нетрудно, так как в этих делах матери и тетки, как известно, столь же близоруки, как и мужья. Однако я проникла в их тайну и хотела поместить Эльвиру в монастырь, но у меня не хватило на это денег. Так-или иначе, я не сделала того, что должна была сделать, и девочка не только не обрадовалась ожидающему ее титулу вице-королевы, но вообразила себя несчастной любовницей, жертвой злой судьбы, обреченной на страдания. Она поделилась этими замечательными мыслями с двоюродным братом, и оба решили защищать свои святыне права на любовь от жестокого приговора провиденья. Это длилось три года – и в такой тайне, что я ни о чем не подозревала.

Однажды я застала их в нашем птичнике, в самых трагических позах. Эльвира лежала на клетке для цыплят, держа в руках платок и заливаясь слезами; Лонсето, стоя около нее на коленях, тоже плакал навзрыд. Я спросила, что они тут делают. Они ответили, что разыгрывают сцену из романа «Фуэн де Росас и Линда Мора»²⁶.

Тут я все поняла, увидев, что под всей этой комедией бьет пламя настоящей любви. Я сделала вид, будто ничего не замечаю, а сама поспешила к нашему приходскому священнику, чтоб посоветоваться с ним, как быть. Священник, на минуту задумавшись, сказал, что напишет одному из своих друзей, духовной особе, который сможет взять Лонсето к себе, а пока велел мне заказать молебен Пречистой Деве и хорошенько запирать дверь в спальню Эльвиры.

Я поблагодарила его за совет, стала заказывать молебны Пречистой Деве и запирать дверь в спальню Эльвиры, но, к несчастью, не подумала об окне. Однажды ночью я услышала шорох в комнате племянницы. Я неожиданно отворила дверь и увидела ее лежащей в постели с Лонсето. Оба вскочили с постели в одних рубашках и, упав в ноги, сказали, что поженились.

– Кто же вас венчал? – воскликнула я. – Какой священник позволил себе такую подлость?

– Прости, сеньора, – важно ответил Лонсето, – никакой священник в этом деле не

²⁶ Linda mora (исп.) – прекрасная мавританка

участвовал. Мы обвенчались под большим каштаном. Бог природы принял наши клятвы, румяная заря нас благословила. Свидетелями нашими были птички, распевające от радости при виде нашего счастья. Так восхитительная Линда Моро стала женой храброго Фуэна де Росас... Да, все это напечатано.

– Ах, несчастные дети! – воскликнула я. – Вы не соединены святым союзом и никогда не будете соединены им. Разве ты не знаешь, бездельник, что Эльвира – твоя двоюродная сестра?

Я была в таком отчаянье, что даже не имела сил бранить их. Велела Лонсето выйти из комнаты, а сама бросилась на постель Эльвиры и облила ее горькими слезами.

Произнеся последние слова, старый цыган вспомнил, что должен уладить одно важное дело, и попросил разрешения покинуть нас. Когда он ушел, Ревекка сказала мне:

– Эти дети очень меня интересуют. Любовь показалась мне восхитительной в облике мулата Танзаи и Зулейки, но, наверно, была еще гораздо прелестней, одушевляя прекрасного Лонсето и очаровательную Эльвиру. Это было изваяние Амура и Психеи.

– Удачное сравнение, – ответил я. – Ручаюсь, что ты скоро добьешься таких же успехов в науке, которую воспел Овидий, как в своих занятиях по книгам Еноха и «Атласу».

– Думаю, – заметила Ревекка, – что наука, о которой ты говоришь, гораздо опасней тех, которыми я до сих пор занималась, и что в любви, как и в каббале, есть своя колдовская сторона.

– Что касается каббалы, – сказал Бен-Мамун, – то могу вам сообщить, что этой ночью Вечный Жид перешел через горы Армении и быстро приближается к нам.

Вся эта магия до того мне надоела, что я не слушал, когда о ней заходил разговор. Поэтому я отправился на охоту. И вернулся только к ужину. Старый цыган куда-то ушел, и я сел за стол с его дочерьми. Каббалист и его сестра совсем не показывались. Это уединение с двумя молодыми девушками немного смущало меня. Однако мне казалось, что это не они, а мои родственницы оказывали мне честь своими посещениями в шатре, но кем были эти родственницы – дьяволами или обыкновенными женщинами, в этом я никак не мог дать себе отчета.

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ

Заметив, что все собираются в пещере, я тоже пошел туда. Позавтракали наскоро, и Ревекка первая спросила старого цыгана, что было дальше с Марией де Торрес. Пандесовна не заставил себя долго просить и начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРИИ ДЕ ТОРРЕС

Выплакавшись вдоволь в постели Эльвиры, я пошла к себе. Печаль моя была бы, конечно, менее мучительна, если б я могла с кем-нибудь посоветоваться, но я не хотела никому рассказывать о позоре моих детей и поэтому одна умирала от скорби, считая себя единственной причиной всего. В течение двух дней я не могла сдерживать слез; на третий день я увидела, что к нам приближается множество лошадей и мулов; мне доложили о коррехидоре Сеговии. Этот чиновник после первого приветствия сообщил мне, что граф Пенья де Велес, испанский гранд и вице-король Мексики, за несколько дней перед тем прибывший в Европу, прислал ему письмо для срочного вручения мне; но уважение, которое коррехидор имел к этому сановнику, послужило причиной того, что он решил привезти мне это письмо лично. Я поблагодарила, как полагается, и вскрыла письмо такого содержания:

«Сеньора!

Нынче исполняется ровно тринадцать лет без двух месяцев, как я имел честь засвидетельствовать Вам, что у меня никогда не будет другой жены, кроме

Эльвиры Ровельяс, появившейся на свет за восемь месяцев до написания в Америке того письма. Уважение, которое я испытывал тогда к этой особе, возросло вместе с ее очарованием. У меня было намеренье поспешить в Вильяку и кинуться к ее ногам, но высочайшие приказы Его королевского величества дона Карла II заставили меня остановиться на расстоянии пятидесяти миль от Мадрида. И теперь мне остается только с нетерпением ждать вашего прибытия по дороге, ведущей из Сеговии в Бискайю.

*Ваш покорный слуга
дон Санчо граф де Пенья Белес».*

Несмотря на всю свою скорбь, я не могла удержаться от улыбки, читая это почтительное письмо вице-короля. Вместе с письмом коррехидор вручил мне кошелек, где находилась сумма, накопившаяся за эти годы в банке Асьенто. Потом он откланялся, пошел к алькальду обедать и вскоре уехал в Сеговию. Что касается меня, я целый час стояла неподвижно, как статуя, с письмом в одной руке и кошельком в другой. Я еще не пришла в себя от удивления, когда вошел алькальд и сообщил мне, что он проводил коррехидора до границы владений Вильяки и находится в моем распоряжении, чтобы заказать мне мулов, погонщиков, проводников, седла, провизию, – одним словом, все, что нужно для дороги.

Я предоставила алькальду заняться этими хлопотами, и благодаря его рвению на другой день мы пустились в путь. Переночевали в Вильяверде и вот прибыли сюда. Завтра приедем в Вильяреаль, где застанем вице-короля, как всегда, полного уважения и почтительности. А что я скажу ему, несчастная? Что скажет он сам, видя слезы бедной девушки? Я решила не оставлять моего сына дома – из боязни возбудить подозренье алькальда и приходского священника и, кроме того, не в силах противостоять горячим просьбам его самого ехать с нами. Передела его погонщиком – и одному только богу известно, что из всего этого получится. Трепещу и в то же время желаю, чтобы все вышло наружу. Во всяком случае, мне необходимо видеть вице-короля, необходимо узнать, что он решил относительно наследства Эльвиры. Если моя племянница недостойна быть его женой, я хочу, чтобы ей удалось пробудить в нем участие и добиться его покровительства. Но с каким лицом я, в моем возрасте, осмелюсь оправдываться перед ним в своей оплошности? Право, не будь я христианкой, я предпочла бы смерть той минуте, которая меня ожидает.

На этом почтенная Мария де Торрес кончила свое повествование и, одолеваемая страданием, залилась слезами. Тетя моя вынула платок и заплакала; я тоже заплакал. Эльвира так рыдала, что пришлось ее раздеть и отнести в постель. Кончилось тем, что все мы пошли спать.

Я сразу заснул. Как только стало светать, я почувствовал, что меня тянут за руку. Я проснулся и хотел было закричать.

– Тихо, не подымай шума, – поспешно сказал мне кто-то. – Я Лонсето. Мы с Эльвирой нашли средство, которое хоть на несколько дней избавит нас от неприятностей. Вот платье моей двоюродной сестры, надень его, а свою одежду отдай ей. Моя мать – такая добрая, что простит нам. Что же касается погонщиков и слуг, сопровождающих нас от Вильяки, то они не смогут нас выдать, так как они вернулись домой: вице-король вместо них прислал новых. Служанка Эльвиры посвящена в наш замысел, так что переодевайся как можно скорей и ложись в постель Эльвиры, а она ляжет в твою.

Не находя, что возразить против затеи Лонсето, я стал переодеваться со всей возможной поспешностью. Мне было тогда двенадцать лет, я был довольно высок для своего возраста, и платье четырнадцатилетней кастильянки оказалось мне как раз впору. Тем более что в Кастилии женщины не такие высокие, как андалузки.

Надевши платье, я пошел, лег в постель Эльвиры и вскоре услышал, как ее тете сообщили, что дворецкий вице-короля ждет ее в кухне, которая служила общей комнатой. Тотчас позвали Эльвиру, я встал и пошел вместо нее. Тетка ее, воздев руки к небу, упала в кресло; но дворецкий, совершенно не видя этого, встал на одно колено, уверил меня в глубоком уважении своего господина и вручил мне шкатулку с драгоценностями. Я принял

ее с большой благодарностью и велел ему встать. Тогда вошли придворные и свитские вице-короля, стали приветствовать меня, троекратно восклицая:

– Viva la nuestra vireyna!²⁷

На эти крики вбежала моя тетка вместе с Эльвирой, одетой мальчиком; уже на пороге она сделала Марии де Торрес знаки, говорившие о том, что ничего не поделаешь, надо покориться естественному развитию событий.

Дворецкий спросил меня, кто эта дама. Я ответил, что это моя мадридская знакомая, направляющаяся в Бургос, чтобы устроить своего племянника в коллегия театинцев. Тогда дворецкий попросил ее соблаговолить занять носилки вице-короля. Моя тетка пожелала отдельные носилки для племянника, который, как она сказала, очень слаб и измучен долгой дорогой. Дворецкий сделал соответствующие распоряжения, после чего подал мне руку в белой перчатке и посадил меня в носилки. Я открыл процессию, и вслед за мной весь караван тронулся с места.

Так неожиданно я стал будущей вице-королевой; в руках у меня был ларец с бриллиантами, а мои золоченые носилки несли два белых мула, по бокам которых галопировали двое конюших. В этом необычном для юноши моего возраста положении я впервые задумался над браком – особого вида союзом, природы которого я еще хорошенько не понимал. Я был, однако, уверен, что вице-король не женится на мне, и мне не оставалось ничего другого, как продлить его заблуждение и дать моему другу Лонсето время придумать средство, которое раз навсегда вывело бы его из затруднения. Я считал, что оказать услугу приятелю при всех условиях – благородный поступок.

Одним словом, я решил по возможности изображать из себя молодую девушку и, чтоб втянуться в это, сел поглубже в носилки и стал улыбаться, опуская глаза и строя разные женские ужимки. Вспомнил и о том, что нельзя при ходьбе слишком широко шагать и вообще делать чересчур резкие движения.

Пока я обо всем этом размышлял, вдруг густое облако пыли возвестило о приближении вице-короля. Дворецкий пригласил меня выйти из носилок и опереться на его руку. Вице-король спрыгнул с коня, встал на одно колено и промолвил:

– Благоволи, сеньора, принять признание в любви, которая возникла одновременно с твоим рождением и кончится с моей смертью.

Потом поцеловал мне руку и, не дожидаясь ответа, посадил меня в носилки, а сам опять сел на коня, и мы двинулись дальше.

Пока он, не обращая на меня особенного внимания, скакал возле моей дверцы, у меня было время как следует его рассмотреть. Это был уже не тот юноша, которого Мария де Торрес находила таким прекрасным, когда он убивал быка или возвращался с плугом в Вильяку. Вице-король еще мог считаться красивым мужчиной, но лицо его, обожженное тропическим солнцем, было скорей черное, чем белое.

Нависшие брови придавали ему такое страшное выражение, что даже когда он хотел его смягчить, в чертах помимо воли сохранялось что-то угрожающее. В разговорах с мужчинами его голос гремел, с женщинами становился таким пискливым, что я не мог удержаться от смеха. Когда он обращался к своим приближенным, казалось, что он подает команду целому войску, а со мной говорил так, словно ждал от меня приказа кинуться в битву.

Чем дольше я наблюдал вице-короля, тем сильнее становилась моя тревога. Я предвидел, что как только он обнаружит мой пол, так сейчас же прикажет высечь меня без милосердия, и боялся этой минуты как огня. Мне не надо было притворяться робким, так как я от страха не смел ни на мгновение поднять глаза.

Приехали в Вальядолид. Дворецкий подал мне руку и проводил меня в предназначенные мне покои. Обе тетки пошли за мной; Эльвира тоже хотела войти, но ее

²⁷ Да здравствует наша вице-королева! (исп.)

прогнали, как уличного мальчишку. Что же касается Лонсето, то он отправился вместе со слугами на конюшню.

Оставшись наедине с тетками, я упал им в ноги, умоляя не выдать меня как-нибудь и объясняя, какие суровые кары может навлечь на меня их болтливость. Мысль о том, что меня могут выпороть, привела мою тетку в отчаянье, и она присоединила свои просьбы к моим, но во всех этих настояниях не было никакой нужды. Мария де Торрес, испуганная не меньше меня, только о том и думала, как бы предотвратить последствия содеянного.

Позвали к обеду. Вице-король ждал меня у входа в столовую, проводил на место и, сев по правую руку от меня, сказал:

– Сеньорита, до сих пор инкогнито мое лишь прикрывает мой вице-королевский сан, а не отменяет его. Прости, что я осмеливаюсь сесть справа от тебя; но точно так же поступает и милостивый монарх, которого я имею честь представлять, по отношению к светлейшей королеве.

Потом дворецкий рассадил всех остальных по их значению, оставив первое» место для сеньоры де Торрес.

Долго все ели в молчании, пока вице-король не прервал его, обратившись к сеньоре де Торрес с такими словами:

– С огорченьем вижу, что в письме, которое сеньора прислала мне в Америку, она выразила сомнение в моей готовности исполнить обещанья, данные тебе около тринадцати лет тому назад.

– В самом деле, сиятельный сеньор, – ответила тетка Эльвиры, – если б я надеялась на столь верное исполнение обещаний, то постаралась бы, чтоб моя племянница стала более достойной вашего высочества...

– Сразу видно, – заметил вице-король, – что сеньора из Европы: в Новом Свете всем прекрасно известно, что я не люблю шуток.

После этого разговор замер, никто не поднимал голоса. По окончании обеда вице-король проводил меня до моих покоев. Обе тетки пошли узнать, что с Эльвирой, которой накрыли за столом дворецкого, я же остался с ее служанкой, которая с тех пор состояла при мне. Она знала, что я – мужчина, но прислуживала мне усердно, хотя тоже безумно боялась короля. Мы вдвоем придавали друг другу бодрости, и у нас бывали веселые минуты.

Вскоре тетки вернулись, и так как вице-король уведомил, что целый день не увидит меня, то привели тайком Эльвиру и Лонсето. Тут веселье стало общим, мы смеялись от всего сердца, – так что даже тетки, радуясь минуте роздыха, вынуждены были разделить нашу радость.

Уже поздно вечером мы слышали звон гитары и увидели вице-короля, окутанного плащом и прячущегося за соседним домом. В голосе его, хоть и не юношеском, все же было очарование, а в отношении искусства он сделал большие успехи, говорившие о том, что и в Америке вице-король не забросил занятий музыкой.

Маленькая Эльвира, хорошо зная обычаи женской учтивости, сняла одну из моих перчаток и бросила ее на улицу. Вице-король поднял ее, поцеловал и спрятал за пазуху. Но не успел я дать вице-королю это доказательство моего расположения, как мне показалось, будто на моем счету сразу прибавилось сто ударов розгой – как только он узнает, какая я Эльвира! Мысль об этом так меня опечалила, что мне захотелось только одного: скорей спать. Эльвира и Лонсето простились со мной в слезах.

– До завтра, – сказал я.

– Может быть, – ответил Лонсето.

Я лег в той комнате, где была постель моей новой тетки. Раздеваясь перед отходом ко сну, мы старались делать это как можно скромней.

На другой день тетка моя Даланоса разбудила нас утром сообщением, что Лонсето и Эльвира ночью бежали, и неизвестно, что с ними теперь. Новость эта поразила как громом бедную Марию де Торрес. Что касается меня, я подумал, что не могу сделать ничего лучшего, как стать вице-королевой Мексики – вместо Эльвиры.

Посреди этого рассказа к вожаку табора пришел один из его доверенных – дать отчет о событиях дня. Цыган встал и попросил позволения отложить дальнейшее повествование до завтра.

Ревекка с раздражением заметила, что всегда кто-нибудь прерывает нас на самом интересном месте; потом разговор пошел о разных безразличных предметах. Каббалист сообщил, что до него дошли вести о Вечном Жиде: тот уже миновал Балканский хребет и скоро будет в Испании. Как провели весь этот день остальные, я не знаю, – перехожу поэтому к следующему, оказавшемуся гораздо более богатым событиями.

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Проснувшись чуть свет, я вдруг решил посмотреть на страшную виселицу Лос-Эрманос в надежде опять найти там какую-нибудь жертву. Прогулка не оказалась напрасной, так как я действительно нашел там человека, лежащего между двумя висельниками. Несчастный казался совсем бесчувственным и похолодевшим, – однако, дотронувшись до его руки, я убедился, что жизнь в нем еще теплится. Я принес воды и побрызгал ему в лицо, но, видя что он нисколько не приходит в себя, взвалил его себе на плечи и вынес из виселичной ограды. Он медленно очнулся, вперил в меня безумный взгляд, потом вдруг вырвался и побежал в поле. Некоторое время я следил за ним глазами, но, видя, что он кинулся в кусты и легко может заблудиться в этой пустынной местности, счел своей обязанностью пуститься за ним вдогонку и остановить его. Незнакомец обернулся и, видя, что его преследуют, прибавил ходу; наконец он зашатался, упал и ранил себе голову. Я обтер ему платком рану, потом обвязал ему голову, оторвав лоскут от своей рубашки. Незнакомец ничего не говорил; тогда, ободренный его покорностью, я взял его под руку и отвел в табор. За все это время я не мог добиться от него ни слова.

В пещере все уже собрались к завтраку; для меня было оставлено место, ради незнакомца потеснились, не спрашивая, ни кто он, ни откуда. Таковы обычаи испанского гостеприимства, которых никто не смеет нарушать. Незнакомец принялся пить шоколад с видом человека, безумно нуждающегося в подкреплении сил. Старый цыган спросил, не разбойники ли так его поранили.

– Нет, – ответил я, – я нашел этого сеньора лежащим в обмороке под виселицей Лос-Эрманос. Очнувшись, он тотчас пустился бежать в поле; тогда, боясь, как бы он не заблудился в зарослях, я за ним погнался и уже готов был схватить его, как вдруг он упал. Быстрота, с которой он бежал, была причиной того, что он так себя покалечил.

Тут незнакомец положил ложечку и, обращаясь ко мне, с серьезным видом промолвил:

– Сеньор неправильно выражается, – это, конечно, следствие привитых ему в молодости ошибочных принципов.

Нетрудно догадаться, какое впечатление произвела на меня эта фраза. Однако я сдержался и возразил так:

– Сеньор незнакомец, смею тебя уверить, что мне с самых юных лет привиты самые лучшие принципы, которые тем более мне необходимы, что я имею честь быть капитаном валлонской гвардии.

– Я имею в виду, – прервал незнакомец, – принципы, лежащие в основе твоего суждения об ускоренном движении тел по наклонной плоскости. Если ты хочешь обнаружить причины моего падения, ты должен принять во внимание, что виселица расположена на возвышенном месте, и мне пришлось бежать по наклонной плоскости. Следовательно, надо рассматривать линию моего бега как гипотенузу прямоугольного треугольника, один катет которого горизонтален, а прямой угол ограничен этим катетом и перпендикуляром, опущенным из вершины треугольника, то есть из основания виселицы.

Значит, ты мог бы сказать, что мой ускоренный бег по наклонной плоскости так относится к падению вдоль перпендикуляра, как сам перпендикуляр – к гипотенузе. Этот ускоренный бег, определенный таким способом, и вызвал мое падение, а сама по себе

быстрота тут ни при чем. Однако это нисколько не мешает мне уважать тебя как капитана валлонской гвардии.

После этого незнакомец снова взялся за свою чашку, оставив меня в недоумении, как мне отнестись к его доказательствам, потому что я не знал, серьезно он говорит или только хотел надо мной подучиться.

Видя, что рассуждения незнакомца так на меня подействовали, старый цыган решил дать другое направление разговору и сказал:

– Этот благородный путник, видимо, в совершенстве владеющий геометрией, конечно, нуждается в отдыхе, так что не надо сейчас заставлять его говорить, и, если общество согласно, я заменю его, продолжив вчерашнюю историю.

Ревекка ответила, что ничего не может быть приятнее, и он начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Когда нас вчера прервали, я остановился на том, как тетя Даланоса прибежала с известием, что Лонсето убежал с Эльвирой, переодетой мальчиком, и какой ужас обуял нас при этой новости. Тетя Торрес, сразу потерявшая сына и племянницу, предалась неистовому отчаянью, а я, брошенный Эльвирой, решил, что мне остается только стать вице-королевой либо принять кару, которой я боялся пуще смерти.

Я как раз раздумывал над своим ужасным положением, когда дворецкий объявил, что все готово для продолжения путешествия, и подал мне руку, чтобы свести меня с лестницы. Голова моя была так полна мыслью о неизбежности для меня стать вице-королевой, что я, сам того не сознавая, важно поднялся и оперся на руку дворецкого с видом скромным, но не лишенным достоинства, так что бедные тетки, несмотря на все свое смятение, улыбнулись.

В этот день вице-король уже не скакал у моих носилок. Мы застали его в Торквемаде, у дверей постоянного двора. Милость, оказанная мной накануне, придала ему смелости: он показал мне мою перчатку, спрятанную у него на груди, и, подняв руку, помог мне выйти из носилок. В ту же минуту он взял мою руку, легонько пожал и поцеловал ее. Мне было приятно, что сам вице-король так со мной обращается, но тут же пришли на мысль розги, которые наверняка последуют за всеми этими знаками глубокого преклонения.

Нас оставили на четверть часа в комнатах, предназначенных для женщин, после чего пригласили к столу. Мы уселись в том же порядке, как накануне. Первое блюдо было съедено в нерушимом молчанье, но, когда подали второе, вице-король, обращаясь к тете Даланосе, сказал:

– Я узнал о шутке, которую сыграл с вами ваш племянник, вместе с этим бездельником, мальчишкой-погонщиком. Если бы это случилось в Мексике, они сразу были бы пойманы. Я приказал послать за ними погоню. Если мои люди их задержат, ваш племянник будет торжественно выпорот на дворе отцов театинцев, а мальчишку-погонщика отправят проветриваться на галеры.

При слове «галеры» сеньора де Торрес тут же лишилась чувств, а я, услышав о порке во дворце отцов театинцев, свалился с кресла.

Вице-король с самой утонченной любезностью помог мне встать; я немного успокоился и с самым веселым видом, на какой только был способен в эту минуту, дождался конца обеда.

Когда убрали со стола, вице-король, вместо того чтобы проводить меня в мои покои, отвел нас троих под деревья напротив постоянного двора и, усадив на скамью, сказал:

– Кажется, дамы немного испугались мнимой суровости, которая чувствуется в моем образе мыслей и которую я приобрел, выполняя разные обязанности. Но в действительности она чужда моему сердцу: я думаю, вы знаете меня только по некоторым поступкам, не догадываясь ни об их поводах, ни о последствиях; поэтому вам, наверно, будет интересно узнать историю моей жизни. Надо мне вам ее рассказать. Узнав меня лучше, вы, конечно, избавитесь от тревоги, которая вами сейчас вдруг овладела.

Тут вице-король молча подождал, что мы скажем. Мы проявили живой интерес к подробностям его жизненного пути. Он поблагодарил нас и, обрадованный таким отношением с нашей стороны, начал.

ИСТОРИЯ ГРАФА ДЕ ПЕНЬЯ ВЕЛЕС

Я родился в прекрасной местности возле Гранады, в деревенском домике моего отца, на берегу очаровательного Хениля. Вы знаете, что для испанских поэтов наша провинция служит местом действия всех пастушеских сцен. Они так убедительно втолковали нам, будто самый климат наш содействует пробуждению любовных чувств, что немного найдется гранадцев, которые не провели бы своей молодости, а иногда и всей своей жизни в волокитстве и любовных похождениях.

У нас молодой человек, впервые вступая в свет, начинает с выбора дамы сердца; если она принимает его поклонение, он объявляет себя ее эмбесидо, то есть одержимым ее прелестями. Женщина, приняв такую жертву, заключает с ним молчаливый договор, в силу которого ему одному доверяет свой веер и перчатки. Затем – признает за ним право первым приносить ей стакан воды, которую эмбесидо подает, встав на колени. Кроме того, счастливый юноша имеет полномочие скакать возле дверцы ее кареты, подавать ей святую воду в церкви и еще некоторые столь же важные привилегии. Мужья не испытывают ни малейшей ревности от такого рода отношений, да и в самом деле из-за чего тут ревновать, коли женщины ни одного из этих поклонников не принимают у себя дома, где они к тому же целый день окружены дуэньями или служанками. И если уж сказать всю правду, то жена, изменяя мужу, обычно отдает предпочтение кому-нибудь другому, только не «одержимому». Она делает это по большей части с каким-нибудь молодым родственником, которому открыт доступ к ней в дом, а самые распутные берут себе любовников из низших сословий.

Такую форму имели ухаживания в Гранаде, когда я вступил в свет. Однако обычаи эти не увлекли меня, – не по недостатку чувствительности, напротив, сердце мое, быть может, больше, нежели чье-либо другое, испытывало на себе влияние нашего климата, и потребность обожать была главным чувством, животворившим мою молодость. Но вскоре я убедился, что любовь вовсе не простой обмен пустыми любезностями, принятый в нашем обществе. Обмен этот, на первый взгляд совершенно невинный, вызывал в сердце женщины интерес к человеку, не имеющему никаких прав на обладание ею, и в то же время ослаблял ее чувство к тому, которому она принадлежала в действительности. Это противоречие казалось мне тем более возмутительным, что я всегда считал любовь и брак чем-то единым. Последний, украшенный всем очарованием любви, стал тайной и в то же время самой заветной моей мечтой, божеством моих помыслов.

Признаюсь, мысль эта так глубоко овладела всеми способностями души моей, что по временам я начинал заговариваться, и меня можно было издали принять за настоящего эмбесидо²⁸.

Войдя к кому-нибудь в дом, я, вместо того чтоб вступить в общую беседу, воображал, будто дом этот принадлежит мне, и поселял в нем свою жену. Я украшал ее комнату прекраснейшими индийскими тканями, китайскими циновками и персидскими коврами, на которых, казалось мне, я уже вижу следы ее ног. Вперялся взглядом в кушетку, на которой она будто бы любила сидеть. Если она выходила подышать свежим воздухом, к ее услугам были галерея, убранная благоуханными цветами, и вольера, полная самых редких птиц. Спальня ее была для меня святилищем, в которое даже фантазия моя не решалась проникнуть.

Пока я так уносился в своих мечтах, беседа шла своим чередом, и я отвечал на вопросы невпопад. Да к тому же всегда резким тоном, недовольный, что мне мешают мечтать.

²⁸ см. «Мемуары» г-жи д'Онуа (прим авт.)

Так странно вел я себя в гостях. На прогулке – тоже не лучше: если надо было перейти ручей, я брел по колено в воде, уступая камни жене, опиравшейся на мое плечо и вознаграждавшей мои заботы божественной улыбкой. Детей я любил до безумия. Встретив какого-нибудь ребенка, я осыпал его ласками, а мать, кормящая младенца грудью, казалась мне венцом творения.

Тут вице-король, обращаясь ко мне, промолвил серьезно и в то же время нежно:

– В этом отношении я и теперь не изменился и надеюсь, что несравненная Эльвира не допустит, чтобы к крови ее детей было подмешано нечистое молоко кормилицы.

Вы не можете представить себе, до чего это замечание меня смутило. Умоляюще сложив руки, я ответил:

– Светлейший сеньор, прошу тебя никогда не говорить мне о том, чего я не понимаю.

– Очень сожалею, божественная Эльвира, – сказал вице-король, – что позволил себе оскорбить твою скромность. Перехожу к продолжению моей истории и обещаю не делать больше таких ошибок.

И он продолжал.

– Все эти странности привели к тому, что я прослыл в Гранаде помешанным, в чем тамошнее общество не вполне ошибалось. Говоря точнее, я казался помешанным оттого, что безумие мое было непохоже на безумие остальных гранацев: я мог бы снова стать разумным в их глазах, если б во всеуслышание объявил себя покоренным чарами какой-нибудь из местных дам. Но так как в такой славе нет ничего лестного, я решил на некоторое время покинуть родину. Были и другие поводы, понуждавшие меня к этому. Я хотел быть счастливым со своей женой и только благодаря ей. Но, женись я на какой-нибудь своей землячке, она, следуя местному обычаю, должна была бы принять ухаживание одного из эмбесидо, – условие, которое, как вы понимаете, совершенно не соответствовало моим взглядам.

Решив переехать куда-нибудь еще, я отправился к мадридскому двору, но и там нашел те же самые приторные ужимки, только под другими названиями. Название эмбесидо, которое перешло теперь из Гранады в Мадрид, тогда еще не было здесь известно. Придворные дамы называли избранного ими, хоть и неосчастливленного возлюбленного – кортехо, а другого, с которым обращались суровой, награждая раза два в месяц улыбкой, – галаном. Но независимо от этого все поклонники без различия носили цвета избранной красавицы и галопировали возле ее кареты, отчего над Прадо целые дни стояла такая пыль, что на улицах, прилегающих к этому прелестному месту прогулок, невозможно было жить.

У меня не было ни соответствующего состояния, ни достаточно славного имени, чтобы обратить на себя внимание двора; но я выделялся своим искусством в бое быков. Несколько раз король говорил со мной, гранды сделали мне честь, ища моей дружбы. Знал я и графа Ровельяса, но он, находясь без сознания, не мог меня видеть в тот момент, когда я спас его от смерти. Двум его доезжачим было хорошо известно, кто я такой, но, видно, они были в это время заняты чем-нибудь другим, иначе не преминули бы потребовать восемьсот пистолей, обещанных графом в награду тому, который назовет имя его избавителя.

Однажды за обедом у министра финансов я оказался рядом с доном Энрике де Торрес, мужем сеньоры, который приехал по своим делам в Мадрид. Я впервые имел честь беседовать с ним, но вид его внушал доверие, и я вскоре перевел разговор на свой любимый предмет, то есть на любовь и брак. Я спросил дону Энрике – что, и в Сеговии дамы тоже имеют эмбесидо, кортехо и галанов?

– Нет, – ответил он, – пока что обычаи наши не предусматривают лиц такого рода. Наши женщины, отправляясь на прогулки по аллее, носящей название Сокодовер, по большей части держат лицо полузакрытым, и никто не посмеет подойти к ним, – идут ли они пешком или едут в карете. Кроме того, у себя мы принимаем только явившихся с первым визитом, как мужчин, так и женщин. Последние проводят вечера на балконах, слегка

возвышающихся над улицей. Мужчины останавливаются возле тех балконов, где у них знакомые, и разговаривают с ними, а молодежь, навестив один балкон за другим, кончает вечер возле дома, где есть девушки на выданье. При этом, – добавил дон Энрике, – из всех балконов Сеговии мой посещается больше всего. Сестра моей жены, Эльвира де Норунья, обладает не только необычайными достоинствами моей супруги, но еще и красотой, превосходящей прелесть всех женщин, каких мне только приходилось видеть.

Слова эти произвели на меня сильное впечатление. Такая красивая, наделенная такими редкими качествами особа, притом в краю, где нет эмбебесидо, показалась мне прямо предназначенной для моего счастья. Несколько сеговийцев, с которыми я говорил, единодушно подтвердили отзыв дона Энрике о прелестях Эльвиры, и я решил увидеть ее своими глазами.

Я еще не успел уехать из Мадрида, а чувство мое к Эльвире уже достигло большой силы, но одновременно увеличилась и моя робость. Приехав в Сеговию, я не решался пойти с визитом ни к сеньору де Торрес, ни к кому-либо другому из тех, с кем познакомился в Мадриде. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь подготовил Эльвиру к моему появлению, как я был подготовлен к тому, чтобы увидеть ее. Я завидовал тем, кого всюду опережает их имя или светская слава, так как считал, что если я не приобрету расположения Эльвиры с первого взгляда, то все мои дальнейшие усилия будут тщетными.

Несколько дней провел я в гостинице, никого не видя. Наконец велел, чтобы меня отвели на ту улицу, где находится дом сеньора де Торреса. Напротив я увидел объявление о сдаче квартиры внаем. Мне показали каморку на чердаке, я снял ее за двенадцать реалов в месяц, взяв фамилию Алонсо и заявив, что приехал по торговым делам.

Пока все мои занятия ограничивались наблюдениями сквозь ставни моих окон. Вечером я увидел на балконе сеньору в обществе несравненной Эльвиры. Признаться ли? Сперва мне показалось, что я вижу просто хорошенькую девушку, но, присмотревшись, я понял, что, по сравнению с другими женщинами, все черты ее лица озарены невыразимой гармонией, делавшей красоту ее менее броской. Сеньора сама была в то время очень красива, однако, должен признаться, не могла выдержать сравнения со своей сестрой.

Засев на своем чердаке, я с несказанным наслаждением убедился, что Эльвира относится с полным равнодушием к воздаваемым ей знакам преклонения и даже, казалось, тяготится ими. Но, с другой стороны, эти наблюдения совершенно отбили у меня охоту увеличить своей персоной толпу ее поклонников, то есть людей, тяготивших ее. Я решил ограничиваться смотрением в окно, до тех пор пока не представится более благоприятная возможность завязать знакомство, и, говоря по правде, отчасти рассчитывал на бой быков.

Ты помнишь, сеньора, что я в то время неплохо пел; поэтому я не мог удержаться, чтобы не дать услышать своего голоса. После того как все поклонники уйдут, я спускался с чердака и, под аккомпанемент гитары, со всем тщанием пел тирану. Это я делал несколько вечеров подряд и в конце концов заметил, что общество уходило, только выслушав мое пенье. Это открытие наполнило душу мою непостижимо сладким чувством, которое, однако, было далеким от надежды.

Тут я узнал о ссылке Ровельяса в Сеговию. Мной овладело отчаянье, так как я ни минуты не сомневался, что он влюбится в Эльвиру. В самом деле, мои предчувствия меня не обманули. Думая, что находится в Мадриде, он публично объявил себя кортехо вашей сестры, взял ее цвета, – верней, тот цвет, который считал ее цветом, – и одел своих слуг в такого цвета ливреи. С высоты своего чердака я долго был свидетелем этого наглого самохвальства и с удовольствием убедился, что Эльвира судила о нем больше по его собственным качествам, чем по тому блеску, который его окружал. Но граф был богат, вскоре должен был получить титул гранда, – что мог я противопоставить подобным преимуществам? Конечно, ничего. Я был так глубоко в этом уверен и притом любил Эльвиру с таким полным самоотречением, что в душе даже сам желал, чтоб она вышла за Ровельяса. Я перестал уже думать о том, чтоб познакомиться, и прекратил свои чувствительные напевы.

Между тем Ровельяс выражал свою страсть одними только учтивостями и не делал никаких решительных шагов к тому, чтобы получить руку Эльвиры. Я даже узнал, что дон Энрике собирается переехать в Вильяку. Привыкнув к удовольствию жить напротив него, я захотел и в деревне обеспечить себе эту радость. Я приехал в Вильяку под видом Лабрадора из Мурсии. Купил домик напротив вашего и отделал его по своему вкусу. Но так как всегда можно по каким-то признакам узнать переодетых влюбленных, я задумал привезти из Гранады свою сестру и, чтоб устранить всякие подозрения, выдать ее за мою жену. Уладив все это, я вернулся в Сеговию, где узнал, что Ровельяс решил устроить великолепный бой быков. Но помню, у сеньоры был тогда двухлетний сынок, – скажите, пожалуйста, что с ним?

Тетя Торрес, памятуя, что сынок этот и есть тот самый погонщик, которого вице-король хочет отправить на галеры, не знала, что отвечать, и, вынув платок, залилась слезами.

– Прости, сеньора, – сказал вице-король, – я вижу, что разбудил какие-то мучительные воспоминания, но продолжение моей истории требует, чтобы я остановился на этом несчастном ребенке. Ты помнишь, сеньора, что он тогда заболел оспой; сеньора окружила его самыми нежными заботами, и я знаю, что Эльвира тоже проводила дни и ночи у постели больного мальчика. Я не мог удержаться от того, чтобы не дать знать сеньоре, что на свете есть кто-то, кто разделяет все ваши страдания, и каждую ночь пел под вашими окнами грустные песни. Вы не забыли об этом, сеньора?

– О нет, – ответила тетя Торрес, – я очень хорошо помню и не далее как вчера рассказывала обо всем этом моей спутнице...

Вице-король продолжал.

– Во всем городе только и было толков, что о болезни Лонсето, как о главной причине, из-за которой отложено зрелище. Поэтому выздоровление ребенка вызвало всеобщую радость.

Наконец празднество наступило, но продлилось недолго. Первый же бык безжалостно расправился с графом и непременно убил бы его, если б не вмешался я. Погрузив шпагу в загривок разъяренного зверя, я кинул взгляд на вашу ложу и увидел, что Эльвира, наклонившись к сеньоре, говорит что-то обо мне – с таким выраженьем, что я обезумел от радости. Но, несмотря на это, скрылся в толпе.

На другой день Ровельяс, немного собравшись с силами, прислал письмо, прося руки Эльвиры. Говорили, что предложение отклонено, но он утверждал обратное. Однако, узнав, что вы уезжаете в Вильяку, я понял, что он, по своему обыкновению, хвастает. Я тоже уехал в Вильяку, где зажил как крестьянин, – сам ходил за плугом или, во всяком случае, делал вид, что работаю, в то время как на самом деле этим занимался мой слуга.

Через несколько дней после переезда, возвращаясь с волами домой, под руку с сестрой, которую все там считали моей женой, я увидел сеньору с мужем и Эльвирой. Вы сидели перед своим домом и пили шоколад. Ваша сестра узнала меня, но я вовсе не хотел быть разоблаченным. Однако мне пришла в голову коварная мысль повторить некоторые песни из тех, что я пел во время болезни Лонсето. Я откладывал объяснение, желая прежде узнать наверное, что Ровельяс отвергнут.

– Ах, светлейший государь, – сказала тетя Торрес, – без всякого сомненья, ты получил бы руку Эльвиры, потому что она действительно отвергла тогда предложение графа. Если она потом все-таки вышла за него, так потому, что считала тебя женатым.

– Видно, – ответил вице-король, – моя ничтожная особа нужна была провидению для другого. В самом деле, если б я получил руку Эльвиры, – хиригуаны, ассинибойны и аппалачи не были бы обращены в христианскую веру и святое знаменье нашего искупления, крест – не был бы утвержден на три градуса дальше к северу от Мексиканского залива.

– Может быть, – сказала сеньора де Торрес, – но зато мой муж и моя сестра до сих пор еще жили бы. Но не смею больше прерывать это интересное повествование.

Вице-король продолжал.

– Через несколько дней после вашего прибытия в Вильяку нарочный из Гранады принес мне весть о смертельной болезни моей матери. Любовь отступила перед сыновней привязанностью, и мы с сестрой покинули Вильяку. Мать, прохворав два месяца, испустила дух в наших объятиях. Я оплакал эту утрату, посвятив этому, быть может, слишком мало времени, и вернулся в Сеговию, где узнал, что Эльвира уже стала графиней Ровельяс.

В то же время я услышал, что граф обещает награду тому, кто сообщит ему имя его избавителя. Я ответил анонимным письмом и отправился в Мадрид – просить о назначении на какую-нибудь должность в Америке. Без труда получив такое назначение, я поспешил сесть на корабль. Мое пребывание в Вильяке было тайной, известной, как я думал, только мне и моей сестре, но слуги наши страдают от рожденья пороком шпионства, проникающего во все тайники. Один из моих людей, уволенный мной в связи с отъездом в Америку, перешел на службу к Ровельясу. Он рассказал служанке графининой дуэньи всю историю покупки дома в Вильяке и моего превращения в крестьянина, служанка все это повторила дуэнье, а та, чтоб выслужиться перед графом, передала ему. Ровельяс, сопоставив анонимность моего письма, мое искусство, оказанное в бою с быком, и мой внезапный отъезд в Америку, пришел к выводу, что я был счастливым любовником его жены. Обо всем этом я узнал только позднее. Но по приезде в Америку я получил письмо такого содержания:

«Сеньор Дон Санчо де Пенья Сомбра!

Меня осведомили о твоих отношениях с негодницей, которую я отныне не признаю графиней Ровельяс. Если хочешь, можешь прислать за ребенком, которого она скоро тебе родит. Что касается меня, я немедленно по твоим следам выезжаю в Америку, где надеюсь встретиться с тобой последний раз в своей жизни».

Письмо это повергло меня в отчаянье. Однако вскоре мука моя достигла высших пределов, когда я узнал о смерти Эльвиры, вашего мужа и Ровельяса, которого я хотел убедить в беспочвенности его подозрений. Но я сделал все, что мог, для уничтожения клеветы и признания его дочери законной наследницей рода; кроме того, я дал торжественную присягу, когда девочка войдет в лета, либо жениться на ней, либо не жениться вовсе. Выполнив эту обязанность, я почел себя вправе искать смерть, которую религия не позволяет мне причинить самому себе.

Тогда в Америке один дикий народ, состоящий в союзе с испанцами, вел войну с соседями. Я отправился туда и был принят этим народом. Но для того, чтоб получить, так сказать, право гражданства, я вынужден был позволить, чтобы мне вытатуировали иглой по всему телу изображения змеи и черепахи. Голова змеи начинается на правом плече, тело ее шестнадцать раз обвивается вокруг моего и только на большом пальце правой ноги кончается хвостом. При выполнении обряда дикарь-оператор нарочно колот меня до кости, проверял, не издам ли я строго запрещенного крика боли. Я выдержал испытание. Посреди мучений я уже издали услышал вопли наших диких неприятелей, меж тем как наши затянули погребальный напев. Освободившись из рук жрецов, я схватил дубину и кинулся в самую гущу боя. Победа осталась за нами. Мы принесли с собой двести двадцать скальпов, а меня тут же на поле боя единодушно провозгласили касиком.

Через два года дикие племена Новой Мексики перешли в христианскую веру и подчинились испанской короне.

Вам, конечно, известен конец моей истории. Я удостоен величайшей чести, о которой только может мечтать подданный испанского короля. Но должен тебя предупредить, прелестная Эльвира, что ты никогда не будешь вице-королевой. Политика мадридского кабинета не позволяет, чтобы в Новом Свете обладали такой огромной властью женатые люди. С той минуты, как ты согласишься стать моей женой, я перестану носить титул вице-короля. Я могу сложить к твоим ногам только звание испанского гранда и богатство, об источниках которого, так как оно будет нашим общим, я должен тебе еще добавить

несколько слов.

Покорив две провинции Северной Мексики, я получил от короля разрешение на эксплуатацию одного из богатейших серебряных приисков. С этой целью я вступил в компанию с одним купцом из Веракруса, и в первый же год мы получили дивиденд в размере трех миллионов пиастров; но так как привилегия была на мое имя, я получил на шестьсот тысяч пиастров больше своего компаньона.

– Позволь, сеньор, – прервал незнакомец, – сумма, приходящаяся на долю вице-короля, составляла миллион восемьсот тысяч пиастров, а на компаньона – миллион двести тысяч.

– Совершенно верно, – ответил незнакомец.

– Или, проще говоря, – продолжал незнакомец, – половина суммы плюс половина разности. Ясно, как дважды два – четыре.

– Сеньор прав, – ответил цыган и продолжал: – Вице-король, желая подробней познакомить меня с размерами своего богатства, сказал:

– На следующий год мы ушли глубже в недра земли, и нам пришлось строить переходы, шахты, галереи. Расходы, составлявшие до тех пор четвертую часть, выросли теперь на одну восьмую, а количество руды сократилось на одну шестую.

Тут геометр вынул из кармана табличку и карандаш, но, думая, что у него в руках перо, обмакнул карандаш в шоколад; видя, однако, что шоколад не пишет, хотел обтереть перо о свой черный кафтан, но обтер об юбку Ревекки. Потом принялся что-то царапать на своих табличках. Мы посмеялись над его рассеянностью, и цыган продолжал.

– На третий год затруднения еще усилились. Нам пришлось выписать рудокопов из Перу, которым мы отдали одну пятнадцатую часть дохода, не перелагая на них никаких расходов, которые в тот год возросли на две пятнадцатых. В то же время количество руды увеличилось в шесть с четвертью раз по сравнению с прошлым годом.

Тут я заметил, что цыган хочет спутать расчеты геометра. В самом деле, придавая своему повествованию форму загадки, он продолжал так.

– С тех пор, сеньора, наши дивиденды все время уменьшались на две семнадцатых. Но так как я помещал вырученные с рудников деньги под проценты и присоединял к капиталу проценты на проценты, то получил в виде окончательной суммы моего состояния пятьдесят миллионов пиастров, которые и кладу к твоим ногам, вместе с моими титулами, сердцем и рукой.

Незнакомец между тем, продолжая писать на табличках, встал и пошел по дороге, по которой мы пришли в табор, но вместо того, чтоб идти прямо, повернул на тропинку, ведущую к потоку, из которого цыгане брали воду, и вскоре мы услышали плеск, как при падении тела в поток.

Я побежал на помощь, кинулся в воду и, борясь с течением, сумел в конце концов вытащить нашего рассеянного спутника на берег. Из него выкачали воду, которой он наглотался, разожгли большой костер, и когда, после долгих хлопот, геометр наконец очнулся, он, уставившись на нас сумасшедшими глазами, заговорил слабым голосом:

– Можете быть уверены, что собственность вице-короля составляла шестьдесят миллионов двадцать пять тысяч сто шестьдесят один пиастр, если считать, что доля вице-короля все время относилась к доле его компаньона, как тысяча восемьсот к тысяче двумстам или как три к двум.

Промолвив это, геометр впал в некую летаргию, от которой мы не хотели его пробуждать, полагая, что он нуждается в отдыхе. Он проспал до шести вечера и проснулся затем, чтобы совершить одну за другой тысячу нелепостей.

Прежде всего он осведомился о том, кто упал в воду. Узнав, что это произошло с ним самим и что я его спас, он подошел ко мне с выражением самой обаятельной приветливости и промолвил:

– Право, я не думал, что умею так хорошо плавать. Меня очень радует, что я сохранил королю одного из самых храбрых офицеров, так как сеньор – в чине капитана валлонской гвардии, ты сам мне это сказал, а память у меня превосходная.

Все так и прыснули, но геометр, нисколько не смутившись, продолжал смешить нас своими несуразностями.

Каббалист, тоже занятый своим, без устали говорил о Вечном Жиде, который должен был сообщить ему кое-какие сведения о двух дьяволах по имени Эмина и Зибельда. Ревекка взяла меня под руку и, отведя немного в сторону, чтоб остальные не могли слышать, сказала:

– Дорогой Альфонс, умоляю тебя, скажи мне, какого ты мнения обо всем, что слышал и видел со своего приезда в эти горы, и что думаешь о тех двух висельниках, которые причиняют нам столько неприятностей?

– Сам не знаю, что ответить тебе на этот вопрос, – сказал я. – Тайна, интересующая твоего брата, совершенно недоступна моему пониманию. Со своей стороны, я твердо уверен, что меня усыпили при помощи какого-то питья и отнесли под виселицу. Впрочем, ты сама говорила мне о той власти, какою скрыто пользуются в этих краях Гомелесы.

– Ну да, – перебила Ревекка, – мне кажется, они хотят, чтобы ты перешел в веру Пророка, и, по-моему, тебе надо это сделать.

– Как? – воскликнул я. – И ты тоже их сообщница?

– Нисколько, – возразила она. – У меня тут свои соображения. Я ведь говорила тебе, что никогда не полюблю ни своего единоверца, ни христианина. Но давай присоединимся к остальным, а когда-нибудь в другой раз поговорим об этом подробнее.

Ревекка подошла к брату, а я направился в противоположную сторону и стал размышлять обо всем, что видел и слышал. Но чем больше углублялся в эти мысли, тем меньше удавалось мне свести концы с концами.

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Все вовремя собрались в пещере, не было только старого цыгана. Геометр уже совсем выздоровел и, убежденный, что это он вытащил меня из воды, глядел на меня с тем интересом, с каким мы обычно смотрим на тех, кому оказали важную услугу. Ревекка заметила его странное поведение и веселилась в душе. Когда кончили завтракать, она сказала:

– Очень жаль, что нет вожака цыган: я умираю от любопытства, как он принял предложение руки и капиталов, сделанное вице-королем. Но этот благородный незнакомец, наверно, сможет вознаградить потерю, рассказав нам свою жизнь, которая, должно быть, очень интересна. Видимо, он посвящал свое время наукам, не вполне мне чуждым, и, несомненно, все, что касается такого человека, вызывает во мне живейший интерес.

– Не думаю, – возразил незнакомец, – чтобы вы посвящали свое время тем самым наукам, первооснова которых обычно непонятна женщинам. Но так как вы так гостеприимно меня приняли, святейшая моя обязанность – сообщить вам все, что меня касается. Начну с того, что зовут меня... зовут меня...

Тут он принялся искать в карманах таблички.

– В самом деле, я заметила, – сказала Ревекка, – что вы, сеньор, обнаруживаете склонность к рассеянности, но представить себе не могла, что вы можете быть до такой степени рассеянным, чтобы не помнить своего собственного имени.

– Вы правы, – ответил геометр, – от природы я совсем не рассеян, но отец мой, однажды по рассеянности подписав имя своего брата вместо своего собственного, сразу потерял жену, имущество и положение. Чтобы не впасть в подобную ошибку, я записал свое имя на этих вот табличках и каждый раз, как мне надо подписываться, точно переписываю его с них.

– Но ведь мы просим, – сказала Ревекка, – чтобы сеньор рассказал нам о себе, а не подписывал свое имя.

– В самом деле, вы правы, – ответил незнакомец и, спрятав табличку в карман, начал.

ИСТОРИЯ ГЕОМЕТРА

Меня зовут дон Педро Веласкес. Я происхожу из знаменитого рода маркизов де Веласкес, которые со времени изобретения пороха все служили в артиллерии и были искуснейшими офицерами этого рода оружия в испанской армии. Дон Рамиро Веласкес, главнокомандующий артиллерией при Филиппе IV, был возведен в степень гранда при его преемнике. У дон Рамиро было два сына, оба женатые. Титул и владения сохранила только старшая линия, однако, чуждаясь праздности, связанной с придворными должностями, отдавала все время тем достойным трудам, которым обязана была своим возвышением, и по мере сил всегда и всюду старалась оказывать поддержку младшей линии.

Так было вплоть до дон Санчо, пятого герцога Веласкеса, правнука старшего сына дон Рамиро. Этот достойный муж, как и его предки, занимал должность главнокомандующего артиллерией и, кроме того, был наместником Галисии, где обыкновенно и жил. Он женился на дочери герцога Альбы, – брак этот был столь же счастливым для него, сколько почетным для всего нашего рода. Однако надежды дон Санчо осуществились не вполне. Герцогиня родила ему одну только дочь по имени Бланка.

Герцог предназначил ее в жены одному из Веласкесов младшей линии, которому она должна была передать титул и имущество.

Отец мой, дон Энрике, и брат его, дон Карлос, только что лишились отца, потомка дон Рамиро в том же колене, что и герцог Веласкес. По приказу герцога обеих переселили к нему в дом. Моему отцу было тогда двенадцать лет, а дяде одиннадцать. Характеры у обоих были совершенно разные: отец был серьезным, углубленным в науки и необычайно нежным юношей, тогда как брат его Карлос – легкомысленный, ветреный, ни минуты не мог усидеть за книгой. Дон Санчо, узнав их отличительные особенности, решил, что его зятем будет мой отец; а чтобы сердце Бланки не сделало противоположного выбора, он отослал дон Карлоса в Париж – получать образование под наблюдением графа Эрейры, его родственника и тогдашнего посла во Франции.

Отец мой своими отменными качествами, добрым сердцем и трудолюбием с каждым днем приобретал все большее благоволение герцога; а Бланка, зная, кого ей выбрали суженым, все сильней к нему привязывалась. Она даже разделяла интересы своего молодого возлюбленного и следовала за ним издали по стезе науки. Представьте себе молодого человека, чьи замечательные способности охватывают весь круг человеческих знаний в возрасте, когда другие только приступают к усвоению начал, затем представьте себе этого самого молодого человека влюбленным в особу одного с ним возраста, блестящую необычайными качествами, жаждущую понять его и счастливую его успехами, в которых она сама как бы участвует, – и вы легко поймете, как счастлив был мой отец в этот краткий период своей жизни. И почему бы Бланка могла не любить его? Старый герцог гордился им, вся провинция уважала его, и ему не было еще двадцати лет, а слава его уже перешагнула границы Испании. Бланка любила своего нареченного только из самолюбия, дон Энрике, дышавший ею одной, любил ее всем сердцем. К старому герцогу он относился с не меньшим чувством, чем к его дочери, и часто с грустью думал о своем отсутствующем брате Карлосе.

– Дорогая Бланка, – говорил он своей возлюбленной, – ты не находишь, что для полноты счастья нам не хватает Карлоса? У нас достаточно красивых девушек, которые могли бы благотворно повлиять на него; правда, он легкомыслен, редко мне пишет, но милая, ласковая женщина сумела бы привязать его сердце к себе. Бланка, моя любимая, я боготворю тебя, уважаю твоего отца, но если природа наделила меня братом, зачем провидение нас с ним так долго разделяет?

Однажды герцог велел позвать моего отца и сказал ему:

– Дон Энрике, я только что получил от нашего милостивого повелителя короля письмо, которое хочу тебе прочесть. Слушай!

«Милый кузен!

На последнем нашем совете мы решили перестроить некоторые укрепления

нашего королевства на основе новых планов. Мы видим, что Европа колеблется между системой дона Вобана и дона Когорна. Будь добр привлечь самых искусных людей к разработке этого вопроса. Пришли нам их планы, и, если мы найдем среди них удачные, автору будет доверено их осуществление. Кроме того, наше королевское величество наградит его по заслугам. Препоручаем тебя милости божьей и пребываем благосклонным к тебе Королем».

– Ну как? – сказал герцог. – Чувствуешь ты себя достаточно сильным, дорогой Энрике, чтобы вступить в борьбу? Предупреждаю тебя, что соперниками твоими будут опытейшие инженеры не только Испании, но и всей Европы.

Отец мой минуту подумал, потом ответил уверенно:

– Да, сиятельный герцог, и хотя я только вступаю на поприще инженера, ваше сиятельство может не сомневаться во мне.

– Отлично, – сказал герцог, – постарайся выполнить эту работу как можно лучше, и, как только кончишь, я больше не стану откладывать вашего счастья. Бланка будет твоей.

Вы можете представить себе, с каким пылом отец мой принялся за работу. Дни и ночи сидел он, склонившись над столом, а когда усталый дух неодолимо требовал отдыха, проводил это время в обществе Бланки, беседуя о своем будущем счастье и о радости, с какой он обнимет вернувшегося Карлоса. Так прошел целый год. К концу накопилось множество планов, присланных из разных краев Испании и стран Европы. Все они были опечатаны и сложены в канцелярии герцога. Отец мой увидел, что пора кончать работу, и довел ее до той степени совершенства, о котором я могу вам дать лишь слабое представление. Он начинал с определения основных принципов атаки и обороны, а затем устанавливал, в чем Когорн следовал этим принципам, и доказывал, что всякий раз, как он от этих основ отступает, так впадает в ошибку. Вобана отец ставил гораздо выше Когорна, однако предсказывал, что он еще изменит свою систему, и это впоследствии подтвердилось. Все эти аргументы подкреплялись не только научной теорией, но, кроме того, подробными правилами возведения укреплений и особенностями данной местности, а также сметами и математическими расчетами, непонятными даже для людей, самых сведущих в науке.

Уже поставив точку, отец обнаружил в своем произведении еще много изъянов, которых сразу не заметил, но с трепетом отнес рукопись герцогу, а тот на другой день вернул ее со словами:

– Дорогой племянник, ты одержал победу. Я сейчас же перешлю твои планы, а ты думай только о свадьбе, которую мы скоро сыграем.

Отец в восторге упал к ногам герцога и промолвил:

– Сиятельный герцог, позволь приехать моему брату. Счастье мое не будет полным, если я не обниму его после такой долгой разлуки.

Герцог, нахмурившись, ответил:

– Предвижу, что Карлос будет морочить нам голову своими славословиями двору Людовика Четырнадцатого, но раз ты просишь, я пошлю за ним.

Отец поцеловал руку герцогу и пошел к своей невесте. С этих пор он больше не занимался геометрией, и любовь наполнила все мгновения его существования, все способности его души.

Между тем король, принимавший строительство фортификаций близко к сердцу, приказал тщательно рассмотреть все планы. Единогласно принята была работа отца. Вскоре отец получил письмо министра, где тот передавал ему высочайшее одобрение и, по поручению короля, спрашивал, какой отец желает награды. В письме на имя герцога министр давал понять, что молодой человек, если б пожелал, мог бы получить звание первого полковника артиллерии.

Отец отнес письмо герцогу, который, со своей стороны, прочел адресованное ему; но при этом отец заявил, что никогда не осмелится принять должность, которой, по его мнению, пока не заслужил, и просил герцога от его имени ответить министру.

Герцог возразил на это:

– Министр писал к тебе, и ты сам должен ему ответить. Несомненно, министр имел на это свои причины; в письме ко мне он называет тебя молодым человеком, наверно, твоя молодость заинтересовала короля, и министр хочет представить ему собственноручное письмо юноши, подающего такие надежды. Впрочем, мы сумеем написать это письмо без излишней самонадеянности.

С этими словами герцог сел за столик и стал писать:

«Ваше высокопревосходительство!

Одобрение Его королевского величества, переданное Вашим высокопревосходительством, величайшая награда для каждого благородного кастильца. Однако, ободренный Его добротой, осмеливаюсь просить Его королевское величество об утверждении моего брака с Бланкой Веласкес, наследницей владений и титулов нашего рода.

Перемена семейного положения не ослабит моего рвения на службе родине и монарху. Я буду бесконечно счастлив, если когда-нибудь сумею работой своей заслужить назначение на должность первого полковника артиллерии, которую многие мои предки с честью отправляли.

Покорный слуга Вашего высокопревосходительства и т. д.»

Отец поблагодарил герцога за то, что тот взял на себя труд написать письмо, и пошел к себе, переписал его слово в слово, но в то мгновение, как хотел его подписать, услышал, как на дворе кто-то крикнул:

– Дон Карлос приехал! Дон Карлос приехал!

– Кто? Мой брат? Где он? Дайте мне его обнять!

– Будь добр закончить письмо, дон Энрике, – сказал ему посланный, который должен был сейчас же ехать к министру.

Отец, не помня себя от радости в связи с приездом брата и понуждаемый посланным, вместо «Дон Энрике» написал «Дон Карлос Веласкес», запечатал письмо и побежал встречать брата.

Оба брата первым делом горячо обнялись, но дон Карлос тут же отступил назад, захохотал во все горло и промолвил:

– Милый Энрике, ты ни дать ни взять Скарамуш из итальянской комедии: у тебя брыжи вокруг подбородка, словно тазик для бритвы. Но все-таки я люблю тебя по-прежнему. А теперь пойдем к старому добряку.

Они вошли вместе к старому герцогу, которого Карлос чуть не задушил в своих объятиях, согласно обычаю, царившему тогда при французском дворе, а затем обратился к нему с такими словами:

– Дорогой дядя, милейший посол дал мне письмо к тебе, но меня угораздило потерять его у моего банщика. Да это не имеет значения: Грамон, Роклер и все старики сердечно тебя целуют.

– Но, дорогой мой племянник, – перебил герцог, – я не знаю ни одного из этих господ.

– Тем хуже для тебя, – продолжил Карлос, – это очень милые люди. Но где же моя будущая невестка? За это время она, наверно, безумно похорошела.

Тут вошла Бланка. Дон Карлос без всяких церемоний подошел к ней и сказал:

– Моя божественная невестка, наши парижские обычаи позволяют нам целовать красивых женщин...

И с этими словами он поцеловал ее в щеку, к великому удивлению дон Энрике, который всегда видел Бланку окруженной целой свитой женщин и не осмелился ни разу поцеловать даже край ее платья.

Карлос наговорил еще массу вздора, огорчившего его брата и приведшего в негодование старого герцога.

В конце концов дядя строго сказал ему:

– Иди и переоденься с дороги. У нас нынче вечером бал. И не забывай: что прилично за горами, то у нас считается нахальством.

– Дорогой дядя, – ответил, нисколько не смущаясь, Карлос, – я надена новый наряд, придуманный Людовиком Четырнадцатым для своих придворных, и ты убедишься, как этот монарх велик в каждой мелочи. Приглашаю мою прекрасную невестку на сарабанду. Это танец испанский, но как его усовершенствовали французы!

И дон Карлос вышел, напевая какую-то арию Люлли. Брат, очень опечаленный таким легкомыслием, хотел было оправдать Карлоса в глазах герцога и Бланки, но втуне, так как старый герцог был слишком уж настроен против него, а Бланка одобряла все, что от него исходило.

Как только начался бал, Бланка появилась, одетая не по испанской, а по французской моде. Это всех удивило, хотя она заявила, что это платье прислал ей дед ее, посол, через дона Карлоса. Это объяснение никого не удовлетворило, и удивление было всеобщим.

Дон Карлос заставил себя долго ждать, – наконец вышел, одетый, как принято при дворе Людовика XIV. На нем был голубой кафтан, весь расшитый серебром, перевязь и выпушки из белого, тоже разукрашенного атласа, воротник из алансонских кружев, наконец, необъятных размеров светлый парик. Этот наряд, великолепный сам по себе, казался еще более блистательным среди бедных нарядов, введенных в Испании последними нашими королями из австрийского дома. Больше не носили даже брыжей, которые придавали наряду хоть немного привлекательности, их заменили простым воротником, какие можно видеть у альгвасилов и судейских. В самом деле, как удачно подметил дон Карлос, наряд этот в точности напоминал костюм Скарамуша.

Наш вертопрах, выделяясь среди испанской молодежи своим нарядом, еще больше отличался от нее тем, как он вошел в бальную залу. Вместо глубокого поклона или каких-либо приветствий, он начал кричать на музыкантов с другого конца залы:

– Эй, бездельники! Перестаньте! Если вы будете играть что-нибудь, кроме моей сарабанды, я разобью вам скрипки об головы!

Потом роздал им ноты, которые принес с собой, подошел к Бланке и вывел ее на середину залы – танцевать. Мой отец признает, что дон Карлос танцевал неподражаемо, а Бланка, от природы очень грациозная, на этот раз превзошла самое себя. По окончании сарабанды все дамы встали, чтобы приветствовать Бланку за ее прелестный танец. Говоря ей эти любезности, они в то же время поглядывали украдкой на Карлоса, словно желая дать ему понять, что он-то и есть подлинный предмет их восторга. Бланка прекрасно поняла эту скрытую мысль, и тайное преклонение женщин подняло достоинство молодого человека в ее глазах.

Во все время бала Карлос не отпускал Бланку, а когда к ним подходил его брат, говорил ему:

– Энрике, дружище, пойди реши какую-нибудь алгебраическую задачу. Ты успеешь еще доесть Бланке, когда станешь ее мужем.

Бланка звонко хохотала, поощряла эти наглости, и бедный дон Энрике, совсем растерянный, отходил.

Когда послышалось приглашение к ужину, Карлос предложил Бланке руку и занял с ней высокое место за столом. Герцог нахмурился, но дон Энрике упросил его на этот раз простить брата.

За ужином дон Карлос рассказывал присутствующим о празднествах, устраиваемых Людовиком XIV, особенно о балете под названием «Любовные похождения на Олимпе», в котором сам монарх играл роль Солнца, и прибавил, что хорошо помнит этот балет и что Бланка была бы восхитительной Дианой. Он всем роздал роли, и прежде чем встали из-за стола, балет Людовика XIV был полностью обеспечен исполнителями. Дон Энрике покинул бал. Бланка даже не заметила его отсутствия. На другой день утром мой отец пошел навестить Бланку и застал ее репетирующей с доном Карлосом сцену из балета. Так прошло три недели. Герцог становился все мрачнее, Энрике таил свое горе, а Карлос болтал всякие

нелепицы, принимаемые дамами как пророческое вещанье.

Парижские обычаи и балет Людовика XIV до того вскружили голову Бланке, что она не видела ничего вокруг.

Однажды за обедом герцогу подали придворную депешу. Это было письмо министра следующего содержания:

«Светлейший герцог!

Его королевское величество, наш всемилостивейший государь, дает согласие на брак твоей дочери с доном Карлосом Веласкесом, кроме того, жалует ему титул гранда и назначает его первым полковником артиллерии.

Твой покорный слуга и т. д.».

– Что это значит? – воскликнул герцог в величайшем гневе. – Откуда взялось в этом письме имя Карлоса, когда я предназначал Бланку в жены Энрике?

Попросив герцога, чтобы он соблаговолил терпеливо его выслушать, мой отец сказал:

– Я не знаю, ваше сиятельство, каким путем в это письмо попало имя Карлоса вместо моего, но уверен, что брат мой к этому совершенно непричастен. И вообще, в этом никто не виноват, и, быть может, подмена эта предусмотрена провиденьем. В самом деле, вы сами заметили, что Бланка не имеет ко мне ни малейшей склонности и, наоборот, очень равнодушна к Карлосу. Так пускай ее рука, особа, титулы и владения достанутся ему. Я отказываюсь от всех моих прав.

Герцог обратился к дочери:

– Бланка! Бланка! Неужели ты так легкомысленна и непостоянна?

Бланка заплакала, лишилась чувств и в конце концов призналась, что любит Карлоса.

Герцог, огорченный до крайности, сказал моему отцу:

– Дорогой Энрике, хотя брат твой отнял у тебя возлюбленную, он не может лишить тебя звания первого полковника артиллерии, к которому я присоединяю определенную часть моих владений.

– Прости, герцог, – возразил дон Энрике, – имущество твое принадлежит все целиком твоей дочери; что же касается звания первого полковника, король правильно поступил, отдав его моему брату, так как я в теперешнем душевном состоянии не способен отправлять ни этой, ни какой-либо другой должности. Позволь мне, герцог, удалиться в какую-нибудь святую обитель, успокоить свою боль у подножья алтаря и посвятить ее тому, который столько претерпел ради нас.

Отец оставил дом герцога и поступил послушником в монастырь камедулов. Дон Карлос женился на Бланке, но свадьба была сыграна без всякой пышности. Сам герцог не присутствовал. Бланка, доведя своего отца до отчаянья, терзалась теми несчастьями, которых была поводом. Даже Карлос, несмотря на свое обычное легкомыслие, был смущен этой всеобщей печалью.

Вскоре герцог заболел подагрой и, чувствуя, что ему уже недолго осталось жить, послал к камедулам, желая еще раз увидеть своего любимого Энрике. Дворецкий герцога Альварес поехал в монастырь и выполнил порученье. Камедулы, согласно уставу, налагающему на них обет молчания, не ответили ни слова, но провели его к келье Энрике. Альварес застал его лежащим на соломе, покрытого лохмотьями и прикованного цепью к стене.

Отец мой узнал Альвареса и промолвил:

– Друг мой, как тебе понравилась сарабанда, которую я танцевал вчера? Сам Людовик Четырнадцатый остался доволен, – жаль только, музыканты скверно играли. А что говорит об этом Бланка?.. Бланка! Бланка!.. Говори, несчастный!..

Тут отец мой потрянул цепью, начал грызть себе руки, и с ним случился неистовый припадок безумия. Альварес вышел, заливаясь слезами, и рассказал герцогу о печальном зрелище, которое представилось глазам его.

На другой день подагра вступила герцогу в желудок, и жизнь его оказалась под угрозой. За мгновение до смерти он обратился к дочери со словами:

– Бланка! Бланка! Скоро Энрике со мной соединится. Мы прощаем тебя... Будь счастлива.

Эти последние слова вошли в душу Бланки и отравили ее ядом сердечных угрызений. Она впала в глубокую меланхолию.

Молодой герцог ничего не жалел, чтобы развеселить жену, но, не в силах этого добиться, предоставил молодую женщину ее печали. Выписал из Парижа знаменитую прелестницу по имени Лажарден, а Бланка удалилась в монастырь. Чин первого полковника артиллерии мало подходил Карлосу; некоторое время он старался выполнять связанные с этим званием обязанности, но, будучи не в состоянии делать это по-настоящему, подал королю прошение об отставке и о предоставлении какой-нибудь должности при дворе. Король назначил его главным хранителем королевского гардероба, и герцог, вместе с сеньоритой Лажарден, переехал в Мадрид.

Мой отец провел у камедулов три года, в течение которых почтенные монахи с помощью неусыпных забот и ангельского терпенья в конце концов вернули ему здоровье. После этого он отправился в Мадрид и пошел к министру. Его провели в кабинет, где сановник обратился к нему с такими словами:

– Твое дело, дон Энрике, дошло до короля, который очень разгневался на меня и на моих чиновников за эту ошибку. К счастью, у меня еще было письмо с подписью «Дон Карлос». Вот оно. Будь добр, объясни мне, почему ты не подписался своим именем.

Отец взял письмо, узнал свой почерк и промолвил:

– Я припоминаю, что в ту минуту, когда я подписывал это письмо, мне сообщили о приезде моего брата; радость, испытанная по этому поводу, видимо, и была причиной моей ошибки. Но не этот промах повлек за собой мои несчастья. Даже если бы патент на чин полковника был выдан на мое имя, я был бы не в состоянии отправлять эту должность. Теперь ко мне вернулись прежние умственные способности, и я чувствую, что могу выполнять обязанности, которые его королевское величество возлагал тогда на меня.

– Дорогой Энрике, – возразил министр, – со времени представления проектов фортификации много воды утекло, и у нас при дворе не привыкли освежать в памяти то, что забыто. Единственное, что я могу тебе предложить, это должность коменданта Сеуты. В данный момент у меня только это место не занято. Если согласен занять его, то поезжай, не повидавшись с королем. Я признаю, что эта должность не соответствует твоим способностям, и понимаю, что в твоем возрасте не очень приятно поселиться на пустынной африканской земле.

– Как раз эта последняя причина, – сказал мой отец, – побуждает меня просить о предоставлении этого места. Я надеюсь, покинув Европу, избежать ударов судьбы, которые меня преследуют. В другой части света я стану другим человеком и, под влиянием более благосклонных светил, найду счастье и покой.

Получив назначение, отец занялся приготовлениями к отъезду, потом сел в Алхесирасе на корабль и благополучно высадился в Сеуте. Ликуя, вступил он на чужую землю, – с тем чувством, которое испытывает моряк, оказавшийся в порту после страшной бури.

Новый комендант постарался прежде всего хорошенько узнать свои обязанности – не только для того, чтобы иметь возможность их исполнять, но чтобы исполнять их как можно лучше; что же касается фортификаций, то над ними ему не было надобности трудиться, так как Сеута благодаря самому местоположению своему была достаточно неуязвима для берберийских набегов. Зато все свои умственные способности он направил на улучшение жизни гарнизона и жителей. Сам он отказался от всяких материальных выгод, какими обычно не пренебрегал ни один из его предшественников. Весь гарнизон боготворил его за такое поведение. Кроме того, отец заботливо пекся о вверенных его охране политических заключенных и часто отступал от суровых правил, облегчая им отправку писем к родным, устраивал для них разные развлечения.

После того как в Сеуте все было приведено в надлежащий порядок, отец снова занялся математическими науками. Два брата Бернулли наполняли тогда ученый мир отголосками своих споров. Мой отец называл их в шутку Этеоклом и Полиником, но в душе глубоко интересовался ими. Он часто вмешивался в сражения, посылая письма без подписи, оказывавшие одной из сторон неожиданную поддержку. Когда великая изопериметрическая задача была представлена на рассмотрение четырех знаменитейших европейских геометров, отец мой переслал им метод анализа, который можно считать шедевром математического мышления; но никто не допускал, чтобы автор захотел сохранить инкогнито, и его приписывали то одному, то другому брату. Это неверно; отец мой любил науки, но не ради славы, которую они приносят. Испытанные несчастья сделали его диким и боязливым.

Якоб Бернулли умер в тот момент, когда должен был одержать решающую победу; поле боя осталось за его братом. Мой отец прекрасно знал, что этот брат совершает ошибку, принимая в соображение только два элемента кривых линий, но не хотел продолжать борьбу, тревожившую весь ученый мир. Между тем Николай Бернулли не мог сидеть спокойно и объявил войну маркизу де Лопиталю, оспаривая право на все его открытия, а через несколько лет после этого выступил даже против Ньютона. Предметом этих новых раздоров было дифференциальное исчисление, которое Лейбниц открыл одновременно с Ньютоном и которое англичане считали своей национальной гордостью.

Таким образом, отец мой потратил лучшие свои годы на наблюдения издали за теми великими боями, в которых знаменитейшие тогдашние умы применяли самое острое оружие, какое человеческий гений только в состоянии раздобыть. Однако, при всей своей влюбленности в точные науки, не забывал он и о других отраслях знания. На скалах Сеуты можно найти множество морских животных, по природе своей близких водорослям и образующих переход от растительного мира к животному. Отец мой всегда держал несколько штук в банках и с удовольствием рассматривал их странное строение. Кроме того, он собрал полную библиотеку творений древних историографов; этой библиотекой он пользовался для подкрепления доводами, основанными на фактах теории вероятности, изложенной Бернулли в его произведении «*Ars conjectandi*»²⁹.

Таким образом, всецело отдавшись наукам, переходя по очереди от исследования к размышлению, отец мой почти никогда не выходил из дома; более того, вследствие неустанного умственного напряжения он забыл о том страшном периоде своей жизни, когда несчастья одержали победу над его разумом. Однако порой сердце вступало в свои права, – обычно к вечеру, когда мысль уже изнемогает после целодневной работы. Тогда, не имея привычки искать развлечений вне дома, он подымался на бельведер, глядел на море и небосклон, переходящий вдали в темную полосу испанского берега. Этот вид напоминал ему о днях славы и счастья, когда в окружении любящих родных, обожаемой своей возлюбленной, почитаемый знаменитейшими в стране людьми, с душой, горящей юношеским одушевлением и озаренной светом зрелого возраста, он ведал все чувства, составляющие наслаждение жизнью, и углублялся в исследование истин, делающих честь человеческому разуму. Потом он вспоминал брата, отнявшего у него возлюбленную, богатство, сан и оставившего его помешанным на охапке соломы. Иногда он, схватив скрипку, играл ту несчастную сарабанду, которая соединила сердца Карлоса и Бланки. Эта мелодия заставляла его обливаться слезами, и тогда ему становилось легче на душе. Так прожил он пятнадцать лет.

Однажды королевский наместник Сеуты, желая повидаться с моим отцом, зашел к нему вечером и застал его, как обычно, в тоске. Подумав немного, он сказал:

– Милый наш комендант, будь добр, выслушай меня внимательно. Ты несчастлив, страдаешь, это не тайна, мы все это знаем, и моя дочь знает тоже. Ей было пять лет, когда ты приехал в Сеуту, и с тех пор не было дня, чтоб она не слышала, с каким обожанием люди

²⁹ «Искусство предугадываний» (лат.)

говорят о тебе, так как ты на самом деле ангел-хранитель нашей маленькой колонии. Часто она говорила мне: «Наш милый комендант так страдает оттого, что никто не делит с ним его огорчений». Дон Энрике, позволь уговорить тебя, приходи к нам, это развлечет тебя больше, чем вечный подсчет морских валов.

Мой отец дал увести себя к Инессе де Каданса, через полгода женился на ней, а через десять месяцев после их свадьбы на свет появился я. Когда моя слабенькая особа увидела сиянье дня, отец взял меня на руки и, подняв глаза к небу, промолвил:

– О всемогущая власть, чей показатель – бесконечность, последний член всех возрастающих прогрессий, великий боже! Вот еще одно чувствующее создание, брошенное в пространство. Но если ему суждено быть таким же несчастным, как его отец, пусть лучше доброта твоя отметит его знаком вычитания.

Окончив эту молитву, отец радостно прижал меня к своей груди, со словами:

– Нет, бедное дитя мое, ты не будешь так несчастлив, как твой отец. Клянусь святым именем божьим, я никогда не позволю учить тебя математике, а вместо этого ты выучишься искусству танцевать сарабанду, выступать в балетах Людовика Четырнадцатого и творить всякие нелепости и наглости, о каких только я услышу.

После этого отец облил меня горькими слезами и отдал акушерке.

Теперь прошу вас обратить внимание на мою странную судьбу. Отец клялся, что я никогда не буду учиться математике, а выучусь танцевать. А оказалось совсем наоборот. Я обладаю теперь большими познаниями в точных науках, но никогда не мог научиться вообще никакому танцу, не говоря уже о сарабанде, которая давно вышла из моды. Право, я не понимаю, как можно запомнить фигуры контрданса. Ни одна из них не исходит из одного центра, не подчиняется твердо установленным принципам, ни одну нельзя выразить с помощью формулы, и я просто не могу представить себе, как это находятся люди, знающие все эти фигуры на память.

Когда дон Педро Веласкес рассказал нам свою историю, в пещеру вошел старый цыган и объявил, что нужно спешно совершить переход и углубиться в горы Альпухары.

– Слава Всевышнему! – сказал каббалист. – Так мы еще скорей увидим Вечного Жида, а так как ему не позволено отдыхать, он пустится вместе с нами в поход, и мы сможем с ним побеседовать. Он многое повидал, и никто не может быть его осведомленной.

Старый цыган повернулся к Веласкесу и промолвил:

– А ты, сеньор, желаешь пойти с нами, или дать тебе проводника, чтобы он отвел тебя в ближайшее селенье?

Веласкес минуту подумал, потом ответил:

– Я оставил кое-какие важные бумаги возле постели, на которой третьего дня заснул, а потом проснулся под виселицей, где меня нашел сеньор капитан валлонской гвардии. Будь любезен послать в Вента-Кемаду. Если я не найду своих бумаг, мне незачем ехать дальше, придется вернуться в Сеуту. А пока, если позволишь, могу путешествовать с вами.

– Все мои люди – к вашим услугам, – ответил цыган, – я сейчас пошлю несколько человек в трактир; они присоединятся к нам на первом ночлеге.

Шатры были убраны, мы двинулись в путь и, отъехав на четыре мили, устроили ночлег на пустынной вершине горы.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ

Утро прошло в ожидании прихода тех, кого старейшина послал в венту за бумагами Веласкеса, и мы, охваченные невольным любопытством, всматривались в дорогу, по которой они должны были прийти. Только сам Веласкес, найдя на склоне скалы кусок сланца, отполированного дождем, покрывал его цифрами, иксами и игреками.

Написав множество цифр, он вернулся к нам и спросил, почему мы так встревожены. Мы ответили, что тревожимся за судьбу его бумаг. На это он сказал, что тревога о его

бумагах говорит о доброте наших сердец и что, как только он кончит свои вычисления, он придет тревожиться вместе с нами. После этого он довел свои выкладки до конца и спросил, почему мы все ждем и не пускаемся в дальнейший путь.

– Но, сеньор геометр дон Педро Веласкес, – сказал каббалист, – если ты сам никогда не испытывал тревоги, то, наверно, тебе случалось наблюдать ее у других?

– Действительно, – ответил Веласкес, – я часто наблюдал тревогу и всегда думал, что это, наверно, пренеприятное чувство, с каждой минутой прогрессирующее, но так, что никогда невозможно точно обозначить темп этой прогрессии. Но все же можно в общем утверждать, что он находится в отношении, обратно пропорциональном силе инерции. Отсюда следует, что я, будучи вдвое невозмутимей вас, только через час достигну данной степени волнения, тогда как вы будете уже на следующей. Рассуждение это относится ко всем страстям, которые можно считать возбудителями волнения.

– Мне кажется, сеньор, – сказала Ревекка, – что ты прекрасно знаешь пружины человеческого сердца и что геометрия – самый верный путь к счастью.

– Поиски счастья, – возразил Веласкес, – по моему разумению, можно рассматривать как решение уравнения высшей степени. Вы знаете, сеньорита, последний член и знаете, что он составляет сумму всех оснований, но прежде чем исчерпаешь делители, приходишь к мнимым числам. А там смотришь – и день прошел в непрерывном наслаждении вычислениями и подсчетами. Так и жизнь: приходишь к мнимым величинам, которые ты считал действительными ценностями, но в то же время ты жил и даже действовал. Действие – всеобщий закон природы. В ней ничто не бездействует. Кажется, вот эта скала находится в покое, в то время как земля, на которой она стоит, оказывает противодействие, превосходящее силу ее давления, но если б вы, сеньора, могли подложить ногу под скалу, то сразу убедились бы в том, что она действует.

– Но разве чувство, которое называется любовью, – сказала Ревекка, – тоже может быть оценено путем вычислений? Утверждают, например, что близость у мужчин уменьшает чувство любви, а у женщин – усиливает. Можешь, сеньор, объяснить это?

– Вопрос, который сеньора задает мне, – ответил Веласкес, – говорит о том, что одна любовь развивается в возрастающей прогрессии, а другая в убывающей. Следовательно, должен наступить такой момент, когда влюбленные будут любить друг друга одинаково. Таким образом, проблема разрешается на основе теории максимумов и минимумов, и ее можно представить себе в виде кривой линии. Я нашел очень удобный способ разрешения всех проблем такого рода. Допустим, например, что $икс...$

В ту минуту, когда Веласкес дошел до этого пункта своего анализа, показались посланные с найденными в венте бумагами. Веласкес взял, внимательно просмотрел их и сказал:

– Здесь все мои бумаги, кроме одной, которая хоть и не очень мне нужна, но сильно заинтересовала меня в ту ночь, когда я оказался под виселицей. Но – не важно, я не хочу вас больше задерживать.

Мы двинулись в путь и ехали большую часть дня. А когда остановились, общество собралось в шатре вожака цыган и после ужина попросило его продолжить рассказ о его приключениях. Он начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Вы оставили меня наедине со страшным вице-королем, рассказывавшим мне о своем богатстве.

– Я прекрасно помню, – сказал Веласкес, – состояние его составляло шестьдесят миллионов двадцать пять тысяч сто шестьдесят один пиастр.

– Совершенно верно, – подтвердил цыган и продолжал дальше.

– Если вице-король испугал меня в первую минуту встречи, то еще больший страх я

почувствовал после того, как он сообщил мне, что на нем вытатуирована иглой змея, обвивающая его тело шестнадцать раз и кончающаяся на большом пальце левой ноги. До меня уже не доходило все, что он говорил о своих богатствах, но зато тетя Торрес набралась смелости и сказала:

– Богатства твои, сиятельный сеньор, конечно, велики, но и доходы этой молодой особы тоже значительные.

– Граф Ровельяс, – возразил вице-король, – своим мотовством нанес большой ущерб своему состоянию, и, хотя я не жалел расходов на процесс, мне удалось отстоять только шестнадцать плантаций в Гаване, двадцать две акции серебряных рудников в Санлукаре, двенадцать акций – Филиппинской компании, пятьдесят шесть в Асьенто и некоторые более мелкие ценные бумаги. В настоящее время общая сумма составляет всего лишь около двадцати семи миллионов пиастров.

Тут вице-король вызвал своего секретаря, велел ему принести шкатулку из драгоценного индийского дерева и, преклонив одно колено, промолвил:

– Дочь дивной матери, которую я до сих пор боготворю, благоволи принять плод тринадцатилетних трудов, так как столько времени понадобилось мне на то, чтобы вырвать это добро из рук твоих алчных родственников.

Я хотел было взять шкатулку с благодарной улыбкой, но мысль, что у моих ног стоит на коленях человек, сокрушивший столько индейских голов, а также стыд играть роль, не соответствующую моему полу, наконец сам не знаю, какое еще замешательство, чуть не привели опять к обмороку. Но тетя Торрес, которой придали удивительную отвагу эти двадцать семь миллионов пиастров, заключила меня в объятия и, схватив шкатулку жестом, быть может слишком уж обнажающим алчность, сказала вице-королю:

– Светлейший государь, эта молодая особа никогда не видела коленопреклоненного перед ней мужчины. Позволь ей удалиться в ее покои.

Вице-король поцеловал мне руку и проводил меня в наши покои. Оставшись вдвоем, мы заперли дверь на два засова, и только тут тетя Торрес предалась неописуемым восторгам, целуя без конца шкатулку и благодаря небо за то, что она обеспечила Эльвире не то что приличное, а блестящее положение.

Вскоре в дверь постучали, и вошел секретарь вице-короля вместе с судебским чиновником. Они составили опись находившимся в шкатулке бумагам и взяли с тети Торрес расписку в их получении. Что касается меня, то, по их словам, так как я несовершеннолетняя, моей подписи не требуется.

Мы опять заперлись, и я сказал обеим тетям:

– Судьба Эльвиры уже обеспечена, но надо еще подумать о том, как отправить фальшивую сеньориту Ровельяс к театинцам и где отыскать настоящую.

Не успел я это сказать, как обе дамы горько зарыдали. Тете Даланосе показалось, будто она уже видит меня в руках палача, а сеньора де Торрес задрожала, вспомнив об опасностях, угрожающих бедным детям, которые бродят где-то без приюта и поддержки. Мы разошлись в глубокой печали по своим постелям. Я долго думал о том, как бы выпутаться из затруднения; можно убежать, но вице-король сейчас пошлет погоню. Я заснул, ничего не придумав, а между тем до Бургоса оставалось только полдня пути.

Положение мое становилось все затруднительней; однако на другой день пришлось садиться в носилки. Вице-король скакал у моей дверцы, смягчая свои обычно суровые черты нежными улыбками, при виде которых кровь стыла у меня в жилах. Так приехали мы к тенистому берегу ручья, где нас ждало угощение, приготовленное к нашему приезду жителями Бургоса.

Вице-король помог мне выйти из носилок, но вместо того, чтоб подвести к накрытому столу, отвел в сторону от остальных, посадил в тень и, сев рядом, сказал:

– Дивная Эльвира, чем больше имею я счастье сближаться с тобой, тем больше я убеждаюсь, что небо предназначило тебя для того, чтоб украшать закат бурной жизни, отданной благу родного края и славе моего короля. Я обеспечил Испании владение

Филиппинским архипелагом, открыл половину Новой Мексики и привел к покорности немирные племена инков. Все время я только и делал, что боролся за жизнь: с волнами океана, непостоянством климата или ядовитыми испарениями открытых мной рудников. Кто же вознаградит меня за лучшие годы жизни? Я мог посвятить их отдыху, сладким радостям дружбы или чувствам, в сто раз еще более приятным. Как ни всемогущ король Испании и Индии, что может он сделать, чтоб вознаградить меня? Награда эта – в твоих руках, несравненная Эльвира. Если я соединю свою судьбу с твоей, мне больше нечего будет желать. Посвящая все дни свои открытые новых сторон твоей прекрасной души, я буду счастлив каждой твоей улыбкой и полон радости при малейшем доказательстве твоей привязанности, какое ты захочешь мне дать. Картина этого спокойного будущего, которое наступит после всех пережитых мною бурь, приводит меня в такой восторг, что ночью я решил ускорить наше соединенье. Теперь я оставляю тебя, прекрасная Эльвира, и поеду как можно скорей в Бургос, где ты узнаешь, что дала нам моя поспешность.

С этими словами вице-король преклонил колено, поцеловал мне руку, вскочил на коня и помчался в Бургос. Нет надобности описывать вам мое состояние. Я рисовал себе самые неприятные последствия, неизменно кончавшиеся немилосердной поркой на дворе отцов театинцев. Хотел было подойти к обеим теткам, которые подкреплялись за столом, думал сообщить им о новом решении короля, но это не удалось: недреманный гофмаршал настаивал, чтоб я скорей садился в носилки, и пришлось ему подчиниться.

У ворот Бургоса нас ждал паж моего будущего супруга, объявивший нам, что нас ждут во дворце архиепископа. Холодный пот, выступивший у меня на лбу, дал мне почувствовать, что я еще жив, но в то же время страх погрузил меня в такое состояние безволия, что, только встав перед епископом, я пришел в себя. Прелат сидел в кресле против вице-короля. Духовенство занимало места ниже, наиболее знатные жители Бургоса сидели возле вице-короля, и в глубине помещения я увидел алтарь, приготовленный для совершения обряда. Архиепископ встал, благословил меня и поцеловал в лоб.

Терзаемый тысячью чувств, раздирающих всю мою внутренность, я упал к ногам архиепископа, и тут меня словно осенило, – я воскликнул:

– Высокопреосвященный отец, сжался надо мной, я хочу быть монахиней, да, желаю быть монахиней!

После этого заявления, поразившего слух всех присутствующих, я почел за благо упасть в изнеможении. Поднялся, но тотчас снова упал в объятия обеих теток, которые сами еле держались на ногах. Приоткрыв глаза, я увидел, что архиепископ в почтительной позе стоит перед вице-королем и как будто ждет его решения.

Вице-король попросил архиепископа, чтобы тот сел на свое место и дал ему подумать. Архиепископ сел, и тут я увидел лицо моего высокопоставленного обожателя: более суровое, чем когда-либо, оно имело теперь выражение, способное устроить самых смелых. Некоторое время он казался погруженным в свои мысли; потом, гордо надев шляпу на голову, промолвил:

– Мое инкогнито окончено. Я – вице-король Мексики, – прошу архиепископа не вставать.

Все почтительно поднялись со своих мест, а вице-король продолжал:

– Сегодня исполнилось ровно четырнадцать лет, с тех пор как бесстыдные клеветники распустили слух, будто я – отец этой молодой девушки. Я не мог тогда принудить их к молчанию иным способом, как только присягнув, что, когда она придет в возраст, я женюсь на ней. Пока она возрастала в прелести и добродетели, король, благосклонно оценивая мои услуги, возвышал меня с чина в чин и в конце концов удостоил меня звания, которое приблизило меня к трону. Пришел час исполнения обещания; я попросил у короля разрешения приехать в Испанию для женитьбы, и Совет Индии от имени монарха ответил согласием, но с условием, что я сохраняю свое звание вице-короля только до того, как состоится свадьба. Одновременно мне было воспрещено приближаться к Мадриду ближе, чем на пятьдесят миль. Я понял ясно, что мне надлежит отказаться либо от брака, либо от

монаршего благоволения. Но я дал торжественную клятву, и выбора не было. Увидев дивную Эльвиру, я подумал, что небо хочет свести меня с дороги почестей, одарив новым счастьем спокойных домашних радостей, но так как это завистливое небо призывает к себе души, которых недостойн мир, я отдаю ее тебе, высокопреосвященный отец архиепископ; вели отвести ее в монастырь салезианок, и пусть она сейчас же вступит там в послушницы. Я поклялся никогда не иметь другой жены и сдержу клятву; напишу королю и попрошу у него разрешения приехать в Мадрид.

Вслед за этим страшный вице-король простился с присутствующими мановеньем шляпы, потом, строго взглянув, надвинул ее себе на глаза и пошел к карете, провожаемый архиепископом, чиновниками, духовенством и всей своей свитой. Мы остались в комнате одни, не считая нескольких ризничих, разбиравших алтарь.

Тогда я затащил обеих теток в соседнюю комнату и кинулся к окну, в надежде придумать какой-нибудь способ скрыться и избежать монастыря.

Окно выходило на большой двор с фонтаном посередине. Я увидел двух мальчиков, оборванных и изнемогающих от усталости, которые утоляли жажду. На одном из них я узнал одежду, которую отдал Эльвире, и сейчас же узнал ее самое. Другой мальчик был Лонсето. Я вскрикнул от радости. В нашей комнате было четыре двери; первая, которую я отворил, вела на лестницу во двор, где находились наши беглецы. Я со всех ног бросился к ним, и тетя Торрес чуть не умерла от радости, обнимая своих детей.

Вдруг мы услышали шаги архиепископа, который, проводив вице-короля, вернулся, чтоб приказать отвести меня в монастырь салезианок. Я еле успел кинуться к двери и запереть ее на ключ. Тетя моя крикнула, что молодая особа снова потеряла сознание и не может никого видеть. Мы поспешно обменялись одеждой, завязали Эльвире голову, будто она ее ранила, падая, и таким способом, для большей неузнаваемости, закрыли ей почти все лицо.

Когда все было готово, я и Лонсето исчезли, и дверь была открыта. Архиепископ уже ушел, но оставил своего викария, который препроводил Эльвиру и сеньору де Торрес в монастырь. Тетя Даланоса отправилась в гостиницу «Лас-Росас», где мы назначили сбор и где она сняла удобное помещение. Целую неделю радовались мы концу этого приключения и смеялись над тем страхом, которого нам пришлось натерпеться. Лонсето, уже переставший быть погонщиком, жил с нами под своим собственным именем, как сын сеньоры де Торрес.

Тетка моя несколько раз ходила в монастырь салезианок. Было условлено, что сначала Эльвира обнаружит неудержимое желание стать монахиней, но потом ее пыл понемногу остынет, и в конце концов она покинет монастырь и обратится в Рим с просьбой разрешить ей выйти за своего двоюродного брата.

Вскоре мы узнали, что вице-король прибыл в Мадрид и был принят там с великими почестями. Король разрешил ему даже передачу в порядке наследования владений и титулов племяннику, сыну той самой сестры, которую когда-то он привозил в Вильяку. Вскоре после этого он уехал в Америку.

Что касается меня, то события этого необычного путешествия еще больше развили во мне легкомысленную склонность к бродяжничеству. С отвращеньем думал я о том мгновенье, когда меня запрут в монастыре театинцев, но дядя моей тетки желал этого, и пришлось после всех проволочек, какие мне удавалось создать, покориться своей участи.

Тут один из цыган пришел дать вожаку отчет о событиях за день. Все мы заговорили о подробностях этой удивительной истории. Но каббалист посулил, что мы услышим куда более любопытные вещи от Вечного Жида, и поручился, что завтра мы непременно увидим эту необычайную личность.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Мы двинулись дальше, и каббалист, обещавший нам сегодня встречу с Вечным Жидом, не мог сдержать своего нетерпенья. Наконец мы увидели на отдаленной вершине человека,

шагающего с необычайной поспешностью, не обращая никакого внимания на тропинки.

– Вон он! – воскликнул Уседа. – Ах, лентяй! Бездельник! Целую неделю тащился сюда из Африки.

Через минуту Вечный Жид был в нескольких десятках шагов от нас. И уже на этом расстоянии каббалист изо всех сил крикнул ему:

– Ну что?.. Имею я еще право на дочерей Соломона?

– Никакого, – ответил Вечный Жид. – Ты не только утратил все права на них, но и всю власть, какую имел над духами выше двадцать второй степени. Надеюсь, что скоро потеряешь и ту, которую коварно захватил надо мной.

Каббалист призадумался было, потом сказал:

– Тем лучше. Я последую примеру сестры. Поговорим об этом подробнее когда-нибудь в другой раз; а теперь, сеньор путешественник, приказываю тебе идти между мулами вот этого молодого человека и его товарища, о котором будет когда-нибудь с гордостью вспоминать история геометрии. Расскажи им историю своего существования, но предупреждаю: правдиво и ясно.

Сперва Вечный Жид не соглашался, но каббалист молвил ему несколько невнятных слов, и бедный бродяга начал так.

ИСТОРИЯ ВЕЧНОГО ЖИДА

Род мой принадлежит к числу тех, которые служили первосвященнику Онии и, с разрешения Птолемея Филоматора, построили храм в Нижнем Египте. Деда моего звали Езекия. Когда знаменитая Клеопатра вышла замуж за своего брата Птолемея Диониса, Езекия поступил к ней на службу в качестве придворного ювелира; кроме того, ему была поручена покупка дорогих тканей и нарядов, а впоследствии – и проведение празднеств. Одним словом, могу вас уверить, что дед мой имел большой вес при александрийском дворе. Говорю это не ради хвастовства, – на что мне это нужно? Вот уж семнадцать веков – нет, даже больше, – как я его лишился: ведь он умер в сорок первый год правления Августа. Я был тогда очень молод и почти его не помню, но некто Деллий часто рассказывал мне об этих событиях.

Тут Веласкес перебил Вечного Жиды вопросом, не тот ли это Деллий, музыкант Клеопатры, которого часто упоминают Флавий и Плутарх.

Вечный Жид дал утвердительный ответ и продолжал.

– Птолемей, которому сестра не приносила детей, решил, что она бесплодна, и через три года после женитьбы разлучился с ней. Клеопатра уехала в один из портовых городов на Красном море. Дед мой разделил с ней изгнание; тогда-то он и приобрел для своей повелительницы те две знаменитые жемчужины, одну из которых она растворила и выпила на пиру, устроенном Антонием.

Между тем все части римского государства охватила гражданская война. Помпеи искал укрытия у Птолемея Диониса, а тот приказал отрубить ему голову. Это предательство, имевшее целью завоевать расположение Цезаря, произвело обратное действие. Цезарь пожелал вернуть корону Клеопатре. Жители Александрии встали на защиту своего царя с воодушевлением, которому в истории мы видим мало примеров; но после того, как из-за несчастной случайности этот монарх утонул, ничто больше не мешало удовлетворению властолюбия Клеопатры. Царица почувствовала, что обязана Цезарю бесконечной благодарностью. Перед тем как покинуть Египет, Цезарь велел Клеопатре выйти замуж за юного Птолемея, который был одновременно и братом ее и деверем, как младший брат ее первого мужа, Птолемея Диониса. Этому государю было в то время всего одиннадцать лет. Клеопатра была беременна, и ребенка называли Цезарионом, чтоб устранить всякие сомнения насчет его происхождения.

Дед мой, тогда двадцатипятилетний, решил жениться. Это, быть может, было немного

поздно для еврея, но он испытывал непреодолимое отвращение к женитьбе на женщине родом из Александрии, – даже не потому, что иерусалимские евреи считали нас отступниками, а потому, что, по нашему убеждению, на земле должно быть только одно святилище. По мнению наших сторонников, наш египетский храм, основанный Онией, как в свое время самаритянский, послужит поводом для отступничества, которого евреи боялись как неотвратимой угрозы общей гибели. Эти благочестивые соображения, а также скука, сопряженная со всеми придворными должностями, привели к тому, что мой дед решил отправиться в Святой город и жениться там. А в это самое время в Александрию приехал со своей семьей один иерусалимский еврей по имени Гиллель. Деду понравилась его дочь Мелея, и свадьбу сыграли с неслыханной роскошью: Клеопатра с юным супругом почтили ее своим присутствием.

Через несколько дней после этого царица послала за моим дедом и сказала ему:

– Я только что узнала, друг мой, что Цезарь назначен пожизненным диктатором. Судьба вознесла этого властелина, покорителя мира, на высоту, на которую не возносила еще никого. С ним не выдерживают сравнения ни Бел, ни Сезострис, ни Кир, ни даже Александр. Я горжусь, что он отец моего маленького Цезариона. Ребенку скоро исполнится четыре года, и я хочу, чтобы Цезарь увидел и обнял его. Через два месяца еду в Рим. Ты понимаешь, что въезд мой должен быть достоин царицы Египта. Последний из моих невольников должен быть в золоченых одеждах, вся моя утварь должна быть вылита из благородного металла и осыпана драгоценными камнями. Для меня ты закажешь платье из легчайших индийских тканей, – никаких других украшений, кроме жемчуга, не надо. Возьми все мои драгоценности, все золото, какое есть в моих дворцах; кроме того, мой казнохранитель выдаст тебе сто тысяч талантов золотом. Это цена двух провинций, которые я продала царю арабов; вернувшись из Рима, я отберу их обратно. А теперь ступай и помни: чтоб через два месяца все было готово.

Клеопатре было тогда двадцать пять лет. Пятнадцатилетний брат ее, с которым она четыре года перед тем вступила в брак, любил ее с неистовой страстью. Узнав, что она уезжает, он предался неописуемому отчаянью, а когда, простившись с царицей, он смотрел вслед удаляющемуся кораблю, то им овладела такая печаль, что испугались за его жизнь.

Через три недели Клеопатра прибыла в порт Остию. Там ее ждали уже роскошные лады, отбуксировавшие ее вверх по Тибру, и она, можно сказать, с триумфом вступила в тот город, куда другие цари входили, следуя за колесницами римских военачальников. Цезарь, превосходя всех на свете изяществом обращения, так же как великодушием, принял Клеопатру с непередаваемой любезностью, но не так нежно, как царица надеялась. Со своей стороны, Клеопатра, понуждаемая больше гордостью, чем привязанностью, не обратила особого внимания на эту холодность и решила как можно лучше узнать Рим.

Одаренная редкой проницательностью, она скоро узнала, какие опасности грозят диктатору. Она говорила ему о своих предчувствиях, но герой был не способен дать доступ к своему сердцу чувству страха. Видя, что Цезарь не придает цены ее предостережениям, она решила извлечь из них как можно большую выгоду для самой себя. Она была уверена, что Цезарь падет жертвой какого-нибудь заговора, и тогда римский мир распадется на две партии.

Одна партия – друзей свободы – имела явным руководителем старого Цицерона, велеречивого умствователя, воображавшего, что он делает великое дело, обращаясь к людям с громкими речами, и мечтавшего о спокойной жизни в своей тускульской вилле, не собираясь, однако, отказываться от влияния, связанного с положением вождя партии. Эти люди стремились к некоей великой цели, но не знали, как взяться за дело, так как не имели никакого жизненного опыта.

Другая партия – друзей Цезаря, – состоящая из храбрых воинов, беспечно пользующихся радостями бытия, удовлетворяла свои страсти, играя на страстях своих сограждан.

Клеопатра недолго колебалась в выборе. Она расставила сети женского обольщения

для Антония и пренебрегла Цицероном, который никогда не мог ей этого простить, что ясно видно из его тогдашних писем к другу – Аттику.

Царица, нисколько не интересуясь решением загадки, тайные пружины которой она узнала, поспешно вернулась в Александрию, где юный супруг встретил ее со всем восторгом своего пылкого сердца. Жители Александрии разделили его радость. Клеопатра как будто участвовала в ликовании, вызванном ее возвращением; к ней стремились помыслы всех, но люди, близко ее знавшие, ясно видели, что политические цели были главными двигателями всех ее поступков, в которых было больше притворства, чем правды. В самом деле, как только она обезопасила себя со стороны населения Александрии, так сейчас же поспешила в Мемфис, где появилась в наряде Изиды, с коровьими рогами на голове. Египтяне были от нее без ума. Затем такими же средствами она сумела завоевать расположение нубийцев, эфиопов, ливийцев и других расположенных вокруг Египта народов.

Наконец царица вернулась в Александрию, а в это время убили Цезаря, и во всех провинциях империи вспыхнула гражданская война. С тех пор Клеопатра становилась все более мрачной, часто задумывалась, и приближенные узнали, что она вознамерилась выйти за Антония и воцариться над Римом.

Однажды утром дед мой явился к царице и показал драгоценности, только что доставленные из Индии. Она им страшно обрадовалась, похвалила моего деда за хороший вкус, его усердие при выполнении своих обязанностей и прибавила:

– Дорогой Езекия, вот бананы, привезенные из Индии теми же самыми купцами с Серендиба, от которых ты получил свои драгоценности. Будь добр, отнеси эти плоды моему юному супругу и попроси, чтоб он их сейчас же съел, если он любит меня.

Мой дед выполнил это приказанье, и молодой царь сказал ему:

– Если царица заклинает меня моей любовью к ней сейчас же съесть эти плоды, я хочу, чтобы ты был свидетелем, что я ни одного не оставил.

Но, съев три банана, он сейчас же почувствовал страшные рези, так что глаза у него полезли на лоб, он страшно закричал и упал бездыханный на пол. Мой дед понял, что его сделали орудием страшного преступления. Он вернулся домой, разорвал свои одежды, надел вретище и посыпал голову пеплом.

Через шесть недель после этого царица послала за ним и сказала ему:

– Тебе, конечно, известно, что Октавиан, Антоний и Лепид разделили между собой Римскую империю. Мой дорогой Антоний получил в удел Восток, и мне хочется выехать навстречу новому властелину – в Киликию. Для этого поручаю тебе озаботиться постройкой корабля в форме раковины и выложить его изнутри и снаружи перламутром. Верхняя палуба должна быть затянута тонкой золотой сеткой, сквозь которую можно будет видеть меня, когда я предстану в виде Венеры, окруженной грациями и амурами. Ступай и постарайся исполнить мой приказ с обычной твоей понятливостью.

Мой дед упал к ногам царицы со словами:

– Госпожа, соблаговоли принять во внимание, что я еврей, и все, что касается греческих божеств, для меня кощунство, которого я ни в коем случае не могу себе разрешить.

– Я понимаю, – возразила царица. – Тебе жаль моего юного супруга. Скорбь твоя справедлива, и я разделяю ее больше, чем сама ожидала. Вижу, Езекия, что ты не создан для придворной жизни, и освобождаю тебя от обязанностей, которые ты до сих пор нес.

Дед мой не заставил ее повторять это дважды, пошел к себе, запаковал свои пожитки и удалился на берег Мареотийского озера, где у него был маленький домик. Там он горячо занялся устройством своих дел, все время имея в виду переселиться в Иерусалим. Жил в полном уединении, не принимал никого из своих прежних знакомых при дворе, за исключением одного – музыканта Деллия, с которым его всегда связывала искренняя дружба.

Между тем Клеопатра, приказав построить точно такой корабль, как говорила, высадилась в Киликии, жители которой в самом деле приняли ее за Венеру, а Марк Антоний,

находя, что они не совсем ошибаются, отплыл с ней в Египет, где их союз был отпразднован с роскошью, которая не поддается описанию.

Когда Вечный Жид дошел до этого места своего повествования, каббалист сказал ему:

– На сегодня довольно, мой друг, мы уже прибыли на ночлег. Проведешь эту ночь, шагая вокруг вон той горы, а завтра пойдешь опять с нами. А то, что я хотел тебе сказать, – скажу позже.

Вечный Жид бросил на него угрожающий взгляд и скрылся в ближайшем ущелье.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Мы тронулись в путь довольно рано и, отъехав примерно две мили, увидели Вечного Жида, который, не заставляя повторять приказ дважды, протиснулся между моим конем и мулом Веласкеса и начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Клеопатра, став женой Антония, поняла, что удержать его при себе она сможет, скорее взяв на себя роль Фрины, чем Артемизии; эта женщина обладала удивительной способностью превращаться из прелестницы в трогательно нежную и даже верную супругу. Она знала, что Антоний со страстью предается наслаждениям, и постаралась привязать его к себе бесконечными ухищрениями кокетства.

Двор ее тотчас последовал примеру царской четы, город последовал примеру двора, а потом вся страна потянулась за городом, так что скоро Египет стал огромной ареной разврата. Бесстыдство проникло даже в некоторые еврейские общины.

Мой дед давно переехал бы в Иерусалим, но город только что захватили парфяне и прогнали Ирода, внука Антипы, которого Марк Антоний сделал позднее царем над Иудеей.

Дед мой, вынужденный оставаться в Египте, сам не знал, куда ему деваться, так как Мареотийское озеро, покрытое лодками, днем и ночью являло весьма непристойные картины. Наконец, выведенный из терпенья, он приказал замуровать выходящие на озеро окна и заперся у себя в доме с женой Мелеей и сыном, которого он назвал Мардохеем. Двери дома открывались только перед его верным другом Деллием. Так прошло несколько лет, и, когда Ирод был провозглашен царем Иудеи, дед мой вернулся к мысли о том, чтоб поселиться в Иерусалиме.

Однажды к моему деду пришел Деллий и сказал:

– Милый друг, Антоний и Клеопатра посылают меня в Иерусалим, и я пришел спросить, нет ли у тебя каких-нибудь поручений. Кроме того, прошу тебя: дай мне письмо к твоему тестю Гиллелю; я желал бы остановиться у него, хоть я уверен, что меня станут удерживать при дворе и не позволят мне остановиться у частного человека.

Мой дед, при виде человека, который едет в Иерусалим, залился горячими слезами. Он дал Деллию письмо к тестю и вручил ему двадцать тысяч дариков для покупки самого лучшего дома во всем городе.

Через три недели Деллий вернулся и сейчас же дал знать об этом моему деду, предупреждая, что важные дела при дворе позволят ему встретиться с дедом только через пять дней. В назначенный срок он явился и сказал:

– Прежде всего передаю тебе купчую на великолепный дом, который я приобрел у твоего собственного тестя. Судьи приложили к ней свои печати, и в этом отношении ты можешь быть вполне спокоен. Вот письмо от самого Гиллеля, который будет жить в доме до твоего приезда и за это время уплатит тебе за постой. Что касается самой моей поездки, то, признаюсь, я очень ею доволен. Ирода не было в Иерусалиме, я застал только его тещу Александру, которая позволила мне ужинать с ее детьми – Мариамной, женой Ирода, и юным Аристовулом, которого предназначили в первосвященники, но он должен был

уступить какому-то человеку из самых низших слоев. Не могу тебе выразить, до какой степени восхитила меня красота этой молодой женщины и этого юноши. Особенно Аристовул выглядит как полубог, сошедший на землю. Представь себе голову самой прекрасной женщины на плечах самого стройного мужчины. Так как я после своего возвращения только о них и говорю, Антоний решил призвать их ко двору.

– Конечно, – сказала Клеопатра, – советую тебе сделать это. Призови сюда жену царя иудейского: и завтра парфяне начнут хозяйничать в самом сердце римской провинции.

– В таком случае, – возразил Антоний, – пошлем хоть за ее братом. Если это правда, что юноша так хорош, назначим его нашим виночерпием. Ты знаешь, я не люблю, когда мне прислуживают рабы, и было бы очень приятно, чтобы мои пажи принадлежали к первым римским семействам, если уже нет сыновей варварского царского рода.

– Против этого я ничего не имею, – ответила Клеопатра. – Что же, пошлем за Аристовулом.

– Боже Израиля и Иакова, – воскликнул мой дед, – не верю ушам своим! Асмонеи, чистокровный отпрыск Маккавеев, преемник Аарона, – виночерпием у Антония, необрезанца, предающегося всяческому разврату! О Деллий, пора мне умирать. Раздеру одежды свои, облекусь во вретище, посыплю главу свою пеплом.

Мой дед сделал, как сказал. Заперся у себя, оплакивая несчастья Сиона и питаюсь только своими слезами. Он, конечно, погиб бы, сраженный этими ударами, если бы Деллий через несколько недель не постучал к нему в дверь и не сказал:

– Аристовул уже не будет виночерпием Антония: Ирод назначил его первосвященником.

Дед мой тотчас открыл дверь, возликовал при этой вести и вернулся к прежнему, семейному образу жизни.

Вскоре после этого Антоний отправился в Армению вместе с Клеопатрой, путившейся в путь с целью захватить Горную Аравию и Иудею.

Деллий тоже участвовал в этом путешествии и, вернувшись, рассказал моему деду все подробности. Ирод приказал заточить Александру в ее дворце за то, что она хотела бежать вместе с сыном к Клеопатре, которой страшно хотелось познакомиться с прекрасным первосвященником. Этот замысел был раскрыт неким Кубионом, и Ирод велел утопить Аристовула во время купания. Клеопатра настаивала на мщении, но Антоний возразил, что каждый царь – хозяин в своем царстве. Но, чтобы успокоить Клеопатру, подарил ей несколько городов, принадлежавших Ироду.

– За этим, – продолжал Деллий, – последовали другие события. Ирод получил в аренду от Клеопатры отнятые ею области. Для устройства этих дел мы поехали в Иерусалим. Наша царица хотела немного ускорить сделку, но что поделаешь, когда Клеопатре, к несчастью, уже тридцать пять лет, а Ирод до безумия влюблен в свою двадцатилетнюю Мариамну. Вместо того чтоб учтиво ответить на эти заигрывания, он собрал Совет и выразил намеренье задушить Клеопатру, уверяя, что Антонию она уже надоела и он не будет гневаться. Но Совет представил возражения в том смысле, что хотя Антоний в душе был бы этому рад, однако не упустит возможности отомстить; и на самом деле Совет был прав. Вернувшись домой, мы опять неожиданно узнали новости. В Риме Клеопатру обвиняют в том, что она околдовала Антония. Суд еще не начался, но должен скоро начаться. Что ты скажешь на все это, мой друг? Еще не раздумал переезжать в Иерусалим?

– Во всяком случае, не сейчас, – ответил мой дед. – Я не сумел бы скрыть моей приверженности к дому Маккавеев. А с другой стороны, я убежден, что Ирод будет использовать всякий удобный случай, чтобы погубить одного за другим всех Асмонеи.

– Раз ты остаешься, – сказал Деллий, – тогда предоставь мне приют у себя в доме. Со вчерашнего дня я оставил двор. Запремся вместе и выйдем только после того, как вся область станет римской провинцией, что, конечно, скоро произойдет. Мое богатство, составляющее тридцать тысяч дариков, я отдал на сохранение твоему тестю, который поручил мне передать тебе арендную плату за дом.

Мой дед с радостью согласился на предложение своего друга и замкнулся от внешнего мира еще больше, чем когда бы то ни было. Деллий иногда выходил из дома, приносил городские новости, а в остальное время преподавал греческую литературу молодому Мардохею, который впоследствии стал моим отцом. Часто читали также Библию, так как дед мой надеялся в конце концов обратить Деллия. Вы хорошо знаете, чем кончили Клеопатра и Антоний. Как и предвидел Деллий, Египет был превращен в римскую провинцию, но в нашем доме так глубоко укоренилось отчуждение от внешнего мира, что политические события не внесли никакой перемены в прежний образ жизни.

В то же время не было недостатка в новостях из Палестины: Ирод, вопреки всеобщим ожиданиям, не только не пал вместе со своим покровителем Антонием, но, наоборот, снискал благоволение Августа. Он получил обратно потерянные области, приобрел много новых, создал войско, казну, огромные запасы зерна, так что его уж стали называть Великим. На самом деле его можно было назвать, во всяком случае, если не великим, то счастливым, если бы семейные ссоры не омрачали блеск такого светлого жребия.

Как только в Палестине установилось спокойствие, мой дед вернулся к своему прежнему намерению переселиться туда вместе со своим дорогим Мардохеем, которому шел тогда тринадцатый год. Деллий тоже искренне привязался к своему ученику и совсем не хотел его оставлять, как вдруг из Иерусалима пришло письмо следующего содержания:

«Рабби Цедекия, сын Гиллея, недостойный грешник и последний в святом синаедрионе фарисеев, – Езекии, мужу сестры его Мелей, шлет привет.

Моровая язва, постигшая Иерусалим за грехи Израиля, взяла отца моего и старших братьев моих. Они теперь в лоне Авраамовом, причастники его бессмертной славы. Да истребит небо саддукеев и всех, кто не верит в воскресение из мертвых. Я был бы недостойн звания фарисея, если бы осмелился загрязнить свои руки присвоением чужого добра. Поэтому я тщательно проверил, не остался ли отец мой кому-нибудь должен; услышав же, что дом в Иерусалиме, который мы занимали в течение некоторого времени, принадлежал тебе, я обратился к судьям, но не узнал от них ничего, что подтверждало бы этот домысел. Дом, бесспорно, принадлежит мне. Да истребит небо злых. Я не саддукей.

Узнал я также, что один необрезанный по имени Деллий поместил когда-то у отца моего тридцать тысяч дариков, но, к счастью, я обнаружил, правда, немного испачканную, бумагу, которая, по моему разумению, должна быть распиской упомянутого Деллия.

К тому же человек этот был сторонником Мариамны и ее брата Аристовула, а значит – врагом нашего великого царя. Да истребит его небо вместе со всеми злыми и саддукеями.

Будь здоров, милый брат, обними за меня мою дорогую сестру Мелею. Хоть я был очень молод, когда ты женился на ней, но всегда храню ее в своем сердце! Кажется мне, что приданое, которое она принесла в твой дом, несколько превышает долю, ей причитающуюся, но мы поговорим об этом когда-нибудь в другой раз. Будь здоров, милый брат! Да направит тебя небо на путь истинного фарисея».

Дед мой и Деллий долго переглядывались с недоумением, – наконец Деллий первый нарушил молчание:

– Вот последствия удаления от света. Мы надеемся на спокойную жизнь, а судьба располагает иначе. Люди считают тебя засохшим деревом, которое можно по желанию ободрать или выкорчевать, червем, которого можно растоптать, – словом, бесполезным бременем на земле. В этом мире нужно быть молотом или наковальней, бить либо сдаться. Я был в дружеских отношениях с несколькими римскими префектами, которые перешли на сторону Октавиана, и, если б не пренебрег ими, меня теперь не посмели бы оскорблять. Но свет надоел мне, я отвернулся от него, чтобы жить с добродетельным другом, а теперь вот является какой-то фарисей из Иерусалима, отнимает у меня мое добро и говорит, что у него есть какая-то грязная бумага, которую он считает моей распиской. Для тебя потеря не имеет особенного значения, – дом в Иерусалиме составлял едва ли четвертую часть твоего имущества, – а я сразу потерял все и, будь что будет, сам поеду в Палестину.

При этих словах вышла Мелея. Ей сказали о смерти отца и двух старших братьев, а заодно и о недостойном поступке ее брата Цедекии.

Обычно в одиночестве все воспринимается гораздо сильнее. Бедную истомила какая-то неизвестная болезнь, которая через полгода свела ее в могилу.

Деллий уже совсем собрался в Иудею, как вдруг однажды вечером, возвращаясь пешком через квартал Ракотис, получил удар ножом в бок. Обернувшись, он узнал того самого еврея, который принес письмо от Цедекии. Он долго лечился от этой раны, а когда выздоровел, у него пропала охота ехать. Он решил сперва обеспечить себе покровительство сильных и стал думать о том, как бы напомнить о себе прежним своим покровителям. Но у Августа было правило оставлять царей самодержцами в их царствах, – значит, надо было выяснить, как Ирод относится к Цедекии, и с этой целью решено было послать в Иерусалим на разведку верного и толкового человека.

Через два месяца посланный вернулся и доложил, что звезда Ирода восходит с каждым днем все выше и что этот хитрый монарх привлек к себе симпатии как римлян, так и иудеев, воздвигая статуи Августа, в то же время обещая перестроить Иерусалимский храм по новому, более величественному плану, чем приводит народ в такое восхищение, что иные льстецы уже объявили его предсказанным пророками Мессией.

– Это слух, – говорил посланный, – пришелся очень по вкусу при дворе и уже вызвал появление секты. Новых сектантов называют иродианами, и во главе их стоит Цедекия.

Вы понимаете, что эти вести сильно озадачили моего деда и Деллия; но прежде чем продолжить рассказ, я должен сказать вам, что наши пророки говорили о Мессии.

Тут Вечный Жид вдруг замолчал и, кинув на каббалиста взгляд, полный презрения, промолвил:

– Нечистый сын Мамуна, адепт, более могущественный, чем ты, призывает меня на вершину Атласа. Прощай!

– Ты лжешь! – воскликнул каббалист. – Я обладаю гораздо большей властью, чем шейх Таруданта.

– Ты утратил свою власть в Вента-Кемаде, – возразил Вечный Жид, поспешно удаляясь, так что скоро совсем пропал из глаз.

Каббалист немного смутился, но – не без запинки – возразил:

– Уверяю вас, что хвастун не имеет представления о половине тех формул, которыми я владею, и узнает их только дорогой ценой. Но поговорим о другом. Сеньор Веласкес, ты хорошо следил за ходом его повествования?

– Конечно, – ответил геометр. – Я внимательно прислушивался к каждому слову, и, по моему, все, что он говорил, вполне согласно с историей. О секте иродиан говорится у Тертуллиана.

– Неужели сеньор так же силен в истории, как в математике? – перебил каббалист.

– Не вполне, – ответил Веласкес. – Однако, как я уже говорил, мой отец, ко всему прилагавший математические исчисления, считал, что ими можно пользоваться и в науке истории, а именно для обозначения, в какой степени вероятия находятся совершившиеся события по отношению к тем, которые могли совершиться. Он даже выдвинул свою теорию, так как, по его мнению, можно выражать человеческие деяния и страсти посредством геометрических фигур.

Поясню это примером. Отец рассуждал так: Антоний прибывает в Египет, раздираемый двумя страстями: честолюбием, которое влечет его к власти, и любовью, которая от нее отталкивает. Изобразим эти два влечения при помощи двух линий АВ и АС под каким угодно углом. Линия АВ, выражающая любовь Антония к Клеопатре, короче линии АС, так как, в сущности, в Антонии честолюбия было больше, чем любви. Допустим, отношение было как один к трем. Беру отрезок АВ и откладываю его три раза на линии АС, потом провожу параллели и диагональ, которая показывает мне самым точным образом новое направление, образуемое силами, действующими по направлению к В и С. Диагональ эта будет ближе к линии АВ, если мы предположим, что преобладает любовь, и продолжим

отрезок АВ. И наоборот, если предположим, что преобладает честолюбие, диагональ будет ближе к линии АС. (Если бы имело место только честолюбие, направление действия совпало бы с линией АС, как, например, у Августа, которому любовь была чужда и который, вследствие этого, хотя был наделен меньшей энергией, гораздо скорей достиг цели.) Так как, однако, страсти увеличиваются или уменьшаются постепенно, форма параллелограмма тоже должна претерпевать изменения, и при этом конец получающейся диагонали медленно движется по кривой линии, к которой можно применить теорию теперешнего дифференциального исчисления, которое прежде называли исчислением флюксий.

Правда, мудрый виновник моих дней считал такого рода исторические проблемы приятными забавами, оживляющими однообразие его собственных исследований; но так как правильность решений зависела от точности данных, отец мой, как я уже говорил, с горячим усердием собирал все исторические источники. Сокровище это долгое время было для меня недоступно, так же как и книги по геометрии, оттого что отец мой желал, чтоб я знал одни только сарабанды да менуэты и тому подобный вздор. К счастью, я добрался до шкафа и только тогда отдался занятиям историей.

– Позволь мне, сеньор Веласкес, – сказал каббалист, – еще раз выразить удивление, что ты одинаково сведущ и в истории и в математике: ведь одна из этих наук основана на соображении, а другая на памяти, и две эти духовные способности друг другу прямо противоположны.

– Осмелюсь с вами не согласиться, – возразил геометр. – Соображение помогает памяти, упорядочивая собранные ею материалы, так что в систематизированной памяти каждое понятие обычно предшествует возможным выводам. Но я не спорю, что как память, так и соображение могут быть действительно применены только к определенному кругу понятий. Я, например, прекрасно помню все, чему меня учили из точных наук, истории народов и естественной истории, и в то же время часто забываю о мимолетных отношениях с окружающими меня предметами или, проще говоря, не вижу предметов, попадающихся мне на глаза, и часто не слышу того, что мне кричат прямо в уши. На этом основании иные считают меня рассеянным.

– Верно, сеньор, – заметил каббалист, – теперь я понимаю, каким образом ты упал тогда в воду.

– Разумеется, – продолжал Веласкес, – я сам не знал, как очутился в воде в такую минуту, когда меньше всего предполагал. Но это происшествие очень меня радует – тем более, что оно дало возможность сохранить жизнь этому благородному юноше, капитану валлонской гвардии. При всем том я предпочел бы оказывать такие услуги как можно реже, потому что не знаю более противного ощущения, как наглотаться воды натошак.

Обменявшись несколькими фразами в том же роде, мы прибыли на место ночлега, где нас ждал уже приготовленный ужин. Ели с аппетитом. После ужина брат и сестра долго друг с другом беседовали. Я не хотел им мешать и пошел в малую пещеру, где мне была постлана постель.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Погода была восхитительная. Мы встали на восходе солнца и после легкого завтрака двинулись в дальнейший путь. Около полудня остановились и сели за стол или, вернее, вокруг разостланной на земле кожаной скатерти. Каббалист в отрывистых фразах дал понять, что не вполне доволен своей властью над потусторонним миром. После обеда он опять стал повторять то же самое, его сестра, понимая, что эти монологи должны наводить скуку на присутствующих, попросила Веласкеса, чтоб переменить тему разговора, продолжить рассказ о его приключениях, что тот и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛАСКЕСА

Я уже доложил вам о том, как я появился на свет и как отец мой, держа меня в объятиях, прочел надо мной геометрическую молитву и поклялся, что никогда не заставит меня учиться математике. Через шесть недель после моего рождения отец увидел входящее в гавань маленькое двухмачтовое судно, которое, бросив якорь, послало на берег шлюпку. Из нее тотчас вышел согбенный годами старик в придворном наряде покойного герцога Веласкеса, то есть в зеленом кафтане с золотыми и багряными отворотами и висящими рукавами, опоясанный галисийским поясом и при шпаге с темляком. Мой отец взял подозрительную трубу, и ему показалось, что он узнал Альвареса. Он не ошибся. Старик еле передвигал ноги. Отец побежал ему навстречу до самой пристани, оба упали друг другу в объятия и от волнения не могли долго промолвить ни слова. Потом Альварес объяснил отцу, что прибыл по поручению герцогини Бланки, которая уж давно живет в монастыре урсулинок, и вручил ему письмо такого содержания:

«Сеньор дон Энрике!

Несчастливая, послужившая причиной смерти родного отца и разрушившая счастье своего суженого, осмеливается напомнить о себе.

Терзаемая угрызениями совести, я предалась раскаянию, суровость которого должна была ускорить конец. Альварес объяснил мне, что смерть моя сделает герцога свободным, и муж мой, без всякого сомнения, вступит во второй брак, конечно, более счастливый в отношении потомства, чем со мной, а оставаясь в живых, я смогу хоть закрепить за тобой наследование нашего имущества. Я поняла, что он прав, и прекратила чрезмерный пост, сбросила власяницу и ограничила свое покаяние одиночеством и молитвой. Между тем герцог, предаваясь светским наслаждениям, почти каждый год болел, и не раз я думала, что он оставит тебя владельцем титулов и богатств, принадлежащих нашему дому. Но, видно, небо решило оставить тебя в неизвестности, столь не соответствующей твоим замечательным способностям.

Я узнала, что у тебя есть сын. Если я хочу теперь жить, то единственная причина этого – желание вернуть ему те преимущества, которые ты утратил по моей вине. Тем временем я пеклась как о твоей, так и о его участи. Аллодиальные владения нашего дома с древнейших времен всегда принадлежали младшей линии, но так как ты их не требовал, их присоединили к богатствам, предназначенным мне. Тем не менее это твоя собственность, и Альварес вручит тебе доход, полученный за пятнадцать лет, а также примет твои распоряжения относительно дальнейшего управления ими. Обстоятельства, вызванные некоторыми чертами характера герцога Веласкеса, не позволили мне снестись с тобой раньше.

Господь да пребудет с тобой, сеньор дон Энрике. Нет дня, чтобы я не возносила покаянных молитв и не молила небо благословить тебя и твою счастливую супругу. Ты тоже молись обо мне, а на письмо не отвечай».

Я вам уже говорил, какое действие оказывали на моего отца воспоминания, и вы можете себе представить, как это письмо сразу всколыхнуло их. Целый год не мог он заниматься любимым делом, только заботы жены, привязанность, которую он питал ко мне, а самое главное, общая теория уравнений, которой начали тогда заниматься геометры, сумели вернуть душе его силу и спокойствие. Рост доходов позволил ему увеличить библиотеку и физический кабинет; вскоре ему удалось даже устроить маленькую обсерваторию, оснащенную прекрасными инструментами. Нужно ли говорить, что он не замедлил удовлетворить врожденную склонность творить добро. Уверю вас, что я не оставил в Сеуте ни одного человека, который был бы достоин жалости и которому отец мой не постарался всеми способами обеспечить приличный доход. Я мог бы привести вам целый ряд, несомненно, очень интересных подробностей, но ведь я обещал рассказать вам о себе и не должен сбиваться в сторону от намеченной линии.

Насколько помню, первой страстью моей была любознательность. В Сеуте нет ни лошадей, ни телег, ни других таких же опасностей для детей, – поэтому мне позволяли

бегать по улицам куда вздумается. Я удовлетворял свою любознательность, по сто раз на день бегал в порт и обратно, входил даже в дома, в лавки, в оружейные склады, в мастерские, присматривался к работающим, путаясь среди носильщиков, расспрашивал прохожих, словом, всюду совал свой нос. Любознательность моя всех забавляла, всюду ее охотно старались удовлетворить – всюду, кроме родного дома.

Отец велел построить посреди двора отдельный павильон, в котором поместил библиотеку, физический кабинет и обсерваторию. Входить в этот павильон мне было запрещено; сначала это меня мало тревожило, но вскоре этот запрет обострил мое любопытство, превратился в могучее стрекало, толкнувшее меня на путь наук. Первой наукой, изучению которой я отдался, была та часть естественной истории, которая называлась конхологией. Отец часто ходил на морской берег, на одно место, окруженное скалами, где в штиль вода бывала прозрачная, как зеркало. Там он наблюдал нравы морских животных, а если находил красивую раковину, сейчас же нес ее домой. Дети – по природе своей подражатели, и я невольно стал конхологом и, наверно, долго занимался бы этой отраслью наук, если бы раки, морская крапива и морские ежи не отвратили меня от этих занятий. Я оставил естествознание и занялся физикой.

Отец мой, нуждаясь в ремесленнике для замены, починки или копирования инструментов, присылаемых ему из Англии, обучил этому искусству одного пушкаря, наделенного от природы соответствующими способностями. Я почти целый день проводил у этого обученного механика, помогая ему в работе. Я набрался там многих знаний; но какой толк, если мне не хватало первого и самого главного: умения читать и писать. Хотя мне исполнилось уже восемь лет, отец мой по-Прежнему твердил, что довольно, если я научусь подписывать свою фамилию и танцевать сарабанду. Жил тогда в Сеуте один немолодой уже священник, удаленный вследствие какой-то интриги из монастыря. Его всюду уважали. Он часто навещал нас. Почтенный пастырь, видя, что я так заброшен, сказал моему отцу, что меня необходимо обучить, по крайней мере, закону божию, и взял на себя эту задачу. Мой отец согласился, и падре Ансельмо под этим предлогом выучил меня читать, писать и считать. Я делал большие успехи, особенно в арифметике, в которой скоро превзошел своего учителя.

По двенадцатому году я уже имел для своего возраста большие знания, однако остерегался обнаруживать их перед отцом, если же иногда по неосторожности мне случалось делать это, он тотчас кидал на меня строгий взгляд и говорил:

– Учись сарабанде, сын мой, учись сарабанде, а все остальное брось: оно причинит тебе одни несчастья.

Тут мать делала мне знак молчать и направляла разговор в другую сторону.

Однажды за обедом, когда отец опять стал уговаривать меня, чтоб я посвятил себя Терпсихоре, в комнату вошел человек лет тридцати, одетый по французской моде.

Отвесив нам один за другим с дюжину поклонов, он хотел проделать пируэт, но при этом толкнул слугу с миской, которая вдребезги разбилась. Испанец стал бы рассыпаться в извинениях, но чужеземец нисколько не смутился. Он расхохотался, а потом объявил нам на скверном испанском языке, что его зовут маркиз де Фоленкур, что он был вынужден покинуть Францию, так как убил человека на дуэли, и что он просит нас приютить его, до тех пор пока не выяснится его дело.

Фоленкур еще не кончил, как отец вдруг стремительно вскочил из-за стола и сказал:

– Сеньор маркиз, ты тот человек, которого я давно ищу. Прошу тебя смотреть на мой дом как на свой собственный, распоряжайся в нем как хозяин, а за это не откажись только немного заняться воспитанием моего сына. Если он со временем станет хоть немного похож на тебя, ты сделаешь меня счастливейшим из отцов.

Если б Фоленкур мог догадаться, какая тайная мысль скрывается в этих словах отца, он, наверно, сделал бы кислую мину; но он понял приглашение буквально и был им, видимо, очень доволен; он стал держаться вдвое развязней, отметив красоту моей матери и преклонный возраст отца, который, несмотря на это, был счастлив и все время ставил его

мне в пример.

В конце обеда отец спросил маркиза, может ли тот выучить меня сарабанде. Вместо ответа учитель мой покатился со смеху, а потом, успокоившись наконец после такого веселья, сообщил, что этот допотопный танец никто давным-давно не танцует, а танцуют только паспье и бурре. При этих словах он вынул из кармана маленькую скрипицу, какие обычно носят учителя танцев, и стал наигрывать мелодию этих двух танцев. Когда он кончил, отец авторитетным тоном сказал ему:

– Сеньор маркиз, ты играешь на инструменте, чуждом для людей благородного происхождения, и можно подумать, что ты – учитель танцев по профессии. Впрочем, это не имеет значения, и, может быть, именно благодаря этому, ты сумеешь оправдать мои надежды. Прошу тебя завтра же начать занятия с моим сыном и в дальнейшем воспитать его на манер французского придворного.

Фоленкур признался, что действительно семейные несчастья принудили его на некоторое время заняться ремеслом учителя танцев, что тем не менее он благородного происхождения и поэтому вполне может быть ментором для юноши из знатной семьи. Было решено, что я завтра же начну брать уроки танцев и светских манер. Но прежде чем перейти к событиям этого несчастного дня, я должен передать вам беседу, которая еще в этот самый вечер была у моего отца с его тестем – доном Кадансой. Она до сих пор никогда не приходила мне на память, но сейчас я вспомнил ее всю и уверен, она доставит вам удовольствие.

В тот день любознательность не позволила мне отойти от моего нового учителя, я не пошел бегать по улицам; остался дома и, вертясь около отцовского кабинета, услышал, как отец громким голосом, возбужденно сказал тестю:

– В последний раз предупреждаю тебя, милый тесть: если ты не бросишь своих таинственных дел и не перестанешь посылать гонцов в глубь Африки, я буду вынужден сообщить о тебе министру.

– Но, милый зять, – возразил Каданса, – если ты желаешь проникнуть в эту тайну, ты можешь сделать это очень легко. Моя мать была из рода Гомелесов, их кровь течет в жилах твоего сына.

– Сеньор Каданса, – перебил мой отец, – я тут распоряжаюсь от имени короля и не имею ничего общего с Гомелесами и всякими их тайнами. Можешь быть уверен, что я завтра же уведомя министра о нашем разговоре.

– А ты, – сказал Каданса, – можешь быть уверен, что министр раз и навсегда запретит тебе мешаться в наши дела.

На этом их разговор кончился. Тайна Гомелесов страшно меня заинтриговала, я думал о ней весь остаток дня и часть ночи, но утром проклятый Фоленкур дал мне первый урок танцев, кончившийся совершенно иначе, чем предполагал мой отец.

Следствием этого урока было то, что я получил наконец возможность отдаться моим любимым занятиям математикой.

Тут каббалист прервал рассказ Веласкеса, объявив, что должен поговорить с сестрой кое о чем очень важном. Мы разошлись – каждый в свою сторону.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Мы снова стали блуждать по Альпухаре, наконец сделали привал и, поужинав, попросили Веласкеса продолжать рассказ о своей жизни, и он начал так:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛАСКЕСА

Отец пожелал сам присутствовать на моем первом уроке танцев, вместе с моей матерью. Фоленкур, ободренный таким лестным вниманием, совсем забыл, что представился нам как благороднорожденный, и начал пышным предисловием, восхваляя

хореографическое искусство, которое называл своей профессией. Затем он обратил внимание, что я держу ноги носками внутрь, и постарался объяснить, что позорная эта манера совершенно неприлична для дворянина. Я вывернул ступни и попробовал так ходить, хоть это грозило потерей равновесия. Однако Фоленкур этим не удовлетворился, он заставил меня ходить на цыпочках. Наконец, выведенный из терпенья, он со злостью взял меня за руку и, желая приблизить к себе, так сильно дернул, что я, потеряв равновесие, упал ничком и сильно ушибся. Вместо того чтоб извиниться, он пришел в бешенство и пустил в ход такие неуместные выражения, которые сам осудил бы, если б лучше знал по-испански. Привыкнув к обычной учтивости жителей Сеуты, я решил, что нельзя пропускать такие оскорбления безнаказанно. Я смело подошел к учителю танцев и, выхватив у него из рук скрипицу, разбил ее вдребезги, поклявшись, что не желаю ничему обучаться у такого невежи. Отец при этом не сказал ни слова, а молча встал, взял меня за руку, отвел в маленькую комнатку в конце двора и запер меня там, сказав, что я выйду отсюда, только когда у меня появится охота танцевать.

Воспитанный на полной свободе, я сперва не мог привыкнуть к заключению и долго рыдал. Обливаясь слезами, я устремил взгляд к единственному окну, которое было в комнатке, и начал считать оконницы. Их оказалось двадцать шесть в длину и столько же в ширину: окно было квадратное. Я вспомнил уроки арифметики падре Ансельмо, знания которого не простирались дальше умножения.

Я помножил число оконниц в ширину окна на их число в высоту и с удивлением обнаружил, что у меня получилось подлинное количество их. Рыдания прекратились, на сердце отлегло. Я повторил подсчет, пропуская один, а потом два ряда квадратов – раз по вертикали, потом по горизонтали. Тут я понял, что умножение есть лишь многократное сложение и что поверхности так же поддаются измерению, как и расстояния. Я проверил это на каменных плитах, которыми была выложена моя комнатка: и тут результат полностью подтвердил мои выводы. Больше я уже не плакал: сердце мое колотилось от радости; даже сейчас не могу говорить об этом без волнения.

Около полудня мать принесла мне черного хлеба и кувшин с водой. Она стала заклинять меня со слезами на глазах, чтобы я уступил желанию отца и начал брать уроки у Фоленкура. Когда она кончила свои уговоры, я нежно поцеловал ее руку и попросил, чтобы она прислала мне бумагу и карандаш и больше не тревожилась о моей судьбе, так как я не желаю ничего лучшего. Мать ушла удивленная и прислала, что я просил. Тогда я с несказанным пылом отдался вычислениям, убежденный, что каждое мгновение совершаю самые важные открытия; и в самом деле, все эти свойства чисел были для меня настоящими открытиями, так как я до сих пор не имел о них ни малейшего представления.

Между тем меня стал донимать голод; я разломил булку и обнаружил, что мать вложила в нее жареного цыпленка и кусок ветчины. Это проявление заботы подняло мое настроение, я с воодушевлением вернулся к своим подсчетам. Вечером мне принесли свечу, и я продолжал свои занятия до поздней ночи.

Утром я разделил стороны квадрата пополам и убедился, что умножение половины на половину дает в произведении четверть; я разделил ту же самую сторону на три части и получил одну девятую; так получил я первые понятия о дробях. Еще больше утвердился в них, умножив два с половиной на два с половиной, так как, помимо квадрата двух, получил полосу площадью в две с четвертью.

Продолжая свои исследования в том же направлении, я обнаружил, что умножая данное число на самое себя и возводя произведение в квадрат, получаем тот же результат, что и умножая это число четырежды на самое себя.

Все эти открытия не были выражены алгебраически, так как я не имел ни малейшего понятия об этой науке. Я придумывал специальные знаки, заимствованные от сочетаний квадратов моего окна, которые тем не менее отличались ясностью и приятной формой.

Наконец на шестнадцатый день мать принесла мне обед и сказала:

– Милый сынок, я пришла к тебе с доброй вестью: оказывается, Фоленкур – дезертир, и

твой отец, который терпеть не может дезертиров, велел посадить его на корабль и отослать во Францию. Я надеюсь, что ты скоро выйдешь из заключения.

Я отнесся к этим словам равнодушно, что удивило мою мать. Вскоре после этого пришел отец, подтвердил сказанное ею и прибавил, что написал своим друзьям – Кассини и Гюйгенсу, – прося их прислать ему ноты и описание танцев, принятых теперь в Париже и Лондоне. Да он и сам прекрасно помнит, как его брат Карлос поворачивался на каблуках, входя в гостиную, и твердо решил научить меня прежде всего этому.

Тут отец мой заметил торчащую у меня из кармана бумагу и взял ее в руки. Сперва он страшно удивился множеству цифр и в особенности совершенно неизвестных ему знаков. Я тут же познакомил его со всеми своими занятиями. Удивление его еще более усилилось, но я заметил, что он отнесся к моим занятиям без раздражения. Познакомившись с моими вычислениями, он сказал:

– Сын мой, если бы к этому окну, имеющему двадцать шесть квадратов в каждом из двух направлений, ты прибавил два у основания, но пожелал бы в то же время сохранить форму квадрата, сколько всего получилось бы квадратов?

Я ответил не колеблясь:

– У меня получилось бы по вертикали и горизонтали две полосы по пятьдесят два квадрата каждая и, кроме того, в углу малый квадрат из четырех квадратики, соприкасающийся с обеими полосками.

Эти слова привели отца в восхищение, которое он, однако, постарался скрыть. Он сказал:

– Ну, а если бы ты прибавил к основанию окна бесконечно узкую линию, какой получился бы квадрат?

Минуту подумав, я ответил:

– У меня получилось бы две полосы, равные вертикальной стороне окна, но бесконечно узкие, а что касается углового квадрата, он был бы так мал, что я просто не могу себе его представить.

Тут отец упал на стул, сложил руки, поднял глаза к небу и сказал:

– Господи боже, он сам догадался о законе бинома, и если я не вмешаюсь, он, того и гляди, откроет все дифференциальное исчисление.

Я испугался, увидев, в каком состоянии отец, развязал ему шейный платок и стал звать на помощь. Наконец он пришел в себя и, прижав меня к сердцу, сказал:

– Дитя мое, милое дитя мое, брось вычисления, учись сарабанде, друг мой, лучше учись сарабанде.

О дальнейшем заключении моем не было и речи. В тот же вечер я обошел вокруг укреплений Сеуты, повторяя на ходу: «Он сам догадался о законе бинома, он сам догадался о законе бинома?» Могу смело сказать, что с тех пор я с каждым днем делал все новые успехи в математике. Отец поклялся, что никогда не будет учить меня ей, но Однажды я нашел у себя на ночном столике «Всеобщую арифметику» дона Исаака Ньютона, и, по-моему, это отец нарочно положил ее там. Порой я обнаруживал также, что дверь в библиотеку открыта, и никогда не упускал случая этим воспользоваться.

Но время от времени отец возвращался к своему прежнему намерению сделать из меня светского человека и приказывал мне, входя в комнату, вертеться на пятке. При этом он напевал себе под нос какой-нибудь мотив, делая вид, будто не замечает моих неловких движений, а потом, заливаясь слезами, говорил:

– Дитя мое, господь бог не создал тебя нахалом, жизнь твоя будет не счастливей моей.

Через пять лет после моего столкновения с Фоленкуром моя мать забеременела и родила дочку, которую называли Бланкой, в честь прекрасной, хоть и слишком легкомысленной герцогини Веласкес. Хотя эта сеньора запретила моему отцу писать ей, надо было все-таки сообщить ей о рождении дочери. Вскоре пришел ответ, разбредивший старые раны, но отец уже сильно постарел, и возраст притупил в нем живость чувств.

После этого прошло десять лет, однообразие которых не нарушило ни одно событие.

Жизнь мою и моего отца услаждали лишь новые познания, с каждым днем все более обогащавшие наши умы. Отец отказался даже от прежнего обращения со мной. Поскольку я не от него научился математике и он сделал все от него зависящее, чтоб я только умел танцевать сарабанду, он, не имея за что себя упрекнуть, теперь охотно беседовал со мной, особенно о точных науках. Беседы эти обычно еще больше разжигали мой пыл и удваивали мое прилежание, но в то же время, как я уже говорил, поглощая все мое внимание, развивали рассеянность. За этот недостаток порой приходилось дорого платить: однажды, – я потом вкратце расскажу, как было дело, – выйдя из Сеуты, сам не знаю как, я попал к арабам.

Между тем сестра моя с каждым днем становилась все красивей и привлекательней, и мы могли бы жить вполне счастливо, если б могли сохранить мать, которую вырвала из наших объятий неумолимая болезнь. Отец принял тогда в дом сестру покойной жены – донью Антонию де Понерас, двадцатилетнюю молодую женщину, за полгода перед тем овдовевшую. Она была дочерью моего деда от второго брака. Дон Каданса, выдав дочь замуж, оказался в одиночестве и решил снова жениться, но, прожив шесть лет со второй женой, потерял и ее: от этого брака осталась девочка – на пять лет моложе меня. Став взрослой, она вышла замуж, за сеньора де Понерас, который умер, не прожив с ней и года.

Моя молодая красивая тетя поселилась в комнате моей матери и стала управлять домом. Особенно заботилась она обо мне: раз двадцать на день входила ко мне в комнату, спрашивая, не хочу ли я шоколаду, лимонаду или чего-нибудь такого.

Эти частые визиты были мне неприятны, мешая моим вычислениям. Если, бывало, случалось, что мне не мешала донья Антония, то это делала ее служанка. Эта девушка была тех же лет, что донья Антония, и такого же нрава; звали ее Марикой.

Скоро я заметил, что сестра моя не любит ни госпожу, ни служанку. Я разделял ее чувства, единственной причиной чему с моей стороны было раздражение назойливостью этих женщин. Конечно, им не всегда удавалось помешать мне: обычно я, при появлении одной из них, подставлял условные величины и, только оставшись снова один, продолжал свои вычисления.

Однажды, когда я был занят поисками одного логарифма, Антония вошла ко мне в комнату и села рядом со мной в кресло у стола. Она стала жаловаться на жару, скинула шаль с плеч, сложила ее и повесила на ручку своего кресла. Видя, что на этот раз она решила посидеть подольше, я прервал свои вычисления на четвертой средней пропорциональной и стал размышлять о природе логарифмов и о невероятном труде, который составление таблиц потребовало, наверно, у знаменитого барона Непера. Тогда Антония, чтобы оторвать меня, встала, закрыла мне глаза руками и сказала:

– Посмотрим, сможешь ли ты и теперь вычислять, сеньор геометр?

Слова тети показались мне прямым вызовом. Так как я последнее время много занимался таблицами логарифмов и знал их, можно сказать, наизусть, мне пришла в голову мысль разложить число, логарифм которого я искал, на три сомножителя. Я нашел три таких логарифма, которые мне были известны, поспешно сложил их и вдруг, вырвавшись из рук Антонии, написал весь логарифм полностью до десятой цифры.

Антония страшно на это рассердилась и ушла, бросив с возмущением:

– Какие глупцы эти геометры!

Может быть, она хотела этим сказать, что мой метод неприменим к простым числам, так как они делятся только на единицу. В этом отношении она была права, однако мой метод был удачен, и я, безусловно, не заслуживал названия глупца. Вскоре после этого пришла ее служанка Марика, которая тоже хотела подразнить меня, но я был так взбешен замечанием ее госпожи, что без всяких церемоний выпроводил ее.

Тут я подхожу к тому периоду своей жизни, когда я дал своим мыслям новое направление, сосредоточив их на одной цели. Вы найдете в жизни каждого ученого такое мгновение, когда он, потрясенный истиной какого-нибудь положения, изучает его следствия и возможные применения, развивая его в упорядоченную систему. В такое время он удваивает смелость и усилия, возвращается к исходному пункту и восполняет недостатки

первоначальных понятий. Размышляет над каждым положением в отдельности, рассматривает его со всех сторон, потом соединяет их все вместе и приводит в порядок. Если даже ему не удастся построить систему или удостовериться в истинности найденного им положения, то, во всяком случае, он становится мудрей, чем когда приступал к работе, и приобретает определенные знания, о возможности которых ранее вовсе не подозревал. И для меня наступила такая минута, обстоятельство же, которое натолкнуло меня на это, было такое.

Однажды вечером, когда я после ужина только что кончил решение очень сложной задачи из области дифференциального исчисления, ко мне пришла тетя Антония в одной рубашке.

– Милый племянник, – сказала она, – свет у тебя в комнате не дает мне уснуть. Я вижу, что математика – прелестная наука, и хочу, чтобы меня ей научили.

Не видя иного выхода, я согласился. Взял доску и объяснил ей две аксиомы Евклида; только что хотел перейти к третьей, как Антония вдруг вырвала у меня доску и закричала:

– Несносный педант, неужто и математика до сих пор не научила тебя, откуда берутся дети?

Сперва эти слова показались мне неуместными, но, подумав, я пришел к мысли, что она, видимо, хотела узнать у меня, нет ли общей формулы, которая соответствовала бы всем способам размножения, существующим в природе, от кедра до водоросли и от кита до живых существ, видимых лишь в микроскоп. Тут я вспомнил свои наблюдения над несходством умственного развития у животных, причину которого находил в различии способов размножения, в несходных условиях развития зародыша и в неодинаковой пище. Это различие в умственном развитии, выраженное восходящими или нисходящими рядами, вернуло меня опять в область математики. Одним словом, мне пришлось в голову отыскать общую формулу для всего животного царства, определяющую деятельность одного и того же рода, но разной ценности. Воображение мое разыгралось, я решил, что сумею установить геометрическое место и границу каждого нашего понятия и каждой вытекающей из этих понятий деятельности, короче говоря, применить математическое исчисление ко всей системе природы. Измученный напором мыслей, я почувствовал потребность подышать свежим воздухом: вышел на крепостной вал и обежал вокруг города три раза, сам не зная, что делаю.

Наконец я немного успокоился; уже начало светать, надо было записать кое-какие выводы, и, записывая на ходу, я направил свои шаги к дому, то есть, вернее, – у меня было такое впечатление, что я иду домой. А подучилось совсем не то: вместо того чтоб повернуть направо от выступающего вперед бастиона, я пошел налево и, через потерну для вылазок, вышел ко рву. Еще не совсем рассвело, и было плохо видно, что я пишу. Мне хотелось скорей домой, и я ускорил шаги, уверенный, что иду в нужном направлении, тогда как на самом деле шел по скату для переброски орудий во время вылазки и находился уже на предполье крепости.

Но я вовсе не замечал своей ошибки; не обращая никакого внимания на окружающие предметы, я бежал, не останавливаясь, выводя каракули на табличках и все время удаляясь от города. Наконец, измученный, сел и совсем погрузился в вычисления.

Через некоторое время я поднял глаза и увидел, что нахожусь среди арабов; но так как я немножко знал их язык, довольно распространенный в Сеуте, я сказал им, кто я, и попросил, чтоб они отвели меня к моему отцу, который не преминет дать им щедрый выкуп. Слово «выкуп» всегда приятно ушам арабов; окружив меня, они повернулись с улыбкой к вождю племени, видимо ожидая от него ответа, сулящего им богатую поживу.

Шейх долго размышлял, степенно поглаживая бороду, потом сказал:

– Слушай, молодой назорей, мы знаем твоего отца как человека богобоязненного; слышали кое-что и о тебе. Говорят, ты такой же добрый, как твой отец, только господь бог отнял у тебя часть твоего разума. Но пускай это тебя не огорчает. Бог велик и дает людям или отнимает у них разум по воле своей. Помешанные – живое доказательство могущества

божьего и ничтожества разума человеческого. Помешанные, не ведающие ни зла, ни добра, изображают нам бывшее состояние человеческой невинности. Они стоят на первой ступени святости. Мы называем их марабутами, как наших святых. Все это составляет основу нашей веры, и мы совершили бы грех, потребовав за тебя выкуп. Мы отведем тебя на ближайший испанский форпост со всем уважением и почетом, какие подобает оказывать подобным тебе.

Признаюсь, речь шейха привела меня в великое смущение.

«Как же так? – подумал я. – Для того ли я, следуя Локку и Ньютону, дошел до крайних пределов человеческого познания и сделал несколько уверенных шагов в безднах метафизики, поверяя основы первого с помощью расчетов второго, чтобы меня после этого объявили помешанным? Причислили к существам, едва ли принадлежащим к роду человеческому? Пропади пропадом дифференциальное исчисление и всякое интегрирование, на которые я возлагал все свои надежды».

С этими словами я схватил таблички и разбил их вдребезги; потом, придя в еще большее отчаянье, закричал:

– Ах, отец мой, ты был прав, желая учить, меня сарабанде и всяким пошlostям, какие только напридумывали люди!

После чего стал невольно повторять некоторые движения сарабанды, как обычно делал мой отец, вспоминая свои прежние несчастья.

Между тем арабы, видя, что я разбил таблички, на которых только что с таким рвением писал, и начинаю танцевать, с благоговеньем и состраданьем закричали:

– Хвала господу! Велик господь! Хамдуллах! Аллах керим!

Потом ласково взяли меня за руки и отвели на ближайший испанский форпост.

Когда Веласкес дошел до этого места, он показался нам страшно угнетенным и рассеянным; видя, что ему трудно продолжать повествование, мы попросили его отложить это до завтра.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Мы продолжали свой путь среди живописной, но пустынной местности. При переходе через одну гору я отделился от каравана, и мне показалось, будто я слышу стоны в глубине густо заросшей долины, тянущейся вдоль дороги, по которой мы ехали. Стоны усилились, я спешился, привязал лошадь, обнажил шпагу и пустился в чашу. Чем ближе я подходил, тем, казалось, дальше удаляются стоны; в конце концов я вышел на открытое место, где оказался среди восьмерых или десятерых людей, вооруженных мушкетами, нацеленными на меня.

Один из них крикнул, чтоб я отдал ему шпагу; вместо ответа я кинулся к нему, чтобы пронзить его насквозь, но он положил мушкет на землю, словно сдаваясь, и предложил мне капитулировать, требуя от меня каких-то обещаний. Я ответил, что не стану ни капитулировать, ни давать никаких обещаний.

В эту минуту слышались крики моих спутников, звавших меня.

Главарь шайки (наверно, я не ошибся) сказал мне:

– Сеньор кавалер, тебя зовут, мы не можем ждать ни минуты. Через четыре дня изволь оставить табор и ступай по направлению на запад; ты встретишь людей, которые сообщат тебе важную тайну. Стоны, которые ты слышал, были только хитростью, чтобы заманить тебя к нам. Не забудь же явиться вовремя.

После этого он сделал легкий поклон, свистнул и исчез вместе с товарищами. Я присоединился к каравану, но не почел нужным рассказывать о своей встрече. Мы рано прибыли на ночлег и после ужина попросили Веласкеса довести свой рассказ до конца, что он и сделал, начав так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛАСКЕСА

Я рассказал вам, каким образом, рассматривая общий порядок мироздания, решил, что

нашел математические отношения, никому дотоле не известные. Сказал и о том, как моя тетя Антония своим нескромным и неуместным вопросом заставила мои мысли собраться как бы в фокус и упорядочиться в систему. Описал, наконец, и то, как, принятый за помешанного, я испытал падение с высшей точки духовного взлета на самое дно безразличия. Теперь признаюсь, что это состояние угнетения было долгим и мучительным. Я не решался поднять глаза на людей, – мне все казалось, что ближние мои сговорились, чтобы меня отталкивать и унижать. С отвращением глядел я на книги, доставившие мне столько отрадных минут: теперь я видел в них только бессмысленный набор слов. Не притрагивался я больше к табличкам, не производил вычислений, нервы моего мозга расслабили, утратили всю свою упругость, и у меня больше не было сил мыслить.

Отец заметил мою подавленность и стал допытываться причины. Я долго упорствовал, но в конце концов повторил ему слова арабского шейха и рассказал о скорби, терзающей меня с того мгновенья, как меня назвали помешанным. Отец повесил голову и горько заплакал. После долгого молчанья он устремил на меня взгляд, полный соболезнования, и сказал:

– Ах, сын мой, тебя только принимают за помешанного, а я на самом деле был им целых три года. Твоя рассеянность и моя любовь к Бланке – это не главные поводы наших неприятностей; беды наши имеют более глубокие корни. Природа, бесконечно изобретательная и разнообразная в своих проявлениях, любит попирать свои самые твердые правила; так, личный интерес является рычагом всякой человеческой деятельности, но вместе с тем среди массы людей порою встречаются исключения, которым корыстолюбие чуждо, они направляют поток своих мыслей и стремлений вовне. Одни питают страсть к наукам, другие – к общему благу; они поддерживают чужие открытия, как будто сделали их сами, или спасительные для государства законы, как будто сами имеют от них пользу! Привычка забывать о самих себе решает их участь; они не умеют смотреть на людей как на средства для достижения своего благополучия, а когда успех стучится к ним в дверь, они не помышляют о том, чтоб открыть ее... Но мало таких, которые умеют забывать о самих себе. Ты найдешь корысть в советах, которые тебе будут давать, в услугах, которые тебе будут оказывать, в знакомствах, которых ищут, в дружеских связях, которые устанавливают. Проникнутые личным интересом, хотя бы самым отдаленным, они равнодушны ко всему, что их не касается. Встретив на своем пути человека, который ставит свой личный интерес ни во что, они не могут его понять, объясняют это всякими задними мыслями, лицемерием или безумием, исключают такого человека из своей среды, объявляют подлецом и ссылают на пустынные африканские скалы.

Сын мой, оба мы принадлежим к этому проклятому племени, но и нам ведомы наслаждения, о которых я должен тебе сказать. Я ничего не жалел, чтобы сделать из тебя вертопраха и глупца, но небу не угодны были мои усилия, и оно одарило тебя чувствительной душой и ясным разумом. Я обязан открыть тебе радости нашего житья-бытья: они не шумны и не играют мишурным блеском, но чисты и упоительны. Как был я счастлив втайне, когда дон Исаак Ньютон похвалил одну из моих безымянных работ и захотел непременно узнать автора. Я не нарушил своего инкогнито, но, ободренный для новых усилий, обогатил свой ум множеством дотоле неизвестных мне понятий, был переполнен ими, не мог удержать их в себе, выбегал из дому, чтобы провозгласить их скалам Сеуты, вверял их всей природе и приносил в жертву Творцу. Воспоминанье о моих мученьях примешивало к этим возвышенным чувствам вздохи и слезы, которые тоже томили меня не без приятности. Они напоминали мне, что вокруг меня – несчастья, которые я могу облегчить; я рождался мыслью с замыслами Провиденья, с делами Зиждителя, с успехами человеческого духа. Мой ум, моя личность, моя судьба не представлялись мне как нечто частное, а входили в состав единого великого целого.

Так прошел возраст пылких порывов, после чего я опять понял самого себя. Нежные заботы твоей матери сто раз на день убеждали меня в том, что я – единственный предмет ее привязанности. Дух мой, дотоле замкнутый в самом себе, стал доступен чувству

благодарности, сладостному ощущению трогательно-дружной совместной жизни. Мелкие события детских лет твоих и твоей сестры поддерживали во мне огонь сладчайших душевных волнений.

Теперь мать твоя живет только в моем сердце, и разум мой, обессиленный возрастом, не может ничего прибавить к сокровищнице человеческого знания; но я с радостью вижу, как сокровищница эта с каждым днем все больше пополняется, и я мысленно слежу за этим ростом. Занятие, связующее меня с общим умственным движением, не дает мне думать о бессилии – печальном спутнике моего возраста, и я пока еще не знал скуки жизни. Так что видишь, сын мой, что и у нас есть свои радости, а если б ты стал вертопрахом, как я того желал, у тебя были бы свои огорчения.

Альварес, когда был здесь, рассказывал мне о моем брате, и его рассказ возбуждал скорей жалость к нему, нежели зависть. «Герцог, – говорил он, – прекрасно знает двор, легко расплетает любые интриги; но всякий раз, желая устремиться к высшим чинам, он чувствует, что нет у него крыльев для полета. Он был послом и, говорят, представлял своего короля и господина со всем подобающим достоинством, но при первом же осложнении его пришлось отозвать. Тебе известно также, что он входил в кабинет министров и исполнял свои обязанности не хуже остальных, но, несмотря на все старания подчиненных, стремившихся по мере возможности облегчить его задачу, не справился со своими обязанностями и вынужден был уйти в отставку. Теперь он уже окончательно потерял всякое влияние и вес, но у него есть способности – придумывать пустячные поводы, которые позволяют ему приближаться к трону и показывать всему свету, что он в фаворе. При всем том его томит скука; у него столько возможностей избавиться от нее, но он постоянно изнемогает под железной дланью этого чудовища. Правда, он освобождается от нее, занимаясь самим собой, но это повышенное себялюбие сделало его таким раздражительным при малейшем противоречии, что жизнь стала для него тяжестью. Между тем частые болезни говорили ему о том, что этот единственный предмет его забот может легко выскользнуть у него из рук, и эта мысль отравила все его наслаждения...» Вот, собственно, все, что рассказал мне о нем Альварес, и я сделал отсюда вывод, что я в своей безвестности был, может быть, счастливей, чем мой брат среди отнятых у меня жизненных благ.

Тебя, милый сын мой, жители Сеуты считают слегка помешанным: это следствие их темноты; но если ты когда-нибудь отправишься в свет, тогда только узнаешь ты несправедливость человеческую, и против нее-то придется тебе вооружиться. Наилучшим средством, может быть, было бы противопоставить оскорбление оскорблению и клевету клевете, то есть сразиться с несправедливостью ее собственным оружием, но уметь бороться нечестными средствами не свойственно людям нашего сорта. И ты, почувствовав себя притесненным, отойди, замкнись в себе, насыщайся богатствами своего собственного духа, и тогда вновь обретешь счастье.

Слова отца сильно на меня подействовали, я опять ободрился и возобновил работу над своей системой. Тогда-то начала с каждым днем усиливаться моя рассеянность. Я редко слышал, что мне говорят, за исключением последних слов, которые глубоко врезались мне в память. Отвечал я правильно, но почти всегда через час либо два, после того как спросили. Часто также направлялся я неизвестно куда и правильно бы сделал, если б ходил с поводырем, подобно слепцу. Но все эти несуразицы длились лишь до тех пор, пока я более или менее не упорядочил свою систему. После этого чем меньше уделял я внимания работе, тем с каждым днем все меньше впадал в рассеянность, и теперь смело могу сказать, что почти совсем вылечился.

– Мне казалось, сеньор, – промолвил каббалист, – что иногда ты еще впадаешь в рассеянность, но раз ты утверждаешь, что вылечился, позволь мне первым тебя поздравить.

– Сердечно благодарю, – ответил Веласкес. – Не успел я заключить построение своей системы, как одно непредвиденное обстоятельство так изменило мою судьбу, что теперь мне будет трудно, не говоря, – создать систему, но хотя бы посвятить жалкие десять –

двенадцать часов подряд просто вычислению. Коротко сказать, небу было угодно, чтобы я стал герцогом Веласкес, испанским грандом и владельцем огромного состояния.

– Как же это, герцог? – перебила Ревекка. – Ты упоминаешь об этом как о чем-то побочном в своем жизнеописании? Я думаю, любой другой на твоём месте начал бы с сообщения об этом.

– Я согласен, – возразил Веласкес, – что это коэффициент, умножающий личные достоинства, но я подумал, что о нем не надо упоминать, пока к нему не подведет ход событий. Вот что мне осталось еще сообщить.

Четыре недели тому назад в Сеуту приехал Диего Альварес, сын того Альвареса, с письмом от герцогини Бланки к моему отцу. Письмо было следующего содержания.

«Сеньор дон Энрике!

Из этого письма ты узнаешь, что, наверно, бог скоро призовет к себе твоего брата, герцога Веласкеса. Закон испанского дворянства не позволяет, чтобы ты наследовал после младшего брата; поэтому имущество и титулы переходят к твоему сыну. Я счастлива, что после сорока лет раскаянья я смогу вернуть ему богатства, которых лишило тебя мое легкомыслие. Правда, я не могу вернуть тебе славу, которую ты приобрел бы благодаря своим способностям, но оба мы теперь стоим у порога вечной славы и земная уже не может нас интересовать. В последний раз прости грешную Бланку и пришли к нам сына, которого тебе даровало небо. Герцог, у одра которого я сижу вот уже два месяца, хочет видеть своего наследника.

Бланка Веласкес».

Должен признаться, письмо это очень обрадовало всех жителей Сеуты, – так они любили меня и моего отца; но я был далек от того, чтобы разделить общее веселье. Сеута была для меня целым миром, я выходил за ее пределы только мысленно, утопая в мечтах; если же когда-нибудь кидал взгляд за рвы, на широкую равнину, населенную маврами, то смотрел на нее просто как на пейзаж; так как мне нельзя было ходить туда гулять, мне казалось, что эти обширные пространства созданы только для обозрения. И что бы я стал делать в другом месте? Во всей Сеуте не было такой стены, на которой я не нацарапал бы какого-нибудь уравнивания, такого угла, где не предавался бы размышленьям, результаты которых переполняли меня радостью. Правда, мне надоедали порой тетя Антония и ее служанка Марика, но какое значение имели эти мелкие неудобства по сравнению с тем, на что я был обречен в будущем. Без долгих раздумий, без вычислений я не представлял для себя счастья. Вот какие мысли были в голове моей, когда я покидал Сеуту.

Отец проводил меня до самого берега и там, возложив руки мне на голову и благословив меня, сказал:

– Сын мой, ты увидишь Бланку. Она – уж не прежняя дивная красавица, которая должна была составить гордость и счастье твоего отца. Ты увидишь черты, разрушенные возрастом, искаженные раскаянием, – зачем только так долго оплакивала она ошибку, которую отец давно ей простил? А что касается меня, я никогда не жалел о происшедшем. Правда, я не служил королю в почетной должности, но зато за сорок лет, проведенных среди этих скал, содействовал счастью нескольких порядочных людей. Они всецело обязаны благодарностью Бланке, часто слышали о ее добродетели и все благословляют ее.

Отец мой больше не мог говорить, – слезы заставили его замолчать. Все жители Сеуты пришли меня провожать, во всех взглядах можно было прочесть печаль расставанья, смешанную с радостью, вызванной известием о такой блестящей перемене моей судьбы.

Мы подняли паруса и на другой день высадились в порту Алхесирас, откуда я отправился в Кордову и дальше, на ночлег, в Андухар. Тамошний трактирщик рассказал мне какие-то необычайные истории о духах и оборотнях, которые я совсем не слушал. Я переночевал у него и на другой день рано поехал дальше. Со мной было двое слуг: один ехал впереди меня, другой позади. Угнетенный мыслью, что в Мадриде у меня не будет времени

для работы, я достал свои таблички и занялся вычислениями, которых еще не хватало в моей системе.

Я ехал на муле, ровный, широкий шаг которого благоприятствовал этому занятию. Не помню, сколько времени провел я таким образом, как вдруг мул мой остановился. Я находился у подножья виселицы с двумя повешенными, чьи лица, казалось, кривились, наполняя меня ужасом. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного из моих слуг. Стал изо всех сил звать их, но напрасно. Тогда я решил ехать дальше прямой дорогой, открывавшейся передо мной. Уже наступила ночь, когда я подъехал к трактиру, просторному и хорошо построенному, но заброшенному и пустому.

Я поставил мула в конюшню, вошел в дом, где увидел остатки ужина, а именно – паштет из куропаток, хлеб и бутылку аликанте. Во рту у меня с самого Андухара не было маковой росинки, и я решил, что голод дает мне право на паштет, оставшийся по какой-то причине без владельца. К тому же мне страшно хотелось пить, и я залил жажду, правда, может быть, слишком порывисто, так что вино ударило мне в голову, но я заметил это слишком поздно.

В комнате стояла недурная постель; я разделся, лег и заснул. Вдруг, не знаю из-за чего, я проснулся и услышал, как часы пробили полночь. Я подумал, что неподалеку, наверно, какой-нибудь монастырь, и решил сходить туда завтра.

Вскоре после этого послышался шум во дворе; я подумал, что это вернулись мои слуги, но каково было мое удивление, когда я увидел на пороге тетю Антонию вместе с ее наперсницей Марикой. Последняя несла фонарь и две свечи, а тетя держала в руке бумажный свиток.

– Милый племянник, – промолвила она, – твой отец прислал нас сюда для того, чтоб мы вручили тебе важные документы.

Я взял свиток и прочел надпись: «Доказательство квадратуры круга».

Мне было хорошо известно, что отец мой никогда не занимался этой мнимой проблемой. С удивлением развернул я свиток, но тут же с возмущением обнаружил, что воображаемая квадратура круга – не что иное, как известная теория Динострата, пополненная доказательством, в котором я узнал руку моего отца, но не его голову. В самом деле, мне было ясно, что приведенные доказательства – только жалкие паралогизмы.

Между тем тетя моя обратила мое внимание, что я занял единственную находящуюся в комнате постель, и попросила уступить ей половину. Я был так удручен мыслию о том, что мой отец мог впасть в такое заблуждение, что не слушал того, что она мне говорит. Машинально подвинулся, чтобы дать ей место, в то время как Марика села у меня в ногах, положив голову мне на колени.

Я снова углубился в рассмотрение доказательств, и не то аликанте ударило мне в голову, не то зрение мое было околдовано, только – сам не понимаю, как это случилось, – доказательства показались мне не столь ошибочными, а после третьего просмотра я был совсем убежден в их правильности.

Перевернув страницу, я увидел целый ряд необычайно сложных формул, предназначенных для квадратур и спрямления всякого рода кривых, наконец, увидел задачу об изохроне, решенную средствами элементарной геометрии. Удивленный, счастливый, сбитый с толку, – видимо, под действием аликанте, – я воскликнул:

– Да, отец мой сделал открытие первостепенной важности!

– В таком случае, – сказала моя тетя, – ты должен поблагодарить меня за труд: ведь я переплыла море, чтобы доставить тебе эти каракули.

Я ее обнял.

– А я, – воскликнула Марика, – разве я не переплывала моря?

Я обнял и Марику.

Мне хотелось снова заняться бумагами, но обе мои собеседницы так крепко стиснули меня в объятьях, что невозможно было вырваться; правда, я и не стремился к этому, так как мной овладели какие-то странные чувства. Новое ощущение начало распространяться по

всей поверхности моего тела, особенно в местах, соприкасающихся с обеими женщинами. Мне пришли на ум некоторые свойства кривых линий, называемых оскулирующими³⁰. Я хотел дать себе отчет в испытываемых мной впечатлениях, но все мысли улетучились у меня из головы. Чувства мои вытянулись в прогрессию, возрастающую до бесконечности. Потом я заснул и с ужасом проснулся под виселицей, на которой болтались два висельника с перекошенными лицами.

Такова повесть моей жизни, в которой не хватает только изложения моей системы или применения математики к общему устройству мироздания. Однако я надеюсь, что когда-нибудь познакомлю с ней вас, – особенно ту прекрасную сеньору, которая, кажется, имеет склонность к точным наукам, редкую у особ ее пола.

Приветливо ответив на эту любезность, Ревекка спросила Веласкеса, что случилось с бумагами, которые принесла ему тетка.

– Не знаю, куда они делись, – сказал геометр, – я не нашел их среди бумаг, принесенных мне цыганами, и очень жалею об этом, хотя уверен, что, просмотрев еще раз это мнимое доказательство, сейчас же обнаружил бы неправильность; но, как я уже говорил, во мне слишком буйно играла кровь; аликанте, эти две женщины и неодолимая сонливость были, наверно, причинами моей ошибки. Но удивительно, что рука была отцовская: в частности, способ начертания знаков – характерный для него.

Меня поразили слова Веласкеса, особенно то, что он не мог преодолеть сонливость. Я догадался, что ему, наверно, дали вино, подобное тому, которым угощали меня мои родственницы в венте во время первой нашей встречи, или же отраву, которую мне велели выпить в подземелье и которая на самом деле оказалась только снотворным питьем.

Общество разошлось. Ложась спать, я обдумывал пришедшие мне в голову доводы, с помощью которых, казалось мне, я сумею найти естественное объяснение всему, что со мной произошло. Занятый такого рода мыслями, я заснул.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Целые сутки мы посвятили отдыху. Образ жизни наших цыган и контрабанда, составляющая главный источник их существования, требовали постоянной и утомительной перемены мест, так что я с радостью провел день там, где мы остановились на ночлег. Каждый немного занялся своей особой; Ревекка прибавила даже кое-какие украшения к своему наряду, и можно было заметить, что она старается привлечь к себе внимание молодого герцога, – так мы с этих пор титуловали Веласкеса.

Все мы сошлись на травянистой лужайке, отененной красивыми каштанами, и, после обеда, более изысканного, чем обычно, Ревекка сказала, что, так как старейшина табора теперь менее занят, мы смело можем просить его продолжить рассказ о его приключениях. Пандесовна не заставил долго просить себя и начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Как я вам говорил, я поступил в школу, после того как исчерпал все поводы для проволоочки, какие только мог придумать. Сначала я обрадовался, оказавшись среди стольких своих ровесников, но вечная муштра, в которой нас держали учителя, скоро мне опротивела. Я привык к ласковому обращению тетки, к ее нежному баловству, и мне доставляло удовольствие, когда она сто раз на день повторяла, что у меня доброе сердце. Здесь от этого доброго сердца не было никакого толку, приходилось либо быть начеку, либо получать

³⁰ osculatio (лат.) – поцелуй; эти линии называют также соприкасающимися

розги. То и другое я ненавидел. С тех пор во мне родилась непреодолимая ненависть к сутанам, которую я никогда не таил, устраивая им всякие подвохи.

Среди учеников попадались мальчики, у которых память была лучше, чем сердце, и они с удовольствием доносили все, что знали о товарищах. Я создал союз против них, и наши козни мы строили так хитро, что подозрение падало всякий раз на доносчиков. В конце концов сутаны возненавидели всех – как обвиняемых, так и доносчиков.

Не буду рассказывать вам о малозначительных подробностях наших школьных проказ; скажу только, что за те четыре года, пока я учился, шалости мои приобретали все более отчаянный характер. В конце концов мне пришла в голову сама по себе довольно невинная затея, но средства, которые я употребил для ее осуществления, были скверные. Еще немного, и я заплатил бы за эту шутку многолетним тюремным заключением, а то и пожизненной неволей. Вот как было дело.

Среди театинцев, круто с нами обходившихся, ни один не был так строг, как ректор первого класса отец Санудо³¹. Этот священнослужитель не был суров от природы, – наоборот, может быть, слишком чувствителен, и тайные склонности его совсем не отвечали призванию священника, так что в тридцатилетнем возрасте он еще не умел ими владеть.

Беспощадный к самому себе, он стал неумолим к другим. Постоянные жертвы, приносимые на алтарь нравственности, были достойны тем большей похвалы, что, казалось, сама природа предназначала его для совсем другого положения в обществе, чем то, которое он себе избрал. Красивый, как только можно себе представить мужчину, он производил необыкновенное впечатление на всех женщин в Бургосе, но, встретив нежный взгляд, он опускал глаза, хмурил брови и делал вид, будто ничего не замечает. Таким был когда-то театинец Санудо.

Но эти победы истощили его душевные силы; вынужденный избегать женщин, он не переставая думал о них, и враг, с которым он давно сражался, овладел его воображением с новыми силами. В конце концов он тяжело заболел, долго потом не мог поправиться, а когда наконец выздоровел, болезнь оставила ему после себя невероятную раздражительность. Малейшие наши проступки выводили его из себя, наши оправдания вызывали у него на глазах слезы. С тех пор он все время задумывался, и часто взгляд его, вперенный в пространство, выражал нежность, если же его выводили из этого состояния умиления, в глазах была не суровость, а скорей боль.

Мы слишком хорошо научились следить за нашими наставниками, чтобы такая резкая перемена могла ускользнуть от нашего внимания. Но мы никогда не догадались бы о причине ее, если б вдруг один неожиданный случай не навел нас на правильный путь.

Для ясности мне надо вернуться немного назад. Самыми известными семьями в Бургосе были графы де Лирия и маркизы де Фуэн Кастилья. Первые принадлежали к Тем, кого в Испании называют агравиадос³², – то есть несправедливо лишённые заслуженного звания гранда. Несмотря на это, остальные гранды были с ними накоротке, как если б они действительно были им ровней.

Главой семейства де Лирия был семидесятилетний старик, весьма благородный и приветливый в обхождении. У него было два сына, но оба умерли, и все его имущество должно было перейти к молодой графине де Лирия, единственной дочери его старшего сына.

Старый граф, не имея прямых наследников, обещал руку внучки маркизу де Фуэн Кастилья, который, в случае если брак состоится, должен был получить титул графа де Фуэн де Лирия-и-Кастилья. Нареченные как нельзя лучше подходили друг другу и по возрасту, и по внешности, и по характеру. Оба нежно любили друг друга, и старый Лирия любовался, глядя на их невинную любовь, напоминавшую ему счастливое время его собственной

³¹ Sanudo (исп.) – безумный

³² agraviado (исп.) – обиженный, оскорбленный

молодости.

Будущая графиня де Фуэн де Лирия жила в монастыре салезианок, но каждый день ходила обедать к деду и оставалась у него весь вечер в обществе своего суженого. В это время при ней была дуэнья по имени донна Клара Мендоса, тридцатилетняя женщина, очень добродетельная, но отнюдь не ханжа; старый граф не жаловал таких людей.

Каждый день, направляясь во дворец старого графа, сеньорита де Лирия со своей дуэньей проезжали мимо нашей коллегии. А у нас в это время бывала перемена, и многие из наших стояли у окон или подбегали к окнам, как только послышится стук колес.

Подбежав к окну, они часто слышали, как донна Мендоса говорила своей молодой воспитаннице:

– Посмотрим, нет ли прекрасного театинца?

Так все женщины называли отца Санудо. И действительно, дуэнья так и впивалась в него, что же касается молодой графини, та смотрела одинаково на нас всех, – оттого ли, что мы по возрасту больше напоминали ей нареченного, – или старалась отыскать глазами двух своих двоюродных братьев, учившихся в нашей коллегии.

Санудо вместе с другими подходил к окну, но как только замечал, что женщины обращают на него внимание, хмурился и с презрением отходил прочь. Нас поражало это противоречие. «В конце концов, – говорили мы, – если у него такое отвращение к женщинам, зачем он торопится к окну, а если он жаждет их видеть, зачем отворачивается?»

Один из учеников по фамилии Вейрас сказал мне один раз, что Санудо больше не враг женщин, как раньше, и что он это докажет. Этот самый Вейрас был моим лучшим другом во всей коллегии, а попросту сказать, помощником во всех проделках, которые часто сам изобретал.

В то время появился роман под заглавием «Влюбленный Фернандо». Автор расписал в нем любовь такими яркими красками, что книга показалась нашим наставникам крайне опасной, и они строго запрещали нам читать ее. Вейрас, раздобыв экземпляр, засунул ее в карман, но так, что большая часть осталась на виду. Санудо заметил и отобрал запретную книгу. Он пригрозил Вейрасу самым суровым наказанием, если тот еще когда-нибудь позволит себе что-нибудь подобное, но вечером не вышел к нам, сказавшись больным. Под предлогом тревоги о его здоровье мы неожиданно вошли к нему в комнату и застали его погруженным в чтение опасной книги, с глазами, полными слез, говоривших о наслаждении, которое она ему доставляла. Санудо смутился, мы сделали вид, что ничего не заметили, а вскоре получили новое доказательство того, что в сердце бедного священника произошла огромная перемена.

Испанки тщательно исполняют религиозные обряды и каждый раз обращаются к одному и тому же исповеднику. Они называют это: *buscar el su padre*. В связи с этим злые языки, видя в церкви ребенка, спрашивают, не пришел ли он *бускар эль су падре*, то есть искать своего отца.

Жительницы Бургоса рады были бы исповедоваться у отца Санудо, но опасливый монах заявлял, что не способен руководить совестью женщин; однако на другой день после прочтения несчастной книги одна из самых красивых женщин в городе, обратившись с такой просьбой к отцу Санудо, получила согласие, и он тут же направился в исповедальню. Некоторые из знакомых двусмысленно поздравляли его с такой переменой, но Санудо твердо отвечал, что не боится врага, над которым уже столько раз одерживал победу. Может быть, монахи верили этим заявлениям, но мы, молодежь, знали, где раки зимуют.

Между тем Санудо с каждым днем, казалось, все больше интересовался тайнами кающихся прелестниц. Исповедником он был очень внимательным, женщин постарше быстро отпускал, но молодых задерживал дольше. И никогда не пропускал случая подойти к окну, посмотреть на прекрасную графиню де Лирия с ее хорошенькой дуэньей, а затем, когда карета проезжала, с презрительным видом от него отойти.

Однажды, когда мы на уроке испытали на себе всю суровость отца Санудо, Вейрас таинственно отвел меня в сторону и сказал:

– Пора отомстить проклятому педанту за все строгие наказания, которым он нас подвергает, и покаяния, которыми отравляет наши лучшие дни. Я придумал замечательную штуку, но только нужно непременно отыскать молодую девушку, похожую фигурой на графиню де Лирия. Правда, Хуанита, дочь садовника, усердно помогает нам в наших проделках, но для той, что я придумал, ей не хватит остроумия.

– Милый Вейрас, – ответил я, – ну даже если мы нашли бы молодую девушку, похожую фигурой на графиню де Лирия, не понимаю, как же мы придали бы ей такие прелестные черты лица?

– На этот счет будь спокоен, – возразил мой приятель. – Ведь женщины у нас во время поста носят покрывала, которые зовутся катафалками. Эти ниспадающие оборки из крепа закрывают лицо, как на маскараде. Если Хуанита не может сыграть графиню или ее дуэнью, то, во всяком случае, она нам будет нужна для переодевания другой девушки.

В тот день Вейрас мне больше ничего не сказал, но в одно из воскресений отец Санудо, сидя в исповедальне, увидел двух женщин, закутанных в плащи, с лицами, закрытыми креповыми покрывалами. Одна из них, по испанскому обычаю, села на пол, на циновку, а другая опустилась перед ним на колени, как кающаяся. Та, которая, несмотря на свой юный вид, пришла на исповедь, не могла удержаться от неистовых рыданий и всхлипываний. Санудо старался успокоить ее, как мог, но она все время повторяла:

– Отец мой, я совершила смертный грех.

Санудо сказал, что сегодня она не в состоянии раскрыть перед ним душу, и велел прийти завтра. Молодая грешница удалилась и, распростершись на полу, долго и горячо молилась. Наконец она ушла из храма вместе со своей спутницей.

– Однако, – перебил сам себя цыган, – не без угрызения совести рассказываю я вам об этой недостойной комедии, которую даже молодостью оправдать трудно, и, если б не надежда на вашу снисходительность, я ни за что не решился бы продолжать.

Каждый из присутствующих постарался сказать что-нибудь для успокоения рассказчика, и тот продолжил:

– На другой день в тот же самый час обе кающиеся пришли опять. Санудо уже давно ждал их. Младшая опять встала на колени перед исповедальней; теперь она была немного спокойней, но и на этот раз не обошлось без всхлипываний. Наконец она серебристым голосом произнесла следующее:

– Еще недавно, отец мой, сердце мое, как и должно, казалось, навеки принадлежит добродетели. Мне нашли молодого и благородного супруга. Я думала, что люблю...

Тут опять начались было рыдания, но Санудо елейно-благочестивыми словами успокоил молодую девушку, и та продолжала:

– Легкомысленная наставница обратила мое внимание на человека, которому я никогда не смогу принадлежать, о котором никогда не должна даже думать. Но в то же время я не в силах победить в себе кощунственную страсть.

Упоминание о кощунстве дало отцу Санудо понять, что речь шла о священнике, – может быть, даже о нем самом.

– Вся любовь твоя, – дрожащим голосом промолвил он, – должна принадлежать супругу, выбранному для тебя родителями.

– Ах, мой отец, – продолжала девица, – зачем непохож он на того, кого я люблю? Зачем нет у него такого нежного, хоть и строгого взгляда, таких черт... прекрасных и благородных, его статной фигуры?

– Моя сеньорита, – остановил Санудо, – такие речи неуместны на исповеди.

– Но это не исповедь, – возразила молодая девушка, – а признание.

С этими словами она встала, зардевшись, подошла к спутнице и удалилась вместе с ней из храма. Санудо проводил ее взглядом и целый день был задумчив. На другой день он засел в исповедальне, но никто не показывался, – так же как и на следующий день. Только на третьи сутки кающаяся вернулась со своей дуэньей, опустилась на колени перед

исповедальней и сказала:

– Отец мой, кажется, ночью мне было видение. Отчаянье и стыд терзали мою душу. Злой дух внушил мне страшную мысль, я схватила свою подвязку и обвязала ее вокруг шеи. Уже почти бездыханная, я вдруг почувствовала, что кто-то взял меня за руку, сильный свет ударил мне в глаза, и я увидела, что у моей постели стоит моя покровительница, святая Тереза.

– Дочь моя, – сказала она, – исповедайся завтра отцу Санудо и попроси, чтоб он дал тебе прядь своих волос, а ты носи ее на сердце, и она вернет тебе любовь господа.

– Отойди от меня, – сказал Санудо, – преклони колени у подножия алтаря и со слезами моли небо, чтобы оно избавило тебя от дьявольского наваждения. Я тоже буду молиться, призывая на тебя милосердие божье.

Санудо встал, вышел из исповедальни и направился в часовню, где до вечера жарко молился.

На другой день молодая грешница не показывалась, пришла одна только дуэнья; встав на колени перед исповедальней, она сказала:

– Ах, отец мой, я пришла просить тебя о снисхождении к несчастной молодой девушке, душа которой близка к гибели. Ее приводит в отчаянье твое вчерашнее суровое обращение. По ее словам, ты отказал ей в какой-то реликвии, которую ты имеешь. У нее помутился разум, и теперь она думает только об одном: как бы покончить с собой. Сходи к себе, отец мой, принеси реликвию, о которой она тебя просила. Заклинаю тебя, не откажи мне в этой любезности.

Санудо закрыл лицо платком, встал, вышел из храма, но скоро вернулся. Он держал в руке ковчежец и протянул его ей со словами:

– Возьми эту частицу мощей нашего святого патрона. Булла Святого Отца сочетает с этой реликвией много отпущений; это самая ценная из реликвий, какие у нас есть. Пускай твоя воспитанница носит ее на сердце, и да поможет ей бог.

Когда ковчежец оказался в наших руках, мы его открыли, надеясь найти там прядь волос, но ожидания наши были напрасными. Санудо, хотя чувствительный и легковверный, может, даже немного тщеславный, был, однако, человеком нравственным и верным своим принципам.

После вечернего урока Вейрас спросил его, отчего священникам запрещено жениться.

– Чтобы им не быть несчастными на этом и не попасть в ад на том свете, – ответил Санудо и, приняв строгий вид, прибавил: – Раз и навсегда запрещаю тебе задавать такие вопросы.

На другой день Санудо не пошел в исповедальню. Дуэнья спрашивала о нем, но он прислал вместо себя другого духовника. Мы уже усомнились в успехе нашей скверной затеи, как вдруг нам помог неожиданный случай.

Молодая графиня де Лирия незадолго перед венчаньем с маркизом де Фуэн Кастилья опасно заболела; она бредила в жару, впав в своего рода помешательство. Жители Бургоса принимали близко к сердцу все, что касалось этих двух знаменитых домов, и весть о болезни сеньориты де Лирия всех потрясла. Узнали об этом и отцы театинцы, а вечером Санудо получил следующее письмо:

«Отец мой!

Святая Тереза сильно разгневана и говорит, что ты обманул меня; не жалеет она горьких упреков и для донны Мендосы за то, что она каждый день проезжала со мной мимо коллегии театинцев. Святая Тереза любит меня гораздо больше, чем ты... В голове у меня все кружится... я чувствую страшную боль... Умираю».

Письмо было написано дрожащей рукой, его трудно было прочесть. Внизу – приписка другим почерком:

«Моя бедная больная пишет двадцать таких писем на дню. Теперь она уже не в состоянии держать перо в руке. Молись за нас, отец мой. Вот все, что я могу тебе сообщить».

Санудо не выдержал этого удара. Ошеломленный, полубезумный, он места себе не находил, метался, входил в комнату и выходил вон. Для нас самое приятное было то, что он не появлялся в классе либо – самое большее – появлялся на такое короткое время, что мы могли вытерпеть урок без скуки.

Кризис прошел благополучно, и усилия опытных врачей спасли жизнь графини де Лирия. Больная стала понемногу поправляться. И Санудо опять получил письмо:

«Отец мой!

Опасность миновала, но разум еще не вернулся к больной. Молодая особа в любую минуту может ускользнуть от меня и выдать свою тайну. Будь добр, подумай, не мог ли бы ты принять нас в своей келье. У вас запирают ворота около одиннадцати, мы приедем, как только смеркнется. Может быть, твои советы подействуют больше, чем мощи. Если такое положение еще продлится, я тоже сойду с ума. Заклинаю тебя именем божьим, спаси добрую славу двух знатных домов».

Санудо был так потрясен этим сообщением, что еле дошел до своей кельи. Там он заперся, а мы притаились у двери, стали слушать, что он будет делать. Сперва он залился горячими слезами, потом начал горячо молиться. Наконец позвал привратника и сказал ему:

– Если придут две женщины и спросят меня, не впускай их ни под каким видом.

Санудо не пришел ужинать и провел весь вечер на молитве. Около одиннадцати он услышал стук в дверь. Отворил, – молодая девушка влетела к нему в келью, опрокинула лампу, и она сразу погасла. В эту самую минуту послышался голос приора, звавший Санудо.

Тут к вожаку цыган явился один из подчиненных – давать отчет о жизни табора за день. Но Ревекка воскликнула:

– Прошу тебя, не прерывай рассказа в этом месте. Я сегодня же хочу знать, как Санудо выпутался из этого неприятного положения.

– Позволь мне, сеньора, – возразил цыган, – посвятить несколько минут этому человеку, и я сейчас же начну рассказывать дальше.

Мы дружно поддержали нетерпенье Ревекки, и цыган, отправив того, кто помешал ему, возобновил свое повествование.

– Послышался голос приора, призывающий отца Санудо, который еле успел запереть дверь на ключ, перед тем как пойти к своему настоятелю.

Я недооценил бы вашей проницательности, если б подумал, будто вы еще не догадались, что мнимой Мендосой был Вейрас, а графиней – та самая девушка, на которой хотел жениться вице-король Мексики.

Я оказался вдруг запертым в келье Санудо, в потемках, не зная, чем кончится вся эта история, обернувшаяся совсем не так, как мы предполагали. Мы убедились, что Санудо лежковерен, но ни слабохарактерен, ни лицемерен. Умней всего было бы прекратить дальнейшие проказы. Свадьба сеньориты де Лирия и счастье обоих молодоженов стало бы для Санудо необъяснимой загадкой и мученьем на всю жизнь; но нам хотелось быть свидетелями растерянности нашего наставника, и я ломал себе голову над тем, не положить ли конец этой сцене громким хохотом или язвительной иронией. В то время, как я обдумывал это коварное решение, послышался звук отпираемой двери. Вошел Санудо, и вид его смутил меня сильнее, чем я ожидал. На нем были стихарь и епитрахиль, в одной руке он держал светильник со свечой, в другой – черного дерева распятие. Поставив светильник на стол, он взял распятие в обе руки и сказал:

– Сеньора, ты видишь меня облаченного в святые одежды, которые должны тебе

напомнить о том, что я духовная особа. Как слуга нашего Спасителя, я не могу лучше выполнить святые обязанности мои, как удержав тебя на самом краю пропасти. Сатана помутил твой разум, сатана влечет тебя на кривую дорогу зла. Обрати стопы свои, вернись на путь добродетели, который судьба усыпала для тебя цветами. Молодой супруг зовет тебя; его избрал тебе добродетельный старец, чья кровь бежит в твоих жилах. Отец твой был его сыном; он оказался прежде вас в краю чистых духов и оттуда указывает вам дорогу. Подними глаза к небесам, свету, вырвись из рук духа лживого, затмившего взоры твои, направив их на слугу бога, которому сатана – извечный враг.

Санудо произнес еще много такого, что отвратило бы меня от прежних намерений, будь я на самом деле сеньоритой де Лирия, влюбленной в своего исповедника, но вместо прекрасной графини перед ним стоял сорванец в юбке и плаще, не знающий, чем все это кончится. Санудо перевел дыхание и продолжал:

– Иди за мной, сеньора, – все приготовлено для твоего ухода из монастыря. Я отведу тебя к жене нашего садовника, а оттуда мы пошлем за Мендосой, чтоб она пришла за тобой.

После этого он открыл дверь, и я сейчас же выскочил, чтоб поскорей убежать, что и надо было сделать; но вдруг, – не знаю, какой злой дух подтолкнул меня, – я откинул покрывало и кинулся на шею к нашему наставнику со словами:

– Жестокий! Ты хочешь стать причиной смерти влюбленной графини?

Санудо узнал меня; сперва он остолбенел, потом залился горькими слезами и, проявляя признаки предельного отчаянья, стал повторять:

– Боже, великий боже! Смилуйся надо мной! Поддай мне силы и просвети меня на пути сомненья! Господь триединосуший, что мне теперь делать?

Жалость охватила меня при виде бедного наставника в таком состоянии. Я бросился к его ногам, умоляя о прощении и клянясь, что мы с Вейрасом свято сохраним все в тайне. Санудо поднял меня и, плача навзрыд, промолвил:

– Несчастный юноша, неужели ты можешь думать, что боязнь оказаться смешным может привести меня в отчаянье? Это ты погиб, и о тебе я плачу. Ты не устранился надругаться над тем, что в нашей религии есть самого святого: обратил себе в потеху святой суд покаяния. Я обязан представить тебя на суд инквизиции. Тебе грозит тюрьма и пытка. – Затем, прижав меня к груди, он с глубокой болью прибавил: – Дитя мое, пока не отчаивайся: может быть, я сумею добиться, чтобы позволили нам подвергнуть тебя наказанию. Конечно, оно будет страшно, но не окажет губительного влияния на всю твою жизнь.

С этими словами Санудо вышел из кельи, запер дверь на ключ и оставил меня в оцепенении, которое вы можете себе представить и которое я даже не буду пытаться вам описать. До сих пор мысль о преступлении не приходила мне в голову, и я считал наши кощунственные выдумки невинным озорством. Угрожающие мне кары привели меня в такое омертвление, что я не мог даже плакать. Не знаю, как долго пробыл я в таком состоянии, но наконец дверь открылась. Я увидел приора, пенитенциария и двух братьев монахов, которые взяли меня под руки и повели, уж не знаю по какому количеству коридоров, в удаленную комнату. Там меня бросили на пол и, захлопнув за мной дверь, заперли ее на двойной засов.

Скоро я пришел в себя и стал осматриваться в своем узилище. Сквозь железную решетку окна комнату озарил месяц; я увидел стены, покрытые разными надписями, сделанными углем, и охапку соломы в углу.

Окно выходило на кладбище. Три трупа, завернутые в покрывала и сложенные на носилки, лежали на паперти. Это зрелище повергло меня в ужас; я больше не смел глядеть ни на комнату, ни на кладбище. Вскоре на кладбище послышался шум, и туда вошел капуцин с четырьмя могильщиками. Они остановились на паперти, капуцин сказал:

– Вот тело маркиза Валорнеса: отнесите его в помещение для бальзамирования. А этих двух христиан положите в свежую могилу, которую вырыли вчера.

Не успел капуцин окончить эту речь, как я услышал протяжный крик, и на кладбищенской стене появились три отвратительных призрака.

Когда цыган дошел до этого места, опять явился человек, который уже раз приходил с отчетом. Но Ревекка, осмелевшая после первой удачи, важно заметила:

– Сеньор, ты должен сегодня же объяснить, что это были за призраки, а то я всю ночь не засну.

Цыган согласился удовлетворить ее просьбу и в самом деле скоро вернулся, после чего продолжал.

– Я сказал, что на кладбищенской стене появились три отвратительных призрака. Эти видения и протяжный стон, сопровождавший их появление, напугали четырех могильщиков и их начальника – капуцина. Они убежали, отчаянно крича. Я тоже испугался, но страх подействовал на меня совсем иначе: он словно приковал меня к окну, одуревшего и почти без чувств.

Я увидел, как два призрака спрыгнули с ограды прямо на кладбище и протянули руки третьему, который передвигался, казалось, с великим трудом. Затем появились новые призраки и присоединились к первым, так что теперь их было уже десять или двенадцать. Тут самый неуклюжий призрак, который с таким трудом слез со стены, вынул из-под белого покрывала фонарь, поднял к паперти и, внимательно осмотрев три трупа, сказал своим товарищам:

– Друзья мои, вот труп маркиза Валорнеса. Вы видели, как скверно поступили со мной мои коллеги. Все они твердили, как глупцы, что маркиз умер от грудной водянки. Один только я, доктор Сангре Морено, был прав, что это была известная всем ученым врачам ангина полипоза. Но как только я произнес «ангина полипоза», вы видели, как скривились мои почтенные коллеги, которых я не могу назвать иначе как ослами. Вы видели, как они пожимали плечами, повертывались ко мне спиной, как к недостойному члену их сообщества. Ну, конечно же, доктор Сангре Морено им не компания. Галисийские погонщики ослов да эстремадурские погонщики мулов – вот кто должен за ними смотреть и учить их уму-разуму.

Но небо справедливо. В прошлом году случился необычайный падеж скота; если зараза появится и в этом году, будьте уверены, никто из моих коллег не избежит гибели. Тогда доктор Сангре Морено останется победителем на поле боя, а вы, дорогие ученики мои, водрузите надо мной знамя химической медицины. Вы видели, как я исцелил графиню де Лирия при помощи простой смеси фосфора с сурьмой. Правильное сочетание полуметаллов – вот могучее средство, способное вступить в победоносную борьбу с любой болезнью. Не верьте в действие всяких лекарственных трав или кореньев, которые годны для пастьбы выючных ослов, каковы, впрочем, и есть мои почтенные коллеги.

Вы были, дорогие ученики, свидетелями того, как я просил графиню Валорнес, чтобы она разрешила мне ввести только кончик ланцета в дыхательное горло ее достойного супруга, но маркиза, послушная наговорам врагов моих, отказала мне в этом, и мне пришлось искать другие способы для доказательства моей правоты. Ах, как мне жаль, что достойный маркиз не может присутствовать на вскрытии своего собственного тела! С каким удовольствием показал бы я ему гидатические и полипозные зародыши, укоренившиеся в его бронхах и выпусившие разветвления до самой гортани!

Но что я говорю! Этот скаредный кастилец, равнодушный к успехам науки, отказал нам в том, в чем сам не нуждался. Если бы маркиз имел хоть небольшое влечение к искусству врачевания, он завещал бы нам свои легкие, печень и все внутренности, которые ему теперь не нужны. Но нет, даже и не подумал, и нам теперь приходится с опасностью для жизни вторгаться в обитель смерти и возмущать покой умерших.

Но не в этом дело, милые ученики. Чем больше встречаем мы препятствий, тем большую славу приобретем мы, преодолев их. Смелей! Пора уже осуществить это великое предприятие. После троекратного свиста ваши товарищи, оставшиеся по ту сторону ограды, передадут нам лестницу, и мы похитим достойного маркиза; он должен радоваться, что помер от такой редкой болезни, а еще больше тому, что попал в руки тех, кто распознал ее и дал ей такое название. Через три дня мы опять придем сюда за одним славным покойником,

умершим от... но тихо... молчанье... не обо всем следует говорить.

Когда доктор кончил свою речь, один из учеников три раза свистнул, и я увидел, как через стену подали приставную лестницу. Потом труп маркиза обвязали веревками и перетасили на ту сторону. Лестницу убрали, и призраки исчезли. Оставшись один, я вместо боязни почувствовал приступ смеха.

Тут я должен вам рассказать об особом способе погребенья умерших, применяемом в некоторых испанских и сицилийских монастырях. Обычно в этих случаях выкапывают маленькую темную пещеру, куда, однако, через искусно прорытые отверстия проходит воздух. Туда кладут тела, которые желают уберечь от распада: мрак предохраняет их от червей, а воздух высушивает. Через шесть месяцев пещеру открывают. Если процедура удалась, монахи в торжественной процессии идут сообщить об этом семье. Потом одевают тело в рясу капуцина и помещают в подземелье, предназначенное если не для святых, то, по крайней мере, для известных своей святостью при жизни.

В этих монастырях кортеж следует за гробом только до ворот кладбища, а тут братия берет тело и поступает с ним, как прикажет игумен. Обычно покойника приносят вечером, ночью начальство совещается, и только под утро приступают к дальнейшим действиям, так как многие тела таким способом не удается засушить.

Капуцины хотели засушить тело маркиза Валорнеса и как раз должны были этим заняться, когда призраки разогнали могильщиков, так что те показались только перед рассветом, ступая крадучись и держась друг за друга. Ужас их обуял, когда они увидели, что тело маркиза исчезло. Они решили, что его, конечно, похитил дьявол.

Тотчас собралась вся братия, вооруженная кропилами, кропя все кругом, произнося экзорцизмы и крича во всю мочь. Что касается меня, то я падал от усталости, так что кинулся на солому и сразу заснул.

На другой день первая моя мысль была – о возмездии, которое мне было уготовано, вторая – о способах, как бы его избежать. Вейрас и я привыкли забираться в кладовые, вскарабкаться на стену нам тоже ничего не стоило. Умели мы и высаживать решетки на окнах и сажать их обратно, не портя стену. Я вынул из кармана нож и вытащил гвоздь из оконной рамы, этим гвоздем я решил погнуть один из прутьев решетки. Я работал без отдыха до полудня. Тут в двери моего узилища открылся глазок, и я узнал лицо послушника, прислуживавшего нам в спальне. Он дал мне кусок хлеба, кувшин с водой и спросил, не нужно ли чего еще. Я попросил, чтоб он сходил к отцу Санудо и сказал ему, что я умоляю прислать мне постель; справедливо подвергнуть меня наказанию, но не надо заставлять меня вальтасья в грязи.

Прооба моя была признана основательной, мне прислали то, что я просил, и добавили даже холодной говядины, чтоб я не ослаб от истощения. Я попробовал осторожно узнать что-нибудь о Вейрасе; оказалось, что он на свободе. Я с удовлетворением убедился, что виновников не разыскивают. Спросил, когда постигнет меня предназначенная кара. Послушник ответил, что не знает, но что обычно дается три дня на размышление. Мне только того и надо было, и я совсем успокоился.

Я воспользовался принесенной мне водой для размачивания стены, и дело пошло на лад. На третий день решетка уже вынималась без труда. Тогда я разорвал одеяло и простыни на полосы, сплел веревку, которая с успехом могла заменить веревочную лестницу, и стал ждать ночи, чтобы осуществить побег. Дело в том, что медлить было нельзя: послушник сообщил мне, что на другой день я предстану перед хунтой, состоящей из театинцев под председательством члена святой инквизиции.

Вечером опять принесли тело, на этот раз покрытое черным сукном с серебряной бахромой. Я догадался, что это, наверно, тот знатный покойник, о котором упоминал Сангре Морено.

Как только настала ночь и в монастыре воцарилась тишина, я вынул решетку, привязал свою веревочную лестницу и хотел уже спускаться, как вдруг на кладбищенской стене появились призраки. Это были, как вы сами понимаете, ученики доктора. Они подошли

прямо к знатному покойнику и унесли его, не трогая сукна с серебряной бахромой. Как только они ушли, я открыл окно и благополучно спустился. Дальше я хотел приставить к стене первые с краю носилки и перелезть на ту сторону.

Я уже приступил к этому, как вдруг услышал, что отворяются кладбищенские ворота. Я поскорей побежал на паперть, лег на носилки и покрылся сукном с бахромой, приподняв, однако, один угол, чтоб видеть, что будет дальше.

Сперва появился конюший, весь в черном, с факелом в одной и шпагой в другой руке. За ним шли слуги в траурной одежде и, наконец, дама необычайной красоты, окутанная с головы до ног черным крепом. Вся в слезах, она подошла к носилкам, на которых я лежал, и, упав на колени, начала горько причитать:

– О дорогие останки возлюбленного мужа! Зачем не могу я, как Артемизия, смешать твой пепел с моей пищей, чтоб он обращался вместе с моей кровью и оживил то сердце, которое всегда билось только для тебя! Но вера запрещает мне послужить тебе живой гробницей, и я хочу, по крайней мере, унести тебя из этого скопища покойников, хочу каждый день обливаться горькими слезами цветы, выросшие на твоей могиле, где последний мой вздох скоро соединит нас вместе. – Сказав это, дама обратилась к конюшему: – Дон Диего, прикажи взять тело твоего господина; похороним его в садовой часовне.

Тотчас четверо дюжих лакеев подняли носилки. Полагая, что несут мертвеца, они не вполне ошибались, так как я в самом деле был ни жив ни мертв от страха.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, ему доложили, что срочные дела табора требуют его присутствия. Он оставил нас, и в тот день мы его больше не видели.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

На другой день мы еще не снимались с места. У цыгана было свободное время. Ревекка, воспользовавшись этим, попросила его продолжать; он охотно согласился и начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Пока меня несли на носилках, я немного распорол шов в покрывале. Увидел, что дама сидит в носилках, покрытых черной тканью, конюший едет рядом с ней верхом, а несущие меня слуги сменяются, торопясь вперед.

Мы вышли из Бургоса, уже не помню, через какие ворота, и шли около часа, потом остановились у входа в сад. Меня отнесли в павильон и опустили на пол посреди комнаты, затянутой черным флером и слабо освещенной несколькими лампадами.

– Дон Диего, – промолвила дама, обращаясь к конюшему, – оставь меня одну, я хочу поплакать над дорогими останками, с которыми мое страданье скоро меня соединит.

Когда конюший ушел, дама села передо мной и сказала:

– Мучитель, вот до чего довело тебя в конце концов твое безумное неистовство. Ты проклял нас, не выслушав, – как-то будешь держать теперь ответ перед Страшным судом вечности?

Тут вошла другая женщина, похожая на фурию, с распущенными волосами и кинжалом в руке.

– Где, – воскликнула она, – мерзкие останки этого чудовища в обличий человека? Я хочу видеть его внутренности, хочу вырвать их, достать это безжалостное сердце, разорвать его вот этими руками, чтоб утолить свою ярость.

Я решил, что теперь – самое время познакомиться с этими дамами, вылез из-под покрывала и, упав в ноги даме с кинжалом, воскликнул:

– Сеньора, сжальтесь над бедным школяром, укрывшимся от розог под этим сукном!

– Скверный мальчишка! – крикнула дама. – Что случилось с телом герцога Сидонии?

– Этой ночью, – ответил я, – его похитили ученики доктора Сангре Морено.

– Господи боже! – перебила дама. – Ему одному известно, что герцог был отравлен. Я пропала...

– Не бойся, сеньора, – сказал я. – Доктор никогда не посмеет признаться, что похищает трупы с кладбища капуцинов, а последние, приписывая эти дела дьяволу, не захотят признать, что сатана обладает таким могуществом в их святом убежище.

Тогда дама с кинжалом, сурово глядя на меня, промолвила:

– А ты, мальчик? Кто нам поручится, что ты будешь молчать?

– Меня, – возразил я, – должна была нынче судить хунта театинцев под председательством члена инквизиции. И, без сомнения, присудила бы к тысяче ударов розгой. Укрыв меня от посторонних глаз, будь уверена, сеньора, что я сохраню тайну.

Вместо ответа дама с кинжалом подняла крышку люка в углу комнаты и сделала мне знак спускаться в подземелье. Я послушался, и люк за мной захлопнулся.

Я стал спускаться по совершенно темным ступеням, приведшим меня в такое же темное подземелье. Я задел за столб, нащупал руками оковы, наступил на могильную плиту с железным крестом. Хотя печальные предметы эти нисколько не располагали ко сну, но я был в том счастливом возрасте, когда усталость преодолевает все впечатления. Я растянулся на могильном мраморе и сейчас же заснул как убитый.

На другой день, проснувшись, я увидел, что мое узилище освещает лампа, висящая в соседнем подземелье, отделенном от моего железной решеткой. Вскоре у решетки появилась дама с кинжалом и поставила корзинку, покрытую салфеткой. Она хотела что-то сказать, но слезы не дали ей говорить. Она ушла, знаками давая мне понять, что это место пробуждает в ней страшные воспоминанья. Я нашел в корзине снедь и несколько книжек. Мысль о розгах перестала меня тревожить, я был уверен, что недосыгаем для театинцев; это меня успокоило, и день прошел очень приятно.

На другой день еду принесла молодая вдова. Она тоже хотела что-то сказать, но у нее не хватило сил, и она ушла, так и не вымолвив ни слова. На следующий день пришла опять она; в руке у нее была корзинка, которую она протянула мне через решетку. В той части подземелья, где находилась она, вздымалось огромное распятие. Она бросилась на колени перед изображением нашего Спасителя и стала молиться:

– Великий боже! Под этой мраморной плитой почивают оклеветанные останки сладостного, нежного существа. Теперь оно, без сомненья, среди ангелов, воплощеньем которых было на земле, и молит твоего милосердия для жестокого убийцы, для той, которая отомстила за смерть юноши, и для несчастной, ставшей невольно соучастницей и жертвой этих ужасов.

Произнося эти слова, дама с великим жаром продолжала молиться. Наконец встала, подошла к решетке и, немного успокоившись, сказала мне:

– Юный друг мой, скажи, чего тебе не хватает и чем мы можем тебе помочь.

– Сеньора, – ответил я, – у меня есть тетя по имени Даланоса, которая живет рядом с театинцами. Хорошо было бы известить ее, что я жив и нахожусь в безопасном месте.

– Подобное порученье, – возразила дама, – могло бы навлечь на нас опасность. Но обещаю тебе подумать над тем, как успокоить твою тетю.

– Ты – ангел доброты, – сказал я, – и муж твой, сделавший тебя несчастной, конечно, был чудовищем.

– Ты ошибаешься, друг мой, – возразила дама. – Он был самый лучший, самый добрый из людей.

На следующий день пищу принесла мне другая дама. На этот раз она показалась мне не такой возбужденной, – или, по крайней мере, лучше владеющей собой.

– Дитя мое, – сказала она, – я сама была у твоей тети: видно, что эта женщина любит тебя, как родного сына. У тебя нет ни отца, ни матери?

Я ответил, что матери нет в живых, а отец выгнал меня навеки из дома из-за того, что я, по несчастью, угодил в его чернильницу.

Она попросила объяснить, что я хочу этим сказать. Я рассказал ей свои приключения, и

они вызвали на ее Устах улыбку.

– Кажется, я улыбнулась, – сказала она. – Этого со мной давно уже не случилось. У меня тоже был сын: он спит теперь под этим мраморным надгробием, на котором ты сидишь. Я была бы рада снова найти его – в тебе. Я была кормилицей герцогини Сидонии, по происхождению я – крестьянка. Но сердце мое умеет любить и ненавидеть, и поверь мне: люди с таким характером всегда чего-нибудь да стоят.

Я поблагодарил даму, уверяя, что до гроба сохраню к ней сыновние чувства.

Так прошло несколько недель; обе дамы все сильнее ко мне привязывались. Кормилица обращалась со мной, как с сыном, герцогиня относилась ко мне с величайшей доброжелательностью, нередко подолгу засиживалась в подземелье.

Однажды она показалась мне более печальной, чем обычно, я осмелился попросить у нее, чтоб она рассказала мне про свои несчастья. Она долго отнекивалась, но в конце концов уступила моим настояниям и начала так.

ИСТОРИЯ ГЕРЦОГИНИ МЕДИНЫ СИДОНИИ

Я – единственная дочь дона Эмануэля де Вальфлорида, первого государственного секретаря в королевстве, недавно умершего. Смерть его искренне оплакивается не только его повелителем, но, как мне говорили, также и дворами, союзными нашему могучему монарху. Только в последние годы его жизни узнала я этого достойного человека.

Молодость моя прошла в Астурии, возле моей матери, которая, разойдясь с мужем после нескольких лет замужества, жила в доме своего отца, маркиза Асторгаса, будучи его единственной наследницей.

Не знаю, в какой мере моя мать заслужила немилость мужа, помню только, что долгих страданий, испытанных ею в жизни, хватило бы на искупление самых страшных провинностей. Печалью было проникнуто все ее существо, слезы блестили в каждом ее взгляде, боль сквозила в каждой улыбке, даже сна она не знала спокойного: его всегда прерывали вздохи и рыдания.

Однако разрыв не был полным. Мать регулярно получала от мужа письма и столь же регулярно отвечала на них. Два раза она ездила к нему в Мадрид, но сердце супруга было закрыто для нее навсегда. Душу маркиза имела чувствительную, жаждущую любви, всю свою привязчивость она сосредоточила на отце, и чувство это, доведенное до экзальтации, немного смягчало ей горечь вечной скорби.

Как относилась мать ко мне, трудно выразить словами. Она, несомненно, любила меня, но, если можно так сказать, боялась руководить мной. Она не только ничему меня не учила, но даже не решалась давать мне какие-нибудь советы. Одним словом, однажды сойдя с пути добродетели, она считала себя недостойной воспитывать дочь. Заброшенность, в которой я с самого раннего возраста оказалась, наверно, лишила бы меня преимущества хорошего воспитания, если бы при мне не было Хиральды, сперва моей кормилицы, а потом дуэньи. Ты ее знаешь; у нее сильная воля и развитой ум. Она не упускала ничего, чтобы только обеспечить мне хорошее будущее, но неумолимый рок обманул ее надежды.

Муж моей кормилицы – Педро Хирон – был известен как человек предприимчивый, но отличался дурным характером. Вынужденный покинуть Испанию, он уплыл в Америку и не давал о себе никаких вестей. У Хиральды был от него только сын, приходившийся мне молочным братом. Ребенок отличался необычайной красотой, так что его называли Эрмосито³³. Бедняжка недолго пользовался радостями жизни и этим прозвищем. Одна грудь питала нас, и часто мы спали в одной и той же колыбели. Дружба росла между нами, пока нам не исполнилось по семи лет. Тут Хиральда решила, что пришла пора объяснить сыну разницу нашего общественного положения и препятствия, воздвигнутые судьбой между ним

³³ Hermosito (исп.) – красивый, хорошенький

и его юной подругой.

Однажды, когда мы затеяли какую-то ребяческую ссору, Хиральда подозвала сына и строго сказала ему:

– Прошу тебя, никогда не забывай, что сеньорита де Вальфлорида – твоя и моя госпожа, а мы с тобой – только первые слуги в ее доме.

Эрмосито послушался. С тех пор он беспрекословно исполнял все мои желания, старался даже угадывать их и предупреждать. Казалось, в этой безграничной покорности было для него какое-то очарование, и я радовалась, видя, что он так послушен. Хиральда заметила, что этот новый способ обращения друг с другом навлекает на нас другие опасности, и решила, как только мы достигнем тринадцатилетнего возраста, разлучить нас. А пока перестала об этом думать и направила свои мысли на что-то другое.

Моя бывшая кормилица, женщина, как я уже сказала, образованная, своевременно познакомила нас с творениями великих испанских писателей и дала нам первое понятие об истории. Желая развить нас в умственном отношении, она заставляла нас объяснять прочитанное и показывала, как надо толковать описываемые события. Изучая историю, дети обычно увлекаются лицами, играющими выдающуюся роль. В таких случаях мой герой тотчас становился и героем моего товарища, а когда я меняла предмет своего обожания, Эрмосито с таким же пылом разделял и это новое увлечение.

Я до того привыкла к покорности Эрмосито, что малейшее его несогласие чрезвычайно меня удивило бы; но опасаться было нечего, мне самой приходилось ограничивать свою власть или же осторожней ею пользоваться.

Как-то раз мне захотелось иметь красивую раковину, которую я увидела на дне чистой, но глубокой реки. Эрмосито бросился туда и чуть не утонул. В другой раз под ним обломился сук, когда он хотел разорить гнездо, содержимое которого меня заинтересовало. Он упал на землю и сильно ушибся. После этого я стала осторожней выражать свои желания, но в то же время поняла, как это прекрасно – иметь такую власть, хоть и не пользоваться ею. Это было, насколько помню, первое проявление моего самолюбия; с тех пор я, кажется, не раз имела возможность делать подобные наблюдения.

Так исполнилось нам по тринадцати лет. В тот день, когда Эрмосито стукнуло тринадцать, мать сказала ему:

– Сын мой, мы празднуем нынче тринадцатую годовщину твоего рожденья. Ты уже не ребенок и не можешь так запросто обращаться со своей госпожой. Простись с ней, завтра ты поедешь к своему деду, в Наварру.

Хиральда еще не успела договорить, как Эрмосито впал в неистовое отчаянье. Он зарыдал, лишился чувств, потом пришел в себя – только для того, чтоб опять залиться слезами. Что касается меня, то я не столько разделяла его горе, сколько старалась его утешить. Я смотрела на него как на существо, всецело зависящее от меня, так что его отчаяние несколько меня не удивляло. Но взаимностью я ему не отвечала. Впрочем, я была еще слишком молода и слишком к нему привыкла, чтобы его необычайная красота могла произвести на меня впечатление.

Хиральда не принадлежала к тем людям, которых можно растрогать слезами, и, не обращая внимания на скорбь Эрмосито, она стала собирать его в дорогу. Но через два дня после его отъезда погонщик мулов, которому она вверила попечение о нем в дороге, явился встревоженный с сообщением, что при переходе через лес он на минуту отошел от мулов, а когда вернулся, не нашел Эрмосито, стал его кликать, искать – все напрасно: видно, его съели волки. Хиральда была не столько огорчена, сколько удивлена.

– Вот увидите, – сказала она, – маленький бездельник скоро вернется к нам.

Она не ошиблась. Скоро мы увидели нашего беглеца. Эрмосито кинулся матери в ноги со слезами:

– Я родился для того, чтоб служить сеньорите де Вальфлорида, и умру, если меня от нее удалят.

Через несколько дней Хиральда получила письмо от мужа, от которого до тех пор не

имела вестей. Он писал, что сколотил в Веракрусе порядочное состояние и что если сын жив, то он хотел бы взять его к себе. Хиральда, желая прежде всего удалить сына, поспешила воспользоваться этой возможностью. После своего возвращения Эрмосито жил уже не в замке, а в деревушке, которая была у нас на берегу моря. Однажды утром мать пришла к нему и заставила его сесть в лодку к рыбаку, который взялся отвезти его на стоявший поблизости корабль, идущий в Америку. Эрмосито поднялся на борт, но в ночную пору кинулся в море и добрался вплавь до берега. Хиральда насильно заставила его вернуться на корабль. Это была жертва, которую она приносила из чувства долга, и нетрудно было заметить, что она дорого ей стоила.

Все эти события, о которых я тебе рассказываю, очень быстро следовали одно за другим, а на смену им пришли другие, гораздо более печальные. Расхворался мой дед; у матери моей, издавна страдавшей продолжительным недугом, еле хватило сил ухаживать за ним в его последние мгновения, и она скончалась одновременно с маркизом Асторгасом.

Со дня на день ждали приезда моего отца в Астурию, но король ни за что не хотел отпускать его, так как государственные дела требовали его присутствия при дворе. Маркиз де Вальфлорида прислал Хиральде письмо, где в лестных выражениях просил ее как можно скорей привезти меня в Мадрид. Отец мой взял к себе на службу всех челядинцев маркиза Асторгаса, единственной наследницей которого я была. Устроили мне блестящий кортеж и пустились в путь. Впрочем, дочь государственного секретаря может быть уверена, что встретит по всей Испании самый лучший прием; но почести, воздававшиеся мне на всем пути, пробудили в моем сердце жажду славы, которая впоследствии сыграла решающую роль в моей судьбе.

Приближаясь к Мадриду, я почувствовала, что другой вид самолюбия слегка приглушил тщеславие. Я вспомнила, что маркиза де Вальфлорида любила своего отца, боготворила его, казалось, жила и дышала только ради него, тогда как ко мне относилась холодно. Теперь у меня тоже был отец; я дала себе слово любить его всей душой, захотела содействовать его счастью. Надежды эти преисполнили меня гордостью, я забыла про свой возраст, решила, что я уже взрослая, хотя мне не было четырнадцати лет.

Я еще предавалась этим отрадным мыслям, когда карета въехала в ворота нашего дворца. Отец встретил меня у входа и осыпал ласками. Вскоре король вызвал его во дворец, а я пошла в свои покои, но была страшно взволнована и всю ночь не смыкала глаз.

На другой день отец с утра велел, чтобы меня привели к нему: он как раз пил шоколад и хотел, чтобы я позавтракала вместе с ним. Немного помолчав, он сказал:

– Дорогая Элеонора, жизнь у меня невеселая, и характер мой с некоторых пор стал очень мрачный; но так как небо вернуло мне тебя, я надеюсь, что теперь настанут более погожие дни. Дверь моего кабинета будет всегда для тебя открыта, – приходи сюда, когда хочешь, с каким-нибудь рукодельем. У меня есть другой кабинет – для совещаний и работ, составляющих государственную тайну; в перерыве между занятиями я смогу с тобой разговаривать и надеюсь, что сладость этой новой жизни приведет меня на память иные картины так давно утраченного семейного счастья.

Сказав это, маркиз позвонил. Вошел секретарь с двумя корзинами, из которых одна была – с письмами, поступившими сегодня, а другая – с давнишними, но еще ожидающими ответа.

Я провела некоторое время в кабинете, потом пошла к себе. Вернувшись к обеду, я застала несколько близких друзей отца, занятых вместе с ним делами величайшей важности. Они не боялись при мне открыто обо всем говорить, а простодушные замечания, которое я вставляла в их разговор, часто казались им забавными. Я заметила, что отец относится к этим замечаниям с интересом, и была страшно этим довольна. На другой день, узнав, что он у себя в кабинете, я сейчас же пошла к нему. Он пил шоколад и, увидев меня, сказал мне, сияя:

– Нынче пятница, придет почта из Лиссабона.

Потом позвонил секретаря, который принес обе корзины. Отец с интересом перебрал содержимое первой и вынул письмо на двух листах, – один, писанный шифром, он отдал

секретарю, а другой, обыкновенный, сам стал читать, поспешно и с довольным видом.

Пока он был занят чтением, я взяла конверт и стала рассматривать печать. Я различила Золотое Руно и над ним герцогскую корону. К несчастью, этот славный герб должен был стать моим. На другой день пришла почта из Франции, и эта смена разных стран продолжалась в следующие дни, но ни одно из поступлений не заинтересовало отца так живо, как португальское.

Когда прошла неделя и наступила снова пятница, я весело сказала отцу, который в это время завтракал:

– Нынче пятница, опять придут письма из Лиссабона.

Потом я попросила разрешения позвонить и, когда вошел секретарь, подбежала к корзине, достала желанное письмо и подала отцу, который в награду нежно меня обнял.

Так я поступала подряд несколько пятниц. Наконец однажды осмелилась спросить у отца, что это за письма, которых он всегда ждет с таким нетерпением.

– Это письма от нашего посла в Лиссабоне, – сказал он, – герцога Медины Сидонии, моего друга и благодетеля, – даже больше, так как я убежден, что судьба его тесно связана с моей.

– В таком случае, – сказала я, – этот достойный герцог имеет право и на мое уважение. Я хотела бы с ним познакомиться. Не спрашиваю, что он пишет тебе шифром, но очень прошу, дорогой отец, прочти мне вот это, второе письмо.

Тут отец страшно рассердился. Назвал меня вздорным, своенравным, балованным ребенком. Не поспешил и на другие обидные слова. Потом успокоился и не только прочел, но даже отдал мне письмо герцога Медины Сидонии. Оно до сих пор хранится у меня наверху, и в следующий раз, когда приду тебя проведать, я принесу его.

Когда цыган дошел до этого места, ему доложили, что таборные дела требуют его присутствия, он ушел и в тот день больше не возвращался.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Мы все собрались к завтраку довольно рано. Видя, что вожак не очень занят, Ревекка попросила, чтоб он продолжил повествование, и он начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГЕРЦОГИНИ МЕДИНЫ СИДОНИИ

«Герцог Медина Сидония маркизу де Вальфлорида.

Ты найдешь, милый друг, в зашифрованных депешах изложение дальнейших наших переговоров. В этом письме я хочу рассказать тебе, что делается при дворе ханжей и распутников, при котором я осужден находиться. Один из моих людей поставит это письмо на границу, так что я могу написать подробно.

Король дон Педро де Браганса продолжает выбирать монастыри местом для своих страстишек. Теперь он бросил аббатису урсулинок ради приорессы салезианок. Его королевское величество желает, чтоб я сопровождал его на эти любовные богомолья, и мне приходится это делать для успеха наших дел. Король беседует с приорессой, отделенный от нее несокрушимой решеткой, которая, говорят, при помощи скрытых пружин опускается под руку могущественного монарха.

Все мы, сопровождающие, расходимся по приемным, где нас принимают молодые монахини. Португальцы находят особенное удовольствие в беседах с монахинями, речь которых, в отношении смысла, напоминает пенье птиц в клетках, живущих, как и они, в неволе.

Но интересная бледность Христовых невест, их набожные вздохи, умильные обороты религиозного языка, их простодушная неопытность и мечтательные порывы – производят на придворных юношей чарующее действие, которое трудно испытать в обществе лиссабонских женщин.

Все в этих укромных местах опьяняет душу и чувства. Воздух полон

бальзамического аромата цветов, в изобилии собранных у образов святых, глаз замечает за решетками дышащие благовонием одинокие спальни, светские звуки гитары мешаются с священными аккордами органа, приглушая нежное воркованье юных существ, жмущихся с обеих сторон к решетке. Вот какие нравы господствуют в португальских монастырях.

Что касается меня, то я лишь на краткий срок могу отдаваться этим сладким безумствам, оттого что страстные выраженья любви воскрешают в моей памяти картины злодеяний и убийств. А ведь я совершил только одно убийство: убил друга – человека, спасшего жизнь и тебе и мне.

Распутные нравы большого света стали причиной несчастья, искалечившего мне сердце в годы расцвета, когда душа моя должна была открыться для счастья, добродетели, а вероятно, и чистой любви. Но чувство это не могло возникнуть посреди таких отвратительных впечатлений. Сколько раз ни слышал я разговоры о любви, всякий раз мне казалось, что у меня на руках кровь. Однако я чувствовал потребность любви, и то, что должно было родить в моем сердце любовь, превратилось в чувство доброжелательства, которое я старался распространять вокруг.

Я любил свою страну и в особенности мужественный испанский народ, приверженный трону и алтарю, верный законам чести. Испанцы платили мне взаимностью, и двор решил, что я слишком любим. Находясь с тех пор в почетном изгнании, я, как мог, служил своей родине, издали содействуя счастью соотечественников. Любовь к отчизне и человечеству наполнила сердце мое сладкими чувствами.

Что же касается той, другой любви, которая должна была украсить весну моей жизни, – чего мог я ждать от нее сегодня? Я решил, что род Сидониев кончится мной. Знаю, что дочери многих грандов желали бы союза со мной, но они не знают, что предложение моей руки было бы опасным подарком. Мой образ мыслей не соответствует теперешним нравам.

Отцы наши считали своих жен блудительницами своего счастья и чести. В старой Кастилии кинжал и яд карали измену. Не осуждаю моих предков, но и не хотел бы следовать их примеру, так что лучше, чтоб род мой кончился на мне».

Дойдя до этого места письма, отец мой как будто заколебался, читать ли дальше, но я стала так настойчиво просить его, что он, не в силах противиться моим настояниям, продолжал:

– «Радуюсь тому счастью, которое доставляет тебе общество прелестной Элеоноры. В этом возрасте мысль принимает, должно быть, очаровательные формы. То, что ты о ней пишешь, доказывает, что ты с ней счастлив; это немало содействует и моему собственному счастью».

Слыша это, я не могла сдержать своего восторга, бросилась к ногам отца, стала его обнимать, уверенная, что составляю его счастье. Эта мысль пронизывала меня невыразимой радостью.

Когда прошли первые мгновенья восторга, я спросила отца, сколько лет герцогу Медине Сидонии.

– Он на пять лет моложе меня, – ответил отец, – значит, ему тридцать пять, но он принадлежит к тем, кто никогда не стареет.

Я была в том возрасте, когда молодые девушки совсем не думают о возрасте мужчин. Четырнадцатилетнего мальчика, то есть своего ровесника, я сочла бы ребенком, недостойным моего внимания. Отца своего я ничуть не считала старым, герцог же, на пять лет моложе его, был в моих глазах юношей. Таково было первое представление, которое я о нем получила, и впоследствии оно сыграло большую роль в решении моей судьбы.

Потом я спросила, что это за убийства, о которых упоминает герцог. В ответ отец нахмурился и, после небольшого молчания, сказал:

– Дорогая Элеонора, эти события имеют прямое отношение к моему разрыву с твоей матерью. Конечно, я не должен был бы тебе об этом говорить, но рано или поздно

любопытство обратит твою мысль в этом направлении, и я, вместо догадок о предмете и мучительном и печальном, предпочитаю сам тебе все объяснить.

Вслед за этим вступлением отец рассказал мне о своем прошлом.

ИСТОРИЯ МАРКИЗА ДЕ ВАЛЬФЛОРИДА

Ты хорошо знаешь, что последней представительницей рода Асторгас была твоя мать. Семейство это, как и дом де Вальфлорида, принадлежало к числу самых старинных в Астурии. Общим желанием всей провинции была моя женитьба на маркизе Асторгас. Заранее приученные к этой мысли, мы почувствовали друг к другу взаимное влечение, которому предстояло послужить прочной основой нашему супружескому счастью. Однако разные посторонние обстоятельства задержали его осуществление, и женился я только в двадцатипятилетнем возрасте.

Через шесть недель после свадьбы я сказал жене, что все мои предки служили в армии, поэтому чувство чести заставляет меня последовать их примеру, к тому же во многих испанских гарнизонах можно жить гораздо приятней, чем в Астурии. Сеньора де Вальфлорида ответила, что заранее согласна со мной во всех случаях, когда речь пойдет о чести нашего дома. Было решено, что я поступлю на военную службу. Я написал министру и получил кавалерийский эскадрон в полку герцога Медины Сидонии, стоявшем гарнизоном в Барселоне. Там ты и родилась, дочь моя.

Началась война; нас отправили в Португалию для соединения с армией дона Санчо де Сааведра. Этот полководец прославился в начале кампании сражением при Вильямарко. Наш полк, тогда самый сильный во всей армии, получил приказ разбить английскую колонну, составлявшую левый фланг противника. Мы дважды атаковали безрезультатно и уже готовились к третьей атаке, как вдруг среди нас появился всадник в расцвете лет, покрытый блестящей броней.

– За мной! – крикнул он. – Я ваш полковник, герцог Медина Сидония.

В самом деле он правильно сделал, назвав себя, – иначе мы приняли бы его за ангела войны или какого-нибудь полководца небесного воинства, так как было в нем что-то сверхчеловеческое.

На этот раз мы разгромили английскую колонну, и вся слава этого дня принадлежала нашему полку. Могу смело сказать, что после герцога лучше всех действовал я. По крайней мере, я получил лестное доказательство этого от своего начальника, который тут же сделал мне честь, попросив моей дружбы. Это не была пустая вежливость с его стороны. Мы действительно подружились: герцог никогда не относился ко мне снисходительно, а я никогда не унижался до лести. Испанцам приписывают некоторую надменность в обращении, но только не допуская фамильярности, можно быть гордым без спеси и учтивым без угодливости.

Победа при Вильямарко послужила основанием для многих повышений. Герцог стал генералом, а меня на поле боя произвели в чин подполковника и назначили первым адъютантом.

Мы получили опасное поручение воспрепятствовать переходу неприятеля через Дуэро. Герцог занял выгодные позиции и довольно долго на них удерживался: в конце концов на нас двинулась вся английская армия. Численное превосходство врага не смогло принудить нас к отступлению, начался жестокий рукопашный бой, и наша гибель казалась неотвратимой, если б в эту минуту к нам не пришел на помощь некий ван Берг, ротный командир валлонцев, во главе трех тысяч человек. Он показал чудеса храбрости и не только избавил нас от опасности, но благодаря ему за нами осталось поле боя. Однако на другой день мы соединились с главными силами армии.

Во время нашего отступления вместе с валлонцами герцог подъехал ко мне и сказал:

– Дорогой Вальфлорида, я знаю, что число два лучше всего соответствует понятию дружбы и нельзя нарушить это число, не задевая священных прав самого чувства. Но мне

кажется, что важная услуга, оказанная нам ван Бергом, достойна того, чтобы в данном случае сделать исключение. По-моему, мы из благодарности должны предложить ему нашу дружбу и допустить его третьим в тот союз, что соединяет нас с тобой.

Я согласился с герцогом, который направился к ван Бергу и предложил ему нашу дружбу со всей серьезностью, отвечавшей тому значению, которое он придавал слову «друг». Ван Берг немало удивился и сказал:

– Ваше сиятельство оказываете мне слишком большую честь. Должен предупредить, что у меня привычка каждый день напиваться; а когда я не пьян, так играю по самой крупной. Так что ежели вашему сиятельству такие привычки претят, то не думаю, чтоб наш союз мог быть прочным.

Этот ответ смутил герцога, но через мгновение он рассмеялся, засвидетельствовал ван Бергу свое почтение и обещал ему воспользоваться всем своим авторитетом при дворе, чтобы добиться для него самой блестящей награды. Но ван Берг больше всего ценил денежные награды. Король пожаловал ему баронат Делен, находящийся в округе Малин; ван Берг в тот же день продал его Вальтеру ван Дику, жителю Антверпена и поставщику армии.

Мы расположились на зимние квартиры в Коимбре, одном из самых значительных португальских городов. Ко мне приехала сеньора де Вальфлорида; она любила светское общество, дом ее был открыт для высших офицеров армии. Но мы с герцогом почти не участвовали в шумных удовольствиях света: все наше время уходило на серьезные занятия.

Добродетель была идеалом молодого Сидонии, общественное благо – его мечтой. Мы обсуждали вместе положение Испании, строили планы ее будущего благополучия. Для того чтобы сделать испанцев счастливыми, мы страстно желали прежде всего привить им любовь к добродетели и отвлечь их от непомерной жажды стяжательства, что представлялось нам ничуть не трудным. Мы хотели также воскресить старинные традиции рыцарства. Каждый испанец должен быть одинаково верен как жене, так и королю, каждый обязан иметь товарища по оружию. Я уже объединился с герцогом; мы были уверены, что свет когда-нибудь заговорит о нашем союзе и что благородные умы, последовав за нами, сделают путь к добродетели более легким.

Мне стыдно, милая Элеонора, рассказывать тебе об этих глупостях, но давно уже замечено, что из молодежи, предающейся мечтам, выходят со временем полезные и даже великие люди. И наоборот, не по возрасту охладевшие молодые Катоны никогда не могут подняться над расчетливым своекорыстьем. Недостаток сердца сужает их ум и не позволяет им стать ни государственными деятелями, ни полезными гражданами. Из этого правила очень мало исключений.

Так, направляя воображение на стезю добродетели, мы тешили себя надеждой когда-нибудь осуществить в Испании век Сатурна и Реи. А ван Берг все это время жил, как умел, уже в золотом веке. Прогнал баронат Делен за восемьсот тысяч ливров, дав честное слово не только растратить эти деньги за два месяца пребывания на зимних квартирах, но еще наделать сто тысяч франков долгов. Затем фламандский мот наш рассчитал, что сдержать слово он сможет лишь в том случае, если будет тратить тысячу четыреста пистолей в день, что довольно трудно сделать в таком захолустном городе, как Коимбра. Ужаснувшись тому, что дал слово слишком легкомысленно, он в ответ на предложение потратить часть денег на бедных и осчастливить многих отвечал, что дал слово тратить, а не жертвовать, и что чувство собственного достоинства не позволяет ему употребить хотя бы самую ничтожную часть денег на благодеяния; даже игра не принимается в расчет, так как, играя, можно выиграть, а проигранные деньги нельзя считать потраченными.

Столь затруднительное положение, казалось, сильно тревожило ван Берга; несколько дней он был рассеян, но наконец нашел способ сохранить свою честь незапятнанной. Он собрал, сколько мог найти, поваров, музыкантов, акробатов, лицедеев и других представителей веселого ремесла. Утром давал великолепный пир, вечером – бал и представления, достигал вершин изобилия, – а если, несмотря на все усилия, не удавалось истратить тысячу четыреста пистолей, приказывал остаток выкинуть в окно, говоря, что

такой поступок тоже относится к области мотовства.

Успокоив таким способом свои сомнения, ван Берг опять повеселел. Да, это был очень остроумный человек, умевший ловко защищать свои чудачества, за которые на него всюду роптали. Разглагольствования, в которых он хорошо понаторел, придавали блеск его разговору и делали его непохожим на нас, испанцев, обычно серьезных и молчаливых.

Ван Берг часто бывал у меня вместе с высшими офицерами армии, но приходил и в мое отсутствие. Я знал об этом и нисколько не сердился, полагая, что безграничное доверие позволяет ему считать себя всюду и всегда желанным гостем.

Между тем большинство держалось другого мнения, и вскоре стали распространяться слухи, обидные для моей чести. До меня ни один из них не дошел, но герцог узнал про них и, зная, как я люблю жену, страдал за меня, как друг. Однажды он пошел к сеньоре де Вальфлорида и упал к ее ногам, умоляя, чтобы она не забывала своих обязанностей и не принимала ван Берга наедине. Я не знаю, что она на это ответила.

Потом герцог отправился к ван Бергу с намерением таким же способом обрисовать ему положение вещей и сказать, чтоб тот вернулся на путь добродетели. Он не застал его дома. Вернулся после полудня, – в комнате было полно народу, но сам ван Берг сидел в стороне; хмурый и, видимо, подвыпивший, он встряхивал кубок с костями.

Герцог дружелюбно подошел к нему и, смеясь, спросил, как у него идет трата денег.

Ван Берг кинул на него сердитый взгляд и ответил:

– Деньги мои предназначены для того, чтоб доставлять удовольствие моим друзьям, а не тем негодяям, которые мешаются не в свое дело.

Несколько человек услышали это.

– Это относится ко мне? – спросил герцог. – Ван Берг, сейчас же возьми эти легкомысленные слова обратно.

– Я никогда ничего не беру обратно, – возразил ван Берг.

Герцог преклонил одно колено:

– Ван Берг, ты оказал мне славную услугу. Зачем же ты хочешь теперь обесчестить меня? Заклинаю тебя, признай меня человеком чести.

Ван Берг бросил в ответ что-то пренебрежительное.

Герцог спокойно встал, вынул из-за пояса стилет и, положив его на стол, промолвил:

– Обычный поединок не может уладить это дело. Один из нас должен умереть, и чем скорей, тем лучше. Бросим по очереди кости: у кого получится больше, тот пусть возьмет стилет и пронзит им сердце противника.

– Отлично! – крикнул ван Берг. – Вот это действительно крупная игра! Но клянусь, что коли я выиграю, то не пощажу вашего сиятельства.

Пораженные зрители окаменели.

Ван Берг взял кубок и выкинул двойную двойку.

– Черт побери! – воскликнул он. – Не повезло!

Потом, в свою очередь, герцог встряхнул кости и выбросил пятерку с шестеркой. Он взял стилет и вонзил его в грудь ван Берга, после чего, так же хладнокровно обращаясь к свидетелям, сказал:

– Сеньоры, будьте добры оказать последние услуги этому юноше, чье героическое мужество заслуживало лучшей участи. А я сейчас же иду к главному аудитору армии и отдаюсь в руки королевского правосудия.

Ты можешь себе представить, какой поднялся всюду шум вокруг этого происшествия. Герцога любили не только в Испании, но даже наши враги – португальцы. Когда весть об этом дошла до Лиссабона, архиепископ этого города, являющийся в то же время патриархом Индии, заявил, что дом в Коимбре, в котором задержали герцога, принадлежит капитулу и с давних времен считался неприкосновенным убежищем, так что герцог может спокойно в нем оставаться, не опасаясь вторжения светских властей. Герцог был чрезвычайно тронут высказываемым ему сочувствием, но ответил, что не хочет пользоваться этой привилегией.

Генеральный аудитор начал дело против герцога, но Совет Кастилии постановил

решительно вмешаться; далее великий маршал Арагона, — должность, недавно упраздненная, — утверждал, что суд над герцогом, уроженцем его провинции, принадлежащим к старинным *ricos hombres*³⁴, относится к его юрисдикции.

Одним словом, многие вступились за герцога, желая ему помочь.

Посреди всей этой сумятицы я ломал себе голову над вопросом, чем был вызван несчастный поединок. В конце концов один знакомый сжалился и сообщил мне о поведении сеньоры де Вальфлорида. Не понимаю, как мог я воображать, что моя жена может любить только меня. Прошло много времени, прежде чем я убедился в своей ошибке. В конце концов определенные обстоятельства слегка отстранили повязку с моих глаз, я пошел к сеньоре де Вальфлорида и сказал ей:

— Я узнал, что твой отец опасно занемог; по-моему, тебе надо поехать к нему. К тому же наша дочь нуждается в твоих заботах, и я полагаю, ты теперь останешься навсегда в Астурии.

Сеньора де Вальфлорида опустила глаза и покорно подчинилась приговору.

Ты знаешь, как мы с тех пор жили с твоей матерью; она обладала тысячью неоценимых качеств и даже добродетелей, которые я всегда ценил по достоинству.

Между тем процесс герцога принял странный оборот. Валлонские офицеры придали ему общенациональное значение. Они заявили, что так как испанские гранды позволяют себе убивать фламандцев, им придется оставить испанскую службу, а испанцы доказывали, что это было не убийство, а поединок. Дела зашли так далеко, что король приказал собрать хунту из двенадцати испанцев и двенадцати фламандцев, — не для суда над герцогом, а скорей для разрешения вопроса, считать ли смерть ван Берга результатом поединка или же убийства.

Испанские офицеры голосовали первые — и, как вы сами понимаете, высказались за то, что это был поединок. Одиннадцать валлонцев держались противного мнения: не подкрепляя его доказательствами, они главным образом брали криком.

Двенадцатый, голосовавший последним, как самый младший, успел уже не раз выказать себя в самой лучшей стороны в делах чести. Его звали Хуан ван Ворден.

Тут я перебил цыгана:

— Я имею честь быть сыном этого самого ван Вордена и надеюсь, что не услышу в твоём рассказе ничего, способного нанести ущерб его доброму имени.

— Могу вас уверить, — возразил цыган, — что точно передаю слова маркиза де Вальфлорида, сказанные его дочери.

— Когда пришла очередь голосовать дону Хуану ван Вордену, он взял слово и высказался так:

— Сеньоры, по-моему, для понятия «поединок» существенны два признака: во-первых, вызов или, за отсутствием такового, столкновение; во-вторых, одинаковость оружия или, за отсутствием такового, равные шансы причинить смерть. Так, например, человек, вооруженный ружьем, может драться с противником, вооруженным пистолетом, при том условии, чтоб один стрелял с расстояния в сто шагов, а другой — в четыре шага, и при этом — чтоб было заранее договорено, кто стреляет первый. В данном случае оба противника пользовались одним и тем же оружием, так что большего равенства в этом отношении желать невозможно. Кости были не фальшивые, — равенство шансов причинения смерти неоспоримо. Наконец, вызов был сделан в ясных выражениях и принят обеими сторонами.

Признаюсь, я с огорчением вижу поединок, этот благороднейший вид боя, низведенным до уровня азартной игры, какой-то забавы, которой муж чести должен пользоваться с величайшей умеренностью. Тем не менее на основании признаков, приведенных мною вначале, мне представляется бесспорным, что занимающее нас событие

³⁴ богатые люди (исп.)

было поединком, а не убийством.

Я вынужден признать это по совести, как ни огорчает меня то, что я расхожусь во мнениях с одиннадцатью своими коллегами. Будучи почти уверен, что меня ждет горечь их неодобрения, и желая в то же время самым мягким способом предупредить их недовольство, я покорно прошу, чтобы все одиннадцать оказали мне честь выйти со мной на поединок, – а именно: шестеро – утром и пятеро – после обеда.

Такого рода предложение породило всюду разговоры, но отказаться было невозможно. Ван Ворден ранил первых шестерых, выступивших против него утром, после чего сел с остальными пятью обедать.

После обеда опять взялись за оружие. Ван Ворден ранил трех, десятый ранил его в плечо, а одиннадцатый пронзил шпагой насквозь и оставил бездыханным на месте.

Искусный хирург спас жизнь храброму фламандцу, но было уж не до хунты, не до процесса, и король простил герцога Сидонию.

Мы провели еще одну кампанию, не посрамив своей чести, но уже без прежнего пыла. Впервые нас постигло несчастье. Герцог всегда высоко ценил отвагу и военные способности ван Берга, корил себя за чрезмерную ревность к моему спокойствию, послужившую причиной таких печальных событий. Он понял, что недостаточно одного доброго желания, необходимо еще умение его проявлять.

Что касается меня, я, подобно многим мужьям, таил в душе свою боль и от этого страдал еще больше. С тех пор мы перестали мечтать о том, чтобы сделать Испанию счастливой.

Между тем наступил мир, и герцог решил отправиться в путешествие. Мы объехали вдвоем Италию, Францию и Англию. После возвращения благородный друг мой вошел в Совет Кастилии, мне доверили при этом Совете должность референдария.

Время, проведенное в путешествиях, и последующие годы произвели большие перемены в образе мыслей герцога. Он не только отошел от прежних порывов своей молодости, но даже любимой добродетелью его стала предусмотрительность. Общественное благо, предмет юношеских мечтаний, оставалось и теперь его глубокой страстью, но теперь он уже знал, что всего нельзя добиться сразу, что надо сперва подготовить умы, по возможности скрывая свои средства и цели.

В своей опасливости он доходил до того, что в Совете как будто никогда не имел своего мнения, а всегда присоединялся к чужому, а между тем, как раз наоборот, другие говорили его словами. Но чем тщательней скрывал герцог свои способности от общества, тем ярче они раскрывались. Испанцы разгадали его и полюбили. Двор начал ему завидовать. Ему предложили пост в Лиссабоне.

Понимая, что отказываться нельзя, он его принял, но с условием, что я стану государственным секретарем.

С тех пор я его больше не видел, но сердца наши всегда вместе.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, ему доложили, что таборные дела требуют его присутствия. Как только он ушел, заговорил Веласкес:

– Хотя я слушаю нашего хозяина со всем возможным вниманием, я не могу уловить в словах его ни малейшей связи. Я попросту не знаю, кто говорит, а кто слушает. Маркиз де Вальфлорида рассказывает дочери свои приключения, а та рассказывает их вожаку цыган, а тот снова рассказывает их нам. Настоящий лабиринт. Мне всегда казалось, что романы и прочие произведения такого рода нужно составлять в несколько колонок, наподобие хронологических таблиц.

– Ты прав, сеньор, – ответила Ревекка. – Например, в одной колонке можно было бы прочесть, что сеньора де Вальфлорида обманывает мужа, а из другой узнать, как это на нем отразилось, что, разумеется, пролило бы новый свет на все повествование.

– Я имею в виду не это, – возразил Веласкес. – А вот, например, герцог Сидония: я еще должен разобраться в его характере, а он тем временем уже лежит в гробу. Не лучше ли было бы начать с португальской войны? Тогда во второй колонке я познакомился бы с доктором

Сангре Морено, рассуждающим о врачебном искусстве, и не удивился бы, видя, что один вскрывает труп другого.

– Конечно, – перебила Ревекка, – сплошные неожиданности делают повествование малоинтересным, так как никогда невозможно догадаться, что будет дальше.

Тут я взял слово и сказал, что во время войны с Португалией мой отец был еще очень молод, – приходится только диву даваться той рассудительности, которую он проявил в деле герцога Медины Сидонии.

– Тут и говорить не о чем, – сказала Ревекка. – Если бы он не вызвал на поединок одиннадцать офицеров, дело могло бы дойти до скандала, и он правильно поступил, не допустив этого.

Мне показалось, что Ревекка над нами издевается. Я подметил в ее характере черты насмешливости и неверия. Я подумал, что, быть может, она могла бы рассказать нам о происшествиях, совершенно непохожих на историю небесных близнецов, и решил расспросить ее, так ли это.

Между тем наступила пора расходиться, и каждый пошел к себе.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Мы все сошлись довольно рано, и цыган, имея свободное время, продолжил свое повествование.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Герцогиня Сидония, рассказав мне историю своего отца, несколько дней совсем не показывалась, и корзинку приносила Хиральда. От нее я также узнал, что вопрос обо мне разрешился благоприятно благодаря заступничеству со стороны дяди моей матери. В конце концов священнослужители даже были рады, что я от них убежал. В приговоре святой инквизиции мой поступок именовался легкомысленным, и на меня налагалась двухлетняя епитимья, а имя и фамилия мои были обозначены только инициалами. Хиральда сообщила мне также, что тетя моя желает, чтобы я скрывался в течение двух лет, а она пока сама поедет в Мадрид и займется там управлением деревушкой, которую отец предназначил для моего содержания. Я спросил Хиральду, неужели она думает, что я выдержу эти два года в подземелье. Она ответила, что у меня нет другого выхода; да и ее собственная безопасность требует того же.

На другой день, к великой моей радости, пришла сама герцогиня; я любил ее гораздо больше, чем высокомерную кормилицу. Хотелось мне также узнать продолжение ее приключений. Я попросил ее продолжить свой рассказ, и она начала так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГЕРЦОГИНИ МЕДИНЫ СИДОНИИ

Я поблагодарила отца за то доверие, с каким он посвятил меня в самые существенные события своей жизни. В следующую пятницу я опять вручила ему письмо от герцога Сидонии. Он не читал мне ни этого письма, ни последующих, которые он получал каждую неделю, но часто с удовольствием рассказывал о своем друге.

Вскоре меня посетила пожилая женщина, вдова одного офицера. Отец ее был вассалом герцога, и она стала просить возвращения лена, что зависело от герцога Сидонии. До тех пор никто никогда не обращался ко мне с просьбой о поддержке, и этот случай польстил моему самолюбию. Я написала ходатайство, в котором ясно и подробно перечислила все права бедной вдовы. Отнесла эту бумагу отцу, который был ею очень доволен и послал ее герцогу. По правде говоря, я на это надеялась. Герцог признал претензию вдовы и написал мне чрезвычайно любезное письмо, восхищаясь столь ранним моим умственным развитием. Через некоторое время я снова нашла повод написать ему и снова получила письмо, в

котором он восхищался моей сообразительностью. А я в самом деле уделяла много времени работе над собой, и Хиральда помогала мне в этом. Когда я писала второе письмо свое, мне только что исполнилось пятнадцать лет.

Однажды, находясь в кабинете отца, я вдруг услышала шум на улице и крики сбежавшейся толпы. Подбежав к окну, я увидела множество народа, суетливо теснящегося и провожающего как бы в триумфальном шествии золоченую карету, на которой я узнала герб герцога Сидонии. Толпа идалго и пажей подскочила к дверце, и оттуда вышел мужчина очень приятной наружности, в кастильском наряде, который при дворе тогда уже выходил из моды. На нем был короткий плащ, брыжи, султан из перьев на шляпе, – но главным великолепием наряда был висящий на груди, осыпанный бриллиантами орден Золотого Руна. Отец мой тоже подошел к окну.

– Ах, это он! – воскликнул отец. – Я ждал, что он приедет.

Я ушла к себе и познакомилась с герцогом только на другой день; в дальнейшем, однако, я видела его каждый день, так как он почти не выходил из дома моего отца.

Двор вызвал герцога по вопросам великой важности. Дело шло о подавлении беспорядков, возникших из-за сбора налогов в Арагоне. В этом королевстве наиболее знатные люди называются *ricos hombres* и считаются равными кастильским грандам; род Сидониев был среди них самым старшим. Этого было довольно для того, чтоб к нему внимательно прислушивались; кроме того, его любили за многие качества.

Герцог отправился в Сарагосу и сумел примирить требования двора с интересами жителей. Его спросили, какой он желает награды. Он ответил, что хотел бы немного подышать воздухом родины.

Герцог, человек искренний, откровенный, нисколько не открывал того, какую радость доставляет ему мое общество, – поэтому мы всегда были вместе, в то время как другие друзья моего отца занимались с ним государственными делами.

Сидония признался мне, что он немного ревнив, а случается, доходит и до неистовства. Говорил он по большей части только о себе или обо мне, а когда между мужчиной и женщиной идут такого рода разговоры, отношения вскоре становятся все тесней. Так что я нисколько не удивилась, когда однажды отец позвал меня к себе в кабинет и объявил, что герцог просит моей руки.

Я ответила, что мне не надо времени на размышления, так как я заранее предвидела, что герцог может полюбить дочь своего друга, и уже продумала и его образ мыслей, и разницу в возрасте, нас разделяющую.

– Однако, – прибавила я, – испанские гранады обычно стремятся к союзам с семьями, равными им по положению. Как же станут они глядеть на наш союз? Они, может быть, даже перестанут говорить герцогу «ты», это будет первым доказательством их недовольства.

– То же самое и я говорил герцогу, – сказал мой отец, – но он ответил, что ему нужно только твое согласие, а остальное он сам все уладит.

Сидония находился поблизости; он вошел с робким выражением лица, странно не соответствующим обычной его надменности. Вид его тронул меня, и герцогу не пришлось долго ждать моего согласия. Таким образом я сделала счастливыми их обоих, так как мой отец был вне себя от радости. Хиральда тоже радовалась нашему счастью.

На другой день герцог пригласил к обеду находившихся тогда в Мадриде грандов. Когда все собрались и сели, он обратился к ним с такими словами:

– Альба, я обращаюсь к тебе, так как считаю тебя первым среди нас, не потому, чтобы род твой был знатней моего, а благодаря моему уважению к памяти героя, чье имя ты носишь. Предрассудок, делающий нам честь, требует, чтобы мы выбрали жен среди дочерей грандов, и я, конечно, презрел бы того, кто вступил бы в недостойный союз из любви к богатству или даже ради удовлетворенья порочной страсти. Случай, о котором я хочу с вами поговорить, – совершенно другого рода. Вы хорошо знаете, что астурийцы считают себя более благороднорожденными, чем сам король; хотя это мнение, может быть, несколько преувеличено, но тем не менее они имели дворянские титулы еще до вторжения мавров в

Испанию, и у них есть право считать себя самым знатным дворянством Европы. Чистейшая астурийская кровь течет в жилах Элеоноры де Вальфлорида, – я уж не говорю обо всех известных благородных ее качествах. Утверждаю поэтому, что такой брак может только сделать честь семье любого испанского гранда. А кто держится противоположного мнения, пусть поднимет вот эту перчатку, которую я бросаю посреди собрания.

– Я поднимаю, – сказал герцог Альба, – для того чтоб отдать тебе ее вместе с пожеланием счастья в таком прекрасном браке.

С этими словами он обнял герцога, и остальные гранды последовали его примеру. Мой отец, рассказывая мне об этом событии, прибавил немного печально:

– В нем всегда вот такое рыцарство. Если б только он мог избавиться от своей запальчивости. Умоляю тебя, дорогая Элеонора, никогда ни в чем его не задевать.

Я тебе говорила, что у меня в характере была некоторая склонность к высокомерию, но жажда почестей сейчас же прошла, как только я ее утолила. Я стала герцогиней Сидония, и сердце мое наполнилось самыми отрадными чувствами. Герцог в домашнем обиходе был очаровательнейший человек, он безгранично любил меня, всегда и неизменно выказывал мне одинаковую доброту, неисчерпаемую ласковость, непрестанную нежность, – и ангельская душа отражалась в лице его. Только по временам, когда мрачная мысль заставляла его хмуриться, оно приобретало страшное выражение. В такие минуты я, дрожа, невольно вспоминала убийцу ван Берга.

Но его мало что сердило, а во мне все ему нравилось. Он любил смотреть, как я чем-нибудь занимаюсь, слушать мой голос и угадывать самые сокровенные мои мысли. Я думала, что невозможно было бы любить меня больше, но появление на свет дочурки удвоило его любовь, и счастье наше стало полным.

В тот день, когда я первый раз встала после родов, ко мне пришла Хиральда и сказала:

– Милая Элеонора, ты – жена и мать; словом, ты – счастлива; я тебе больше не нужна, а мои обязанности зовут меня в другое место. Я решила ехать в Америку.

Я стала ее удерживать.

– Нет, – возразила она, – мое присутствие там необходимо.

Через несколько дней она уехала. С ее отъездом кончились мои счастливые годы. Я описала тебе этот период неземного блаженства; он был недолог оттого, что такое великое счастье, как наше, наверно, не дается людям на всю жизнь. У меня не хватает сил перейти сейчас к рассказу о моих горестях. Прощай, мой юный друг, завтра мы снова увидимся.

Рассказ молодой герцогини очень меня заинтересовал. Я жаждал узнать, что было дальше и как такое великое счастье сменилось невзгодой. Но вдруг мои мысли приняли другое направление. Я вспомнил слова Хиральды о том, что мне придется просидеть два года взаперти. Это мне вовсе не улыбалось, и я стал обдумывать, как бы убежать.

На другой день герцогиня опять принесла мне снедь. Глаза у нее были красные, как будто она плакала. Однако она заявила, что в силах поведать мне историю своих несчастий, и начала так.

– Я говорила тебе, что Хиральда несла при мне обязанности старшей дуэньи. Ее место заняла донья Менсия, женщина тридцати лет, еще довольно красивая, довольно образованная, и мы поэтому иногда допускали ее в наше общество. Тогда она обычно вела себя так, словно была влюблена в моего мужа. Я смеялась и не придавала этому ни малейшего значения. К тому же донья Менсия старалась быть мне приятной и прежде всего как можно лучше меня узнать. Часто она наводила разговор на довольно веселые предметы или передавала мне городские сплетни, так что мне не раз приходилось ее останавливать.

Я сама кормила свою дочку и, к счастью, перестала кормить ее перед страшными событиями, о которых ты сейчас узнаешь. Первым ударом, поразившим меня, была смерть отца, – сраженный мучительной и жестокой болезнью, он испустил дух на моих руках, благословляя нас обоих и не предвидя ожидающих нас бед.

Вскоре после этого начались беспорядки в Бискайе. Туда послали герцога, а я сопровождала его до Бургоса. У нас есть имения во всех провинциях Испании и дома почти во всех городах; но здесь был только летний дом, расположенный в миле от города, тот самый, Где ты сейчас находишься. Оставив меня со всей моей свитой, герцог отправился к месту назначения.

Как-то раз, возвращаясь домой, я услышала шум во дворе. Мне доложили, что поймали вора, ранив его камнем в голову, и что это юноша изумительной красоты. Несколько слуг положили его у моих ног, и я узнала Эрмосито.

– О небо! – воскликнула я. – Это не вор, а порядочный молодой человек, получивший воспитание в Асторгасе, у моего деда.

Затем я велела дворецкому взять беднягу к себе и как можно внимательней о нем позаботиться. Кажется, сказала даже, что это сын Хиральды, но точно не помню.

На другой день, донья Менсия доложила мне, что молодой человек в горячке и что в бреду он часто упоминает мое имя, притом очень нежно и страстно. Я ответила, что если она когда-нибудь посмеет еще заговорить о чем-нибудь подобном, то я прикажу сейчас же ее выгнать.

– Посмотрим, – сказала она.

Я запретила ей показываться мне на глаза. На другой день она пришла просить прощения, упала мне в ноги – и я ее простила.

Через неделю после этого, когда я была одна, вошла Менсия, поддерживая Эрмосито, очень ослабевшего.

– Сеньора приказала мне прийти? – промолвил он дрожащим голосом.

Я с удивлением взглянула на Менсию, но, не желая обижать сына Хиральды, велела ему придвинуть кресло и сесть в нескольких шагах от меня.

– Дорогой Эрмосито, – сказала я, – твоя мать никогда не упоминала при мне твоего имени. Я хотела бы теперь узнать, что с тобой было за то время, что мы не виделись.

Эрмосито прерывающимся от слабости голосом стал рассказывать.

ИСТОРИЯ ЭРМОСИТО

Увидев, что корабль наш идет под всеми парусами, я потерял всякую надежду выбраться на берег и заплакал, вспомнив, с какой неслыханной суровостью мать прогнала меня от себя. Я никак не мог понять, что побудило ее поступить так. Мне сказали, что я у тебя на службе, сеньора, и я служил тебе со всем усердием, на какое только способен. Покорность моя была безгранична, так почему же меня выгнали, как будто я совершил что-то скверное? Чем больше я об этом думал, тем меньше понимал.

На пятый день плаванья мы оказались посреди эскадры дона Фернандо Арудеса. Нам было приказано зайти с кормы адмиральского судна. На золоченом и украшенном разноцветными флагами мостике я увидел дона Фернандо, чья грудь была уснащена цепями многочисленных орденов. Его почтительно окружала группа офицеров. Приложив рупор к губам, адмирал спросил, не встречали ли мы кого в дороге, и велел плыть дальше. Проходя мимо него, капитан нашего корабля спросил:

– Видели адмирала? Теперь он – маркиз, а ведь начинал таким же юнгой, как вон тот, что подметает верхнюю палубу.

Дойдя до этого места своего рассказа, Эрмосито несколько раз кинул тревожный взгляд на Менсию. Я поняла, что он не хочет объяснять всего при ней, и велела ей уйти. При этом мной руководило исключительно только дружеское чувство к Хиральде, и мне даже в голову не приходила мысль, что я могу навлечь на себя подозрение. Когда Менсия вышла, Эрмосито продолжал:

– Мне кажется, сеньора, что, черпая пищу из одного с тобой источника, я самую душу свою сформировал наподобье твоей и уже не мог думать ни о чем, кроме тебя или того, что с тобой связано. Капитан сказал мне, что дон Фернандо был юнгой, а стал маркизом; я знал,

что твой отец – тоже маркиз, подумал, что нет ничего прекрасней этого титула, и спросил, каким образом дон Фернандо добился этого. Капитан объяснил мне, что он подымался со ступеньки на ступеньку, всюду выделяясь блестящими подвигами. С тех пор я решил поступить во флот и начал упражняться в лазанье по мачтам. Капитан, которому было поручено руководить мной, противился этому сколько мог, но я его не слушал и ко времени нашего прибытия в Веракрус был уже неплохим матросом.

Дом моего отца стоял на берегу моря. Мы причалили к этому месту в шлюпке. Отец вышел мне навстречу, окруженный роем молодых мулаток, и велел мне обнять их всех по очереди. Девушки тут же начали танцевать, развлекать меня на все лады, и вечер прошел в бесконечных дурачествах.

На другой день коррехидор Веракруса известил моего отца, что не подобает принимать сына в доме, где заведены такие порядки, и что он должен поместить меня в коллегию театинцев. Отец, хоть и с сожалением, был вынужден подчиниться.

В коллегии моим ректором был монах, который, чтобы приохотить нас к учению, все время твердил, что маркиз Кампо Салес, тогдашний второй государственный секретарь, тоже был когда-то бедным студентом и обязан своим возвышением прилежанию к наукам. Видя, что и этим путем можно добиться звания маркиза, я два года трудился с необычайным рвением.

Между тем прежнего коррехидора перевели из Веракруса в другое место, и преемником его стал человек менее строгих правил. Отец мой осмелился взять меня домой. Я снова стал беззащитным перед озорством молодых мулаток, которые, подстрекаемые отцом, искушали меня на всякий лад. Я отнюдь не пристрастился к этим шалостям, но узнал много для себя нового и только теперь понял, ради чего был удален из Асторгаса.

Тут мой образ мыслей круто изменился. Неведомые чувства проснулись в душе моей и разбудили воспоминанья о невинных забавах моих младенческих лет. Мысль о потерянном счастье, о садах в Асторгасе, по которым я бегал, сеньора, с тобой, смутные воспоминания о бесчисленных проявлениях твоей доброты – мгновенно обрушились на мое сознание. Я не мог противиться стольким противникам и впал в состояние моральной и физической подавленности. Врачи утверждали, что у меня изнурительная лихорадка, а я не считал себя больным, но часто мной овладевало такое помрачение рассудка, что я видел перед собой предметы, вовсе не существующие.

И чаще всего, сеньора, в этих виденьях моему разгоряченному воображению являлась ты – не такая, какой я вижу тебя сейчас, а какой оставил в минуту разлуки. По ночам я часто срывался с постели, видя, как ты – светлая, лучезарная – показываешься передо мной в туманной дали. За городом шум далеких деревень и шепот полей повторяли мне твое имя. Порой мне казалось, будто ты идешь по равнине впереди меня, а когда я поднимал глаза к небу, моля его окончить мои мученья, я видел твой образ, плывущий в облаках.

Я заметил, что обычно меньше страдаю в церкви, – молитва приносила облегчение. Кончилось тем, что я стал проводить целые дни в храмах. Как-то раз ко мне подошел один монах, поседлый в молитвах и покаянии, со словами:

– Сын мой, сердце твое переполняет любовь, которой этот свет недостойн. Пойдем ко мне в келью: я покажу тебе тропинки, ведущие в рай.

Я пошел за ним и увидал власяницу, бичи и другие орудия мученичества, вид которых меня несколько не испугал, так как никакие страдания не могли сравниться с моими. Монах прочел мне несколько страниц из «Житий святых». Я попросил его дать мне почитать эту книгу и всю ночь напролет читал ее. Новые мысли овладели моим умом, я видел во сне разверстые небеса и ангелов, напоминавших тебя своим обликом.

Тогда в Веракрусе узнали о том, что ты вышла замуж за герцога Сидонию. Я с давних пор имел намеренье посвятить себя священнослужению, все свое счастье видел в том, чтобы молиться за твое счастье в этой и спасение в будущей жизни. Благочестивый наставник мой сказал мне, что во многих американских монастырях царит разврат, и посоветовал мне стать послушником в Мадриде.

Я сообщил отцу о своем намерении. Ему давно уже не нравилась моя набожность, однако, не решаясь открыто сбивать меня с этого пути, он просил подождать хотя бы ожидаемого вскоре приезда матери. Я возразил, что у меня больше нет родителей на земле и что небо – единственная моя родина. На это он ничего не ответил. Потом я пошел к коррехидору, который одобрил мое намерение и отправил меня с первым кораблем в Испанию.

Прибыв в Бильбао, я узнал, что моя мать только что отплыла в Америку. Как я уже сказал, у меня были рекомендательные письма в Мадрид. Когда я проезжал Бургос, мне сказали, что ты, сеньора, живешь в окрестностях этого города, – и мне захотелось повидать тебя еще раз, перед тем как навсегда отречься от всего мирского. Увижу ее еще раз, думал я, и с еще большим жаром буду за нее молиться.

Я поехал к вам. Вошел в первый двор с мыслью, что встречу кого-нибудь из твоих прежних слуг, так как слышал, что ты вывезла из Асторгаса всю свою челядь. Рассчитывал напомнить о себе и попросить, чтоб меня поместили в таком месте, откуда я мог бы видеть тебя, когда ты будешь садиться в карету. Видеть тебя, сам оставаясь невидимым.

Но навстречу попадались все незнакомые люди, и я не знал, как быть. Вошел в какую-то совершенно пустую комнату; наконец мне показалось, будто я вижу какое-то знакомое лицо. Я вышел, и тут меня вдруг ударили камнем в голову... Но, я вижу, мой рассказ взволновал сеньору.

– Даю тебе слово, – продолжала герцогиня, – что благочестивое помешательство Эрмосито вызвало во мне только жалость, но когда он заговорил о садах Асторгаса, о забавах наших младенческих лет, воспоминанье о счастье, которым мы тогда наслаждались, мысль о теперешнем моем счастье и некоторая боязнь будущего, какое-то чувство, в одно и то же время милое и грустное, стеснило мое сердце, и я почувствовала, что по щекам моим покатились слезы.

Эрмосито встал; кажется, он хотел поцеловать край моего платья, но у него задрожали ноги, голова его упала на колени ко мне и руки крепко обвились вокруг моей талии.

В это мгновение я бросила взгляд на стоявшее напротив зеркало; я увидела Менсию и герцога, но у него было такое страшное лицо, что я его еле узнала.

Кровь застыла у меня в жилах; я опять взглянула на зеркало, но на этот раз не увидела никого.

Освободившись от объятий Эрмосито, я позвала Менсию, велела ей позаботиться об этом юноше, который вдруг лишился сознания, и вышла в другую комнату. Случай этот очень меня встревожил, – ведь слуги уверили меня, что герцог еще не возвращался из Бискайи.

На другой день я послала узнать о здоровье Эрмосито и получила ответ, что его уже нет в доме.

Через три дня, когда я собиралась лечь спать, ко мне вошла Менсия с письмом герцога в руках, содержащим только следующее:

«Сделай то, что тебе скажет донья Менсия. Это приказывает тебе твой муж и судья».

Менсия завязала мне глаза платком; я почувствовала, что меня тянут за руку и ведут в это подземелье. Услыхала звон кандалов. Платок сняли, и я увидела Эрмосито, прикованного за шею к столбу, на который ты опираешься. Глаза его были тусклы, лицо – страшно бледно.

– Это ты, сеньора? – произнес он голосом умирающего. – Я не могу говорить. Мне не дают воды, у меня язык прилип к гортани. Мученья мои не продлятся долго; если я попаду на небо, то буду молиться за тебя.

В это самое мгновение из отверстия в стене грянул выстрел, и пуля раздробила ему плечо.

– Великий боже! – воскликнул он. – Прости моим мучителям.

Оттуда же грянул второй выстрел, но я не видела последствий, так как упала без чувств.

Я очнулась среди моих прислужниц, казалось, ни о чем не знавших: они сообщили мне

только, что Менсия уехала. На другой день утром пришел конюший герцога и доложил мне, что этой ночью его хозяин уехал с секретным поручением во Францию и вернется только через несколько месяцев.

Оставшись одна, я призвала на помощь все свое мужество, – предоставила свое дело суду всевышнего и безраздельно отдалась воспитанию дочери.

Через три месяца появилась Хиральда. Она приехала из Америки в Мадрид, чтобы отыскать сына в том монастыре, где он должен был отбыть срок послушничества. Не найдя его там, она поехала в Бильбао, и оттуда следы Эрмосито привели ее в Бургос. Опасаясь взрыва отчаянья, я поведала ей только часть правды; преисполненная горем, она сумела вырвать у меня всю тайну. Ты знаешь, какой у этой женщины твердый, настоящий характер. Гнев, отчаянье, самые страстные чувства, какие только могут владеть душой, поочередно терзали ее душу. Я же сама была слишком несчастна, чтобы найти в себе силы утешать ее.

Однажды, переставляя мебель у себя в комнате, Хиральда обнаружила потайную дверцу в стене, под обоями, и добралась до подземелья, где узнала тот столб, о котором я тебе говорила. На нем были еще видны следы крови. Она вбежала ко мне сама не своя. После этого она часто запиралась у себя в комнате, но, по-моему, просто сидела в этом проклятом подземелье, обдумывая планы мести.

Через месяц мне доложили о прибытии герцога. Он вошел, спокойный и сдержанный, приласкал ребенка, потом велел мне сесть и сам сел рядом.

– Сеньора, – сказал он, – я долго думал о том, как с тобой поступить. И решил ничего не менять. Тебе будут прислуживать в моем доме с прежней почтительностью. Я буду оказывать тебе для видимости те же знаки внимания. И так будет продолжаться до того момента, когда твоей дочери исполнится шестнадцать лет.

– А когда ей исполнится шестнадцать, что будет со мной? – спросила я.

Тут Хиральда принесла шоколад: мне пришло в голову, – а вдруг он отравлен?

Герцог продолжал:

– В тот день, когда твоей дочери исполнится шестнадцать лет, я позову ее к себе и скажу ей следующее: «Твои черты, дитя мое, напоминают мне лицо женщины, историю которой я тебе расскажу. Она была прекрасна и, казалось, обладает еще более прекрасной душой, но какой в этом толк, если она только казалась добродетельной. Она так искусно умела притворяться, что, благодаря этому искусству, сумела выйти за одного из самых знатных людей Испании. Однажды, когда мужу ее пришлось быть несколько недель в отсутствии, она приказала привезти к ней из родных краев ничтожного бедняка. Они вспомнили свои прежние любовные увлечения и упали друг другу в объятия. Эта отвратительная лицемерка – твоя мать». После этого я выгоню тебя из своего дома, и ты пойдешь плакать на могиле своей матери, которой – та же цена, что и тебе.

Несправедливость уже так закалила мое сердце, что эта речь не произвела на меня особого впечатления. Я взяла ребенка на руки и ушла к себе в комнату.

К несчастью, я забыла про шоколад: а герцог, как я потом узнала, уже два дня ничего не ел. Чашка стояла перед ним, он выпил ее залпом и пошел к себе. Через полчаса он послал за доктором Сангре Морено и, кроме него, не велел никого пускать.

Побежали за доктором, но он уехал в загородный домик, где производил свои вскрытия. За ним поехали, но там его уже не оказалось, стали искать по пациентам, наконец после трехчасовых поисков он приехал и нашел герцога мертвым.

Сангре Морено с великим вниманием обследовал труп, осмотрел ногти, глаза, язык, велел принести ему из дома множество бутылок и начал делать какие-то опыты. Потом пришел ко мне и сказал:

– Могу твердо сказать, сеньора, что герцог умер вследствие отравления смесью наркотической камеди с едким металлом. Но к уголовному трибуналу я никакого отношения не имею, поэтому оставляю это дело на усмотрение высшего судьи, пребывающего на небесах. Я же публично заявлю, что герцог умер от удара.

Другие приглашенные лекари подтвердили диагноз Сангре Морено.

Я велела позвать Хиральду и повторила ей то, что сказал доктор. Растерянность выдала ее.

– Ты отравила моего мужа, – сказала я. – Каким же образом христианка может допустить себя до такого преступления?

– Я христианка, – ответила она, – это правда. Но я мать, и если бы убили твое собственное дитя, как знать, не стала ли бы ты сама свирепей разъяренной тигрицы?

На это я не нашлась, что ответить, однако заметила ей, что она ведь могла отравить меня вместо герцога.

– Ничуть не бывало, – возразила она. – Я смотрела сквозь замочную скважину и сейчас же вбежала бы, если б ты дотронулась до чашки.

Потом пришли капуцины, требуя тело герцога, и так как у них была бумага от архиепископа, невозможно было им отказать.

Хиральда, до тех пор обнаруживавшая изрядное мужество, вдруг страшно встревожилась. Она задрожала при мысли, как бы при бальзамировании тела не нашли следов яда, и ее усиленные просьбы склонили меня к участию в ночной вылазке, которой я обязана удовольствием видеть тебя в своем доме. Моя напыщенная речь на кладбище имела целью обмануть слуг. Но, увидев, что вместо покойника принесли тебя, нам пришлось, чтоб не выводить их из заблуждения, похоронить возле садовой часовни чучело человека.

Несмотря на эти предосторожности, Хиральда до сих пор в тревоге, все время толкует о том, чтоб вернуться в Америку, и хочет держать тебя здесь, пока не примет какого-то твердого решения. Что до меня, то я ничего не боюсь, и если меня вызовут в суд, чистосердечно расскажу всю правду. Я и Хиральду предупредила об этом.

Несправедливость и жестокость герцога привели к тому, что я его разлюбила, я никогда не могла бы жить с ним вместе. Единственное мое счастье – моя дочурка. Я не боюсь за ее судьбу. Наследственные титулы и большое богатство не дают основания опасаться за ее будущее.

Вот все, что я хотела тебе сообщить, мой молодой друг. Хиральде известно, что я решила рассказать тебе нашу историю; она тоже считает, что не следует держать тебя в неведении. Но мне душно в этом подземелье, пойду наверх, подышу свежим воздухом.

Как только герцогиня ушла, я кинул взгляд вокруг и в самом деле нашел вид окружающего довольно печальным; могила молодого мученика и столб, к которому он был прикован, делали его еще мрачней. Мне было хорошо в этом узилище, пока я боялся театинцев, но теперь, когда все было улажено, пребывание в нем становилось несносным. Меня забавляла самоуверенность Хиральды, намеревавшейся держать меня здесь целых два года. В общем, обе женщины очень мало подходили для роли стражников; они оставляли дверь в подземелье открытой, – видимо, полагая, что отделяющая меня решетка представляет собой непреодолимую преграду. А я в это время уже составил план не только бегства, но и всего поведения в течение двух лет, назначенных мне для епитимьи. Познакомлю вас вкратце со своим намерением.

Во время пребывания в коллегии театинцев я часто думал о том, как счастливы, наверно, маленькие нищие, сидящие у дверей нашей церкви. Участь их казалась мне гораздо приятней моей. На самом деле, в то время как я увядал над книгами, не зная, как удовлетворить своих учителей, эти счастливые дети нужды бегали по улице, играли в карты на ступенях паперти и рассчитывались друг с другом каштанами. Иногда они дрались до изнеможения – и никто их не останавливал; вываливались в песок – и никто не заставлял их мыться; раздевались прямо на улице и стирали рубашки у колодца. Ну, можно ли вообразить существование приятней?

Мысли о такого рода счастье очень занимали меня во время пребывания в подземелье, и я решил, что лучше всего будет, если, выбравшись из узилища, я поведу до конца епитимьи образ жизни нищего. Конечно, я уже получил некоторое образование и по разговору можно было отличить меня от сотоварищей, но я надеялся, что сумею без труда усвоить их язык и

обычаи, с тем чтобы потом, через два года, вернуться к своим. Хотя мысль эта была довольно странная, но из того положения, в каком я находился, я не мог найти лучшего выхода.

Приняв это решение, я отломил кусок лезвия от ножа и стал трудиться над одним из прутьев решетки. Пять дней бился я, прежде чем мне удалось его выломать. Я тщательно собирал обломки камней и засыпал ими отверстие, так что ничего нельзя было заметить.

В тот день, когда я кончил эту работу, корзинку мне принесла Хиральда. Я спросил, не боится ли она, как бы случайно не проведали, что она кормит в подземелье какого-то неизвестного парня.

— Нисколько, — ответила она, — подъемная дверь, через которую ты сюда попал, выходит в особый павильон, Двери которого я приказала замуровать под тем предлогом, будто он пробуждает в герцогине горькие воспоминания. А коридор, по которому мы ходим к тебе, ведет из моей спальни, и вход в него закрыт обоями.

— Но дверь, наверно, железная?

— О нет, — возразила она. — Дверь довольно легкая, но тщательно скрыта; к тому же я, уходя, всегда запираю свою комнату на ключ. Тут есть и другие подземелья, как это, и, по моему, еще до нас здесь, наверно, жил не один ревнивец и совершалось не одно злодеяние.

Сказав это, Хиральда хотела уйти.

— Почему ты уходишь, сеньора? — спросил я.

— Мне некогда, — возразила она, — у герцогини нынче кончается шестая неделя траура, и она хочет поехать кататься.

Я узнал, что мне было нужно, и больше не удерживал Хиральду, которая ушла, на этот раз не запирая за собой дверь. Я как можно скорей написал герцогине, что прошу меня простить, положил письмо на решетку, потом вынул прут и — пройдя до тех пор недоступную мне часть подземелья, а затем темный коридор, очутился у какой-то запертой двери. Я услышал стук пролетки и топот лошадей, отсюда я заключил, что герцогиня, вместе с кормилицей, уехала.

Я стал высаживать дверь. Изъеденные червями доски недолго сопротивлялись моим усилиям. Скоро я оказался в комнате кормилицы; а так как знал, что она заперла дверь на ключ, решил, что могу дать себе минуту отдыха.

Глянув в зеркало, убедился, что мой внешний вид совершенно не соответствует той роли, которую я собирался сыграть. Я взял уголь из камина и немного затемнил свое бледное лицо, потом разорвал рубашку и верхнюю одежду. Подойдя к окну, я увидел, что оно выходит в сад, когда-то дорогой сердцу хозяев дома, но теперь совсем запущенный.

Отворив окно, я убедился, что больше ни одно не выходит на эту сторону; можно было бы прыгнуть на землю, но я предпочел воспользоваться простынями Хиральды. Вскрабкавшись затем на крышу беседки, увитой виноградом, и перепрыгнув с нее на садовую ограду, я выбрался в чистое поле, счастливый, что дышу вольным воздухом, уйдя от театинцев, инквизиции, герцогини и ее кормилицы.

Вдали я увидел Бургос, но направился в противоположную сторону и вскоре увидел убогий трактир; показав хозяйке двадцать реалов, которые были у меня аккуратно завернуты в бумагу, сказал, что все эти деньги хочу истратить у нее. В ответ она засмеялась и принесла мне по двойной цене хлеба и луку. У меня было еще немного денег, кроме этих, но я утаил их от нее. Подкрепившись, я ушел на конюшню и заснул так крепко, как человек спит в шестнадцать лет.

До Мадрида я добрался без каких-либо заслуживающих внимания происшествий. В город входил уже в сумерки. Отыскал дом тетки; вы можете себе представить, как она меня встретила. Но я пробыл у нее очень недолго, опасаясь, как бы меня не обнаружили. Пройдя весь Мадрид, я оказался на Прадо, где лег на землю и заснул.

Утром проснулся уже засветло и пошел бродить по площадям и улицам в поисках места, наиболее выгодного для моего нового ремесла. На улице Толедо, встретив девушку, которая несла бутылку чернил, я спросил, не от сеньора ли Авадоро она случайно?

– Нет, – возразила она. – Я иду от дома Фелипе дель Тинтеро Ларго.

Оказалось, что отца моего по-прежнему знают под этим прозвищем и занятия у него те же самые.

Однако надо было подумать о выборе места. Возле паперти храма святого Роха я увидел нескольких нищих моего возраста, которые с виду мне приглянулись. Я подошел к ним и сказал, что прибыл из провинции в надежде на милосердие здешних жителей, но что у меня еще осталась горстка реалов, которую я охотно внесу в общую кассу, если она у них имеется. Слова эти произвели на слушателей самое благоприятное впечатление. Они ответили, что у них есть общие деньги у торговки каштанами на углу. Они сводили меня туда, после чего мы вернулись на паперт и стали играть в тарок. В самый разгар игры к каждому из нас по очереди как будто стал приглядываться какой-то хорошо одетый сеньор. Мы уже собирались крикнуть ему какую-нибудь глупость, но он предупредил нас, кинув мне повелительно, чтобы я шел за ним.

Заведя меня за угол, он сказал:

– Дитя мое, я выбрал тебя среди твоих товарищей оттого, что у тебя лицо умней, чем у остальных, а для того, чтоб выполнить мое поручение, нужна смекалка. Слушай же меня внимательно. Здесь будет проходить много женщин, совершенно одинаково одетых: в черных бархатных платьях и мантильях с черными кружевами, закрывающими им лица, так что ни одной нельзя узнать. К счастью, бархат и узоры кружев – разные, по этому признаку нетрудно определить, за которой из прекрасных незнакомок тебе идти. Я – любовник одной молодой особы, которая, кажется, склонна к измене, и хочу хорошенько удостовериться в этом. Вот тебе два образчика бархата и два – кружев. Если ты заметишь двух женщин, к чьим платьям подходят эти образчики, то проследи, войдут они в церковь или вот в этот дом напротив, принадлежащий кавалеру Толедо. И сейчас же беги к виноторговцу вон там на углу; я буду там ждать тебя. Пока – вот тебе золотой, и получишь еще один, если хорошо справишься со своей задачей.

Пока незнакомец говорил это, я внимательно на него глядел, и мне показалось, что он больше похож на мужа, чем на любовника. Я вспомнил о жестокости герцога Сидонии и подумал, как бы не совершить грех, принеся любовь в жертву черным подозрениям гименея. Поэтому я решил исполнить только половину поручения, то есть сообщить ревницу, если женщины войдут в церковь; а в противном случае – предупредить их о грозящей опасности.

Вернувшись к товарищам, я сказал им, чтоб они продолжали играть, не обращая на меня внимания, и лег позади них на землю, положив перед собой образчики бархата и кружев.

Вскоре много женщин стало появляться парами; наконец прошли две, на которых были платья из той же самой материи, что и мои образчики. Обе сделали вид, будто входят в церковь, но, остановившись на паперти, посмотрели по сторонам, не идет ли кто за ними, быстро перебежали улицу и вошли в дом напротив.

Когда цыган дошел до этого места своего повествования, за ним прислали, и ему пришлось уйти. Тогда заговорил Веласкес:

– В самом деле, эта история пугает меня. Все рассказы цыгана начинаются просто, и слушателю кажется, что скоро конец; но не тут-то было: одна история родит другую, из той вытекает третья, наподобие остатков частного, которые в некоторых случаях можно делить до бесконечности. Но для суммирования разного рода прогрессий существуют определенные способы, а тут в качестве суммы всего, что нам рассказывает цыган, я могу вывести только непостижимую путаницу.

– И, несмотря на это, сеньор, – возразила Ревекка, – ты слушаешь его с великим удовольствием; ведь, насколько я знаю, ты собирался прямо в Мадрид, а между тем не можешь нас оставить.

– Две причины побуждают меня оставаться здесь, – ответил Веласкес. – Во-первых, я начал важные вычисления и хочу здесь их кончить. Во-вторых, признаюсь, сеньорита, что

общество ни одной женщины не доставляло мне такого удовольствия, как твое, или, проще говоря, ты – единственная женщина, беседа с которой доставляет мне удовольствие.

– Ваша светлость, – ответила еврейка, – я очень хотела бы, чтоб вторая причина когда-нибудь стала первой.

– Какое имеет для вас значение, сеньорита, – сказал Веласкес, – думаю ли я о вас больше, чем о геометрии, или меньше? У меня другое затруднение: я до сих пор не знаю, как вас зовут, и вынужден обозначать вас знаком «икс» или «зет», как мы обычно обозначаем в алгебре неизвестные величины.

– Мое имя, – сказала еврейка, – это тайна, которую я охотно вверила бы твоей чести, если б не боялась последствий твоей рассеянности.

– Не бойся, сеньорита, – возразил Веласкес. – Часто прибегая в процессе вычислений к подстановкам, я привык обозначать одни и те же величины одним и тем же способом. Как только я присвою тебе какое-нибудь имя, ты потом при всем своем желании не сможешь изменить его.

– Ну, хорошо, – сказала Ревекка, – называй меня пока Лаурой де Уседа.

– С большим удовольствием, – ответил Веласкес. – Но также прекрасной Лаурой, ученой Лаурой, восхитительной Лаурой, так как все это – показатели твоих достоинств.

Пока они так беседовали, мне пришло на память обещание, которое я дал разбойнику, – встретиться с ним в четырехстах шагах от табора. Я взял шпагу и, отойдя на это расстояние от табора, услышал пистолетный выстрел. Направив свои шаги в ту сторону, я увидел людей, с которыми мне уже раньше приходилось иметь дело. Атаман их обратился ко мне со словами:

– Здравствуй, сеньор кавалер. Вижу, что ты умеешь держать слово, и не сомневаюсь также в твоей отваге. Видишь вон ту расселину в скале? Она ведет в подземелье, где тебя ждут с крайним нетерпением. Надеюсь, ты оправдаешь оказанное тебе доверие.

Я вошел в подземелье, оставив незнакомца, который и не подумал за мною следовать. Пройдя несколько шагов, я услышал за спиной грохот и увидел, как огромные каменные глыбы заваливают вход, повинаясь действию какого-то непонятного механизма. Слабый луч света, проникавший сквозь расселину в скале, растворился во мраке коридора. Но, несмотря на темноту, я без труда продвигался вперед, так как дорога была ровная и наклон невелик. Я нисколько не боялся, но думаю, что всякий другой на моем месте чувствовал бы страх, углубляясь так бесцельно в недра земли. Я шел добрых два часа; в одной руке я держал шпагу, а другую вытянул вперед, чтоб на что-нибудь не наткнуться. Вдруг я ощутил легкое дуновение и услышал тихий мелодичный голос, который шепнул мне на ухо:

– По какому праву смертный осмеливается вступить в царство гномов?

Другой голос, тоже очень приятный, ответил:

– Может быть, он пришел отнять наши сокровища?

Первый продолжал:

– Если б он бросил шпагу, мы к нему подошли бы.

Тут, в свою очередь, заговорил я:

– Прелестные гномики, если только не ошибаюсь, я узнаю вас по голосу. Мне нельзя бросить шпагу, но я воткну острие в землю, и вы смело можете подойти.

Подземные божества заключили меня в объятия, но я каким-то подсознательным чувством уловил, что это были мои родственницы. Яркий свет, неожиданно хлынувший со всех сторон, убедил меня, что я не ошибся. Они отвели меня в пещеру, выложенную подушками и украшенную великолепными камнями, которые переливались всеми оттенками опала.

– Ну, – сказала Эмина, – ты рад, что встретился с нами? Теперь ты проводишь дни в обществе молодой израильтянки, разум которой не уступает ее очарованию.

– Даю тебе слово, – ответил я, – что Ревекка не произвела на меня никакого впечатления, а при встрече с вами я каждый раз испытываю тревогу, что больше вас не увижу. Меня пробовали убедить в том, что вы нечистые духи, но я никогда не верил. Какой-

то внутренний голос твердил мне, что вы существа, подобные мне, созданные для любви. Принято думать, что можно любить по-настоящему только одну женщину, – это не так, раз я люблю вас обеих одинаково. Сердце мое не разделяет вас, вы царите в нем обе вместе.

– Ах! – воскликнула Эмина. – Это говорит в тебе кровь Абенсеррагов, коли ты можешь любить сразу двух женщин. Так прими же святую веру, разрешающую многоженство.

– Быть может, – перебила Зибельда, – тогда ты сидел бы на троне в Тунисе. Если б ты только видел эту очаровательную страну, серали Бардо и Манубы, сады, фонтаны, роскошные бани и тысячи молодых невольниц, куда более прекрасных, чем мы.

– Не будем, – сказал я, – говорить о тех королевствах, которые озаряет солнце; мы сейчас сам не знаю в какой бездне; но хотя бы мы были даже на границе с адом, никто не запрещает нам изведать наслаждение, которое, говорят, Пророк обещает своим избранным.

Эмина грустно улыбнулась, но спустя мгновение поглядела на меня с нежностью. А Зибельда повисла у меня на шее.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЫЙ

Проснувшись, я уже не увидел своих родственников. В тревоге я огляделся по сторонам, увидел перед собой длинную освещенную галерею и догадался, что по ней надо идти дальше. Собравшись со всей возможной поспешностью, после получасовой ходьбы я подошел к крутой лестнице, по которой можно было либо выйти на поверхность земли, либо погрузиться в ее недра. Я выбрал второе направление и попал в подземелье, где оказалась гробница из белого мрамора, освещенная четырьмя светильниками, и при ней – молящийся старый дервиш.

Повернувшись ко мне, старик ласково промолвил:

– Добро пожаловать, сеньор Альфонс. Мы давно тебя ждем.

Я спросил, уж не подземелье ли это Касар-Гомелеса.

– Ты не ошибся, благородный назорей, – ответил дервиш. – В этой могиле скрыта тайна Гомелесов; но прежде чем говорить об этом важном предмете, позволь предложить тебе немного подкрепиться. Сегодня тебе понадобятся все силы твоего духа и тела, а быть может, – прибавил он едко, – это последнее требует отдыха.

Сказав это, старик отвел меня в соседнюю пещеру, где я нашел чисто накрытый стол с завтраком; когда я подкреплялся, он попросил, чтоб я его внимательно выслушал, и начал:

– Сеньор Альфонс, мне известно, что твои прекрасные родственницы познакомили тебя с историей твоих предков и тем значением, которое последние придавали тайне Касар-Гомелеса. В мире нет ничего важнее этого. Владеющий нашей тайной мог бы легко привести к покорности целые народы и, может быть, даже основать всемирную монархию. Но, с другой стороны, эти могучие и далеко не безопасные средства, попав в безрассудные руки, могли бы надолго уничтожить порядок, построенный на подчинении. Наши законы предусматривают, что тайна может быть открыта только тем, в чьих жилах течет кровь Гомелесов, и то лишь в том случае, если путем многих испытаний будут доказаны их стойкость и честный образ мыслей. Обязательно также принесение торжественной клятвы с соблюдением религиозных обрядов. Однако, зная твой характер, мы удовлетворимся твоим честным словом. И вот я смею просить тебя, чтобы ты подтвердил своим честным словом, что никогда никому не расскажешь о том, что ты здесь увидишь или услышишь.

Сперва я подумал, что, состоя на службе испанского короля, не должен давать слова, не узнав заранее, не увижу ли в пещере чего-нибудь, унижающего его величие. И намекнул об этом дервишу.

– Твоя предусмотрительность вполне уместна, сеньор, – ответил старик. – Руки твои принадлежат королю, которому ты служишь. Но здесь ты находишься в подземных краях, на которые его власть никогда не простиралась. Кровь, текущая в твоих жилах, тоже налагает на себя определенные обязанности; наконец, честное слово, которое я от тебя требую, – только продолжение того, которое ты дал своим родственникам.

Я удовлетворился этим несколько своеобразным объяснением и дал слово, которое он от меня требовал.

Тогда дервиш слегка толкнул одну из стен надгробия и указал мне на ступени, ведущие в еще более глубокое подземелье.

– Сойди туда, – сказал он. – Мне нет надобности тебя сопровождать, но вечером я приду за тобою.

Я спустился вниз и увидел то, о чем охотно рассказал бы вам, если бы данное мною честное слово не явилось для этого непреодолимым препятствием.

Дервиш явился вечером, как обещал. Мы вышли вместе и спустились еще в одну пещеру, где для нас был приготовлен ужин. Стол стоял под золотым деревом, изображающим родословную Гомелесов. Дерево разделялось на две главные ветви, одна из которых, обозначающая Гомелесов-магометан, цвела пышным цветом, другая же, ветвь Гомелесов-христиан, явно засыхала, ошетинаясь длинными терниями. После ужина дервиш заговорил:

– Не удивляйся разнице между двумя главными ветвями; Гомелесы, верные законам Пророка, получили в награду корону, а те, другие, жили в неизвестности и занимали незначительные должности. Ни один из них не был допущен к нашей тайне, и, если для тебя сделано исключение, ты обязан этим особому расположению двух родственников из Туниса. Но, несмотря на это, у тебя пока очень слабое представление о нашей политике; если б ты захотел перейти в другую ветвь – ту, что цветет и с каждым днем будет расцветать все более буйно, то смог бы удовлетворить свое честолюбие и осуществить величайшие замыслы.

Я хотел ответить, но дервиш, не дав мне вымолвить ни слова, продолжал:

– Однако тебе по праву принадлежит определенная часть богатства твоего рода, кроме того, тебе полагается вознаграждение за труды, которые ты взял на себя, чтобы попасть в наше подземелье. Вот вексели на имя Эстебана Моро, самого богатого банкира в Мадриде. Сумма составляет как будто всего тысячу реалов, но одно тайное движение пером делает ее неограниченной, и на твое имя выдадут столько, сколько ты сам пожелаешь. Теперь иди по этой крутой лестнице и, когда ты насчитаешь три тысячи пятьсот ступеней, ты попадешь под очень низкий свод, где тебе придется проползти пятьдесят шагов, и ты очутишься посреди замка Аль-Касар, или Касар-Гомелес. Ты правильно сделаешь, если переночуешь там, – а утром ты сразу увидишь у подошвы горы цыганский табор. Прощай, дорогой Альфонс, да просветит тебя наш святой Пророк и да наставит он тебя на путь истинный.

Дервиш обнял меня, благословил и запер за мной двери. Надо было в точности исполнить его указания. Подымаясь вверх, я часто останавливался, чтоб перевести, дух; наконец увидел над головой звездное небо. Лег под разрушенным сводом и заснул.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Проснувшись, я увидел в долине цыганский табор и по царящему в нем оживлению понял, что он готовится в путь. Я поспешил присоединиться к нему. Думал, что меня ждут бесчисленные расспросы о том, где я пропадал две ночи, но никто не сказал мне ни слова, до такой степени все были поглощены сборами.

Как только все мы сели на коней, каббалист сказал:

– На этот раз могу вас уверить, что нынче мы вдоволь насытимся рассказом Вечного Жида. Я еще не утратил своей власти над ним, как воображает этот наглец. Он был уже близ Таруданта, когда я заставил его вернуться. Он недоволен и старается идти как можно медленней, но у меня есть средство сделать так, чтоб он ускорил шаги.

С этими словами каббалист вынул из кармана книжку, стал читать какие-то непонятные формулы, и вскоре мы увидели на вершине горы старого бродягу.

– Вот он! – воскликнул Уседа. – Бездельник! Лентяй! Сейчас увидите, как я его встречу!

Ревекка стала заступаться за провинившегося, и брат ее как будто немного остыл от

гнева. Однако, когда Вечный Жид подошел к нам, Уседа не удержался от резких упреков по его адресу на непонятном для меня языке. Потом он велел ему шагать около моего коня и продолжать повествование о своих приключениях с того места, на котором он остановился.

Жалкий странник безропотно повиновался.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Я сказал вам, что в Иерусалиме появилась секта иродиан, утверждавшая, что Ирод – Мессия; при этом я обещал вам объяснить, какой смысл придавали этому выражению евреи. Так вот. Мессия по-еврейски значит «умашенный, помазанный елеем», а Христос – греческий перевод этого имени. Пробудившись от своего знаменитого сновиденья, Иаков полил елеем камень, на котором лежала его голова, и назвал это место Вефиль – то есть Дом божий. Вы можете справиться у Санхуниатона, что Уран изобрел вефили, то есть ожившие камни. Тогда верили, что все, освященное помазанием, тотчас исполняется духа божия.

Стали миропомазывать царей, и Мессия стал синонимом царя. Давид, говоря о Мессии, имел в виду самого себя, в чем можно убедиться из его второго псалма. Но так как Иудейское царство, сначала разделенное, а потом завоеванное, стало игрушкой соседних держав, особенно после того, как народ был угнан в плен, пророки стали его утешать, говоря, что придет день, когда явится царь из рода Давидова. Он смирит гордыню Вавилона и торжественно выведет евреев из плена. Великолепнейшие чертоги возносились в пророческих видениях, потому-то они и не замедлили возвести будущий Иерусалим, чтоб можно было бы торжественно принять в его стенах великого царя со святыней, где было бы все, что только может поднять в глазах народа значение веры. Евреи, хотя и не придавали словам пророков большого значения, с удовольствием слушали их. В самом деле, странно было бы требовать от них, чтобы они близко к сердцу принимали события, которые должны были наступить лишь во времена праправнуков их внуков.

Кажется, в правление македонцев пророки были почти совсем забыты, поэтому ни в одном Маккавее не видели Мессию, хоть они и освободили страну от чужеземного господства. И ни об одном из потомков, имевших царский титул, не говорили, что он предвозвещен пророками.

Положение изменилось в правление старого Ирода. Придворные этого монарха, исчерпав за сорок лет все восхваления, услаждавшие ему жизнь, убедили его под конец, что он – Мессия, заповеданный пророками. Ирод, потерявший вкус ко всему, за исключением высшей власти, которой он с каждым днем все сильнее желал, нашел, что это утверждение – единственное средство проверки, кто из подданных ему действительно верен.

И вот друзья его создали секту иродиан, во главе с пройдохой Цедекией, младшим братом моей бабки. Вы понимаете, что ни дед мой, ни Деллий уже не помышляли о переселении в Иерусалим. Они велели выковать ларчик из бронзы и заперли в нем договор о продаже дома Гиллея, а также расписку его на тридцать тысяч дариков с передаточной надписью Деллия в пользу моего отца Мардохея. Наложив печати, они решили не думать об этом, пока обстоятельства не примут более благоприятный для них оборот.

Ирод умер, и Иудея стала жертвой жесточайших раздоров. Тридцать главарей разных партий приказали себя миропомазать и объявить Мессиями. Через несколько лет после этого Мардохей женился на дочери одного из своих соседей, и я, единственный плод их союза, появился на свет в последний год правления Августа. Дед хотел сам меня обрезать и для этого велел приготовить пир, но, привыкнув к одиночеству и уже дряхлый, он от всех этих хлопот слег в постель и через несколько недель умер. Он испустил дух в объятиях Деллия, прося его сохранить для нас бронзовый ларчик и не допустить, чтобы негодяй спокойно пользовался плодами своего мошенничества. Мать моя, у которой роды прошли неудачно, пережила тестя всего на несколько месяцев.

В то время у евреев был обычай давать своим детям греческие или персидские имена. Меня называли Агасфером. Под этим именем я в тысяча шестьсот третьем году в Любеке

представился Антонио Кольтерусу, как это видно из писаний Дудлея. Это же самое имя я носил в тысяча семьсот десятом году в Кембридже, как доказывают творения ученого Тензелия.

– Сеньор Агасфер, – сказал Веласкес, – о тебе упоминается еще в Theatrum Europeum.

– Может быть, – ответил Вечный Жид, – ведь я стал известен повсюду, с тех пор как каббалисты вздумали вызывать меня из глубин Африки.

Тут я вмешался в беседу, спросив Вечного Жида, отчего он так полюбил именно эти пустынные места.

– Оттого, что я не встречаю там людей, – ответил он, – а если иной раз встречу заблудившегося путника или какое-нибудь кафрское семейство, то, зная логово, в котором живет львица с детенышами, я нарочно навожу ее на след путников и с удовольствием смотрю, как она пожирает их у меня на глазах.

– Сеньор Агасфер, – перебил Веласкес, – ты кажешься мне человеком с недостойным образом мыслей.

– Я же говорил вам, что это величайший негодяй на свете.

– Если б ты прожил, как я, восемнадцать веков, – возразил бродяга, – то, наверно, был бы не лучше меня.

– Надеюсь прожить дольше и гораздо честнее, – отрезал каббалист. – Но прекрати эти наглости и рассказывай дальше о своих приключениях.

Вечный Жид не ответил ему ни слова и продолжал:

– Старый Деллий остался при моем отце, на которого свалилось сразу столько огорчений. Они стали жить дальше в своем убежище. Тем временем Цедекия, из-за смерти Ирода лишившись покровителя, тревожно о нас расспрашивал. Его все время мучил страх, что мы появимся в Иерусалиме. Он решил принести нас в жертву своему собственному спокойствию, и все, казалось, благоприятствовало его намерениям; Деллий ослеп, а отец мой, глубоко к нему привязанный, стал жить еще более уединенно. Так прошло шесть лет.

Однажды нам сообщили, что какие-то евреи из Иерусалима купили соседний дом, и там поселились люди, у которых на лице написано злодейство. Мой отец, от природы любивший одиночество, воспользовался этим обстоятельством и совсем перестал выходить из дома.

Тут повествование Вечного Жида было прервано какой-то внезапной суматохой, и он, пользуясь этим, исчез. Вскоре мы прибыли на место ночлега, где нас ждал уже приготовленный ужин. Мы воздали ему должное, как полагается путешественникам, и, когда скатерть была убрана, Ревекка обратилась к цыгану с такими словами:

– Если не ошибаюсь, тебя прервали в том месте, когда ты говорил про двух женщин, которые, убедившись, что за ними никто не следит, быстро перебежали улицу и вошли в дом кавалера Толедо.

Цыганский вожак, видя, что мы жаждем услышать продолжение рассказа о его приключениях, начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Я догнал обеих женщин, как раз когда они стали подыматься на лестницу, и, показав им образчики и сообщив о поручении ревнивца, прибавил:

– А сейчас, сеньоры, войдите на самом деле в церковь, а я сбегаю к воображаемому любовнику, который, я полагаю, муж одной из вас. Увидев вас и не желая, конечно, чтоб вы знали, что он за вами следит, он уйдет, и тогда вы сможете пойти, куда вам угодно.

Незнакомки послушались моего совета, а я побежал к виноторговцу и доложил ревнивцу, что обе женщины в церкви. Мы вместе отправились туда, и я указал ему на два бархатных платья, сходных по рисунку с образчиками, которые были у меня в руке.

Он как будто еще колебался, но тут одна из женщин обернулась и как бы нечаянно слегка приподняла покрывало. Лицо ревнивца озарилось супружеской радостью, он смешался с толпой и вышел из церкви. Я выбежал за ним на улицу, он поблагодарил меня и дал мне еще один золотой. Совесть не позволяла мне принять его, но пришлось это сделать, чтобы не выдать себя. Я поглядел ему вслед, потом пошел за женщинами и проводил их до дома кавалера. Более красивая хотела дать мне золотой.

— Прости, сеньора, — сказал я, — совесть велела мне обмануть твоего мнимого любовника, когда я понял, что он тебе муж, но нечестно было бы брать плату от обеих сторон.

Я вернулся на паперть святого Роха и показал две золотые монеты. Товарищи мои вскрикнули от удивления. Им часто давались такие поручения, но никто никогда так щедро их не вознаграждал. Я отнес монеты в общую кассу; мальчишки пошли со мной, желая насладиться удивлением торговли, которая в самом деле очень удивилась при виде таких денег. Она объявила, что не только даст нам столько каштанов, сколько мы пожелаем, но, кроме того, запасется маленькими колбасками и всем, что требуется, чтоб их жарить. Надежда на такой пир наполнила нашу ватагу радостью, только я не разделял ее и решил отыскать себе кухаря получше. А пока мы набили себе карманы каштанами и вернулись на паперть святого Роха. Поев, я завернулся в плащ и заснул.

На другой день ко мне подошла одна из вчерашних знакомок и дала письмо с просьбой отнести его кавалеру. Я пошел и отдал письмо камердинеру. Вскоре меня провели в комнаты. Наружность кавалера Толедо произвела на меня приятное впечатление. Нетрудно было понять, отчего он пользуется успехом у женщин. Это был обаятельный юноша. Ему незачем было улыбаться; веселье и без того сквозило в каждой черте его лица; и притом какая-то прелесть была в каждом его движении; можно было только заподозрить легкость и непостоянство его нрава, что, без сомнения, вредило бы ему в глазах женщин, если бы каждая не была уверена, что способна привязать к себе самого ветреного мужчину.

— Друг мой, — сказал кавалер, — мне известны твоя расторопность и честность. Хочешь поступить ко мне на службу?

— Это невозможно, — возразил я. — Я благородного происхождения и не могу быть слугой. А нищим я стал потому, что это ни для кого не зазорно.

— Отменно сказано! — воскликнул кавалер. — Ответ, достойный истинного кастильца... Тогда скажи мне, что я могу для тебя сделать?

— Сеньор кавалер, — ответил я, — меня вполне устраивает положение нищего, оно вполне достойно и дает мне средства к существованию, но, признаться, кухня у нас — не самая лучшая. Если ты, сеньор, позволишь мне есть с твоими людьми, я почту это за величайшее счастье.

— С величайшей охотой, — сказал кавалер. — В те дни, когда я принимаю женщин, я обычно отсылаю слуг. Вот если бы твое благородное происхождение позволило тебе подавать нам тогда на стол...

— Когда ты, сеньор, будешь со своей возлюбленной, — ответил я, — я с удовольствием готов вам прислуживать, так как, становясь тебе полезным, я облагораживаю таким образом свой поступок.

Простившись с кавалером, я отправился на улицу Толедо и стал спрашивать, где дом сеньора Авадору, но никто не мог мне ответить. Тогда я спросил, где дом Фелипе дель Тинтеро Ларго. Мне показали балкон, на котором стоял человек важного вида и курил сигару и, как мне показалось, пересчитывал черепицы на кровле дворца герцога Альбы. Сердце мое исполнилось родственных чувств, но в то же время мне показалось странным, как это природа одарила отца таким избытком величия, уделив его так мало сыну. Я подумал, что лучше было бы разделить его поровну между обоими, но, решив, что надо быть благодарным богу за все, и удовлетворившись этим соображением, я вернулся к товарищам. Мы пошли к торговке пробовать колбаски, которые так мне понравились, что я совсем забыл про обед у кавалера.

Под вечер я увидел, как женщины вошли к нему в дом. Видя, что они там уже довольно долго, я пошел спросить, не нужны ли мои услуги, но они как раз в эту минуту выходили. Я сказал несколько двусмысленностей более красивой, а она в ответ легко ударила меня веером по щеке. Через минуту ко мне подошел молодой человек гордого вида, с вышитым мальтийским крестом на плаще. В остальном он был одет по-дорожному. Он спросил меня, где живет кавалер Толедо. Я ответил, что могу проводить его. В передней никого не было; я открыл дверь и вошел внутрь вместе с незнакомцем.

Кавалер Толедо немало удивился.

– Кого я вижу! – воскликнул он. – Мой милый Агилар! Ты в Мадриде? Как я счастлив! Ну что там у вас, на Мальте? Что поделявает великий магистр? А великий комтур? А приор ожидающих посвящения? Милый друг, дай тебя обнять!

Кавалер Агилар отвечал на эти дружеские проявления столь же ласково, но гораздо более сдержанно. Я подумал, что два друга захотят вместе ужинать. Нашел в передней посуду и скорей побежал за ужином. Когда стол был накрыт, кавалер Толедо велел мне принести из подвала две бутылки французского пенистого. Я принес и откупорил.

Между тем друзья предавались воспоминаниям. Потом Толедо сказал:

– Не понимаю, каким образом, обладая совершенно противоположными характерами, мы можем с тобой жить в такой тесной дружбе. Ты наделен всеми добродетелями, а я, несмотря на это, люблю тебя, как будто ты – самый большой развратник. Право, эти слова я доказываю делом, так как до сих пор ни с кем в Мадриде не подружился, и ты по-прежнему – единственный друг мой. Но, говоря откровенно, я не столь постоянен в любви.

– А ты держишься все тех же взглядов на женщин? – спросил Агилар.

– Не вполне, – ответил Толедо. – Когда-то я спешил бросить одну любовницу ради другой, но теперь убедился, что таким путем теряю слишком много времени, и поэтому обычно вступаю в новую связь, прежде чем порву прежнюю, а вдали уже высматриваю третью.

– Ты все еще не оставил этого легкомыслия? – спросил Агилар.

– Я – нет, – ответил Толедо, – но боюсь, как бы оно меня не оставило. У мадридских женщин в характере есть что-то такое прилипчивое, такое неотвязное, что часто поневоле становишься более нравственным, чем хотел бы.

– Не вполне понимаю, что ты хочешь сказать, – возразил Агилар. – Впрочем, тут нет ничего удивительного. Наш орден – военный и в то же время духовный. Мы даем обет, как монахи и священники.

– Конечно, – прибавил Толедо, – или как женщины, которые клянутся в верности мужьям.

– И кто знает, – сказал Агилар, – какая страшная кара за измену ждет их на том свете?

– Друг мой, – возразил Толедо, – я верю во все, во что должно верить христианину, но мне кажется, тут какое-то недоразумение. Как же так, черт возьми. Ты хочешь, чтобы жена оидора Ускариса жарилась целую вечность на огне за то, что провела сегодня со мной часок?

– Вера учит нас, – возразил Агилар, – что есть еще другие места покаяния.

– Ты имеешь в виду чистилище? – ответил Толедо. – Я прошел сквозь него, когда был влюблен в эту чертовку Инессу из Наварры, – самое необычайное, самое требовательное, самое ревнивое создание, какое я только встречал в своей жизни. Но с тех пор я зарекся иметь дело с театральными дивами. Однако я разглагольствую, а ты не ешь и не пьешь. Я опорожнил целую бутылку, а твой бокал все полон? О чем ты мыслишь, о чем думаешь?

– Я думаю, – сказал Агилар, – о солнце, которое видел сегодня.

– Не могу против этого ничего возразить, – перебил Толедо, – так как тоже его видел.

– Думал и о том, – продолжал Агилар, – увижу ли я его завтра?

– Не сомневаюсь, если только не будет тумана.

– Не ручайся: может быть, я не доживу до завтрашнего дня.

– Признаться, – сказал Толедо, – ты привез из Мальты не слишком веселые мысли.

– Человек всегда ждет смерти, но он не знает, когда придет его последний час.

– Послушай, – сказал Толедо, – Расскажи, от кого ты набрался таких приятных новостей? Это, наверно, какой-нибудь весельчак. Ты часто зовешь его ужинать?

– Ошибаешься, – возразил Агилар. – Нынче утром мне говорил об этом мой духовник.

– Как? – воскликнул Толедо. – Ты приезжаешь в Мадрид и в тот же день идешь исповедоваться? Разве ты приехал сюда драться на поединке?

– Именно поэтому я и был у исповеди.

– Прекрасно, – сказал Толедо. – Я давно не держал шпагу в руке, так что, если хочешь, могу быть твоим секундантом.

– Очень жаль, – возразил Агилар, – но как раз тебя-то я не могу просить об этой услуге.

– О небо! – воскликнул Толедо. – Ты опять затеял этот несчастный спор с моим братом?

– Вот именно, друг мой, – сказал Агилар, – герцог Лерма не согласился дать мне удовлетворение, которое я от него требовал, и нынче ночью мы должны встретиться при факелах на берегу Мансанареса, у большого моста.

– Великий боже! – с горечью воскликнул Толедо. – Значит, нынче вечером я должен лишиться брата или друга?

– Быть может, обоих, – возразил Агилар. – Мы бьемся не на жизнь, а на смерть; вместо шпаги мы согласились на длинный стилет в правой и кинжал в левой руке. Ты знаешь, какое это страшное оружие.

Толедо, чувствительная душа которого легко переходила из одного состояния в другое, сразу, после самого шумного веселья впал в самое мрачное отчаяние.

– Я предвидел, что ты будешь огорчен, – сказал Агилар, – и не хотел встречаться с тобой, но мне был голос с неба, повелевавший остеречь тебя от кар, ожидающих нас в будущей жизни.

– Ах! – воскликнул Толедо. – Пожалуйста, перестань думать о моем спасении.

– Я только солдат, – сказал Агилар, – и не умею говорить проповедей, но должен слушать голос божий.

Тут часы пробили одиннадцать, Агилар обнял друга и сказал:

– Послушай, Толедо, тайное предчувствие говорит мне, что я погибну, но хочу, чтобы смерть моя содействовала твоему спасению. Я отложу поединок до полуночи. В это время следи внимательно: если мертвые могут давать знать о себе живым при помощи каких-нибудь знаков, то будь уверен, что друг твой не замедлит подтвердить тебе существование того света. Только предупреждаю: будь внимателен в полночь.

С этими словами Агилар еще раз обнял друга и ушел. Толедо бросился на кровать и залился слезами, а я вышел в переднюю, не закрывая за собой двери. Мне очень хотелось знать, чем все это кончится.

Толедо вставал, глядел на часы, потом снова падал на кровать и плакал. Ночь была темная, только вспышки далеких молний прорывались порой сквозь щели ставен. Гроза надвигалась все ближе, и страх перед ней еще усиливал мрачность нашего положения. Пробило полночь, и вместе с последним ударом мы услышали троекратный стук в ставню.

Толедо открыл ставню со словами:

– Ты погиб?

– Погиб, – ответил могильный голос.

– Есть на том свете чистилище? – спросил Толедо.

– Есть, и я нахожусь в нем, – ответил тот же голос, после чего мы услышали протяжный болезненный стон.

Толедо упал ничком на землю, потом вскочил, взял плащ и вышел. Я последовал за ним. Мы пошли по дороге к Мансанаресу, но, еще не доходя большого моста, увидели длинную вереницу людей, из которых некоторые несли факелы. Толедо узнал своего брата.

– Не ходи дальше, – сказал ему герцог Лерма, – чтобы не споткнуться о труп своего друга.

Толедо упал без чувств. Видя, что он среди своих людей, я вернулся к себе на паперть и

принялся размышлять обо всем, чему был свидетелем. Отец Санудо не раз говорил нам о чистилище, и это новое свидетельство не произвело на меня особого впечатления. Я заснул, как обычно, крепким сном.

Утром следующего дня первым человеком, переступившим порог церкви святого Роха, был Толедо, но он был так бледен и измучен, что я едва смог его узнать. Он долго молился и наконец потребовал исповедника.

В этом месте цыгана прервали, ему пришлось уйти, и мы разошлись, каждый в свою сторону.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Едва взошло солнце, мы пустились в дальнейший путь и углубились в недоступные долины. После часа такой дороги мы увидели Агасфера, который приблизился к нам и, следуя между мной и Веласкесом, продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Однажды нам объявили о приезде римского судейского чиновника. Его ввели, и мы узнали, что моего отца обвиняют в государственном преступлении: будто бы он хотел предать Египет в руки арабов. После того как римлянин уехал, Деллий сказал:

– Милый Мардохей, тебе нет надобности оправдываться, так как все уверены в твоей невинности. У тебя просто хотят отнять половину твоего богатства, и ты лучше отдай ее добровольно.

Деллий был прав, – это дело стоило нам половины нашего имущества.

На следующий год отец мой, выходя однажды утром из дому, увидел лежащего перед дверью человека, который как будто еще дышал; он приказал внести его в дом и хотел вернуть к жизни, но в эту минуту увидел нескольких судейских чиновников и восьмерых соседей, подтвердивших под присягой, будто видели, как мой отец этого человека убил. Отец просидел шесть месяцев в тюрьме и вышел, лишившись второй половины имущества, то есть всего, что у нас оставалось.

У него был еще дом, но не успел он туда вернуться, как у негодеев-соседей вспыхнул пожар. Это было ночью. Соседи ворвались к нам, забрали все, что только могли, и подожгли наш дом.

Когда взошло солнце, на месте нашего дома возвышалась куча пепла, по которой ползали слепой Деллий с моим отцом, державшим меня в объятиях и оплакивавшим свою беду.

Когда открылись лавки, отец взял меня за руку и отвел к пекарю, до тех пор доставлявшему нам хлеб. Этот человек, охваченный жалостью, дал нам три булки. Мы вернулись к Деллию. Тот сообщил нам, что во время нашего отсутствия какой-то незнакомец, которого он не мог узнать по голосу, сказал ему:

– Ах, Деллий, виновник ваших несчастий Цедекия. Прости тех, кого негодай сделал орудиями своих злодеяний. Нам заплачено за то, чтоб мы вас убили. Но, несмотря на это, мы оставили вас в живых. Вот возьми: некоторое время вы на это проживете.

С этими словами незнакомец вручил ему кошелек с пятьюдесятью золотыми.

Эта неожиданная помощь очень обрадовала моего отца. Он весело разостлал на пожарище полуистлевший ковер, разложил на нем три булки и пошел принести воды в черепке разбитой посуды. Мне было тогда семь лет, и я помню, что разделял с отцом эти минуты веселия. Я пошел с ним к колодцу. Ну, и меня за завтраком не забыли.

Только что мы сели пировать, как увидели мальчика моего возраста, который со слезами стал просить у нас кусочек хлеба.

– Я, – сказал он, – сын римского legionера и сирийской женщины, которая померла, рожая меня на свет. Жены legionеров из той же когорты и маркитантки по очереди кормили

меня грудью; наверное, они прибавляли и другой какой-нибудь пищи, потому что – сами видите: я жив. А в это время отца моего послали в поход против одного дикого племени, и там его убили вместе со всеми товарищами. Вчера я съел последний кусок хлеба, который у меня оставался, и пошел по городу просить милостыню. Но все двери были закрыты. А у вас нет ни дверей, ни дома, – вот я и подумал, что вы меня не прогоните.

Старый Деллий, никогда не упускавший возможности преподать нравственный урок, сказал:

– Нет на свете такого бедняка, который не мог бы оказать ближнему какую-нибудь услугу, так же как нет такого могущественного человека, который никогда не нуждался бы в помощи других. Так что садись, дитя мое, и раздели с нами нашу убогую трапезу. Как тебя звать?

– Германус, – ответил мальчик.

– Дай тебе бог долгой жизни! – сказал Деллий.

И в самом деле, пожелание это оказалось настоящим пророчеством: ребенок долго жил и даже до сих пор живет в Венеции, где известен под именем кавалера де Сен-Жермен.

– Я хорошо его знаю, – вставил Уседа. – Он имеет некоторые познания в области каббалистики.

После этого Вечный Жид продолжал.

– После завтрака Деллий спросил моего отца, не была ли дверь в подвал выломана. Отец ответил, что дверь заперта и что огонь не смог проникнуть сквозь свод над подвалом.

– Отлично, – сказал Деллий. – Вынь из кошелька, который мне дали, два золотых, найми работников и построй над этим сводом хижину. Может, пригодятся какие-нибудь обломки прежнего нашего дома.

Следуя совету Деллия, отыскивали несколько бревен и досок, оставшихся целыми, сложили их, как сумели, в постройку, щели заткнули пальмовыми ветками, устелили внутри землю циновками и таким образом устроили нам довольно удобный приют. В нашем благодатном климате большего не надо – под таким чистым небом довольно самой легкой кровли, так же как самая простая пища полезней всего. Можно смело утверждать, что мы у себя не боимся такой нужды, как вы в своих странах, климат которых вы называете, однако, умеренным.

Пока мы занимались внутренним устройством нового жилья, Деллий велел вынести свою циновку на улицу, сел на нее и стал играть на финикийской цитре, потом запел песню, которую когда-то сложил для Клеопатры. Хотя ему было семьдесят лет, голос его привлек множество слушателей, которым доставляло удовольствие его слушать. Окончив пенье, Деллий обратился к окружающим со словами:

– Жители Александрии, подайте бедному Деллию, которого отцы ваши знали как первого музыканта Клеопатры и любимца Антония.

Затем маленький Германус обошел всех с глиняной мисочкой, куда каждый положил свою лепту.

Деллий решил петь и просить милостыню только раз в неделю. В эти дни вокруг него обычно собиралась толпа, и подаяния были обильны. Этой поддержкой мы были обязаны не только пенью Деллия, но и его беседе со слушателями, веселой, поучительной и переплетенной рассказами о разных любопытных происшествиях. Таким способом мы вели сносное существование, но отец мой, удрученный столькими несчастьями, стал жертвой продолжительной болезни, которая в течение года унесла его в могилу. С тех пор мы остались на попечении Деллия и вынуждены были жить на выручку от его голоса, и без того уже дряхлого и слабого. На следующую зиму мучительный кашель и хрипота лишили нас и этого средства к существованию. К счастью, я получил маленькое наследство от дальнего родственника, умершего в Пелузии. Оно состояло из пятисот золотых; хотя сумма эта не достигала даже трети следуемого мне наследства, Деллий уверил меня, что бедняк не должен

ни на что рассчитывать от правосудия и лучше ему довольствоваться тем, что оно сообразовало ему уделить. Он расписался от моего имени и сумел так хорошо распорядиться деньгами, что нам хватило их на все время моего детства.

Деллий не пренебрегал моим воспитанием, не забывал он и маленького Германуса. Мы находились при нем по очереди. Когда обязанности переходили к моему товарищу, я посещал маленькую еврейскую школу по соседству, а в те дни, когда я был при Деллий, Германус ходил учиться к одному жрецу Изида по имени Херемон. Потом ему было поручено ношение факела во время мистерий этой богини, и я помню, что часто с интересом слушал его рассказы об этих празднествах.

Когда Вечный Жид дошел до этого места своего повествования, мы прибыли на место ночлега, и странник, пользуясь возможностью, исчез где-то в горах. Перед ужином мы собрались все вместе, цыган как будто был свободен, и Ревекка снова начала к нему подольщаться, пока он не начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Очевидно, на совести у кавалера Толедо было немало грехов, так как исповедь длилась долго. Наконец он встал, весь заплаканный, и вышел из церкви, являя признаки глубочайшего сокрушения. Проходя по паперти, он увидел меня и кивнул, чтобы я шел за ним.

Чуть брезжило, и на улицах не было ни души. Кавалер нанял первых попавшихся навстречу мулов, и мы поехали за город. Я обратил внимание кавалера, что слуги будут беспокоиться, не видя его так долго.

– Нет, нет, – ответил он. – Я их предупредил, никто из них меня не ждет.

– Сеньор кавалер, – продолжал я, – позволь мне заметить еще вот что. Голос, который ты слышал вчера, сказал тебе, что ты можешь легко найти в любом катехизисе. Ты исповедался, и тебе, конечно, не отказали в отпущении грехов. Теперь ты можешь кое в чем изменить свое поведение, но, по-моему, нет никакой надобности мучиться угрызениями совести.

– Ах, друг мой, – ответил кавалер, – кто хоть раз слышал голос мертвых, тому, наверно, недолго жить на свете.

Я сразу понял, что мой покровитель думает о скорой смерти, что он вбил себе это в голову, поэтому я решил ни на минуту не оставлять его одного.

Мы выехали на малоезженую дорогу, бегущую среди дикой местности, и она привела нас к воротам монастыря камедулов. Кавалер заплатил погонщикам и позвонил. Калитку открыл монах, кавалер назвал и попросил позволения провести несколько недель в этом убежище. Нас проводили в келью, находившуюся в конце сада, и объяснили знаками, что колокол предупредит нас, когда пора будет идти в трапезную вкушать пищу. В келье мы нашли душепоспасительные книги, которым с этой минуты кавалер посвятил все свое внимание. Что же касается меня, то я познакомился с одним монахом, удившим рыбу, присоединился к нему, и занятие это стало единственным моим развлечением.

Первый день я не роптал против молчания, являющегося одним из главных обетов камедулов, но на третий уже не мог выдержать. А кавалер между тем становился все мрачней и молчаливей; в конце концов он совсем перестал разговаривать.

Прошла неделя нашего пребывания в монастыре, когда явился один из моих товарищей с паперти святого Роха. Он сказал мне, что видел, как мы садились на мулов, и что, встретив потом погонщика, узнал от него о месте нашего пребывания; к этому он прибавил, что после моего исчезновения часть нашей ватажки разбрелась. Сам он поступил на службу к одному купцу из Кадиса, который, вследствие несчастного случая, поломал себе руки и ноги и теперь лежит больной в Мадриде и не может обойтись без мальчика для услуг.

Я ему ответил, что не могу больше выдержать жизни у камедулов, и попросил его хоть на несколько дней заменить меня при кавалере.

– Охотно это сделал бы, – сказал он, – но боюсь бросить купца; кроме того, меня наняли на паперти святого Роха, и, если я нарушу слово, это может повредить всей компании.

– Тогда я заменю тебя у купца, – возразил я. В общем я пользовался таким влиянием среди своих товарищей, что малый больше не посмел отказываться.

Я провел его к кавалеру, которому сказал, что уйду на несколько дней в Мадрид и оставлю на это время своего товарища, за которого ручаюсь, как за самого себя. Кавалер не ответил ни слова, но знаком дал мне понять, что согласен на эту замену.

Я побежал в Мадрид и сейчас же отправился в таверну, которую указал мне товарищ. Но там мне сказали, что купец велел перевезти его к одному знаменитому лекарю, который живет на улице Святого Роха. Я без труда нашел его, объяснил ему, что пришел вместо своего товарища Чикито, что зовут меня Аварито и что я буду так же внимательно исполнять те же обязанности.

Я получил благоприятный ответ, и меня сейчас же отправили спать, сказав, что мне придется несколько ночей подряд дежурить у постели больного. Я лег спать, а вечером явился на службу. Меня провели к больному, который был распростерт на постели в очень жалком положении: он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Это был молодой человек очень приятной наружности, и, собственно, никакой болезни у него не было, – только сломанные кости причиняли ему нестерпимую боль. Я старался отвлечь его от его страданий, развлекая и веселя всеми способами. Такое обхождение до того пришлось ему по вкусу, что однажды он решился поведать мне свои приключения, и начал так.

ИСТОРИЯ ЛОПЕСА СУАРЕСА

Я – единственный сын Гаспара Суареса, самого богатого купца в Кадисе. Отец мой, человек суровый и непреклонный, хотел, чтобы я занялся исключительно торговлей и даже не помышлял о развлечениях, какие обычно позволяют себе сыновья богатых купцов Кадиса. Стараясь не прекословить отцу, я редко ходил в театр, а по воскресеньям не участвовал в тех развлечениях, каким предается общество в больших торговых городах.

Но так как умственный отдых все же нужен, я находил его в чтении увлекательных, но опасных книг, которые называются романами. Я пристрастился к этому чтению, и мало-помалу чувствительность овладела моей душой; но, редко бывая в городе и вовсе не встречая женщин у нас в доме, я был лишен какой-либо возможности распорядиться своим сердцем. Между тем отцу надо было устроить кое-какие дела при дворе, и он решил послать меня в Мадрид, о чем и сообщил мне. Эта новость обрадовала меня, я был счастлив, что можно будет свободно вздохнуть и хоть на время забыть о решетках нашей конторы и пыли наших складов.

Когда все дорожные приготовления были окончены, отец позвал меня к себе в кабинет и сказал:

– Сын мой, ты едешь в город, где купцы не имеют такого значения, как в Кадисе, и поэтому должен вести себя там благопристойно и с достоинством, чтоб не унижить сословие, принадлежностью к которому мы вправе гордиться, тем более что это сословие так успешно содействует благополучию нашей родины и подлинной мощи монарха.

Вот три правила, которыми ты должен руководствоваться, под страхом навлечь на себя мой гнев. Прежде всего, запрещаю тебе вступать в разговоры с дворянами. Они воображают, будто делают нам честь, достаивая кинуть нам несколько слов. Это заблуждение, в котором мы не должны их оставлять, так как наше доброе имя зависит не от этого.

Во-вторых, ты должен называть себя «Суарес», а не «дон Лопес Суарес» – титулы ни одному купцу не придают блеска; его доброе имя должно покоиться на обширности связей и предусмотрительности в делах.

В-третьих, запрещаю тебе раз и навсегда обнажать шпагу. Обычай дал ей повсеместное распространение, поэтому я не запрещаю тебе носить это оружие, но ты должен помнить,

что честь купца заключается в добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, поэтому я не хотел, чтобы ты брал уроки опасного искусства фехтования.

Если ты нарушишь любое из этих трех правил, то навлечешь на себя мой гнев. Но несоблюдением четвертого ты вызовешь не только гнев мой, но и проклятие – мое, отца моего и деда, то есть твоего прадеда, и в то же время первосоздателя нашего богатства. Речь идет о том, чтобы никогда не вступать ни в какие отношения с домом королевских банкиров братьев Моро. Братья Моро заслуженно пользуются всеобщим уважением, и тебя, наверно, удивили мои последние слова, но ты перестанешь удивляться, узнав, в чем наш дом обвиняет их. Поэтому я вынужден в двух словах поведать тебе эту историю.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ СУАРЕС

Первый, кто в нашей семье добился достатка, был Иньиго Суарес. Проведя молодость в странствованиях по разным заморским странам, он вступил в компанию по разработке арендных копей в Потоси, а потом основал торговый дом в Кадисе.

Когда цыган дошел до этого места, Веласкес вынул таблички и стал что-то записывать. Увидев это, цыганский вожак обратился к нему с такими словами:

– Герцог, видимо, собирается начать какие-то интересные вычисления, но боюсь, что дальнейшее мое повествование тебе помешает.

– Нет, нет, – возразил Веласкес, – я тебя внимательно слушаю. Может быть, этот Иньиго Суарес встретил в Америке человека, кто рассказывает ему историю кого-то другого, у которого тоже есть что рассказать. Для того чтобы не запутаться, я выдумал рубрики, подобные схеме, служащей нам при определенного рода алгоритмах, которые позволяют вернуться к исходному положению. Будь добр, не обращай на меня внимания и продолжай свой рассказ.

Цыган продолжал.

– Желая основать торговый дом, Иньиго Суарес искал дружбы известных испанских купцов. Большим весом пользовалось тогда семейство Моро, и он уведомил их о своем желании вступить с ними в прочные деловые отношения. Получив от них согласие, он для начала заключил несколько сделок в Антверпене и выдал под них вексель на Мадрид. Но каково же было его возмущение, когда вексель вернулся к нему опротестованный. Правда, со следующей почтой он получил письмо, полное извинений. Родриго Моро писал ему, что авизо пришло с опозданием, что сам он был тогда в Сан-Ильдефонсо, у министра, и главный казначей поступил согласно обязательному в таких случаях правилу, но что он с величайшей охотой даст любое удовлетворение. Однако оскорбление уже было нанесено. Иньиго Суарес порвал все отношения с семейством Моро и, умирая, завещал сыну никогда не иметь с ними никаких дел.

Отец мой, Руис Суарес, долго был послушен родительскому приказанию, но многочисленные банкротства, неожиданно сократившие количество торговых домов, принудили его завязать отношения с семейством Моро. Вскоре он горько пожалел об этом. Я говорил тебе, что у нас была доля в арендных копиях в Потоси, и, располагая благодаря этому определенным количеством слитков серебра, мы обычно оплачивали наши счета ими. Для этого у нас были ларцы, каждый на сто фунтов серебра, стоимостью в две тысячи семьсот пятьдесят пиастров. Ларцы эти, – ты мог их еще видеть, – были окованы железом и снабжены свинцовыми пломбами с шифром нашего дома. У каждого ларца был свой номер. Они отправлялись в Индию, возвращались в Европу, плавали в Америку, и никто их не открывал, и каждый охотно принимал их в уплату. Их прекрасно знали в самом Мадриде. Но вот один купец, которому надо было расплатиться с домом Моро, доставил четыре таких ларца первому бухгалтеру, который не только открыл их, но, кроме того, велел проверить пробу серебра.

Когда весть об этом оскорбительном поступке дошла до Кадиса, отец мой пришел в

ярость. Со следующей почтой, правда, он получил письмо, полное извинений: сын Родриго – Антонио Моро писал ему, что был вызван ко двору в Вальядолид и что только после своего возвращения узнал о неблагоприятном поступке своего бухгалтера, который, будучи иностранцем, недавно прибывшим в нашу страну, не успел еще познакомиться как следует с испанскими обычаями. Но отец этими объяснениями не удовлетворился. Он разорвал всякие отношения с домом Моро и, умирая, запретил мне вести с ним какие бы то ни было дела.

Я долго свято соблюдал его запрет, и все шло хорошо, но в конце концов непредвиденные обстоятельства опять свели меня с домом Моро. Я забыл или верней – пренебрег советом отца, и посмотрел, что из этого вышло.

Дела, которые я имел с двором, потребовали моего присутствия в Мадриде, и я познакомился там с неким Ливардесом, который имел прежде торговый дом, а теперь жил на проценты с крупных сумм, вложенных в разные предприятия.

В характере этого человека было что-то для меня притягательное. Мы с ним уже крепко подружились, когда я узнал, что Ливардес – дядя Санчо Моро по матери, в то время главы семьи. Я должен был бы сейчас же порвать с ним всякие отношения, но, наоборот, наша дружба стала еще тесней.

Однажды Ливардес сказал мне, что, зная, какую успешную я веду торговлю с Филиппинскими островами, он решил вложить в нее миллион на правах члена товарищества. Я напомнил ему, что, будучи дядей Санчо, он должен вверять свои капиталы скорее ему; но он мне возразил, что не любит вести денежные дела с родными. В конце концов это было ему не очень трудно сделать, – он уговорил меня, потому что, по существу, я не завязывал никаких отношений с домом Моро. Вернувшись в Кадис, я присоединил еще один корабль к моим двум, которые посылал каждый год на острова, и перестал о них думать. На следующий год бедный Ливардес умер, и Санчо Моро написал мне, что нашел в бумагах покойного упоминание о том, что он поместил миллион в мое предприятие и теперь просит меня вернуть этот капитал. Может быть, мне следовало уведомить его о нашем уговоре и о деле покойного в предприятии, но, не желая иметь никаких сношений с этим проклятым домом, я без всяких объяснений отослал миллион.

Через два года корабли мои вернулись, утроив вложенный в их груз капитал. Таким образом, я должен был бы выплатить покойному Ливардесу два миллиона и, помимо своего желания, вынужден был написать братьям Моро о наличии у меня двух миллионов, которые – в их распоряжении. Они мне ответили, что вот уже два года капитал внесен в книги, и они слышать не хотят об этих деньгах.

Ты понимаешь, мой сын, как воспринял я это жестокое унижение? Они явно хотели подарить мне два миллиона. Я посоветовался с несколькими кадисскими негоциантами, которые, как назло, признали, что мои противники правы, так как, вынужден за два года перед тем из моего дела миллион, дом Моро не имеет ни малейшего права на то, чтобы теперь получать проценты. Я готов был с документами в руках доказать, что капитал Ливардеса действительно был вложен в товары, находящиеся на кораблях, и что если бы последние затонули, я имел бы право требовать у Моро возврата переданного им миллиона. Но я видел, что само имя Моро действует против меня и что если б я передал дело на рассмотрение третейского суда негоциантов, их решение было бы не в мою пользу.

Я обратился к адвокату, который сказал мне, что, так как братья Моро потребовали возвращения миллиона, не имея на то разрешения умершего дяди, я же употребил этот миллион согласно желанию этого дяди, означенный капитал, по существу, находится у меня, миллион же, два года тому назад внесенный в книги дома Моро, – это другой миллион, не имеющий никакого отношения к первому. Адвокат посоветовал мне призвать братьев Моро в Севильский трибунал. Я последовал его совету и повел против них процесс, тянувшийся шесть лет и стоивший мне сто тысяч пиастров. Несмотря на это, я проиграл во всех инстанциях, и два миллиона остались у меня.

Сначала я думал употребить их на какую-нибудь благотворительную цель, да побоялся, как бы заслуга эта не была зачтена в какой-то степени проклятым братьям Моро. До сих пор

еще не знаю, что с этими деньгами сделать, но каждый год, подводя баланс, вывожу на стороне кредита на два миллиона меньше. Так что ты видишь, мой сын, у меня достаточно оснований запрещать тебе всякое общение с домом братьев Моро.

Тут за цыганом прислали, и все мы разошлись в разные стороны.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Снявшись с места, мы вскоре увидели Вечного Жида, который присоединился к нам и продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Мы росли не на глазах достойного Деллия – которых у него не было, но под опекой его рассудительности и руководством его мудрых советов. С тех пор прошло восемнадцать столетий, но мои детские годы – единственные, которые я вспоминаю с отрадой.

Я любил Деллия, как родного отца, и сердечно привязался к моему товарищу Германусу. С последним, однако, мы часто горячо спорили, и всегда о религии. Верный суровым канонам своей религии, я все время твердил ему:

– У твоих идолов есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат, они отлиты золотых дел мастером, и в них гнездятся мыши.

Германус отвечал мне, что он вовсе не считает идолов богами и что я не имею ни малейшего представления о религии египтян.

Эти слова, часто повторяемые, разбудили во мне любопытство, и я попросил Германуса, чтоб тот уговорил жреца Херемона сообщить мне кое-какие сведения о его религии. Но нужно было соблюдать строжайшую тайну, так как, если б про это узнала синагога, я был бы неминуемо отлучен. Херемон, очень любивший Германуса, охотно согласился на мою просьбу, и в следующую ночь я отправился в соседнюю с храмом Изиды рошу. Германус представил меня Херемону, и тот, посадив меня рядом с собой, скрестил руки, на минуту погрузился в размышления и, наконец, начал читать на нижнеегипетском наречии, которое я хорошо понимал, следующую молитву.

ЕГИПЕТСКАЯ МОЛИТВА

«Великий Боже, отец всех,
Святой Боже, являющий себя своим верным,
Святой, все сотворивший своим словом,
Святой, которому природа – подобие,
Святой, не созданный природой,
Святой, могущественней всякого могущества,
Святой, превысший всякой высоты,
Святой, совершенней всякого совершенства!
Прими жертву благодарения сердца моего и слов моих.
Ты – неизреченный, и молчание – голос твой, искоренивший отклонения истинного познания.
Укрепи меня, пошли мне сил и дай войти в милость твою погруженным в мрак неведения, а равно познавшим тебя и потому ставшим моими братьями и детьми твоими.
Верю в тебя и громко свидетельствую о том,
Возношусь к жизни и свету.
Чаю причаститься святости твоей, ибо ты возжег во мне эту жажду».

Прочтя эту молитву, Херемон обратился ко мне с такими словами:

– Ты видишь, дитя мое, что мы, так же как и вы, признаем единого Бога, словом своим сотворившего мир. Молитва, которую ты сейчас слышал, взята из «Поймандра», книги, приписываемой трижды великому Тоту, тому самому, творения которого мы носим в процессии на всех наших празднествах. У нас имеется двадцать шесть тысяч свитков, приписываемых этому философу, жившему примерно две тысячи лет назад. Переписывать их разрешено только нашим жрецам, и, может быть, из-под их пера вышло немало добавлений. В общем же все писания Тота полны метафизических темнот и мест двоякого значения, которые можно толковать по-разному. И я объясню тебе только общепринятые догматы, которые ближе всего ко взглядам халдеев.

Религии, как и все вещи на свете, подвергаются медленным, но непрерывным воздействиям, неустанно изменяющим их формы и сущности, так что через несколько столетий одна и та же религия предлагает вере человеческой совершенно другие принципы, аллегории, скрытый смысл которых уже невозможно разгадать, или догматы, в которые большинство верит разве только наполовину. Поэтому я не могу поручиться, что научу тебя той древней религии, обряды которой ты можешь видеть изображенными на барельефе Озимандии в Фивах, – но повторю тебе объяснения моих учителей в том виде, в каком преподаю их моим ученикам.

Прежде всего предупреждаю тебя – не считай главным изображение или символ, а старайся постичь скрытую в них мысль. Вот, например, ил обозначает все материальное. Божок на листе лотоса, плывущий по илу, изображает мысль, покоящуюся на материи, совершенно с ней не соприкасаясь. Это символ, к которому прибег ваш законодатель, говоря, что «дух божий носился над поверхностью вод». Утверждают, что Моисей был воспитан жрецами города Она, то есть Гелиополя. И в самом деле, ваши обряды очень близки к нашим. Как и у вас, у нас тоже существуют жреческие семейства, пророки, обычай обрезанья, запрет на свинину и много других сходных особенностей.

При последних словах Херемона один из низших жрецов Изида ударил в било, отмечая полночь. Учитель объявил нам, что богослужебные обязанности требуют его присутствия в храме, но что завтра вечером нам можно опять прийти.

– Вы сами, – прибавил Вечный Жид, – скоро прибудете на место ночлега, так что позвольте мне отложить дальнейший рассказ на завтра.

После ухода бродяги я стал размышлять над тем, что от него услышал, и мне показалось, что я обнаруживаю в его словах желание ослабить в нас твердые начала нашей религии и тем самым поддержать стремление тех, кто желал моего перехода в другую. Но я хорошо знал, чего требует от меня в этом смысле чувство чести, и был непоколебимо уверен в бесплодности всех усилий такого рода.

Тем временем мы прибыли к месту ночлега и, подкрепившись пищей, как обычно, воспользовались тем, что у вожака есть свободное время, – попросили его продолжать свое повествование, что он и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

После того, как Суарес рассказал мне историю своей семьи, мне показалось, что он не в силах бороться со сном; зная, до какой степени он нуждался в отдыхе для восстановления здоровья, я попросил его прервать рассказ о пережитых им приключениях. И он, в самом деле, хорошо выспался. Следующей ночью он уже гораздо лучше выглядел, но, так как он не мог заснуть, я попросил его продолжать свое повествование, что бедный больной и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛОПЕСА СУАРЕСА

Я говорил тебе, что отец не позволил мне именоваться «доном», обнажать шпагу и иметь дело с дворянами, а самое главное – завязывать какие бы то ни было отношения с семейством Моро. Сказал я тебе и о своем неодолимом пристрастии к чтению романов. Я

твердо запомнил предостережения отца, после чего обошел все книжные лавки Кадиса с целью обеспечить себя этого рода произведениями, предвкушая получить от них неопишуемые наслаждения – особенно в дороге.

Наконец я сел на небольшой купеческий корабль и должен признаться, что с радостью покинул наш сухой, выжженный и пыльный остров. Меня восхитил вид цветущих берегов Андалузии. Потом мы проплыли по Гвадалквивиру и высадились в Севилье, где я хотел нанять мулов, чтоб ехать дальше. Один из погонщиков, вместо обычной повозки, предложил мне очень удобную карету, я взял ее и, наполнив экипаж купленными в Кадисе романами, поехал в Мадрид.

Очаровательная местность между Севильей и Кордовой, живописное зрелище гор Сьерра-Морены, пастушеские нравы жителей Ла-Манчи, все, что я видел, придавало прелести моим возлюбленным книжкам. Я томил свою душу и до того насытил ее чувствами нежными и унылыми, что, приехав в Мадрид, был уже влюблен без памяти, хотя пока не знал еще предмета своего поклонения.

В столице я остановился в гостинице «Под мальтийским крестом». Пробило полдень, и мне сейчас же подали обед, потом я стал разбирать свои вещи, как обычно делают путешественники, прибыв на новое место. Вдруг я услышал какой-то шум близ дверного замка. Я подбежал и довольно резко открыл дверь, но сопротивление, встреченное мной, доказало, что я, видимо, кого-то ударил. В самом деле, я обнаружил за дверью человека, неплохо одетого, который утирал разбитый в кровь нос.

– Сеньор дон Лопес, – сказал мне незнакомец, – внизу, в трактире, я узнал о том, что приехал уважаемый сын знаменитого Гаспара Суареса, и пришел засвидетельствовать ему свое почтение.

– Сеньор, – ответил я, – если ты просто хотел войти ко мне, то я, отворяя, должен был бы набить тебе шишку на лбу, но разбитый нос говорит о том, что ты, наверно, держал его у замочной скважины.

– Это великолепно! – воскликнул незнакомец. – Дивлюсь твоей проницательности! Не скрою, что, желая познакомиться с тобой, я хотел заранее составить себе некоторое представление о том, как ты выглядишь, и пришел в восторг от твоего благородного вида, с каким ты ходил по комнате и раскладывал свои вещи.

После этого незнакомец, не дожидаясь приглашения, вошел ко мне и продолжал:

– Сеньор дон Лопес, ты видишь в моем лице славного потомка рода Бускеросов из старой Кастилии, который не надо смешивать с другими Бускеросами – из Леона. Лично я известен под именем дона Роке Бускерос, но отныне желаю быть известным лишь своей преданностью вашему сиятельству.

Я сейчас же вспомнил предостережения моего отца и сказал:

– Сеньор дон Роке, я должен тебе признаться, что Гаспар Суарес, родной отец мой, прощаясь со мной, строго-настрого запретил мне пользоваться титулом «дон» и не велел никогда водиться ни с одним дворянином. Отсюда, сеньор, ясно следует, что мне нельзя воспользоваться твоим лестным расположением.

В ответ Бускерос принял важный вид и промолвил:

– Слова вашего сиятельства ставят меня в очень тяжелое положение, ибо мой отец, умирая, завещал мне всегда величать титулом «дон» знаменитых купцов и, по мере возможности, искать их дружбы. Так что ты видишь, сеньор дон Лопес, только обрекая меня на непослушание моему отцу, ты можешь выполнять волю своего отца, и, чем больше будешь ты избегать меня, тем больше мне, как доброму сыну, придется стараться навязать тебе мою особу.

Этим замечанием Бускерос сбил меня с толку, тем более что говорил он серьезно, а запрет обнажать шпагу лишил меня возможности затеять ссору.

Между тем дон Роке заметил у меня на столе восьмерики, то есть монеты достоинством в восемь голландских дукатов каждая.

– Сеньор дон Лопес, – сказал он, – я как раз собираю такие золотые и, несмотря на все

старания, не имею монет с этой датой. Ты понимаешь, что это – страсть к коллекционированию, и я полагаю, что доставлю тебе удовольствие, дав тебе возможность оказать мне услугу, или, верней, тебе представляется исключительный случай: ведь у меня коллекция этих монет, начиная с первых лет, когда они появились; недоставало только образчиков, которые я сейчас вижу.

Я подарил пришельцу возжеленные золотые с тем большей поспешностью, что рассчитывал на его немедленный уход. Но дон Роке и не подумал уходить, а, вернувшись к прежнему важному тону, промолвил:

– Сеньор дон Лопес, мне кажется, нам не к лицу есть с одной тарелки или передавать друг другу по очереди ложку или вилку. Вели накрыть еще прибор.

Произнеся это, он тут же отдал соответствующее распоряжение; мы сели за стол, и, признаюсь, беседа с моим непростым гостем была довольно интересной, так что, если б не мысль о нарушении отцовского наказа, я с удовольствием видел бы этого человека за своим столом.

Бускерос ушел сейчас же после обеда, а я, переждав знойную пору дня, велел отвести себя на Прадо. С восхищением глядел я на великолепную аллею, но в то же время с величайшим нетерпением ждал минуты, когда окажусь в Буэн-Ретиро. Этот уединенный парк прославляется в наших романах, и, сам не знаю почему, предчувствие говорило мне, что там у меня непременно будет какая-то нежная встреча.

Вид Буэн-Ретиро очаровал меня сильнее, чем я в силах выразить. Долго стоял бы я так, погруженный в мечтаниях, если бы мое внимание не обратил на себя какой-то светящийся предмет, лежащий в траве в двух шагах от меня. Я поднял его и увидел медальон на обрывке золотой цепочки. В медальоне находился портрет в виде силуэта, изображавший очень красивого юношу, а на оборотной стороне я обнаружил прядь волос, перевитую золотой перевязью, на которой я прочел надпись: «Навеки твой, моя дорогая Инесса!» Я спрятал драгоценную находку в карман и пошел дальше.

Вернувшись потом на это место, я увидел двух женщин, из которых одна, молодая и необычайная красавица, тревожно искала что-то на земле. Я сразу понял, что она ищет потерянный портрет. Подойдя ближе, я почтительно промолвил:

– Сеньора, я, кажется, нашел тот самый предмет, который ты ищешь, но благоразумие не позволяет мне отдать его прежде, чем ты в нескольких словах не докажешь своих прав на эту мою находку.

– Могу тебе сказать, сеньор, – ответила прекрасная незнакомка, – что ищу медальон с обрывком золотой цепочки, остатки которой – у меня в руке.

– А не было, – спросил я, – какой-нибудь надписи на портрете?

– Была, – ответила незнакомка, слегка краснея, – ты мог там прочесть, что меня зовут Инесса и что оригинал портрета – «навек мой». Теперь, надеюсь, ты согласишься отдать его мне.

– Ты не говоришь, сеньора, – сказал я, – каким образом этот счастливый смертный навеки принадлежит тебе?

– Я считала, – возразила прекрасная незнакомка, – что должна удовлетворить твою осторожность, сеньор, но не твое любопытство, и не понимаю, по какому праву ты задаешь мне такие вопросы.

– Мое любопытство, – ответил я, – быть может, скорее заслуживает названия заинтересованности. Что же касается права, на основании которого я смею задавать тебе, сеньора, подобные вопросы, то за находку обычно выдается награда. Я прошу у тебя, сударыня, той единственной, которая может сделать меня самым несчастным из смертных.

Молодая незнакомка нахмурила брови и сказала:

– Сеньор слишком самоуверен, если думает при первом свидании добиться таким способом второго; но я могу удовлетворить твое любопытство и в этом отношении: портрет...

В это мгновение с боковой тропинки неожиданно вышел Бускерос и, бесцеремонно

подойдя к нам, сказал:

– Поздравляю вас, сеньора. Вы познакомились с сыном самого богатого кадисского негодянта.

Тут лицо моей незнакомки вспыхнуло от негодования:

– Я, кажется, не давала повода незнакомым заговаривать со мной, – сказала она. Потом, обращаясь ко мне, прибавила: – Благоволите отдать мне найденный вами портрет, сеньор.

С этими словами она села в карету и исчезла из глаз.

Когда цыган дошел до этого места, за ним прислали, и он попросил у нас разрешения отложить рассказ до завтра. Когда он ушел, прекрасная еврейка, которую мы теперь называли просто Лаурой, сказала, обращаясь к Веласкесу:

– Какого ты мнения, светлейший герцог, о восторженных чувствах молодого Суареса? Задумывался ли ты хоть раз в жизни над тем, что принято называть любовью?

– Моя система, – ответил Веласкес, – охватывает всю природу и, следовательно, должна содержать в себе все чувства, которыми природа наделила человека. Я исследовал и определил их все, особенно же это удалось мне относительно любви; я открыл, что ее очень легко выражать с помощью алгебры, а тебе, сеньорита, известно, что алгебраические задачи поддаются безупречному решению. В самом деле, допустим, что любовь – величина положительная, отмеченная знаком плюс, тогда ненависть, как величина противоположная, будет отмечена знаком минус, а равнодушие, как отсутствие всякого чувства, будет равно нулю.

Далее, если я умножу любовь на любовь, то есть скажу, что люблю любовь или люблю любить любовь, у меня всякий раз получится величина положительная, так как плюс на плюс всегда дает плюс. С другой стороны, если я ненавижу ненависть, то тем самым вступаю в чувство любви, то есть величины положительной, так как минус на минус дает плюс.

Наоборот, если я ненавижу ненависть к ненависти, то вступаю в область чувства, противоположного любви, так как отрицательное в кубе дает отрицательное.

Что до произведения любви на ненависть или ненависти на любовь, то оно всегда будет отрицательное, так как и плюс на минус и минус на плюс дают всегда минус. И в самом деле, ненавижу ли я любовь или же люблю ненависть, я всякий раз испытываю чувства, противоположные любви. Сможешь ли ты что-нибудь возразить против моих рассуждений, прекрасная Лаура?

– Ничего, – ответила еврейка, – наоборот, я уверена, что каждая женщина согласилась бы с этими доказательствами.

– Меня несколько не обрадовало бы, – сказал Веласкес, – если бы, так быстро соглашаясь, она упустила бы дальнейший ход или выводы, вытекающие из моих исходных положений. Но пойдем дальше. Так как любовь и ненависть относятся друг к другу, как величины положительные и отрицательные, отсюда следует, что вместо ненависти я могу написать минус любовь, что однако, нельзя приравнять к равнодушию, которое равно нулю.

Теперь приглядишься как следует к поведению двух влюбленных. Они любят, ненавидят, потом проклинают ненависть, которую испытывали друг к другу, любят друг друга пуще прежнего до тех пор, пока отрицательный множитель не превратит всех чувств в ненависть. Невозможно не видеть, что произведение получилось бы по очереди то положительное, то отрицательное. Наконец, тебе говорят, что влюбленный убил свою возлюбленную, и ты не знаешь, что об этом подумать: видеть ли в этом проявление любви или ненависти? Точно так же в алгебре: приходишь к мнимым величинам всякий раз, когда в корнях из минус икс показатели четные.

Рассуждения до такой степени верные, что часто видишь, как любовь начинается с чего-то вроде взаимной боязни, напоминающей нерасположение, небольшую отрицательную величину, которую можно выразить через минус В. Эта боязнь порождает вражду, которую мы обозначим через минус С. Произведение этих двух величин будет плюс ВС, то есть

величина положительная, попросту говоря, любовь.

Тут лукавая еврейка перебила Веласкеса замечанием:

– Сиятельный герцог, если я тебя правильно поняла, лучше всего было бы выразить любовь путем разложения степеней (X-A), допуская, что A значительно меньше X.

– Восхитительная Лаура, – сказал Веласкес, – ты угадываешь мои мысли. Это и есть, о прелестная женщина, формула бинома, открытая кавалером доном Ньютоном, которая должна руководить нами в исследованиях человеческого сердца, как и вообще во всех наших расчетах.

После этого разговора мы простились; но нетрудно было заметить, что прекрасная еврейка произвела сильное впечатление на ум и сердце Веласкеса. Так как он, подобно мне, происходил от Гомелесов, я не сомневался, что эта очаровательная женщина была орудием, с помощью которого хотели склонить его к переходу в веру Пророка. Из дальнейшего будет видно, что я не ошибся в своих предположениях.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

На восходе мы уже сидели на лошадях. Вечный Жид, не предполагая, что мы можем так рано сняться, удалился довольно значительно в сторону. Мы долго ждали его; наконец он появился, занял место, как обычно, рядом со мной и начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Символы никогда не мешали нам верить в единого Бога, превыше всех других. Писания Тота не оставляют в этом отношении никакого сомненья. Мы читаем в них следующее:

«Единый Бог пребывает непоколебимо в своем обособлении. Ничто иное, даже никакая отвлеченная идея не может с ним соединиться.

Он – свой собственный отец, свой собственный сын и единственный отец Бога. Он – само добро, начало всего и источник понятий первейших созданий.

Этот единый Бог объясняет себя сам через себя, ибо достаточен самому себе. Он – первооснова. Бог богов, монада единства, предшествующая существованию и творящая основу существования. Ибо от него исходит существование бытия и само бытие, и потому он называется также Отцом бытия».

– Так что видите, друзья мои, – продолжал далее Херемон, – невозможно иметь о божестве более возвышенное представление, чем наше, но мы решили, что вольны обожествлять часть признаков Бога и его отношений с нами, творя из них отдельные божества или, вернее, – изображения отдельных божественных признаков.

Так, например, божий разум мы называем Эмеф; когда он выражает себя в словах, мы называем его – Тот, то есть убеждением, либо Эрмет, то есть толкованием.

Когда божий разум, таящий в себе истину, нисходит на землю и творит под видом плодородия, он называется Амон. А когда этот разум проявляется в форме искусства, мы называем его Пта, или Вулканом, а если в виде добра, то – Озирис.

Мы считаем Бога единым, однако бесконечное количество благотворных отношений, в какие ему угодно входить с нами, приводит к тому, что мы позволяем себе, без всякого кощунства, считать его существом собирательным, так как он на самом деле собирательный и бесконечно разнообразный относительно признаков, которые мы в нем усматриваем.

Что же касается духов, то мы верим, что у каждого из нас их имеется два: злой и добрый. Души героев ближе всего к природе духов – особенно те, что предводительствуют сонмом душ.

Богов по их сущности можно сравнить с эфиром, героев и духов – с воздухом, а в обыкновенных душах есть что-то от земли. Провидение божие мы приравниваем к свету, заполняющему все пространство между мирами. Древние предания говорят нам также о

силах ангелов, или посланников, которые возвещают веления Божий, и о других силах, еще более высокой степени, которых евреи, обитающие среди эллинов, назвали архонтами или архангелами.

Те из нас, которые посвятили себя жречеству, убеждены, что имеют власть вызывать богов, духов, ангелов, героев и души. Однако они не могут производить этих теургических действий, не нарушая общего мироустройства. Когда боги сходят на землю, солнце и луна на некоторое время скрываются от взоров смертных.

Архангелы окружены более ярким сияньем, чем ангелы. Души героев не так ярко блестят, как ангелы, однако ярче, чем души обыкновенных смертных, которые окутывает тень.

Князья Зодиака появляются в величественных обликах. Помимо того, мы различаем множество особых примет, сопровождающих появление разных существ и служащих для их распознавания. Так, например, злых духов можно узнать по вредным явлениям, которые они за собой влекут.

Что же касается идолов, то мы верим, что если они будут созданы при определенном положении небесных тел или с установленными теургическими церемониями, то при этом можно привлечь к ним некоторую частицу божественной сущности. Однако искусство это настолько ненадежно и недостойно истинного богопознания, что мы обычно предоставляем его жрецам более низкой степени, чем та, к которой я имею честь принадлежать.

Если наш священнослужитель вызывает богов, он в известном смысле соприкасается их существу. При этом, однако, он остается человеком, только божественная природа проникает в него до известной степени, и он соединяется с Богом определенным способом. Оказавшись в таком состоянии, он легко может повелевать духами нечистыми, или земными, изгоняя их из тела, которым они овладели. Иногда наши жрецы, соединяя камни, травы и вещества животного происхождения, приготавливают смесь, которая может стать местопребыванием божества; но истинной связью жреца с божеством является молитва.

Все эти обряды и догматы, которые я вам изложил, мы приписываем не Тоту, или третьему Гермесу, жившему при Озимандии, а пророку Битису, жившему на два тысячелетия раньше и дававшему толкование учению первого Меркурия. Как я уже сказал, время многое прибавило и изменило, поэтому не думаю, чтобы древняя религия дошла до нас в своем первоначальном виде. Наконец, если уж говорить все без утайки, многие жрецы наши отваживаются грозить своим собственным богам; тогда они, принеся жертву, произносят следующее: «Если ты не исполнишь мою просьбу, я раскрою величайшие тайны Изиды, выдам тайны преисподней, разобью ларец Озириса и раскидаю его члены».

Должен сказать, что я не одобряю этих формул, от которых воздерживаются даже халдеи.

Когда Херемон дошел до этого места своего поучения, один из низших жрецов ударил в било, возвещая полночь; а так как вы тоже приближаетесь к месту вашего ночлега, позвольте мне отложить дальнейшее повествование до завтра.

Вечный Жид ушел, а Веласкес объявил, что он не узнал от него ничего нового, что все это можно найти у Ямвлиха.

– Это произведение, – прибавил он, – я читал с величайшим вниманием и никогда не мог понять, каким образом критики, считающие достоверным письмо Порфирия к египтянину Анебону, признают ответ египтянина Абаммона выдумкой Порфирия. Я думаю, Порфирий просто присоединил ответ Абаммона к своему произведению, прибавив кое-какие собственные замечания о греческих и халдейских философах.

– Кто б он ни был, – Анебон или Абаммон, – сказал Уседа, – только могу поручиться, что Вечный Жид говорил вам чистую правду.

Прибыв на место ночлега, мы слегка закусили. Цыган, располагавший свободным временем, продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Рассказав мне, чем кончилась его первая встреча в Буэн-Ретиро, молодой Суарес не мог больше бороться со сном, в котором он нуждался для восстановления сил. Вскоре он крепко заснул, но в следующую ночь продолжал свой рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛОПЕСА СУАРЕСА

Я ушел из-Буэн-Ретиро с сердцем, переполненным любовью к прекрасной незнакомке и возмущением против Бускероса. На другой день – это было как раз воскресенье – я подумал, что встречу предмет моих воздыханий где-нибудь в церкви. В три из них я напрасно заходил, наконец нашел ее в четвертой. Она узнала меня и после мессы, проходя мимо, промолвила вполголоса:

– Это был портрет моего брата.

И тотчас исчезла, а я остался стоять как прикованный к месту, очарованный несколькими словами, которые услышал, будучи уверен, что равнодушие не подсказало бы ей этой успокоительной для меня мысли.

Вернувшись в трактир, я приказал подать мне обед в надежде, что на этот раз не увижу своего непрошеного гостя. Но вместе с блюдами вошел и Бускерос, горланя:

– Сеньор дон Лопес, я отказался от двадцати приглашений и пришел к тебе. Ведь я уже сказал тебе, что весь к твоим услугам.

Мне хотелось сказать нахалу что-нибудь неприятное, но, вспомнив, что отец запретил мне обнажать шпагу, поневоле решил избегать ссоры.

Бускерос велел принести себе прибор, уселся и, повернув ко мне радостное лицо, сказал:

– Признай, сеньор дон Лопес, что я тебе вчера здорово услужил: словно нечаянно предупредил молодую даму, что ты – сын одного из богатейших негоциантов Кадиса. Правда, она изобразила гнев, но это только для виду, чтоб показать тебе, что богатство ничего не говорит ее сердцу. Не верь этому, сеньор дон Лопес. Ты молод, хорош собой, умен, но помни, что ни в какой любовной интриге золото не повредит. Со мной, например, дело обстоит иначе. Если меня любят, то только ради меня самого, и никогда не пробуждал я страсти, в которой играл бы малейшую роль расчет.

Бускерос долго еще нес подобный вздор, но наконец, съев обед, ушел. Вечером я отправился в Буэн-Ретиро, но с тайным предчувствием, что на этот раз не встречу прекрасную Инессу. В самом деле, она не пришла, а вместо нее я застал Бускероса, который целый вечер не отходил от меня ни на шаг.

На другой день он снова явился к обеду и, уходя, сообщил, что вечером встретится со мной в Буэн-Ретиро. Я возразил, что он там меня не застанет, но, уверенный, что он этому не поверит, вечером спрятался в одной лавчонке по дороге в Буэн-Ретиро и через минуту увидел Бускероса, спешащего в парк. Не найдя меня там, он вернулся озабоченный и пошел искать меня на Прадо. Тогда я как можно скорей пошел в Буэн-Ретиро и, пройдя несколько раз по главной аллее, увидел мою прекрасную незнакомку. Я подошел к ней с почтительным видом, что, насколько я мог заметить, ей понравилось, но я не знал, нужно ли благодарить ее за то, что она сказала мне в церкви. Быть может, она решила сама вывести меня из затруднения, так как сказала, смеясь:

– Ты утверждаешь, сеньор, что нашедшему потерянную вещь полагается вознаграждение, и поэтому, найдя портрет, хотел узнать, в каких я отношениях с оригиналом. Теперь ты это знаешь, поэтому не спрашивай ни о чем больше, разве только опять найдешь что-нибудь принадлежащее мне, – тогда можешь притязать на новые награды. Однако не надо, чтобы нас видели слишком часто вместе. Я прощаюсь с тобой, но не запрещаю тебе подходить всякий раз, как у тебя будет что сказать мне.

При этом незнакомка приветливо мне поклонилась; я ответил глубоким поклоном,

после чего перешел на соседнюю, параллельную аллею, но оттуда все время поглядывал на ту, от которой только что ушел. Окончив прогулку, Инесса села в коляску, бросив мне прощальный взгляд, полный, как мне показалось, нескрываемого расположения.

На другой день утром, занятый зарождающимся во мне чувством и размышляя о его развитии, я решил, что скоро прекрасная Инесса позволит мне писать ей. А так как мне ни разу в жизни не случалось писать любовных писем, я подумал, что мне надо бы поупражняться в стиле. Я взял перо и написал следующее письмо:

«Лопес Суарес к Инессе.

Рука моя, трепещущая вместе с робким чувством, со страхом выводит эти слова. В самом деле, что могут они выразить? Какой смертный сумеет излить в словах свое чувство? Где перо, способное на это?

Я хотел бы в этом письме заключить все свои мысли, но что делать, если они убегают от меня. Я брожу по дорожкам Буэн-Ретиро, замедляю шаги свои на песке, сохранившем следы твоих ног, и не могу уйти отсюда.

Или в самом деле сад наших королей так прекрасен, каким он мне кажется? Конечно, нет; волшебство – в глазах моих, и ты. Сеньора, единственная тому причина. Разве парк этот был бы так безлюден, если бы другие видели в нем те красоты, какие на каждом шагу открываю в нем я?

Трава там ярче зеленеет, благоуханней дышит жасмин, и деревья, под которыми ты прошла, лучше защищают от жгучих лучей солнца. А ведь ты только прошла под ними. Что же будет с сердцем, в котором ты пожелаешь навсегда остаться?»

Написав письмо, я его перечитал и обнаружил в нем множество нелепостей, поэтому решил не вручать его и не посылать. А пока, в виде приятного самообмана, запечатал его, надписав: «К прекрасной Инессе», – и бросил в ящик стола, а затем отправился на прогулку.

Проходя по улицам Мадрида, я увидел трактир «Под белым львом» и решил зайти пообедать и таким образом избегнуть общества проклятого втируши. Так я и сделал, после чего вернулся к себе.

Открыл ящик, где лежало мое письмо, но его там уже не было. Спросил слуг, и те ответили, что, кроме Бускероса, никто ко мне не приходил. Было ясно, что он взял письмо, и меня страшно тревожило, что он с ним затеял.

Вечером я не пошел прямо в Буэн-Ретиро, а спрятался в той самой лавчонке, которая уже однажды служила мне убежищем. Вскоре я увидел карету прекрасной Инессы и Бускероса, бежавшего за ней изо всех сил и показывавшего письмо, которое он держал в руке. Негодяй так кричал и махал руками, что карета остановилась, и он мог вручить письмо адресатке в собственные руки. И карета покатила к Буэн-Ретиро, а Бускерос пошел в противоположную сторону.

Я даже представить себе не мог, чем кончится это происшествие, и не спеша пошел в парк. Там уже была прекрасная Инесса; она сидела со своей подругой на скамье возле густого шпалерника. Она сделала мне знак подойти, велела сесть и сказала:

– Я хочу, сеньор, сказать тебе несколько слов. Прежде всего скажи, пожалуйста, зачем ты написал весь этот вздор, и потом – зачем прислал его мне с человеком, нахальство которого, как ты прекрасно знаешь, уже раз меня рассердило?

– Не могу отрицать, – сказал я, – что я это письмо написал, но я не имел ни малейшего намерения вручать его вам. Написал я его просто так, для собственного удовольствия, и спрятал в стол, откуда его выкрал этот негодяй Бускерос, который с самого моего приезда в Мадрид неотступно следует за мной, как злой дух.

Инесса засмеялась и прочла мое письмо с довольным выраженьем лица.

– Тебя зовут Лопес Суарес? Не родственник ли ты, сеньор, того богача Суареса, негодянта из Кадиса?

Я ответил, что я его единственный сын. Инесса завела речь о чем-то другом и потом

пошла к карете. Садясь в нее, она сказала:

– Я не хочу держать у себя эти нелепости. Отдаю их тебе, но с условием, чтоб ты их не потерял. Может быть, они мне еще когда-нибудь понадобятся.

Отдавая письмо, Инесса легонько пожала мне руку.

До тех пор ни одна женщина не пожимала мне руки. Правда, мне были известны такие примеры по романам, но, читая, я не мог хорошенько представить себе того наслаждения, которое такое пожатие доставляет. Я нашел, что этот способ выражения чувств восхитителен, и вернулся домой, уверенный, что я – счастливейший из смертных.

На другой день Бускерос снова удостоил меня чести обедать с ним.

– Ну что? – спросил он. – Письмо дошло по назначению? По лицу твоему вижу, что оно произвело нужное впечатление.

Признаюсь, я почувствовал к нему нечто вроде благодарности.

Вечером я отправился в Буэн-Ретиро. Только вошел, как сразу увидел Инессу, шедшую шагах в пяти – десяти впереди меня. Она была одна, только слуга следовал за ней на почтительном расстоянии. Она обернулась, потом пошла дальше и уронила веер. Я поспешно поднял его. Она приняла мою находку с благодарной улыбкой и сказала:

– Я обещала тебе, сеньор, всякий раз, как ты будешь возвращать мне потерю, выдавать соответствующую награду. Сядем вот здесь и займемся этим важным делом.

Она подвела меня к той самой скамье, на которой сидела накануне, и продолжала:

– Вернув мне потерянный портрет, ты от меня узнал, что это портрет моего брата. Что же ты хочешь узнать теперь?

– Ах, сеньорита, – ответил я, – я хотел бы узнать, кто ты и как тебя зовут.

– Послушай, сеньор, – сказала она, – ты, может быть, думаешь, что твои богатства ослепили меня, но изменишь свое мнение, узнав, кто я, – мой отец так же богат, как и твой: я дочь банкира Моро.

– Силы небесные! – воскликнул я. – Не верю своим ушам! Ах, сеньора, я несчастнейший из людей: мне нельзя и думать о тебе под страхом проклятия отца, деда и прадеда, Иньиго Суареса, который, избороздив немало морей, основал торговый дом в Кадисе. Теперь мне остается только умереть!

В это мгновение из густого шпалерника возле скамьи вылезла голова дона Бускероса. Просунувшись между мной и Инессой, он заговорил:

– Не верь ему, сеньора. Он всегда так делает, когда хочет от кого-нибудь отделаться. Недавно, не дорожа моим знакомством, утверждал, будто отец запретил ему связываться с дворянами, теперь боится обидеть своего прадеда Иньиго Суареса, который, избороздив много морей, основал торговый дом в Кадисе. Не падай духом, сеньорита. Эти маленькие крезы всегда с трудом попадают на крючок, но рано или поздно до них доходит очередь.

Инесса встала в величайшем негодовании и пошла садиться в карету.

Тут цыгана прервали, и в тот день мы его больше не видели.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Мы сели на коней, пустились в горы и после часа езды встретили Вечного Жида. Заняв свое обычное место между мной и Веласкесом, он стал рассказывать о своих приключениях дальше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

На следующую ночь почтенный Херемон принял нас с обычной своей добротой и возобновил свои объяснения.

– Обилие предметов, о которых я вчера вам говорил, не позволило мне коснуться общепризнанного у нас догмата, который, однако, пользуется более широким признанием среди греков – в связи с тем, что его так прославил Платон.

Я говорю о вере в Слово, или божественную мудрость, которую мы называем то Мандером, то Метом, а иногда – Тотом, то есть убеждением.

Есть еще один догмат, о котором я должен упомянуть, введенный одним из трех Тотов – по прозванию Трисмегист или Трижды величайший; он представлял себе божество разделенным на три силы, а именно – самого Бога, которого он назвал Отцом, потом на Слово и на Духа.

Таковы наши догматы. Что же касается заповедей, то они столь же чисты, особенно для нас, жрецов. Добродетельные поступки, пост и молитвы наполняют дни нашей жизни.

Употребляемая нами растительная пища не воспаляет кровь и позволяет легко смирять страсти. Жрецы Аписа воздерживаются от всякого общения с женщинами.

Такова в настоящее время наша религия. Во многих важных пунктах она отошла от прежней, – особенно в отношении метемпсихоза, у которого теперь мало приверженцев, хотя еще семьсот лет тому назад, когда нашу страну посетил Пифагор, вера в метемпсихоз была распространена повсеместно. Наша древняя мифология часто упоминает также о богах планет, так называемых правителях, – однако теперь этого учения придерживаются разве некоторые составители гороскопов. Как я вам уже говорил, религии изменяются, как все на свете.

Остается объяснить вам наши святыне мистерии. Скоро вы все узнаете. Но заранее будьте уверены, что, даже став посвященным, вы от этого не станете мудрей в основах нашей мифологии. Раскройте историка Геродота. Он был в числе посвященных и на каждом шагу хвалится этим, однако его исследования о происхождении греческих богов говорят о том, что он не имеет в этой области более ясных представлений, чем простые смертные. То, что он называл священной речью, не имело ничего общего с историей. Это было, по выражению римлян, турпилоквенцией, то есть бесстыдной речью. Каждый новый адепт должен был выслушать рассказ, оскорбляющий общепринятую благопристойность. В Элевсине рассказывали о Баубо, принимавшей у себя Деметру, во Фригии – о любовных похождениях Диониса. Мы здесь, в Египте, верим, что это бесстыдство – символ, обозначающий ничтожность материи, и больше ничего на этот счет не знаем.

Один знаменитый консул по имени Цицерон под конец жизни написал книгу о природе богов. Он признается там, что не знает, откуда Италия заимствовала свою веру, а в то же время был авгуром и, следовательно, знал все тайны итальянской религии. Неосведомленность, проглядывающая во всех произведениях посвященных авторов, доказывает, что посвящение никоим образом не сделало бы вас более мудрыми в вопросе о начале нашей религии. Во всяком случае, корни мистерий уходят в глубь очень дальних времен. Вы можете видеть торжественную процессию в честь Озириса на барельефе Озимандии. Поклонение Апису и Мневису ввел в Египте Дионис более трех тысяч лет тому назад.

Посвящение не проливает никакого света ни на возникновение религии, ни на историю богов, ни даже на значение символов, – однако введение мистерий было необходимо для людского рода. Человек, знающий за собой какой-нибудь великий грех или запятнавший свои руки убийством, становится перед жрецами мистерий, кается в совершенном и уходит очищенным при помощи омовения. До установления этого спасительного обычая общество изгоняло из своей среды людей, которые не могли подходить к алтарям, и те потом с отчаянья становились разбойниками.

В мистериях Митры адептам дают вкушать хлеб и вино и называют это угощение евхаристией. Грешник, примиренный с богом, начинает новую жизнь – честней, чем та, которую он вел до тех пор.

Тут я прервал Вечного Жида замечанием, что, мне кажется, евхаристия принадлежит только христианской религии. Но мне возразил Веласкес:

– Извини меня, но рассказ Вечного Жида полностью совпадает с тем, что я читал в писаниях святого Юстина Мученика, который сообщает даже, что злые духи в свое время

коварно ввели обряд, предназначенный только для христиан. Продолжай, сеньор еврей.

И Вечный Жид продолжал.

– Мистерии, – сказал Херемон, – включают еще один обряд, общий всем. Когда умирает какой-нибудь бог, его хоронят и оплакивают несколько дней подряд, после чего он, ко всеобщей радости, воскресает. Некоторые утверждают, что этот символ означает солнце, но более распространено мнение, что тут речь идет о брошенном в землю зерне.

– Вот и все, юный израильтянин, – прибавил жрец, – что я могу сказать тебе о наших догматах и обрядах. Теперь ты видишь, что мы вовсе не идолопоклонники, как ваши пророки часто утверждают, но, откровенно говоря, я считаю, что ни моя, ни твоя религия уже не удовлетворяют человечество. Кидая взгляд вокруг, мы всюду замечаем какую-то тревогу и потребность в чем-то новом.

В Палестине народ идет толпой в пустыню слушать нового пророка, который крестит водой из Иордана. А тут – терапевты или маги-целители, которые к нашей вере примешивают веру персов. Светловолосый Аполлоний переходит из города в город, выдавая себя за Пифагора. Мошенники выступают в качестве жрецов Изиды, поклонение богине давно оставлено, храмы ее опустели, благоволения перестали куриться на ее алтарях.

Произнеся последние слова, Вечный Жид увидел, что мы приближаемся к месту ночлега, и где-то в овраге пропал.

Я отвел герцога Веласкеса в сторону и сказал ему:

– Позволь тебя спросить, какого ты мнения о рассказах Вечного Жида? По-моему, нам не следует его слушать: ведь большая часть того, что он рассказывает, противна той вере, которую мы исповедуем.

– Сеньор Альфонс, – возразил герцог Веласкес, – твоя набожность делает тебе честь в глазах каждого мыслящего человека. Моя вера, смею утверждать, просвещенней твоей, хоть не менее горяча и чиста. Наилучшим доказательством этого служит моя система, о которой я уже не раз упоминал и которая представляет собой лишь ряд наблюдений над божеством и его бесконечной мудростью. Поэтому мне кажется, сеньор Альфонс, то, что спокойно слушаю я, можешь с чистой совестью слушать и ты.

Ответ Веласкеса вполне меня успокоил, а вечером цыган, располагая свободным временем, продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Молодой Суарес, рассказав мне о печальном происшествии в саду Буэн-Ретиро, не мог противиться сну, и я оставил его в покое; но на следующую ночь обратился к нему с просьбой, чтоб он удовлетворил мое любопытство и рассказал, что было дальше, и он продолжал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛОПЕСА СУАРЕСА

Я был полон любви к Инессе и, как ты сам понимаешь, обозлен на Бускероса. Но, несмотря на это, несносный втируша явился на другой же день прямо за стол. Утолив первый голод, он сказал:

– Я понимаю, сеньор дон Лопес, что ты еще очень молод и у тебя нет желания жениться; это глупость, которую мы и так совершаем слишком рано. Но меня все-таки удивило, что ты в качестве отговорки выставляешь перед молодой девушкой боязнь разгневать своего прадеда, Иньиго Суареса, который, избороздив много морей, основал торговый дом в Кадисе. Счастье твое, дон Суарес, что я кое-как поправил это дело.

– Сеньор дон Роке, – ответил я, – будь добр прибавить еще одну услугу к тем, что ты уже оказал мне: не приходи нынче вечером в Буэн-Ретиро. Я убежден, что прекрасная Инесса совсем туда не придет, а если я ее там застаю, то она, без сомнения, не захочет со

мной разговаривать. Но я мог бы сесть на ту самую скамью, на которой я беседовал с ней вчера, оплакать там свою беду и вволю нагореваться.

Дон Роке с сердитым видом промолвил:

– Сеньор дон Лопес, то, что ты мне сейчас сказал, звучит слишком оскорбительно и может навести меня на мысль, что моя самоотверженность, к несчастью, тебе не по нраву. Правда, я мог бы больше себя не утруждать и предоставить тебе одному оплакивать свою беду, но прекрасная Инесса может все-таки прийти, и кто тогда исправит твои промахи? Нет, сеньор дон Лопес, я тебе слишком предан, чтобы послушаться.

Сейчас же после обеда дон Роке ушел, а я, переждав зной, отправился к Буэн-Ретиро, но по дороге туда укрылся на время в свой лавчонке. Бускерос не заставил себя долго ждать; пошел искать меня в Буэн-Ретиро, а не найдя, вернулся и направился, видимо, в сторону Прадо. Тогда я покинул свое убежище и пошел туда, где успел испытать столько радостей и огорчений. Сел там на скамью и горько заплакал. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я подумал, что это Бускерос, и повернулся в сердцах, но увидел очаровательно улыбающуюся Инессу. Она села рядом со мной, велела своей спутнице уйти и начала так:

– Милый Суарес, я вчера на тебя рассердилась, потому что не поняла, к чему ты завел речь о своем деде и прадеде. Но, получив более подробные сведения, я узнала, что дом ваш вот уже сто лет, как отказывается иметь какие-либо отношения с нашим и притом, как утверждают, из-за каких-то ничтожных поводов.

Но если тебе придется преодолевать препятствия, то в них нет недостатка и у меня. Мой отец давно уже распорядился мной и боится, как бы я не предприняла шагов, несогласных с его планами. Поэтому он не разрешает мне часто выходить из дому и запрещает бывать на Прадо и даже в театре. Но так как мне все же нужно подышать иногда свежим воздухом, он позволяет мне ездить сюда с дуэньей, и то потому, что здесь мало кто бывает и он может быть спокойным за меня.

Будущий муж мой – некий неаполитанский вельможа, герцог Санта-Маура. Мне кажется, он просто жаждет моего богатства для того, чтоб спасти свое состояние. Я всегда испытывала непреодолимое отвращение к этому союзу, и чувство это особенно усилилось во мне после знакомства с тобой. Отец мой отличается крутым нравом, однако младшая сестра его, сеньора Авалос, имеет над ним большую власть. Милая тетя очень ко мне привязана и терпеть не может неаполитанского герцога. Я говорила ей о тебе, она хочет с тобой познакомиться. Проводи меня до кареты, и у входа в сад увидишь одного из слуг сеньоры Авалос, который проводит тебя к ней.

Слова прелестной Инессы переполнили меня радостью, и тысячи очаровательных надежд овладели моей душой. Я проводил Инессу до кареты, а потом отправился к ее тетке. Я имел счастье понравиться сеньоре Авалос; после этого я стал бывать у нее каждый день и в одно и то же время и всякий раз заставал там ее прекрасную племянницу.

Счастье мое длилось шесть дней. На седьмой я узнал о приезде герцога Санта-Мауры. Сеньора Авалос не велела мне падать духом, а одна из ее служанок передала мне письмо следующего содержания:

«Инесса Моро Лопесу Суаресу.

Ненавистный человек, которому я предназначена в жены, приехал в Мадрид, свита его заполонила весь наш дом. Мне разрешили перебраться в одно из внутренних помещений; мое окно выходит в переулок Августинцев. Оно не очень высоко, и мы сможем немного поговорить. Я должна сообщить тебе о некоторых важных для нас с тобой обстоятельствах. Приходи, как только стемнеет».

Я получил это письмо в пять, а солнце заходило в девять; у меня было в распоряжении еще четыре часа, которые я не знал, куда девать. Решил провести их в Буэн-Ретиро. Вид этих мест погружал меня всегда в сладкие мечты, в которых я проводил, незаметно для себя, долгие часы. Я уже несколько раз прошелся по парку, когда издали заметил входящего

Бускероса. Я хотел было взобраться на стоящий поблизости ветвистый дуб, но у меня не хватило сил, и я спустился на землю, сел на скамью и стал смело ждать неприятеля.

Дон Роке, самодовольный, как всегда, подошел ко мне с обычной своей развязностью и промолвил:

— Ну что, сеньор дон Лопес? Прекрасная Инесса Моро как будто в конце концов одержала верх над твоим прадедом Иньиго Суаресом, избороздившим много морей и основавшим торговый дом в Кадисе. Ты мне не отвечаешь, сеньор дон Лопес? Ладно, коли решил молчать, я сяду рядом с тобой и расскажу тебе свою историю, в которой ты услышишь не про одно удивительное приключение.

Я решил спокойно терпеть присутствие нахала до захода солнца, поэтому позволил ему говорить, и дон Роке начал так.

ИСТОРИЯ ДОНА РОКЕ БУСКЕРОСА

Я — единственный сын дона Бласа Бускероса, младшего сына младшего брата другого Бускероса, происходившего также от младшей линии. Отец мой имел честь служить королю в течение тридцати лет в качестве альфереса, то есть знаменосца пехотного полка; увидев, однако, что, несмотря на всю свою настойчивость, ему никогда не удастся дослужиться до подпоручика, вышел в отставку и поселился в городке Аласуелосе, где женился на молодой дворянке, дядя которой, каноник, оставил ей шестьсот пиастров пожизненной ренты. Я — единственный плод этого союза, который недолго длился, так как отец мой умер, когда мне исполнилось восемь лет. Я остался на попечении матери, которая, однако, не очень обо мне заботилась и, будучи уверена, что детям нужно как можно больше движения, позволяла мне бегать по улице с утра до вечера, нимало не думая обо мне. Другим детям моего возраста не позволяли ходить, куда им хочется, поэтому чаще я бывал у них. Родители их привыкли к моим посещениям и в конце концов перестали обращать на меня внимание. Благодаря этому я мог входить в любое время в любой дом нашего городка.

Наблюдательный от природы, я с любопытством следил за мельчайшими подробностями в жизни каждого дома, а потом рассказывал обо всех этих мелочах моей матери, которая выслушивала с великим удовольствием мои сообщения. Должен признаться, что ее мудрым советам я обязан счастливой способности вмешиваться в чужие дела, хотя мне это не приносит никакой пользы. Одно время я думал, что буду делать приятное моей матери, сообщая соседям о том, что делается у нас. Как только кто к ней зайдет или она с кем-нибудь поговорит, я сейчас же бежал оповестить об этом весь город. Однако такого рода огласка отнюдь не пришлась ей по нраву, и вскоре хорошая порка объяснила мне, что нужно только приносить новости в дом, но не выносить их из дому.

По прошествии времени я заметил, что люди начинают от меня таиться. Это меня очень задело, и препятствия, которые мне чинили, еще больше разжигали мое любопытство. Я изобретал тысячи способов, чтобы заглянуть в чужие жилища, а характер строений в нашем городке благоприятствовал моим намерениям. Потолки были из плохо пригнанных досок, и я по ночам забирался на чердаки, просверливал буравом отверстия и таким образом не раз подслушивал важные семейные тайны. И сейчас же бежал к матери и все ей рассказывал, а она передавала новость соседям, каждому в отдельности.

В конце концов догадались, что не кто другой, как я доставляю моей матери эти сведения, и с каждым днем неприязнь ко мне росла. Для меня были закрыты все двери, но открыты все щели; скорчившись где-нибудь на чердаке, я без приглашения находился среди моих сограждан. Они принимали меня поневоле, вопреки своему желанию; я жил, словно крыса, у них в домах, даже залезал в их кладовые и, по мере возможности, отведывал их запасы.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мать сказала, что мне пора выбрать себе какое-нибудь занятие. Я давно уже сделал выбор: решил стать юристом, чтобы таким путем открыть себе доступ к семейным тайнам и получить возможность вмешиваться в частную

жизнь своих сограждан. Моя идея получила одобрение, и я был послан учиться в Саламанку.

Какая огромная разница между большим городом и местечком, где я впервые появился на свет! Какое широкое поле для моей любознательности, но в то же время сколько новых препятствий! Дома – в несколько этажей, на ночь тщательно запираются, и, как назло, жители второго и третьего этажа на всю ночь открывают окна, чтобы дышать свежим воздухом. С первого взгляда я понял, что один ничего не сделаю, и мне нужно подобрать себе товарищей, способных поддержать меня в столь опасных предприятиях.

Я стал посещать лекции по правоведению, все время изучая характеры своих однокашников, чтобы никому не довериться легкомысленно. В конце концов я остановился на четырех, бесспорно обладавших, на мой взгляд, необходимыми качествами. Я собрал их, и мы стали вместе ходить, сперва только слегка колобродя на улицах. Потом, решив, что они достаточно подготовлены, я сказал им:

– Дорогие друзья, вас не удивляет смелость жителей Саламанки, оставляющих окна открытыми на всю ночь? Неужто, поднявшись на двадцать футов над нашей головой, они получили право насмехаться над студентами университета? Их тон – позор для нас, их покой – нам вызов. Я решил сперва проведать, что у них делается, а потом показать им, на что мы способны.

Эта речь вызвала рукоплескания, хотя было еще неизвестно, что я имею в виду. И я объяснил подробней.

– Милые друзья, – сказал я, – прежде всего надо раздобыть лестницу футов пятнадцать высотой. Трое из вас, завернувшись в плащи, смогут легко нести ее, только надо будет шагать спокойно одному за другим, выбирая менее освещенную сторону улицы, и не задевать стену лестницей. Когда нам понадобится лестница, мы приставим ее к намеченному окну, и один из нас влезет на нее, а остальные отойдут на некоторое расстояние, чтобы следить, нет ли какой-нибудь опасности. Собрав сведения о том, что делается в высших сферах, будем думать, что делать дальше.

Мое предложение было принято единогласно.

Я заказал легкую, но крепкую лестницу, и, как только она была готова, мы тотчас приступили к делу. Выбрали дом приличного вида, с окнами, расположенными не очень высоко. Приставили лестницу, и я поднялся так, чтобы изнутри помещения была видна только моя голова.

Луна ясно озаряла всю комнату, но несмотря на это, я в первую минуту ничего не мог разобрать; вскоре, однако, я увидел человека, лежащего на кровати и вперившего в меня обезумевшие от ужаса глаза. Видимо, у него отнялся язык от страха, но через минуту дар речи вернулся к нему, и он заговорил:

– Страшная, кровавая голова, перестань меня преследовать и не упрекай за невольное убийство.

Когда дон Роке произнес последние слова, мне показалось, что солнце уже склоняется к закату, и я, не имея при себе часов, спросил у него, который час.

Этот вопрос немного рассердил Бускероса; он нахмурился и промолвил:

– Мне кажется, сеньор дон Лопес, когда порядочный человек имеет честь рассказывать тебе свою историю, ты не должен прерывать его на самом интересном месте, если только не хочешь дать ему понять, что он – выражаясь по-испански – песадо, то есть зануда. Не думаю, чтобы я заслуживал такого упрека, и потому продолжаю.

– Видя, что моя голова показалась ему страшной и кровавой, я придал своему лицу самое ужасное выражение. Незнакомец не выдержал, выпрыгнул из постели и убежал из комнаты. Спавшая на той же постели молодая женщина проснулась, выпростала из-под одеяла пару белоснежных рук и потянулась, стряхивая с себя сон. Увидев меня, она не растерялась: встала, заперла на ключ дверь, в которую ушел ее муж, потом сделала мне знак войти внутрь. Лестница была коротковата, но я оперся на архитектурные украшения и смело прыгнул в комнату. Молодая женщина, присмотревшись ко мне, увидела, что ошиблась, а я

понял, что я – не тот, кого она ожидала. Тем не менее она велела мне сесть, завернувшись в шаль и, сев в нескольких шагах от меня, сказала:

– Сеньор, я должна признаться, что ждала одного из моих родственников, с которым мне надо поговорить о делах, касающихся нашей семьи, и ты понимаешь, что раз он должен был влезть в окно, то, разумеется, имел для этого серьезные основания. Тебя же, сеньор, я не имею чести знать и не ведаю, что побудило тебя прийти ко мне в пору, столь неподходящую для визитов.

– У меня не было намерения, – возразил я, – входить к вам в комнату, сеньора. Я хотел только заглянуть в окно, чтоб узнать, как выглядит помещение.

Я тут же осведомил незнакомку о своих вкусах, занятиях, молодости и о союзе, заключенном с четырьмя товарищами, которые должны мне помогать во всех предприятиях.

Молодая женщина выслушала меня с величайшим вниманием, потом сказала:

– Твой рассказ, сеньор, заставляет меня отнестись к тебе с уважением. Ты прав: на свете нет ничего приятней, как знать, что делается у других. С детских лет я всегда была убеждена в этом. Сейчас мне неудобно задерживать тебя здесь, сеньор, но я надеюсь, что мы видимся не в последний раз.

– Пока ты еще не проснулась, – сказал я, – твой муж оказал мне честь, приняв меня за кровавую и страшную голову, явившуюся упрекать его в невольном убийстве. В свою очередь, сеньора, окажи мне честь, рассказав, в чем тут дело.

– Похвальная любознательность, сеньор, – ответила она. – Приходи завтра в пять часов вечера в городской парк. Ты застанешь меня там с одной из моих приятельниц. А пока – до свиданья.

Молодая женщина чрезвычайно любезно проводила меня до окна; я спустился по лестнице и, присоединившись к товарищам, в точности все им рассказал. А на другой день, ровно в пять, отправился в парк.

Когда Бускерос произнес последние слова, мне показалось, что солнце совсем зашло, и я сказал с нетерпением:

– Сеньор дон Роке, уверяю тебя, что у меня неотложное дело, и я должен идти. Ты сможешь без всяких помех окончить свою историю, как только пожелаешь сделать мне честь прийти ко мне обедать.

На это Бускерос с еще более гневным видом сказал:

– Мне совершенно ясно, сеньор дон Лопес, что ты хочешь меня оскорбить. Лучше скажи прямо, что считаешь меня бесстыдным вралем и занудой. Но нет, сеньор дон Лопес, я не могу представить себе, чтоб ты так дурно обо мне думал, так что продолжаю рассказ.

– Вчерашняя знакомая моя была уже в парке с одной из своих приятельниц, молодой, стройной и очень недурненькой. Мы сели на скамейку, и молодая женщина, желая, чтоб я ее лучше узнал, начала рассказывать о том, что ей довелось пережить.

ИСТОРИЯ ФРАСКИТЫ САЛЕРО

Я – младшая дочь храброго офицера, имевшего такие заслуги перед родиной, что, когда он умер, за его вдовой было сохранено его жалованье.

Мать моя, родом из Саламанки, вернулась в родной город – со мной и моей сестрой Доротеей. У нее был небольшой дом на окраине города; она велела его отремонтировать, и мы поселились в нем, соблюдая строгую экономию, вполне соответствующую скромному виду нашего жилища.

Мать не позволила нам ходить ни в театр, ни на бой быков; сама тоже нигде не бывала и не принимала гостей. Не имея никаких развлечений, я целые дни проводила у окна. От природы очень общительная, я только увижу какого-нибудь прилично одетого мужчину, проходящего по нашей улице, как сейчас же начинаю следить за ним глазами либо взгляну на него так, чтоб он подумал, будто пробудил во мне определенный интерес. Обычно

прохожие не оставались равнодушными к этим знакам внимания. Некоторые отвешивали мне глубокие поклоны, другие отвечали мне такими же взглядами, как мой, и почти все снова появлялись на нашей улице, — только для того, чтобы еще раз поглядеть на меня. Сколько раз моя мать, заметив эти заигрывания, увещевала меня:

— Фраскита! Фраскита! Что ты там вытворяешь? Держись скромно, с достоинством, как твоя сестра, а то никогда не найдешь себе мужа.

Но мать ошиблась: сестра моя до сих пор в девушках, а я больше года как замужем.

Улица наша была довольно безлюдна, и я редко имела удовольствие видеть прохожих, чья наружность заслуживала бы внимания. Но одно обстоятельство благоприятствовало моим намерениям. У самых наших окон, под ветвистым дубом, стояла каменная скамья, так что желающий на меня полюбоваться мог спокойно сесть на нее, не возбуждая ни малейшего подозрения.

Однажды какой-то молодой человек, одетый гораздо изящней тех, кого я видела до сих пор, сел на скамью, вынул из кармана книгу и стал читать, но как только заметил меня, оставил чтение и уж больше не спускал с меня глаз. Незнакомец возвращался несколько дней подряд и вдруг как-то раз подошел к моему окну, будто чего-то искал, и промолвил:

— Ты ничего не уронила, сеньора?

Я ответила, что нет.

— Жаль, — возразил он. — Если бы ты обронила крестик, который носишь на шее, я бы его поднял и с радостью унес домой. Имея что-нибудь принадлежащее тебе, сеньора, я утешал бы себя, что не так безразличен тебе, как другие, которые садятся на эту лавку. Может быть, впечатление, которое сеньора произвела на меня, заслуживает того, чтобы немного выделить меня из толпы.

Тут вошла моя мать, и я не могла ничего ответить, но быстро отвязала крестик и уронила его на улицу.

Вечером я увидела двух сеньор с лакеем в богатой ливрее. Они сели на скамейку, сняли мантильи, и одна из них вынула маленький сверток; развернув его, вынула золотой крестик и кинула на меня насмешливый взгляд. Я поняла, что молодой человек пожертвовал этой женщине первое доказательство моей благосклонности, и меня охватил яростный гнев, что я всю ночь не смыкала глаз. На другой день лицемерный сел на скамейку, и я с великим удивлением увидела, что он вынул из кармана маленький сверток, развернул, достал крестик и стал его целовать.

Вечером я увидела двух лакеев в такой же ливрее, как вчерашний. Они принесли стол и постелили скатерть, потом, ушли и вернулись с мороженым, оранжадом, шоколадом, пирожками и другими лакомствами. Вскоре появились те две дамы, сели на скамью и велели подавать им лакомства.

Моя мать и сестра, никогда не глядевшие в окно, тут не могли сдержать любопытство, особенно когда услышали стук тарелок и стаканов. Одна из женщин, увидев их в окне, пригласила обеих к столу, попросив только, чтоб они приказали вынести несколько стульев.

Мать охотно приняла приглашение и велела вынести на улицу стулья, а мы, принарядившись, пошли благодарить сеньору за любезность. Подойдя поближе к ней, я увидела, что она очень похожа на моего молодого знакомого, и решила, что это его сестра: наверно, брат говорил ей обо мне, дал мой крестик, и добрая сестра приходила вчера к нам под окно только затем, чтобы посмотреть на меня.

Скоро обнаружилось, что не хватает ложек, и за ними отрядили мою сестру, потом оказалось, что нет салфеток, и мать хотела послать меня, но молодая сеньора подмигнула мне, и я ответила, что не найду их. Матери пришлось идти самой. Как только она ушла, я сказала знакомке:

— Мне кажется, сеньора, у тебя есть брат, необычайно на тебя похожий.

— Ничуть не бывало, — возразила она. — Брат, о котором ты говоришь, — я сам и есть. Мой брат — герцог Санлукар, а я должен скоро стать герцогом де Аркос, так как женюсь на наследнице этого титула. Я терпеть не могу свою суженую, но если не соглашусь на этот

брак, то у нас в семье начнутся страшные сцены, до которых я совсем не охотник. Не имея возможности распоряжаться своей рукой по собственному желанию, я решил сохранить свое сердце для кого-нибудь более достойного любви, чем герцогиня де Аркос. Не подумай, сеньорита, что я говорю о вещах, оскорбительных для твоего доброго имени, но ведь ни ты, ни я не покидаем Испании, судьба может снова нам улыбнуться, а если и нет, я сумею найти другие способы видеть тебя. Сейчас вернется твоя мать, благоволи пока принять этот бриллиантовый перстень – в доказательство того, что я сказал правду о своем происхождении. Умоляю тебя, сеньорита, не отвергай моего подарка, и пусть он вечно напоминает тебе обо мне.

Мать воспитала меня в строгих понятиях о добродетели, и я знала, что не следует принимать подарков от незнакомца, но некоторые соображения, которые у меня тогда возникли и которых я теперь уже не помню, заставили меня взять перстень. Между тем мать вернулась с салфетками, а сестра с ложками. Незнакомая сеньора была в этот вечер очень любезна, и все мы разошлись, довольные встречей. На другой день, так же как и в последующие, очаровательный юноша больше не показывался под моими окнами. Наверно, поехал венчаться с герцогиней Аркос.

В первое воскресенье после этого случая я, подумав, что рано или поздно у меня все равно обнаружат этот перстень, в церкви сделала вид, будто нашла его под ногами, и показала матери, а та решила, что это, конечно, просто стекло в томпаковой оправе; но велела мне все-таки спрятать его в карман. По соседству от нас жил ювелир, перстень показали ему. Он оценил его в восемь тысяч пистолей. Мать обрадовалась столь значительной стоимости перстня. Она объявила, что лучше всего было бы пожертвовать его святому Антонию Падуанскому, покровителю нашей семьи, но, с другой стороны, на сумму, вырученную от продажи перстня, можно обеспечить приданым меня и сестру.

– Прости, милая мама, – возразила я, – но сперва надо объявить, что мы нашли перстень, не указывая его стоимости. Если владелец явится, мы отдадим потерю, а если нет, то ни сестра, ни святой Антоний Падуанский не имеют на него никакого права: я нашла перстень, мне он и принадлежит.

На это мать ничего не ответила.

В Саламанке появилось объявление о находке перстня без указания его стоимости, но, как ты можешь легко догадаться, никто не явился.

Юноша, сделавший мне такой ценный подарок, произвел сильное впечатление на мое сердце, и я целую неделю не показывалась в окне. Но естественная склонность одержала верх, я вернулась к своей привычке и стала по-прежнему проводить весь день, глядя на улицу.

Каменную скамью, на которой обычно сидел молодой человек, теперь занимал важный толстый сеньор, спокойный и солидный. Он увидел меня в окне, и мне показалось, что это зрелище не доставило ему никакого удовольствия. Он отвернулся, но мое присутствие явно раздражало его; не видя меня, он все время беспокойно оборачивался. Вскоре он ушел, кинув на меня взгляд, полный негодования, вызванного моим любопытством, но на другой день пришел опять и повторил все свои чудачества. Так он приходил и уходил целых два месяца, пока в конце концов не попросил моей руки.

Мать объявила, что трудно ждать более выгодной партии, и велела мне ответить согласием. Я послушалась. Переменила имя Фраскиты Салеро на имя донны Франсиски Корнадес и вступила в дом, где сеньор видел меня вчера.

Став женой дона Корнадеса, я отдалась всецело заботам о его счастье. К сожалению, усилия мои оказались слишком успешными. Через три месяца совместной жизни я увидела, что он – счастливей, чем я хотела бы, и – хуже того! – считает, что он тоже меня осчастливил. Но самодовольное выражение делало лицо его неприятным, этим он меня отталкивал и все больше раздражал. К счастью, блаженное состояние это длилось недолго.

Однажды Корнадес, выходя из дома, увидел мальчика с письмом в руке, который, видимо, кого-то искал. Желая помочь ему, он взял у него письмо и кинул взгляд на конверт.

Оно было адресовано «восхитительной Фраските». Корнадес сделал такую гримасу, что маленький посыльный со страху бросился бежать, а муж мой взял этот драгоценный документ домой и прочел следующее:

«Может ли быть, чтобы ни мои богатства, ни мои достоинства, ни мое имя не привлекли ко мне твоего внимания? Я готов на любые расходы, любой риск, любые меры ради одного твоего взгляда. Те, кто обещал помочь мне, обманули меня, и я не получил от тебя никакого привета. Но на этот раз я решил действовать с врожденной смелостью; отныне ничто меня уже не удержит, так как речь идет о страсти, с самого начала не знающей ни меры, ни узды, меня страшит только одно: твое равнодушие.

Граф де Пенья Флор».

Содержанье письма в одно мгновение развеяло счастье, которым наслаждался мой муж. Он стал тревожен, подозрителен, запретил мне выходить из дома, кроме как с одной из наших соседок, которую знал, правда, не очень близко, но полюбил за ее примерную набожность.

Однако Корнадес не решался упоминать при мне о своих мученьях, не зная ни того, как далеко зашло у меня дело с графом де Пенья Флор, ни того, известно ли мне о страсти графа. Вскоре тысячи обстоятельств стали день ото дня растравлять его тревогу. Как-то раз он увидел лесенку, прислоненную к садовой ограде, в другой раз какой-то неизвестный прокрался потихоньку в наш дом. Хуже того: у меня под окнами все время раздавались серенады и слышалась музыка, столь ненавистная для ревнивцев. В конце концов дерзость графа перешла все границы. Однажды я отправилась с моей набожной соседкой на Прадо, и мы гуляли там довольно долго; пора была поздняя, и мы ходили по главной аллее почти совсем одни. Граф подошел к нам, стал пылко выражать мне свою страсть, сказал, что должен завоевать мое сердце, — наконец дерзко схватил меня за руку, и я не знаю, что этот безумец сделал бы, если бы мы не стали отчаянно кричать.

Домой мы вернулись в страшном смятении. Набожная соседка заявила моему мужу, что ни за какие блага на свете больше не будет со мной ходить и что жаль — у меня нет брата, который оградил бы меня от нападения графа, раз мой собственный муж так мало обо мне заботится.

— Правда, религия воспрещает мечь, — прибавила она, — однако честь нежной и преданной жены заслуживает большей заботы. Граф де Пенья Флор действует так смело, наверно, оттого, что знает, сеньор Корнадес, о твоём попустительстве.

На следующий день муж мой поздно возвращался домой и, переходя узкий переулок, увидел, что впереди стоят двое. Один из них ткнул в стену шпагой безмерной длины, а другой сказал ему:

— Славно, сеньор дон Рамиро! Если ты будешь так действовать с уважаемым графом де Пенья Флор, недолго ему быть грозой братьев и мужей.

Ненавистное имя графа заставило Корнадеса насторожиться, — он не пошел дальше, а притаился под деревом.

— Любезный друг, — ответил человек с длинной шпагой, — мне нетрудно положить конец любовным победам графа де Пенья Флор. Я вовсе не желаю убивать его, а хочу только проучить, чтоб он тут больше не показывался. Не зря дон Рамиро Карамансу называют первым дуэлянтом в Испании, я боюсь только последствий такого поединка. Если б раздобыть где сто дублонов, я пожил бы немного на островах.

Два друга беседовали еще некоторое время в таком же духе и наконец собирались уже уйти, как вдруг муж мой вышел из своего укрытия и подошел к ним со словами:

— Господа, я один из тех мужей, которым граф де Пенья Флор не дает жить спокойно. Если б вы имели намерение отправить его на тот свет, я не стал бы вмешиваться в ваш разговор. Но так как вы хотите только проучить его, я с удовольствием предлагаю вам сто дублонов, которые нужны для поездки на острова. Будьте добры подождать, я сейчас

принесу вам эти деньги.

В самом деле, он сейчас же пошел домой и вернулся со ста дублонами, которые и вручил страшному Карамансе.

Через два дня вечером мы слышали громкий стук в дверь. Когда ее отворили, к нам вошел судейский чиновник с двумя альгвасилами. Чиновник обратился к моему мужу с такими словами:

– Из уважения к тебе, сеньор, мы пришли сюда ночью, чтобы наше появление не повредило твоей доброй славе и не испугало соседей. Речь идет о графе де Пенья Флор, которого вчера убили. Письмо, выпавшее из кармана одного из убийц, говорит о том, что ты дал сто дублонов, чтобы побудить их к этому преступлению и помочь им бежать.

Муж мой ответил с присутствием духа, которого я никогда в нем не предполагала:

– Я никогда в жизни не видел графа де Пенья Флор. Вчера ко мне пришли двое неизвестных и предъявили вексель на сто дублонов, выданный мной в прошлом году в Мадриде. Я был вынужден заплатить. Если нужно, сеньор, я сейчас схожу за векселем.

Чиновник вынул письмо из кармана и сказал:

– Читай, сеньор: «Завтра отплываем на Сан-Доминго с дублонами почтенного Корнадеса».

– Да, – возразил мой муж, – это, наверно, те самые дублоны по векселю. Я выдал его на предъявителя, так что не имел права никому отказывать в оплате, ни спрашивать фамилию.

– Я служу в уголовном суде, – сказал чиновник, – и не обязан вмешиваться в торговые дела. Прощай, сеньор Корнадес; извини за беспокойство.

Как я тебе уже сказала, меня очень удивило необычайное присутствие духа, которое проявил мой муж, хотя я уже не раз замечала, что там, где дело идет о его собственной выгоде или безопасности его персоны, он просто гений.

Когда прошел испуг, я спросила дорогого Корнадеса, правда ли, что он велел убить графа де Пенья Флор. Сначала он отпибался, но в конце концов признал, что дал сто дублонов дуэлянту Карамансе, но не для убийства, а только для того, чтоб выпустить у графа малость буйной крови.

– Хотя я оказался причастен к этому убийству помимо своей воли, – прибавил он, – оно тяготит мою совесть. Я решил совершить путешествие к святому Иакову Компостельскому, а может быть, и дальше, чтобы получить как можно больше отпущений.

С того дня, как муж сделал это признание, у нас в доме начало твориться что-то странное. Корнадесу каждую ночь стал являться какой-то страшный призрак, лишая покоя и без того растревоженную совесть. Все время назойливо маячили несчастные дублоны. Иногда в потемках слышался печальный голос: «Вот возьми свои сто дублонов», – после чего слышался звон, как будто кто-то пересчитывает монеты.

Однажды вечером служанка увидела в углу миску, полную дублонов, опустила в нее руку, но обнаружила только кучу сухих листьев, которую прямо в миске и принесла нам.

На другой день вечером мой муж, проходя по комнате, слабо озаренной лунным светом, увидел в углу таз и в нем – человеческую голову; охваченный страхом, он прибежал ко мне и рассказал об этом. Я пошла сама посмотреть и обнаружила деревянную болванку для его парика, случайно поставленную в таз для бритья. Чтобы не вступать с ним в спор и в то же время чтобы поддержать в нем вечную тревогу, я пронзительно закричала и уверила его, что тоже видела страшную окровавленную голову.

С тех пор голова эта показывалась почти всем обитателям нашего дома и довела моего мужа до того, что я стала опасаться за его рассудок. Полагаю, нет нужды говорить тебе, что все эти явления были моим изобретением. Граф де Пенья Флор был просто выдумкой для того, чтобы встревожить Корнадеса и излечить его от прежнего самодовольства. Судейскими чиновниками, альгвасилами, так же как и дуэлянтами, были слуги герцога Аркоса, который сразу после венчанья вернулся в Саламанку.

Прошлой ночью я решила застрашать моего мужа новым способом, так как не сомневалась, что он сейчас же убежит из спальни к себе в комнату, где стоит аналой; я тогда

запру дверь на ключ и впущу к себе герцога через окно. Опасаться, что муж увидит его или обнаружит лестницу, не приходилось, потому что мы каждый вечер тщательно запирали дом, а ключ я прятала под подушку. Когда ты неожиданно появился в окне, муж мой еще раз убедился, что голова графа де Пенья Флор приходит укорять его за сто дублонов.

Наконец мне остается сказать только несколько слов о той примерной набожной соседке, которая внушила моему мужу столь неограниченное доверие. Увы! Соседка, которую ты видишь возле меня, это сам герцог, переодетый в женскую одежду. Да, сам герцог, который любит меня больше жизни, может быть, потому, что все еще не уверен в моей взаимности.

На этом Фраскита окончила свое повествование, а герцог, повернувшись ко мне, промолвил:

– Даря тебе наше доверие, мы рассчитываем на твою ловкость, которая может быть нам полезной. Речь идет об ускорении отъезда Корнадеса, кроме того, мы хотим, чтобы он не ограничился паломничеством, а некоторое время совершал покаяние в каком-нибудь монастыре. Для этого нам нужен ты со своими четырьмя приятелями, которые тебе повинуются. Я сейчас же тебе объясню свой замысел.

Когда Бускерос произнес эти слова, я с ужасом заметил, что солнце уже зашло и я могу опоздать на свидание с восхитительной Инессой. Поэтому я его остановил и стал умолять, чтоб он отложил рассказ о замыслах герцога Аркоса до завтра. Бускерос ответил мне с обычной своей наглостью. Тогда, уже не в силах сдерживать свое негодование, я воскликнул:

– Наглый негодяй! Отними у меня жизнь, которую ты мне отравляешь, или защищай свою!

С этими словами я обнаружил шпагу и принудил моего противника сделать то же самое.

Так как отец мой никогда не позволял мне обнажать шпагу, я не знал, как ею действовать. Сначала я завертел ее колесом, чем немало удивил своего противника, – вскоре, однако, Бускерос сделал выпад и пронзил мне руку, и, кроме того, кончик его шпаги ранил меня в плечо. Рука моя выпустила оружие, я упал, обливаясь кровью, но больше всего терзала меня мысль, что я не смогу явиться в условный час и узнать то, о чем прекрасная Инесса хотела сообщить мне.

Когда цыган дошел до этого места, его вызвали по делам табора. Когда он ушел, Веласкес сказал:

– Я так и знал, что цыган все время будет вытягивать одну историю из другой. Фраскита Салеро рассказала свою историю Бускеросу, тот – Лопесу Суаресу, а тот – опять цыгану. Надо надеяться, он скажет нам в конце концов, что случилось с прекрасной Инессой. Но если он начнет новую историю, я с ним поссорюсь, как Суарес поссорился с Бускеросом. Только, пожалуй, нынче повествователь наш к нам больше не вернется.

В самом деле, цыган больше не показывался, и вскоре мы все пошли спать.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Мы двинулись дальше. Вечный Жид вскоре присоединился к нам и продолжал рассказ о своих приключениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Уроки мудрого Хоремона были в действительности гораздо пространней, чем в моем изложении. Общий итог их заключался в том, что один пророк по имени Битис доказал в

трудах своих существование Бога и ангелов, а другой пророк по имени Тот прикрыв эти понятия темной – и казавшейся тем более возвышенной – метафизикой.

В теологии этот Бог, называвшийся Отцом, почитался только молчанием; когда же нужно было выразить его самодостаточность, говорили, что он сам собственный отец и собственный сын. Почитался он также и в образе сына, и тогда его называли «разумом божьим», или Тотом, что значит по-египетски – убеждение.

Наконец, наблюдая в природе дух и материю, дух стали считать эманацией Бога и представлять его плывущим по илу, как я уж вам как-то раз говорил. Создателя этой метафизики называли «Трижды величайший». Платон, проведший восемнадцать лет в Египте, ввел в Греции учение о Слове, за что получил от греков прозвание Божественного.

Херемон утверждал, что все это было не вполне в духе древнеегипетской религии, что она изменилась, так как изменение – вообще в природе каждой религии. Этот его взгляд вскоре подтвердили события, происшедшие в александрийской синагоге.

Я был не единственным евреем, изучавшим египетскую теологию; другие тоже увлекались ею; особенно притягательной казалась загадочность египетской литературы, порождаемая, видимо, иероглифическим письмом и принципом, согласно которому следует обращать внимание не на символ, а на скрытую в нем мысль.

Наши александрийские раввины тоже захотели иметь требующие разрешения загадки и вообразили, что книги Моисеевы, хоть и повествуют о подлинных событиях и представляют собой подлинную историю, написаны, однако, с таким божественным искусством, что, помимо исторического содержания, имеют еще другой смысл, таинственный и аллегорический. Некоторые из наших ученых выяснили этот смысл с проникательностью, доставившей им в то время великую славу, но из всех раввинов особенно отличился Филон. После долгого изучения Платона он пришел к убеждению, что ему удалось пролить свет на темноты метафизики, и с тех пор его стали звать Платоном синагоги.

Первое произведение Филона трактует о сотворении мира, с особенной подробностью разбирая свойства числа семь. В этом сочинении автор называет Бога Отцом, что полностью соответствует египетской теологии, но не стилю Библии. Мы там находим утверждение, что змей – аллегория наслаждения и что рассказ о создании женщины из ребра мужчины также имеет аллегорический смысл.

Тот же самый Филон написал сочинение о снах, где говорит, что Бог имеет два храма: один из них – весь мир, а священник его – слово божие; а другой – чистая и разумная душа, и священник его – человек.

В своей книге об Аврааме Филон высказывается еще определенной в духе египетской теологии, когда говорит:

«Тот, кого Священное писание называет сущим (то есть тем, который есть), истинный Отец всего. С обеих сторон его стоят силы бытия, издревле теснейшим образом с ним соединенные: сила творящая и сила управляющая. Одна называется Богом, другая Господом. Соединенный с этими силами открывается нам иногда в едином, иногда в тройственном виде: в едином, когда душа, совершенно очищенная, вознесясь над всеми числами, даже над числом два, столь близким к единице, достигает понятия простоты и самодостаточности; в тройственном же предстает душе, еще не вполне причастной к великим тайнам».

Этот самый Филон, рассудку вопреки до такой степени заплатонизировавшийся, позже принимал участие в посольстве к цезарю Клавдию. Он пользовался большим влиянием в Александрии, и почти все эллинизированные евреи, увлекшись красотой его стиля и побуждаемые свойственной всем людям жадной новизны, настолько прониклись его учением, что вскоре, можно сказать, остались евреями только по названию. Книги Моисеевы стали для них своего рода основой, на которой они ткали как им вздумается свои собственные аллегории и тайны, в особенности же – миф о троичности.

В ту эпоху ессеи уже создали свои странные сообщества. Они не женились и не имели никакой собственности, все было в общем владении. В конце концов возникла новая религия, смесь иудаизма и магии, сабеизма и платонизма, при повсеместном

распространении множества астрологических суеверий. Древние религии всюду падали со своих пьедесталов.

Когда Вечный Жид произнес это, мы находились недалеко от места нашего привала, так что он оставил нас и пропал где-то в горах. Под вечер цыган, располагая свободным временем, продолжал свой рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Рассказав мне историю своего поединка с Бускеросом, молодой Суарес захотел спать, и я покинул его. На другой день на мой вопрос, что было дальше, он поведал мне следующее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛОПЕСА СУАРЕСА

Ранив меня в руку, Бускерос сказал, что он искренне рад этой возможности выказать мне свою преданность. Он разорвал мою рубашку, перевязал мне плечо, накинул на меня плащ и отвел к хирургу. Тот осмотрел мои раны, сделал перевязку и отвез меня домой. Бускерос велел поставить свою кровать в передней. Мои неудачные попытки отделаться от нахала заставили меня отказаться от дальнейших действий в этом направлении, и я примирился со своей участью.

На другой день у меня началась лихорадка, обычная у раненых. Бускерос по-прежнему навязывался со своими услугами и ни на минуту не отходил от меня. На четвертый день я смог наконец выйти на улицу с перевязанной рукой, а наснятый ко мне пришел слуга сеньоры Авалос с письмом, которое Бускерос сейчас же схватил и прочел.

«Инесса Моро к Лопесу Суаресу.

Я узнала, что ты дрался на поединке и был ранен в плечо. Поверь мне, я страшно мучилась. Теперь придется пустить в ход последнее средство. Я хочу, чтоб отец мой застал тебя у меня. Шаг смелый, но на нашей стороне тетя Авалос, которая нам поможет. Доверься человеку, который вручит тебе это письмо, – завтра будет уже поздно».

– Сеньор дон Лопес, – сказал ненавистный Бускерос, – ты видишь, что на этот раз тебе не обойтись без меня. Признай, что каждое такое предприятие по самой природе своей требует моего участия. Я всегда считал, что тебе страшно повезло, коли ты сумел приобрести мою дружбу, но теперь больше, чем когда-нибудь, ты узнаешь всю ее ценность. Клянусь святым Рохом, моим покровителем, если бы ты позволил мне рассказать мою историю до конца, так узнал бы, что я сделал для герцога Аркоса, но ты прервал меня, да еще так грубо. Но я не жалею, так как рана, которую я тебе нанес, дала мне возможность дать новые доказательства моей преданности. Теперь, сеньор дон Лопес, умоляю тебя только об одном: пока не наступит решительный момент, ни во что не вмешивайся. Молчи и не задавай никаких вопросов! Доверься мне, сеньор дон Лопес, доверься мне!

С этими словами Бускерос вышел в другую комнату с доверенным сеньоры Моро. Они долго шептались вдвоем, наконец Бускерос вернулся один, держа в руке что-то вроде плана, изображающего переулочек Августинцев.

– Вот это, – сказал он, – конец улицы, ведущей к обители доминиканцев. Там будет стоять слуга сеньоры Моро с двумя людьми, за которых он мне ручается. А я буду караулить на противоположном конце улицы с несколькими надежными приятелями, которые и к тебе относятся дружески, сеньор дон Лопес. Нет, нет, я ошибся: их будет только двое, а остальные встанут у задней двери, чтобы следить за людьми Санта-Мауры.

Я полагал, что имею право заявить свое мнение об этом плане. И хотел спросить, что мне делать все это время, но Бускерос запальчиво прервал меня:

– Никакой болтовни, дон Лопес, никаких вопросов! Таков наш уговор: если ты забыл о

нем, то я хорошо помню.

После этого Бускерос весь день уходил и приходил. Вечером началось: то соседний дом слишком освещен, то на улице показывались какие-то подозрительные люди, либо еще не было подано условных знаков. Иногда Бускерос приходил сам, иногда присылал с донесением кого-нибудь из своих доверенных. Наконец он пришел и велел мне идти за ним. Можешь представить себе, как билось мое сердце. Меня смущала мысль о том, что я нарушил отцовские приказы, но любовь брала верх над всеми другими чувствами.

Входя в переулок Августинцев, Бускерос показал мне своих караульных и дал им пароль.

– В случае, если здесь появится посторонний, мои друзья сделают вид, будто подрались друг с другом, так что он поневоле будет вынужден повернуть обратно. А теперь, – прибавил он, – мы уже у цели. Вот лестница, чтоб тебе влезть наверх. Ты видишь, она крепко оперта о стену. Я буду следить за условными знаками, и как только я ударю в ладони, полезай.

Но кому могло бы прийти в голову, что после всех этих планов и приготовлений Бускерос перепутал окна. Однако это было так, и ты увидишь, что из этого вышло.

Услышав сигнал, я, хоть и с забинтованным плечом, сейчас же полез наверх, держась одной рукой. Залезши, я не нашел, как было условлено, наверху открытой ставни, и мне пришлось стучать, вовсе не держась руками. В это мгновение кто-то резко распахнул окно, ударив меня ставней. Я потерял равновесие и с самого верха лестницы упал на сложенные внизу кирпичи. Сломал в двух местах уже раненное плечо, сломал ногу, застрявшую между перекладинами лестницы, а другую вывихнул и всего себя искалечил – от шеи до крестца. Отворивший окно, видно, хотел моей смерти, так как крикнул:

– Ты умер?

Боясь, как бы он не пожелал добить меня, я ответил, что умер.

Через минуту тот же голос послышался вновь:

– А есть на том свете чистилище?

Испытывая нестерпимую боль, я ответил, что есть и что я уже нахожусь там. Потом, кажется, потерял сознание.

Тут я прервал Суареса вопросом, не было ли в тот вечер грозы.

– Вот именно, – отвечал он. – Гремел гром, сверкала молния, и, может быть, поэтому-то Бускерос перепутал окна.

– Что я слышу? – воскликнул я в удивлении. – Да ведь это наша чистилищная душа, наш бедный Агилар!

И с этими словами вылетел пулей на улицу. Начинало светать, я нанял двух мулов и помчался в монастырь камедулов. Там я нашел кавалера Толедо распростертым перед святой иконой. Лег рядом с ним и, так как у камедулов нельзя громко говорить, на ухо передал ему вкратце всю историю Суареса. Сперва рассказ мой как будто не производил на него никакого впечатления, но вскоре я увидел, что он улыбается. Наклонившись к моему уху, он промолвил:

– Милый Аварито, как по-твоему, жена оидора Ускариса любит меня и еще верна мне?

– Без сомнения, – ответил я, – но тише: не надо огорчать почтенных отшельников. Продолжай молиться, сеньор, а я пойду скажу, что наше покаяние окончено.

Узнав, что кавалер желает вернуться в мир, приор простился с ним, отозвавшись, однако, с похвалой о его набожности.

Как только мы вышли из монастыря, к кавалеру тотчас же вернулось его веселое настроение. Я рассказал ему о Бускеросе; на это он ответил, что знает его и что он – дворянин из свиты герцога Аркоса, слывающий самым несносным человеком во всем Мадриде.

Когда цыган произнес эти слова, к нему пришел один из подчиненных докладывать о событиях дня, и больше мы его в этот день не видели.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Следующий день мы посвятили отдыху. Завтрак был обильней, чем всегда, и лучше приготовлен. Мы собрались все. Прекрасная еврейка вышла одетая с большей тщательностью, чем обычно, но меры эти были излишни, если она приняла их с целью понравиться герцогу, так как его очаровывала в ней не наружность. Веласкес видел в Ревекке женщину, отличавшуюся от других большим глубокомыслием и умом, усовершенствованным точными науками.

Ревекка давно хотела узнать взгляды герцога на религию, так как питала решительное отвращение к христианству и участвовала в заговоре, имевшем целью склонить нас к переходу в веру Пророка. Она полусерьезно, полушутливо обратилась к герцогу с вопросом, не нашел ли он в своей религии такого уравниения, решение которого представляло бы для него трудность.

При слове «религия» Веласкес нахмурился, но, видя, что вопрос задан почти в шутку, он с недовольным выражением лица немного помолчал, а потом ответил так:

— Я понимаю, куда ты клонишь, сеньорита. Ты задаешь мне вопрос характера геометрического, и я отвечу, исходя из принципов этой науки. Для обозначения бесконечной величины я ставлю знак лежащей восьмерки — ∞ и делю ее на единицу; наоборот, желая обозначить величину бесконечно малую, я пишу единицу и делю ее на такую же восьмерку. Но эти знаки, употребляемые мною при вычислениях, не дают мне ни малейшего понятия о том, что я хочу выразить. Бесконечно велико вот это небо со своими звездами, взятое бесконечно количество раз. Бесконечно малое есть бесконечно малая частица самого малого из атомов. Итак, я обозначаю бесконечность, не постигая ее. Но если я не могу понять и не могу выразить, а только едва могу обозначить или, вернее, издали указать бесконечно малое и бесконечно великое, каким же способом я выражу то, что представляет собой в одно и то же время бесконечно великое, бесконечно разумное, бесконечно доброе и является творцом всех бесконечностей?

Тут на помощь моей геометрии приходит Церковь. Она указывает мне на троичность, вмещающуюся в единице, но не уничтожающую ее. Что я могу возразить против того, что превосходит мое понимание? Я вынужден сдаться.

Наука никогда не ведет к неверию, только невежество погружает нас в него. Невежда, видя какой-нибудь предмет каждый день, тотчас решает, что он понятен ему. Подлинный естествоиспытатель живет среди загадок; непрерывно занятый исследованием, он понимает всегда наполовину, учится верить в то, чего не понимает, и таким путем приближается к святыне веры. Дон Ньютон и дон Лейбниц были истинными христианами, даже теологами, и оба признавали тайну чисел, которой не могли понять.

Если б они принадлежали к нашему вероисповеданию, то признавали бы и другую тайну, столь же непостижимую, основанную на мысли о возможности тесного слияния человека с Творцом. В пользу этой возможности не говорит ни один очевидный факт, — наоборот, одни только неизвестные, но, с другой стороны, она убеждает нас в коренной разнице между человеком и другими существами, облеченными в материю. Если человек в самом деле единственный в своем роде на этой земле, если мы имеем явные доказательства, что отличаемся от всего царства животных, то нам легче допустить возможность соединения человека с Творцом. После этого вступления остановимся немного на способности понимания, которая доступна животным.

Животное испытывает желание, запоминает, делает выбор, колеблется, принимает решение. Животное мыслит, но не в состоянии сделать предметом своего размышления собственные мысли, что знаменовало бы восхождение способности понимания на новую ступень. Животное не говорит: «Я — существо мыслящее». Абстракция для него недоступна, и никто не видел животного, которое имело бы малейшее представление о числах. А числа представляют собой самый простой вид абстракции.

Сорока не покидает своего гнезда, пока не убедится, что поблизости нет человека. Была

сделана попытка определить объем ее мыслительной способности. Пять стрелков сели в засаду; потом они вышли оттуда один за другим, и сорока не покидала гнезда, пока не увидела, что выходит пятый. Если же они приходили вшестером или всемером, сорока не могла их счесть и улетала после выхода пятого, откуда иные сделали вывод, что она умеет считать до пяти. Неверно: сорока сохранила собирательный образ пяти человек, а вовсе их не считала. Считать – значит отделять число от предмета. Часто встречаются шарлатаны, показывающие лошадок, бьющих копытом столько раз, сколько знаков пик или треф на карте, но это кивок хозяина заставляет их делать каждый удар. Животные не имеют ни малейшего представления о числах, и эту абстракцию, наипростейшую из всех, можно считать пределом их умственных способностей.

Однако несомненно и то, что умственные способности животных нередко приближаются к нашим. Собака легко узнает хозяина дома и отличает его друзей от посторонних: к первым относится ласково, вторых почти не выносит. Она ненавидит людей со злым взглядом, смущается, крутится, тревожится. Ждет наказания и стыдится, если ее застанут на месте преступления. Плиний рассказывает, что слонов выучили танцевать и однажды видели, как они повторяли урок при лунном свете.

Ум животных удивляет нас, но речь всегда идет о единичных случаях. Животные выполняют приказания, избегают запретного, как, впрочем, всего, что может им повредить, но в то же время не способны составить общего понятия о добре на основе обособленного представления о том или ином поступке. Они не могут оценивать свои поступки, не могут разделять их на добрые и злые; эта абстракция гораздо трудней абстракции числовой, а так как они не в состоянии достичь меньшего, то нет причины, по которой они могли-бы достичь большего.

Совость есть в значительной мере создание человека, так как то, что в одной стране считается добром, в другой рассматривается как зло. Но в целом совесть указывает на то, что процесс абстрагирования так или иначе обозначил доброе или злое. Животные не способны на такое абстрагирование и поэтому не имеют совести, не могут следовать ее голосу, потому не заслуживают ни награды, ни наказания, разве только таких, которые назначаются ради нашей, а ни в коем случае не ради их собственной пользы.

Мы видим, таким образом, что человек – существо единственное в своем роде на земле, где все остальное принадлежит к общей системе. Только человек может сделать предмет своего мышления собственными мыслями, только он умеет абстрагировать и обобщать те или иные свойства. Благодаря этому он способен совершать похвальные поступки или причинять обиды, так как абстрагирование, обобщение и различение выработали в нем совесть.

Но для чего человеку нужны качества, выделяющие его из среды других живых существ? Тут мы путем аналогии приходим к выводу, что если все на свете имеет определенную цель, то и совесть не может быть дана человеку бесцельно.

Вот куда привело нас это умозрение: к религии естественной, – а куда ведет нас последняя, как не к той же самой цели, что и религия откровения, то есть к будущей награде или возмездью. Раз произведение то же самое, то множимое и множители не могут быть разными.

При всем том умозрение, на котором основана естественная религия, часто является опасным оружием, ранящим тех, кто им пользуется. Каких добродетелей не пробовали очернить при помощи умозрения, каких преступлений – оправдать! Или провидение в самом деле решило покинуть нравственность на милость софистики? Конечно, нет: вера, основанная на привычках, усвоенных с детских лет, на любви детей к родителям, на потребностях сердца, предоставляет человеку гораздо более надежный фундамент, чем умозрение. Находились скептики, которые сомневались даже в совести, отличающей нас от животных: они хотели превратить ее в игрушку. Они старались убедить нас, будто человек ничем не отличается от тысячи других существ, способных понимать, облаченных в материю и населяющих земной шар. Но, вопреки им, человек чувствует в себе совесть, а священник при освящении говорит ему: «Единый Бог нисходит на сей жертвенник и соединяется с

тобой». И человек вспоминает о том, что не принадлежит к миру животных; он погружается внутрь, в себя, и находит совесть.

Вы можете меня спросить, почему я стараюсь убедить вас, что естественная религия приводит к той же самой цели, что и религия откровения: ведь я христианин и должен признавать последнюю и верить в чудеса, составившие ее основу. Но в таком случае позвольте сперва определить разницу между религией естественной и религией откровения.

Теолог скажет, что Бог есть творец христианской религии, философ согласится с этим, так как все, что совершается, происходит по воле божьей; но теолог основывается на чудесах, представляющих собой исключение из общих законов природы и тем самым приходящихся не по нраву философу. Последний, как естествоиспытатель, склоняется к тому мнению, что Бог, творец нашей святой религии, хотел обосновать ее при помощи средств, доступных человеку, не нарушая всеобщих законов, управляющих миром духовным и материальным.

Здесь разница еще не так значительна, однако естествоиспытатель хочет ввести еще одно тонкое различие. Он говорит теологу: те, кто видел чудеса своими глазами, могли без труда им поверить. Для тебя же, рожденного на восемнадцать столетий позже, вера есть заслуга; а если вера есть заслуга, то твою веру можно считать одинаково испытанной как в том случае, если чудеса действительно имели место, так и в том, если это только освященные традицией предания. А раз веру в обоих случаях можно считать одинаково испытанной, то одинаковой должна быть и заслуга.

Тут теолог переходит в наступление и говорит естествоиспытателю: «А кто открыл тебе законы природы? Откуда ты знаешь, что чудеса – исключение, а не проявление неизвестных тебе сил? Ведь ты не можешь сказать, что точно знаешь законы природы, которые ты противопоставляешь установлениям религии. Лучи своего взгляда ты объясняешь законами оптики; каким образом, проникая всюду и ни с чем не сталкиваясь, они вдруг, встретив зеркало, возвращаются вспять, словно ударившись о какое-то упругое тело? Отражаются также и звуки: их отражение – эхо. С некоторым приближением к ним можно применить те же законы, что и к лучам света, хотя они имеют скорей характер условный, тогда как лучи света представляются нам телами. Ты, однако, не знаешь этого, так как, в сущности, не знаешь ничего».

Естествоиспытатель вынужден признать, что ничего не знает, но прибавляет при этом: «Если я не в состоянии постичь чудо, то ты, сеньор теолог, не имеешь права отвергать свидетельства отцов церкви, которые признают, что наши догматы и таинства существовали уже в дохристианских религиях. Но так как они вошли в эти древние религии не посредством откровения, то ты должен признать правильным мое мнение, что эти же самые догматы можно было сформулировать без помощи чуда. В общем, – говорит естествоиспытатель, – если ты хочешь услышать мое откровенное мнение о происхождении христианства, то, пожалуйста, послушай: древние храмы были просто бойнями, боги – бесстыдными распутниками, но в некоторых объединениях набожных людей господствовали гораздо более чистые нравы и приносились менее отвратительные жертвы. Философы обозначали божество именем «теос», не выделяя ни Зевса, ни Урана. Рим завоевал всю землю и приобщил к своим мерзостям. В Палестине появился служитель божий и стал проповедовать любовь к ближнему, презрение к богатству, прощение обид, покорность воле небесного Отца. При его жизни за ним следовали простые люди. После его смерти они сблизилась с более просвещенными людьми и заимствовали из языческих обрядов то, что больше подходило к новой вере. Наконец, отцы церкви стали произносить с высоты кафедр блестящие проповеди, несравненно более убедительные, чем то, что приходилось слышать верующим до тех пор. Таким образом, с помощью средств явно человеческих, христианство создано из того, что было наиболее чистого в религиях язычников и евреев.

Именно так всегда исполняются предопределения божьего Промысла. Творец миров, несомненно, мог начертать свои святые законы огненными буквами на звездном небе, но не сделал этого. В древних мистериях скрыл он обряды более совершенной религии, точно так,

как в желудях скрывается лес, который будет давать тень нашим потомкам. Мы сами, не ведая о том, живем среди явлений, над последствиями которых изумляться будут потомки. Потому-то и называем мы Бога провидением, а не просто властью».

Так представляет себе естествоиспытатель возникновение христианства. Теолог с ним не согласен, но в то же время не решается его опровергать, так как усматривает во взглядах своего противника мысли правильные и великие, заставляющие его отнестись снисходительно к извинительным заблуждениям.

Таким путем взгляды философа и теолога могут, наподобие линий, известных под названием асимптот, никогда не встречаясь, все более сближаться – до расстояния меньшего, чем любая, поддающаяся определению величина, так что разница между ними будет меньше любой разницы, которую можно обозначить, и меньше любого количества, которое можно определить. Но если я не в состоянии определить эту разницу, по какому праву осмеливаюсь я выступать со своим мнением против убеждений моих братьев и Церкви? Разве имею я право сеять свои сомнения среди веры, которую они признают и взяли за основу своей нравственности? Безусловно – нет, я не имею на это права, признаю всем сердцем и душой. Дон Ньютон и дон Лейбниц, как я сказал, были христианами и даже теологами; последний много занимался вопросом о воссоединении Церквей. Что касается меня, я не вправе называть свое имя вслед за этими великими мужами; я изучаю теологию в делах творения, чтоб иметь новые поводы славить Творца.

Сказав это, Веласкес снял шляпу, лицо его приняло задумчивое выражение, и он погрузился в размышление, которое у аскета можно было бы счесть за экстаз. Ревекка немного смутилась, а я понял, что тем, кто хочет ослабить в нас основы религии и склонить к переходу в веру Пророка, с Веласкесом это будет сделать так же трудно, как со мной.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Отдых предыдущего дня подкрепил наши силы. Мы пустились в путь более охотно. Вечный Жид накануне не показывался, он не имел права ни минуты оставаться на месте и мог рассказывать нам свою историю, только когда мы в пути. Но не успели мы отъехать четверть мили, как он появился, занял свое обычное место между мной и Веласкесом и начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Деллий старел; чувствуя приближение смертного часа, он призвал меня с Германусом и велел нам копать в подвале, прямо у двери, сказав, что мы найдем там маленький ларчик из бронзы, который надо сейчас же ему принести. Мы исполнили его приказание, нашли ларчик и принесли ему.

Деллий снял ключ, висевший у него на шее, открыл ларчик и сказал нам:

– Вот два пергамента за подписями и печатями. Один обеспечивает тебе, сын мой, владение самым прекрасным домом в Иерусалиме, а второй – чек на тридцать тысяч дариков с процентами, выросшими за много лет.

Тут он рассказал мне историю моего деда Езекии и дяди Цедекии, после чего сказал:

– Этот жадный и подлый человек жив до сих пор, значит, угрызения совести не убивают. Дети мои, скоро меня не будет на свете, поезжайте в Иерусалим, только чтоб никто об этом не знал, пока не отыщете опекунов; может быть, даже было бы лучше дожидаться, когда умрет Цедекия, что, наверно, скоро случится, принимая во внимание его преклонный возраст. А до тех пор вы сможете жить на пятьсот дариков; они у меня защиты в подушке, с которой я никогда не расстаюсь. Хочу дать вам еще один совет: живите всегда честно, и за это вечер жизни будет у вас спокойный. Что до меня, я умру, как жил: с песней, это будет, как говорится, моя лебединая песня. Гомер, такой же слепец, как я, сложил гимн Аполлону, олицетворяющему солнце, которого он, как и я, не видел. Много лет тому назад я положил

этот гимн на музыку. Начну с первой строфы, но едва ли сумею закончить последней.

Сказав это, Деллий запел гимн, начинающийся словами: «Слава счастливой Латоне», – но, дойдя до слов: «Делос, если ты хочешь, чтоб сын мой здесь поселился», – голос его ослаб, старец склонил голову ко мне на плечо и испустил дух.

Долго оплакивали мы нашего опекуна, наконец отправились в Палестину и на двенадцатый день после отъезда из Александрии прибыли в Иерусалим. Ради большей безопасности мы изменили имена. Я назвался Антипой, Германус велел звать его Глафрисом. Мы остановились в трактире у городских стен и попросили указать нам дом, где живет Цедекия. Нам сейчас же показали. Это был самый прекрасный дом во всем Иерусалиме, настоящий дворец, достойный служить жилищем царскому сыну. Мы сняли маленькую каморку у сапожника, жившего напротив Цедекии. Я почти все время сидел дома, а Германус бегал по городу и собирал новости.

Через несколько дней после нашего приезда он вбежал в комнату со словами:

– Милый друг, я сделал замечательное открытие. Река Кедрон, разливаясь за домом Цедекии, образует великолепное озеро. Старик имеет обыкновение проводить близ него вечера в жасминовой беседке. Наверно, он и теперь уже там. Пойдем, я покажу тебе твоего обидчика.

Я последовал за Германусом, и мы пришли на берег реки против прекрасного сада, где я увидел спящего старика. Я сел и стал его рассматривать. Насколько его сон был непохож не сон Деллия. Видимо, его тревожили какие-то мучительные, страшные сновидения, так как он поминутно вздрагивал.

– Ах, Деллий, – воскликнул я, – воистину мудрый дал ты мне совет жить честно!

Германус был со мной согласен.

Рассуждая таким образом, мы вдруг увидели нечто, заставившее нас забыть обо всем на свете. Это была молодая девушка лет шестнадцати, необычайной красоты, очарование которой еще усиливал богатый наряд. Жемчуга и усыпанные драгоценными камнями цепочки украшали ее шею, руки и ноги. На ней была шитая золотом легкая льняная туника.

Германус воскликнул:

– Да это настоящая Венера!

Я же невольно упал перед ней на колени.

Молодая красавица, заметив нас, слегка смутилась, но скоро овладела собой, взяла опахало из павлиньих перьев и начала овеивать голову старика, чтоб освежить ее и продлить его сон.

Германус вынул книжки, которые принес с собой, и стал делать вид, будто читает, а я – будто слушаю его. Но занимало нас исключительно то, что происходило в саду.

Старик проснулся; по тем вопросам, которые он задал молодой девушке, мы поняли, что он плохо видит и не может заметить нас на таком расстоянии, что очень нас обрадовало, и мы решили как можно чаще приходить сюда.

Цедекия ушел, опираясь на руку молодой девушки, а мы пошли домой. За неимением других занятий завели разговор с нашим хозяином, который рассказал нам, что у Цедекии сыновья умерли, что все его богатство наследует дочь одного из его сыновей, что зовут эту юную внучку Саррой и что дед страшно ее любит.

Когда мы вернулись к себе в каморку, Германус сказал:

– Милый друг, мне пришло в голову как можно быстрее окончить твой спор с Цедекией. Ты должен жениться на его внучке, но осуществление этого замысла потребует великой осторожности.

Эта мысль очень мне понравилась; мы долго разговаривали о внучке Цедекии, и я всю ночь видел одну ее во сне.

На другой день и в последующие я ходил на реку. Каждый раз видел в саду свою прекрасную родственницу – с дедом или одну и, хоть не говорил ей ни слова, однако был уверен, что она знала, ради кого я прихожу.

Эти слова Вечный Жид договорил в тот момент, когда мы прибыли к месту ночлега, и несчастный бродяга тотчас пропал где-то в горах.

Ревекка больше не заговорила с герцогом речи о религии, но ей хотелось понять то, что он назвал своей системой, и, воспользовавшись первой возможностью, она засыпала его вопросами.

– Сеньорита, – возразил Веласкес, – мы – как слепые; знаем, где находятся углы некоторых домов да концы нескольких улиц, но спрашивать нас о плане всего города бесполезно. Однако, раз ты добиваешься от меня ответа, я постараюсь дать тебе представление о том, что ты называешь моей системой, я же сам предпочитаю называть это способом смотреть на вещи.

Итак, все, что охватывает наш взгляд, весь окоем, развертывающийся у горных подножий, наконец, всю воспринимаемую нашими чувствами природу можно разделить на мертвую и органическую. Органическая материя отличается от мертвой наличием органов, а в остальном она создана из тех же самых элементов. Так, например, мы могли бы найти в этой скале, на которой ты сидишь, или в этом травяном покрове те же элементы, из которых состоишь и ты, сеньорита. В самом деле, у тебя в костях – известь, в теле – кремнезем, в желчи – щелочь, в крови – железо, в слезах – соль. Слои жира в твоём теле – это просто сочетание горючих веществ с определенными элементами воздуха. Наконец, сеньорита, если бы тебя поместить в химическую печь, ты могла бы превратиться в стеклянный флакон, а если бы прибавить немного металлической извести, из тебя, сеньорита, получился бы очень хороший объектив для телескопов.

– Ты открываешь передо мной, герцог, захватывающую перспективу, – сказала Ревекка. – Будь добр, продолжай.

Веласкес подумал, что, помимо воли, сказал прекрасной еврейке какую-то любезность; он изысканно приподнял шляпу и продолжал:

– Мы наблюдаем в элементах мертвой материи самопроизвольное тяготение если не к органическим формам, то, по крайней мере, к сочетаниям. Эти элементы соединяются, разделяются, чтобы снова соединиться с другими. Обнаруживают склонность к определенным формам: можно подумать, что они созданы для органической жизни, однако сами по себе без оплодотворяющей искры не способны перейти в такого рода сочетания, конечным следствием которых является жизнь. Так же как магнетический флюид, мы и жизнь обнаруживаем только в ее проявлениях. Первое такое проявление – приостановка в органических телах внутренней ферментации, которую мы называем разложением. Оно начинается в этих телах, как только их покидает жизнь.

Жизнь может долго таиться в жидкости, как, например, в яйце, или же в твердой материи, ну хоть в зерне, чтобы потом при благоприятных обстоятельствах развиваться.

Жизнь находится во всех частях тела, даже в жидкостях, даже в крови, которая портится, будучи выпущена из наших жил.

Жизнь есть в стенках желудка, она предохраняет его от действия желудочного сока, растворяющего мертвые тела, которые попали внутрь. Жизнь сохраняется некоторое время в членах, отделенных от остального тела. Наконец, жизнь проявляется в способности размножения. Мы называем это тайной зачатия, которая для нас так же непонятна, как почти все в природе.

Органические вещества бывают двух родов: первый при сгорании выделяет твердые щелочи, второй богат летучими щелочами. К первому относятся растения, ко второму – животные.

Существуют животные, которые по устройству своего организма стоят гораздо ниже иных растений. Таковы амебы, плавающие в море, или пузырьчатые глисты, поражающие овечий мозг.

Существуют другие, гораздо более высоко развитые организмы, в которых, однако, невозможно распознать то, что мы называем волей. Так, например, когда коралл раскрывает свою полость для поглощения маленьких живых существ, которыми он питается, можно

считать это движение следствием его строения, как мы наблюдаем на цветах, закрывающихся на ночь, а днем повертывающихся к солнцу.

Волю полипа, вытягивающего присоски, можно сравнить с волей новорожденного ребенка, желающего, но еще не мыслящего. Ибо у ребенка воля опережает мысль и является непосредственным следствием потребности или страдания.

В самом деле, какой-нибудь придавленный член нашего тела хочет непременно распрямиться и принуждает нас исполнить его волю. Желудок часто противится пище, которую ему предписывают. Слюнные железы набухают при виде желанной пищи, а небо начинает щекотать, так что разум часто лишь с трудом подавляет это. Если мы представим себе человека, который долго не ел, не пил, лежал скрючившись и не знал женщин, то увидели бы, что разные части его тела заставляют его испытывать одновременно разные желания.

Мы обнаруживаем волю, возникающую непосредственно из потребности, и в зрелом полипе, и в новорожденном ребенке. Это элементарные частицы высшей воли, развивающейся позже, по мере усовершенствования организма. В новорожденном воля опережает мысль, но очень немного, у мысли же есть свои первичные элементы, с которыми вам надо познакомиться.

В этом месте рассуждений Веласкеса остановили. Ревекка сказала ему, с каким удовольствием она его слушала, и продолжение лекции, которая меня тоже очень увлекла, отложили на завтра.

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

На восходе мы двинулись дальше. Вечный Жид скоро присоединился к нам и приступил к продолжению своего рассказа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Пока я всей душой предавался мечтам о прекрасной Сарре, Германус, для которого мои намерения не представляли большого интереса, несколько дней слушал поучения одного учителя по имени Иошуа, прославившегося впоследствии под именем Иисуса, – так как Иисус по-гречески то же самое, что Иошуа по-еврейски, в чем вы можете убедиться по переводу Семидесяти. Германус хотел даже отправиться вслед за своим учителем в Галилею, но мысль о том, что он может быть полезен мне, удержала его в Иерусалиме.

Однажды вечером Сарра сняла свое покрывало и хотела развесить его на ветвях бальзаминового дерева, но ветер подхватил легкую ткань и, развевая ее, унес на середину Кедрона. Я кинулся в речные волны, поймал покрывало и повесил его на кустик у подножия садовой ограды. Сарра сняла с шеи золотую цепочку и кинула мне. Я поцеловал эту цепочку и потом вплавь переправился на другой берег реки.

Плеск воды разбудил старого Цедекию. Он захотел узнать, что случилось. Сарра стала ему рассказывать, старик сделал несколько шагов вперед, думая, что стоит близ балюстрады, а между тем он взошел на скалу, где не было никаких перил, – их заменял здесь густой кустарник. Старик поскользнулся, кусты раздвинулись, и он упал в реку. Я бросился вслед за ним, схватил его и вытащил на берег. Все это было дело мгновения.

Цедекия пришел в себя и, видя, что находится в моих объятиях, понял, что обязан мне жизнью. Он спросил меня, кто я.

– Еврей из Александрии, – ответил я. – Меня зовут Антипой, я лишился отца и матери и, не зная, что мне делать, пришел искать счастья в Иерусалим.

– Я заменю тебе отца, – сказал Цедекия, – отныне ты будешь жить в моем доме.

Я согласился, совсем забыв о товарище, который на меня не обиделся и остался один у сапожника. Так вошел я в дом самого заклятого моего врага и с каждым днем снискивал все большее уважение у человека, который убил бы меня, если б узнал, что большая часть его

имущества по праву наследства принадлежит мне. Сарра, со своей стороны, выказывала мне день ото дня больше склонности.

Обмен денег совершался тогда в Иерусалиме так же, как до сих пор совершается на всем Востоке. Если вы будете в Каире или Багдаде, вы увидите у дверей мечетей людей, сидящих на земле и держащих на коленях маленькие столики с углублением в углу, куда сыпают отсчитанные монеты. Возле них стоят мешки с золотыми и серебряными монетами. Менялы эти называются теперь сарафами. А ваши евангелисты звали их трапезитами – по форме столиков, о которых я говорил.

Почти все иерусалимские менялы работали на Цедекию, а он договаривался с римскими правителями и таможенниками, поднимая или понижая курс денег, смотря по тому, что ему было выгодней.

Скоро я понял, что наилучший способ угодить дяде – в совершенстве овладеть денежными операциями и тщательно следить за повышением и понижением курса. Это мне удалось с таким успехом, что через два месяца не решались проводить ни одной операции, не узнав заранее моего мнения.

Около этого времени прошел слух, будто Тиверий собирается издать указ о повсеместной переплавке всех денег. Серебро изымалось из обращения; говорили, что серебряные монеты решено перелить в слитки и отправить в цесареву казну. Не я пустил эти слухи, но я решил, что ничто не мешает мне сеять их. Можете себе представить, какое впечатление произвели они на всех иерусалимских менял. Сам Цедекия не знал, что об этом думать и какое принять решение.

Я уже сказал, что на Востоке менялы сидят у дверей мечетей; в Иерусалиме у нас были конторы в самом храме, который отличался такими размерами, что сделки, заключаемые нами в одном углу, нисколько не мешали богослужению. Но вот уже несколько дней, как всех охватил такой страх, что ни один меняла не показывался. Цедекия не спрашивал моего мнения, но как будто хотел угадать его по глазам.

Наконец, придя к выводу, что серебряные деньги уже достаточно обесценены, я изложил старику свой план. Он выслушал меня внимательно, долго казался погруженным в размышления и расчеты, наконец сказал:

– Милый Антипа, у меня в подвале два миллиона сестерциев золотом; коли твой план удастся, можешь просить руки Сарры.

Надежда обладать прекрасной Саррой и золотом, всегда притягательным для еврея, привела меня в восторг, который не помешал мне, однако, сейчас же выбежать на улицу, с тем чтоб окончательно обесценить серебряную монету. Германус из всех сил помогал мне; я подкупил несколько купцов, которые по моему наущению отказывались продавать товар за серебро. В короткий срок дела зашли так далеко, что жители Иерусалима стали относиться к серебряным монетам с ненавистью. Убедившись, что чувство это достаточно окрепло, мы приступили к исполнению задуманного.

В условленный день я велел принести в храм все золото в закрытых медных сосудах и одновременно объявил, что Цедекия должен произвести выплаты больших сумм в серебре; поэтому он решил закупить двести тысяч сестерциев серебром и за двадцать пять унций серебра дает унцию золота. Мы наживали при этой операции сто на сто.

Тотчас со всех сторон стал напирать народ, и скоро я выменял половину золота. Наши слуги поминутно уносили серебро, так что все думали, что я выменял до сих пор всего каких-нибудь двадцать пять – тридцать тысяч сестерциев. Все шло как по маслу, и я, без сомнения, удвоил бы состояние Цедекии, если б один фарисей не пришел и не сказал нам...

Дойдя до этого места своего повествования, Вечный Жид повернулся к Уседе со словами:

– Каббалист, более могущественный, чем ты, вызывает меня в другое место.

– Видно, – возразил каббалист, – ты не хочешь рассказывать нам о побоище, которое произошло в храме, и о полученных тобой затрещинах.

– Меня призывает старец с горы Ливана, – сказал Вечный Жид и скрылся из глаз.

Признаюсь, это не очень меня огорчило, и я не жаждал его возвращения, так как подозревал, что этот человек – обманщик, прекрасно знающий историю, и, под видом повествования о своих собственных приключениях, рассказывает нам вещи, которых мы не должны слушать.

Между тем мы приехали на место ночлега, и Ревекка стала просить герцога, чтоб он продолжал излагать свою систему. Веласкес минуту подумал и начал так:

– Вчера я старался объяснить вам элементарные проявления воли и сказал, что воля проявляется раньше мысли. Дальше мы должны были перейти к простейшим проявлениям мысли. Один из глубочайших философов древности указал нам правильный путь, по которому надо следовать в метафизических исследованиях, и те, которые полагают, будто что-то прибавили к его открытиям, по-моему, не подвинулись ни на шаг вперед.

Еще задолго до Аристотеля слово «понятие», «идея» означало у греков: «образ», и отсюда пошло название – кумир, идол. Аристотель, тщательно изучив свои понятия, признал, что все они действительно исходят из образов, то есть от впечатлений, произведенных на наши чувства. Вот причина, по которой даже самый творческий гений не в состоянии выдумать ничего нового. Творцы мифологии соединили голову и грудь мужчины с туловищем коня, тело женщины с хвостом рыбы, отняли у циклопов один глаз, прибавили Бриарею руки, но нового ничего не выдумали, поскольку это не во власти человека. От Аристотеля идет общераспространенное убеждение, что в мысли может быть только то, что прошло через чувства.

Однако в наши времена появились философы, которые считают себя гораздо более глубокими и говорят:

«Мы признаем, что ум не мог бы выработать в себе способности без помощи чувств, но, после того как способности эти уже начали развиваться, ум стал постигать вещи, которые никогда не воспринимались чувствами, – например, пространство, вечность или математические теоремы».

Откровенно говоря, я не одобряю эту новую теорию. По-моему, абстракция – это всего-навсего вычитание. Если хочешь получить абстрактное понятие, произведи вычитание. Если я мысленно удалю из своей комнаты все, что там находится, включая воздух, в ней останется чистое пространство. Если от какого-то периода времени отнять начало и конец, получится понятие вечности. Если у мыслящего существа отниму тело, получу понятие ангела. Если от линий мысленно отниму ширину, имея в виду только их длину и ограничиваемые ими поверхности, получаю определения Евклида. Если отнять у человека один глаз и прибавить рост, это будет циклоп. Но все эти образы получены посредством чувств. Если мудрецы нового времени укажут мне хоть одну абстракцию, которую я не мог бы свести к вычитанию, я сейчас же стану их последователем. А пока останусь при старике Аристотеле.

Слова «идея», «понятие», «образ» относятся не только к тому, что действует на наше зрение. Звук, воздействуя на наше ухо, дает нам понятие, относящееся к слуху. Зубы чувствуют оскомину от лимона, и таким путем мы получаем понятие о кислом.

Заметьте, однако, что чувства наши способны воспринимать впечатление, даже если предмет находится за пределами их досягаемости. Стоит нам подумать о лимоне, как наш рот наполняется слюной и зубы чувствуют оскомину. Оглушительная музыка звучит у нас в ушах, хотя оркестр давно уже перестал играть. При теперешнем уровне развития физиологии мы еще не умеем объяснять сон и сновидения, однако полагаем, что наши органы, вследствие движений, независимых от нашей воли, находятся во время сна в том самом состоянии, в каком находились при восприятии данного чувственного впечатления или, другими словами, во время получения идеи.

Отсюда также следует, что, прежде чем наши знания в области физиологических наук обогатятся, мы можем теоретически считать понятия впечатлениями, произведенными на наш мозг, впечатлениями, которые органы могут получить – сознательно или невольно – также и в отсутствие предмета. Обратите внимание, что, думая о предмете, находящемся за

пределами досягаемости наших чувств, мы получаем впечатление менее яркое; однако в лихорадочном состоянии оно может быть так же сильно, как при непосредственном восприятии органами чувств.

От этой цепи определений и выводов, трудноватых для немедленного усвоения, перейдем к наблюдениям, способным пролить новый свет на эту проблему. Животные по строению своего организма приближаются к человеку и обнаруживают большие или меньшие умственные способности, обладают (насколько я знаю – все) органом, называемым мозгом. Наоборот, у животных, близких к растениям, этого органа нет.

Растения живут, а некоторые из них даже двигаются. А среди морских животных есть такие, которые, подобно растениям, не могут передвигаться с места на место. Я видел также морских животных, которые непрерывно и однообразно шевелятся, наподобие наших легких, словно совершенно лишены воли.

Животные более высокоорганизованные имеют волю и способность понимания, но только человек обладает силой абстрагирования.

Однако не все люди наделены этой силой. Заболевание желез лишает этой силы страдающих расстройством воли горцев. С другой стороны, отсутствие одного или двух органов чувств чрезвычайно затрудняет абстрагирование. Глухонемые, из-за отсутствия речи подобные животным, с трудом улавливают отвлеченные понятия; но когда им показывают пять или десять пальцев, они понимают, что речь идет вовсе не о пальцах, а о числах. Видя молящихся, их поклоны, и они приобретают понятия о божестве.

У слепых в этом отношении меньше трудностей, им можно при помощи речи – могучего орудия человеческого ума, сообщать отвлеченные понятия в готовом виде. А невозможность рассеянья обеспечивает слепым исключительную способность воображения.

Если, однако, вы представите себе совершенно глухого и слепого от рождения, то можете быть уверены, что он будет не в состоянии усвоить никаких отвлеченных понятий. Единственными понятиями, которые он получит, будут те, до которых он дойдет при помощи обоняния, вкуса или осязания. Такой человек сможет даже думать о подобного рода понятиях. Если пользование чем-нибудь нанесло ему вред, в другой раз он от этого воздержится, потому что у него есть память. Но я не думаю, чтобы можно было каким бы то ни было способом привить ему отвлеченное понятие зла. У него будет отсутствовать совесть, и он никогда не заслужит ни награды, ни наказания. Соверши он убийство, правосудие не имело бы основания покарать его. Вот две души, две частицы божественного дыхания, но до чего же непохожие друг на друга! А вся разница зависит от двух чувств.

Гораздо меньшая разница, хотя все еще очень значительная, между эскимосом или готтентотом и человеком с развитым умом. В чем причина этой разницы? Она заключается не в отсутствии того или иного чувства или чувств, а в разном количестве понятий и комбинаций. У человека, который обозрел всю землю глазами путешественника, познакомился с важнейшими событиями истории, в голове множество образов, которых, конечно, нет у сельского жителя; если же он комбинирует свои понятия, сопоставляет и сравнивает их, мы говорим, что он обладает знаниями и разумом.

Дон Ньютон имел обыкновение непрестанно сопоставлять понятия, из множества понятий, которые он сочетал, среди прочих комбинаций возникло понятие падающего яблока и Луны, прикрепленной своей орбитой к Земле.

Из этого я сделал вывод: чем больше у человека представлений и чем больше у него способностей их комбинировать, тем он умнее, или, если можно так выразиться, разум прямо пропорционален количеству представлений и умению их сочетать. Попрошу вас еще на минуту сосредоточить внимание.

Животные с низкой организацией не имеют, конечно, ни воли, ни понятий. Движенья их, как движенья мимозы, произвольны. Однако можно допустить, что когда пресноводный полип вытягивает щупальца, пожирая червей, и глотает только тех, которые ему больше по вкусу, то он приобретает понятия о плохом, хорошем и лучшем. Но если он имеет возможность отбрасывать плохих червей, то мы должны допустить, что воля у него –

налицо. Первым проявлением воли была потребность, заставившая его вытянуть восемь щупальцев, а проглоченные живые существа дали ему два или три понятия. Отбросить одно существо, проглотить другое – дело свободного выбора, основанного на одном или нескольких понятиях.

Применяя то же самое рассуждение к ребенку, обнаруживаем, что первое его побуждение возникает непосредственно из потребности. Именно она заставляет его прикинуть губами к материнской груди, а когда ребенок насытится, у него возникает понятие; потом чувства его воспринимают новые впечатления, и таким путем он приобретает второе понятие, затем третье и т. д.

Как мы видим, понятие можно считать, так же как и комбинировать. И следовательно, к ним можно применить если не комбинаторное исчисление, то, во всяком случае, принципы этого исчисления.

Я называю комбинацией любое сочетание – независимо от расположения составных частей: например АВ – та же самая комбинация, что ВА. Ведь две буквы можно переставить только одним способом.

Три буквы, взятые по две, можно расставить или скомбинировать тремя способами. Четвертый будет – если мы поставим все три рядом.

Четыре буквы, взятые по две, дают шесть комбинаций, взятые по три – четыре комбинации, взятые вместе – одну комбинацию, а всего одиннадцать комбинаций.

Далее:

пять букв дают в общем 26 комбинаций

шесть 57

семь 120

восемь 247

девять 502 комбинации

десять 1013 комбинаций

одиннадцать 2036

Мы видим, таким образом, что каждое новое понятие удваивает число комбинаций и что количество комбинаций из пяти понятий так относится к количеству комбинаций из десяти понятий, как 26 к 1013 или как 1 к 39.

Я вовсе не собираюсь вычислять умственные способности при помощи этого математического расчета: я хотел только показать общие принципы всего, поддающегося комбинированию.

Мы сказали, что разница в умственных способностях прямо пропорциональна числу понятий и легкости их комбинирования. Поэтому мы можем представить себе шкалу различных уровней умственного развития. Предположим, на верхней ступеньке стоит дон Исаак Ньютон, умственные способности которого выражаются в цифре сто миллионов, а на низшей – альпийский крестьянин, умственные способности которого составляют сто тысяч. Между двумя этими цифрами мы можем уместить бесконечное количество средних пропорциональных, обозначающих умственные способности выше, чем у поселянина, и ниже, чем у гения дона Ньютона.

На этой шкале находятся также мой разум и ваш, сеньорита. Свойствами умов, находящихся наверху, являются: прибавление новых открытий к тем, что сделал Ньютон, их понимание, углубление части их и овладение искусством их комбинирования.

Точно так же можно представить себе нисходящую шкалу, начинающуюся с поселянина, разум которого определяется в сто тысяч понятий, затем она опускается до умов с числом понятий шестнадцать, одиннадцать, пять и кончается существами, обладающими четырьмя понятиями и одиннадцатью комбинациями, и еще дальше – тремя понятиями и четырьмя комбинациями.

Дети, располагающие четырьмя понятиями и одиннадцатью комбинациями, не умеют еще абстрагировать мысль; однако между этими цифрами и сотней тысяч находится ум, состоящий из некоторого количества понятий с такими комбинациями, следствием которых

будут понятия отвлеченные. До столь высокого уровня никогда не поднимаются ни животные, ни глухие и слепые дети. Последние – из-за отсутствия впечатлений, а животные – из-за отсутствия способности комбинирования.

Простейшим отвлеченным понятием является понятие числа. Оно основано на отделении от предметов их числовых свойств. Пока ребенок не приобрел этого простейшего отвлеченного понятия, он не может абстрагировать, а может только отличать с помощью анализа свойства, что, впрочем, тоже является в некотором смысле абстрагированием. До первого простейшего отвлеченного понятия ребенок доходит постепенно, а следующие вырабатывает по мере приобретения новых понятий и овладения умением их комбинировать.

Таким образом, школа умственных уровней – от самого низкого до высочайшего – состоит из ступеней качественно тождественных. Каждая последующая ступень образуется возросшим числом понятий при возрастающем, согласно правилам, числе комбинаций. Всегда и всюду фигурируют одни и те же элементы.

Отсюда следует, что умственные способности существ, принадлежащих к разным родам, можно считать качественно тождественными, – совершенно так же, как самое сложное вычисление есть не что иное, как цепь сложений и вычитаний, то есть действий, качественно тождественных. Точно так же каждая математическая задача, если не имеет пробелов, является, по существу, цепью абстракций, начиная с самых простых и кончая самыми сложными и трудными.

Веласкес прибавил еще несколько таких же сравнений, которые Ревекка слушала с явным удовольствием, так что оба разошлись очень довольные друг другом.

ДЕНЬ СОРОКОВОЙ

Я рано проснулся и вышел из шатра подышать свежим утренним воздухом. С этой же целью вышли Веласкес и Ревекка.

Мы направились к дороге, чтобы посмотреть, не проезжают ли по ней какие-нибудь путники. Дойдя до ущелья, извивающегося между двумя скалами, решили посидеть.

Вскоре мы увидели караван; он приближался к ущелью и растянулся на пятьдесят футов под скалами, на которых мы находились. Чем ближе подходил он к нам, тем больше пробуждал в нас любопытство. Впереди шли четыре индейца. Вся их одежда состояла из длинных рубаш, обшитых кружевом. На головах у них были соломенные шляпы с пучками перьев. Все четверо вооружены длинными пищалями. За ними двигалось стадо вигоней, на каждой из них сидело по обезьяне. Далее следовал отряд хорошо вооруженных негров. Потом – двое мужчин преклонного возраста на великолепных андалузских скакунах. Оба старика закутаны в плащи голубого бархата с вышитыми крестами ордена Калатравы. За ними восемь молуккских островитян несли китайский паланкин, в котором сидела молодая женщина в пышном испанском наряде. У дверцы паланкина гарцевал молодой человек на горячем коне.

Затем мы увидели молодую особу, лежащую без чувств в носилках; возле нее ехал на муле священник, кропя ей лицо святой водой и, кажется, творя экзорцизмы. Замыкала шествие длинная вереница людей всех оттенков кожи, начиная от черно-эбенового до оливкового, – только белых среди них не было.

Пока караван проходил мимо нас, мы не догадались спросить, кто эти люди; но как только прошел последний из них, Ревекка сказала:

– Хорошо бы узнать, кто они такие.

Как только она произнесла эти слова, я увидел одного отставшего. Смело сойдя со скалы, я побежал за этим копушей. Он упал передо мной на колени и, весь дрожа от страха, промолвил:

– Сеньор грабитель, сжался, пощади дворянина, который хоть и родился среди золотых россыпей, но не имеет ни гроша за душой.

На это я ему ответил, что я не грабитель и хочу только узнать, кто эти только что

проехавшие знатные особы.

– Если дело только в этом, – сказал американец, вставая, – я охотно удовлетворю твое любопытство. Взберемся вон на ту высокую скалу, с нее нам будет удобнее охватить взглядом весь караван. Впереди процессии, сеньор, ты видишь людей в странной одежде. Это горцы из Куско и Кито, охраняющие этих прекрасных вигоней, которые мой господин собирается подарить светлейшему королю Испании и Индии.

Негры – рабы моего господина, или, верней, были его рабами, но испанская земля не терпит рабства, так же как ереси, и с той минуты, как эти черные вступили на священную землю, они такие же свободные, как мы с тобой.

Пожилой сеньор, которого ты видишь справа, это граф де Пенья Велес, племянник славного вице-короля и гранд первого класса. А другой старик – маркиз Торрес Ровельяс, сын маркиза Торреса и муж единственной наследницы рода Ровельясов. Оба сеньора жили всегда в неомрачаемой дружбе, которую укрепили еще больше посредством брака молодого Пенья Велеса с единственной дочерью маркиза Торреса Ровельяса.

Видишь вон ту прелестную пару? Юноша сидит на великолепном коне, а невеста – в паланкине, который король Борнео несколько лет тому назад подарил покойному вице-королю де Пенья Велес.

А вот насчет той девушки в носилках, над которой священник творит экзорцизмы, я знаю не больше, чем ты. Вчера утром я из любопытства подошел к какой-то виселице, стоящей тут же, при дороге. Там я нашел эту девушку; она лежала между двумя висельниками; я позвал остальных товарищей, чтобы показать им эту странность. Граф, мой господин, видя, что молодая девушка еще дышит, велел перенести ее к месту нашего ночлега, решил даже задержаться там еще на день, чтоб можно было лучше присматривать за больной. В самом деле, незнакомка заслуживает этих забот; она необычайно красива. Нынче решились положить ее в носилки, но бедняжка с каждой минутой слабеет и теряет сознание.

Дворянин, который идет за носилками, – дон Альваро Маса Гордо, главный повар, а верней, управитель двора графа. Рядом шагают пирожник Лемада и кондитер Лечо.

– Спасибо, сеньор, – сказал я, – ты сообщаем мне гораздо больше, чем я хотел знать.

– Наконец, – прибавил он, – тот, кто замыкает процессию и имеет честь говорить с тобой, – Гонсальво де Иерро Сангре, перуанский дворянин, из рода Писарро-и-Альмагро и наследник их доблести.

Я поблагодарил знатного перуанца и, возвратившись к своим спутникам, передал им полученные сведения. Мы вернулись в табор и рассказали цыганскому вожаку, что встретили маленького Лонсето и дочь той прекрасной Эльвиры, которую он когда-то заменил при вице-короле. Цыган ответил, что ему было известно о их давнишнем желании оставить Америку: в прошлом месяце они высадились в Кадисе, уехали оттуда на прошлой неделе и провели две ночи на берегу Гвадалквивира, неподалеку от виселицы братьев Зото, где нашли молодую девушку, лежащую между двумя висельниками. Потом он прибавил:

– По-моему, эта девушка не имеет никакого отношения к Гомелесам; во всяком случае, я ее совсем не знаю.

– Как же так? – воскликнул я с удивлением. – Эта девушка не орудие Гомелесов, а найдена под виселицей? Значит, наваждения адских духов и вправду происходят?

– Как знать? Может быть, ты и прав, – заметил цыган.

– Обязательно надо было бы, – сказала Ревекка, – задержать на несколько дней этих путников.

– Я уже об этом думал, – ответил цыган, – и велю этой же ночью угнать у них половину вигоней.

ДЕНЬ СОРОК ПЕРВЫЙ

Такой способ задерживать путников показался мне немного странным, и я даже хотел представить вожаку свои соображения. Но цыган на восходе солнца велел сняться табором, и

по голосу, каким он отдавал распоряжения, я понял, что советы мои не возымели бы действия.

На этот раз мы продвинулись всего на несколько стадиев – до места, где, по-видимому, когда-то произошло землетрясение, так как мы увидели огромную скалу, расколотую надвое. Пообедав, мы разошлись по своим шатрам.

Вечером, услышав в шатре цыганского вожак странный шум, я направился туда. Я застал там двух американцев и потомка Писарро, надменно и настойчиво требовавшего, чтоб ему вернули вигоней. Цыган слушал его терпеливо, и это смирение привело к тому, что сеньор де Иерро Сангре, осмелев, стал кричать еще громче, не скупясь на такие эпитеты, как негодяй, вор, разбойник и тому подобное. Тогда цыган пронзительно свистнул, и шатер стал наполняться вооруженными цыганами. По мере того как их становилось больше, сеньор де Иерро Сангре все более понижал тон и в конце концов стал так дрожать, что еле можно было разобрать, что он говорит. Видя, что он успокоился, вожак дружески протянул ему руку и сказал:

– Прости, храбрый перуанец, обстоятельства говорят против меня, и мне понятен твой справедливый гнев, но пойдя, пожалуйста, к маркизу Торресу Ровельясу и спроси его, не помнит ли он некую сеньору Даланосу, племянник которой, из учтивости, решился стать вице-королевой Мексики вместо сеньориты Ровельяс. Если он об этом не забыл, попроси его оказать нам честь своим посещением.

Дон Гонсальво де Иерро Сангре, в восторге от того, что история, начавшая очень его тревожить, так счастливо окончилась, обещал передавать все дословно. Когда он ушел, цыган сказал мне:

– В прежнее время маркиз Торрес Ровельяс очень любил читать романы. Надо принять его в таком месте, которое ему понравится.

Мы вошли в расселину скалы, затененную с обеих сторон густыми зарослями, и меня вдруг поразил открывшийся мне вид, совсем непохожий на то, что я видел до сих пор. Острые скалы, между которыми расстилались живописные лужайки, с искусно, но без симметрии рассаженными купами цветущих кустарников, окружали озеро с темно-зеленой, прозрачной до самого дна водой. Там, где скалы подступали к воде, с одной лужайки на другую вели выбитые в камне узкие дорожки. Тут и там вода входила в гроты, подобные тем, что украшали остров Калипсо. Это были очаровательные уголки, куда никогда не проникал зной, а зеркальная поверхность вод, казалось, манила путника освежиться. Глубокая тишина говорила о том, что ни один человек искони не добирался до этих мест.

– Вот, – сказал цыган, – область моего маленького королевства, где я провел несколько лет своей жизни если не самых счастливых, то, во всяком случае, наименее бурных. Но сейчас, наверно, появятся оба американца. Посмотрим, нет ли где укромного уголка, чтоб их подождать.

Тут мы вошли в один из самых прелестных гротов, где к нам присоединились Ревекка, ее брат и Веласкес. Вскоре мы увидели приближающихся стариков.

– Может ли быть, – сказал один из них, – чтобы через столько лет я снова встретил человека, оказавшего мне в молодости такую важную услугу? Я часто осведомлялся о тебе, даже подавал тебе весть о себе самом, когда ты находился еще при кавалере Толедо. Но после...

– Ну, да, – перебил старый цыган, – после стало трудно меня найти. Но теперь, когда мы опять вместе, я надеюсь, сеньор, что ты сделаешь мне честь, проведя несколько дней в этой местности. Думаю, что после всех тягостей такого трудного путешествия не лишнее будет отдохнуть.

– Местность, правда, волшебная, – сказал маркиз.

– По крайней мере, считается такой, – ответил цыган. – При владычестве арабов это место называли Ифритхамам, то есть Дьявольская баня, а теперь оно носит название Ла-Фрита. Жители Сьерра-Морены боятся приходить сюда и по вечерам рассказывают друг другу о необыкновенных делах, которые здесь творятся. Не в моих интересах выводить их из

заблуждения, и поэтому я просил бы, чтобы большая часть вашей свиты осталась в долине, – там, где я раскинул свой собственный табор.

– Любезный друг, – возразил маркиз, – позволь мне только освободить от этого обязательства мою дочь и будущего зятя.

Вместо ответа старый цыган склонился в глубоком поклоне, а потом велел своим людям привести семью и нескольких слуг маркиза.

Пока он водил гостей по долине, Веласкес поднял камень, внимательно рассмотрел его и промолвил:

– Несомненно, такой камень можно расплавить в любой из наших стекловаренных печей на обыкновенном огне, не добавляя никаких примесей. Мы находимся в кратере погасшего вулкана. Он имеет форму опрокинутого конуса: если бы мы знали длину стены, можно было бы вычислить его глубину и подсчитать, какая понадобилась сила, чтобы его выдолбить. Над этим стоит подумать.

Веласкес минуту помолчал, вынул таблички и начал что-то на них писать, – потом прибавил:

– У моего отца было очень верное представление о вулканах. Он считал, что взрывная сила, возникающая в кратере вулкана, далеко превосходит те силы, которые мы приписываем водяному пару или ружейному пороху, и делал отсюда вывод, что люди когда-нибудь придут к познанию таких жидкостей, действие которых объяснит им большую часть явлений природы.

– Значит, ты думаешь, герцог, – спросила Ревекка, – что это озеро вулканического происхождения?

– Конечно, – ответил Веласкес, – порода камня и форма озера ясно это доказывают. Судя по кажущимся размерам предметов, которые я вижу на том берегу, диаметр озера составляет около трехсот сажень; а так как угол наклона стенки конуса составляет около семидесяти градусов, можно предположить, что очаг находился на глубине четырехсот тридцати одной сажени. Это значит, что вулкан выбросил девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят пять квадратных сажень грунта. А как я уже говорил, до сих пор известные нам силы природы, соединенные в каком угодно количестве, были бы не в состоянии совершить ничего подобного.

Ревекка хотела что-то заметить по этому поводу, но тут вошел маркиз со своей семьей; а так как этот разговор не мог быть для всех интересен, старый цыган, желая положить конец математическим выкладкам Веласкеса, сказал своему гостю:

– Когда я знал тебя, сеньор, душа твоя была полна нежных чувств, и ты был хорош, как бог любви. Союз с Эльвирой сулил тебе непрерывную цепь наслаждений. Ты срывал розы на дороге бытия, не касаясь терний.

– Не совсем так, – возразил маркиз. – Действительно, нежные чувства играли, быть может, слишком большую роль в моей жизни, но так как я не пренебрегал ни одной обязанностью порядочного человека, то могу смело признаться в этой слабости. Сядем в этом месте, столь подходящем для романтических повествований, и я, если угодно, познакомлю вас с историей моей жизни.

Общество с восторгом приняло предложение маркиза, который начал так.

ИСТОРИЯ МАРКИЗА ТОРРЕСА РОВЕЛЬЯСА

Когда тебя отдали в коллегию театинцев, мы жили, как ты знаешь, недалеко от твоей тетки Даланосы. Моя мать часто ходила навещать Эльвиру, но меня с собой не брала. Эльвира поступила в монастырь, делая вид, что хочет постричься, и ей нельзя было принимать молодого человека. Таким образом, мы стали жертвами всех скорбей, связанных с разлукой, которую мы по мере возможности услаждали частой перепиской. Обычно письма носила моя мать, хотя и не без возражений, – она утверждала, что получить разрешение на брак из Рима не так-то легко и что, собственно, только получив его, мы имели бы право

переписываться. Но, несмотря на угрызения совести, продолжала носить мои письма и приносить на них ответы. Что же касается Эльвирино имущества, то никто не смел его трогать, так как после ее пострига оно должно было перейти к побочной линии рода Ровельясов.

Тетка твоя рассказала моей матери о своем дяде-театинце как о человеке опытном, рассудительном, который может помочь советом в деле получения разрешения. Мать сердечно поблагодарила твою тетку и написала отцу Сантосу, который нашел, что дело это очень важное, и вместо ответа сам поехал в Бургос с неким советником нунциатуры.

Последний прибыл под вымышленным именем, потому что все это дело хотели держать в тайне. Было решено, что Эльвира шесть месяцев будет послушницей, после чего, если окажется, что желание стать монахиней у нее прошло, она останется жить в монастыре, как знатная особа, с собственной свитой, то есть с женщинами, затворившимися вместе с ней; кроме того, у нее будет вне монастырских стен отдельный дом, обставленный так, как будто она в нем на самом деле живет. Сперва там поселилась моя мать вместе с несколькими юристами, занимающимися делами опеки. Я должен был отправиться со своим учителем в Рим, а советник – выехать тотчас вслед за нами. Но это не было приведено в исполнение, так как нашли, что я слишком молод, чтобы просить разрешение на брак, и я покинул Бургос только через два года.

В течение этих двух лет я каждый день виделся с Эльвирой в монастырской приемной, а все остальное время занимался писаньем писем к ней или чтением романов, откуда главным образом черпал мысли для своих любовных излияний. Эльвира читала те же самые книги и отвечала мне в том же духе. В общем, вся эта переписка не требовала от нас слишком большого количества собственных мыслей, но чувства наши были искренни, во всяком случае мы испытывали влечение друг к другу. Решетка, нас разделявшая, только подстрекала любовь, в крови у нас пылал огонь юности, и смятение наших чувств еще усиливало путаницу, царившую в наших головах.

Наступил срок отъезда. Минута прощания была ужасна. Мы не умели, да и не хотели скрывать нашей скорби, которая воистину граничила с безумием. Особенно Эльвира была в ужасном состоянии, и даже опасались за ее здоровье. Я страдал не меньше, но держался тверже, тем более что дорожные впечатления служили мне хорошим отвлечением. Многим был я обязан и моему ментору, нисколько не напоминавшему педанта, которого извлекли из пыли школьной схоластики, наоборот – он был когда-то военным и некоторое время провел при королевском дворе. Звали его дон Диего Сантос; он был близким родственником театинца Сантоса. Этот человек, и проницательный, и знакомый с обычаями света, старался всеми способами направить мой ум в сторону искренней общительности, но во мне пустила уже слишком сильные корни склонность к мечтательности.

Приехав в Рим, мы сейчас же отправились к монсеньеру Рикарди, аудитору Роты, который пользовался большим влиянием, и в особенности расположением отцов иезуитов, верховодивших тогда в Риме. Монсеньер Рикарди, человек гордого и надменного вида, с большим бриллиантовым крестом на груди, принял нас приветливо, сказав, что знает, по какому поводу мы приехали в Рим, что дело наше требует тайны и что мы не должны слишком много показываться в обществе.

– Однако, – прибавил он, – вы поступите правильно, если будете почаще приходить ко мне. Мой интерес к вам заставит всех обратить на вас внимание, а равнодушие к мирским удовольствиям будет говорить о скромности, выставя вас в выгодном свете. Я же в это время выведаю, как относится Святая коллегия к вашему Делу.

Мы последовали совету Рикарди. С утра я осматривал римские древности, а вечера проводил в вилле Рикарди, находившейся неподалеку от дворца Барберини. Гостей принимала маркиза Падули. Это была молодая вдова, которая жила у Рикарди, не имея близких родных. Так, по крайней мере, говорили, а правды никто не знал, так как Рикарди был родом из Генуи, а предполагаемый маркиз Падули умер, находясь на заграничной службе.

Молодая вдова обладала всеми качествами, способными сделать жизнь в доме приятной. С обаятельной внешностью она соединяла приветливость ко всем, сдержанную и полную достоинства. Однако мне казалось, что на меня она глядела более ласково, чем на других, и обнаруживала ко мне благосклонность, которая все время ощущалась в мелочах, незаметных для присутствующих. Я узнавал те тайные приметы, которыми переполнены все романы, и жалел синьору Падули за то, что она тратит свой пыл на человека, который ни в коем случае не может ответить ей взаимностью. Несмотря на это, я с удовольствием беседовал с маркизой и говорил ей о своем любимом предмете, то есть о любви, о разновидностях этого чувства, о различии между чувством и страстью, постоянством и верностью. Серьезно обсуждая эти вопросы с прекрасной итальянкой, я даже и думать не мог о том, чтобы изменить Эльвире. Письма мои в Бургос были исполнены прежнего пыла.

Однажды я отправился на виллу без своего ментора. Не застав Рикарди, я пошел в сад, и в гроте, заслоненном густыми кустами жасмина и акации, я увидел маркизу, погруженную в глубокую задумчивость, из которой ее вывел шорох моих шагов. Взмолвленное удивление, выразившееся на ее лице, сказала мне, что я был единственным предметом ее размышлений. В глазах ее появился испуг – словно она искала спасения от какой-то опасности. Но, овладев собой, она посадила меня рядом и начала с обычного в Италии вопроса:

– Lei a girato questa mattina? Вы гуляли нынче утром?

Я ответил, что был на Корсо и видел там много красивых женщин, среди которых лучше всех была маркиза Лепари.

– Ты не знал никого красивей? – спросила она.

– Виноват, – возразил я, – я знаю в Испании одну молодую особу, которая гораздо прекрасней.

Этот ответ, видимо, был неприятен маркизе, она погрузилась в раздумье и печально опустила свои прекрасные глаза в землю. Чтобы ее развлечь, я начал обычный разговор о любовных чувствах; тогда она подняла на меня томный взор и сказала:

– Ты испытывал когда-нибудь эти чувства, которые так хорошо описываешь?

– Ну конечно, – воскликнул я. – Даже в сто раз сильнее, в сто раз нежнее, и как раз к той особе, о необычайной красоте которой я сейчас говорил.

Не успел я сказать, как лицо маркизы покрылось смертельной бледностью, и она упала на землю, как мертвая. Никогда до тех пор не случалось мне видеть женщин в таком состоянии, и я не знал, что мне делать. К счастью, я увидел двух служанок в другом конце сада, побежал к ним и велел подать помощь госпоже.

Выйдя из сада, я стал раздумывать об этом происшествии, больше всего удивляясь могуществу любви и тому, что довольно одной ее искорки, упавшей на сердце, чтобы произвести в нем неопишемое опустошение. Мне было жаль маркизу, я корил себя за то, что стал причиной ее страданий, – однако представить себе не мог, как это забыть Эльвиру ради итальянки или другой женщины на свете.

Через сутки я опять пошел на виллу, но не был принят. Синьора Падули очень плохо себя чувствовала; на следующий день в Риме открыто говорили о ее болезни, высказывались даже опасения за ее жизнь, а меня опять мучила мысль, что я стал причиной ее несчастья.

На пятый день после этого происшествия ко мне пришла молодая девушка в мантилье, закрывавшей все ее лицо. Незнакомка сказала мне таинственно:

– Синьор форестьеро³⁵, одна умирающая хочет непременно тебя видеть, иди за мной.

Я понял, что речь идет о синьоре Падули, и не посмел отказать уходящей из жизни. В конце улицы меня ждала повозка, я сел в нее, и мы приехали на виллу.

Прошли черным ходом в сад, вошли в какую-то темную аллею, оттуда по длинному переходу и несколькими тоже темными покоем – в комнату маркизы. Синьора Падули

³⁵ чужеземец (ит.)

лежала в постели; она подала мне белоснежную руку, взглянула на меня полными слез глазами и дрожащим голосом произнесла несколько слов, которых я даже сначала не мог расслышать. Я поглядел на нее. Как ей шла эта бледность! Черты ее то и дело искажались внутренней болью, но на устах блуждала ангельская улыбка. Эта женщина, за несколько дней перед тем такая здоровая и веселая, теперь стояла уже одной ногой в могиле. И я был тот злодей, который надломил этот цветок в самом расцвете, мне суждено столкнуть в пропасть столько прелестей. При этой мысли сердце мое сжалось от холода, невыразимая жалость охватила меня, я подумал, что смогу несколькими словами спасти ей жизнь, — поэтому я встал перед ней на колени и прижал ее руку к своим губам.

Пальцы ее были как в огне; я решил, что у нее жар. Поднял глаза на больную и увидел, что она лежит полуголая. До самой этой минуты я никогда не видал, чтоб у женщины было открыто что-нибудь, кроме лица и рук. У меня потемнело в глазах, задрожали колени. Я изменил Эльвире, сам не зная, как это вышло.

— О бог любви! — воскликнула итальянка. — Ты сделал чудо. Тот, кого я люблю, возвращает мне жизнь.

Из состояния полной невинности я ввергся в пучину утонченных наслаждений. Счастливый надеждой восстановить здоровье маркизы, я сам не помню, что говорил; гордость от сознания всемогущества моих чувств охватила все мое существо, одно признание набегало на другое, я отвечал неспрошенный и спрашивал, не ожидая ответа. Маркиза на глазах набиралась сил. Так прошло четыре часа; наконец служанка пришла сказать нам, что пора прощаться.

Я направился к повозке не без труда, поневоле опираясь на плечо девушки, бросавшей на меня столь же пламенные взгляды, что и ее госпожа. Я был уверен, что добрая девушка выражает мне таким способом свою признательность за возвращенное ее хозяйке здоровье, и, счастливый своей удачей, обнял ее от всего сердца. И в самом деле, благодарность молодой девушки, как видно, была безгранична, так как она в ответ тоже обняла меня со словами:

— Придет и мой черед!

Но как только я сел в повозку, мысль об измене Эльвире стала жестоко меня мучить.

— Эльвира — воскликнул я, — возлюбленная моя Эльвира, я тебе изменил!.. Я недостойн тебя!.. Да будет проклято мгновенье, когда я поддался желанию восстановить здоровье маркизы!

Так повторял я все, что обычно говорят в подобных случаях, и домой вернулся с непреклонным решением больше не возвращаться к маркизе.

Когда наш гость произносил последнюю фразу, к вожаку пришли цыгане за приказаниями, и тот просил своего старого друга отложить продолжение рассказа до завтра, а сам ушел.

ДЕНЬ СОРОК ВТОРОЙ

На другой день все мы собрались в той же самой пещере, и маркиз, видя, что мы с нетерпением желаем узнать, что с ним было дальше, начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРКИЗА ТОРРЕСА РОВЕЛЬЯСА

Я рассказал вам об угрызениях совести, мучивших меня при мысли о моей неверности Эльвире. Мне было ясно, что служанка маркизы явится на другой день, чтобы снова отвести меня к постели своей госпожи, и я дал себе слово встретить ее как можно хуже. Но, к великому моему удивлению, ни на другой день, ни в последующие Сильвия не показывалась. Наконец спустя неделю пришла более нарядная, чем этого требовала ее прелестная наружность. Я давно заметил, что служанка красивей госпожи.

— Сильвия, — сказал я, — уйди от меня. По твоей вине я изменил очаровательной

женщине, которую люблю. Ты меня обманула. Я думал, что иду к умирающей, а ты привела меня к женщине, охваченной жадой наслаждений. Хотя сердце мое по-прежнему ни в чем не повинно, я не могу сказать того же о самом себе.

– Молодой чужеземец, – возразила Сильвия, – успокойся: ты не виноват, с этой стороны можешь быть совершенно спокоен. Но не думай, что я хочу отвести тебя к моей госпоже, которая спит теперь в объятиях Рикарди.

– В объятиях своего дяди? – воскликнул я.

– Да Рикарди ей вовсе не дядя. Пойдем, я тебе все объясню.

Заинтересовавшись, я пошел за ней. Мы сели в коляску, приехали на виллу, вошли в сад, после чего прекрасная посланница провела меня к себе в комнату, – верней, в гардеробную каморку, полную банок с помадой, гребней и прочих предметов туалета. В глубине стояла белоснежная постелька, из-под которой выглядывала пара изумительно изящных туфелек. Сильвия сняла перчатки, мантилью и платок, который был у нее на груди.

– Остановись! – воскликнул я. – Этим самым способом соблазнила меня твоя госпожа.

– Моя госпожа, – возразила Сильвия, – прибегла к крайним средствам, без которых я пока сумею обойтись.

С этими словами она открыла шкаф, достала фрукты, печенье, бутылку вина, поставила все это на стол, который придвинула к постели, и сказала:

– Извини, прекрасный испанец, что я не могу предложить тебе стул, но нынче утром у меня взяли последний, у служанок обычно нет лишней мебели. Так что садись рядом со мной, и от всего сердца прошу: отведай это скромное угощение.

Я не мог отказаться от столь любезного приглашения, сел рядом с Сильвией, принялся за фрукты и вино, а потом попросил ее рассказать мне историю маркизы, что та и сделала.

ИСТОРИЯ МОНСЕНЬОРА РИКАРДИ И ЛАУРЫ ЧЕРЕЛЛИ, ИМЕНУЕМОЙ МАРКИЗОЙ ПАДУЛИ

Рикарди, младший сын знаменитой генуэзской семьи, при поддержке своего дяди, который был генералом иезуитов, рано постригся и вскоре стал прелатом. В то время привлекательная наружность и фиолетовые чулки производили неотразимое впечатление на всех римских женщин. Рикарди не замедлил воспользоваться этими своими преимуществами и, по примеру братьев, с такой необузданностью отдался светским удовольствиям, что в тридцать лет потерял к ним всякий вкус и решил заняться делами более серьезными...

Он, видимо, решил не отказываться совсем от женщин, а завязать более длительные и спокойные отношения. Но не знал, как приступить к делу. Некоторое время был *cavaliere servente*³⁶ первых римских красавиц, но те бросали его ради более молодых прелатов; наконец ему надоели эти вечные ухаживанья, принуждающие к неустанной суете и беготне. Содержанки также не могли его удовлетворить: они не приняты в обществе, и с ними не знаешь, о чем говорить.

Среди этих колебаний Рикарди принял решение, которое и до и после него не одному приходило в голову: взять девочку и воспитать ее по своему вкусу, чтоб она потом могла сделать его счастливым. В самом деле, что можно сравнить с наслаждением каждый вечер видеть юное существо, духовное очарование которого развивается вместе с физической прелестью. Какое счастье самому вывозить ее в свет, знакомить с обществом, восхищаться ее суждениями, следить за первыми проблесками чувства, прививать ей свои взгляды, – одним словом, создать из нее существо, безраздельно тебе преданное. Но что потом делать с этим очаровательным созданием? Многие женятся, чтобы избежать хлопот. Рикарди этого сделать не мог.

Посреди этих развратных помыслов прелат наш не забывал о карьере. Один из его

³⁶ обожателем (ит.)

родственников, аудитор церковного суда, рассчитывал на кардинальскую шляпу и получил обещание, что свою прежнюю должность сможет передать племяннику. Но надо было ждать четыре, а то и пять лет, поэтому Рикарди решил, что может пока съездить в родные края и даже попутешествовать.

Как-то раз, когда он бродил по улицам Генуи, к нему пристала тринадцатилетняя девочка с корзинкой апельсинов и с поразившей его грацией стала просить, чтоб он купил несколько штук. Рикарди рукой распутника отстранил плохо причесанные волосы с лица девочки и обнаружил черты, сулящие необычайную красоту. Он спросил у маленькой торговки, кто ее родители. Она ответила, что у нее только мать, очень бедная, ее зовут Бастиана Черелли. Рикарди велел девочке отвести его к матери, он назвал себя и сказал вдове, что у него есть дальняя родственница, очень добрая, которая воспитывает молодых девушек и выдает их замуж; в заключение он сказал, что постарается поместить к ней маленькую Лауру.

Мать промолвила с усмешкой:

– Я не знакома с родственницей монсеньора, которая, наверно, почтенная дама. Но я уже слышала о твоей доброте к молодым девушкам и охотно доверю тебе свою дочь. Не знаю, воспитаешь ли ты ее в добродетели, но, по крайней мере, выручишь из нужды, которая хуже всех пороков.

Рикарди попросил ее сказать свои условия.

– Я не продаю своей дочери, – возразила она, – но приму любой подарок, который ты захочешь мне дать, монсеньор. Ведь надо жить, а у меня часто не хватает сил для работы.

В тот же день Рикарди отдал Лауру на воспитание одному из своих подчиненных. Тотчас же руки ей намазали миндальным кремом, волосы завили кольцами, на шею надели жемчужное ожерелье, плечи покрыли кружевами. Девочка, поглядевшись в зеркало, сама себя не узнала, но с первого же дня догадалась о своем будущем и стала приноравливаться к своему положению.

Между тем у Лауры были сверстники и ровесницы, которые, не зная, что с ней случилось, очень о ней беспокоились. Упорней всех повел розыски Чекко Босконе, четырнадцатилетний мальчик, сын носильщика, не по летам сильный и до смерти влюбленный в маленькую продавщицу апельсинов, которую он часто видел то на улице, а то и у нас дома, так как приходится нам дальним родственником. Я говорю «нашим», так как моя фамилия – тоже Черелли, и я имею честь быть двоюродной сестрой моей госпожи.

Тем более тревожились мы о своей родственнице, что при нас о ней не только никогда не упоминали, но и нам было запрещено произносить ее имя. Я занималась обычно шитьем грубого белья. А Чекко был мальчиком на посылах в порту, где в будущем ему предстояло таскать тюки. Кончив дневную работу, я приходила к нему на паперть одной церкви, и там он, горько плача, как-то сказал мне:

– Мне пришла в голову замечательная мысль. Последние дни все время шел дождь, и синьора Черелли не выходила из дома. Но я уверен, что, как только наступит хорошая погода, она не выдержит и, если Лаура находится в Генуе, пойдет ее проведать. А я издала побегу за ней, и так мы узнаем, где прячут Лауру.

Я одобрила этот план. На другой день распогодилось, и я пошла к синьоре Черелли. Видела, как она вынимает из старого шкафа еще более старую мантилью, поговорила с ней немного и побежала предупредить Чекко. Мы притаились и вскоре увидели синьору Черелли. Тихонько пошли за ней на другой конец города и, увидев, что она входит в какой-то дом, опять спрятались. Через некоторое время синьора Черелли вышла и направилась к себе. Мы входим в дом, избегаем на лестницу, перескакивая через две ступени, открываем дверь роскошного помещения и посреди комнаты видим Лауру. Я кидаюсь ей на шею, но Чекко вырывает ее из моих объятий и вливается в ее уста. В эту минуту открывается дверь в соседнюю комнату, и входит Рикарди. Я получила дюжину оплеух, а Чекко – столько же тумаков. Прибежали слуги, и в мгновение ока мы оказались на улице, побитые, униженные и наученные горьким опытом, что не должны интересоваться участью нашей родственницы.

Чекко поступил юнгой на корабль мальтийских корсаров, и больше я о нем не слышала, но мое желание встретиться с Лаурой не только не пропало, а, наоборот – еще больше усилилось.

Я служила во многих домах, наконец попала к маркизу Рикарди, старшему брату прелата. Там много говорили о синьоре Падули, недоумевая, где прелат нашел такую родственницу. Долго никто в семье не мог точно узнать, – наконец чего не сумели разведать господа, дозналось любопытство слуг. Мы повели свои собственные розыски и вскоре обнаружили, что воображаемая маркиза – попросту Лаура Черелли. Маркиз приказал нам хранить тайну и отослал меня к своему брату, которого предупредил, чтобы он был еще осторожней, если не хочет нажить крупных неприятностей.

Но я не обещала тебе рассказывать о своих собственных приключениях и не буду распространяться о маркизе Падули, раз ты знаешь пока только Лауру Черелли, помещенную на воспитание к одному из подчиненных Рикарди. Она недолго оставалась там; вскоре ее перевезли в соседний маленький городишко, где Рикарди часто навещал ее и после каждой поездки возвращался все более довольный.

Через два года Рикарди поехал в Лондон. Ехал он под чужой фамилией, выдавая себя за итальянского купца. Лаура сопровождала его на положении жены. Он возил ее в Париж и другие большие города, где легче сохранить инкогнито. Лаура с каждым днем становилась очаровательней, она обожала своего благодетеля и делала его счастливейшим из людей. Три года промелькнули с быстротой молнии. Дядя Рикарди должен был скоро получить кардинальскую шляпу и торопил племянника с возвращением в Рим. Рикарди отвез свою возлюбленную в поместье, которое у него было неподалеку от Гориции. На другой день по приезде он ей сказал:

– Я должен, синьора, сообщить тебе новость, по-моему, довольно приятную. Ты теперь вдова маркиза Падули, недавно умершего на императорской службе. Вот документы, подтверждающие мои слова. Падули был наш родственник. Надеюсь, синьора, ты не откажешься исполнить мою просьбу, – поедешь в Рим и поселишься в моем доме.

Через несколько дней после этого Рикарди уехал.

Новая маркиза, предоставленная своим мыслям, стала раздумывать о характере Рикарди, о своих отношениях с ним и о том, как быть дальше. Через три месяца мнимый дядя вызвал ее к себе. Он весь сиял в лучах своего нового звания; часть этого сиянья озарила и Лауру, – к ней со всех сторон стали тесниться с выражениями преданности. Рикарди объявил семье, что приютил у себя вдову маркиза Падули, родственника семьи Рикарди по женской линии.

Маркиз Рикарди никогда не слыхал, чтобы Падули был женат. Он предпринял в этом направлении розыски, о которых я тебе говорила, и послал меня к новой маркизе с вестью, чтобы она соблюдала величайшую осторожность. Я отправилась морем, высадились в Чивитавеккии и оттуда выехала в Рим. Когда я предстала перед маркизой, она отпустила всех слуг и упала в мои объятия. Мы стали вспоминать наши детские годы, мою мать, ее мать, каштаны, которыми мы вместе с ней обедались, не забыли и о маленьком Чекко; я рассказала, что бедный парень завербовался на корсарский корабль и пропал без вести. Лаура от жалости залилась слезами, и я еле смогла ее успокоить. Она попросила меня не открываться прелату и оставаться при ней в роли ее горничной. В случае, если бы меня выдало мое произношение, я должна была объяснить, что я – не из самой Генуи, а из ее окрестностей.

У Лауры был уже продуманный план действий. Две недели подряд она была весела и разговорчива, но потом стала печальной, задумчивой, капризной и ко всему равнодушной. Рикарди всеми способами старался сделать ей приятное, но не мог вернуть ей прежней веселости.

– Дорогая Лаура, – сказал он однажды, – ну скажи, чего тебе недостает? Сравни теперешнее свое положение с тем, из которого я тебя вывел.

– А кто тебя просил об этом? – резко возразила Лаура. – Да, да, я жалею теперь о своей

прежней нужде. Что мне тут делать, среди всех этих великосветских дам? Я предпочла бы открытые оскорбления их двусмысленной учтивости. О, мои отрепья! Как я теперь плачу о вас! Не могу без слез подумать о черном хлебе, каштанах и о тебе, дорогой Чекко, который должен был жениться на мне, став носильщиком. С тобой я, может быть, знала бы нужду, но никогда не узнала бы печали, тоски и скуки. Знатные дамы завидовали бы моей участи.

– Лаура! Лаура! Что ты говоришь? – воскликнул Рикарди.

– Это голос природы, – ответила Лаура, – создавшей женщину для роли жены и матери, а не племянницы развратного прелата.

С этими словами она вышла в соседнюю комнату и заперла за собой дверь на ключ.

Рикарди растерялся: он выдавал синьору Падули за свою племянницу и теперь дрожал при мысли, что безрассудная может открыть правду и разрушить его виды на будущее. Притом он любил негодницу, ревновал ее, – словом, не знал, как ему вырваться из обступившего со всех сторон несчастья.

На другой день Рикарди, весь дрожа, вошел в комнату Лауры и, к своему радостному удивлению, был встречен самым любезным образом.

– Прости меня, милый дядя, – сказала она, – мой дорогой благодетель. Я – неблагодарная, не заслуживающая того, чтобы жить на свете. Я – создание твоих рук, ты сформировал мой ум, я обязана тебе всем. Прости, глупость шла не от сердца.

Так состоялось примирение. Через несколько дней после этого Лаура сказала Рикарди:

– Я не могу быть с тобой счастливой. Ты полновластный хозяин в доме, здесь все принадлежит тебе, а я лишь – твоя невольница. Тот вельможа, что нас посещает, подарил Бианке Капуччи чудесное имение в герцогстве Урбино. Вот этот человек действительно любит ее. А я уверена, попроси я у тебя маленький баронат, в котором провела три месяца, ты бы, конечно, мне отказал. А ведь он завещан тебе дядей Камбиази, и ты можешь распоряжаться им как вздумаешь.

– Ты хочешь меня покинуть, – сказал Рикарди, – если так жаждешь независимости?

– Я хочу еще сильнее любить тебя, – возразила Лаура.

Рикарди не знал, подарить или отказать; он любил, ревновал, боялся, как бы его власть не оказалась подорванной и как бы ему не попасть в зависимость от своей любовницы. Лаура читала в его душе и могла бы довести его до отчаяния, но Рикарди пользовался огромным влиянием в Риме, и стоило ему сказать одно слово, как четверо сбиров схватили бы племянницу и отвезли ее на продолжительное покаяние в какой-нибудь монастырь.

Эта опасность удерживала Лауру, но, чтобы поставить на своем, она притворилась тяжело больной. Она как раз обдумывала этот план, когда ты вошел в пещеру.

– Как? – воскликнул я в удивлении. – Она думала не обо мне?

– Нет, дитя мое, – ответила Сильвия. – Она думала о баронате, который приносит две тысячи скудо годового дохода. Вдруг ей пришло в голову как можно скорей притвориться больной и даже умирающей. Она научилась этому раньше, подражая одной актрисе, которую видела в Лондоне, и захотела проверить, сумеет ли обмануть тебя. Так что видишь, мой молодой испанец, ты попал в расставленную западню, но ни ты, ни моя госпожа не можете пожаловаться на конец комедии. Никогда не забуду, как ты был хорош, когда, выйдя от Лауры, искал моего плеча, чтобы на него опереться. Я дала себе слово тогда, что дойдет очередь и до меня.

Что я могу вам еще сказать? Выслушав Сильвию, я был как помешанный, в одно мгновение утратив все свои иллюзии. Я сам не знал, что со мной. Сильвия воспользовалась моим состоянием, чтобы внести смятение в мои мысли. Это ей удалось без труда, она даже злоупотребила своим преимуществом. В конце концов, когда она повела меня к повозке, я не знал, мучиться ли мне новыми угрызениями совести или махнуть на них рукой.

Когда маркиз дошел до этого места своей повести, цыган, присутствия которого требовали важные дела, попросил его отложить продолжение на завтра.

ДЕНЬ СОРОК ТРЕТИЙ

Собрались, как обычно, и маркиз, видя, что все ждут в молчании, начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРКИЗА ТОРРЕСА РОВЕЛЬЯСА

Я сказал вам, что, дважды изменив Эльвире, я после первого раза испытал мучительные угрызения совести, а после второго сам не знал, упрекать ли мне себя снова или вовсе об этом не думать. Впрочем, даю вам честное слово, что все время не переставал любить свою родственницу и писал ей все такие же пламенные письма. Ментор мой, желая любой ценой вылечить меня от моей романтичности, позволял себе порой поступки, выходявшие за пределы его обязанностей. Делая вид, будто ничего не знает, он подвергал меня испытаниям, которым мне не удавалось противостоять; однако любовь моя к Эльвире оставалась всегда неизменной, и я с нетерпением ждал мгновенья, когда апостольская канцелярия даст мне разрешение на брак.

Наконец в один прекрасный день Рикарди велел позвать меня и Сантоса. Вид у него был торжественный, и мы сразу поняли, что он хочет сообщить нам что-то важное. Смягчив суровость лица приветливой улыбкой, он сказал:

– Дело ваше устроилось, хоть и не без великих трудностей. Мы, правда, легко выдаем разрешения для некоторых католических стран, но другое дело – Испания, где вера чиста и начала ее блюдятся строго. Несмотря на это, его святейшество, учитывая многочисленные благочестивые учреждения, основанные семейством Ровельяс в Америке, учитывая, кроме того, что заблуждение обоих детей было следствием несчастий означенной семьи, а не плодом распутного воспитания, его святейшество, повторяю, развязал узы родства, соединявшие вас друг с другом на земле. Так же развязаны они будут и на небе; однако – дабы не соблазнить этим примером молодежь к подобным заблуждениям – приказано вам носить на шее четки о сто зерен и в течение трех лет ежедневно прочитывать по ним все молитвы. Кроме того, вы должны выстроить церковь для театинцев в Веракруссе. А теперь имею честь принести тебе, мой юный друг, так же как и будущей маркизе, пожелания всякого благополучия и счастья.

Можете себе представить мою радость. Я со всех ног пустился за грамотой его святейшества, и через два дня после этого мы покинули Рим.

Мы мчались день и ночь, наконец прибыли в Бургос. Я увидел Эльвиру, за это время она еще больше похорошела. Нам оставалось только просить двор об утверждении нашего брака, но Эльвира была уже владелицей своего имущества, и у нас не было недостатка в друзьях. Мы получили желанное утверждение, к которому двор присоединил для меня титул маркиза де Торрес Ровельяс. После этого пошла речь об одних только платьях, нарядах, драгоценностях и тому подобных заботах, столь сладостных для молодой девушки, выходящей замуж. Однако нежная Эльвира уделяла мало внимания всем этим приготовлениям и думала только о счастье своего нареченного. Наконец подошло время свадьбы. День показался мне невыносимо долгим, так как церемония должна была состояться только вечером в часовне летнего дома, который был у нас неподалеку от Бургоса.

Я долго расхаживал по саду, чтоб заглушить пожиравшее меня нетерпение, наконец сел на скамейку и стал размышлять о моем поведении, столь недостойном того ангела, с которым я скоро должен соединиться. Перебирая в памяти свои измены, я насчитал целых двенадцать. Тут угрызения совести снова овладели душой моей, и, горячо укоряя самого себя, я сказал:

«Презренный и неблагодарный, подумал ли ты о сокровище, которое тебе предначертано, о том божественном создании, которое дышит для одного тебя, любит тебя больше жизни и ни с кем другим никогда даже слова не промолвило?»

В разгар этого сердечного сокрушения я услышал разговор двух горничных Эльвиры,

которые сели на скамейку у противоположной стороны шпалеры. Первые же слова заставили меня насторожиться.

– А что, Мануэла? – сказала одна. – Наша госпожа, должно быть, очень рада, что сможет любить по-настоящему и давать истинное доказательство любви, вместо тех мелких знаков внимания, которые она так щедро раздавала своим поклонникам у решетки.

– Ты, наверно, говоришь, – заметила другая, – о том учителе игры на гитаре, который целовал ей украдкой руку, делая вид, будто учит перебирать пальцами струны.

– Ничуть не бывало, – ответила первая. – Я говорю о дюжине любовных интрижек, – правда, невинных, но которыми наша госпожа развлекалась и по-своему к ним пристрастилась. Сперва этот маленький бакалавр, который учил ее географии, – о, этот влюбился, как сумасшедший! – а она подарила ему прядь волос, и на другой день я не знала, как ее причесать. Потом этот болтливый управляющий, который докладывал о состоянии ее владений и сообщал о доходах. У этого был свой подход: он осыпал нашу госпожу комплиментами и кружил ей голову лестью. А она дала ему за это свой портрет, сто раз протягивала сквозь решетку руку для поцелуя... А сколько цветов да букетов они друг другу послали!

Не припомню сейчас дальнейшего их разговора, но могу вас уверить, что поклонников набралась полная дюжина. Я был потрясен. Конечно, Эльвира оказывала своим ухаживателям благосклонность, по существу невинную, это были скорее детские шалости, но та Эльвира, которую я себе представлял, не должна была позволить себе даже самых ничтожных намеков на неверность. Теперь я признаю, что рассуждения мои были нелепы. Эльвира с первых лет своего существования говорила только о любви, поэтому я должен был понять, что – обожая разговор на эту тему, она будет разговаривать о ней не только со мной. Я никогда не поверил бы в это, но, удостоверившись своими собственными ушами, почувствовал себя обманутым и погрузился в печаль.

Между тем мне дали знать, что все готово. Я вошел в часовню с лицом изменившимся, удивившим мою мать и встревожившим невесту. Даже священник смутился и не знал – благословлять ли нас. В конце концов он обвенчал нас, но смело могу вам признаться, что еще никогда так горячо ожидавшийся день так жестоко не обманул возлагавшихся на него надежд.

Ночью было иначе. Бог брака засветил свой факел и набросил на нас фату своих первых наслаждений. Все страстишки вылетели у Эльвиры из головы, и не изведанный до тех пор восторг наполнил ее сердце любовью и нежностью. Она вся принадлежала своему супругу.

На другой день у нас обоих был вид людей счастливых, да и как мог бы я пребывать в печали! Люди, прожившие жизнь, знают, что среди всех ее даров нет ничего, что можно было бы сравнить со счастьем, которое дарит нам молодая жена, принеся на супружеское ложе столько неизведанных тайн, неосуществленных мечтаний, упоительных мыслей. Что остальная жизнь по сравнению с этими днями, проведенными среди свежих воспоминаний о сладких восторгах и чудных призраках будущего, которое надежды расцветивают самыми обольстительными красками.

Друзья наши на некоторое время предоставили нас, охваченных упоением, самим себе, но когда узнали, что мы уже в состоянии с ними разговаривать, стали пробуждать в нас жажду почестей.

Граф Ровельяс когда-то рассчитывал получить титул гранда, и мы, по мнению наших друзей, должны были добиться осуществления этого замысла если не ради нас самих, то ради детей, которыми небо должно одарить нас. И даже если наши усилия ничем не увенчаются, мы можем потом пожалеть о своем бездействии, поэтому лучше заранее оградить себя от подобных упреков. Мы были в том возрасте, когда люди обычно следуют советам окружающих, и позволили увезти себя в Мадрид.

Узнав о наших притязаниях, вице-король написал для нас письмо, полное самых усиленных рекомендаций. Сначала все складывалось как будто благоприятно, но вскоре

стало ясно, что это всего лишь пустая придворная галантность, которая ни к чему не обязывает.

Обманутые надежды очень огорчили наших друзей и, к несчастью, мою мать, которая отдала бы все на свете, чтобы увидеть своего маленького Лонсето испанским грандом. Скоро бедная женщина тяжело захворала и поняла, что ей остается недолго жить на свете. Тогда, подумав о спасении души, она пожелала прежде всего отблагодарить почтенных горожан Вильяки, которые так любили нас, когда мы были в беде. Особенно хотелось ей сделать что-нибудь для алькальда и приходского священника. У матери моей не было своих средств, но Эльвира с готовностью решила помочь ей в этом благородном деле и послала им подарки, более ценные, чем желала моя мать.

Давние друзья наши, узнав о счастье, которое им выпало, приехали в Мадрид и окружили ложе своей благодетельницы. Мать оставляла нас счастливыми, богатыми и еще любящими друг друга. Последние минуты ее были отрадны. Она спокойно заснула вечным сном, еще в этой жизни получив часть наград, которые заслужила своими добродетелями, в особенности своей непередаваемой добротой.

Вскоре после этого на нас посыпались несчастья. Двух сыновей, которых подарила мне Эльвира, в короткий срок унесла болезнь. Титул гранда потерял для нас привлекательность, мы прекратили хлопоты и решили уехать в Мексику, где положение дел требовало нашего присутствия. Здоровье маркизы было сильно подорвано, и врачи утверждали, что морское путешествие может принести ей пользу. Мы собрались в путь и после десятидневного плавания, действительно оказавшего очень благотворное влияние на здоровье маркизы, высадились в Веракрусе. Эльвира приехала в Америку не только совершенно здоровой, но еще более прекрасной, чем когда-либо.

В Веракрусе нас встретил один из высших офицеров вице-короля, посланный приветствовать нас и проводить в Мехико. Этот человек много рассказывал нам о благородстве графа де Пенья Велес и обычаях, царящих при его дворе. Мы уже знали некоторые подробности благодаря нашим связям с Америкой. Полностью удовлетворив свое тщеславие, вице-король разжег в себе неистовую страсть к прекрасному полу и, не найдя счастья в браке, окружил себя изысканными женщинами, которыми славилось в свое время испанское общество.

Пробыв недолгое время в Веракрусе, мы со всеми удобствами совершили переезд в Мехико. Как известно, столица эта стоит посреди озера. Приехав на берег уже ночью, мы увидели сотню гондол, освещенных светильниками. Самая пышная подплыла первой, причалила, и мы увидели выходящего из нее вице-короля, который, обращаясь к жене моей, сказал:

– Дочь несравненной женщины, которую я до сих пор не перестал обожать! Я понял, что небо не позволило тебе вступить в брак со мной, но вижу, что оно не имело намерения лишить свет лучшего его украшения, за что я приношу ему благодарность. Иди, прекрасная Эльвира, укрась наше полушарие, которое, имея тебя, уже ни в чем не сможет завидовать Старому Свету.

Вице-король отметил, что он никогда бы Эльвиру не узнал, так она изменилась.

– Но, – прибавил он, – я помню тебя совсем юной, и ты не должна удивляться, что близорукому смертному не дано узнать в розе бутон.

Затем он почтил меня объятием и ввел нас в свою гондолу.

Через полчаса мы прибыли на плавучий остров, который, благодаря искусному устройству, выглядел совсем как настоящий; он был покрыт апельсиновыми деревьями и множеством всяких кустарников, но, несмотря на это, держался на водной поверхности. Остров этот можно было направлять в разные части озера и таким образом услаждать взгляд все новыми видами. В Мехико часто можно видеть такие острова, называемые chinampas³⁷.

³⁷ сады (исп.)

На острове стояло круглое строение, ярко освещенное и оглашающее окрестность громкой музыкой. Вскоре мы рассмотрели, что светильники образуют монограмму Эльвиры. Приближаясь к берегу, мы увидели две группы мужчин и женщин в роскошных, но странных нарядах, на которых яркие краски пестрых перьев спорили с блеском драгоценнейших камней.

– Сеньора, – сказал вице-король, – одна из этих групп состоит сплошь из мексиканцев. Красавица во главе их – маркиза Монтесума, последняя представительница великого имени, которое носили некогда властители этого края. Политика мадридского правительства воспрещает ей пользоваться привилегиями, которые многие мексиканцы до сих пор считают законными. Зато она – королева наших развлечений; это единственный почет, который ей можно воздавать. Мужчины другой группы зовутся перуанскими инками; узнав о том, что дочь солнца высадился в Мексике, они пришли принести ей жертвы.

Пока вице-король осыпал жену мою всеми этими любезностями, я внимательно в нее всматривался, и мне показалось, что я заметил в глазах ее какой-то огонь, зажженный искрою самолюбия, которая за семь лет нашей совместной жизни не имела возможности разгореться. В самом деле, несмотря на все наши богатства, нам никогда не удавалось играть заметную роль в мадридском обществе. Эльвира, занятая заботами о моей матери, о детях, о своем здоровье, не имела возможности блистать в свете, но путешествие вернуло ей не только утраченное здоровье, но и прежнюю красоту. Оказавшись на самой верхней ступени общества, она готова была, как мне показалось, возомнить о себе невесту что и как должное принимала всеобщее поклонение.

Вице-король назвал Эльвиру королевой перуанцев, после чего сказал мне:

– Ты, разумеется, первый подданный дочери солнца, но сегодня здесь мы все переодеты, поэтому благоволи до конца празднества подчиниться другой владычице.

С этими словами он представил меня маркизе Монтесуме и вложил мою руку в ее. Мы вошли в водоворот бала, обе группы принялись танцевать то вместе, то отдельно, и это их взаимное соперничество оживило праздник.

Было решено продлить маскарад до конца сезона, и я остался подданным наследницы Мексики, а жена моя правила своими подданными с пленительной грацией, которую я не мог не заметить. Но я должен описать вам дочь касиков, или, вернее, дать вам некоторое представление о ее наружности, так как был бы бессилён выразить словами дикую прелесть и беспрестанно меняющееся выражение, придаваемое лицу ее страстной душой.

Тласкала Монтесума родилась в гористой области Мексики и не имела того загорелого цвета лица, которым отличаются жители низин. Цвет лица у нее был нежный, как у блондинок, но чуть темней, и прелесть его подчеркивали подобные драгоценным камням черные глаза. Черты ее, менее выразительные, чем у европейцев, однако, не были плоскими, как это можно видеть у представителей американских племен. Тласкала напоминала своих соплеменников только губами, довольно полными, но восхитительными, особенно когда их трогала беглая улыбка. Что же касается ее фигуры, тут я ничего не могу сказать, предоставляя это вашему воображению или, верней, воображению художника, который захотел бы написать Диану или Аталанту. Во всех ее движениях было что-то особенное, в них чувствовалась с усилием сдерживаемая страстная порывистость. Ей была чужда неподвижность, весь ее облик выдавал непрестанное внутреннее волнение.

Кровь предков слишком часто напоминала Тласкале, что она рождена для господства над обширной частью света. Приблизившись к ней, ты прежде всего видел гордую фигуру оскорбленной королевы, но стоило ей заговорить, как тебя приводил в восхищение сладостный взор, и каждый покорялся чарам ее слов. Входя в покои вице-короля, она, казалось, с негодованием глядит на равных себе, но тут же всем становилось ясно, что ей нет равных. Сердца, способные чувствовать, узнавали в ней повелительницу и поворачивались к ее стопам. Тогда Тласкала переставала быть королевой, становилась женщиной и принимала воздаваемые ей почести.

В первый же вечер мне бросилось в глаза ее высокомерие. Я почувствовал, что будучи

произведен вице-королем в ее первого подданного, должен сказать ей какую-нибудь любезность по поводу ее наряда, но Тласкала отнеслась к этим моим изъяснениям очень холодно.

– Мишурная корона может казаться лестной только тем, кого рождение не предназначило для трона, – промолвила она.

При этом она бросила взгляд на мою жену, которую в эту минуту окружали коленопреклоненные перуанцы. На ее лице были написаны гордость и восторг. Мне стало стыдно за нее, и я в тот же вечер заговорил с ней об этом. Она слушала меня рассеянно и на мои любовные уверения отвечала холодно. Самомнение овладело ее душой, заняв место истинной любви.

Упоение, порождаемое кадилом лести, трудно развеять; Эльвира уступала ему все сильней. Весь Мехико разделился на поклонников ее чудной красоты и почитателей несравненных прелестей Тласкалы. День Эльвиры делился на радостные воспоминания о минувшем дне и на приготовления к грядущему. Зажмурившись, летела она в пропасть всевозможных развлечений. Я пробовал удержать ее, но напрасно; сам я чувствовал, будто меня увлекает какая-то сила, но в противоположном направлении, вдаль от усыпанных цветами тропинок, по которым ступала моя жена.

Мне тогда не было еще полных тридцати лет. Я находился в том возрасте, когда чувства полны отроческой свежести, а страсти кипят с мужской силой. Любовь моя, возникшая у колыбели Эльвиры, ни на мгновение не выходила из круга детских понятий, а ум моей жены, вскормленный вздорными романами, не имел времени созреть. В этом отношении я не намного превосходил свою жену, но тем не менее ясно видел, как понятия Эльвиры вертятся вокруг мелочей, пустяков, порой даже мелких сплетен, словом, в том узком кругу, в котором женщину удерживает чаще слабость характера, чем недостаток ума. Исключения здесь редки: я думал даже, что их вовсе нет, но убедился, что это не так, после того как узнал Тласкалу.

Никакая зависть, никакое чувство соперничества не имели доступа к ее сердцу. Все женщины одинаково могли рассчитывать на ее благосклонное отношение, и та, которая выделялась среди представительниц своего пола красотой, прелестью или богатством чувств, вызывала в ней тем больший интерес. Она хотела бы видеть вокруг себя всех женщин, быть их поверенной, заслужить их дружбу. О мужчинах она говорила редко и всегда очень сдержанно, если только речь шла не о каком-нибудь благородном поступке. Тут она выражала свое восхищение искренне и даже с жаром. Но по большей части она рассуждала о предметах отвлеченных и оживлялась, только когда заходила речь о благосостоянии Мексики и благополучии ее жителей. Это была ее любимая тема, к которой она при всяком удобном случае обращалась.

Судьба, а также характер обрекают многих людей покоряться тому полу, который вынужден повелевать, когда не может покоряться. Без сомнения, я тоже принадлежу к этим людям. Я был смиренным поклонником Эльвиры, потом ее уступчивым супругом, но она сама ослабила мои оковы тем, что, по-видимому, слишком низко ценила мою привязанность.

Балы и маскарады следовали один за другим, и светские обязанности, если можно так выразиться, привязывали меня к Тласкале. Но, по правде говоря, еще больше влекло меня к ней сердце, и первой переменной, которую я в себе заметил, был полет моей мысли и подъем духа. Ум мой стал сильней, воля – мужественней. Я испытывал потребность воплотить мои чувства в действии, приобрести влияние на судьбу моих ближних.

Я попросил назначения и получил его. Должность моя отдавала под мое управление несколько провинций; я заметил, что туземцы угнетены испанцами, и встал на их защиту. Против меня ополчились могущественные вельможи, я впал в немилость у правительства, двор начал мне грозить; но я не сдавался. Мексиканцы полюбили меня, испанцы уважали, но больше всего я был счастлив живым сочувствием, которое я пробудил в сердце любимой женщины. Правда, Тласкала обращалась со мной с прежней и, может быть, даже еще большей сдержанностью, но взгляд ее искал моих глаз, останавливался на них с

одобрительным выражением и отрывался с тревогой. Она мало говорила со мной, не упоминала о том, что я делал для американцев, но каждый раз, когда она обращалась ко мне, у нее дрожал голос, слова теснились в груди, так что самый обычный разговор шел в тоне крепнущей приязни. Тласкала думала, что нашла во мне родственную душу. Она ошибалась: это ее душа перелилась в мою, вдохновляла меня, побуждала к действию. Мною самым овладели иллюзии относительно силы моего характера. Мысли мои приобрели форму раздумий, представление о счастье Америки превратилось в дерзкие планы, даже развлечения приобрели героический оттенок. Я преследовал в лесах ягуаров, пум и вступал в поединок с этими хищниками. Но чаще всего я пускался в далекие ущелья, и эхо было единственным поверенным любви, которую я не смел открыть тайно обожаемой женщине.

Тласкала разгадала меня, да и мне тоже как будто блеснул слабый луч надежды, и мы легко могли выдать себя перед пронизательными глазами окружающих. К счастью, мы ускользнули от общего внимания. У вице-короля появились важные дела, требовавшие устройства и разомкнувшие кольцо увеселений, которым он сам и весь Мехико до самозабвения предавался. Для нас наступил более спокойный образ жизни. Тласкала удалилась в свой дом, который у нее был на северной стороне озера. Я стал посещать ее довольно часто, потом – каждый день. Не умею объяснить вам характер наших взаимоотношений. С моей стороны это было преклонение, доходящее до фанатизма, а с ее – как бы священный огонь, который она поддерживала сосредоточенно и усердно...

Взаимное признание блуждало у нас на устах, но мы не решались его произнести. Положение было чарующее, мы упивались им и опасались только, как бы чем-нибудь его не изменить.

Когда маркиз дошел до этого места, цыгана вызвали по делам табора, и нам пришлось ждать удовлетворения нашего любопытства до завтрашнего дня.

ДЕНЬ СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ

Мы собрались и молча ждали, когда маркиз начнет свой рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРКИЗА ТОРРЕСА РОВЕЛЬЯСА

Я рассказал вам о своей любви к прелестной Тласкале, обрисовав ее внешность и душу. Продолжение моей истории даст вам возможность лучше узнать ее.

Тласкала верила в истину нашей религии, но вместе с тем относилась с глубоким уважением к верованиям своих отцов и, в результате этой путаницы во взглядах, создала себе особый рай, находившийся не на небе, а где-то посередине между небом и землей. До некоторой степени она разделяла даже суеверия своих соплеменников, веря, что славные тени царей из ее рода в темные ночи сходят на землю и посещают старое кладбище в горах. Ни за что на свете Тласкала не пошла бы туда ночью. Но днем мы иногда ходили на кладбище и проводили там долгие часы. Тласкала переводила мне иероглифы, высеченные на гробницах ее предков, и объясняла их при помощи преданий, которые знала очень хорошо.

Мы уже знали большую часть надписей и, продолжая наши поиски, находили новые, очищая их от мха и терновника. Однажды Тласкала показала мне колючий куст и сказала, что это не простой куст; посадивший его хотел навлечь возмездие небес на тень врага, и что я хорошо сделаю, если уничтожу это зловещее растение. Я взял топор из рук шедшего за нами мексиканца и вырубил несчастный куст. Тут нам открылся камень, покрытый иероглифами гуще, чем надгробия, осмотренные нами до сих пор.

– Эта надпись, – сказала Тласкала, – была сделана уже после завоевания нашей страны. Мексиканцы перемешивали тогда иероглифы с некоторыми буквами алфавита, перенятыми от испанцев. Надписи того времени легче читать.

И она принялась читать, но после каждого слова черты ее выражали все большее

страдание, и в конце концов она упала без чувств на камень, в течение двух столетий скрывавший причину ее внезапного потрясения.

Тласкалу отнесли домой, она немного пришла в себя, но разум ее мутился, и она словно бредила.

Я вернулся к себе в полном отчаянье, а на другой день получил письмо такого содержания:

«Алонсо, чтоб написать эти несколько слов, мне пришлось собрать все свои силы и мысли. Письмо это вручит тебе старый Хоас, мой бывший учитель, который обучил меня родному языку. Пойди с ним к тому камню, который мы вчера нашли, и попроси, чтобы он перевел тебе надпись. Мой взор мутится, густая пелена заволакивает глаза. Алонсо, страшные видения снуют между нами... Алонсо... я не вижу тебя».

Хоас принадлежал к теоксихам, то есть происходил из жреческого рода. Я сходил с ним на кладбище и показал ему несчастный камень. Он переписал иероглифы и унес копию к себе. А я пошел к Тласкале, но горячка не оставила ее: больная смотрела на меня мутным взглядом и не узнавала. К вечеру жар стал немного спадать, но лекарь просил меня не ходить к больной.

На другой день Хоас принес мне перевод мексиканской надписи. Она гласила:

«Я, Коатрил, сын Монтекумы, сложил здесь тело низкой Марины, пожертвовавшей сердцем и родиной ради злодея Кортеса, предводителя морских разбойников. Духи моих предков, спускающиеся сюда в ночной тьме, верните на мгновение этот труп к жизни и предайте его самым страшным мукам кончины. Духи моих предков, услышите мой голос, услышите мои проклятья. Взгляните на руки мои, еще дымящиеся кровью человеческих жертв!

Я, Коатрил, сын Монтекумы – отец: дочери мои бродят по ледникам далеких гор. Красота – наследственное свойство нашего славного рода. Духи моих предков, если когда-нибудь дочь Коатрила либо дочь его дочери или сына, если когда-нибудь любая женщина из моего племени отдаст сердце и красу вероломному разбойнику, прибывшему из-за моря, если среди женщин моей крови найдется вторая Марина, духи моих предков, спускающиеся сюда в ночной тьме, покарайте ее самыми страшными муками. Спуститесь во тьме ночной в виде огненных змей, разорвите тело ее на части, разбросайте их по всей земле, и пусть каждая часть отдельно познает муки смертного часа. Спуститесь во тьме ночной в образе коршунов с железными клювами, раскаленными на огне, раздерите тело ее, рассейте его в воздухе, и пусть каждая часть отдельно узнает муки смертного часа. Духи моих предков, если вы не исполните просьбы моей, я, воздев руки, обогранные кровью человеческих жертв, призову на вас всю силу богов мести, чтобы они обрекли вас на такие же муки!

Я, Коатрил, сын Монтекумы, высек на камне это проклятье и посадил на могиле куст мескуксальтры».

Надпись эта чуть не оказала на меня такое же действие, как на Тласкалу. Мне захотелось убедить Хоаса в нелепости мексиканских суеверий, но вскоре я заметил, что этого делать не следует. Старик указал мне иной способ успокоить душу Тласкалы.

– Нет сомнений, – сказал он мне, – что духи царей спускаются на кладбище и имеют власть причинять мучения живым и мертвым, особенно если воззвать к их помощи такими вот проклятьями, какие ты видел на камне. Но можно ослабить страшные последствия этих проклятий. Зловещий куст, посаженный на этой злосчастной могиле, ты, сеньор, вырубил. И потом – что у тебя общего с дикими сообщниками Кортеса. Продолжай оказывать покровительство мексиканцам и будь уверен, что у нас найдутся средства умиловить духов и даже некогда почитаемых в Мексике страшных богов, которых ваши жрецы называют дьяволами.

Я посоветовал Хоасу не обнаруживать своих религиозных убеждений так открыто, а про себя решил не упускать ни одной возможности оказать услугу туземцам. Случай не

замедлил представиться. В завоеванных вице-королем провинциях вспыхнуло восстание; это было вполне оправданное сопротивление насилиям, которые противоречили даже политике мадридского двора, но неумолимый вице-король не считался ни с чем. Он стал во главе войска, вступил в Новую Мексику, рассеял толпы повстанцев и взял в плен двух касиков, которых решил обезглавить в столице Нового Света. Им как раз должны были вынести приговор, но я, выйдя на середину зала, где шел суд, положил руки на плечи обвиняемых и произнес:

– Los toco por parte de el Rey (что значит: «Прикасаюсь к ним именем короля»).

Эта старинная формула испанского правосудия еще и до нынешнего дня имеет такую силу, что никакой суд не осмелится нарушить ее и отложит исполнение любого приговора. Но тот, кто принес эту формулу, отвечает своей головой. Вице-король имел право подвергнуть меня той же самой каре, которая была назначена обоим обвиняемым. Что он и не замедлил сделать, приказав заключить меня в тюрьму, где пронеслись сладчайшие мгновения моей жизни.

Однажды ночью, – а в моем темном подземелье была вечная ночь, – я увидел в конце длинного коридора слабый, бледный свет, который, все больше и больше приближаясь ко мне, осветил дивные черты Тласкалы. Этого видения было довольно, чтобы моя темница превратилась в райскую сень. Но она украсила эту темницу не только своим присутствием, а приготовила очаровательный сюрприз, выказав свою любовь ко мне, столь же горячую, как моя к ней.

– Алонсо, – сказала она, – благородный Алонсо, ты победил. Тени моих отцов убогостворены. Сердце, которым не должен был обладать ни один смертный, теперь – твое; оно – награда за жертвы, которые ты приносишь ради моих несчастных соотечественников.

С этими словами Тласкала упала ко мне в объятия без чувств и почти без дыхания. Я приписал это сильному волнению, но – к несчастью – причина была другая и гораздо более опасная. Ужас, испытанный на кладбище, и последовавшая за этим горячка подорвали ее здоровье.

Однако Тласкала открыла глаза, и, казалось, свет небесный озарил мое подземелье, превратив его в лучезарный приют счастья. Бог любви, предмет почитания древних, живших по законам природы, божественная любовь, нигде – ни на Пафосе, ни в Книде – нигде не обнаружила ты столько могущества, как в этой мрачной темнице Нового Света! Подземелье мое стало твоим храмом, столб, к которому я был прикован, твоим алтарем, а цепи – венцами.

Очарование это до сих пор не рассеялось, до сих пор оно живет еще в моем сердце, охладившим с годами, и когда мысль моя, лелеемая воспоминаниями, переносится в край, населенный призраками прошлого, она не задерживается ни на первой поре любовных восторгов с Эльвирой, ни на иступленных ласках страстной Лауры, а льнет к сырým стенам тюрьмы.

Я вам сказал, что вице-король обрушил на меня свой необузданный гнев. Неистовство его характера одержало в нем верх над чувством справедливости и приязни, которую он испытывал ко мне. Он снарядил быстроходный корабль в Европу и послал доклад, где обвинил меня в подстрекательстве к бунту. Но не успел корабль отплыть, как доброта и чувство-справедливости заговорили в сердце вице-короля громким голосом, и мой поступок представился ему в ином свете. Если б не боязнь повредить самому себе, он послал бы другой доклад, прямо противоположный первому; вместо этого он отправил вдогонку корабль с донесениями, которые должны были смягчить суровость первых.

Совет Индии, медлительный в принятии решений, успел получить второе донесение и в конце концов прислал, как и следовало ожидать, чрезвычайно искусно составленный, мудрый ответ. Приговор Совета производил впечатление беспощадной суровости и обрекал бунтовщиков на смерть. Но если строго придерживаться его формулировок, следовало найти виновных, а это было невозможно, кроме того, вице-король получил тайный приказ, запрещающий поиски. Нам была объявлена только официальная часть приговора, нанеся

последний удар подорванному здоровью Тласкалы. У несчастной открылось кровотечение из легких; горячка, развивавшаяся сначала медленно, потом все быстрее...

Охваченный горем старик больше не мог говорить, голос его прерывался от рыданий. Он ушел, чтобы дать волю слезам, а мы остались, погруженные в торжественное молчание. Каждый в раздумье скорбел над участью прекрасной мексиканки.

ДЕНЬ СОРОК ПЯТЫЙ

Мы собрались в обычную пору и попросили маркиза продолжать свой рассказ, что он и сделал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАРКИЗА ТОРРЕСА РОВЕЛЬЯСА

Говоря вам, что я впал в немилость, я не обмолвился ни словом о том, что в это время делала моя жена. Эльвира сперва сшила себе несколько платьев из темной материи, а потом уехала в монастырь, приемные покои которого превратились в гостиную, всегда полную гостей. Однако жена моя показывалась не иначе, как с платком в руке и распущенными волосами. Доказательства столь неизменной привязанности очень меня растрогали. Хотя с меня и была снята вина, однако для соблюдения юридических формальностей и по свойственной испанцам медлительности мне пришлось просидеть в тюрьме еще четыре месяца. Как только меня выпустили, я сейчас же отправился в монастырь за маркизой и привез ее домой, где ее возвращение было отмечено роскошным балом – но каким балом! Господи боже!

Тласкалы уже не было в живых, самые равнодушные вспоминали о ней со слезами на глазах! Можете представить себе мое отчаяние. Я просто с ума сходил, ничего не видел вокруг. Только новое чувство, пробудив святые надежды, могло вырвать меня из этого плачевного состояния.

Молодой человек, наделенный способностями, горит желанием выдвинуться. В тридцать лет он жаждет популярности, позже – уважения и почета. Популярности я уже достиг, но, наверно, не снискал бы ее, если бы люди знали, до какой степени всеми моими действиями руководила любовь. Но все мои поступки приписывались редкому благородству и необычайному мужеству. К этому присоединился тот особый энтузиазм, которого обычно не жалеют для тех, кто, не боясь опасностей, привлекал своими поступками общее внимание.

Окружавшая меня в Мексике популярность говорила о высоком мнении, которого держатся насчет меня, и лестные знаки внимания вырвали меня из состояния того глубокого отчаяния, в которое я был погружен. Я чувствовал, что еще не заслужил такой популярности, но надеялся стать достойным ее. Истерзанные болью, мы всегда видим перед собой лишь мрачное будущее, но провидение, заботясь о нашей участи, зажигает неожиданно огни, и они снова озаряют наш жизненный путь. Я решил заслужить в собственных глазах ту популярность, которой пользовался: получив должность в управлении страной, я исполнял свои обязанности с неусыпной и нелицеприятной справедливостью. Но я был создан для любви. Образ Тласкалы жил в моем сердце, но тем не менее я чувствовал в нем пустоту и решил ее заполнить.

После тридцати лет еще можно испытать сильную привязанность и даже вызвать ее, но беда тому, кто вздумает в этом возрасте предаваться юным утехам любви. Улыбка уж не играет на устах, умильная радость не блестит в глазах, язык не лепечет очаровательного вздора. Мужчина ищет способов понравиться, но ему нелегко найти их. Ветреная и коварная стая знает в этом толк и, трепеща крыльями, улетает от него прочь, ища общества юноши.

В общем, выражаясь попросту, у меня не было недостатка в возлюбленных, отвечавших мне взаимностью, но нежность их в большинстве случаев имела в виду определенную цель, и, как вы можете догадаться, они покидали меня для более молодых. Такое обращение иногда казалось мне обидным, но никогда не огорчало глубоко. Одни

легкие цепи я сменял на другие, не более тяжелые, и откровенно признаюсь – в такого рода отношениях я испытал больше удовольствия, чем огорчений.

Жене моей исполнилось тридцать девять лет; она все еще была хороша. По-прежнему окружали ее поклонники, но теперь это было скорей данью уважения. Люди искали разговора с ней, но уже не она была предметом этого разговора. Свет еще не отвернулся от нее, хотя в ее глазах потерял привлекательность.

В это время вице-король умер. Эльвира, до тех пор проводившая время в его обществе, пожелала теперь принимать гостей у себя. Я тогда еще любил женское общество, и мне приятно было знать, что стоит спуститься этажом ниже, как я найду его. Маркиза стала для меня будто новой знакомой. Она казалась мне привлекательной, и я старался расположить ее к себе. Дочь, которая сейчас со мной путешествует, – плод нашей возобновившейся связи.

Однако поздние роды оказали губительное влияние на здоровье маркизы. Она стала хворать, потом совсем слегла и уже не встала. Я горько ее оплакивал. Она была первой моей возлюбленной и последней подругой. Нас соединяли узы крови, я был обязан ей своим состоянием и положением: вот сколько соединилось причин для того, чтобы оплакивать эту утрату. Теряя Тласкалу, я был еще окружен всеми соблазнами бытия. А маркиза оставила меня в одиночестве, без утешений и в унынии, из которого ничто уже не могло меня вывести.

Однако я сумел обрести равновесие. Я поехал в свои поместья и поселился у одного из своих вассалов, дочь которого, тогда еще слишком юная, чтобы придавать значение моему возрасту, одарила меня чувством, напоминающим любовь, и позволила сорвать несколько цветков в последние осенние дни моей жизни.

Наконец годы покрыли льдом поток моих чувств, однако нежность не покинула моего сердца. Привязанность к дочери трепещет во мне живой всех прежних увлечений. Единственное желание мое – видеть ее счастливой и умереть на ее руках. Я не могу пожаловаться: дорогое дитя платит мне самой полной взаимностью. Участь ее уже определилась, обстоятельства благоприятствуют, – кажется, я обеспечил ее будущность, насколько можно обеспечить ее кому бы то ни было на земле. Спокойно, хоть и не без сожаления, расстанусь я с этим светом, на котором я, как каждый человек, изведаль много печали, но и много счастья.

Вот и вся история моей жизни. Боюсь только, что я надоел вам, – особенно вон тому сеньору, который уже давно хочет заняться какими-то вычислениями.

В самом деле, Веласкес, достав таблички, что-то усердно писал.

– Виноват, сеньор, – ответил наш математик маркизу, – твой рассказ очень меня заинтересовал, и я ни на минуту не отвлекался, слушая его. Следуя за тобой по твоему жизненному пути и видя, что страсть возрастала в тебе, когда ты начал подвигаться вперед, потом удерживала тебя на достигнутой высоте в зрелом возрасте и служит тебе опорой на закате твоих дней, – мне казалось, что передо мной замкнутая кривая, ордината которой по мере движения по оси абсцисс сначала возрастает согласно уравнению кривой, потом уменьшается в соответствии с прежним возрастанием.

– Право, – заметил маркиз, – я думал, что из пережитого мной можно сделать моральные выводы, но никогда не предполагал, чтоб оно могло служить материалом для уравнения.

– Дело тут не в пережитом тобой, сеньор, – возразил Веласкес, – а в жизни человеческой вообще, физической и моральной силе, которая возрастает с годами, удерживается некоторое время на одном уровне, а затем понижается и тем самым, подобно другим силам, подчиняется незыблемому закону, а именно – определенному соотношению между числом лет и размером силы, определяющей состояние духа. Постараюсь выразиться ясней. Предположим, что твоя жизнь большая ось эллипса, что эта большая ось делится на девяносто лет, которые тебе предназначено прожить, а половина малой оси разделена на пятнадцать равных отрезков. Теперь обратите внимание на то, что отрезки

малой оси, представляющие собой градусы активности, не являются такими величинами, как части большой оси, обозначающие годы. По самой природе эллипса мы получаем кривую линию, быстро поднимающуюся вверх, удерживающуюся некоторое время почти на месте, а потом понижающуюся пропорционально первоначальному подъему.

Примем рождение на свет за исходную точку координат, где X и Y еще равны нулю. Ты родился, сеньор, и через год ордината равна $31/10$. Следующие ординаты уже не будут возрастать на $31/10$. Поэтому разность между нулем и величиной, соответствующей возникновению первых понятий, гораздо значительнее каждой последующей разности. В два, три, четыре года, пять, шесть, семь лет ординаты активности у человека будут $44/10$, затем $54/10$, $62/10$, $69/10$, $75/10$, $80/10$, так что разность составляет $13/10$, $10/10$, $8/10$, $7/10$, $6/10$, $5/10$.

Ордината для четырнадцати лет составляет $109/10$, а сумма разностей во всем втором семилетии не превышает $29/10$. В 14 лет человек только становится юношей и еще продолжает оставаться им в 21 год, однако сумма разностей за эти семь лет составляет всего $18/10$, а за период с 21-го года до 28-ми лет $12/10$. Напоминаю вам, что моя кривая линия отражает жизнь людей, которые отличаются умеренным темпераментом и достигают наибольшей активности между сорока и сорока пятью годами. В твоей жизни, сеньор, главным двигателем была любовь, поэтому наибольшая ордината должна была прийти к лету на десять раньше, где-то между тридцатью и тридцатью пятью годами. Подыматься ты должен был значительно быстрее. В самом деле, наибольшая ордината пришлась у тебя на 35 лет, так что я строю твой эллипс на большой оси, разделенной на 70 лет. На этом основании ордината четырнадцати лет, составляющая у человека умеренного $109/10$, у тебя составляет $120/10$; ордината 21-го года, вместо $127/10$, составляет у тебя $137/10$. Зато в 42 года у человека умеренного активность еще продолжает возрастать, а у тебя она уже понижается.

Будь добр, напряги еще на минуту все свое внимание. В 14 лет ты любишь молодую девушку, а достигнув 21-го года – становишься примерным мужем. В 28 лет ты первый раз изменяешь, но женщина, которую ты полюбил, отличается душевным благородством, пробуждает его и в тебе, и ты в 35 лет славно выступаешь на общественном поприще. Вскоре, однако, у тебя возникает влечение к легким связям, уже испытанное в 28 лет, – ордината этого возраста равна ординате 42-х лет.

Дальше ты опять становишься хорошим мужем, каким был в 21 год, – ордината этого возраста равна ординате 49-ти лет. Наконец, ты уезжаешь к одному из своих вассалов и там загораешься любовью к молодой девушке, такой же, какую ты любил в 14 лет, – ордината этого возраста равна ординате 56-ти лет. Только прошу тебя, многоуважаемый маркиз, – не подумай, будто, деля большую ось твоего эллипса на семьдесят частей, я ограничиваю продолжительность твоей жизни этим количеством лет. Наоборот, ты можешь спокойно прожить до девяноста и даже дольше, но в этом случае эллипс твой постепенно перейдет в другого рода кривую, несколько сходную с цепной линией.

С этими словами Веласкес встал, странно взмахнул руками, выхватил шпагу, принялся чертить линии на песке и, наверно, развил бы перед нами теорию кривых, именуемых цепными, если бы маркиз, как и остальное общество, не особенно интересуясь доказательствами нашего математика, не попросил разрешения уйти и лечь спать. Осталась одна только Ревекка. Веласкес несколько не обиделся на ушедших, ему было довольно прекрасной еврейки, которой он продолжал излагать свою систему. Я долго следил за его выкладками, но в конце концов, утомленный бесконечным количеством терминов и цифр, к которым никогда не испытывал ни малейшего влечения, почувствовал, что у меня глаза слипаются, и пошел ложиться. Веласкес продолжал свои объяснения.

ДЕНЬ СОРОК ШЕСТОЙ

Мексиканцы, которые оставались с нами дольше, чем рассчитывали, решили в конце

концов оставить нас. Маркиз старался уговорить старого цыгана ехать вместе с ними в Мадрид и начать там жизнь, более отвечающую его происхождению, но старик ни за что не соглашался. Он даже просил маркиза нигде не упоминать о нем и не выдавать тайну его существования. Путники засвидетельствовали будущему герцогу Веласкесу свое уважение и сделали мне честь просьбой о дружбе с ними.

Проводив их до конца долины, мы долго смотрели вслед уезжающим. Когда мы возвращались, мне пришло в голову, что ведь в караване кого-то не хватает: я вспомнил о девушке, найденной под страшной виселицей Лос-Эрманос, и спросил вожака цыган, что с ней случилось и действительно ли это опять какое-то необычайное происшествие, какие-то проделки проклятых извергов, немало поиздевавшихся и над нами. Цыган с насмешливой улыбкой промолвил:

– На этот раз ты ошибаешься, сеньор Альфонс. Но такова человеческая природа: однажды отведав чудесного, она старается увидеть его в самых простых житейских событиях.

– Ты прав, – перебил Веласкес, – к такого рода представлениям можно тоже применить теорию геометрических прогрессий, первым членом здесь будет темный суевер, а последним – алхимик или астролог. А между двумя этими членами свободно уместится еще много тяготеющих над человечеством предрассудков.

– Ничего не могу возразить против этого утверждения, – сказал я, – но ведь это не объясняет мне, кто была эта незнакомая девушка.

– Я послал одного из своих, – ответил цыган, – собрать о ней сведения. Мне сообщили, что это бедная сирота, которая после смерти возлюбленного помешалась и, не имея приюта, живет подаяниями проезжающих и милостыней пастухов. По большей части она бродит в одиночестве по горам и спит, где ее застанет ночь. Видимо, в тот раз она забралась под виселицу Лос-Эрманос и, не понимая, в каком она страшном месте, преспокойно заснула. Маркиз, движимый жалостью, велел позаботиться о ней, но дурочка, собравшись с силами, убежала из-под стражи и скрылась где-то в горах. Меня удивляет, что вы до сих пор нигде ее не встречали. Бедняжка в конце концов свалится где-нибудь со скалы и сгинет без следа, хоть, признаться, жалеть о таком жалком существовании не стоит. Иногда пастухи разведут костер и вдруг видят: подходит Долорита – так зовут несчастную, – преспокойно садится, уставится пронзительным взглядом на кого-нибудь из них, потом обовьет ему шею руками и называет именем умершего возлюбленного. Сначала пастухи убегали от нее, но потом привыкли и теперь смело подпускают ее к себе и даже кормят.

После того как цыган это сказал, Веласкес принялся рассуждать о силах, противоборствующих и друг друга поглощающих, о страсти, которая после долгой борьбы с разумом в конце концов победила его и, вооружившись жезлом безумия, сама воцарилась в мозгу. Меня удивили слова цыгана: я не понимал, как это он упускает случай снова угостить нас предлинной историей. Может быть единственной причиной краткости, с которой он поведал нам историю Долориты, было появление Вечного Жида, который быстро убежал из-за горы. Каббалист стал произносить какие-то странные заклинания, но Вечный Жид долго не обращал на них внимания, – наконец, как бы только из учтивости к присутствующим, подошел к нам и сказал Уседе:

– Кончилось твое господство, ты потерял власть, которой оказался недостойным. Тебя ждет страшное будущее.

Каббалист захохотал во все горло, но видно, смех был не искренний, так как он тут же чуть не умоляющим тоном заговорил с Вечным Жидом на каком-то незнакомом языке.

– Хорошо, – сказал Агасфер, – только нынче – и в последний раз. Больше ты меня не увидишь.

– Это не важно, – возразил Уседа. – Там видно будет. А пока, старый наглец, используй время нашей прогулки и продолжи свой рассказ. Мы еще посмотрим, у кого больше власти, – у шейха Таруданта или у меня. К тому же мне известны причины, по которым ты хочешь от нас скрыться, и можешь быть уверен, я все их раскрою.

Несчастный бродяга бросил на каббалиста уничтожающий взгляд, но, видя, что сопротивление бесполезно, занял, как обычно, место между мной и Веласкесом и после небольшого молчания начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЧНОГО ЖИДА

Я рассказывал вам, как в тот самый миг, когда я уже почти достиг заветной цели, в храме поднялась суматоха, и на нас накинута какой-то фарисей, назвавший меня мошенником. Как обычно бывает в таких случаях, я ответил ему, что он – клеветник и, если сам сейчас же отсюда не уберется, я прикажу моим людям вышвырнуть его вон.

– Довольно! – закричал фарисей, обращаясь к присутствующим. – Этот негодный саддукей морочит вам голову. Пустил ложный слух, чтоб разбогатеть за ваш счет; он пользуется вашим легковерием, но пора сорвать с него маску. Чтоб доказать вам, что я не вру, предлагаю каждому из вас за унцию серебра вдвое больше золота.

Таким путем фарисей еще наживал двадцать пять на сто, но народ, охваченный жадой наживы, обступил его со всех сторон, величая благодетелем города и не скупясь на самые злые насмешки по моему адресу. Понемногу страсти разгорелись, люди стали от слов переходить к действиям, и мгновенно в храме поднялся такой гвалт, что ничего нельзя было разобрать. Видя, что надвигается страшная буря, я поскорее отослал, сколько мог, серебра и золота домой. Но прежде чем слуги успели все вынести, народ в ярости бросился на столы и стал хватать оставшиеся монеты. Напрасно оказывал я самое мужественное сопротивление, противная сторона одолевала. В одну минуту храм стал полем боя. Не знаю, чем бы все это кончилось, может быть, я не вышел бы оттуда живым, кровь лилась у меня из головы, – если б вдруг не вошел Пророк Назаретский со своими учениками.

Никогда не забуду повелительного грозного голоса, в одно мгновение усмирившего весь этот хаос. Мы ждали, чью сторону он возьмет. Фарисей был уверен, что выиграл спор, но Пророк обрушился на обе стороны, обличая их в святотатстве, осквернении скинии Завета и в том, что мы пренебрегли Создателем ради добра бесовского. Речь его произвела сильное впечатление на собравшихся, храм стал наполняться людьми, среди которых было много сторонников нового учения. Обе враждующие стороны поняли, что вмешательство третьего им очень невыгодно. И мы не ошиблись, так как грянул клич: «Вон из храма!» – вырвавшийся будто из одной груди. Тут народ в фанатическом исступлении, уже не думая о наживе, стал выбрасывать столики и выталкивать нас за двери.

На улице давка все усиливалась, но народ в большинстве своем обращал внимание на Пророка, а не на нас, и я, пользуясь общей суматохой, незаметно, боковыми улочками, добрался до дому. В дверях я столкнулся с нашими слугами, которые прибежали, неся ту часть денег, которую удалось спасти. Одного взгляда на мешки было мне довольно, чтоб убедиться, что хоть на прибыль рассчитывать не приходится, но и потерь нет. Я вздохнул с облегчением.

Цедекия уже знал обо всем. Сарра с тревогой ждала моего возвращения; увидев, что я в крови, она побледнела и кинулась мне на шею. Старик долго озибался в молчанье, тряс головой, словно собирался с мыслями, наконец промолвил:

– Я обещал тебе, что Сара будет твоей, если ты удвоишь доверенные тебе деньги. Что ты с ними сделал?

– Не моя вина, – ответил я, – если непредвиденный случай помешал моим намереньям. Я защищал твоё достояние с опасностью для собственной жизни. Можешь пересчитать свои деньги, ты ничего не потерял, – наоборот, есть даже некоторая прибыль, о которой, конечно, не стоит говорить, по сравнению с той, которая нас ждала.

Тут мне вдруг пришла в голову счастливая мысль, я решил сразу бросить все на чашу весов и прибавил:

– Но если хочешь, чтоб сегодняшний день был днем прибыли, я могу восполнить ущерб другим способом.

– Как же это? – воскликнул Цедекия. – Опять какие-нибудь затеи, столь же удачные, как прежние?

– Ничуть не бывало, – возразил я. – Ты сам убедишься, что ценность, которую я тебе предлагаю, вполне реальная.

С этими словами я выбежал из комнаты и через минуту вернулся со своим бронзовым ларцом. Цедекия внимательно смотрел на меня, на губах у Сарры появилась улыбка надежды, а я открыл ларец, вынул оттуда бумаги и, разорвав их пополам, протянул старику. Цедекия сразу понял, в чем дело, судорожно схватил бумаги, выражение непередаваемого гнева появилось на его лице, он встал, хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Участь моя решалась. Я упал старику в ноги и стал обливать их горячими слезами.

При виде этого Сарра опустилась рядом со мной на колени и, сама не зная почему, вся в слезах стала целовать дедушке руки. Старик опустил голову на грудь, – буря чувств бушевала в груди его, он молча разорвал бумаги на мелкие клочки, потом вскочил и поспешно вышел из комнаты. Мы остались одни, во власти самого мучительного недоумения. Признаться, я потерял всякую надежду; но после того, что произошло, мне больше нельзя было оставаться в доме Цедекии. Поглядел еще раз на плачущую Сарру и вышел, но вдруг увидел, что в сених полно народу и все суетятся. На мой вопрос, в чем дело, мне ответили с улыбкой, что от меня меньше, чем от кого-либо, следовало бы ждать такого вопроса.

– Ведь Цедекия, – прибавили они, – выдает за тебя свою внучку и приказал поспешить с приготовлениями к свадьбе.

Можете себе представить, как от отчаяния я сразу перешел к неопишуемому блаженству. Через несколько дней я женился на Сарре. Мне не хватало только, чтобы мой друг был со мной в это счастливое время. Но Германус, увлекшись проповедью Назаретского Пророка, принадлежал к числу тех, кто выгонял нас из храма, и я, несмотря на мое дружеское чувство, вынужден был порвать с ним всякие отношения и с тех пор совсем потерял его из вида.

После стольких испытаний мне подумалось, что для меня наступила спокойная жизнь, тем более что я отказался от ремесла менялы, в котором таилось столько опасностей. Я решил жить на свои средства, а чтобы не тратить напрасно времени, отдать деньги в рост. И действительно, недостатка в просьбах о займе не было, так что я получал значительный доход. А Сарра с каждым днем все больше услаждала мне жизнь. Как вдруг неожиданный случай все изменил.

– Но солнце уж заходит, для вас приближается время сна, а меня вызывает могучее заклинание, которому я не в силах сопротивляться. Какое-то странное чувство овладевает моей душой: уж не наступает ли конец моих страданий? Прощайте.

И бродяга скрылся в соседнем ущелье. Последние слова его удивили меня, я спросил каббалиста, как их надо понимать.

– Я сомневаюсь, – ответил Уседа, – что мы услышим продолжение рассказа. Этот бездельник всякий раз, дойдя до того момента, когда он за оскорбление Пророка был приговорен к вечному скитанию, обычно исчезает, и никакие силы в мире не способны заставить его вернуться. Меня последние слова его не удивили. С некоторых пор я сам замечаю, что бродяга сильно постарел, но он не умрет, так как в противном случае, что стало бы с вашим преданьем?

Видя, что каббалист хочет вступить на путь таких высказываний, которые не следует слушать правоверным католикам, я прервал беседу, отошел от остального общества и вернулся один в свой шатер.

Вскоре все тоже разошлись, но, видно, легли не сразу: я долго еще слышал голос Веласкеса, развивавшего перед Ревеккой какие-то математические доказательства.

ДЕНЬ СОРОК СЕДЬМОЙ

На другой день цыган объявил нам, что ждет нового подвоза товаров и для верности решил провести некоторое время на этом месте. Эта новость очень нас обрадовала, так как во всей горной цепи Сьерра-Морена невозможно было найти более прелестного уголка. С утра я пустился в обществе нескольких цыган на охоту в горы, а вечером, после возвращения, присоединился к остальному обществу и стал слушать дальнейший рассказ вожака цыган, который начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Я вернулся в Мадрид с кавалером Толедо, решившим щедро вознаградить себя за время, проведенное в монастыре камедулов. Приключения Лопеса Суареса живо его заинтересовали; по дороге я сообщил ему некоторые подробности, кавалер внимательно слушал, потом сказал:

– Вступая в новую жизнь после покаянья, следовало бы начать с какого-нибудь доброго поступка. Мне жаль этого бедного юношу, который, находясь на чужбине, не имея ни друзей, ни знакомых, больной, покинутый и к тому же влюбленный, не знает, на что ему решиться. Аварито, проводи меня к Суаресу: может быть, я сумею быть ему чем-нибудь полезен.

Намеренье Толедо несколько меня не удивило: я уже давно имел возможность убедиться в его благородном образе мыслей и всегдашней готовности оказать помощь другому.

На самом деле, приехав в Мадрид, кавалер тотчас же отправился к Суаресу. Я пошел с ним. Как только мы вошли, нас поразило страшное зрелище. Лопес лежал в жестоком приступе лихорадки. Глаза у него были открыты, но он ничего не видел, по временам только слабая улыбка пробегала по его запекшимся губам, – быть может, он мечтал в эти мгновенья о возлюбленной Инессе. Возле кровати сидел в кресле Бускерос, но он даже не обернулся, когда мы вошли. Подойдя к нему, я увидел, что он спит. Толедо приблизился к виновнику несчастий бедного Суареса и дернул его за руку. Дон Роке проснулся, протер глаза, выпучил их и воскликнул:

– Что я вижу! Сеньор дон Хосе здесь? Вчера я имел честь встретить на Прадо сиятельного герцога Лерму, который пристально на меня посмотрел, видимо, желая короче со мной познакомиться. Если его сиятельству понадобятся мои услуги, благоволите передать, сеньор, своему знаменитому брату, что я в любую минуту – к его услугам.

Толедо остановил нескончаемый поток слов Бускероса замечанием:

– Сейчас не о том речь. Я пришел узнать, как себя чувствует больной и не нужно ли ему чего-нибудь.

– Больной чувствует себя плохо, – ответил дон Роке, – он нуждается прежде всего в здоровье, утешении и руке прекрасной Инессы.

– Что касается первого, – ответил Толедо, – то я сейчас схожу за лекарем моего брата, одним из искуснейших в Мадриде.

– Что касается второго, – подхватил Бускерос, – ему ничем не поможешь, потому что вернуть жизнь его отцу невозможно. А насчет третьего могу вас уверить, что не жалею трудов для того, чтобы привести этот замысел в исполнение.

– Как? – воскликнул я. – Отец дон Лопеса умер?

– Да, – ответил Бускерос, – внук того самого Иньиго Суареса, который, избородив много морей, основал торговый дом в Кадисе. Больной стал уже чувствовать себя гораздо лучше и, конечно, скоро совсем бы выздоровел, если б снова не уложила его в постель весть о кончине родителя. Но так как, сеньор, – продолжал Бускерос, обращаясь к Толедо, – ты искренне интересуешься судьбой моего друга, позволь мне принять участие в поисках лекаря и одновременно предложить тебе свои услуги.

После этого оба ушли, а я остался один при больном. Долго всматривался я в его

бледное лицо, на котором в такой короткий срок выступили морщины страдания, и в душе проклинал нахала – причину всех несчастий Суареса. Больной спал, и я сидел, сдерживая дыхание, чтобы невольным движением не нарушить его покой, как вдруг в дверь постучали. Я встал в раздражение и на цыпочках пошел отворять. Передо мной была уже немолодая, но очень милостивая женщина; увидев, что я приложил палец к губам в знак необходимости молчать, она попросила меня выйти к ней в переднюю.

– Мой юный друг, – сказала она, – ты не скажешь мне, как себя чувствует нынче сеньор Суарес?

– По-моему, неважно, – ответил я, – но сейчас он заснул, и я надеюсь, что сон подкрепит его.

– Мне сказали, что он очень страдает, – продолжала незнакомка, – и одна особа, которая им интересуется, просила меня пойти и самой убедиться, в каком он состоянии. Будь любезен, когда он проснется, передай ему эту записку. Завтра я приду узнать, не стало ли ему лучше.

С этими словами дама исчезла, а я спрятал записку в карман и вернулся в комнату.

Вскоре пришел Толедо с врачом; почтенный служитель Эскулапа напоминал своей наружностью доктора Сангре Морено. Он остановился над ложем больного, покачал головой, потом сказал, что в данную минуту ни за что не может поручиться, но что он останется на всю ночь при больном и завтра сможет дать окончательный ответ. Толедо дружески обнял его, попросил не жалеть усилий, и мы вышли вместе, давая себе каждый мысленно слово на другой день, чуть свет, вернуться. По дороге я рассказал кавалеру о посещении незнакомки. Он взял у меня записку и промолвил:

– Уверен, что письмо – от прекрасной Инессы. Завтра, если Суарес будет чувствовать себя лучше, можно будет ему вручить записку. Право, я полжизни готов отдать за счастье этого молодого человека, которому причинил столько страданий. Но уже поздно, нам тоже после дороги нужен отдых. Пойдем, переночуешь у меня.

Я охотно принял приглашение человека, к которому начал все сильнее привязываться, и, поужинав, заснул крепким сном.

На другой день мы пошли к Суаресу. По лицу врача я понял, что его искусство одержало победу над болезнью. Больной еще был очень слаб, но узнал меня и сердечно приветствовал. Толедо рассказал ему, каким образом стал причиной его падения, уверил, что в будущем постарается всеми средствами возместить ему испытанные неприятности, и попросил, чтоб он отныне считал его своим другом. Суарес с благодарностью принял это предложение и протянул кавалеру свою ослабевшую руку. Толедо вышел с врачом в соседнюю комнату; тут, воспользовавшись подходящей минутой, я передал Суаресу записку. То, что в ней было написано, оказалось, видимо, самым лучшим лекарством; Суарес сел в постели, из глаз его полились слезы, он прижал письмо к сердцу и голосом, прерывающимся от рыданий, промолвил:

– Великий боже! Значит, ты не оставил меня, я не один на свете! Инесса, моя дорогая Инесса не забыла обо мне, она любит меня! Благородная сеньора Авалос приходила узнать о моем здоровье.

– Да, сеньор Лопес, – ответил я, – но, ради бога, успокойся: неожиданное волнение может тебе повредить.

Толедо услышал мои последние слова; он вошел вместе с врачом, который рекомендовал больному прежде всего покой, назначил ему жаропонижающее питье и ушел, обещав вечером вернуться. Через некоторое время дверь опять приоткрылась, и вошел Бускерос.

– Bravo! – воскликнул он. – Превосходно! Я вижу, нашему больному гораздо лучше! Очень хорошо, потому что скоро нам придется развить самую энергичную деятельность. В городе ходят слухи, что на днях дочь банкира выходит замуж за герцога Санта-Мауру. Пускай болтают что хотят: посмотрим, чья возьмет. Между прочим, я встретил в трактире «Золотой олень» дворянина из свиты герцога и намекнул ему слегка, что им придется уехать

не солоно хлебавши.

– Разумеется, – перебил Толедо, – я тоже считаю, что сеньор Лопес не должен терять надежды, хотя желал бы, чтоб на этот раз, вы, сударь, ни во что не мешались.

Кавалер произнес это подчеркнуто твердо. Дон Роке, видимо, не посмел ничего ответить; я только заметил, что он с удовольствием глядит, как Толедо прощается с Суаресом.

– Красивые слова ничего нам не дадут, – сказал дон Роке, когда мы остались одни. – Здесь нужно действовать, и притом как можно быстрее.

Наглец еще не успел договорить, как я услышал стук в дверь. Я подумал, что это сеньора Авалос, и шепнул Суаресу на ухо, чтоб он выпустил Бускероса через черный ход, но тот возмутился, услышав это, и сказал:

– Повторяю, надо действовать. Если это посещение связано с главным нашим делом, я должен при нем присутствовать или, по крайней мере, слышать весь разговор из другой комнаты.

Суарес кинул на Бускероса умоляющий взгляд, а тот, видя, что его присутствие больному очень неприятно, вышел в соседнюю комнату и спрятался за дверь. Сеньора Авалос была недолго; она радостно поздравила Суареса с выздоровлением, уверила его, что Инесса все время о нем думает и любит его, что она, сеньора Авалос, пришла навестить его по ее просьбе и, наконец, что Инесса, узнав о выпавшем на его долю новом несчастье, решила нынче вечером вместе с тетей навестить его и словами утешенья и надежды придать ему бодрости для перенесения посланных судьбой испытаний.

Как только сеньора Авалос ушла, в комнату опять ворвался Бускерос со словами:

– Что я слышал? Прекрасная Инесса хочет навестить нас сегодня вечером? Вот это истинное доказательство любви! Бедная девушка даже не думает о том, что этим необдуманным поступком может навеки погубить себя. Но тут – мы подумаем за нее. Сеньор дон Лопес, я бегу к моим друзьям, расставляю их, как часовых, и скажу, чтоб они не впускали в дом никого чужого. Не волнуйся, я беру все это дело на себя.

Суарес хотел что-то сказать, но дон Роке выскочил вон, как ошалелый. Видя, что надвигается новая буря и Бускерос опять задумал какую-то проделку, я, не говоря ни слова больному, как можно скорей поспешил к Толедо и рассказал ему обо всем, что произошло. Кавалер нахмурился и, подумав, велел мне вернуться к Суаресу и сказать ему, что он, Толедо, сделает все, чтобы предотвратить выходки нахала. Вечером мы услышали стук колес остановившегося экипажа. Через мгновение вошла Инесса с тетей. Не желая тоже быть назойливым, я незаметно вышел за дверь, как вдруг снизу послышался шум. Я поспешил вниз и увидел, что Толедо горячо спорит с каким-то незнакомцем.

– Сударь, – говорил приезжий, – клянусь, я сюда войду. Моя нареченная ходит в этот дом на любовные свидания с одним жителем Кадиса, – я твердо это знаю. Друг этого мерзавца вербовал в трактире «Золотой олень» при моем дворецком каких-то головорезов, чтоб те караулили, пока пара голубков будет вместе.

– Прости, сеньор, – возразил Толедо, – я ни в коем случае не могу позволить тебе войти в этот дом. Не отрицаю: сюда недавно вошла одна молодая женщина, но это моя родственница, и я никому не дам ее в обиду.

– Ложь! – воскликнул незнакомец. – Эта женщина – Инесса Моро, моя нареченная.

– Сеньор, ты назвал меня лжецом, – возразил Толедо. – Прав ты или нет – неважно, но ты меня оскорбил и, прежде чем сделаешь шаг, должен дать мне удовлетворение. Я кавалер Толедо, брат герцога Лермы.

Незнакомец приподнял шляпу и промолвил:

– Герцог Санта-Маура, сеньор, к твоим услугам.

С этими словами он сбросил плащ и обнажил шпагу. Фонарь над дверью кидал бледный свет на сражающихся. Я прислонился к стене, дожидаясь конца этого печального происшествия. Вдруг герцог выпустил шпагу из руки, схватился за грудь и растянулся во весь рост на земле. Как раз в это время врач герцога Лермы пришел навестить Суареса.

Толедо подвел его к герцогу и с тревогой осведомился, не смертельна ли рана.

– Нет, нет, – возразил врач. – Прикажите только как можно скорей перенести его домой и перевязать. Через несколько дней он будет здоров: шпага не задела легких.

Он дал раненому нюхательную соль. Санта-Маура открыл глаза. Тогда Толедо подошел к нему и сказал:

– Светлейший герцог, ты не ошибся, прекрасная Инесса здесь у молодого человека, которого она любит больше жизни. Судя по тому, что произошло между нами, ваше сиятельство слишком благородны, чтобы принуждать молодую девушку к союзу, который ей не по сердцу.

– Сеньор кавалер, – возразил слабым голосом Санта-Маура, – я не могу сомневаться в истине твоих слов, но меня удивляет, что прекрасная Инесса сама не сказала мне, что сердце ее не свободно. Несколько слов из ее уст либо несколько слов, написанных ее рукой...

Герцог хотел продолжать, но опять потерял сознание. Его унесли домой, а Толедо побежал наверх – сказать Инессе, чего требует ее поклонник, соглашаясь оставить ее в покое и отказаться от ее руки.

Что же ко всему этому добавить? Вы сами догадываетесь, чем дело кончилось. Суарес, уверенный в любви своей возлюбленной, стал быстро выздоравливать. Он потерял отца, но приобрел друга и жену, так как отец Инессы не разделял ненависти, которой пылал к нему покойный Гаспар Суарес, и охотно согласился на их брак. Молодые сейчас же после свадьбы уехали в Кадис. Бускерос проводил их на несколько миль от Мадрида и сумел выманить у новобрачных кошелек с золотом – за мнимые услуги. Что касается меня, я полагал, что судьба никогда больше не сведет меня с несносным нахалом, к которому я испытывал невыразимое отвращение, – а между тем вышло иначе.

С некоторых пор я стал замечать, что дон Роке часто называет имя моего отца. Предвидя, что это знакомство не может быть нам полезным, я стал следить за каждым шагом Бускероса и узнал, что у него есть родственница, некая Гита Симьенто, которую он хочет непременно выдать за моего отца, зная, что дон Авадоро – человек зажиточный и, может быть, даже более богатый, чем думают.

Как бы то ни было, прекрасная Гита уже сняла квартиру на той узкой улице, куда выходил балкон моего отца.

Тетка моя была тогда в Мадриде. Я не мог отказать себе в радости обнять ее. Добрая тетя Даланоса, увидев меня, растрогалась до слез, но заклинала не показываться в обществе до окончания срока моего покаянья. Я рассказал ей о замыслах Бускероса. Она признала, что необходимо помешать их осуществлению, и обратилась за советом к дяде своему, достопочтенному театинцу Херонимо Сантосу, но тот решительно отказал в своей помощи, утверждая, что, как монах, он не должен вмешиваться в мирские дела и что он только тогда уделяет внимание семейным делам, когда речь идет о примирении ссорящихся или предотвращении раздоров, а о случаях другого рода не желает и слышать.

Предоставленный самому себе, я хотел было довериться кавалеру; но тогда мне пришлось бы объяснить, кто я, чего никак нельзя было сделать, не нарушив законов чести.

Между тем я стал внимательно следить за Бускеросом, который после отъезда Суареса привязался к Толедо (хотя далеко не так назойливо) и каждый день приходил узнать, не потребуются ли кавалеру его услуги.

При этих словах цыгана один из его подчиненных явился давать ему отчет о таборных делах, и в этот день мы его больше не видели.

ДЕНЬ СОРОК ВОСЬМОЙ

Когда на другой день мы собрались вместе, цыган, уступив общим просьбам, стал рассказывать дальше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Лопес Суарес уже две недели был счастливым супругом прелестной Инессы, а Бускерос, доведя до конца, как ему казалось, это важное дело, привязался к Толедо. Я предупредил кавалера насчет нахальства его приспешника, но дон Роке сам чувствовал, что на этот раз надо быть осторожней. Толедо позволил ему приходить, и Бускерос понимал, что сохранить это право можно только не злоупотребляя им.

Однажды кавалер спросил его, что это за увлечение, которому герцог Аркос отдавался столько лет, и действительно ли эта женщина была настолько хороша, что сумела так долго удерживать герцога.

Бускерос с важным видом промолвил:

– Ваша светлость, вы, конечно, глубоко уверены в моей преданности, коли спрашиваете меня относительно тайны моего бывшего опекуна. С другой стороны, имея честь быть столь близко знакомым с вашей светлостью, я не могу сомневаться, что некоторая легкость, которую я заметил в вашем обхождении с женщинами, не распространится на меня, и ваша светлость не захочет подвергать опасности своего верного слугу, выдав его тайну.

– Сеньор Бускерос, – заметил кавалер, – я не просил тебя о панегирике.

– Знаю, – сказал Бускерос, – но панегирик по адресу вашего высочества всегда на устах у тех, которые имели честь завязать с вами знакомство. Историю, о которой ваша светлость меня спрашивает, я начал рассказывать молодому негоцианту, которого мы недавно женили на прекрасной Инессе.

– Но не кончил рассказа. Лопес Суарес пересказал ее маленькому Аварито, а тот – мне. Ты остановился на том, что Фраскита рассказала тебе свою историю в саду, а переодетый Аркос, под видом ее подруги, подошел к тебе и сказал, что дело идет об ускорении отъезда Корнадеса и что он хочет, чтобы тот не просто совершил паломничество, но некоторое время пожил в одном из святых мест.

– У вашей светлости поразительная память, – заметил Бускерос. – В самом деле, светлейший герцог обратился ко мне с этими словами; но так как вашей светлости история жены уже известна, мне по порядку надлежит начать историю мужа и объяснить, каким образом свел он знакомство с ужасным пилигримом по имени Эрвас.

Толедо сел, промолвив, что завидует герцогу, имевшему такую возлюбленную, как Фраскита, что он всегда любил дерзких женщин и что в этом отношении она превосходит всех, каких он до сих пор знал. Бускерос двусмысленно улыбнулся, потом начал свой рассказ.

ИСТОРИЯ КОРНАДЕСА

Муж Фраскиты был сыном горожанина из Саламанки. Имя его было поистине вещим³⁸. Он долго занимал какую-то второстепенную должность в одной из местных канцелярий и одновременно вел небольшую оптовую торговлю, снабжая товарами мелких лавочников. Потом получил порядочное наследство и решил, по примеру большей части своих родственников, предаться ничегонеделанью. Все его занятия сводились к посещению церквей и общественных сборищ да курению сигар.

Ваша светлость, конечно, понимает, что при такой склонности к покою Корнадесу не следовало жениться на первой попавшейся хорошенькой резвушке, строившей ему глазки в окне; но в том и заключается великая загадка человеческого сердца, что никто не поступает так, как должен поступить. Один все счастье видит в браке, всю жизнь колеблется перед выбором и в конце концов умирает холостым; другой клянется никогда не жениться и, несмотря на это, меняет жен одну за другой. Так вот и наш Корнадес – женился. Сначала

³⁸ имя «Корнадес» происходит от испанского слова *cornuto* – рогоносец

счастье его не поддавалось описанию; вскоре, однако, он стал жаловаться, особенно когда увидел, что у него на шее не только граф де Пенья Флор, но еще и тень его, вырвавшаяся, на горе несчастного мужа, прямо из преисподней. Корнадес помрачнел и перестал показываться в обществе. Он велел перенести свою кровать в кабинет, где стояли аналой и кропильница. Днем он редко видел жену и стал все чаще ходить в церковь.

Как-то раз он встал возле одного пилигрима, который вперил в него такой пронзительный взгляд, что Корнадес, охваченный тревогой, должен был выйти из церкви. Вечером он опять встретил его на прогулке и с тех пор стал его встречать всегда и всюду. Где бы он ни находился, неподвижный пронзительный взгляд пилигрима повергал его в невыразимую тревогу. Наконец, преодолевая враждебную робость, Корнадес сказал:

– Сеньор, если ты не перестанешь меня преследовать, я подам жалобу алькальду.

– Жалобу! Жалобу! – возразил пилигрим унылым, замогильным голосом. – Да, тебя преследуют, но кто? Твои сто дублонов, уплаченные за голову, и убитый, погибший без причастия. Что? Я не угадал?

– Кто ты? – спросил Корнадес, объятый ужасом.

– Я – осужденный на вечные муки, – ответил пилигрим. – Но уповаю на милосердие божье. Слышал ли ты когда-нибудь об ученом Эрвасе?

– Все уши прожужжали мне об этой истории, – сказал Корнадес. – Это был безбожник, который плохо кончил.

– Вот именно, – продолжал пилигрим. – А я – его сын, с самого рождения отмеченный клеймом проклятия. Но взамен мне дана власть обнаруживать клеймо на лбах грешников и наставлять их на путь спасенья. Иди за мной, жалкая игрушка сатаны, чтобы узнать меня ближе.

Пилигрим привел Корнадеса в сад отцов целестинцев и, сев с ним на скамью в одной из самых пустынных аллей, повел свой рассказ.

ИСТОРИЯ ДИЕГО ЭРВАСА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО СЫНОМ ОСУЖДЕННЫМ ПИЛИГРИМОМ

Меня зовут Блас Эрвас. Мой отец – Диего Эрвас, посланный в молодом возрасте в Саламанку учиться в университете, сразу обратил на себя внимание необычайным рвением к наукам. Вскоре он оставил далеко позади своих однокашников, а через несколько лет одерживал верх в спорах со всеми профессорами. Запершись в своей каморке с творениями лучших представителей всех наук, он возымел сладкую надежду достичь такой же славы, чтобы имя его было сопричислено к именам знаменитейших ученых.

К этому стремлению, как ты видишь, слишком неумеренному, Диего присоединил еще другое. Он задумал издавать свои труды анонимно и только после всеобщего признания их ценности объявить свое имя и мгновенно прославиться. Увлеченный этими замыслами, он решил, что Саламанка представляет собой не тот небосклон, на котором великолепная звезда его судьбы могла бы заблистать с соответствующей яркостью, и устремил свои взгляды к столице. Там, без сомненья, люди, отмеченные гением, оцениваются по достоинству, вызывая преклоненье толпы, доверье министров и даже покровительство короля.

Диего считал поэтому, что только столица способна по достоинству оценить его замечательное дарование. Перед глазами нашего молодого ученого были геометрия Картезиуса, анализ Гарриота, творения Ферма и Роберваля. Он ясно видел, что эти великие гении, прокладывая дорогу науке, подвигались вперед неуверенными шагами. Он собрал вместе все их великие открытия, сделал выводы, какие тогда никому в голову не приходили, и предложил поправки к применявшимся тогда логарифмам. Он работал над своим произведением больше года. В то время книги по геометрии писались исключительно латыни; но Эрвас, ради большей доступности, написал свою по-испански, а чтоб привлечь всеобщее внимание, дал ей такое заглавие: «Раскрытие тайны анализа с сообщением о бесконечно малых всех степеней».

Когда рукопись была окончена, мой отец вступил в свое совершеннолетие и получил в связи с этим уведомление от своих опекунов: они сообщали ему, что имущество его, составлявшее первоначально восемь тысяч пистолей, в силу целого ряда непредвиденных обстоятельств сократилось до восьмисот, которые после утверждения официального отчета опеки будут ему немедленно вручены. Эрвас, подсчитав, что на печатание рукописи и дорогу в Мадрид потребуется как раз восемьсот пистолей, поспешил утвердить отчет опеки, взял деньги и отправил рукопись в цензуру. Цензоры теологического отделения стали было чинить ему препятствия, так как анализ бесконечно малых величин, по их мнению, мог привести к атомам Эпикура – учению, осужденному Церковью. Цензорам объяснили, что речь идет об отвлеченных величинах, а не о материальных частицах, и они сняли свои возражения.

Из цензуры сочинение перешло в печатню. Это был огромный том *in quarto*³⁹, для которого нужно было отлить недостающие алгебраические знаки и даже приготовить новые литеры. Таким образом, выпуск тысячи экземпляров обошелся в семьсот пистолей. Эрвас потратил их тем охотней, что рассчитывал получить три пистоля за экземпляр, что давало ему две тысячи триста пистолей чистой прибыли. Хотя он и не гнался за прибылью, однако не без удовольствия думал о возможности получить эту кругленькую сумму.

Печатание длилось больше полугода. Эрвас сам держал корректуру, и скучная работа эта стоила ему больших усилий, чем само писанье трактата.

Наконец самая большая телега, какую только можно было найти в Саламанке, доставила ему на квартиру тяжелые тюки, на которых он основывал свои надежды на славу в настоящем и бессмертие в будущем.

На другой день Эрвас, опьяненный радостью и упоенный надеждой, навьючил своим произведением восемь мулов, сам сел на девятого и двинулся по дороге на Мадрид. Прибыв в столицу, он спешился перед лавкой книготорговца Морено и сказал ему:

– Сеньор Морено, на этих мулах девятьсот девяносто девять экземпляров произведения, тысячный экземпляр которого я имею честь преподнести тебе. Сто экземпляров ты можешь продать в свою пользу за триста пистолей, а в остальных дашь мне отчет. Я льщу себя надеждой, что издание разойдется в несколько недель и я смогу выпустить второе, которое дополню некоторыми объяснениями, пришедшими мне в голову во время печатания.

Морено как будто усомнился в возможности такой быстрой распродажи, но, увидев разрешение саламанкских цензоров, принял тюки к себе в магазин и выставил несколько экземпляров для обозрения покупателей. А Эрвас отправился в трактир и, не теряя времени, тотчас занялся объяснениями, которыми хотел снабдить второе издание.

По прошествии трех недель наш геометр решил, что пора навеститься к Морено за деньгами и этак с тысячу пистолей принести домой. Пошел и с невероятным огорчением узнал, что до сих пор ни одного экземпляра не продано. Вскоре он получил еще более чувствительный удар: вернувшись к себе в трактир, он застал там придворного альгвасила, который велел ему сесть в закрытую повозку и доставил его в Сеговийскую тюрьму.

Может быть, покажется странным, что с геометром поступили, как с государственным преступником, но на это была особая причина. Экземпляры, выставленные у Морена, вскоре попали в руки постоянных посетителей его лавки. Один из них, прочитав заглавие: «Раскрытие тайны анализа», – сказал, что это, наверно, какой-нибудь пасквиль на правительство; другой, присмотревшись к заглавию внимательней, добавил с язвительной улыбкой, что это, вне всякого сомнения, не что иное, как сатира на дона Педро де Аланьес, так как слово анализ – анаграмма фамилии Аланьес, а дальнейшая часть заглавия: «О бесконечно малых всех степеней» – явно относится к этому министру, который в самом деле физически бесконечно мал и бесконечно толст, а духовно – бесконечно надменен и

³⁹ в четвертую часть листа (лат.)

бесконечно груб. Эта штука говорит о том, что посетителям книжной лавки Морено позволялось говорить что угодно, и правительство смотрело сквозь пальцы на этот кружок зубоскалов.

Кто знает Мадрид, тому известно, что низшие слои этого города в известном смысле не отличаются от верхов: их интересуют те же происшествия, они держатся тех же взглядов, и остроты, возникшие в большом свете, передаются из уст в уста, кружа по всем улицам. То же произошло и с шуточками завсегдатаев книжной лавки Морено. Вскоре все цирюльники, а за ними и весь народ знали их на память. С тех пор министра Аланьеса не называли иначе, как «Анализ бесконечно малых». Сановник этот уже привык к общему нерасположению и не обращал на него никакого внимания, но, удивленный часто повторяемым прозвищем, как-то раз спросил своего секретаря, что оно обозначает. В ответ он услышал, что поводом к этой шутке послужила одна книжка по математике, продающаяся у Морено. Министр, не входя в подробности, приказал первым делом посадить автора, а потом конфисковать издание.

Эрвас, не зная причины постигшей его кары, сидя в Сеговийской башне без пера и чернил, не имея представления, когда его выпустят на свободу, решил для препровождения времени припомнить все свои знания, то есть восстановить в памяти все, что знал из каждой науки. И с превеликим удовлетворением убедился, что действительно охватывает весь круг человеческих знаний и мог бы, как когда-то Пико делла Мирандола, с успехом выступить в диспуте *de omni scibili*⁴⁰.

Распалившись жаждой прославить свое имя в ученом мире, он задумал написать произведение в сто томов, которое охватывало бы все, что тогда знали люди. И выпустить его без имени. Публика, конечно, подумала бы, что это – творение какого-то ученого общества, и тогда Эрвас объявил бы свое имя, сразу снискав славу и репутацию всестороннего мудреца. Нужно признать, что силы ума его действительно отвечали этому грандиозному предприятию. Он сам прекрасно понимал это и всей душой отдался замыслу, угоджавшему двум душевным страстям его – любви к наукам и честолюбию.

Так для Эрваса незаметно пролетело шесть недель; а потом его вызвал к себе начальник тюрьмы. Там он увидел первого секретаря министра финансов. Этот человек склонился перед ним с некоторой почтительностью и промолвил:

– Дон Диего, ты хотел появиться в свете, не имея покровителя, и это было очень неразумно. Когда против тебя выдвинули обвинение, никто не встал на твою защиту. Тебя обвинили в том, что твой анализ бесконечно малых – выпад против министра финансов. Дон Педро де Аланьес в справедливом гневе приказал сжечь весь тираж твоего произведения; но, удовлетворившись этим, соизволил простить тебя и предлагает тебе место контадора в своей канцелярии. Тебе будет доверена проверка счетов, запутанность которых иногда ставит нас в тупик. Выходи из тюрьмы, в которую ты никогда больше не вернешься.

Сперва Эрвас впал в уныние, узнав, что девятьсот девяносто девять экземпляров его труда, стоивших ему стольких усилий, сожжено, но, решив строить свою славу на новой основе, скоро утешился и занял предлагаемое ему место. Там ему подали реестры аннат, табели учета с указанием скидок и тому подобные материалы, требующие расчета, который он и произвел без малейшего труда, внушив уважение своим начальникам. Ему выплатили жалованье за три месяца вперед и дали квартиру в одном из казенных домов.

Тут цыгана вызвали по таборным делам, и нам пришлось подождать с удовлетворением нашего любопытства до следующего раза.

ДЕНЬ СОРОК ДЕВЯТЫЙ

Мы собрались рано в гроте; Ревекка отметила, что Бускерос изложил свою историю очень ловко.

⁴⁰ обо всем, доступном познанию (лат.)

– Заурядный интриган, – сказала она, – для устранения Корнадеса ввел бы призраки в покрывалах, которые произвели бы на него впечатление, развеявшееся после минутного размышления. Но Бускерос поступает иначе: он старается воздействовать на него словами.

История атеиста Эрваса всем известна: иезуит Гранада изложил ее в примечаниях к своему произведению. А Осужденный Пилигрим объявляет себя его сыном, чтобы внушить еще больший ужас Корнадесу.

– Ты слишком торопишься с выводами, – возразил старый цыган. – Пилигрим мог на самом деле быть сыном атеиста Эрваса, и, конечно, того, о чем он рассказывает, нет в легенде, которую ты имеешь в виду; мы находим там лишь кое-какие подробности о смерти Эрваса. Но дослушай, пожалуйста, всю историю до конца.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДИЕГО ЭРВАСА, РАССКАЗАННОЙ ЕГО СЫНОМ ОСУЖДЕННЫМ ПИЛИГРИМОМ

Итак, Эрвасу вернули свободу и дали средства к существованию. Работа в канцелярии отнимала у него всего несколько часов по утрам, а в остальное время он мог свободно отдаваться осуществлению своего великого замысла, напрягая все силы своего гения и наслаждаясь своими познаниями. Наш честолубивый полиграф решил посвятить каждой науке один том *in octavo*⁴¹. Учитывая, что отличительной особенностью человека является язык, он отвел первый том общей грамматике. Там он изложил бесконечно разнообразные способы, при помощи которых в разных языках выражаются отдельные части речи и придаются разнообразные формы элементам мысли.

Далее, переходя от внутренних процессов человеческого мышления к понятиям, возникающим под воздействием окружающих предметов, Эрвас посвятил второй том общему естествознанию, третий – зоологии, или науке о животных, четвертый – орнитологии, или науке о птицах, пятый – ихтиологии, или науке о рыбах, шестой – энтомологии, или науке о насекомых, седьмой – сколекологии, или науке о червях, восьмой – конхологии, или науке о раковинах, девятый – ботанике, десятый – геологии, или науке об устройстве земли, одиннадцатый – литологии, или науке о камнях, двенадцатый – ориктологии, или науке об окаменелостях, тринадцатый – металлургии, искусству добычи и переработки минералов, четырнадцатый – докимастике, то есть искусству испытания тех же минералов.

Далее Эрвас занялся человеком: пятнадцатый том отвел физиологии, то есть науке о человеческом теле, шестнадцатый – анатомии, семнадцатый – миологии, то есть науке о мышцах, восемнадцатый – остеологии, девятнадцатый – неврологии, двадцатый – флебологии, то есть науке о системе вен.

Двадцать первый том был посвящен общей медицине, двадцать второй – нозологии, или науке о болезнях, двадцать третий – этиологии, то есть науке об их причинах, двадцать четвертый – патологии, или науке о вызываемых ими страданиях, двадцать пятый – семиотике, или учению о симптомах, двадцать шестой – клинике, то есть науке об уходе за лежащими больными, двадцать седьмой – терапевтике, или науке об исцелении (самый трудный из всех), двадцать восьмой – диететике, или учению о способах питания, двадцать девятый – гигиене, то есть искусству сохранения здоровья, тридцатый – хирургии, тридцать первый – фармакологии, тридцать второй – ветеринарии.

Далее следовали тома: тридцать третий, содержащий общую физику, тридцать четвертый – физику частную, тридцать пятый – физику экспериментальную, тридцать шестой – метеорологию и тридцать седьмой – химию, а затем шли лженауки, исходившие из последней: тридцать восьмой том – алхимия и тридцать девятый – герметическая философия.

За науками о природе следовали другие, относящиеся к войне, которая считается

⁴¹ в одну восьмую листа (лат.)

свойственной природе человека; сороковой том заключал в себе стратегию, или искусство вести войну, сорок первый – кастраметацию, или искусство разбивать лагерь, сорок второй – науки о фортификациях, сорок третий – подземную войну, или науку о минах и подкопах, сорок четвертый – пиротехнику, то есть науку об артиллерии, сорок пятый – баллистику, или искусство метания тяжелых тел. Правда, артиллерия в последнее время упразднила эту отрасль, но Эрвас, можно сказать, воскресил ее благодаря своим ученым исследованиям в области машин, применявшихся в древности.

Перейдя затем к искусствам, процветающим в мирное время, Эрвас посвятил сорок шестой том архитектуре, сорок седьмой строительству портов, сорок восьмой кораблестроению и сорок девятый мореплаванию.

Затем, вернувшись к человеку как к единице, принадлежащей обществу, он поместил в пятидесятом томе законодательство, а в пятьдесят первом гражданское право, в пятьдесят втором уголовное право, в пятьдесят третьем государственное право, в пятьдесят четвертом историю, в пятьдесят пятом мифологию, в пятьдесят шестом хронологию, в пятьдесят седьмом жизнеописание, в пятьдесят восьмом археологию, или науку о древностях, в пятьдесят девятом нумизматику, в шестидесятом геральдику, в шестьдесят первом дипломатику, или науку о жалованных грамотах, уставах и свидетельствах, в шестьдесят втором дипломатию, или науку об отправлении посольств и устройстве политических дел, в шестьдесят третьем идиоматологию, то есть общее языковедение, и в шестьдесят четвертом библиографию, или науку о рукописях, о книгах и прочих изданиях.

Затем, возвращаясь к отвлеченным понятиям, он посвятил шестьдесят пятый том логике, шестьдесят шестой риторике, шестьдесят седьмой этике, или науке о нравственности, шестьдесят восьмой эстетике, то есть анализу восприятий, получаемых нами с помощью чувств.

Том шестьдесят девятый содержал теософию, или исследование мудрости, открываемой религией, семидесятый – общую теологию, семьдесят первый – догматику, семьдесят второй – топику полемики, или знание общих основ ведения дискуссии, семьдесят третий – аскетику, поучающую приемам благочестивого умерщвления плоти, семьдесят четвертый – экзегетику, или изложение книг Священного писания, семьдесят пятый – герменевтику, или их толкование, семьдесят шестой – схоластику, представляющую собой искусство вести доказательства вне всякой связи со здравым рассудком, и семьдесят седьмой – теологию мистики, или пантеизм спиритуализма.

От теологии Эрвас, быть может, слишком смело перешел в семьдесят восьмом томе к онейромантии, то есть искусству толкования снов. Том этот принадлежал к числу самых интересных. Эрвас показывает в нем, каким образом обманчивые и пустые иллюзии в продолжение целых веков управляли миром. Из истории мы знаем, что сон о тощих и тучных коровах изменил внутреннее устройство Египта, где земельная собственность с тех пор в руках монарха. А через пятьсот лет после этого мы видим Агамемнона, рассказывающего свои сны собранию греков. И, наконец, через шесть веков после падения Трои толкование снов стало привилегией вавилонских халдеев и дельфийского оракула.

Семьдесят девятый том содержал орнитомантию, или искусство предсказания по полету птиц, практиковавшееся главным образом италийскими авграми. Сведения об их обрядах оставил нам Сенека.

Восьмидесятый том, самый ученый из всех, содержал первые начала магии, от эпохи Зороастра и Остана. В нем излагалась история той жалкой науки, которая, к стыду нашего века, опозорила его начало и еще не вполне отвергнута им до сих пор.

Том восемьдесят первый был посвящен каббале и разным видам колдовства, как-то: рабдомантии, или гаданью по прутьям, хиромантии, геомантии, гидромантии и т. п.

От всех этих заблуждений Эрвас сразу переходил к самым неоспоримым истинам: том восемьдесят второй был отведен геометрии, восемьдесят третий – арифметике, восемьдесят четвертый – алгебре, восемьдесят пятый – тригонометрии, восемьдесят шестой – стереотомии, или науке о твердых телах, применительно к распилке камней, восемьдесят

седьмой – географии, восемьдесят восьмой – астрономии, вместе с ложным побегом ее, известным под названием астрологии.

В восемьдесят девятом он поместил механику, в девяностом – динамику, или науку о действующих силах, в девяносто первом – статику, то есть науку о силах, пребывающих в равновесии, в девяносто втором – гидравлику, в девяносто третьем – гидростатику, в девяносто четвертом – гидродинамику, в девяносто пятом – оптику и науку о перспективе, в девяносто шестом – диоптрику, в девяносто седьмом – катоптрику, в девяносто восьмом – аналитическую геометрию, в девяносто девятом – начальные понятия о дифференциальном исчислении, и, наконец, сотый том содержал анализ, который, по мнению Эрваса, является наукой наук и тем крайним пределом, какого в состоянии достичь человеческий разум⁴².

Кое-кому может показаться, что глубокие знания ста различных наук превосходят умственные силы одного человека. Однако не может быть сомнения, что Эрвас о каждой из этих наук написал целый том, начинавшийся историей данной науки и кончавшийся полными подлинной прозорливости рассуждениями о том, как обогатить и, если так можно выразиться, расширить границы человеческого знания во всех направлениях.

Эрвас мог сделать все это благодаря умению экономить время и очень расчетливо им пользоваться. Он вставал с рассветом и приготавлился к работе в канцелярии, заранее обдумывая дела, которыми предстоит заняться. Он входил в министерство на полчаса раньше других и ждал назначенного часа с пером в руке и головой, свободной от всех мыслей, относящихся к великому произведению. А когда били часы, он начинал свои подсчеты и проделывал это с непостижимой скоростью.

Потом спешил в книжную лавку Морено, доверие которого сумел завоевать, брал нужные книги и шел к себе. Через некоторое время выходил, чтобы чем-нибудь подкрепиться, к часу возвращался домой и работал до восьми вечера. После работы играл в пелоту с соседскими ребятами, выпивал чашку шоколада и шел спать. Воскресенье проводил вне домашних стен, обдумывая работу будущей недели.

Таким способом Эрвас мог употребить около трех тысяч часов в году на совершение своего всеобъемлющего творения, что за пятнадцать лет составило в общем сорок пять тысяч часов. Никто в Мадриде не догадывался об этом необычайном труде, так как Эрвас ни с кем не был на короткой ноге и ни с кем о нем не говорил, желая внезапно удивить мир, обнаружив перед ним неизмеримый объем знаний. Он окончил свой труд, как раз когда ему самому стукнуло тридцать девять лет, и радовался, что в начале сорокового года жизни будет стоять на пороге великой славы.

При всем том сердце его было полно особого рода печалью. Вошедший в привычку многолетний труд, окрыляемый надеждой, был для него самым милым обществом, наполняющим все мгновения жизни. Теперь он это общество потерял, и скука, дотоле ему незнакомая, начала его донимать. Это совершенно новое для Эрваса состояние нарушило весь его образ жизни.

Он перестал искать уединения, и с тех пор его видели во всех общественных местах. Он производил такое впечатление, будто готов был с каждым заговорить, но, никого не зная и не имея привычки к беседе, отходил, не вымолвив ни слова. Но он утешался мыслью, что скоро весь Мадрид узнает его, будет искать знакомства с ним и об нем одном говорить.

Мучимый потребностью развлечься, Эрвас решил навестить свой родной край – никому не ведомый городок, который надеялся прославить. Целые пятнадцать лет он позволял себе одно только развлечение: играть в пелоту с соседскими ребятами; теперь его радовала мысль о том, что он сможет отдалиться этому развлечению там, где прошли его детские годы.

Но перед отъездом он хотел еще понежить взгляд зрелищем ста своих томов,

⁴² в 1780 году бывший испанский иезуит по имени Эрвас издал в Риме двадцать томов ин-кварти, с подробными трактатами по разным наукам; он был из рода нашего Эрваса (прим авт.)

уставленных по порядку на большом столе. Рукопись была того же самого формата, в каком должна была выйти из печати, так что он отдал ее переплетчику с указанием вытиснуть на корешке каждой книги название наук и порядковый номер – от первого на «Общей грамматике» до сотого на «Анализе». Через три недели переплетчик принес книги, а стол был уже заранее приготовлен. Эрвас выстроил на нем великолепный ряд томов, а оставшимися черновиками и копиями с удовольствием растопил печь. Потом запер дверь на двойной засов, запечатал ее собственной печатью и уехал в Астурию.

Действительно, вид родных мест наполнил душу Эрваса ожидаемым наслаждением; тысячи сладких и невинных воспоминаний заставили его лить слезы радости, источник которых должен был, казалось, пересохнуть после двадцати лет утомительного сухого труда.

Полиграф наш охотно провел бы остаток жизни в родном городке, но сто томов его творенья требовали его возвращения в Мадрид. И вот он пускается в обратный путь, приезжает к себе, видит, что печать на двери цела, открывает дверь... и видит, что все сто томов его разорваны в клочья, вырваны из переплетов, листы перемешаны и разбросаны по полу. От этого страшного зрелища у него в глазах потемнело; он упал посреди обломков своего труда и лишился сознания.

Увы, причина бедствия заключалась в следующем. До своего отъезда Эрвас никогда ничего не ел дома, – поэтому крысам, которыми кишат дома в Мадриде, незачем было наведываться к нему, так как они нашли бы там, самое большее, несколько использованных перьев. Но другое дело, когда в комнату принесли сто томов, пахнувших свежим клеем, а хозяин в тот же день покинул помещение. Крысы, подстрекаемые запахом клея, поощряемые тишиной, собравшись целой стаей, переворошили, изгрызли и разорвали книги...

Придя в себя Эрвас увидел, как одно из этих чудовищ потащило к себе в нору последние страницы его «Анализа». Хотя Эрвас никогда до тех пор не выходил из себя, тут он не выдержал и в бешенстве кинулся на похитителя его трансцендентальной геометрии, но, ударившись головой о стену, снова упал без чувств.

Вторично придя в сознание, он собрал раскиданные по всей комнате обрывки, бросил их в сундук, сел на него и предавался самым мрачным размышлениям. Вскоре его пробрала сильная дрожь, и бедный ученый заболел разлитием желчи в сочетании с сонною болезнью и лихорадкой. Его поручили заботам врачей.

Тут цыгана позвали по делам табора, и он отложил дальнейший рассказ до завтра.

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТЫЙ

На другой день, видя, что все собрались, вожак цыган начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДИЕГО ЭРВАСА, РАССКАЗАННОЙ ЕГО СЫНОМ ОСУЖДЕННЫМ ПИЛИГРИМОМ

Лишившись славы по вине крыс, покинутый врачами, Эрвас нашел, однако, заботливую сиделку в лице ухаживающей за ним во время болезни женщины. Она не жалела сил, и скоро благотворный кризис спас ему жизнь. Это была тридцатилетняя девица по имени Марика, пришедшая ухаживать за больным из жалости, вознаграждая ту приветливость, с какой тот беседовал по вечерам с ее отцом, соседским сапожником. Выздоровев, Эрвас почувствовал к ней глубокую благодарность.

– Марика, – сказал он ей, – ты спасла мне жизнь и теперь услаждаешь мое выздоровление. Скажи, что я могу для тебя сделать?

– Ты мог бы, сеньор, сделать меня счастливой, – ответила она, – но я не смею сказать, каким образом.

– Говори, – возразил Эрвас, – и будь уверена, что я сделаю все от меня зависящее.

– А если, – промолвила Марика, – я попрошу, чтоб ты на мне женился?

– С величайшей охотой, от всего сердца, – ответил Эрвас. – Ты будешь меня кормить,

когда я здоров, будешь за мной ходить во время болезни и защищать от крыс мое имущество, когда я в отъезде. Да, Марика, я женюсь на тебе, как только ты захочешь, и чем скорей, тем лучше!

Еще слабый, Эрвас открыл сундук с остатками энциклопедии. Хотел заняться подборкой обрывков, но только ослабел еще больше. А когда в конце концов совсем выздоровел, то сейчас же отправился к министру финансов и сказал ему, что проработал у него пятнадцать лет, воспитал учеников, которые сумеют его заменить, и попросил освободить его от должности, назначив ему пожизненную пенсию в размере половины жалованья. В Испании такого рода милости нетрудно добиться, Эрвас получил, что хотел, и женился на Марике.

Тут наш ученый переменил образ жизни. Он снял квартиру на окраине города и решил не выходить из дома, пока не восстановит заново свои сто томов. Крысы изгрызли бумагу, прикрепленную к корешкам книг, и оставили только сильно попорченную половину листов; но этого было достаточно, чтобы Эрвас сумел припомнить остальное. И он занялся воссозданием своего произведения. Одновременно он создал еще одно, в другом роде. Марика произвела на свет меня, Осужденного Пилигрима. Увы, день моего рождения был, наверно, отпразднован в преисподней: вечный огонь этого страшного обиталища разгорался еще ярче, и дьяволы удвоили мученья осужденных, чтобы еще лучше потешиться их воем.

Сказав это, Пилигрим впал в глубокое отчаянье, залился слезами и, обращаясь к Корнадесу, сказал:

– Я сейчас не в состоянии продолжить. Приходи сюда завтра в это же время. Но не вздумай не прийти: дело идет о твоём спасении или гибели.

Корнадес вернулся домой, полный ужаса; ночью покойный Пенья Флор опять разбудил его и стал пересчитывать у него над ухом дублионы. На другой день Корнадес, придя в сад отцов целестинцев, уже нашел там Пилигрима, который продолжил так.

– Через несколько часов после моего появления на свет моя мать умерла. Эрвас знал дружбу и любовь только по описанию этих двух чувств, которое он поместил в шестьдесят седьмом томе своего произведения. Однако, потеряв жену, он понял, что он тоже был создан для дружбы и любви. В самом деле, на этот раз горе его было еще сильнее, чем когда крысы сожрали его стотомное творение. Маленький домик Эрваса сотрясся от крика, которым я наполнил его. Нельзя было больше оставлять меня там. Дед мой, сапожник Мараньон, взял меня к себе, счастливый тем, что в доме у него будет расти внук – сын контадора и дворянина. Дед мой, почтенный ремесленник, порядочно зарабатывал. Он послал меня в школу, когда мне исполнилось шестнадцать лет, сделал мне красивый костюм и позволил расхаживать в блаженном безделье по улицам Мадрида. Он считал, что достаточно вознагражден за свой труд, раз может говорить: «Mio nieto, el hijo del contador» – «Мой внук, сын контадора». Но позволь мне вернуться к моему отцу и его хорошо известной печальной участи, чтоб это послужило примером и наукой всем безбожникам.

Восемь лет устранил Диего Эрвас ущерб, причиненный ему крысами. Произведение было уже почти кончено, когда он из попавших ему в руки зарубежных газет узнал что за последние годы науки сделали большой шаг вперед. Эрвас вздохнул по поводу необходимости еще продолжить работу, но, не желая, чтобы в его произведении имелись пробелы, сделал в каждой книге дополнения, посвященные новым открытиям. На это у него ушло четыре года; таким образом он провел двенадцать лет, почти не выходя из дому и вечно корпя над своим творением.

Сидячий образ жизни подорвал его здоровье. У него появились боли в бедрах, боль в крестце, его донимали камни в мочевом пузыре и все признаки подагры. Зато стотомная энциклопедия была закончена. Эрвас позвал к себе книготорговца Морено, сына того самого, который когда-то выставил на продажу его несчастный «Анализ», и сказал ему:

– Сеньор Морено, перед тобой – сто томов, в которых содержится весь круг

человеческих знаний. Энциклопедия эта прославит твоё заведение и – даже могу сказать – всю Испанию. Мне не надо никакой платы за рукопись, будь только добр отпечатать её, чтобы достопамятный труд мой не пропал втуне.

Морено перебрал все тома, внимательно рассмотрел их по очереди и промолвил:

– Я охотно возьму на себя печатание этого произведения, но тебе придется, дон Диего, сократить его до двадцати пяти томов.

– Тогда разговор окончен, – возразил Эрвас с величайшим возмущением, – оставь меня, ступай в свою лавчонку и печатай дрянные романы и псевдоученую дребедень, которая позорит Испанию. Оставь меня с моими камнями в мочевом пузыре и моим гением, узнав о котором человечество окружило бы меня почётом и уважением. Но я уже больше ничего не требую от людей, а тем более от книготорговцев. Разговор окончен!

Морено ушел, а Эрвас сделался жертвой самой черной меланхолии. Перед глазами его все время стояли сто томов, плоды его гения, зачатые в восторге, рожденные на свет с болью, хоть и не без удовольствия, и теперь осужденные утонуть в волнах забвения.

Он видел, что погубил свою жизнь и разрушил благополучие своё теперь и в будущем. Тут ум его, приученный проникать в тайны природы, на беду обратился к исследованию глубин человеческих несчастий, и Эрвас, измеряя эти глубины, стал всюду обнаруживать зло, ничего нигде не видя, кроме зла, и наконец в душе воскликнул: «Творец зла, кто же ты?»

Эрвас сам испугался этой мысли и стал раздумывать, должно ли было быть создано зло, для того чтобы существовать. Затем он приступил к всестороннему и глубокому решению этой проблемы. Он обратился к силам природы и приписал материи энергию, которая, по его мнению, объясняла все без необходимости признавать Творца.

Что касается человека и животных, он признал началом их бытия жизнетворную кислоту, которая, вызывая ферментацию материи, непрерывно придает ей формы, почти так же, как кислоты кристаллизуют щелочные и землистые основания в подобные себе многогранники. Он считал образуемую на сыром дереве губчатую материю звеном, которое соединяет кристаллизацию окаменелостей с размножением растений и животных и устанавливает если не тождество этих процессов, то, во всяком случае, их очень близкое сходство.

Эрвас, весь полон научных знаний, без труда обосновал свою ложную систему софистическими доводами, имеющими целью сбить с толку. Так, например, он утверждал, что мулов, которые происходят от двух видов животных, можно сравнить с солями, полученными от смешанных оснований, кристаллизация которых неясна. Реакция некоторых минералов, образующих пену в сочетании с кислотами, напоминала, по его мнению, ферментацию слизистых растений; в последних он видел начало жизни, не получившее развития за отсутствием благоприятных обстоятельств.

Эрвас обратил внимание, что кристаллы в процессе своего образования оседают в наиболее освещенных частях сосуда и с трудом сгущаются в темноте. А поскольку свет благотворно действует и на растения, он стал считать световой флюид одним из элементов, которые входят в состав оживляющей природу универсальной кислоты. Он заметил также, что на свету лакмусовая бумага через определенный промежуток времени становится красной, и это был еще один довод и пользу того, что свет – это кислота⁴³.

Эрвас знал, что в высоких географических широтах, у полюсов, кровь, за недостатком тепла, подвергается выщелачиванию и, чтобы помешать этому – нужна кислота. Отсюда он сделал вывод, что, поскольку кислота может в некоторых случаях заменять тепло, последнее является, очевидно, особой кислотой или, во всяком случае, одним из элементов универсальной кислоты.

Эрвас знал, что гром окисляет вино и вызывает ферментацию. Он читал у

⁴³ Эрвас умер около 1660 г., так что познания в области физики имел ограниченные; универсальная кислота его напоминает первичную кислоту, упоминаемую Парацельсом (прим авт.)

Санхуниатона, что при сотворении мира сильные громы оживили предназначенные к жизни существа, и бедный ученый наш не побоялся опереться на эту языческую космогонию, чтоб доказать, что материя молнии могла привести в действие жизнетворную кислоту, бесконечно разнообразную, но неизменно вырабатывающую одни и те же формы.

Стараясь проникнуть в тайну творения, Эрвас должен был бы воздать всю славу Творцу – и если б он так сделал! Но ангел-хранитель отступил от него, и разум его, соблазненный гордыней познания, вверг его, безоружного, во власть надменных духов, чье падение повлекло за собой гибель мира.

Увы! В то время как Эрвас возносил свои грешные мысли за пределы человеческого понимания, смертной оболочке его угрожало скорое уничтожение. В довершение зла, к обычным его недугам присоединились более острые страдания. Боли в бедрах усилились и лишили его возможности двигать правой ногой, камни в мочевом пузыре стали крупней и причиняли ему страшную боль, хирагра искривила пальцы левой руки и начала угрожать пальцам правой, наконец, самая черная меланхолия уничтожила все силы его души и тела. Боясь свидетелей своего упадка, он отверг мою помощь и больше не захотел меня видеть. Какой-то старый инвалид тратил остатки своих сил на заботы о нем. Но в конце концов и тот заболел, и отцу пришлось допустить меня к себе.

Вскоре и дед мой Мараньон слег в гнилой горячке. Проболев всего пять дней и чуя приближение смерти, он подозвал меня к себе и сказал:

– Блас, дорогой мой Блас, я хочу благословить тебя в последний раз. Ты родился от ученого отца, лучше бы ему небо дало меньше знаний. К счастью для тебя, твой дед – человек простой и в вере и в поступках; и тебя он воспитал в той же простоте. Не дай отцу своему ввести тебя в заблуждение, – сколько уж лет он даже не думает о религии, и взглядов его устыдился бы не один еретик. Блас, не верь человеческой мудрости, через несколько мгновений я буду мудрей всех философов. Благословляю тебя, Блас. Пришел мой конец.

И в самом деле, с этими словами он испустил последний вздох.

Я отдал ему последний долг и вернулся к отцу, которого не видел уже четыре дня. За это время умер и старый инвалид, и братья милосердия занялись его похоронами. Я знал, что отец один, и хотел начать ухаживать за ним, но, войдя к нему, был поражен необычайным зрелищем, так что остановился в сенях, охваченный невыразимым ужасом.

Отец мой скинул одежду и обвил себя простыней наподобие пелен. Он сидел, вперив взгляд в заходящее солнце. Долго он молчал, потом заговорил:

– О звезда, чьи гаснущие лучи в последний раз отразились в глазах моих, зачем озарила ты день моего рожденья? Разве хотел я появиться на свет? И к чему явился? Люди сказали мне, что у меня есть душа, и я занялся ее развитием в ущерб телу. Я усовершенствовал свой ум, но крысы похитили мое сочинение, а книгоиздатели пренебрегли им. От меня ничего не останется, я умираю весь, не оставляя следа, словно и не родился. Небытие, поглоти свою добычу!

Некоторое время Эрвас оставался погруженный в мрачное раздумье, потом взял кубок, как мне казалось, наполненный старым вином, поднял глаза к небу и промолвил:

– Боже, если ты существуешь где-нибудь, сжался над душой моей, если она есть у меня!

С этими словами он осушил кубок и поставил его на стол; потом прижал руку к сердцу, словно почувствовал в нем болезненные сжатия. Рядом стоял другой стол, покрытый подушками; Эрвас лег на него, сложил руки на груди и больше не сказал ни слова.

Тебе кажется странным, что, видя эти приготовления к самоубийству, я не бросился отнимать кубок и не стал звать на помощь. Теперь я сам этому удивляюсь, но в то же время помню, что какая-то сверхъестественная сила приковала меня к месту – и я не мог пошевелиться. Только волосы на голове у меня встали от страха.

В таком состоянии нашли меня братья милосердия, заглянув к нам после похорон инвалида. Увидев, что отец лежит на столе, завернутый в простыню, они спросили, не умер ли он. Я ответил, что ничего не знаю. Тогда они спросили, кто завернул его в пелены. Я

ответил, что это сделал он сам. Они осмотрели тело и убедились, что отец мертв. Заметив стоящий рядом кубок с остатком жидкости, они взяли его с собой, чтобы проверить, нет ли в нем следов яда, и ушли с гневным видом, оставив меня в невыразимой скорби.

Потом пришли от прихода, задали мне те же самые вопросы и ушли, промолвив:

– Умер, как жил, хоронить его – не наше дело!

Оставшись наедине с покойником, я совсем упал духом и вместе с тем потерял всякую способность чувствовать и понимать. Опустился в кресло, на котором еще недавно сидел мой отец, и снова впал в оцепенение.

Ночью небо покрылось тучами, и неистовый порыв ветра распахнул окно. Голубая молния пролетела мимо меня, погрузив комнату в еще больший мрак. В этом мраке я различил как будто какие-то фантастические фигуры, покойник издал долгий, протяжный стон, породивший далекие отголоски в пространстве. Я хотел встать, но не мог пошевелиться, словно был прикован к месту. Ледяная дрожь пробежала по моему телу, кровь стала лихорадочно бить в виски, страшные видения обступили мою душу, а сон овладел чувствами.

Вдруг я вскочил: шесть высоких восковых свечей горело вокруг тела моего отца, в напротив меня сидел какой-то человек, казалось, ожидающий, когда я проснусь. Вид у него был благородный, величественный. Рост высокий, волосы, черные, слегка выующиеся, падали на лоб, взгляд острый, пронизательный, но в то же время приветливый, располагающий. На груди у него было жабо, на плечах – плащ, вроде тех, какие носят деревенские идалго.

Увидев, что я уже не сплю, незнакомец ласково улыбнулся мне и сказал:

– Сын мой, – я называю тебя так, потому что обращаюсь к тебе, как если бы ты был уже мой, – Бог и люди покинули тебя, и земля не хочет принять в свое лоно мудреца, давшего тебе жизнь. Но мы тебя никогда не покинем.

– Ты говоришь, сеньор, – возразил я, – что Бог и люди покинули меня. Что касается людей, ты прав. Но, по-моему, Бог никогда не может покинуть ни одно из своих созданий.

– Замечание твое в известном смысле не лишено основания, – сказал незнакомец. – Когда-нибудь в другой раз я объясню тебе это подробнее. А пока, чтобы ты убедился, как мы тобой интересуемся, возьми этот кошелёк с тысячью пистолей. Молодой человек не может жить без страстей и без средств для их удовлетворения. Не жалея золота и во всем рассчитывай на нас.

Тут незнакомец ударил в ладони, и шестеро замаскированных унесли тело Эрваса. Свечи погасли, и в комнате снова воцарилась тьма.

Я не остался в ней. Добрался на ощупь до двери, вышел на улицу и, только увидев усеянное звездами небо, вздохнул свободно. Тысяча пистолей в кошельке придали мне смелости. Я прошел весь Мадрид и остановился в конце Прадо, там, где потом поставили огромную статую Кибелы. Там я лег на скамью и вскоре заснул крепким сном.

Дойдя до этого места повествования, цыган попросил у нас позволения продолжать завтра, и в тот день мы его уже больше не видели.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ

Мы собрались в обычный час. Ревекка, обращаясь к старому цыгану, сказала, что история Диего Эрваса, хотя она была отчасти известна ей раньше, весьма ее заинтересовала.

– Хотя, по-моему, – прибавила она, – предпринято слишком много хлопот для того, чтобы обмануть бедного мужа, это можно было бы сделать гораздо проще. Но, может быть, история атеиста понадобилась для того, чтобы навести еще больше страха на трусливого Корнадеса.

– Позволь тебе заметить, – возразил цыганский вожак, – что ты делаешь слишком поспешные выводы относительно событий, о которых я имею честь вам рассказать. Герцог Аркос был знатный и благородный сеньор; в угоду ему можно было выдумывать и изображать разных лиц. А с другой стороны, нет никаких оснований думать, будто с этой

целью Корнадесу рассказали историю Эрваса-сына, о которой ты до тех пор никогда не слышала.

Ревекка уверила жожака, что рассказ его очень интересен, и цыган продолжал так.

ИСТОРИЯ БЛАСА ЭРВАСА, ИЛИ ОСУЖДЕННОГО ПИЛИГРИМА

Я уже говорил тебе, что лег и заснул на скамье в конце главной аллеи Прадо. Солнце стояло уже довольно высоко, когда я проснулся. Сон мой был прерван, как мне показалось, тем, что меня хлестнули платком по лицу; очнувшись от сна, я увидел молодую девушку, отгоняющую от моего лица платком мух, чтоб они не разбудили меня. Но еще больше удивился я, обнаружив, что голова моя мягко покоится на коленях другой молодой девушки, чье легкое дыхание я почувствовал на своих волосах. Проснувшись, я не сделал ни одного резкого движения и продолжал делать вид, что сплю. Я закрыл глаза и вскоре услышал голос, в котором был укор, но отнюдь не обидный, по адресу моих нянюшек:

– Селия, Соррилья, что вы тут делаете? Я думала, вы в церкви, а вы, оказывается, вот за какой обедней?

– Но, мама, – возразила та, что служила мне подушкой, – разве ты не говорила нам, что творить добрые дела – не меньшая заслуга, чем молиться? А разве это не милосердный поступок – охранять сон бедного юноши, который, видимо, провел очень тревожную ночь?

– Конечно, – отозвался голос, и на этот раз в нем было больше смеху, чем укоризны, – конечно, и в этом тоже есть заслуга. Но это скорее доказывает вашу простоту, чем набожность. А теперь, милосердная моя Соррилья, осторожно положи голову этого юноши на скамью – и пойдем домой.

– Ах, мамочка, – возразила молодая девушка, – посмотри, как он спокойно спит. Вместо того чтоб его будить, ты лучше бы сняла с него это жабо, которое его душит.

– Ничего себе, хорошие вы даете мне поручения! – сказала мать. – И то сказать, юноша очень мил.

В то же время рука ее деликатно прикоснулась к моему подбородку, отстегивая жабо.

– Так ему даже больше к лицу, – заметила Селия, до тех пор еще не сказавшая ни слова. – Он стал легче дышать: добрые поступки тут же влекут за собой награду.

– Это замечание, – сказала мать, – хорошо рекомендует твой разум, но не надо заходить в добрых делах слишком далеко. Поэтому, Соррилья, положи осторожно эту прекрасную голову на скамью – и пойдем домой.

Соррилья осторожно подложила обе руки под мою голову и отодвинула колена. Тут я решил, что не имеет смысла дальше притворяться спящим: я сел на скамье и открыл глаза.

Мать вскрикнула, а дочери хотели убежать. Я удержал их.

– Селия, Соррилья, – сказал я, – вы столь же прекрасны, как и невинны. А ты, сеньора, кажешься их матерью только потому, что твоя красота созрела; позволь, чтоб я, прежде чем вы меня покинете, посвятил несколько минут изумлению, в которое вы все три меня приводите.

В самом деле, я говорил чистую правду. Селия и Соррилья были бы совершенными красавицами, если бы возраст позволил их прелестям вполне развиться, а их мать, которой не было еще тридцати, казалась не старше двадцатипятилетней.

– Сеньор кавалер, – сказала она, – если ты только притворялся спящим, то мог убедиться в невинности моих дочек и составить выгодное мнение о их матери. Я не боюсь, что ты изменишь свое мнение, если я попрошу тебя проводить нас до дому. Знакомство, таким удивительным способом завязанное, заслуживает превращения в дружбу.

Я отправился с ними и вошел в их дом, окна которого выходили на Прадо. Дочери занялись приготовлением шоколада, а мать, посадив меня рядом с собой, сказала:

– Ты находишься в доме, может быть, слишком роскошном по нашему теперешнему положению, но я сняла его в лучшие времена. Сейчас я с удовольствием сдала бы первый этаж, но не могу этого сделать. Обстоятельства, в которых я теперь нахожусь, не позволяют

мне встречаться с кем бы то ни было.

– Сеньора, – ответил я, – у меня тоже есть основания стремиться к уединенной жизни, и если б вы ничего не имели против, я с величайшей радостью занял бы cuarto principal, то есть первый этаж.

Сказав это, я вынул кошелек, и вид золота устранил возражения, которые незнакомка могла бы выдвинуть. Я уплатил за стол и помещение за три с лишним месяца вперед. Мы условились, что обед будут приносить в мою комнату, и доверенный слуга будет мне прислуживать и ходить по моим поручениям в город.

Когда Селия и Соррилья принесли шоколад, им были сообщены условия нашего договора. Они посмотрели на меня как на свою собственность; но материнский взор словно отказывал им в правах на меня. Я заметил это состязание в кокетстве и предоставил судьбе решать, чем оно кончится, сам же всецело занялся устройством на новом месте. Я не успел оглянуться, как там оказалось все необходимое для удобной и приятной жизни. То Соррилья несет чернила, то Селия придет, поставит лампу на стол и разложит книги. Ничего не забыли! Кажется приходила отдельно, а если иногда встречались, сколько было смеха, шуток, беззаботного веселья. Мать тоже приходила – в свою очередь. Она занималась главным образом моей постелью: велела постелить простыни голландского полотна, красивое шелковое одеяло, положить целую грудку подушек.

На эти занятия ушло все утро. Наступил полдень. Накрыли на стол у меня в комнате. Я был в восторге. С восхищением глядел на три очаровательных создания, соперничающих друг с другом в стараниях угодить мне, отвечающих прелестной улыбкой на каждое мое легкое «спасибо». Но на все свое время: оставив все другие житейские попечения, я с наслаждением принялся утолять свой голод.

После обеда я надел шляпу, взял шпагу и пошел в город. Я был независим, имел полный кошелек денег, чувствовал себя полным сил, здоровья и, благодаря лестному вниманию трех женщин, возымел о себе очень высокое мнение! Вот так обычно молодежь ценит себя тем выше, чем больше внимания оказывает ей прекрасный пол.

Я зашел к ювелиру, накупил драгоценностей, потом пошел в театр. Вечером, вернувшись к себе, увидел всех трех сидящими перед дверью дома. Соррилья пела под гитару, а две другие плели сетки для волос.

– Сеньор кавалер, – сказала мать, – поселившись в нашем доме, ты оказываешь нам безграничное доверие и даже не спрашиваешь, кто мы. Надо поставить тебя в известность обо всем. Знай, сеньор, что меня зовут Инесса Сантарес; я – вдова Хуана Сантареса, коррехидора Гаваны. Он женился на мне, не имея средств, и в таком же положении оставил меня с двумя дочерьми, которых ты видишь. Овдовев, я оказалась в очень бедственном положении и не знала, что делать, как вдруг получила письмо от отца. Позволь мне не сообщать его имени. Увы! Он тоже всю жизнь боролся с судьбой, но наконец, как он писал в этом письме, счастье улыбнулось ему: его назначили казначеем военного министерства. Одновременно он прислал мне вексель на две тысячи пистолей и звал сейчас же в Мадрид. Я приехала... для того чтоб узнать, что моего отца обвиняют в растрате казенных денег и даже в государственной измене и что его посадили в Сеговийскую тюрьму. Между тем этот дом был снят для нас, я въехала и живу в полнейшем одиночестве, никого не видя, кроме одного молодого чиновника военного министерства. Он осведомляет меня о положении, в каком находится дело моего отца. Кроме него, никто не знает, что мы имеем какое-то отношение к несчастному узнику.

И сеньора Сантарес залилась слезами.

– Не плачь, мамочка, – сказала Селия, – и огорченья тоже имеют конец, как все на свете. Вот видишь, мы уже встретили этого молодого сеньора, такого обаятельного. Этот счастливый случай, кажется, сулит нам удачу.

– В самом деле, – добавила Соррилья, – с тех пор как он у нас поселился, наше одиночество перестало быть печальным.

Сеньора Сантарес окинула меня полутоскующим, полунежным взглядом. Дочери тоже

посмотрели на меня, а потом опустили глаза, вспыхнули, смутились и задумались. Не было никакого сомнения: все три влюбились в меня; мысль об этом наполнила грудь мою восторгом.

В это время к нам подошел какой-то высокий, статный юноша. Он взял сеньору Сантарес за руку, отвел ее в сторону и долго вел с ней тихую беседу. Вернувшись к нам, она сказала мне:

– Сеньор кавалер, это дон Кристоваль Спарадос, о котором я тебе говорила, – единственный человек в Мадриде, с которым мы видимся. Я хочу также и ему доставить удовольствие знакомством с тобой, но, хоть мы живем в одном доме, я не знаю, с кем имею честь разговаривать.

– Сеньора, – ответил я, – я дворянин из Астурии, и зовут меня Леганес.

Я рассудил, что лучше будет не произносить фамилии Эрвас, которую могли знать.

Молодой Спарадос смерил меня с головы до ног дерзким взглядом и, кажется, даже не поклонился. Мы вошли в дом, и сеньора Сантарес велела подать легкий ужин, состоящий из печенья и фруктов. Я оставался еще главным предметом внимания трех красавиц, но заметил, что и для вновь прибывшего не скупятся на взгляды и улыбки. Это задело меня, мне хотелось, чтобы на меня было обращено все внимание; я стал держаться вдвое любезней. Когда торжество мое явственно обнаружилось, дон Кристоваль положил правую ногу на левое колено и, глядя на подошву своего башмака, промолвил:

– Право, с тех пор как сапожник Мараньон на том свете, в Мадриде невозможно найти порядочных башмаков.

При этом он смотрел на меня с насмешкой и презрением.

Сапожник Мараньон был моим дедом с материнской стороны, он воспитал меня, и я хранил к нему в сердце своем самую глубокую благодарность. Несмотря на это, мне казалось, что его фамилия портит мою родословную. Я думал, что раскрытие тайны моего рождения погубило бы меня в глазах моих прекрасных хозяек. У меня сразу пропало хорошее настроение. Я кидал на дону Кристовалью то презрительные, то гордые и гневные взгляды. Я решил закрыть перед ним дверь нашего дома. Когда он ушел, я побежал за ним, чтоб объявить ему об этом. Догнал его в конце улицы и сказал то, что заранее приготовил в уме. Я думал, что он рассердится, но нет – он приятно улыбнулся и взял меня за подбородок, словно желая приласкать. А потом вдруг изо всех сил дернул кверху, так что я потерял землю под ногами, и отпустил, сделав подножку. Я упал носом в водосточную канаву. Сперва я даже не понял, что со мной произошло, но вскоре поднялся, весь покрытый грязью и охваченный невероятным бешенством.

Вернулся домой. Женщины уже пошли спать, но я напрасно старался заснуть. Две страсти терзали меня: любовь и ненависть. Последняя была устремлена только к дону Кристовалью, а первая витала между тремя красавицами. Селия, Соррилья и их мать поочередно манили меня, их прелестные образы реяли в моих мечтах и тревожили меня всю ночь. Я уснул уже под утро и проснулся поздно. Открыв глаза, я увидел сеньору Сантарес, она сидела у моих ног и плакала.

– Милый гость мой, – сказала она, – я пришла к тебе искать защиты. Низкие люди требуют от меня денег, которых у меня нет. Увы, я в долгах, но разве могла я оставить этих бедных детей без одежды и пищи? Бедняжки и так вынуждены во всем себе отказывать.

Тут сеньора Сантарес зарыдала, и глаза ее, полные слез, невольно обратились к моему кошельку, лежавшему рядом на столике. Я понял эту немую просьбу. Я высыпал золото на столик, разделил его пополам и предложил одну половину сеньоре Сантарес. Она не ожидала такого необычайного великодушия. Сперва она онемела от удивления, потом припала к моим рукам, стала их целовать от радости и прижимать к сердцу, после чего взяла деньги со словами:

– Ах, дети мои, дорогие мои дети!

Вскоре пришли дочери и тоже покрыли мои руки поцелуями. Все эти проявления благодарности разгорячили мне кровь, и без того уже бушующую от ночных мечтаний.

Я поспешно оделся и пошел на террасу. Проходя мимо комнаты девушек, я услышал, что они плачут и, рыдая, утешают друг друга. Постоял минуту, прислушиваясь, потом вошел к ним. Селия при виде меня сказала:

– Послушай, милый, дорогой, любимый гость наш! Ты застаешь нас в страшном смятении. С самого нашего рождения ни одна тучка ни разу не омрачила наших отношений. Любовь связывала нас даже сильнее крови. После твоего появления все изменилось. К нам в души закралась ревность, и, может быть, мы друг друга возненавидели бы, если бы кроткий характер Соррильи не предупредил страшное несчастье. Она упала в мои объятия, наши слезы смешались, наши сердца сблизилась. Ты, милый гость наш, должен довершить остальное. Обещай любить нас обеих одинаково и делить между нами свои ласки поровну.

Что было отвечать на столь пламенную и настойчивую просьбу? Я успокоил обеих девушек по очереди в своих объятиях. Осушил их слезы – и они сменили печаль на самое нежное сумасбродство.

Мы вместе вышли на террасу, и вскоре к нам присоединилась сеньора Сантарес. Она сияла от счастья, что у нее больше нет долгов. Она пригласила меня обедать с ними и прибавила, что рада была бы провести со мной весь день. Доверие и дружба были нашими сотрапезниками. Сеньора Сантарес, усталая от пережитых волнений, выпила две рюмки старого вина. После этого отуманенные глаза ее ярко заблестели, и она так оживилась, что дочери могли бы не без основания ревновать; но уважение, с каким они относились к матери, не позволило этому чувству вкрась в их сердца. Вино привело в брожение кровь сеньоры Сантарес, но, несмотря на это, ее поведение оставалось безупречным.

Да и мне мысль о том, чтоб совратить ее, не приходила в голову. Пол и возраст – вот кто были наши совратители. Сладкие зовы природы придавали нашему общению невыразимую прелесть, так что мы с досадой думали о прощанье. Заходящее солнце разлучило бы нас, но я заказал у соседнего кондитера прохладительные напитки. Всех нас очень обрадовало их появление, так как оно позволило нам не расходиться.

Однако не успели мы сесть за стол, как открылась дверь, и вошел дон Кристоваль Спарадос. Вступление французского дворянина в гарем султана не произвело бы более скверного впечатления на хозяина, чем то, какое испытал я при виде дон Кристовалья. Сеньора Сантарес и ее дочери не были, конечно, моими женами и не составляли моего гарема, но сердце мое в известном смысле овладело ими, и нарушение моих прав причинило мне мучительную боль.

Дону Кристовалю до всего этого не было никакого дела, – он не обратил на меня ни малейшего внимания, поклонился женщинам, отвел сеньору Сантарес на другой конец террасы и долго с ней разговаривал, после чего без всякого приглашения сел за стол. Он ел и пил молча, но когда разговор зашел о бое быков, оттолкнул свою тарелку и, ударив кулаком по столу, сказал:

– Клянусь патроном моим, святым Кристовалем, почему должен я корпеть в этом проклятом министерстве? Лучше быть последним тореадором в Мадриде, чем верховодить в кортесах Кастилии.

С этими словами он выбросил вперед руку, словно нанося удары быку, и при этом выставил нам на удивление огромные мускулы предплечья. Затем, чтоб показать свою силу, усадил всех трех женщин в одно кресло и стал носить их по комнате.

Он находил такое удовольствие в этой забаве, что постарался продлить ее как можно дольше. Наконец взял шляпу и шпагу, собираясь уходить. До тех пор он не обращал на меня ни малейшего внимания, но тут, повернувшись ко мне, сказал:

– Послушай-ка, мой благороднорожденный друг, «скажи мне, кто после смерти сапожника Мараньона лучше всех тачает башмаки?»

Женщинам слова эти показались просто еще одной шуточкой, каких много слетало с губ дон Кристовалья, но я пришел в ярость. Побежал за шпагой и бросился догонять дон Кристовалья. Догнал его у поворота в переулок и, встав перед ним, воскликнул:

– Ты заплатишь мне за свои подлые оскорбления, наглец!

Дон Кристоваль взялся было за рукоять шпаги, но, увидев на земле обломок палки, схватил его, ударил по моему клинку и выбил у меня шпагу из рук. Потом подошел, взял меня за шиворот, отнес к водосточной канаве и бросил на землю, как накануне, только еще грубей, так что я еще дольше лежал, оглушенный, не зная, что со мной.

Кто-то взял меня за руку, чтоб поднять; я узнал того самого дворянина, который велел унести тело моего отца и дал мне тысячу пистолей. Я упал к его ногам, он ласково меня поднял и велел мне идти за ним. Мы шли молча и пришли к мосту через Мансанарес, где увидели двух вороных коней. Полчаса скакали мы вдоль реки, – наконец остановились у ворот пустого дома, двери которого сами открылись перед нами. Мы вошли в комнату, обитую темной саржей и освещенную свечами в серебряных подсвечниках. После того как мы уселись в креслах, незнакомец обратился ко мне со следующими словами:

– Сеньор Эрвас, ты видишь, какие дела творятся на этом свете, устройство которого, вызывая общее изумление, отнюдь не предполагает справедливого распределения благ. Одним природа дала восемьсот фунтов силы, другим восемьдесят. К счастью, изобретены уловки, отчасти восстанавливающие равновесие. – Тут незнакомец открыл ящик стола, вынул оттуда кинжал и прибавил: – Посмотри на эту штуку. Конец ее, имеющий форму оливки, переходит в острое тоньше волоса. Заткни эту вещь за пояс. Прощай, юноша, и не забывай истинного своего друга дона Велиала де Геенна. Если я тебе понадобится, приходи в полночь на мост через Мансанарес, ударь три раза в ладоши – и сейчас же увидишь вороных скакунов. Да, постой: я забыл самое важное. Вот тебе второй кошелек, – тебе может понадобиться золото.

Я поблагодарил великодушного дона Велиала, сел на вороного скакуна, какой-то негр вскочил на другого, и мы приехали к мосту, где надо было расстаться.

Я вернулся к себе. Лег в постель и заснул, но меня мучили страшные сны. Кинжал я положил под подушку; мне казалось, что он выходит оттуда и вонзается мне прямо в сердце. Видел я и дону Кристовалью, похищающего у меня из-под носа трех моих красавиц.

На другой день хмурая печаль овладела мной, и даже присутствие обеих девушек не могло ее рассеять. Их старания развеселить меня производили обратное действие, и ласки мои стали менее невинными. А оставаясь один, я хватал кинжал и грозил им дону Кристовалью, который, мне казалось, все время передо мной.

Вечером ненавистный нахал снова явился и снова не обращал на меня внимания, зато еще усиленной ухаживал, за женщинами. Дразнил их, а когда они начинали сердиться, обращал все в шутку и смеялся. Глуповатые остроты его имели больший успех, чем моя учтивость.

Я велел принести ужин не столь обильный, но изысканный, дон Кристоваль почти все съел сам. Потом взял шляпу и, вдруг обращаясь ко мне, сказал:

– Благороднорожденный друг мой, скажи мне, что это за кинжал у тебя за поясом? Ты бы лучше заткнул себе за пояс сапожное шило.

Он расхохотался и ушел.

Я пустился вдогонку и, настигнув его на углу, изо всех сил ударил его кинжалом в левую часть груди. Но негодяй оттолкнул меня с такой же силой, с какой я напал на него. Потом повернулся ко мне и хладнокровно промолвил:

– Ты что, дурачок, не знаешь, что у меня на груди стальная кольчуга?

После этого он опять схватил меня за шиворот и бросил в водосточную канаву, но на этот раз – к великой моей радости, так как не дал мне совершить убийства. Я поднялся довольно весело, вернулся домой, лег в постель и спал много спокойней, чем прошлой ночью.

На другой день женщины увидели, что я гораздо-веселей, чем был накануне, и выразили по поводу этого свою радость. Однако я не решился остаться с ними ужинать. Побоялся глядеть в глаза человеку, которого хотел убить. Весь вечер я пробродил злой по улицам, размышляя о волке, забравшемся в мою овчарню.

В полночь я пришел на мост и ударил три раза в ладоши; появились вороные скакуны,

я вскочил на своего и поскакал за проводником к дому Велиала. Дверь открылась сама собой, мой благодетель вышел мне навстречу, ввел меня в ту же самую комнату и произнес голосом, в котором слышалась насмешка:

– Что же, молодой мой друг, убийство не удалось нам? Не огорчайся; желание зачтется, как поступок. К тому же мы решили избавить тебя от твоего нахального соперника. Властям сообщено, что он выдавал государственные тайны, и его посадили в ту самую тюрьму, где сидит отец сеньоры Сантарес. Теперь от тебя зависит воспользоваться своим счастьем лучше, чем это ты делал до сих пор. Возьми от меня в подарок вот эту коробку конфет, у них – необычайные свойства, угости ими свою хозяйку и сам скушай несколько.

Я взял коробку, которая очень приятно пахла, и сказал дону Велиалу:

– Я не знаю, сеньор, что ты называешь «пользоваться своим счастьем». Я был бы чудовищем, если бы злоупотребил доверием матери и невинностью ее дочерей. Я не такой развратник, сеньор, как ты думаешь.

– Думаю, – возразил дон Велиал, – что ты не лучше и не хуже остальных детей Адама. Люди обычно колеблются перед тем, как совершить преступление, а совершив его – испытывают угрызения совести, думая, что таким способом сумеют удержаться на стезе добродетели. Они не знали бы этих неприятных ощущений, если б дали себе труд понять, что такое – добродетель. Они считают добродетель идеальной ценностью, принимая ее существование без рассуждений, и тем самым относят ее к числу предрассудков, которые, как ты знаешь, являются суждениями, не подкрепленными предварительным исследованием вопроса.

– Сеньор дон Велиал, – ответил я, – мой отец дал мне как-то раз шестьдесят седьмой том своего труда, содержащий основы этики. Там не сказано, что предрассудок – суждение, не подкрепленное предварительным исследованием, а говорится, что это – мнение, установившееся еще до нашего появления на свет и переданное нам, так сказать, по наследству. Навыки детских лет сеют в душе нашей первые зерна этих мнений, пример помогает им развиваться, а знание дела их укрепляет. Если мы руководимся ими, то являемся порядочными людьми, если делаем больше, чем требуют законы, то становимся добродетельными.

– Это неплохое объяснение, – сказал дон Велиал, – и делает честь твоему отцу. Он хорошо писал и еще лучше мыслил. Кто знает, может быть, и ты пойдешь по его следам. Но вернемся к твоему объяснению. Я согласен с тобой, что предрассудки – уже установившиеся мнения, но это не основание, чтобы мы не могли сами о них судить, если чувствуем в себе созревшую способность суждения. Пытливая мысль подвергает предрассудки критике и рассматривает, для всех ли законы равно обязательны. Поступая так, ты ясно увидишь, что правопорядок выдуман только для холодных и ленивых натур, которые ждут наслаждений только от брака, а благосостояния от бережливости и труда. Но совсем другое дело – гении, натуры страстные, жаждущие золота и наслаждений, которые желали бы в одно мгновение пережить годы. Что сделал для них общественный порядок? Они проводят жизнь в тюрьмах и кончают ее в застенках. К счастью, человеческие законы – не то, за что они себя выдают. Это загородки, перед которыми прохожий сворачивает на другую дорогу, но те, кто желает их преодолеть, перепрыгивают через них либо под них подлезают. Но этот предмет заведет нас далеко, а уже поздно. Прощай, молодой друг мой, отведай моих конфеток и всегда рассчитывай на мою поддержку.

Я простился с сеньором доном Велиалом и пошел домой. Мне отворили дверь, я бросился в постель и постарался заснуть. Коробка стояла рядом, распространяя чудное благоухание. Я не удержался от соблазна, съел две конфетки и, заснув, провел очень беспокойную ночь.

В обычное время пришли мои молодые приятельницы. Они нашли, что у меня какой-то другой взгляд, и я в самом деле глядел на них другими глазами. Мне казалось, что каждое их движение продиктовано неудержимым желанием произвести впечатление на мою чувственность; такой же смысл придавал я и словам их, даже самым безразличным. Все в

них привлекало мое внимание и погружало меня в хаос помыслов, о которых я до тех пор не имел ни малейшего представления.

Соррилья увидела коробку. Она съела две конфетки и несколько конфеток дала сестре. Скоро иллюзии мои превратились в действительность. Обеими сестрами овладела тайная страсть, и обе они бессознательно ей покорились. Сами испугавшись этого, они убежали от меня, побуждаемые остатками стыдливости, в которой чувствовалось что-то дикое.

Вошла их мать. С тех пор как я освободил ее от заимодавцев, ее обращение со мной приобрело невыразимую нежность. Эта трогательность на время успокоила меня, но скоро я и на мать стал глядеть такими же глазами, как на дочерей. Она поняла, что со мной творится, смутилась, и взгляд ее, избегая моего, остановился на злосчастной коробке. Она взяла несколько конфеток и ушла, но тотчас же вернулась, стала осыпать меня ласками и сжимать в объятиях, называя сыном.

Оставила она меня с явным неудовольствием, внутренне себя принуждая. Буйство чувств моих дошло до безумия. Я ощущал огонь, бегущий у меня по жилам, еле видел окружающие предметы, какой-то туман стоял у меня в глазах.

Я хотел выйти на террасу. Дверь в комнату девушек была приоткрыта; я не мог удержаться и вошел. Их чувства были еще в гораздо большем смятении, чем мои. Я испугался, хотел вырваться из их объятий, но не хватило сил. Вошла мать, упреки замерли у нее на устах, и вскоре она уже потеряла всякое право упрекать нас в чем бы то ни было.

– Извини, сеньор дон Корнадес, – промолвил Пилигрим, – извини, что я говорю о вещах, самый рассказ о которых – уже смертельный грех. Но история эта нужна для твоего спасенья, я решил избавить тебя от гибели и надеюсь добиться этой цели. Не забудь явиться сюда завтра в этот самый час.

Корнадес вернулся домой, и ночью его снова преследовала тень убитого графа де Пенья Флор.

Тут цыгану опять пришлось с нами расстаться, отложив дальнейшее повествование на завтра.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

Мы собрались в обычное время, и старый цыган, видя наше нетерпение, поспешил с продолжением истории, которую Бускерос рассказывал по желанию Толедо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Когда Корнадес явился в назначенное время, Пилигрим стал продолжать свой рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОСУЖДЕННОГО ПИЛИГРИМА

Коробка моя была пуста, все конфетки съедены, но взгляды наши, казалось, жаждали оживить угасшие восторги. Наши мысли питались порочными воспоминаниями, и в нашей слабости было свое грешное очарование.

Одно из свойств порока – в том, чтобы заглушить голос природы. Сеньора Сантарес, целиком отдавшаяся необузданной похоти, забыла, что отец ее стонет в узилище и что ему, быть может, уже вынесен смертный приговор. Я думал о нем еще меньше, как вдруг необычайное обстоятельство заставило меня вспомнить о нем.

Однажды вечером ко мне пришел какой-то незнакомец, тщательно окутанный широким плащом. Я немного испугался, тем более что на лице у него была маска. Это таинственный человек сделал мне знак, чтоб я сел, и, сев тоже, сказал:

– Сеньор Эрвас, ты, кажется, друг сеньоре Сантарес, и я хочу поговорить с тобой открыто и прямо. Дело важное, и я не хотел бы говорить о нем с женщиной. Сеньора

Сантарес доверяла ветренику – некоему дону Кристовалью Спарадосу. Он теперь в тюрьме, вместе с сеньором Гораньесом, отцом твоей хозяйки. Этот безумец воображал, что овладел тайной, известной лишь нескольким сановникам, но он ошибался; зато я знаю ее прекрасно. Передам ее тебе в нескольких словах. Ровно через неделю, считая с сегодняшнего дня, через полчаса после захода солнца я приду к вашей двери и назову три раза имя арестованного: Гораньес, Гораньес, Гораньес. После третьего раза ты дашь мне кошелек с тремя тысячами пистолей. Сеньора Гораньеса уже нет в Сеговии: его перевели в мадридскую тюрьму. Судьба его должна решиться в половине той же самой ночи. Вот все, что я хотел тебе сказать.

С этими словами замаскированный посетитель встал и ушел.

Я знал, вернее догадывался, что у сеньоры Сантарес нет никаких сбережений, поэтому решил прибегнуть к милости дона Велиала. Я сообщил своей хозяйке, что дон Кристоваль взят под подозрение своим начальством и больше не может у нее бывать, но что у меня есть знакомые в министерстве, и я надеюсь, мои хлопоты увенчаются успехом. Надежда сохранить жизнь отцу наполнила сердце сеньоры Сантарес величайшей радостью. Ко всем чувствам, которые она испытывала ко мне, прибавилась еще благодарность. Ее отданность мне стала казаться ей уже менее преступной. Великое благодеяние всецело оправдывало ее в собственных глазах.

Все наши минуты переполнились новыми наслаждениями.

Я вырвался на одну ночь, чтобы встретиться с Велиалом.

– Я ждал тебя, – сказал он мне. – Знал, что колебания твои долго не продлятся, а угрызения совести будут еще короче. Все сыновья Адама вылеплены из одной и той же глины. Но я не думал, что тебе так скоро наскучат наслаждения, не ведомые даже королям этого маленького шарика, которые никогда не пробовали моих конфеток.

– Увы, сеньор дон Велиал, – ответил я, – ты наполовину прав, но что касается моего теперешнего образа жизни, то он нисколько мне не наскучил. Напротив, я боюсь, что, если б он когда-нибудь изменился, жизнь потеряла бы для меня всякую прелесть.

– И тем не менее, – сказал дон Велиал, – ты приходишь ко мне за тремя тысячами пистолей, за которые хочешь купить свободу для сеньора Гораньеса. Ты, наверно, не знаешь, что как только он будет оправдан, так сейчас же возьмет к себе в дом и дочь и внучек, которых давно предназначил в жены двум чиновникам из своей канцелярии. Ты увидишь в объятиях этих двух счастливых супругов два восхитительных создания, отдавших тебе свою невинность и в награду потребовавших только определенной доли в наслаждениях, которых ты сам был центром. Движимые скорее чувством соревнования, чем ревностью, каждая из них видела высшую награду в счастье, которого была причиной, и без зависти радовалась счастью, которым дарила тебя другая. Их мать, более опытная, но не менее страстная, благодаря моим конфеткам могла без досады смотреть на счастье дочерей. После таких минут чем наполнишь ты остальную свою жизнь? Станешь искать законных наслаждений в браке или вздыхать о чувстве прелестницы, неспособной дать тебе даже тени наслаждений, которых не знал до тебя ни один смертный. – Тут дон Велиал вдруг изменил тон: – Но нет, я не прав. Отец сеньоры Сантарес в самом деле невиновен, и освобождение его зависит от тебя. Наслаждение, доставленное добрым делом, должно превышать все другие.

– Сеньор дон Велиал, – сказал я, – ты довольно холодно говоришь о добрых делах и очень горячо – о наслаждениях, которые греховны. Можно подумать, что ты желаешь моей вечной гибели и что ты...

Дон Велиал перебил меня.

– Я, – сказал он, – один из главных участников могучего сообщества, поставившего себе целью делать людей счастливыми и излечивать их от бессмысленных предрассудков, всасываемых с молоком матери, которые потом становятся поперек дороги всем их желаниям. Мы уже выпустили немало ценных книг, где нагляднейшим образом показываем, что любовь к самому себе есть основа всех человеческих поступков и что любовь к ближнему, привязанность детей к родителям, горячая и нежная любовь, милость королей – только утонченные формы себялюбия. А раз пружина наших поступков – любовь к самому

себе, то естественной целью их должно быть удовлетворение наших желаний. Об этом хорошо знали законодатели и потому так составляли законы, чтобы можно было их обойти, чем люди не упускают воспользоваться.

– Как же это, сеньор дон Велиал? – перебил я. – Разве ты не считаешь, что справедливость и несправедливость – действительные ценности?

– Это относительные ценности, – ответил он. – Тебе легче будет понять это с помощью притчи, – только слушай внимательно.

По стеблям высокой травы ползали маленькие насекомые. Одно из них сказало другим: «Посмотрите на этого тигра, который лежит рядом. Это добрейшее существо, оно никогда не делает нам ничего плохого; а вот баран – дикий зверь: приди он сюда, сейчас же сожрал бы нас вместе с травой, которая служит нам приютом. Но тигр – справедлив: он отомстил бы за нас».

Отсюда ты можешь сделать вывод, молодой мой друг, что все представления о справедливости и несправедливости, зле и добре относительны, а никак не абсолютны и не безусловны. Я согласен, что существует своего рода глупое удовлетворение, связанное с так называемыми хорошими поступками. Ты его непременно испытаешь, если спасешь невинно осужденного Гораньеса. И не колеблись ни минуты, если тебе уже наскучила его семья. Подумай хорошенько, у тебя еще есть время. Ты должен вручить деньги незнакомцу в субботу, через полчаса после захода солнца. Приходи сюда в ночь с пятницы на субботу, ровно в полночь тебя будут ждать три тысячи пистолей. А пока прощай; вот тебе еще коробка конфет.

Я вернулся домой и по дороге съел несколько конфет. Сеньора Сантарес и ее дочери еще не спали, ожидая меня. Я хотел поговорить о несчастном узнике, но мне не дали... Впрочем, к чему рассказывать про все эти постыдные дела. Достаточно тебе знать, что, отпустив поводья разнузданной похоти, мы потеряли меру времени и перестали считать дни. Узник был совершенно забыт.

Субботний день уже кончился. Солнце, заходя за тучи, казалось, разбрасывает по небу кровавые отблески. Сильный раскат грома поверг меня в тревогу, я постарался вспомнить последний свой разговор с доном Велиалом. Вдруг я услышал глухой, замогильный голос, повторивший три раза:

– Гораньес! Гораньес! Гораньес!

– Праведное небо! – воскликнула сеньора Сантарес. – Кто это – небесный или адский дух обращается ко мне, вещая о смерти моего бедного отца?

Я потерял сознание. А придя в себя, побежал по дороге к Мансанаресу – последний раз просить Велиала о милости. Альгвасилы задержали меня, повели на незнакомую улицу, в незнакомый дом, в котором я скоро узнал тюрьму. Меня заковали в кандалы и кинули в темное подземелье. Я услышал рядом звон цепей.

– Это ты – молодой Эрвас? – спросил меня товарищ по неволе.

– Да, – ответил я. – Я Эрвас и узнаю по голосу, что со мной говорит дон Кривоваль Спарадос. Тебе известно что-нибудь о Гораньесе? Он был не виноват?

– Совершенно ни в чем не повинен, – сказал дон Кривоваль. – Но обвинитель сплел против него такую хитрую сеть, что мог по своему желанию либо погубить, либо спасти. Он требовал от него три тысячи пистолей. Гораньес нигде не мог их достать и только что удавился в тюрьме. Мне тоже дано на выбор – либо такая смерть, либо пожизненное заключение в замке Лараке, на побережье Африки. Я выбрал последнее – в надежде убежать при первой возможности и потом перейти в магометанскую веру. Что же касается тебя, друг мой, то ты вскоре будешь подвергнут пытке и тебя будут спрашивать о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Ты жил вместе с сеньорой Сантарес – так думают, что ты соучастник ее отца.

Вообрази человека, дух и тело которого расслаблены наслаждениями и которому вдруг грозят ужасами продолжительных пыток. Мне показалось, что я уже чувствую боль от мучений. Волосы на голове у меня встали дыбом, ужас сковал мне руки и ноги, и они,

перестав мне повиноваться, начали судорожно дрожать. Вошел тюремщик и увел Спарадоса, который, уходя, кинул мне стилет. У меня не было сил поднять его, не говоря уже о том, чтобы заколотся. Отчаянье мое дошло до того, что сама смерть не могла бы его успокоить.

– О Велиал! – воскликнул я. – Велиал, я знаю, кто ты, но – призываю тебя.

– Ты меня звал? Я здесь! – крикнул нечистый дух. – Возьми этот стилет, добудь крови из пальца и подпиши бумагу, которую я тебе протягиваю.

– О мой ангел-хранитель! – воскликнул я. – Неужели ты совсем оставил меня?

– Ты поздно вспомнил о нем, – взревел дьявол, скрежеща зубами и пылая пламенем.

И он вонзил когти мне в лоб.

Я почувствовал жгучую боль и потерял сознание, верней, впал в какой-то столбняк. Вдруг свет озарил темницу. Златокрылый херувим подставил мне зеркало и промолвил:

– Ты видишь у себя на лбу перевернутый «тав». Это знак вечного проклятья. Ты увидишь его на лбах других грешников, выведешь двенадцать на путь спасенья и потом вступишь на него сам. Надень облачение пилигрима и ступай за мной!

Я очнулся, или, верней, у меня было такое впечатление, что я просыпаюсь; в действительности я находился уже не в тюрьме, а на дороге в Галисию. На мне была одежда странника.

Вскоре я увидел вереницы пилигримов, идущих к святому Иакову Компостельскому. Присоединившись к ним, я обошел все святыни Испании. Мне хотелось попасть в Италию и посетить Лорето. Находясь в это время в Астурии, я направился в Мадрид. Придя в этот город, пошел на Прадо, чтоб отыскать дом сеньоры Сантарес. Однако не нашел его, хотя узнал все соседние дома. Мне стало ясно, что я нахожусь еще под властью дьявола.

Больше я не решился продолжать розыски.

Я посетил несколько церквей, потом отправился в Буэн-Ретиро. В саду никого не было, кроме какого-то человека, сидящего на далекой скамье. Большой мальтийский крест, вышитый на его плаще, дал мне понять, что незнакомец принадлежит к высшим начальникам этого ордена. Казалось, он сидел, погруженный в задумчивость.

Когда я подошел ближе, мне показалось, что у ног его разверстая пропасть, в которой лицо его отражается наоборот, как у сидящих под водой. Но пропасть эта полна огня.

Сделав еще несколько шагов, я увидел, что виденье исчезло; но, присмотревшись к незнакомцу, обнаружил, что на лбу у него – перевернутый «тав», знак вечного проклятья, который херувим показал мне в зеркале на моем собственном лбу.

Тут к вожаку пришел цыган с отчетом за день, и старику пришлось с нами расстаться.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

На другой день вожак, повторяя слова Бускероса, продолжал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОСУЖДЕННОГО ПИЛИГРИМА

Я сразу понял, что передо мной – один из двенадцати грешников, которых мне предстояло вернуть на путь спасения. Я постарался завоевать его доверие. Это мне удалось как нельзя лучше, и когда незнакомец убедился, что меня побуждает не одно только любопытство, в один прекрасный день, уступая моим просьбам, начал рассказывать мне о своих приключениях в таких словах.

ИСТОРИЯ КОМАНДОРА ТОРАЛЬВЫ

Я вступил в Мальтийский орден, еще не выйдя из детских лет: меня записали на службу в качестве пажа. Покровители, которые были у меня при дворе, выхлопотали мне в двадцать пять лет командование галерой, а великий магистр через год, раздавая назначения, доверил мне лучшую командорию Арагона. Я мог и теперь еще могу претендовать на

первейшие должности в ордене, но так как их можно достичь только в более зрелые годы и пока мне нечего было делать, я последовал примеру наших балы, которые, наверно, должны были лучше меня направить, – одним словом, занялся любовными делишками. Правда, я тогда уже считал это грехом, но – если б я только ими и ограничился! Грех, отяготивший мою совесть, был следствием недопустимой опрометчивости, из-за которой я поправил то, что в нашей вере есть самого святого. С ужасом бужу я в себе эти воспоминания, но не буду опережать событий.

Ты, конечно, знаешь, что у нас на Мальте живет несколько дворянских семейств, не принадлежащих к ордену и не имеющих никаких отношений с кавалерами какой бы то ни было степени. Они признают только высшую власть великого магистра и капитула, составляющего при нем Совет.

Затем следует другой слой, средний; он отправляет разные должности и ищет покровительства кавалеров. Женщины этого слоя называются по-итальянски *onorate*, что значит «уважаемые». В самом деле они заслуживают этого – благодаря поведению и, если сказать вам всю правду, благодаря умению сохранять в тайне свои любовные интриги.

Продолжительный опыт научил этих женщин, что соблюдать тайны не в характере французских кавалеров и что, во всяком случае, исключительно редко кто-нибудь из этих кавалеров числил скромность среди прочих своих великолепных качеств, которыми они, вообще говоря, богаты. И получилось так, что молодым людям этой национальности, привыкшим к огромному успеху у женщин в других странах, на Мальте приходится иметь дело с уличными девками. Немецких кавалеров, впрочем не столь многочисленных, женщины «онорате» особенно ценят, мне кажется, из-за бело-розовой кожи. За немцами идут испанцы, главное достоинство которых состоит в твердом и честном образе мыслей.

Французские кавалеры, особенно «караванщики», мстят этим женщинам, всячески насмехаясь над ними и раскрывая их любовные тайны, но так как живут французы всегда обособленно и не желают учиться итальянскому языку, на котором говорит вся страна, никто не обращает внимания на их сплетни.

Так спокойно жили мы с нашими женщинами, как вдруг однажды пришел французский корабль, доставивший командора Фулька из старинного рода сенешалей Пуату, происходящего от герцогов Ангулемских. Командор был однажды на Мальте и прославился большим количеством поединков. Теперь он приехал добиваться назначения на пост главного командора галерного флота. Он прожил уже тридцать шесть лет на свете, и можно было предположить, что он остепенился. И в самом деле, он уже перестал быть забиякой и крикуном, но зато стал надменным, гордым, неуживчивым и притязал на то, чтобы его уважали больше самого великого магистра.

Командор завел открытый дом. Французские кавалеры вечно толклись у него. Мы редко ходили к нему, а потом и совсем перестали, так как у него всегда велись неприятные для нас разговоры, между прочим о женщинах, которых мы уважали и любили. Из дома командор всегда выходил окруженный роем молодых «караванщиков». Он водил их в Узкий переулочек, показывая места своих поединков и рассказывая о них во всех подробностях.

Надо тебе сказать, что по нашим обычаям поединки на Мальте запрещены, кроме как в Узком переулочке, проходе, в который не выходит ни одного окна. Ширина переулочка такова, чтобы два человека могли сойтись и скрестить шпаги. Но отступить ни одному из них невозможно. Противники стоят поперек переулочка, а секунданты останавливают прохожих, чтоб не помешали. Обычай этот был введен когда-то для предотвращения убийств, так как человек, знающий, что у него есть враги, не пойдет по Узкому переулочку; если же убийство будет совершено где-нибудь еще, его нельзя будет выдать за результат поединка.

Наконец, по Узкому переулочку запрещено под страхом смерти ходить, имея при себе стилет. Ты видишь, таким образом, что к поединкам на Мальте отношение вполне терпимое, они даже разрешаются, хоть разрешение это – негласное. Со своей стороны, кавалеры не только не злоупотребляют этой свободой, но говорят о ней даже с некоторым возмущением, как о нарушении христианского милосердия, особенно разительном в местопребывании

ордена.

Так что прогулки командора по Узкому переулку были не очень уместны, и нет ничего удивительного, что они дали плохие плоды: французские «караванчики» стали забияками, к чему, впрочем, имели врожденную склонность. Их дурные повадки делались день ото дня все хуже. Испанские кавалеры еще больше от них отшатнулись и в конце концов собрались у меня, чтоб обсудить вопрос, что сделать для обуздания их буйства, которое становилось нестерпимым. Я поблагодарил соотечественников за оказанную мне честь. И обещал поговорить об этом с командором, обрисовав ему поведение молодых французов как своего рода злоупотребление, которое он один в состоянии сдержать, благодаря высокому уважению и почтению, каким его окружают его подданные, состоящие из представителей трех народов. Я имел намеренье сделать это с надлежащей учтивостью, к которой командор был так чувствителен, но в то же время не надеялся, что дело обойдется без поединка. Однако я думал об этом без огорчения, так как поединок по такому поводу был бы для меня очень почетным. И, наконец, я полагал, что таким способом дам выход той неприязни, которую с давних пор питал к командору.

Это было на страстной, и мы решили, что разговор мой с командором состоится только через две недели. Мне кажется, ему сообщили о моем намерении, и он хотел предупредить события, ища со мной ссоры.

Наступила страстная пятница. Ты знаешь, что по испанскому обычаю, сопровождая в этот день любимую женщину из одной церкви в другую, кавалер подает ей святую воду. Отчасти к этому побуждает ревность и боязнь, чтобы кто-нибудь другой не дал ей воды и таким способом не свел с ней знакомства. Обычай этот существует и на Мальте. Согласно ему, я последовал за одной молодой женщиной, с которой уже несколько лет был в связи. Но в первой же церкви, куда она вошла, командор приблизился к ней раньше меня. Он стал между нами, повернувшись ко мне спиной, и попятился на несколько шагов, словно желая наступить мне на ногу. Этот поступок обратил на себя внимание присутствующих кавалеров.

Выйдя из церкви, я с безразличным видом подошел к командору, словно желая поговорить с ним о пустяках. Спросил его, в какую церковь он думает теперь пойти. Он назвал мне храм какого-то святого. Я предложил провести его туда кратчайшим путем и как будто невзначай привел в Узкий переулок. Там я остановился и обнажил шпагу в уверенности, что никто нам не помешает, так как нынче все в церквах.

Командор тоже обнажил шпагу, но опустил острие.

– Как? – сказал он. – В страстную пятницу?

Я не хотел ничего слушать.

– Прошу принять во внимание, – прибавил он, – что вот уже шесть лет, как я не был на исповеди. Меня страшит состояние моей совести. Через три дня...

У меня вообще характер спокойный, а ты знаешь, что такие люди, доведенные до крайности, теряют над собой власть. Я вынудил командора драться, но – странное дело! – какой-то ужас выразился на его лице. Он прислонился к стене и, словно боясь упасть, заранее искал опоры.

И в самом деле, я пронзил ему грудь с первого выпада. Он опустил клинок, привалился к стене и умирающим голосом произнес:

– Я тебе прощаю – лишь бы небо простило тебя! Отнеси мою шпагу в Тет-Фульк и вели отслужить за упокой моей души сто месс в замковой часовне.

После этого он испустил дух. Сначала я не обратил внимания на его последние слова и, если потом припомнил их, то потому, что услышал вторично. О происшедшем я доложил, как полагается, и могу сказать, что в свете поединок этот мне несколько не повредил. Командора терпеть не могли и признавали, что он получил по заслугам; но я считал, что совершил грех перед Богом, особенно тем, что надругался над святым таинством, и совесть жестоко меня мучила. Так прошла неделя.

В ночь с пятницы на субботу я вдруг проснулся, и оглядевшись по сторонам, обнаружил, что нахожусь не у себя в комнате, а лежу в Узком переулке на мостовой. Еще

больше я удивился, ясно увидев прислонившегося к стене командора. Призрак, наделенный сверхъестественной силой, промолвил:

– Отнеси мою шпагу в Тет-Фульк и закажи за упокой моей души сто месс в замковой часовне.

Как только я услышал эти слова, так сейчас же заснул мертвым сном. А утром проснулся у себя в комнате, в своей постели, но сохранил отчетливое воспоминание о том, что видел.

На следующую ночь я велел слуге лечь у меня в комнате и не видел ничего. Целую неделю я был спокоен, но в ночь с пятницы на субботу опять было то же видение, с той лишь разницей, что в нескольких шагах от меня на мостовой лежал мой слуга. Показался призрак командора и опять произнес те же слова. С тех пор каждую пятницу видение повторялось.

Слуге моему снилось, будто он лежит в Узком переулке, – однако он не видел и не слышал командора.

Сначала я не знал, что это такое за Тет-Фульк, куда мне по требованию командора надлежало отнести его шпагу. Кавалеры из Пуату объяснили мне, что это замок, расположенный в трех милях от Пуатье, в лесу, что в том краю о нем ходят всякие невероятные слухи, что туда отправляются смотреть кое-какие достопримечательности, – например, оружие Фульк-Тайфера и доспехи убитых им рыцарей, – наконец, что, по обычаю, принятому в семье Фульк, туда складывают оружие, служившее членам семьи в битвах и на поединках. Все это меня страшно заинтересовало, но надо было сперва подумать о своей душе.

Я отправился в Рим, исповедался в своих грехах великому исповеднику, не утаив от него и то, что меня все время преследует видение командора. Он не отказал мне в отпущении, но при одном условии. Совершив покаяние, мне необходимо было подумать о ста мессах в часовне замка Тет-Фульк. Между тем небо приняло мою жертву, и с тех пор, как я исповедался, призрак командора перестал меня мучить. Покидая Мальту, я взял с собой его шпагу и немедленно выехал прямо во Францию.

Прибыв в Пуатье, я убедился, что там уже знают о смерти командора и жалеют о ней не больше, чем на Мальте. Я оставил своих слуг в городе, а сам оделся пилигримом и нанял проводника. Мне казалось более уместным пойти в замок пешком, – к тому же дорога в Тет-Фульк была совершенно непроезжей.

Мы подошли к запертым воротам, долго звонили и кричали, – наконец показался управитель. Он был единственным обитателем замка, если не считать надзиравшего за часовней отшельника, которого мы застали как раз на молитве. Когда он окончил свою беседу с Богом, я сказал ему, что прошу его отслужить сто месс. С этими словами я положил пожертвование на алтарь и хотел сделать то же со шпагой командора, но управитель указал мне, что ее надо отнести в оружейную, где, по обычаю, всегда складываются доспехи всех Фульков, павших в битвах, а также оружие убитых ими противников. Я последовал за управителем в оружейную и в самом деле увидел множество шпаг разной величины и многочисленные портреты, начиная от Фульк-Тайфера, герцога Ангулемского, который выстроил Тет-Фульк для своего побочного сына, ставшего потом сенешалем Пуату и родоначальником ветви Фульк из Тет-Фулька.

Портреты сенешаля и его жены висели по обе стороны находящегося в углу оружейной большого камина. Лица на них были как живые. Остальные портреты были тоже хорошо написаны, каждый в стиле своей эпохи, но все они уступали в выразительности портрету Фульк-Тайфера. Изображение было в натуральную величину. Рыцарь стоял в кафтане из буйволового кожи, в одной руке держал шпагу, а другой брал щит, подаваемый ему конюшим. Большая часть шпаг была искусно развешана вокруг этого портрета.

Я попросил управителя, чтобы он приказал затопить и принести мне ужин.

– Что касается ужина, я прикажу, – ответил он, – а вот насчет ночлега я посоветовал бы, милый пилигрим, лучше переночевать у меня в комнате.

Я спросил, чем вызвана такая опасливость.

– Не надо спрашивать, – возразил управитель, – поверь мне и вели постлать тебе возле моей постели.

Я согласился на его предложение с тем большей охотой, что дело было в пятницу и я боялся, как бы призрак опять не появился.

Управитель ушел похлопотать об ужине, и я стал рассматривать оружие и портреты, которые, как я уже сказал, были написаны с удивительным правдоподобием. Чем больше день клонился к закату, тем больше одежды, написанные темными красками, сливались с мрачным фоном картин, только лица резко выделялись, озаренные огнем камина. В этом было что-то страшное, хотя, быть может, я давал слишком большую волю воображению, так как нечистая совесть держала меня в состоянии постоянной тревоги.

Управитель принес мне ужин, состоявший из блюда форелей, пойманных в соседнем ручье. Подали мне и бутылку недурного вина. Я хотел усадить отшельника с нами за стол, но он питался одними кореньями, сваренными в воде.

У меня было обыкновение ежедневно читать требник, как полагается монаху, – тем более испанскому. Поэтому я достал книгу, четки и сказал управителю, что сон еще одолевает меня, и я буду молиться в оружейной до поздней ночи. Я только попросил его показать, где его комната.

– Вот и хорошо, – ответил он. – В полночь в часовню придет молиться отшельник. Тогда ты, спускаясь вот по этой маленькой лестнице, не минуешь моей комнаты, а я оставлю дверь открытой. Только помни, что после полуночи здесь оставаться нельзя.

Управитель ушел. Я стал молиться, время от времени подбрасывая дров в огонь. Но не решался смотреть на стены, так как портреты будто начали оживать. Если же случайно бросал взгляд на какой-нибудь из них, он сейчас же начинал моргать и делать гримасы. Особенно сенешаль и жена его, висевшие по обе стороны камина, кидали на меня грозные взгляды и переглядывались между собой. Внезапный порыв ветра, от которого окна задрожали с такой силой, что оружие на стене застучало, удвоил мою тревогу. Однако я не переставал жарко молиться.

Наконец я услышал голос отшельника, поющего псалмы, и, когда пение прервалось, стал спускаться с лестницы, направляясь в комнату управителя. В руке у меня был огарок свечи, но порыв ветра погасил его; я вернулся, чтоб зажечь его, но каково же было мое удивление, когда я увидел, что сенешаль и жена его, выйдя из рам, сидят у камина. Они дружески беседовали, и речь их слышалась очень отчетливо.

– Душа моя, – сказал сенешаль, – что ты думаешь об этом кастильце, который умертвил командора, не дав ему даже исповедаться?

– Я думаю, мой добрый супруг и господин, – ответил призрак женского пола, – что это великий грех и злодейство. Но у меня есть надежда, что благородный Тайфер не выпустит этого кастильца подобру-поздорову из замка, кинет ему перчатку.

Страх обуял меня, я выскочил на лестницу, хотел ошупью добраться до двери управителя, но тщетно. В руке я еще держал свечку; надо было ее зажечь; я немного успокоился, постарался втолковать самому себе, что призраки у камина порождены моим расpalенным воображением. Я вернулся и, остановившись на пороге оружейной, убедился, что в действительности возле камина никого нет. Я смело вошел, но, сделав несколько шагов – что же увидел посреди зала? Благородный Тайфер в боевой позе направил на меня острие своей шпаги. Я хотел убежать на лестницу, но в дверях встало видение конюшего и кинуло к ногам моим перчатку.

Не зная, что делать, я сорвал со стены первую попавшуюся шпагу и бросился на своего призрачного противника. Мне даже показалось, что я проткнул его насквозь, но в то же мгновение я получил удар под сердце, обжегший меня, как раскаленное железо. Кровь моя хлынула на паркет, и я упал без чувств.

На другой день я очнулся в комнате управителя, который, видя, что меня все нет, взял святой воды и пошел за мной. Он нашел меня распростертым на полу без сознания. Я посмотрел на грудь и не обнаружил никакой раны: значит, удар получен был мной только в

воображении. Управитель ни о чем меня не спрашивал, но посоветовал немедленно покинуть замок.

Я послушался его совета и направился по дороге в Испанию. Через неделю я уже был в Байонне. Прибыл туда в пятницу и остановился в трактире. Среди ночи я вдруг проснулся и увидел перед собой благородного Тайфера, направляющего на меня шпагу. Я осенил себя крестным знаменем, и видение рассеялось. Однако я почувствовал точно такой же удар, как тогда – в замке Тет-Фульк. Мне показалось, что я обливаюсь кровью, хотел позвать на помощь, вскочил с постели, но и то и другое оказалось невозможным. Эта страшная пытка длилась до первого пения петуха; тогда я заснул, но наутро здоровье мое было в самом жалком состоянии. С тех пор видение повторяется каждую пятницу, и никакие благочестивые поступки не могут его предотвратить. Скорбь толкает меня в могилу; так и сойду в нее, не освободившись из-под власти дьявола; меня еще поддерживает слабый луч надежды на милосердие божье, – оно придает мне сил переносить мои мучения.

На этом окончил свою повесть командор Торальва, или – лучше сказать – Осужденный Пилигрим, который, поведав ее Корнадесу, продолжил рассказ о своих собственных приключениях в таких словах.

– Командор Торальва был человек набожный, хоть и нарушил святые правила религии, вступив в поединок с противником, которому не позволил даже очистить свою совесть. Я без труда убедил его, что если он действительно хочет освободиться от искушений дьявола, то ему нужно отправиться на поклонение к святым местам, где грешники всегда найдут утешенье и защиту.

Торальва послушался моего совета, и мы вместе посетили чудотворные святыни в Испании. Потом поехали в Италию. Побывали в Лорето, в Риме. Великий исповедник дал ему не только условное, но и полное отпущенье грехов, к которому добавил папскую индульгенцию. Торальва, совершенно очистившись, уехал на Мальту, – я же в Мадрид, а оттуда в Саламанку.

Встретив тебя, я увидел на лбу твоём знак осуждения, и мне стала известна твоя история. Граф де Пенья Флор в самом деле имел намеренье обольстить всех женщин, но пока не обольстил ни одной. Так как он грешил только в мыслях, душа его еще не подверглась опасности; но вот уже два года, как он пренебрегает требованиями религии и должен был как раз покаяться, когда ты приказал его убить, или, верней, оказался причиной его смерти. Вот почему тебя преследует призрак. У тебя есть один только способ вернуть себе покой. Ты должен следовать примеру командора. Я возьму на себя роль твоего поводыря, так как от этого зависит и мое собственное спасенье.

Корнадес дал себя уговорить. Он посетил святые места в Испании, потом перебрался в Италию – и на богомолье у него ушло два года. Сеньора Корнадес провела все это время в Мадриде, где поселились ее мать и сестра.

Вернувшись в Саламанку, Корнадес нашел дом свой в полнейшем порядке. Жена его, еще похорошевшая против прежнего, была с ним очень ласкова. Через два месяца она съездила еще раз в Мадрид – навестить мать и сестру, а затем вернулась в Саламанку и уже больше ее не покидала, тем более что герцог Аркос отправился послом в Лондон.

Тут вмешался кавалер Толедо:

– Сеньор Бускерос, я не намерен слушать дальше твои рассказы. Мне необходимо знать, что в конце концов случилось с сеньорой Корнадес.

– Она овдовела, – ответил Бускерос, – потом опять вышла замуж и с тех пор ведет себя самым примерным образом. Но что я вижу? Вот она сама направляется в нашу сторону и даже, если не ошибаюсь, прямо к тебе в дом.

– Что ты говоришь?! – воскликнул Толедо. – Да, это сеньора Ускарис. Ах, негодная! Вбила мне в голову, будто я первый был ее любовником. Но она дорого за это заплатит.

Желая как можно скорей оказаться наедине со своей возлюбленной, кавалер поспешил

выпроводить нас.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ

На другой день мы собрались в обычную пору и, попросив цыгана продолжать рассказ о его приключениях, услышали следующее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Толедо, осведомленный о подлинной истории сеньоры Ускарис, некоторое время развлекался тем, что рассказывал ей о Фраските Корнадес как об очаровательной женщине, с которой он хотел бы познакомиться и которая одна только могла бы сделать его счастливым, привязать к себе и остепенить. Но в конце концов ему надоели все любовные интриги, как и сама сеньора Ускарис.

Семья его, пользовавшаяся большим влиянием при дворе, выхлопотала для него кастильский приорат, в то время как раз вакантный. Кавалер поспешил на Мальту занять новую должность, и я потерял покровителя, который мог бы помочь мне расстроить замыслы Бускероса относительно моего отца. Мне пришлось остаться пассивным свидетелем этой интриги, не имея возможности помешать ей. Дело было вот в чем.

Я уже говорил вам в начале моего повествования, что отец мой каждое утро, чтобы подышать свежим воздухом, стоял на балконе, выходящем на улицу Толедо, а потом шел на другой балкон, который выходил в переулок, и, как только увидит своих соседей напротив, так сейчас же приветствовал их, произнося: «Агур!» Он не любил возвращаться в комнату, не поздоровавшись с ними. Чтобы долго его не задерживать, соседи сами спешили выслушать его: «Агур!» – а кроме того, никаких других сношений с ними у него не было. Но эти приветливые соседи съехали, и вместо них поселились две дамы по фамилии Симьенто, дальние родственницы дона Роке Бускероса. Сеньора Симьенто, тетка, была сорокалетняя женщина со свежим цветом лица и нежным, но скромным выражением. А сеньорита Симьенто, племянница – высокая, стройная девушка с красивыми глазами и великолепными плечами.

Обе женщины въехали сразу после того, как помещение освободилось, и на другой день отец мой, выйдя на балкон, был очарован их наружностью. По своему обыкновению, он пожелал им доброго дня, и они ответили ему как нельзя более приветливо. Эта неожиданность доставила ему несказанное удовольствие, – однако он ушел к себе в комнату, а вскоре и обе женщины последовали его примеру.

Взаимный обмен любезностями длился всего неделю, как вдруг отец мой заметил в комнате сеньориты Симьенто некий предмет, возбуждавший в нем величайшее любопытство. Это был небольшой стеклянный шкаф, полный хрустальных баночек и флаконов. В некоторых из них содержались, видимо, яркие краски, в других – золотой, серебряный и голубой песок, в третьих, наконец, золотистый лак. Шкаф стоял прямо перед окном. Сеньорита Симьенто в легком корсаже подходила и брала то один, то другой флакон, затмевая, казалось, алебастровыми плечами своими блестящие краски, которые вынимала из шкафа. Но что она с этими красками делала, отцу было невдомек; однако, не имея привычки о чем бы то ни было расспрашивать, он предпочел остаться в неведении.

Однажды сеньорита Симьенто села у окна и начала писать. Чернила оказались слишком густыми; она развела их водой, но слишком сильно, так что ничего не получилось. Отец мой, подчиняясь врожденной любезности, налил бутылку чернил и послал соседке. Служанка вместе с изъявлениями благодарности принесла ему картонную коробочку с дюжиной палочек разноцветного сургуча; каждая палочка была снабжена надписью или эмблемой, весьма искусно написанной.

Наконец отец понял, чем занимается сеньорита Симьенто. Эта работа, напоминающая его собственную, могла бы послужить великолепным дополнением к занятию, которому он

посвятил жизнь. Усовершенствование качества сургуча, по мнению подлинных знатоков, ценилось выше, нежели производство чернил. Изумленный отец склеил конверт, написал на нем своими замечательными чернилами адрес и запечатал новым сургучом. Печать оттиснулась превосходно. Он положил конверт на стол и долго им любовался.

Вечером он пошел к книгопродавцу Морено, где застал какого-то незнакомого человека, который принес такую же коробочку с таким же количеством палочек сургуча. Присутствующие взяли на пробу и не могли нахвалиться совершенством выработки. Отец провел там весь вечер, а ночью видел во сне сургучные палочки.

На другой день утром он обратился к соседкам с обычным приветствием; хотел сказать даже что-то еще и уже открыл было рот, но промолчал и ушел к себе в комнату, однако сел так, чтобы видеть, что делается у сеньориты Симьенто. Служанка вытирала пыль, а прекрасная племянница высматривала сквозь увеличительное стекло малейшую пылинку и, если удавалось что-нибудь обнаружить, приказывала вытирать еще раз. Отец, отличавшийся исключительной любовью к порядку, видя ту же самую склонность в соседке, проникся к ней еще большим уважением.

Я уже вам говорил, главное занятие моего отца состояло в том, что он курил сигары и пересчитывал прохожих либо черепицы на крыше дворца герцога Альбы; однако с этих пор он уже не посвящал этой забаве целые часы, а занимался ею каких-нибудь несколько минут: могучие чары влекли его на балкон, выходящий в переулок.

Первый заметил эту перемену Бускерос и не раз высказывал при мне твердую уверенность, что скоро дон Фелипе Авадоро восстановит свою прежнюю фамилию, лишившись прозвания: дель Тинтеро Ларго. Как ни плохо разбирался я в делах, однако понимал, что женитьба отца ни с какой стороны не может быть мне выгодной, поэтому я побежал к тете Даланосе и стал умолять ее, чтоб она постаралась помешать беде. Тетя искренне огорчилась этой вестью и еще раз отправилась к дяде Сантосу; но театинец ответил, что брак – божественное таинство, против которого он не имеет права выступать, а насчет меня последит, чтоб мне не было причинено никакого ущерба.

Кавалер Толедо давно уехал на Мальту, и я вынужден был бессильно смотреть на все это, а порой даже и содействовать, так как Бускерос посылал меня с письмами к своим родным, потому что сам у них не бывал.

Сеньора Симьенто никогда не выходила из дома и никого не принимала. Со своей стороны, и отец мой все реже ходил в город. Никогда прежде не отказался бы он от театра и не стал бы изменять распорядок дня; теперь же пользовался любым предлогом – самым легким насморком или простудой, – чтоб посидеть дома. И не мог оторваться от окна, выходящего в переулок, глядя, как сеньорита Симьенто расставляет флаконы или укладывает палочки сургуча. Вид двух белоснежных рук, все время мелькающих у него перед глазами, до того распалил его воображение, что он не мог ни о чем другом думать.

Вскоре новый предмет возбудил его любопытство. Это был котелок, сходный с тем, в котором он приготавливал свои чернила, но гораздо меньших размеров и стоящий на железном треножнике. Горящие под ним горелки все время поддерживали умеренную температуру. Вслед за первым появились еще два таких же котелка.

На другой день отец, выйдя на балкон и произнеся: «Агур», – хотел было спросить, что значат эти котелки, но, не имея привычки вступать в разговор, ничего не сказал и ушел к себе. Терзаемый любопытством, он решил послать сеньорите Симьенто еще бутылку своих чернил. В виде благодарности он получил три флакона разноцветных чернил: красных, зеленых и синих.

Вечером отец пошел к книгопродавцу. Он застал там одного чиновника из финансового ведомства, державшего под мышкой сводный отчет о приходах и расходах кассы. В этом отчете столбцы цифр были написаны красными чернилами, заглавия – синими, а разграфлены листы – зелеными. Чиновник утверждал, что только он один владеет тайной изготовления таких чернил и что во всем городе нет никого, кто мог бы похвастать этим искусством. Услышав это, какой-то неизвестный обратился к отцу со словами:

– Сеньор Авадоро, неужели ты, так отменно изготавливающий черные чернила, не знаешь способа изготавливать цветные?

Отец мой не любил, когда его о чем-нибудь спрашивали, и очень легко смущался. На этот раз, однако, он разомкнул было уста, чтоб ответить, но ничего не сказал, а решил лучше сбегать домой и принести к Морено бутылки. Присутствующие не могли вдоволь надивиться высокому качеству чернил, а чиновник попросил разрешения взять немного на пробу домой. Отец, осыпанный похвалами, втайне уступил всю славу сеньорите Симьенто, до сих пор не зная даже, как ее зовут. Вернувшись к себе, он открыл книгу с рецептами и нашел два для изготовления синих чернил, три для зеленых и семь для красных. При виде стольких рецептов у него в голове помутилось, он не мог двух мыслей связать, одни только прекрасные плечи соседки живо рисовались в его воображении. Уснувшие чувства его пробудились, и он почувствовал всю их силу.

На другой день утром, приветствуя соседок, он твердо решил узнать их фамилию и разомкнул уста, чтобы спросить, но опять ничего не сказал и вернулся к себе в комнату. Потом, выйдя на балкон по улице Толедо, он увидел довольно хорошо одетого человека с черной бутылкой в руке. Поняв, что этому человеку нужны чернила, он стал мешать в котле, чтоб отпустить самых лучших. Кран находился на одной трети высоты котла, так что отстой оставался на дне. Незвестный вошел, но вместо того, чтобы уйти, когда отец налил ему бутылку, сел и попросил позволения выкурить сигару. Отец хотел что-то ответить, но ничего не сказал; незвестный вынул сигару из кармана и прикурил от лампы на столе.

Этим незвестным был негодяй Бускерос.

– Сеньор Авадоро, – обратился он к моему отцу, – ты занимаешься приготовлением жидкости, принесшей человечеству немало бед. Сколько заговоров, предательств, обманов, сколько скверных книг появилось на свет благодаря чернилам, не говоря уже о любовных записках и посягательствах на честь мужей. Как по-твоему, сеньор Авадоро? Не отвечаешь, привык молчать. Но это не важно, что ты молчишь; зато я говорю за двоих, у меня уж такая привычка. Будь добр, сеньор Авадоро, сядь на вот это кресло, я вкратце поясню тебе свою мысль. Утверждаю, что из этой бутылки чернил выйдет...

При этом Бускерос толкнул бутылку, и чернила вылились прямо на колени отцу, который, ни слова не говоря, поспешно вытер их и переоделся. Вернувшись, он увидел, что Бускерос держит шляпу в руке и хочет с ним проститься. Отец был счастлив избавиться от него и открыл ему дверь. Бускерос в самом деле вышел, но через минуту вернулся.

– Прошу прощенья, сеньор Авадоро, – промолвил он, – мы с тобой забыли, что бутылка пуста. Однако не трудись: я сам сумею ее наполнить.

Бускерос взял воронку, вставил ее в бутылку и повернул кран. Когда бутылка наполнилась, отец снова пошел открывать дверь. Дон Роке стремительно выскочил наружу, а отец вдруг увидел, что кран остался открытым, и чернила разливаются по комнате. Он кинулся закрывать кран, и в это мгновение Бускерос вернулся еще раз и, делая вид, будто не замечает, что натворил, поставил бутылку на стол, развалился на том самом кресле, вынул из кармана сигару и закурил ее от лампы.

– Это правда, сеньор Авадоро, – спросил он отца, – что у тебя был сын, который утонул в этом котле? Если бы бедняга умел плавать, он бы, конечно; спасся. Где ты достал этот котел, сеньор? Бьюсь об заклад, что в Тобосе. Великолепная глина, такая идет на изготовление селитры. Тверда, как камень. Позволь попробовать.

Отец мой хотел помешать этому, но Бускерос ударил по котлу мешалкой и разбил его вдребезги. Чернила хлынули ручьем, облили отца и все, что было в комнате, в том числе и самого Бускероса.

Отец, редко открывавший рот, на этот раз закричал благим матом. На балконе показались соседки.

– Ах, милостивые государыни, – крикнул Бускерос, – у нас несчастье: разбился большой котел и залил всю комнату чернилами. Сеньор Тинтеро не знает, что делать. Окажите нам христианское милосердие, пустите к себе.

Соседки охотно согласились, и отец, несмотря на смущенье, с удовольствием подумал о том, что он познакомится со своей красавицей, которая издали протягивала к нему белоснежные руки, очаровательно улыбаясь.

Бускерос накинул плащ отцу на плечи и проводил его до дома сеньоры Симьенто. Не успел отец мой туда войти, как получил неприятное известие. Торговец шелком, державший лавку под его жильем, заявил, что чернила протекли вниз на его товар и что он уже послал за судейским чиновником для составления протокола о нанесенном ущербе. В то же самое время и владелец дома потребовал от отца немедленно съехать с квартиры.

Отец, изгнанный из своего жилища и выкупанный в чернилах, впал в полное уныние.

– Не надо падать духом, сеньор Авадоро, – сказал ему Бускерос. – У этих дам во дворе есть просторное помещение, в котором они совершенно не нуждаются. Я распоряжусь, чтобы сейчас же принесли туда твои вещи. Тебе там будет очень удобно; и к тому же у тебя не будет недостатка в красных, синих, зеленых чернилах гораздо лучшего качества, чем были твои. Но советую тебе некоторое время не выходить из дома: если ты пойдешь к Морено, каждый будет просить, чтобы ты рассказал о происшествии с котлом, а ты ведь не любишь много говорить. Гляди, вон уже зеваки со всего околотка сбежались смотреть на чернильный поток в твоей комнате; завтра во всем городе только и будет разговоров, что об этом.

Отец был сам не свой, но довольно было одного приманчивого взгляда сеньориты Симьенто, чтобы он приободрился и пошел осматривать свое новое обиталище. Он недолго оставался там один; к нему пришла сеньора Симьенто и сказала, что, посоветовавшись с племянницей, решила сдать ему *cuarto principal*, то есть помещение с окнами на улицу. Отец, любивший считать прохожих или черепицы на крыше дворца герцога Альбы, охотно согласился на эту замену. У него попросили только позволения оставить на прежнем месте цветные чернила. Отец кивнул головой, согласившись и на это.

Котелки стояли в средней комнате; сеньорита Симьенто приходила, уходила, брала краски, не говоря ни слова, так что во всем доме царил полная тишина. Отец никогда еще не был столь счастлив. Так прошло восемь дней. На девятый к отцу явился Бускерос и сказал ему:

– Сеньор Авадоро, я пришел сообщить тебе о счастливом исполнении желаний, о котором ты мечтал, но до сих пор не решался говорить. Ты покоришь сердце сеньориты Симьенто и получишь ее руку. Но сперва тебе придется подписать вот эту бумагу, которую я держу, – если хочешь, чтоб в воскресенье состоялось оглашение.

Ошеломленный отец хотел ответить, но Бускерос не дал ему времени на это и продолжал:

– Сеньор Авадоро, предстоящая женитьба твоя – ни для кого не тайна. Весь Мадрид только о ней и толкует. Если ты намерен отложить ее, то родные сеньориты Симьенто соберутся у меня, ты тоже приходи и сам объясни причины задержки. От этого тебе нет никакой возможности уклониться.

Отец оцепенел от ужаса при мысли, что ему придется давать объяснения перед всей семьей, и хотел что-то сказать, но дон Роке опять перебил его:

– Я прекрасно тебя понимаю: ты хочешь узнать о своем счастье от самой сеньориты Симьенто. Вот и она; я оставляю вас одних.

Сеньорита Симьенто вошла, смущенная, не смея поднять глаз на моего отца; взяла красок и стала молча смешивать их. Робость ее придавала дону Фелипе отваги, он вперил в нее взгляд и не мог оторваться. На этот раз он любовался ею совершенно иначе.

Бускерос оставил нужную для оглашения бумагу на столе. Сеньорита Симьенто приблизилась с трепетом, взяла документ, прочла его, потом прикрыла глаза рукой и уронила несколько слезинок. Отец после смерти жены своей никогда не плакал и никому не давал повода плакать. Вызванные им слезы тем более взволновали его, что он не мог хорошенько понять причину их. Плачет ли сеньорита Симьенто из-за содержания документов или из-за того, что они не подписаны? Хочет ли она выйти за него или нет? Так

размышлял он. А она продолжала плакать. Было бы слишком жестоко не остановить ее слез; но для того, чтобы она объяснилась, надо было заговорить с ней, – поэтому отец взял перо и подписал. Сеньорита Симьенто поцеловала ему руку, взяла бумагу и ушла; вернулась она в обычный час, снова поцеловала отцу руку и, ни слова не говоря, занялась приготовлением синего сургуча. А отец в это время курил сигару и считал черепицы на дворце герцога Альбы. В полдень пришел брат Херонимо Сантос, принес брачный договор, в котором не был забыт и я. Отец подписал, сеньорита Симьенто тоже, потом поцеловала отцу руку и молча вернулась к своему сургучу.

После того как был разбит большой чернильный сосуд, отцу нельзя было показываться в театре, а тем более у книгопродавца Морено. Уединение начало понемногу ему надоедать. Прошло три дня после подписания контракта. Пришел Бускерос и стал уговаривать отца поехать с ним на прогулку. Отец уступил, и они поехали на другой берег Мансанареса. Вскоре они остановились перед маленькой церковкой францисканцев. Дон Роке помог моему отцу выйти из экипажа, и они вместе вошли в церковь, где увидели сеньориту Симьенто, которая их уже ждала. Отец открыл было рот, чтобы сказать, что думал, будто едет только подышать свежим воздухом, но ничего не сказал, взял сеньориту Симьенто под руку и повел ее к алтарю.

Выйдя из церкви, новобрачные сели в роскошную карету и вернулись в Мадрид, в прекрасный дом, где их ждал блестящий бал. Сеньора Авадоро открыла его с каким-то молодым человеком очень красивой наружности. Они танцевали фанданго, награждаемые шумными рукоплесканиями.

Отец мой напрасно старался найти в своей супруге ту тихую и скромную девицу, которая целовала ему руку с видом такой глубокой покорности. Вместо этого он, к своему неописуемому удивлению, увидел разбитную, шумную, легкомысленную женщину. Сам он ни с кем не заговаривал, а так как его никто ни о чем не спрашивал, то единственным его утешением было молчание.

Подали холодное мясо и прохладительные напитки; отец, которого одолевал сон, осмелился спросить, не пора ли ехать домой. Ему ответили, что он у себя дома. Отец подумал, что дом этот входит в приданое жены; он велел, чтоб ему показали, где спальня, и лег в постель.

Утром дон Роке разбудил новобрачных.

– Сеньор, дорогой мой родственник, – с такими словами обратился он к моему отцу, – я называю тебя так, потому что жена твоя – ближайшая родственница, какая только у меня есть на белом свете. Мать ее – из рода Бускеросов из Леона. До сих пор я не напоминал тебе о твоих делах, но отныне намерен заняться ими больше, чем своими собственными, оттого что, сказать по правде, у меня никаких собственных дел нет. Что касается твоего состояния, сеньор Авадоро, я прекрасно осведомлен о твоих доходах и о том, как ты их тратишь последние шестнадцать лет.

Вот документы о твоём имущественном положении. Ко времени первой женитьбы ты получал четыре тысячи пистолей годового дохода, которые, кстати сказать, не умел тратить. Ты брал себе шестьсот пистолей, а двести расходовал на воспитание сына. Остающиеся три тысячи двести пистолей ты помещал в торговый банк, а проценты с них отдавал театинцу Херонимо на благотворительные дела. Я тебя за это ничуть не осуждаю, но, честное слово, жаль бедняков, которые отныне будут обходиться без твоей поддержки.

Впредь мы сами сумеем распорядиться твоими четырьмя тысячами пистолей годового дохода. А что касается до пятидесяти одной тысячи двухсот, лежащих в банке, то вот как мы их распределим: за этот дом – восемнадцать тысяч пистолей; признаю, что это дороговато, но продающий – мой близкий родственник, а мои родственники – твои родственники, дон Авадоро. Ожерелье и кольца, которые были вчера на сеньоре Авадоро, стоят восемь тысяч пистолей, допустим, десять, я потом тебе объясню, в чем дело. Остается еще двадцать три тысячи двести пистолей. Проклятый театинец пятнадцать тысяч оставил для твоего бездельника-сына на случай, если бы тот вдруг нашелся. Пять тысяч на устройство дома не

будет слишком много, потому что, откровенно говоря, приданое твоей жены составляет шесть рубашек и столько же пар чулок. Ты скажешь мне, что и при этом останется еще три тысячи двести пистолей, с которыми ты сам не знаешь, что делать. Чтоб вывести тебя из затруднения, я займу их у тебя под процент, о котором мы договоримся. Вот, сеньор Авадоро, доверенность, будь добр подписать.

Отец мой не мог прийти в себя от изумления, в которое повергли его слова Бускероса; он открыл рот, чтобы что-то сказать в ответ, но, не зная, как начать, отвернулся к стене и надвинул на глаза ночной колпак.

– Ерунда, – промолвил Бускерос, – не ты первый хочешь заслониться от меня ночным колпаком и притвориться спящим. Я знаю эти штучки и всегда ношу свой ночной колпак в кармане. Сейчас я тоже прилягу на диване, мы оба выспимся, а потом опять вернемся к нашей доверенности или же, если ты предпочитаешь, соберем моих и твоих родственников и посмотрим, нельзя ли уладить это дело как-нибудь иначе.

Отец мой, засунув голову между подушками, стал размышлять о своем положении и о том, как бы вернуть себе покой. Он вообразил, что, предоставив жене полную свободу, сможет вернуться к прежнему образу жизни, ходить в театр, к книготорговцу Морено и даже наслаждаться изготовлением чернил. Немного утешенный этой мыслью, он открыл глаза и сделал знак, что согласен подписать доверенность.

В самом деле, он подписал ее и хотел встать с постели.

– погоди, сеньор Авадоро, – остановил его Бускерос, – прежде чем вставать, ты должен подумать о том, что будешь целый день делать. Я помогу тебе, и, надеюсь, ты будешь доволен тем распорядком, который я предложу, тем более что сегодняшний день положит начало целой веренице столь же приятных, сколь разнообразных занятий. Прежде всего я принес тебе здесь пару расшитых сапожек и костюм для верховой езды. У ворот тебя ждет отличный скакун, мы покатаемся по Прадо, куда и сеньора Авадоро скоро прибудет в карете. Ты убедишься, сеньор дон Фелипе, что у супруги твоей в городе много знатных друзей, которые станут и твоими. Правда, в последнее время они слегка охладели к ней, но теперь, видя, что она замужем за таким выдающимся человеком, как ты, несомненно, забудут о своем прежнем предубеждении к ней. Я тебе говорю, первые сановники при дворе будут искать встречи с тобой, угождать тебе, обнимать, – да нет! – душить тебя в приливе дружеских чувств!

Услышав это, отец мой впал в какое-то расслабленное состояние или, лучше сказать, – в оцепенение. Бускерос, не замечая этого, продолжал:

– Некоторые из этих господ будут оказывать тебе честь, добиваясь приглашения на твои обеды. Да, сеньор Авадоро, они будут оказывать тебе эту честь, и я думаю, что ты не подведешь меня. Ты убедишься, что твоя жена умеет принимать гостей. Даю слово, ты не узнаешь прежней скромной изготовительницы сургуча! Ты ничего не говоришь на это, сеньор Авадоро, и правильно делаешь, что меня не перебиваешь. Например, ты любишь испанскую комедию, но – бьюсь об заклад – никогда не был в итальянской опере, которая приводит в восхищение весь двор. Ладно, нынче же вечером ты будешь в опере – и знаешь, в чьей ложе? Ни больше ни меньше, как самого Фернандо де Тас, главного конюшего! А оттуда мы поедем на бал к этому же сеньору, где ты увидишь все придворное общество. С тобой будут беседовать, приготовься отвечать.

Между тем отец мой пришел в себя, но на лбу у него выступил холодный пот, руки сделались как деревянные, шея напряглась, голова упала на подушки, глаза странно выкатились из орбит, грудь стала издавать мучительные вздохи, – словом, у него начались судороги. Бускерос заметил наконец, какое действие производят его слова, и позвал на помощь, а сам отправился на Прадо, куда вскоре за ним поспешила и моя мачеха.

Отец впал в летаргию. Силы вернулись к нему, но он никого не узнавал, кроме жены и Бускероса. При виде их лицо его исказилось яростью, но в остальном он оставался спокойным, молчал и отказывался вставать с постели. А когда приходилось все же ненадолго встать, то казалось, ему страшно холодно, и он полчаса после этого стучал зубами. Приступ

слабости становился все острее. Больной мог принимать пищу только в очень небольших количествах. Судорожный спазм сжимал ему горло, язык распух и сделался твердым, глаза потускнели, взгляд стал мутным, темно-желтая кожа пошла мелкими белыми пятнами.

Я получил доступ в его дом под видом слуги и с прискорбием следил за развитием болезни. Тетя Даланоса, которой я открыл тайну, дежурила при нем по ночам, но больной не узнавал ее; что же касается моей мачехи, то было заметно, что ее присутствие очень ему вредит, так что брат Херонимо уговорил ее уехать в провинцию, куда поспешил за ней и Бускерос.

Я прибег к последнему средству, которое должно было вывести отца из его ужасной меланхолии, и в самом деле оно принесло временное облегчение. Однажды в полуоткрытую дверь в соседнюю комнату отец увидел котел, совершенно такой же, как тот, в котором он прежде варил чернила; рядом стоял столик с разными бутылками и весами для отвешивания составных частей. Лицо отца выразило тихую радость; он встал, подошел к столику, велел подать ему кресло; но сам он был слишком слаб, и приготовлением чернил должен был заняться кто-то другой, а он только внимательно следил за этим. На другой день он уже принимал в этом участие, на третий – состояние больного значительно улучшилось, но спустя несколько дней началась горячка, до тех пор за всю болезнь ни разу не появлявшаяся. Приступы ее в общем не были острыми, но больной до того ослабел, что его организм потерял всякую способность сопротивляться. Он угас, так и не узнав меня, несмотря на все старания напомнить ему обо мне.

Так умер человек, не принеся с собой в этот мир того запаса нравственных и физических сил, который мог бы обеспечить ему хотя бы относительную стойкость. Инстинкт, если можно так выразиться, подсказал ему избрать такой образ жизни, который соответствовал его возможностям. Он погиб, когда его попытались ввергнуть в деятельное существование.

Мне пора теперь вернуться к рассказу о себе самом. Кончились наконец два года моего покаяния. Трибунал инквизиции, по ходатайству брата Херонимо, позволил мне снова носить собственную фамилию – при условии, если я приму участие в военной экспедиции на мальтийских галерах. Я с радостью подчинился этому приказу, надеясь встретиться с командором Толедо уже не как слуга, а почти как равный. Мне опостылело носить лохмотья нищего. Я роскошно экипировался, примеряя одежду у тети Даланосы, которая обмирала от восторга. И тронулся в путь на восходе солнца, чтоб избежать любопытных, которых могло заинтересовать мое внезапное превращение. Сел на корабль в Барселоне и, после короткого плавания, прибыл на Мальту. Встреча с кавалером оказалась приятней, чем я ожидал. Толедо уверил меня, что никогда не обманывался моим нарядом и решил предложить мне свою дружбу, как только я обрету свое прежнее положение. Кавалер командовал главной галерой; он взял меня на свой мостик, и мы курсировали по морю четыре месяца, не нанеся особого вреда берберийцам, которые без труда уходили от нас на своих легких кораблях.

На этом кончается история моего детства. Я рассказал ее вам во всех подробностях, которые до сих пор хранит моя память. Я так и вижу перед собой келью моего ректора у театинцев в Бургосе и в ней – суровую фигуру отца Санудо; мне представляется, как я ем каштаны на паперти храма святого Роха и протягиваю руки к благородному Толедо.

Не буду пересказывать вам столь же пространно и приключения моей молодости. Каждый раз, мысленно переносясь в эту прекраснейшую пору моей жизни, я вижу лишь смятение страстей и безумное неистовство порывов. Глубокое забвение застилает от глаз моих чувства, наполнявшие мою мятущуюся душу. Сквозь мглу минувших лет проглядывают проблески взаимной любви, но предметы любви расплываются, и я вижу лишь смутные образы красивых, охваченных чувственным порывом женщин и веселых девушек, обвивающих белоснежными руками мою шею, вижу, как мрачные дуэньи, не в силах противостоять столь волнующему зрелищу, соединяют влюбленных, которых должны были бы разлучить. Вижу вожделенную лампу, подающую мне знак из окна, полустертые ступени, ведущие меня к потайным дверям. Эти миги – предел наслаждения. Пробыло

четыре, начинает светать, пора прощаться, – ах и в прощанье есть своя сладость!

Думаю, что от одного края света до другого история любви всюду одна и та же. Повесть о моих любовных приключениях, быть может, не показалась бы вам особенно занимательной, но думается, что вы с удовольствием выслушаете историю моего первого увлечения. Подробности ее удивительны, я мог бы даже счесть их чудесными. Но сейчас уже поздно, мне еще надо подумать о таборных делах, так что позвольте отложить продолжение на завтра.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ

Мы собрались в обычный час, и цыган, у которого было свободное время, начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

На следующий год кавалер Толедо принял на себя главное командование галерами, а брат его прислал ему на расходы шестьсот тысяч пиастров. У ордена было тогда шесть галер, и Толедо прибавил к ним еще две, вооружив их за свой счет. Кавалеров собралось шестьсот. Это был цвет европейской молодежи. В то время во Франции начали вводить мундиры, чего до тех пор не было в обычае. Толедо облачил нас в полуфранцузский-полуиспанский мундир: пурпурный кафтан, черные латы с мальтийским крестом на груди, брыжи и испанская шляпа. Этот наряд удивительно шел нам. Где бы мы ни высаживались, женщины не отходили от окон, а дуэньи бегали с любовными записочками, вручая их подчас не тому, кому надо. Промахи эти подавали повод к презабавнейшим недоразумениям. Мы заходили во все порты Средиземного моря, и всюду нас ждали новые празднества.

Посреди этих развлечений мне исполнилось двадцать лет; Толедо был на десять лет старше. Великий магистр назначил его главным судьей и передал приорат Кастилии. Он покинул Мальту, осыпанный этими новыми почестями, и уговорил меня сопутствовать ему в путешествии по Италии. Мы сели на корабль и благополучно прибыли в Неаполь. Не скоро уехали бы мы оттуда, если бы красавицам так же легко было удерживать пригожего Толедо в своих сетях, как завлекать в них; но мой друг в совершенстве владел искусством бросать возлюбленных, не порывая с ними добрых отношений. И он оставил свои неаполитанские романы для новых связей сперва во Флоренции, потом в Милане, Венеции, Генуе, так что мы только на следующий год прибыли в Мадрид.

Сейчас же после приезда Толедо отправился представляться к королю, а потом, взяв самого красивого коня из конюшни своего брата – герцога Лермы, велел оседлать для меня другого, не менее прекрасного, и мы поехали на Прадо, чтобы смешаться с всадниками, галопирующими у дворец дамских экипажей.

Наше внимание привлек роскошный выезд. Это была открытая карета, в которой сидели две женщины в полутрауре. Толедо узнал гордую герцогиню Авилу и подъехал, чтобы с ней поздороваться. Другая тоже повернулась к нему; он ее совсем не знал и, видимо, был очарован ее красотой.

Это была прекрасная герцогиня Медина Сидония, которая оставила домашнее уединение и вернулась в свет. Она узнала во мне своего бывшего узника и приложила палец к губам, давая мне знак не выдавать ее тайны. Потом устремила взгляд своих прелестных глаз на Толедо, в лице которого появилось выражение серьезности и нерешительности, какого я до тех пор не видел у него. Герцогиня Сидония объявила, что не выйдет второй раз замуж, а герцогиня Авила – что вообще никогда не выйдет ни за кого.

Надо признать, что мальтийский кавалер, принимая во внимание столь твердые решения, приехал в самую пору. Обе дамы приняли Толедо очень любезно, и тот от всего сердца поблагодарил их за доброе отношение, а герцогиня Сидония, прикидываясь, будто впервые видит меня, сумела привлечь ко мне внимание своей спутницы. Таким образом, составились две пары, которые стали встречаться во время всех столичных увеселений.

Толедо, в сотый раз став возлюбленным, сам полюбил впервые. Я приносил дань благоговейного восхищения к ногам герцогини Авила. Но прежде чем начать рассказ о моих отношениях с этой дамой, я должен обрисовать вам двумя словами положение, в котором она тогда находилась.

Герцог Авила, отец ее, умер, когда мы были еще на Мальте. Смерть человека честолобивого всегда производит на окружающих очень сильное впечатление, его падение волнует их и ошеломляет. В Мадриде помнили инфанту Беатрису и ее тайную связь с герцогом. Поговаривали о сыне, который должен был стать продолжателем рода. Надеялись, что завещание покойного разъяснит эту тайну, но всеобщие ожидания оказались обманутыми, – завещание не разъяснило ничего. Двор молчал, а между тем гордая герцогиня Авила появилась в свете еще более высокомерная, еще больше пренебрегающая поклонниками и замужеством, чем когда-либо.

Хотя я происхожу из дворянской семьи, однако, по испанским понятиям, между мной и герцогиней не могло быть никакого равенства, и я мог лишь рассчитывать на роль молодого человека, который ищет покровительства, чтобы устроить свою судьбу. Таким образом, Толедо был рыцарем прекрасной Сидонии, а я как бы пажом ее приятельницы.

Такая служба не была мне неприятна; я мог, не выдавая моей страсти, предупреждать все желания восхитительной Мануэлы, исполнять ее приказания, – словом, целиком посвятить себя ей. Усердно ловя малейший знак моей повелительницы, я боялся выражением лица, взглядом или вздохом обнаружить свою сердечную тайну. Страх оскорбить ее и быть прогнанным с ее глаз, что легко могло произойти, придавал мне сил сдерживать свою страсть. Герцогиня Сидония старалась по возможности поднять меня во мнении своей приятельницы, но добилась лишь нескольких приветливых улыбок, выражающих холодную благосклонность.

Такое положение длилось больше года. Я встречался с герцогиней в церкви, на Прадо, получал ее распоряжения на весь день, но никогда нога моя не переступала порога ее дома. Однажды она вызвала меня к себе. Я застал ее за пальцами, окруженную толпой прислужниц. Указав мне на кресло, она взглянула на меня надменно и промолвила:

– Сеньор Авадоро, я унизила бы память моих предков, чья кровь течет в моих жилах, если б не пустила в ход все влияние моей семьи, чтоб вознаградить тебя за услуги, которые ты каждый день мне оказываешь. Мой дядя, герцог Сорриенте, тоже обратил на это мое внимание и предлагает тебе должность командира полка его имени. Надеюсь, ты окажешь мне честь, приняв это назначение. Подумай.

– Сеньора, – ответил я, – я связал свое будущее с судьбой кавалера Толедо и не хочу других должностей, кроме тех, которые он сам для меня исхлопочет. Что же касается услуг, которые я имею счастье ежедневно оказывать вашей светлости, то самой сладкой наградой за них будет позволение их не прерывать.

Герцогиня ничего мне на это не ответила, а легким кивком дала мне знать, что я могу идти.

Через неделю меня опять позвали к гордой герцогине. Она приняла меня в том же духе, как первый раз, и сказала:

– Сеньор Авадоро, я не могу допустить, чтобы ты превзошел в благородстве герцогов де Авила, Сорриенте и прочих грандов из моего рода. Хочу сделать тебе другое выгодное предложение, способное тебя осчастливить. Один дворянин, семья которого предана нашему роду, приобрел значительное состояние в Мексике. У него единственная дочь, и он дает за ней миллион...

Я не дал герцогине договорить и, встав, не без раздражения промолвил:

– Хоть в моих жилах не течет кровь герцогов де Авила и Сорриенте, сердце, бьющееся в этой груди, неподкупно.

После этого я хотел уйти, но герцогиня велела мне остаться; выслав женщин в соседнюю комнату, но оставив дверь открытой, она сказала:

– Сеньор Авадоро, я могу предложить тебе только одну награду: усердие, с которым ты

исполняешь мои желания, позволяет мне надеяться, что на этот раз ты мне не откажешь. Речь идет об очень важной услуге.

– В самом деле, – ответил я, – это единственная награда, которая может меня осчастливить. Никакой другой я не желаю и не могу принять.

– Подойди сюда, – продолжала герцогиня. – Я не хочу, чтобы нас слышали из другой комнаты. Авадоро, тебе, конечно, известно, что отец мой был тайно мужем инфанты Беатрисы; быть может, при тебе заходила речь о том, будто он имел от нее сына. Мой отец сам распустил этот слух, чтобы сбить придворных с толку; в действительности же от этой связи осталась дочь, которая живет и воспитывается в одном монастыре неподалеку от Мадрида. Отец мой, умирая, открыл мне тайну ее рождения, о которой она сама не знает. Он сообщил мне о своих намерениях относительно нее, но смерть положила конец всему. Теперь невозможно было бы восстановить всю сеть честолюбивых интриг, сплетенных герцогом для достижения своих целей. Полного узаконения моей сестры осуществить невозможно, и первый наш шаг в этом направлении мог бы повлечь за собой гибель несчастной. Я недавно была у нее. Леонора – простодушная, добрая и веселая девушка. Я полюбила ее от всего сердца, но настоятельница столько наговорила мне о ее необычайном сходстве со мной, что я не решилась навестить ее второй раз. Однако я сказала, что искренне хочу о ней позаботиться, что она – плод одного из бесчисленных любовных увлечений моего отца. Несколько дней тому назад мне сообщили, что двор начал наводить о ней справки в монастыре; эта новость очень меня встревожила, и я решила перевезти ее в Мадрид.

У меня есть на безлюдной улице, которая носит даже название Ретрада⁴⁴, незаметный домик. Я велела снять дом напротив и прошу тебя: поселись в нем и стереги сокровище, которое я тебе вверяю. Вот адрес твоего нового жилища, а вот письмо, которое ты передашь настоятельнице урсулинок в Пеньоне. Ты возьмешь четырех всадников и коляску с двумя мулами. Мою сестру будет сопровождать дуэнья, которая и поселится с ней. По всем вопросам обращай к дуэнье, но в дом тебе входить нельзя. Дочь моего отца и инфанты не должна давать малейшего повода к дурным толкам.

Сказав это, герцогиня слегка кивнула – в знак того, что я должен уйти. Я оставил ее и отправился прямо в свое новое жилище, которое нашел вполне удобным и даже довольно роскошно обставленным. Оставив в нем двух верных слуг, я вернулся в прежнее свое жилище у Толедо. Что же касается дома, доставшегося мне после отца, то я сдал его внаем за четыреста пиастров.

Осмотрел я и дом, предназначенный для Леоноры. Я застал в нем двух служанок и старого слугу семейства де Авила, который не носил ливреи.

Дом, изысканно и роскошно обставленный, был полон всего, что необходимо для жизни в довольстве.

На другой день я взял четырех всадников, коляску и поспешил в Пеньон, в монастырь. Меня провели в приемную, где меня уже ждала настоятельница. Прочтя письмо, она улыбнулась и вздохнула.

– Сладчайший Иисусе, – промолвила она, – сколько грехов совершается в мире! Как же я счастлива, что оставила его! Например, сударь, та сеньорина, за которой ты приехал, так похожа на герцогиню Авилу, что два изображения сладчайшего Иисуса не могут быть более схожи друг с другом. Кто родители этой девушки – никому не известно. Покойный герцог Авила, упокой, господи, его душу...

Настоятельница никогда не кончила бы свою болтовню, но я дал ей понять, что должен как можно скорей исполнить порученное; в ответ она кивнула головой, еще поохала, помянула «сладчайшего Иисуса», потом велела мне поговорить с привратницей.

Я пошел к калитке. Вскоре вышли две женщины, совершенно закутанные, и молча сели в коляску. Я вскочил на коня и поехал за ними, тоже ни слова не говоря. При въезде в

⁴⁴ задворки (исп.)

Мадрид я немного опередил коляску и приветствовал женщин у двери дома. Сам я к ним в дом не вошел, а отправился в свой и оттуда стал наблюдать, как мои спутницы у себя устраиваются.

В самом деле, я заметил большое сходство между герцогиней и Леонорой; разница была только в том, что у Леоноры лицо было бледнее, волосы совсем белокурые, а фигура чуть полнее. Так, по крайней мере, казалось мне из окна, но Леонора ни минуты не сидела на месте, и я не мог как следует ее рассмотреть. Счастливая тем, что выбралась из монастыря, она предавалась необузданному веселью. Обежала весь дом от чердака до погребов, восторгаясь хозяйственной утварью, восхищаясь красотой кастрюльки или котелка. Задавала тысячи вопросов дуэнье, которая не успевала отвечать, и в конце концов заперла ставни на ключ, так что мне ничего не стало видно.

В полдень я пошел к герцогине и отдал ей отчет обо всем. Она приняла меня, как всегда, с холодным величием.

– Сеньор Авадоро, – сказала она, – Леонора предназначена осчастливить того, кому отдаст свою руку. По нашим обычаям, ты не можешь у нее бывать, даже если тебе суждено стать ее мужем. Но я скажу дуэнье, чтобы она оставляла открытой одну ставню в сторону твоих окон, но при этом требую, чтобы твои ставни были всегда закрыты. Ты будешь давать мне отчет обо всем, что делает Леонора, хотя знакомство с тобой может быть для нее опасным, особенно если у тебя такое отвращение к браку, которое я обнаружила в тебе несколько дней тому назад.

– Сеньорита, – ответил я, – я сказал только, что корыстные соображения не повлияют на мой выбор, хотя, по чести, признаюсь, решил никогда не жениться.

От герцогини я пошел к Толедо, которому, однако, не поверил моих тайн, после чего вернулся к себе на улицу Ретрада. Не только ставни, но даже окна напротив были открыты. Старый слуга Агдраде играл на гитаре, а Леонора плясала болеро с увлечением и грацией, каких я никогда не ожидал встретить в воспитаннице кармелиток: первые годы жизни она провела там, и только после смерти герцога ее отдали к урсулинкам. Леонора пускала в ход тысячи уловок, желая во что бы то ни стало заставить свою дуэнью танцевать с Андрaде. Я просто диву давался, что у холодной, серьезной герцогини такая веселая сестра. Если не считать этого, сходство было поразительным. Я был влюблен в герцогиню, как безумный, поэтому живое воплощение ее прелестей очень меня занимало. В то время как я предавался наслаждению, созерцая Леонору, дуэнья закрыла ставни, и больше я ничего не видел.

На другой день я пошел к герцогине и рассказал ей о вчерашних своих наблюдениях. Не утаил и того невыразимого наслаждения, которое испытывал, глядя на невинные забавы ее сестры, осмелился даже описать свой восторг по поводу сходства, которое заметил между Леонорой и герцогиней.

Слова эти можно было принять за объяснение в любви. Герцогиня нахмурилась, приняла еще более недоступный вид, чем обычно, и сказала:

– Сеньор Авадоро, какое бы ни было сходство между двумя сестрами, прошу никогда не объединять их в своих похвалах. А пока жду тебя завтра утром. Я собираюсь уехать на несколько дней и желала бы перед отъездом поговорить с тобой.

– Сеньорита, – ответил я, – я осужден погибнуть под ударами твоего гнева: черты твои запечатлены в душе моей как образ некоего божества. Я знаю, что нас разделяет слишком большое расстояние, чтобы я смел выражать тебе свои чувства. Но вот я нашел образ твоей божественной красоты в веселой, прямодушной, простой и открытой молодой девушке, – кто же запретит мне, сеньорита, в ее лице обожать тебя?

С каждым моим словом лицо герцогини приобретало все более суровое выражение, и я подумал, она велит мне уйти и не показываться ей на глаза. Но нет, – она повторила только, чтобы я завтра пришел.

Я пообедал с Толедо, а вечером вернулся на свой пост. Окна напротив были открыты, и мне было прекрасно видно, что делается во всем помещении. Леонора была на кухне и приготавливала олю подриду. Она поминутно спрашивала совета у дуэньи, нарезала мясо и

укладывала его на блюдо, при этом все-время смеялась и была в превосходном настроении. Потом накрыла стол белой скатертью и поставила на нем два скромных прибора. На ней был скромный корсаж, и рукава ее были засучены по локти.

Окна и ставни закрыли, но то, что я видел, произвело на меня сильное впечатление, потому что такой же человек может хладнокровно созерцать зрелище домашней жизни. Такого рода картины приводят к женитьбе.

На другой день я пошел к герцогине; и сам уж не знаю, что говорил ей. Она как будто боялась нового любовного объяснения.

– Сеньор Авадоро, – перебила она меня, – я уезжаю, как говорила тебе вчера, и пробуду некоторое время в герцогстве Авила. Я позволила сестре гулять после захода солнца, но не отходить далеко от дома. На случай, если ты пожелаешь в это время к ней подойти, я предупредила дуэнью, чтоб она не мешала вам разговаривать, сколько захотите. Постарайся узнать сердце и образ мыслей молодой особы, потом дашь мне в этом отчет.

Тут легкий кивок головой дал мне понять, что пора уходить. Нелегко было мне расставаться с герцогиней, я любил ее всем сердцем. Необычайная гордость ее не отталкивала меня, так как я полагал, что, когда она захочет отдать кому-нибудь свое сердце, то, наверно, выберет возлюбленного из низших сословий, как обычно бывает в Испании. Я тешил себя надеждой, что вдруг она когда-нибудь полюбит меня, хотя ее обращение со мной должно было развеять всякие иллюзии на этот счет. Одним словом, я целый день думал о герцогине, а вечером стал думать о ее сестре. Когда я пришел на улицу Ретрада, месяц светил очень ярко, и я увидел Леонору с дуэньей на скамье у самой двери. Дуэнья приблизилась ко мне и пригласила посидеть с ее воспитанницей, а сама ушла. После небольшого молчания Леонора промолвила:

– Вы и есть, сеньор, тот молодой человек, с которым мне позволено видаться? Могу я рассчитывать на вашу дружбу?

Я ответил, что она в ней никогда не ошибется.

– Хорошо, – продолжала она. – Тогда скажите мне, пожалуйста, как меня зовут?

– Леонора, – ответил я.

– Я не об этом, – возразила она. – У меня же должна быть фамилия. Я уже не такая дурочка, какой была у кармелиток. Там я думала, будто весь мир состоит из монахинь и исповедников, а теперь знаю, что есть жены и мужья, которые никогда не расстаются, и что дети носят фамилию отца. Поэтому я и хочу узнать свою фамилию.

В некоторых монастырях кармелитки подчиняются очень строгому уставу, поэтому такая неосведомленность у двадцатилетней девушки меня не удивила. Я ответил, что, к сожалению, не знаю, как ее фамилия. Потом сказал, что видел, как она танцует у себя в комнате, и что танцам она училась, уж верно, не у кармелиток.

– Нет, – ответила она. – Герцог Авила поместил меня у кармелиток, но после его смерти меня перевели к урсулинкам, и там одна из воспитанниц научила меня танцевать, а другая – петь; а о том, как мужья живут со своими женами, мне рассказывали все, отнюдь не делая из этого тайны. Что касается меня, то я хочу непременно иметь фамилию, но для этого мне надо выйти замуж.

Потом Леонора заговорила о театре, о прогулках, о бое быков, проявляя страстное желание все это видеть. С тех пор я несколько раз беседовал с ней по вечерам. Через неделю я получил от герцогини письмо следующего содержания:

«Приближая тебя к Леоноре, я хотела пробудить в ней склонность к тебе. Дуэнья уверяет меня, что моя цель достигнута. Если преданность, которую ты ко мне оказываешь, искренняя, ты женишься на Леоноре. Имей в виду, что отказ я восприму, как оскорбление».

Я ответил так:

«Сеньорита!

Моя преданность вашей светлости – единственное чувство, наполняющее всю мою душу. Для чувств, следуемых супруге, в ней нет места. Леонора заслуживает мужа, который любил бы только ее».

На это я получил такой ответ:

«Бесполезно было бы дальше скрывать от тебя, что ты для меня опасен и что ответ твой доставил мне величайшую радость, какую мне довелось испытать в жизни. Но я решила преодолеть самое себя. Предлагаю тебе на выбор: либо жениться на Леоноре, либо оказаться навсегда отстраненным от меня или даже быть изгнанным из Испании. Ты знаешь, что мои родные пользуются немалым влиянием при дворе. Не пиши мне больше; я дала дуэнье соответствующие указания».

Как ни был я влюблен в герцогиню, такая безмерная гордость сильно меня задела. Я хотел было сразу признаться во всем Толедо и прибегнуть к его защите, но кавалер, по-прежнему влюбленный в герцогиню Сидонию, был очень привязан к ее подруге и никогда ничего не предпринял бы против последней. Поэтому я решил молчать и вечером сел у окна, чтобы получше рассмотреть свою будущую супругу. Окна были открыты, все помещение было у меня как на ладони. Леонора сидела в окружении четырех женщин, занимавшихся ее нарядом. На ней было шитое серебром белое атласное платье, венок из цветов на голове и бриллиантовое ожерелье. Длинная белая вуаль покрывала ее всю с головы до ног.

Эти приготовления меня удивили. Вскоре изумление мое еще возросло. В глубине комнаты поставили стол, украшенный как алтарь, и зажгли на нем несколько свечей. Вошел священник с двумя дворянами, видимо игравшими роль свидетелей. Не хватало только жениха. Я услышал, как ко мне постучали, и послышался голос дуэньи, обращенный ко мне:

– Тебя ждут, сеньор. Или ты решил воспротивиться приказанию герцогини?

Я пошел за дуэньей. Молодая сеньорита не сняла вуали, ее руку вложили в мою, – словом, нас обвенчали. Свидетели пожелали мне счастья, так же как и моей супруге, лица которой не видели, и ушли. Дуэнья повела нас в комнату, слабо озаренную лучами месяца, и заперла за нами двери.

Тут один из таборных пришел за вожакom. Он ушел, и в этот день мы его больше не видели.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ

Мы собрались в обычную пору, и цыган, пользуясь свободным временем, продолжал свой рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Я вам рассказал о своем удивительном венчании. Наша жизнь с женой тоже была своеобразна. После захода солнца открывались ставни, и я видел всю внутренность помещения, но она не выходила из дома, и я не имел возможности приблизиться к ней. Только в полночь за мной приходила дуэнья, а под утро отводила меня обратно.

Через неделю герцогиня вернулась в Мадрид. Я предстал перед ней в страшном смущении. Я совершил кощунство по отношению к любви, которою пылал к ней, и горько упрекал себя за это. Она же, наоборот, отнеслась ко мне с невыразимой ласковостью. Всякий раз, оставаясь со мной с глазу на глаз, она отбрасывала прежнее холодное обращение; я был для нее братом и другом.

Однажды вечером, вернувшись к себе и как раз запирая дверь, я почувствовал, что кто-то тянет меня за полу. Повернулся и увидел Бускероса.

– Наконец-то ты мне попался, – сказал он. – Кавалер Толедо жалуется, что давно не видел тебя, что ты от него скрываешься и что он не может понять, чем ты занят таким важным. Я попросил у него двадцать четыре часа сроку, чтоб обо всем ему в точности доложить. Мне повезло. Но ты, сударь, помни, что должен относиться ко мне с почтением: ведь я женат на твоей мачехе.

Последние слова напомнили мне о том, какую роковую роль сыграл Бускерос в судьбе моего отца; я не мог удержаться, чтоб не обнаружить к нему неприязни, и мне удалось от

него отделаться.

На другой день я пошел к герцогине и рассказал ей об этой злосчастной встрече. Мое сообщение, видимо, очень ее огорчило.

– Бускерос, – сказала она, – это шпион, от которого, кажется, ничто не скроется. Необходимо уберечь Леонору от его любопытства. Сегодня же отправлю ее в Авилу. Не сердись на меня, Авадоро, я это делаю для счастья вас обоих.

– Сеньорита, – ответил я, – условие счастья – исполнение желаний, а я никогда не стремился стать мужем Леоноры. Однако должен признаться, что теперь привязался к ней, и любовь моя с каждым днем становится все сильнее, если можно так выразиться, так как днем-то я как раз ее никогда не вижу.

В тот же день я пошел на улицу Ретрада, но никого там не застал. Все двери и окна были заперты.

Через несколько дней после этого Толедо вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

– Я говорил королю о тебе. Наш милостивый государь посылает тебя в Неаполь с донесением. Питерборо, этот знатный англичанин, хочет встретиться со мной в Неаполе по очень важным делам. Однако его величество не пожелал отпустить меня, и ехать придется тебе. Но это как будто не очень тебе улыбается, – прибавил он.

– Я бесконечно благодарен его величеству за милость, – ответил я, – но у меня здесь, в Мадриде, есть покровительница, без согласия которой я не могу ничего предпринимать.

Толедо с улыбкой промолвил:

– Я уже переговорил об этом с герцогиней; сегодня же повидайся с ней.

Я пошел к герцогине, и она мне сказала:

– Милый Авадоро, ты знаешь, в каком положении находится испанская монархия. Король стоит одной ногой в могиле, и с ним угаснет австрийская ветвь. В столь критических обстоятельствах каждый истый испанец должен забыть о себе и всеми возможными средствами служить родине. Твоя жена – в безопасном месте. Леонора не будет писать тебе, так как она не умеет писать; кармелитки этому ее не обучали. Я заменю ее и, если верить дуэнье, вскоре смогу прислать тебе такие вести, которые заставят тебя привязаться к ней еще больше.

При этих словах герцогиня опустила глаза, густо покраснела и сделала мне знак удалиться.

Я отправился к министру за распоряжениями, которые касались внешних отношений и охватывали также вопросы, связанные с управлением Неаполитанским королевством, так как последнее хотели всеми способами привязать к Испании. На другой день я выехал и совершил путешествие со всей возможной поспешностью.

Я принялся выполнять данные мне поручения с усердием новичка, но в минуты, свободные от работы, думал только о Мадриде. Так или иначе, а герцогиня любит меня, призналась мне; породнившись со мной, она исцелилась от страсти, однако сохранила привязанность, которой я видел тысячи доказательств. Леонора, тайное божество ночей моих, подала мне чашу наслаждений руками Гименея. Воспоминание о ней царило над всеми моими чувствами, так же как и над сердцем. Тоска моя по ней сменилась чуть не отчаяньем. Кроме этих двух женщин, весь остальной прекрасный пол был мне совершенно безразличен.

Письмо герцогини я получил вместе с бумагами от министра. Оно было без подписи и написано измененным почерком. Я узнал, что Леонора ждет ребенка, но больна и очень ослабела. Вскоре я получил известие, что стал отцом и что Леонора тяжело страдает. Сообщения о ее здоровье как будто готовили меня к ожидающему меня вскоре страшному удару.

Вдруг в Неаполь приехал Толедо, когда я всего меньше этого ожидал. Он кинулся в мои объятия.

– Я прибыл по делам королевства, – сказал он, – но, откровенно говоря, меня прислали обе герцогини.

Тут он подал мне письмо, которое я распечатал, дрожа. Содержание его я предвидел.

Герцогиня извещала меня о смерти Леоноры и выражала мне самые нежные, дружеские соболезнования.

Толедо, издавна имевший на меня большое влияние, употребил его на то, чтобы меня успокоить. По-настоящему я не знал Леоноры, но она была моя жена, и мысль о ней влекла за собой чудные воспоминания о нашем кратком супружестве. Хотя скорбь поутихла, я все же был печален и подавлен.

Толедо все дела взял на себя, и, когда они были улажены, мы вернулись в Мадрид. Неподалеку от ворот столицы кавалер вышел из коляски и крутыми тропинками провел меня на кладбище кармелиток. Там он указал мне на черную мраморную урну. Надпись на постаменте гласила, что это могила Леоноры Авадоро. Я облил надгробье горячими слезами и несколько раз возвращался к нему, прежде чем пойти приветствовать герцогиню. Она на это не обиделась, наоборот, при первой же нашей встрече выразила мне почти трогательное сочувствие. Провела меня в дальнюю комнату и показала ребенка в колыбели. Волнение мое достигло крайнего предела. Я упал на колени, герцогиня протянула мне руку и велела встать, после чего сделала знак удалиться.

На другой день я явился к министру, который представил меня его величеству. Толедо, отправляя меня в Неаполь, искал повода выхлопотать мне какую-нибудь милость. Я был удостоен звания кавалера ордена Калатравы. Хотя награда эта не ставила меня на одну доску с первыми сановниками, но все же к ним приближала. С тех пор обе герцогини и кавалер Толедо старались при всяком удобном случае показать, что смотрят на меня как на равного. Я был обязан им всей своей карьерой, и они с радостью следили за моим возвышением.

Вскоре после этого герцогиня Авила поручила мне устроить одно дело, которое у нее было в Совете Кастилии. Я исполнил это поручение с усердием и осмотрительностью, которые повысили уважение моей покровительницы ко мне. С каждым днем герцогиня становилась ко мне все благосклонней. И тут начинается самая удивительная часть всей истории.

После возвращения из Италии я поселился опять у Толедо, но сохранил за собой и прежнее жилище на улице Ретрада, стеречь которое оставил слугу по имени Амвросио. Дом напротив, тот самый, где я венчался, принадлежал герцогине; он был на запоре, и никто там не жил. Однажды утром ко мне пришел Амвросио и стал просить, чтоб я прислала кого-нибудь на его место, и притом человека храброго, так как в доме напротив после полуночи творятся странные дела. Я хотел, чтоб он объяснил мне, что это за дела, но Амвросио стал уверять, что со страху ничего не видел и ни за какие сокровища на свете не согласится провести ночь в моем доме – ни один, ни с кем-нибудь другим.

Во мне проснулось любопытство. Я решил этой же ночью убедиться воочию, что там происходит. В доме оставалась еще кое-какая обстановка, и я после ужина туда перебрался. Велел одному из слуг лечь спать в прихожей, а сам устроился в комнате с окнами на прежний дом Леоноры. Выпил несколько чашек черного кофе, чтоб не заснуть, и дождался полуночи. Это был час, когда, по словам Амвросио, появлялись духи. Чтоб не испугнуть их, я погасил свечу. Вскоре я увидел в доме напротив свет, который двигался, переходя с одного этажа на другой, из одной комнаты в другую.

Ставни не позволяли мне увидеть, откуда этот свет исходит, – но на другой день я послал к герцогине за ключами от ее дома и пошел его осматривать. Я не нашел там никакой обстановки, никаких следов чьего-либо пребывания. Открыв по одной ставне на каждом этаже, я ушел.

Вечером я снова занял свой наблюдательный пункт, и в полночь в доме напротив снова заблестел тот же свет. Но на этот раз я увидел его источник. Женщина в белом с лампой в руке обошла медленным шагом все комнаты первого этажа, поднялась на второй и исчезла. Лампа освещала ее слишком слабо, чтобы можно было рассмотреть черты лица, но по светлым волосам я узнал Леонору.

Утром я поспешил к герцогине, но ее не было дома. Я прошел в детскую; там было несколько женщин, страшно взволнованных и растерянных. Сперва мне не хотели ничего

говорить, но в конце концов кормилица призналась, что ночью вошла какая-то женщина в белом с лампой в руке, долго глядела на ребенка, перекрестила его и ушла. После рассказа кормилицы вернулась домой герцогиня, велела позвать меня и сказала:

– По некоторым причинам я не хочу, чтобы твой ребенок оставался здесь дольше. Я велела приготовить для него дом на улице Ретрада. Теперь он будет жить там с кормилицей и женщиной, которая считается его матерью. Я думала предложить и тебе жить там, да боюсь, что это может подать повод к лишним разговорам.

Я ответил, что оставил за собой помещение напротив и буду там иногда ночевать.

Желание герцогини было исполнено, ребенка перевезли. Я позаботился о том, чтобы его поместили в комнате с окнами на улицу и чтобы не закрывали ставен. Когда пробило полночь, я подошел к окну; в комнате напротив я увидел ребенка, спящего рядом с кормилицей. Показалась женщина в белом с лампой в руке, подошла к колыбельке, долго смотрела на ребенка, перекрестила его, потом встала у окна и устремила взгляд на меня. Через некоторое время она отошла, и я увидел свет на втором этаже, потом она вышла на крышу, легко перебежала по ней, перепрыгнула на соседнюю и скрылась из глаз.

Признаться, все это поставило меня в тупик. На другой день я с нетерпением ждал полуночи. Как только пробило двенадцать, я сел у окна. Вскоре я увидел уже не женщину в белом, а какого-то карлика с синей физиономией, деревянной ногой и лампой в руке. Он подошел к ребенку, внимательно на него посмотрел, потом уселся на подоконнике, подогнув ноги, и стал пристально смотреть на меня. Но вскоре соскочил с окна, верней – соскользнул на улицу и принялся стучать в мою дверь. Я спросил, кто он такой и что ему нужно. Вместо ответа он промолвил:

– Дон Хуан Авадоро, возьми шпагу и шляпу и ступай за мной.

Я сделал, как он сказал, вышел на улицу и увидел карлика, который ковылял на своей деревянной ноге шагах в двадцати передо мной, показывая мне дорогу фонарем. Пройдя шагов сто, он повернул налево и привел меня в пустынную часть города между улицей Ретрада и рекой Мансанарес. Мы прошли под сводом и очутились на засаженном деревьями патио. Патио – это двор, куда не въезжают повозки. В глубине двора был небольшой готический фасад, похожий на портал какой-то часовни. Из-за колонн вышла женщина в белом, карлик осветил фонарем мое лицо.

– Это он! – воскликнуло видение. – Он самый! Мой муж! Мой ненаглядный супруг!

– Сеньора, – заметил я. – Я был уверен, что ты умерла.

В самом деле, это была Леонора; я узнал ее по голосу, а еще больше – по страстному объятию, пылкость которого не дала мне даже задуматься над необычностью происходящего. Да у меня и времени на это не было; Леонора вдруг выскользнула из моих рук и скрылась в темноте. Я не знал, что мне делать; к счастью, карлик предложил мне следовать за его фонарем, я пошел за ним, шагая по развалинам и пустынным улицам, но потом фонарь вдруг погас. Я стал громко звать карлу, но тот не откликнулся; тьма была – хоть глаз выколи, я решил лечь на землю и ждать рассвета.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Я лежал возле урны из черного мрамора, на которой стояла надпись золотыми буквами: «Леонора Авадоро». Не было сомнения, что я провел ночь у надгробья своей жены. Я вспомнил предшествующие события, и, признаюсь, воспоминания эти меня очень смутили. Давно не быв у исповеди, я пошел к театинцам и попросил вызвать моего деда Херонимо. Мне сказали, что он болен; тогда я попросил дать мне другого исповедника. Первым моим вопросом было: могут ли злые духи принимать вид людей.

– Разумеется, – ответил исповедник. – Святой Фома в своей «Сумме» упоминает о такого рода привидениях. В таких случаях дело идет о грехах исключительных, которые может отпустить не каждый исповедник. Когда человек долго не бывает у причастия, дьяволы забирают над ним страшную власть: являются ему под видом женщин и вводят его в соблазн. Если ты думаешь, милый, что имел дело с такими привидениями, обратись к великому исповеднику. Не теряй времени, никто не знает своего дня и часа.

Я ответил, что со мной произошел странный случай, который, быть может, был обманом чувств; затем попросил разрешения прервать исповедь.

Я пошел к Толедо, который объявил мне, что поведет меня обедать к герцогине Авиле, где будет также герцогиня Сидония. Заметив, что я какой-то рассеянный, он спросил о причине. В самом деле, я был задумчив и отвечал на вопросы невпопад. Обед у герцогини не рассеял моего уныния, однако Толедо и обе дамы были настроены так весело, что в конце концов и у меня стало легче на душе.

Во время обеда я заметил какие-то намеки и улыбки, словно бы меня касающиеся. Встав из-за стола, мы перешли не в гостиную, а во внутренние покои. Там Толедо запер дверь на ключ и сказал:

— Благородный кавалер Калатравы, встань на колени перед герцогиней, которая уже больше года твоя жена. Надеюсь, ты не скажешь, что догадывался об этом. Те, кому ты вздумал бы рассказать о своих приключениях, могли бы разгадать тайну. Поэтому нам было важно уничтожить подозрения в самом зародыше, и до сих пор наши усилия увенчивались успехом. Правда, замечательную услугу оказала нам тайна гордого герцога Авилы. В действительности у него был сын, которого он хотел узаконить, но сын этот умер, и герцог потребовал от дочери, чтобы она никогда не вступала в брак и таким образом оставила все состояние герцогам де Сорриенте, которые являются младшей линией де Авилы.

Надменная герцогиня ни за что на свете не склонилась бы ни перед чьей властью, но после нашего возвращения с Мальты надменность эта сильно уменьшилась и готова была совсем рухнуть. К счастью, у герцогини Авилы есть подруга, ты, милый Авадоро, ее прекрасно знаешь, так вот она доверила ей свои чувства, и мы втроем заключили тайный союз. Мы нашли, или, лучше сказать, выдумали Леонору, дочь покойного герцога и инфанты. На самом деле это была просто герцогиня в светлом парике, набеленная и более полная благодаря платью. Но ты не узнал своей гордой повелительницы в скромной воспитаннице кармелиток. Я был на нескольких репетициях герцогини в этой роли и, признаюсь, тоже не догадался бы.

Видя, что ты отвергаешь самые блестящие партии единственно из желания служить ей, герцогиня решила выйти за тебя. Вы – муж и жена перед богом и церковью, но не перед людьми и тщетно старались бы доказать ваши супружеские права друг на друга. Таким способом герцогиня исполнила взятое на себя обязательство.

Вы сочетались таинством брака, вследствие чего герцогине пришлось провести несколько месяцев в деревне, чтобы скрыться от глаз толпы. Бускерос приехал в Мадрид; я велел ему следить за тобой, и под предлогом того, что шпион может выведать тайну, мы увезли Леонору в деревню. В дальнейшем пришлось услатить тебя в Неаполь, потому что мы не знали, как тебя успокоить относительно твоей жены, а герцогиня хотела открыться тебе только после того, как живое доказательство вашей любви утвердит твои права на нее.

Теперь, милый Авадоро, умоляю тебя простить меня. Я ранил твое сердце, сообщая о смерти особы, которой никогда не существовало. Однако глубокое твое горе не было напрасным. Герцогиня с радостью убедилась, что в двух столь разных образах ты любил ее.

Уже неделю хочу я наконец все тебе рассказать, и тут опять вся вина – моя. Я решил во что бы то ни стало вызвать Леонору с того света. Герцогиня согласилась взять на себя роль женщины в белом, однако... это не она, а маленький трубочист из Савойи с такой легкостью бегал по крыше. Этот же самый бездельник следующей ночью пришел изображать хромого дьявола. Сел на подоконник и спустился на улицу на шнуре, привязанном к оконной задвижке.

Не знаю, что было на дворе у кармелиток, но нынешним утром я снова велел за тобой следить и узнал, что ты долго стоял на коленях в исповедальне; я не люблю иметь дело с церковью и побоялся, как бы шутка не зашла слишком далеко. Поэтому я уже не противился желанию герцогини и решил, что сегодня ты все узнаешь.

Вот что примерно сказал мне Толедо, но я не очень-то его слушал. Я стоял на коленях у ног Мануэлы, дивное смятение выражалось в ее чертах, я отчетливо читал в них признание

поражения. При победе моей присутствовали только два свидетеля, но от этого я чувствовал себя ничуть не менее счастливым. Я познал высшее удовлетворение в любви, в дружбе и даже в самолюбии. Какая минута для юноши!

Когда цыган произнес эти слова, ему доложили, что пора заняться делами табора. Я повернулся к Ревекке и сказал, что мы выслушали повесть о необычайном происшествии, которое, однако, объяснялось очень просто.

– Ты прав, – ответила она, – может быть, и твои объясняются так же просто.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

Мы ждали каких-то важных событий. Цыган рассылал во все стороны гонцов, нетерпеливо поджидая их возвращения, а на вопросы о том, когда мы двинемся в путь, качал головой, заявляя, что не может назначить срок. Пребывание в горах начало мне уже надоедать, я был бы рад как можно скорей явиться в полк, но, несмотря на самое искреннее желание, вынужден был еще на некоторое время задержаться. Дни тянулись довольно однообразно, зато вечера скрашивало общество вожака цыган, в котором я открывал все новые достоинства. Любопытствуя относительно дальнейших его походов, я на этот раз сам попросил его удовлетворить нашу любознательность, что он и сделал, начав так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Вспомните, как я обедал с герцогинями де Авила, де Сидония и другом своим Толедо и как лишь тогда узнал о том, что гордая Мануэла – моя жена. Нас ждали экипажи, мы отправились в замок Сорриенте. Там – новая неожиданность! Та самая дуэнья, которая была при мнимой Леоноре в доме на улице Ретрада, представила мне малютку Мануэлу. Дуэнью звали донья Росальба, и ребенок считал ее своей матерью.

Сорриенте стоит на берегу Тахо, в одной из очаровательнейших местностей на свете. Однако прелесть природы недолго привлекала мое внимание. Отцовское чувство, любовь, дружба, сладкие упования, общее сердечное согласие поочередно услаждали жизнь. То, что мы называем счастьем в этой краткой жизни, наполняло все мои мгновенья. Состояние это длилось, насколько помню, шесть недель. Пора было возвращаться в Мадрид. Мы приехали в столицу поздно вечером. Я проводил герцогиню в ее дворец, взшел с ней на лестницу. Она была взволнована.

– Дон Хуан, – сказала она мне, – в Сорриенте ты был мужем Мануэлы, а в Мадриде ты – вдовец Леоноры.

Когда она произнесла эти слова, я заметил какую-то тень за перилами лестницы. Я схватил эту тень за шиворот и подвел к фонарю. Это был Бускерос. Я уже хотел воздать ему должное за шпионство, но герцогиня остановила меня одним взглядом. Этот взгляд не ускользнул от внимания Бускероса. Приняв обычный дерзкий вид, он промолвил:

– Сеньора, я не мог удержаться от искушения полюбоваться мгновенье твоей ослепительной наружностью; конечно, никто не обнаружил бы меня в моем укрытии, если бы сиянье твоей красоты не осветило этой лестницы, подобно солнцу.

Произнеся эти любезности, Бускерос сделал глубокий поклон и удалился.

– Я боюсь, – сказала герцогиня, – что мои слова достигли слуха этого негодяя. Пойди, дон Хуан, поговори с ним и постарайся выбить у него из головы вредные мысли.

Случай этот, видимо, очень встревожил герцогиню. Я оставил ее и догнал Бускероса на улице.

– Многоуважаемый пасынок, – сказал он, – ты чуть не огрел меня палкой, и тогда бы тебе несдобровать, попал бы пальцем в небо. Прежде всего нарушил бы уважение, которое ты мне обязан оказывать как мужу своей бывшей мачехи; а затем имей в виду, что я уже больше не мелкий чиновник, каким ты меня знал когда-то. Теперь я выбился в люди, и

министерство, и даже двор оценили мои способности. Герцог Аркос вернулся из Лондона, и в большой милости. Прежняя его любовница сеньора Ускарис овдовела и находится в тесной дружбе с моей женой. Так что мы задрали носы и никого не боимся.

Но, милый пасынок, скажи мне, что говорила тебе герцогиня. По всему было видно, что вы ужасно боялись, как бы я вас не подслушал. Предупреждаю тебя: мы не очень жалует семейство де Авила, Сидониев и даже твоего холеного Толедо. Сеньора Ускарис не может ему простить, что он ее бросил. Я не понимаю, почему вы ездили все вместе в Сорриенте; однако в ваше отсутствие вами горячо интересовались. Вы об этом ничего не знаете, вы невинны, как младенцы. Маркиз Медина, действительно ведущий свой род от Сидониев, хочет герцогского титула и руки юной герцогини для своего сына. Девочке нет еще одиннадцати лет, но это не помеха. Маркиз в давнишней тесной дружбе с герцогом Аркосом, любимцем кардинала Портокарреро, а тот – всемогущ при дворе, так что это все как-то устроится. Можешь уверить в этом герцогиню.

Но погоди еще, любезный пасынок: не думай, будто я не узнал в тебе мальчишкуннищего с паперти святого Роха. Но ты был тогда не в ладах со святой инквизицией, а я не испытываю любопытства к делам, связанным с этим судом. А теперь всего доброго, до свиданья!

Бускерос ушел, а я убедился, что он все такой же проныра и нахал, с той только разницей, что его услугами пользуются в высших сферах.

На другой день я обедал со своими друзьями и передал им вчерашний разговор. Он произвел на слушателей гораздо более сильное впечатление, чем я предполагал. Толедо, уже не такой красавец и волокита, как прежде, охотно попытался бы удовлетворить свое честолюбие, но, к несчастью, министр, на поддержку которого он рассчитывал – граф Оропеса, – ушел в отставку. И кавалеру приходилось подумать о выборе другого пути. Возвращенье герцога Аркоса и милость, в которой тот был у кардинала, нисколько его не радовали.

Герцогиня Сидония, видимо, с ужасом думала о том времени, когда ей придется довольствоваться лишь пожизненной рентой. А герцогиня Авила всякий раз, как шла речь о дворе или королевской милости, принимала неприступный вид. В такие минуты мне становилось ясно, что неравенство положений дает себя чувствовать даже при наличии самой искренней дружбы.

Через несколько дней после этого во время обеда у герцогини Сидонии конюший герцога Веласкеса возвестил нам о прибытии своего господина. Герцог находился в расцвете лет. Он был красив, одевался по французской моде, никогда от нее не отступая, и это ему очень шло. Общительностью он тоже отличался от испанцев, которые обычно мало говорят и, видимо, поэтому прибегают к гитаре и сигарам. Веласкес, наоборот, свободно переходил от одного предмета к другому и всегда умел сказать нашим дамам какую-нибудь любезность.

Толедо был, конечно, умней, но ум проявляется только время от времени, разговорчивость же неисчерпаема. Беседовать с Веласкесом нам очень нравилось, он даже сам заметил, что его слушают с интересом. Тогда, обращаясь к герцогине Сидонии, он с громким смехом заметил:

– В самом деле, это было бы восхитительно!

– Что именно? – спросила она.

– Да, сеньора, – продолжал он, – красота, молодость – эти достоинства ты разделяешь со многими женщинами. А вот тещей ты была бы самой молодой и красивой на свете!

Герцогиня до сих пор никогда об этом не задумывалась. Ей было двадцать восемь лет. Было очень много молодых женщин моложе ее, и это был новый способ омолодиться.

– Уверяю тебя, сеньора, – продолжал Веласкес, – я говорю чистую правду. Король поручил мне просить руки твоей дочери для молодого маркиза Медины. Его королевское величество очень желает, чтобы ваш знатный род не угас. Все гранды высоко ценят эту заботливость. Что же касается тебя, сеньора, то что может быть прелестней, как видеть тебя напутствующей свою дочь к алтарю. Общее внимание, конечно, разделится надвое. На твоём

месте я появился бы в наряде, точь-в-точь как платье дочери: белом атласном с серебряным шитьем. Материю советую выписать из Парижа, – укажу тебе самые лучшие магазины. Я уже обещал одеть жениха – на французский лад, он будет в светлом парике. А теперь откланяюсь: Портокарреро намерен пользоваться моими услугами, и я бы очень хотел, чтобы они всегда были столь приятны, как эта.

С этими словами Веласкес взглянул на каждую из дам, давая каждой из них понять, что она произвела на него более сильное впечатление, чем другая, отвесил несколько поклонов, повернулся на каблуках и ушел. Это называлось тогда во Франции светскими манерами.

После его ухода наступило долгое молчанье. Женщины размышляли о платьях с серебряным шитьем, а Толедо вспомнил о положении страны и воскликнул:

– Как? Неужели ему не на кого больше опереться, кроме Аркосов де Веласкесов, самых легкомысленных людей во всей Испании? Если сторонники Франции так понимают дело, надо будет обратиться к Австрии.

В самом деле Толедо тотчас же пошел к графу Гарражу, который был тогда императорским послом в Мадриде. Дамы отправились на Прадо, а я поехал с ними – верхом.

Вскоре мы встретили роскошный экипаж, в котором развалились сеньоры Ускарис и Бускерос. Возле них ехал верхом герцог Аркос, Бускерос, тоже спешивший за герцогом, в этот самый день получил орден Калатравы, украшавший его грудь. При виде этого зрелища я остолбенел. У меня был орден Калатравы, пожалованный мне, как я думал, за заслуги и прежде всего за прямодушный образ действия, снискавший мне сочувствие знатных и могущественных друзей. Теперь, видя этот самый орден на груди человека, которого я больше всего презирал, я, признаюсь, совсем растерялся, остановился как вкопанный на том месте, где встретил экипаж сеньоры Ускарис. Сделав круг по Прадо и видя, что я стою на том же самом месте, где он меня оставил, Бускерос с непринужденным видом подъехал ко мне и сказал:

– Вот тебе доказательство, друг мой, что к одной и той же цели ведут разные пути. И я тоже, совершенно так же, как ты, – кавалер ордена Калатравы.

Меня это до крайности возмутило.

– Вижу, – ответил я, – но кавалер ты или нет, сеньор Бускерос, предупреждаю тебя: если я когда-нибудь замечу, что ты шпионишь в домах, где я бываю, то я поступлю с тобой, как с последним мерзавцем.

Бускерос сделал самую приятную мину, какую только мог, и ответил:

– Любезный пасынок, я бы должен потребовать от тебя объяснений, но не могу на тебя сердиться и всегда был и буду твоим другом. В доказательство я хотел бы потолковать с тобой о некоторых очень важных вещах, касающихся тебя, и, в частности, герцогини де Авилы. Если тебе это интересно и ты хочешь послушать, отдай свою лошадь стремянному и давай зайдем с тобой в кондитерскую.

Задетое любопытство и забота о дорогом моему сердцу существе заставили меня согласиться. Бускерос велел принести прохладительные напитки и повел какие-то совершенно бессвязные речи. Сперва мы были одни, но вскоре пришло несколько офицеров валлонской гвардии. Они сели за стол и заказали шоколад.

Бускерос, наклонившись ко мне, промолвил вполголоса:

– Милый друг, ты немного расстроился, подумав, что я подкрался к герцогине Авиле. Но я услышал лишь несколько слов, и они не выходят у меня из головы. – Тут Бускерос покатился со смеху, глядя на валлонских офицеров, потом продолжал: – Милый пасынок, герцогиня сказала про тебя: «Там – муж Мануэлы, здесь – вдовец Леоноры».

При этом Бускерос опять покатился со смеху, глядя по-прежнему на валлонских офицеров. Этот маневр повторился несколько раз. Валлонцы встали, прошли в угол и, в свою очередь, заинтересовались нами. После этого Бускерос вскочил и, ни слова не говоря, ушел. Валлонцы подошли к моему столику, и один из них весьма учтиво обратился ко мне:

– Мои товарищи и я хотели бы знать, что ваш товарищ нашел в нас такого смешного.

– Сеньор кавалер, – ответил я, – вопрос этот вполне обоснован. В самом деле, мой

товарищ покатывался со смеху по совершенно непонятному для меня поводу. Однако могу заверить, что предмет нашей беседы не имел никакого отношения к вам: речь шла о семейных делах, в которых не было ничего смешного.

– Сеньор кавалер, – возразил валлонский офицер, – я должен сказать, что ответ твой не вполне меня удовлетворяет, хотя и делает мне честь. Пойду передам его товарищам.

Валлонцы, видимо, стали совещаться между собой и спорить с тем, который передал им мой ответ. Через некоторое время тот же самый офицер опять подошел ко мне и промолвил:

– Товарищи мои и я расходимся в том, какие выводы вытекают, сеньор кавалер, из твоего любезного объяснения. Товарищи мои считают, что мы должны им удовлетвориться. К несчастью, я держусь противоположного мнения, и это так меня огорчает, что, желая предупредить последствия моего взгляда, я предложил каждому из них дать отдельно удовлетворенье. Что же касается тебя, сеньор кавалер, то я признаю, что должен обратиться к сеньору Бускеросу, но смею думать, что та слава, которой он пользуется, не сулит мне никакой чести от поединка с ним. А с другой стороны, сеньор, ты был вместе с доном Бускеросом и даже, когда тот смеялся, смотрел на нас. Полагаю поэтому, что, не придавая никакой важности этому делу, будет справедливо, если мы окончим наши объяснения с помощью той самой шпаги, которая у каждого из нас на боку.

Сначала товарищи капитана хотели убедить его, что у него нет повода драться ни с ними, ни со мной. Но, зная, с кем имеют дело, в конце концов перестали уговаривать, и один из них предложил мне себя секундантом.

Все пошли на место боя. Я легко ранил капитана, но в то же самое мгновение получил в правую сторону груди укол, похожий на булавочный. Однако вскоре меня охватила смертная дрожь, и я упал без чувств.

Когда цыган дошел до этого места повествования, его прервали, и он пошел заниматься делами табора.

Каббалист, обращаясь ко мне, сказал:

– Если я не ошибаюсь, офицером, который ранил сеньора Авадоро, был твой отец.

– Совершенно верно, – ответил я. – Об этом упоминается в хронике поединков, составленной моим отцом, причем отец добавляет, что, опасаясь лишних споров с офицерами, не разделяющими его мнения, он в тот же самый день дрался с троими и ранил их.

– Сеньор капитан, – промолвила Ревекка, – твой отец проявил необычайную предусмотрительность. Опасение лишних ссор заставило его драться четыре раза на поединках в один и тот же день.

Шутка, которую позволила себе Ревекка по адресу моего отца, очень мне не понравилась, и я хотел было ответить ей, но тут общество разошлось, чтобы собраться только на другой день.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ

Вечером цыган продолжал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Очнувшись, я увидел, что мне пускают кровь из обеих рук. Как сквозь туман, узнал я своих друзей: на глазах у всех были слезы. Я опять потерял сознание. Шесть недель находился я в состоянии, подобном тяжелому сну и даже смерти. Опасаясь за мое зрение, ставни держали все время закрытыми, а во время перевязок мне завязывали глаза.

Наконец мне разрешили смотреть и разговаривать. Врач принес мне два письма: одно от Толедо, который извещал меня, что едет в Вену, но с какими поручениями, было непонятно. Другое – от герцогини Авилы, но написанное не ее рукой. Она сообщала, что

ведутся какие-то розыски на улице Ретрада и что за ней следят даже в ее собственном доме. Выведенная из себя, она уехала в свои имения, или, как говорят в Испании, владения. После того как я прочел оба письма, врач велел закрыть ставни и предоставил меня моим собственным мыслям. И в самом деле, на этот раз я стал размышлять по-настоящему. До тех пор жизнь казалась мне усыпанной розами; только теперь я почувствовал тернии.

По прошествии пятнадцати дней мне разрешили проехаться по Прадо. Я хотел выйти из коляски и пройтись, но у меня не хватило сил, и я сел на скамейку. Вскоре ко мне подошел валлонский офицер, взявший на себя роль моего секунданта. Он сказал мне, что противник мой все время, пока я был в опасности, предавался неистовому отчаянию и что он просит позволения обнять меня. Я согласился, мой противник припал к моим ногам, прижал меня к своему сердцу и, уходя, произнес голосом, прерывающимся от рыданий:

– Сеньор Авадоро, дай мне возможность биться за тебя. Это будет самый счастливый день в моей жизни.

Вскоре после этого я увидел Бускероса, который со своей обычной бесцеремонностью подошел ко мне и сказал:

– Милый пасынок, ты получил чересчур уж строгий урок. Правда, я сам должен был бы дать его тебе, но, конечно, так не сумел бы.

– Дорогой отчим, – ответил я. – Я нисколько не сетую на рану, которую нанес мне тот храбрый офицер. При мне шпага – в предвидении того, что нечто подобное может со мной случиться. Что же до твоего участия в этом деле, то, по-моему, надо тебя отблагодарить за него, обработав твою шкуру как следует палкой.

– Полегче, милый пасынок, – возразил Бускерос, – последнее вовсе не обязательно и в данный момент противоречит даже этикету. С того времени, как мы виделись в последний раз, я ведь стал важной персоной – вроде помощника министра. Надо рассказать тебе это подробно.

Его преосвященство кардинал Портокарреро, увидев меня несколько раз в свите герцога Аркоса, изволил улыбнуться особенно ласково. Это меня ободрило, и я стал являться в дни приема, чтоб засвидетельствовать свое почтение. Однажды его преосвященство подошел ко мне и сказал вполголоса:

– Мне известно, сеньор Бускерос, что ты принадлежишь к числу наиболее осведомленных в том, что делается в городе.

На что я с удивительной находчивостью ответил:

– Ваше преосвященство, венецианцы, которые слывут неплохими правителями своей страны, относят это качество к числу тех, которые обязательны для каждого, желающего принимать участие в делах государства.

– И они правы, – заметил кардинал, после чего побеседовал еще с несколькими посетителями и удалился.

Через четверть часа ко мне подошел гофмаршал со словами:

– Сеньор Бускерос, его преосвященство поручил мне пригласить тебя к обеду, и, как мне кажется, он даже хочет после обеда с тобой поговорить. Предупреждаю тебя, однако, сеньор, чтоб ты не очень затягивал беседу, так как его преосвященство много ест и после этого не в силах бороться со сном.

Я поблагодарил гофмаршала за дружеский совет и остался обедать вместе с несколькими другими сотрапезниками. Кардинал один съел почти целую щуку. После обеда он велел позвать меня к нему в кабинет.

– Ну, как сеньор, дон Бускерос? – промолвил он. – Не узнал ты за последние дни чего-нибудь любопытного?

Вопрос кардинала поставил меня в тупик, так как ни в этот день, ни за все предшествующие я не обнаружил ничего любопытного. Однако после минутного раздумья я ответил:

– Ваше преосвященство, на днях я узнал о существовании ребенка австрийской крови. Кардинал страшно удивился.

– Да, – продолжал я. – Ваше преосвященство, может быть, припомнит, что герцог Авила состоял в тайном браке с инфантой Беатрисой. От этого брака после него осталась дочь по имени Леонора, которая вышла замуж и родила ребенка. Леонора умерла, ее похоронили в монастыре кармелиток. Я видел ее надгробие, которое потом бесследно исчезло.

– Это может очень повредить Авилам и Сорриенте, – сказал кардинал.

Его преподобие сказал бы, может быть, больше, но шука ускорила наступление сна, и я почел за благо удалиться. Все это было три недели тому назад. В самом деле, милый пасынок, там, где я видел надгробие, его больше нет. А я хорошо помню, что на нем значилось: «Леонора Авадоро». Я не стал упоминать твое имя при его преосвященстве не потому, что хотел соблюсти твою тайну, а просто отложил сообщение об этом до другого времени.

Врач, сопровождавший меня на прогулке, отошел на несколько шагов. Вдруг он заметил, что я побледнел и готов потерять сознание. Он сказал Бускеросу, что вынужден прервать нашу беседу и отвезти меня домой. Я вернулся: врач прописал мне прохлаждающее питье и велел закрыть ставни. Я погрузился в размышления; многое показалось мне крайне унижительным.

«Вот так, – думал я, – всегда получается с теми, кто якшается со знатью. Герцогиня вступает со мной в брак, в котором нет ничего реального, и я, из-за какой-то выдуманной Леоноры, навлекая на себя подозрения правительства и вынужден слушать всякий вздор от человека, которого презираю. А с другой стороны, не могу оправдаться, не выдав герцогиню, которая слишком горда, чтобы объявить о нашем браке».

Тут я подумал о двухлетней малютке Мануэле, которую прижимал к своей груди в Сорриенте и которую не смел называть своей дочерью. «Ненаглядная моя девочка, – воскликнул я, – какую будущность готовит тебе судьба? Не монастырь ли? Но нет, я – твой отец, и если речь пойдет о твоей судьбе, я сумею оградить тебя от всех козней, хотя бы за это пришлось заплатить жизнью».

Мысль о ребенке совсем меня расстроила; я залился слезами, а вскоре после этого и кровью, так как рана моя открылась.

Я кликнул лекарей, меня перебинтовали, после чего я написал герцогине и послал письмо с одним из ее слуг, которого она при мне оставила.

Через два дня я опять поехал на Прадо. Там было необычайное смятение. Мне сказали, что король умирает. Я подумал, что, может быть, о моем деле забудут, и не ошибся. На другой день король умер. Я сейчас же отправил к герцогине второго гонца, чтоб уведомить ее об этом.

Через два дня после этого вскрыли королевское завешание и узнали, что на трон будет возведен Филипп Анжуйский. До сих пор воля покойного короля хранилась в строгой тайне, а теперь, став общественным достоянием, она несказанно всех удивила. Я послал герцогине третьего гонца. Она ответила сразу на три моих письма и назначила мне свиданье в Сорриенте. Как только я почувствовал себя в силах, я сейчас же отправился в Сорриенте, куда герцогиня приехала двумя днями позже.

– Нам счастливо удалось вывернуться, – сказала она мне. – Этот негодяй Бускерос уже напал на след, и дело, несомненно, кончилось бы тем, что наш брак был бы обнаружен. Я умерла бы от огорченья. Конечно, я понимаю, что не права, но, пренебрегая замужеством, я как будто становлюсь выше всех женщин, да и вас, мужчин. Душой моей овладела злосчастная гордыня, и даже если бы я употребила все свои силы на то, чтобы ее сломить, клянусь тебе, все было бы напрасно.

– А твоя дочь? – прервал я. – Что будет с ней? Неужели я ее больше не увижу?

– Увидишь, – ответила герцогиня, – но сейчас не напоминай мне о ней. Ты не можешь себе представить, как меня мучает необходимость прятать ее от глаз света.

В самом деле, герцогиня страдала, но к моим страданиям она прибавляла еще унижение. Моя гордость тоже соединялась с любовью, которую я испытывал к герцогине.

Это была заслуженная расплата за грех.

Австрийская партия выбрала Сорриенте местом общего съезда. Я увидел одного за другим всех прибывающих: графа Оропесу, герцога Инфантадо, графа Мельсара и много других знатных особ, – не перечисляю уже тех, которые казались сомнительными. Среди этих последних я узнал некоего Уседу, выдававшего себя за астролога и усиленно набивавшегося мне в друзья.

Под конец приехал один австриец, по фамилии Берлепш, фаворит вдовствующей королевы и заместитель посла после отъезда графа Гарраха. Несколько дней ушло на совещание, и наконец началось торжественное заседание вокруг покрытого зеленым сукном большого стола. Герцогиня была допущена к участию, и я убедился, что честолубие, или, верней, желание вмешиваться в дела государства, полностью овладело ею.

Граф Оропеса, обращаясь к Берлепшу, сказал:

– Ты видишь здесь собрание лиц, с которыми последний австрийский посол советовался относительно испанских дел. Мы – не французы, не австрийцы, мы – испанцы. Если французский король согласится с завещанием, нашим королем станет, разумеется, его внук. Трудно предвидеть последствия этого, но могу поручиться, что никто из нас не начнет междоусобной войны.

Берлепш утверждал, что вся Европа вооружится и ни в коем случае не потерпит, чтобы дом Бурбонов сосредоточил в своих руках власть над столь обширными государствами. Затем он выразил пожелание, чтобы сторонники австрийской партии послали в Вену своего представителя. Граф Оропеса остановил свой взгляд на мне, и я решил, что он назовет меня, но он, подумав, ответил, что рано еще предпринимать столь решительный шаг.

Берлепш заявил, что оставит кого-нибудь в стране; впрочем, ему нетрудно было заметить, что присутствующие на этом заседании ждут только подходящего момента для открытого выступления.

После закрытия заседания я вышел в сад, чтобы встретиться с герцогиней, и сказал ей о том, что, когда зашла речь о посылке в Вену уполномоченного, граф Оропеса поглядел на меня.

– Сеньор дон Хуан, – ответила она, – признаюсь, мы уже говорили о тебе в этой связи, и даже я сама тебя выдвинула. Я знаю, ты осуждаешь меня. Что ж, это верно, я виновата, но я хочу объяснить тебе, в каком я положении. Я не создана для любви, но твоя любовь сумела взволновать мое сердце. Прежде чем навсегда отказаться от радостей любви, мне захотелось изведать их. И представь себе: они ничуть не изменили моих взглядов. Права, которые я дала тебе над моим сердцем и надо мной, даже слабые, теперь невозможны. Я стерла малейшие их следы. Хочу теперь провести несколько лет в свете и, по возможности, влиять на судьбу Испании. А потом осную монастырь для благородных девиц и сама буду первой его настоятельницей.

Что касается тебя, сеньор дон Хуан, – ты поедешь к приору Толедо, который уже оставил Вену и отправился на Мальту. Но так как ты подвергаешь себя риску из-за партии, к которой присоединился, я покупаю все твои владения и обеспечиваю их стоимость своими землями в Португалии, в королевстве Альгарве. Это не единственная предосторожность, которую тебе надо принять. В Испании есть такие места, неизвестные правительству, где можно прожить в безопасности всю жизнь. Я поручу одному человеку познакомить тебя с ними. То, что я говорю, видимо, удивляет тебя, сеньор дон Хуан. Прежде я относилась к тебе нежней, но меня встревожило шпионство Бускероса, и решение мое бесповоротно.

С этими словами герцогиня предоставила меня моим мыслям, которые приняли не вполне благоприятное для знати направление.

– Будь прокляты земные полубоги, – воскликнул я, – для которых остальные смертные – ничто. Я стал игрушкой в руках женщины, которая вздумала проверять на мне, создано ее сердце для любви или нет, и которая обрекает меня на изгнание, считая для меня слишком большим счастьем служить ей и ее друзьям! Но этому не бывать! Благодаря моей незначительности я еще смогу пожить спокойно.

Последние фразы я произнес довольно громко, и вдруг чей-то голос ответил мне:

– Нет, сеньор Авадоро, ты не можешь жить спокойно.

Обернувшись, я увидел между деревьями того самого астролога Уседу, о котором уже упоминал.

– Сеньор дон Хуан, – сказал он мне, – я слышал часть твоего монолога и могу тебя уверить, что в бурное время никому не удастся иметь покой. Ты находишься под могучим покровительством и не должен им пренебрегать. Поезжай в Мадрид, соверши продажу, которую предлагает тебе герцогиня, а оттуда отправляйся в мой замок.

– Не напоминай мне о герцогине, – перебил я с возмущением.

– Хорошо, – сказал астролог, – в таком случае поговорим о твоей дочери, которая находится в моем замке.

Желанье прижать к сердцу своего ребенка умерило мой гнев, а с другой стороны, мне не следовало пренебрегать помощью моих покровителей. Я поехал в Мадрид и объявил, что уезжаю в Америку. Передал свой дом и все, что имел, в руки поверенного герцогини и тронулся в путь со слугой, которого мне рекомендовал Уседа. Разными проселочными дорогами добрались мы до замка, в котором вы были и где познакомились с его сыном, присутствующим среди нас почтенным каббалистом. Астролог встретил меня у ворот со словами:

– Сеньор дон Хуан, здесь я уже не Уседа, а Мамун бен Герсом, еврей по религии и происхождению.

Потом он показал мне свою обсерваторию, лаборатории и все закоулки своего таинственного жилища.

– Объясни мне, пожалуйста, – сказал я ему, – имеет ли твое искусство какое-нибудь реальное основание? Мне сказали, что ты – астролог и даже чернокнижник.

– Хочешь, произведем опыт? – ответил он. – Смотри вот в это венецианское зеркало, а я пойду закрою ставни.

Сначала я ничего не видел, но через некоторое время в глубине зеркала стало как будто понемногу светлеть. Я увидел герцогиню Мануэлу с ребенком на руках.

Когда цыган произнес последние слова и мы все превратились в слух, с нетерпением ожидая, что будет дальше, пришел один из таборных с отчетом за день. Цыган ушел, и в тот день мы его больше не видели.

ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ

На другой день мы никак не могли дожидаться вечера и собрались задолго до прихода цыгана. Довольный тем, что вызвал в нас такой интерес, он без нашей просьбы сам начал рассказ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Я остановился на том, что, глядя в венецианское зеркало, увидел герцогиню с ребенком на руках. Через некоторое время видение исчезло, Мамун открыл ставни, и тогда я сказал:

– Почтенный чернокнижник, я думаю, для околдования моих глаз ты не прибегал к помощи нечистой силы. Я знаю герцогиню, однажды она меня уже обманула куда более удивительным способом. Словом, если я видел ее изображение в зеркале, то уверен, что она находится в этом замке.

– Ты не ошибся, – ответил Мамун, – и мы сейчас пойдем к ней завтракать.

Он открыл потайную дверь, и я упал к ногам жены, которая не могла скрыть своего волнения. Наконец, овладев собой, она промолвила:

– Дон Хуан, я должна была сказать тебе все, что говорила в Сорриенте, так как это правда. Решения мои бесповоротны, но после того как ты уехал, я пожалела о своей жестокости. Природный инстинкт заставляет женщин содрогаться перед каждым

бессердечным поступком. Подчиняясь ему, я решила дожидаться тебя здесь и в последний раз проститься с тобой.

– Сеньора, – ответил я герцогине, – ты была единственной мечтой моей жизни и заменишь мне действительность. На путях будущей судьбы своей забудь навеки о доне Хуане. Пусть будет так, но помни, я оставляю у тебя свою дочь.

– Ты скоро ее увидишь, – прервала герцогиня, – и мы с тобой вместе вручим ее тем, кто будет отныне заботиться о ее воспитании.

Что вам сказать? Мне казалось тогда, да и теперь кажется, что герцогиня была права. В самом деле, разве я мог жить с ней, и будучи и не будучи ее мужем? Даже если нам удалось бы избежать любопытства посторонних, мы не укрылись бы от глаз наших слуг, и соблности тайну было бы невозможно. Нет никакого сомнения, что судьба герцогини сложилась бы совсем иначе, так что мне казалось – она была права. Я покорился и стал ждать скорого свидания с моей маленькой Ундиной. Ей дали такое имя, потому что она была крещена водой, а не миром.

Мы вместе обедали. Мамун сказал герцогине:

– Сеньора, по-моему, следовало бы уведомить сеньора относительно некоторых обстоятельств, о которых он должен знать, и, если ты того же мнения, я возьму это на себя.

Герцогиня согласилась. Тогда Мамун обратился ко мне с такими словами:

– Сеньор дон Хуан, ты ступаешь по земле, недоступной взору простого смертного, здесь каждый клочок таит тайну. Эта горная цепь полна пещер и подземелий. Там живут мавры, после изгнания из Испании они никогда оттуда не выходили. Вон в той долине, что раскинулась перед твоими глазами, ты увидишь воображаемых цыган, одни из которых – магометане, другие христиане, а третьи не исповедуют вовсе никакой религии. На вершине той скалы ты видишь звонницу, увенчанную крестом. Это монастырь доминиканцев. У святой инквизиции есть основания смотреть сквозь пальцы на то, что тут делается, а доминиканцы обязаны ничего не видеть. В доме, где ты находишься, живут израильтяне. Каждые семь лет испанские и португальские евреи собираются здесь для празднования субботнего года, ныне они празднуют его в четыреста тридцать восьмой раз, считая с юбилейного года, который отметил Иисус Навин. Я сказал тебе, сеньор Авадору, что среди цыган, живущих в этой долине, одни – магометане, другие – христиане, третьи – не исповедуют вовсе никакой веры. На самом деле, эти последние – язычники, потомки карфагенян. В царствование Филиппа II было сожжено несколько сот таких семейств, только некоторые укрылись на берегах маленького озера, образовавшегося, как говорят, в кратере вулкана. У доминиканцев этого монастыря там есть своя часовня.

Вот что мы придумали, сеньор Авадору, насчет маленькой Ундины, которая никогда не узнает о своем происхождении. Ее матерью считается дуэнья, женщина, безраздельно преданная герцогине. Для твоей дочери выстроен славный домик на берегу озера. Доминиканцы этого монастыря научат ее основам религии. Остальное предоставим заботам провидения. Ни один любопытный не доберется до берегов озера Ла-Фрита.

Пока Мамун это говорил, герцогиня уронила несколько слезинок, а я не мог удержаться от плача. На другой день мы отправились вот к этому самому озеру, возле которого находимся сейчас мы с вами, и устроили здесь маленькую Ундину. А на следующий день герцогиней овладела прежняя гордость и высокомерие, и признаюсь, прощанье наше не было особенно нежным. Не задерживаясь больше в замке, я сел на корабль, высадился в Сицилии и договорился с капитаном Сперонарой, который взялся доставить меня на Мальту.

Там я пошел к приору Толедо. Благородный друг мой сердечно обнял меня, отвел в отдельную комнату и запер дверь на ключ. Через полчаса дворецкий приора принес мне обильную снедь, а вечером пришел сам Толедо с большой пачкой писем – или, как выражаются политические деятели, депеш – под мышкой. На другой день я уже выехал с посольством к эрцгерцогу дон Карлосу.

Я застал его императорское высочество в Вене. Как только я отдал ему депеши, меня сейчас же заперли в отдельной комнате, как на Мальте. Через час ко мне вошел сам

эрцгерцог; он проводил меня к императору и сказал:

– Имею честь представить вашему императорско-апостольскому величеству маркиза Каstellи, сардинского дворянина, и одновременно просить для него звание камергера.

Император Леопольд, придав своей нижней губе самое приветливое выражение, спросил меня по-итальянски, как давно я оставил Сардинию.

Я не привык разговаривать с монархами, а еще меньше – лгать, так что вместо ответа склонился в глубоком поклоне.

– Очень хорошо, – промолвил император, – зачисляю вашу милость в свиту моего сына.

Таким способом я сразу волей-неволей стал маркизом Каstellи и сардинским дворянином.

В тот же самый вечер у меня страшно разболелась голова, на другой день началась горячка, а через два дня оказалось – оспа. Я заразился ею на одном из постоянных дворов Каринтии. Болезнь была очень тяжелой и даже опасной; однако я вылечился – и не без выгоды, так как маркиз Каstellи совсем не похож на дону Авадору; переменив фамилию, я изменил и наружность. Теперь меньше, чем когда-либо, можно было узнать во мне ту Эльвиру, которая когда-то должна была стать вице-королевой Мексики.

Как только я выздоровел, мне сейчас же вручили почту из Испании.

Между тем Филипп Анжуйский правил Испанией, Индиями – и даже сердцами своих подданных. Но понять не могу, какой бес вмешивается в такие минуты в дела властителей. Король дон Филипп и королева – его супруга – стали в некотором роде первыми подданными герцогини Орсини. Кроме того, в Государственный совет допускали французского посла – кардинала д'Эстре, что крайне возмущало испанцев. Мало того, французский король Людовик XIV, считая, что ему все позволено, расположил в Мантуе французский гарнизон. Тогда у эрцгерцога дона Карлоса появилась надежда взять власть в свои руки.

Это было в самом начале 1703 года; однажды вечером эрцгерцог послал за мной. Сделав несколько шагов навстречу мне, он изволил меня обнять и даже нежно прижать к своему сердцу. Такой прием сулил нечто необычайное.

– Каstellи, – сказал эрцгерцог, – у тебя нет никаких вестей от приора Толедо?

Я ответил, что пока никаких нет.

– Это был замечательный человек, – прибавил эрцгерцог после небольшого молчания.

– Как это – был? – удивился я.

– Да, да, – продолжал эрцгерцог. – Именно – был. Приор Толедо умер на Мальте от гнилой лихорадки, но ты найдешь в моем лице второго Толедо. Оплачь своего друга и будь верен мне.

Я оплакал горькими слезами потерю друга и понял, что теперь мне уж не удастся перестать быть Каstellи. Я стал послушным орудием в руках эрцгерцога.

На следующий год мы отправились в Лондон. Оттуда эрцгерцог поехал в Лиссабон, а я – к войску лорда Питерборо, которого, как я уже вам говорил, когда-то имел честь знать в Неаполе. Я был при нем, когда он, вынудив Барселону сдаться, прославил себя благородным поступком. Во время капитуляции некоторые отряды союзных армий вступили в город и принялись его грабить. Герцог Пополи, который тогда командовал войсками от имени короля дона Филиппа, пожаловался лорду на это.

– Позволь мне на минуту войти в город с моими англичанами, – сказал Питерборо, – и ручаюсь тебе, что наведу полный порядок.

Он сделал, как говорил, после чего вышел из города и предложил почетные условия капитуляции.

Вскоре после этого эрцгерцог овладел почти всей Испанией и прибыл в Барселону. Я состоял в его свите по-прежнему под фамилией маркиза Каstellи. Однажды вечером, гуляя в свите эрцгерцога по главной площади, я увидел человека, походка которого, то медленная, то вдруг стремительная, напомнила мне дону Бускероса. Я велел следить за ним. Мне донесли, что это какой-то неизвестный с наклеенным носом, называющий себя доктором

Робусти. Я ни минуты не сомневался, что это мой мерзавец, проникший в город с целью шпионить за нами.

Я сообщил об этом эрцгерцогу, который предоставил мне право поступить с ним, как я найду нужным. Прежде всего я велел посадить негодяя в караульную, а затем во время парада поставил от караульной до пристани два ряда гренадеров, предварительно вооружив каждого гибким березовым прутком. Они были расставлены один от другого на расстоянии, не мешающем свободному движению правой руки. Дон Бускерос, выходя из караульной, понял, что эти приготовления касаются его и он, как говорится, виновник торжества. И вот он пустился бежать изо всех сил, получив таким образом лишь половину ударов, но все же на его долю пришлось их не менее двухсот. На пристани он бросился в шлюпку, которая доставила его на палубу фрегата, где ему была предоставлена возможность заняться лечением своей спины.

Пришло уже время заняться делами табора, и цыган оставил нас, отложив дальнейшее повествование на завтра.

ДЕНЬ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ

На другой день цыган начал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Около десяти лет пробыл я при эрцгерцоге. Уныло протекали у меня лучшие годы жизни, хоть правда и то, что не веселей протекали они и у остальных испанцев. Распри, которые, казалось, вот-вот прекратятся, между тем все продолжались. Сторонников дона Филиппа огорчала его слабость к герцогине Орсини, но приверженцы дона Карлоса тоже не имели оснований радоваться. Обе партии совершали множество ошибок: чувство усталости и досады было всеобщим.

Герцогиня Авила, долгое время являясь душой австрийской партии, быть может, перешла бы на сторону дона Филиппа, но ее отталкивало необузданное высокомерие герцогини Орсини. В конце концов последней пришлось на время покинуть арену своей деятельности и удалиться в Рим; однако вскоре она вернулась, еще более торжествующая, чем когда-либо. Тогда герцогиня Авила уехала в Альгарве и занялась устройством своего монастыря. Герцогиня Сидония потеряла одного за другим дочь и зятя. Род Сидониев угас, владения перешли к семейству Медина Сели, а герцогиня уехала в Андалузию.

В 1711 году эрцгерцог вступил на трон после своего брата Иосифа и стал императором под именем Карла VI. Теперь ревность Европы перенеслась с Франции на него. В Европе не желали, чтобы Испания была под одним скипетром с Венгрией. Австрийцы ушли из Барселоны, оставив в ней маркиза Каstellли, к которому жители питали безграничное доверие. Я не жалел усилий, чтобы как-нибудь их образумить, но все было напрасным. Не могу понять, какое безумие овладело умами каталонцев: они решили, что смогут противостоять всей Европе.

Среди этих событий я получил письмо от герцогини Авилы. Теперь она подписывалась уже: «настоятельница Валь-Санта». Текст письма сводился к следующему:

«Как только сможешь, поезжай к Уседе и постарайся увидеть Ундину. Но сперва поговори с приором доминиканцев».

Герцог Пополи во главе войск короля дона Филиппа осадил Барселону. Прежде всего он велел построить виселицу в двадцать пять пядей высотой – для маркиза Каstellли. Я собрал самых знатных жителей Барселоны и сказал им:

– Сеньоры, я высоко ценю ту честь, которую вы мне оказываете своим доверием, но я не военный и, следовательно, не гожусь вам в командующие. А с другой стороны, если вы

вдруг будете вынуждены сдаться, то первым условием вашей капитуляции будет требование выдать меня, что, разумеется, окажется для вас весьма неприятным. Поэтому лучше мне проститься с вами и навсегда вас покинуть.

Раз вступив на путь безрассудства, толпа старается увлечь за собой как можно больше людей и думает, что очень много выиграет, если откажет кому-нибудь в выдаче паспорта. Мне не разрешили уехать, но я уж давно к этому приготовился. У берега меня ждало заранее нанятое судно; я взшел на него в полночь, а на другой день вечером уже высадился в Флориано, рыбацкой деревушке в Андалузии.

Щедро наградив матросов, я отослал их обратно, а сам пустился в горы. Долго не мог узнать дороги, но в конце концов отыскал замок Уседы и самого владельца, который, несмотря на астрологию, с большим трудом меня вспомнил.

– Сеньор дон Хуан, – сказал он, – или верней – сеньор Кастелли, твоя дочь здорова и невыразимо прекрасна. А об остальном тебе расскажет приор доминиканцев.

Два дня спустя ко мне вошел седой монах и сказал:

– Сеньор кавалер, святая инквизиция, членом которой я являюсь, полагает, что на многое, происходящее в этих горах, ей следует смотреть сквозь пальцы. Она поступает так в надежде вернуть заблудших овец, которых здесь изрядное количество. Пример их произвел на юную Ундину пагубное влияние. Вообще эта девица держится странного образа мыслей. Когда мы преподавали ей первоосновы святой нашей веры, она слушала со вниманием, и по ее поведению трудно было подумать, что она сомневается в правоте наших слов; однако через некоторое время она стала участвовать в магометанских молениях, церемониях и даже празднествах язычников. Съезди, сеньор кавалер, на озеро Ла-Фрита и, так как ты имеешь на нее права, постарайся проникнуть в ее сердце.

Я поблагодарил почтенного доминиканца и отправился на берег озера. Прибыл на мыс, расположенный в северной стороне озера, и увидел парус, скользящий по воде с быстротой молнии. Меня удивило устройство судна. Это была узкая длинная лодка, наподобие плоскодонки, с двумя поперечинами, которые, создавая противовес, не давали ей перевернуться. Крепкая мачта держала треугольный парус, а молодая девушка, налегая на весла, казалось, летит, едва касаясь водной глади. Необычный корабль подплыл к тому месту, где я стоял. Девушка вышла на берег; у нее были голые руки и ноги, зеленое шелковое платье облегалo ее тело, волосы буйными кудрями падали на белоснежную шею, и она порой встряхивала ими, как гривой. Вид ее напоминал дикарей Америки.

– Ах, Мануэла, Мануэла! – воскликнул я. – Ведь это наша дочь!

В самом деле, это была она. Я пошел к ней домой. Дуэнья Ундины уже несколько лет как померла, тогда герцогиня сама приезжала и отдала дочь в одну валлонскую семью. Но Ундина не хотела признавать над собой никакой власти. Она по большей части молчала, лазила на деревья, взбиралась на скалы, кидалась в озеро. При всем том она не была лишена ума. Так, например, она сама изобрела тот прелестный корабль, который я только что вам описал. Призвать ее к послушанию было только одно средство: приказать от имени отца. Как только я к ней пришел, решили тотчас ее позвать. Она пришла, вся дрожа, и встала передо мной на колени. Я прижал ее к сердцу, осыпал ласками, но не мог добиться от нее ни слова.

После обеда Ундина опять пошла на свой корабль, я сел рядом с ней, она взяла оба весла и выплыла на середину озера. Я попробовал завязать с ней разговор. Она сейчас же положила весла и стала как будто внимательно меня слушать. Мы находились в восточной части озера, прямо возле обступивших его отвесных скал.

– Дорогая Ундина, – сказал я, – ты внимательно слушала поучения святых отцов из монастыря? Ведь ты разумное существо, у тебя есть душа, и руководить тобой на твоём жизненном пути должна религия.

Но в самый разгар моих родительских наставлений она вдруг бросилась в воду – и скрылась из глаз. Мне стало страшно, я поспешил в дом и стал звать на помощь. Но меня успокоили, объяснив, что ничего особенного не произошло, – вдоль скал тянутся пещеры или гроты, которые сообщаются между собой. Ундине эти переходы хорошо знакомы;

нырнув, она исчезала иногда на несколько часов. И в самом деле, она скоро вернулась, но теперь я уж не стал читать ей наставлений. Как я уже говорил, у нее не было недостатка в умственных способностях, но, выросшая в глуши, предоставленная самой себе, она не имела ни малейшего представления о том, как себя ведут в обществе.

Через несколько дней ко мне пришел какой-то монастырский послушник от герцогини, или, верней, настоятельницы, Мануэлы. Он дал мне рясу, такую же как у него, и проводил меня к ней. Мы прошли вдоль морского берега до устья Гвадианы, оттуда добрались до Альгарве и, наконец, прибыли в Валь-Санта. Монастырь был уже почти готов. Настоятельница приняла меня в комнате для бесед с обычным величием; однако, отослав свидетелей, расчувствовалась. Гордые мечты ее развеялись, осталось лишь горькое сожаление о невозвратимых радостях любви. Я заговорил было об Ундине, настоятельница, вздохнув, попросила меня отложить этот разговор на завтра.

– Поговорим о тебе, – сказала она, – друзья твои не забыли о твоей участи. Твое имущество в их руках удвоилось; но вопрос в том, под какой фамилией ты сможешь им пользоваться, – ведь вряд ли ты захочешь и дальше считаться маркизом Каstellи. Король не прощает тех, кто участвовал в каталонском мятеже.

Мы долго беседовали об этом, не приходя ни к какому определенному решению. Через несколько дней Мануэла передала мне секретное письмо австрийского посла. Он в лестных выражениях звал меня в Вену. Признаться, мало что в жизни меня так обрадовало. Я ревностно служил императору, и благодарность его была для меня самой сладкой наградой.

Однако я не поддался обольщению обманчивых надежд, – я знал придворные нравы. Мне позволяли быть в милости у эрцгерцога, который тщетно добивался трона, но я не мог рассчитывать, чтоб меня терпели при особе первого христианского монарха. Особенно опасался я одного австрийского вельможи, который всегда старался мне вредить. Это был тот самый граф Альтгейм, который впоследствии приобрел такое значенье. Несмотря на это, я отправился в Вену и припал к стопам его апостольского величества. Император изволил обсудить со мной вопрос о том, не лучше ли мне сохранить фамилию маркиза Каstellи, чем возвращаться к прежней, и предложил мне видный пост в своем государстве.

Доброта его растрогала меня, но тайное предчувствие говорило, что я не воспользуюсь ей.

В то время несколько испанских сеньоров навсегда оставило отечество и поселилось в Австрии. Среди них были графы Лориос, Ойас, Васкес, Тарука и еще некоторые другие. Я хорошо знал их, и все они уговаривали меня последовать их примеру. Таково было и мое желание; но тайный враг, о котором я вам говорил, не дремал. Узнав обо всем, что было на аудиенции, он тотчас уведомил об этом испанского посла. Тот решил, что, преследуя меня, он выполняет свои дипломатические обязанности. Как раз шли важные переговоры. Посол стал выискивать препятствия и к возникшим трудностям присоединил свои замечания о моей особе и о той роли, которую я играл. Этот путь привел его к желанной цели. Вскоре я заметил, что положение мое совершенно изменилось. Мое присутствие стало как будто смущать лицемерных придворных. Я предвидел эту перемену еще до приезда в Вену и не особенно огорчился. Попросил прощальной аудиенции. Мне дали ее, не напоминая ни о чем. Я уехал в Лондон и только через несколько лет вернулся в Испанию.

Вернувшись, я увидел, что настоятельница бледна и изнурена болезнью.

– Дон Хуан, – сказала она мне, – ты, конечно, видишь, как я изменилась под влиянием времени. Откровенно говоря, я чувствую, что близок конец моей жизни, которая уже не имеет для меня никакой прелести. Великий Боже, сколько упреков заслужила я от тебя! Послушай, дон Хуан, дочь моя умерла в язычестве, а внучка – магометанка. Мысль об этом убивает меня. Вот, читай!

С этими словами она подала мне следующее письмо от Уседы:

«Сеньора и почтенная настоятельница!

Во время моего посещения мавров в их пещерах я узнал, что со мной хочет

говорить какая-то женщина. Я отправился в ее жилище, и там она мне сказала: «Сеньор астролог, ты, которому известно все, объясни мне случай, который произошел с моим сыном. Утомленный целодневным блужданием по ущельям и пропастям наших гор, он набрел на прекрасный источник. Оттуда вышла к нему очень красивая девушка, в которую сын мой влюбился, хотя подумал, что имеет дело с колдуньей. Мой сын уехал в далекое путешествие и просил меня во что бы то ни стало выяснить эту тайну».

Вот что сказала мне мавританка, и я сразу догадался, что колдуньей этой была наша Ундины, имеющая обыкновение нырнуть в какую-нибудь пещеру, а выплывать с другой стороны потока. Я промолвил в ответ мавританке несколько незначительных фраз, чтоб ее успокоить, и пошел на озеро. Хотел попробовать выпытать у Ундины, как было дело, но ты знаешь, сеньора, ее нелюбовь к беседам. Однако вскоре мне уже не понадобилось ни о чем спрашивать: ее фигура выдала тайну. Я отправил ее ко мне в замок, где она благополучно родила дочку. Стремясь как можно скорей вернуться на озеро, она убежала из замка, повела прежний безрассудный образ жизни и через несколько дней заболела. Чтоб уж сказать все до конца, должен прибавить, что не помню с ее стороны никакого признака приверженности к той или другой религии. Что же касается ее дочери, то по отцу она – чисто мавританской крови и должна обязательно стать магометанкой. В противном случае мы могли бы навлечь на всех нас месть обитателей подземелья».

– Ты понимаешь, дон Хуан, – прибавила герцогиня в полном отчаянии. – Дочь моя умерла в язычестве, внучка должна стать мусульманкой!.. Великий Боже, как сурово ты меня караешь!

Тут цыган заметил, что уже поздно, и отправился к своим, а мы пошли спать.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ

Мы предвидели, что повесть о приключениях цыгана подходит к концу, и с тем большим нетерпением ждали вечера, а когда он заговорил, обратились в слух.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Знатная настоятельница Валь-Санта, быть может, и не сломилась бы под тяжестью страданий, но она наложила на себя тяжкую епитимью, и ее истощенный организм этого не выдержал. Я видел, что она медленно угасает, и не решался ее оставить. Моя монашеская ряса позволяла мне в любую пору входить в монастырь, и вот настал день, когда несчастная Мануэла испустила дух у меня на руках. Наследник герцогини – герцог Сорриенте находился в это время в Валь-Санта. Этот сеньор держался со мной с полной откровенностью.

– Я знаю, – сказал он мне, – какие отношения связывали тебя с австрийской партией, к которой я и сам принадлежал. Если тебе понадобится какая-нибудь услуга, прошу не забывать обо мне. Ты этим меня одолжишь. Что же касается открытых отношений с тобой, ты понимаешь, что, не подвергая нас обоих без нужды опасности, я не могу их поддерживать.

Герцог Сорриенте был прав. Я представлял собой один из потерянных фтортов партии. Меня выдвинули вперед, чтобы потом, когда вздумается, покинуть. У меня еще оставалось значительное состояние, которое легко можно было перевести в любую страну, так как оно находилось целиком в руках братьев Моро. Я хотел уехать в Рим или в Англию, но, когда дело доходило до окончательного решения, я ничего не предпринимал. Одна мысль о возвращении в свет приводила меня в содрогание. Отвращение к светской жизни стало у меня в некотором смысле душевной болезнью.

Видя, что я колеблюсь и не знаю, что предпринять, Уседа стал меня уговаривать поступить на службу к шейху Гомелесов.

– Что это за служба? – спросил я. – Не угрожает ли она безопасности моей родины?

– Нисколько, – ответил он. – Скрывающиеся в этих горах мавры готовят переворот в исламе, их толкают на это политика и фанатизм. У них неисчислимые возможности для достижения цели. С ними вошли в соглашение ради собственной выгоды некоторые знатные испанские семейства. Инквизиция вымогает у них крупные суммы и потому допускает совершаться под землей тому, чего не потерпела бы на поверхности. В общем, дон Хуан, поверь мне и испытай, какова жизнь, которую мы ведем в наших долинах.

Чувствуя, что свет опостылел мне, я решил последовать совету Уседы. Цыгане – как мусульмане, так и язычники – приняли меня, как человека, предназначенного им в вожаки, и поклялись мне в вечном послушании. Но окончательную роль в моем решении сыграли цыганки. Особенно понравились мне две из них: одну звали Китта, другую – Зитта. Обе были прелестны, и я не знал, которую выбрать. Видя мои колебания, они вывели меня из затруднения, сказав, что у них разрешено многоженство и что для освящения брачных уз не требуется никакого обряда.

Со стыдом признаюсь, что это преступное распутство соблазнило меня. Увы, есть лишь одно средство устоять на стезе добродетели: избегать не освященных ею тропинок. Если человек скрывает свою фамилию, поступки или намеренья, то скоро ему придется держать в тайне всю свою жизнь. Мой союз с герцогиней был предосудителен лишь потому, что я должен был его скрывать, и все тайны моей жизни были его неизбежным последствием. Более невинное очарование удерживало меня в здешних долинах – очарование того образа жизни, который здесь вели. Небесный полог, всегда раскинутый над головой, прохлада пещер и лесов, благоуханный воздух, зеркальные поверхности вод, цветы, растущие на каждом шагу, словом, природа, праздничная во всех отношениях, – все это действовало умиротворяюще на мою душу, измученную светом и его тревожным смятением.

Мои жены подарили мне двух дочерей. Тут я стал больше прислушиваться к голосу совести. Я был свидетелем терзаний Мануэлы, которые свели ее в могилу. Я решил, что мои дочери не будут ни магометанками, ни язычницами. Надо было их воспитывать, вопрос был решен: я остался на службе у Гомелесов. Мне доверяли очень важные дела и несметные суммы денег. Я был богат и ни в чем не нуждался, но, с разрешения моего начальника, творил, сколько мог, добро. Часто удавалось мне выручать людей из большой беды.

В общем, я продолжал вести под землей ту жизнь, которую вел на ее поверхности. Я снова стал дипломатом. Не однажды ездил в Мадрид, несколько раз – за пределы Испании. Этот деятельный образ жизни вернул мне утраченную бодрость. Я все сильнее втягивался в него.

Между тем дочери мои подрастали. В последнюю поездку свою в Мадрид я взял их с собой. Двум благородным юношам удалось завоевать их сердца. Семьи этих юношей имеют связь с жителями наших подземелий, и мы не опасаемся, как бы дочери мои не рассказали им о наших долинах. Как только я выдам обеих замуж, так сейчас же удалюсь в святую обитель и буду спокойно ждать там конца жизни, хоть и не вполне свободной от заблуждений, но и не заслуживающей названия порочной...

Вы просили, чтобы я рассказал вам о своих приключениях, и, надеюсь, не пожалели о своем любопытстве.

– Мне бы только хотелось знать, – промолвила Ревекка, – что случилось с Бускеросом.

– Сейчас скажу, – сказал цыган. – Порка в Барселоне отбила у него охоту шпионить, но так как он подвергся ей под фамилией Робусти, то считал, что она нисколько не может повредить славе Бускероса. Поэтому он смело предложил свои услуги кардиналу Альберони и стал в его правление заурядным интриганом, по примеру своего покровителя, который был интриганом незаурядным.

Впоследствии Испанией стал управлять другой авантюрист – по фамилии Рипперда. Под его властью Бускерос пережил еще несколько счастливых дней, но время, которое кладет конец самым блестящим судьбам, лишило Бускероса ног. Разбитый параличом, он велел, чтобы его относили на Пласа-дель-Соль, и там пытался продолжать свою обычную

деятельность, останавливая прохожих и по мере сил вмешиваясь в их дела. Последний раз я видел его в Мадриде рядом с забавнейшей фигурой, в которой я узнал поэта Агудеса. Время отняло у него зрение, и бедняга утешался мыслью, что Гомер тоже был слепой. Бускерос рассказывал ему городские сплетни, Агудес перелагал их в стихи, и порой его можно было слушать не без удовольствия, хотя у него осталась только тень прежнего дарования.

– Сеньор Авадоро, – в свою очередь, спросил я, – а что случилось с дочерью Ундины?

– Об этом ты узнаешь позднее, а пока займись, пожалуйста, приготовлениями к своему отъезду.

Мы тронулись в путь и после долгой езды прибыли в глубокую долину, со всех сторон окруженную скалами. Когда разбили шатры, цыган подошел ко мне и сказал:

– Сеньор Альфонс, возьми свою шляпу, шпагу и ступай за мной.

Пройдя сто шагов, мы оказались перед отверстием в скале, сквозь которое я увидел длинную темную галерею.

– Сеньор Альфонс, – сказал мне цыган. – Мы знаем твою отвагу; к тому же ты пойдешь по этой дороге не в первый раз. Войди в эту галерею и, как в первый раз, углубись в недра земли. Прощай, тут мы должны расстаться.

Помня первый поход, я спокойно шагал несколько часов впотьмах. Наконец заметил огонек и подошел к гробнице, войдя в которую увидел того же самого молящегося дервиша. Услышав легкий шум, дервиш повернулся ко мне со словами:

– Привет тебе, юноша! Радуюсь от всей души, видя тебя здесь. Ты сдержал свое слово относительно одной части нашей тайны – теперь мы откроем тебе всю ее, уже не требуя молчания. А пока отдохни и подкрепись.

Я сел на камень, и дервиш принес мне корзинку, в которой я нашел мясо, хлеб и вино. Когда я поел, дервиш толкнул одну из стенок гробницы, повернул ее на шарнирах и указал мне на витую лестницу.

– Спустись по ней, – сказал он мне, – ты увидишь, что надо будет делать.

Насчитав около тысячи ступеней в темноте, я оказался в пещере, освещенной несколькими светильниками. Я увидел каменную скамью, на которой лежали стальные долота и молотки из того же металла. Перед скамьей блестела золотая жила в толщину человека. Металл был темно-желтый и, кажется, без всякой примеси. Я понял, чего от меня ждут. Хотели, чтоб я выдолбил столько золота, сколько смогу.

Я взял в левую руку долото, в правую молоток и вскоре стал довольно умелым рудокопом; но долота притуплялись, и их приходилось часто менять. За три часа я выдолбил столько золота, что одному не поднять.

Тут я увидел, что пещеру заливает водой; я поднялся на несколько ступеней, но вода все поднималась, так что пришлось совсем уйти из пещеры. В гробнице я опять встретил дервиша; он благословил меня и указал на витую лестницу, ведущую вверх, по которой мне надо было идти. Я пошел и, пройдя снова около тысячи шагов, оказался в круглой зале, освещенной множеством светильников, блеск которых отражался в слюдяных и опаловых плитах, украшавших стены.

В глубине залы возносился золотой трон, на котором сидел старец с белоснежным тюрбаном на голове. Я узнал в нем отшельника из долины. Рядом с ним стояли мои родственницы в роскошных нарядах. Несколько дервишей в белой одежде окружали его с обеих сторон.

– Молодой назорей, – сказал мне шейх, – ты узнаешь во мне пустытника, у которого был в долине Гвадалквивира, и догадываешься, что я – великий шейх Гомелесов. Ты, конечно, помнишь двух своих жен. Пророк благословил их трогательное благочестие, вскоре обе они станут матерями и смогут продолжить племя, которому предназначено вернуть калифат роду Али. Ты не обманул наших надежд, вернулся в табор и ни одним словом не выдал того, что было с тобой в наших подземельях. Да ниспошлет Аллах росу счастья на твою голову!

Тут шейх сошел с трона и обнял меня, родственницы мои сделали то же самое.

Дервишей отослали, а мы перешли в другую комнату, в глубине которой был накрыт ужин. Тут уже не было ни торжественных речей, ни уговоров вступить в магометанство. Мы весело провели вместе большую часть ночи.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

На другой день меня с утра послали в рудник, и я вырубил там столько же золота, сколько накануне. Вечером я пошел к шейху и застал у него обеих своих жен. Я попросил его удовлетворить мое любопытство: мне хотелось бы многое узнать, особенно его собственное прошлое. Шейх ответил, что в самом деле пора уже открыть мне тайну, и начал так.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ШЕЙХА ГОМЕЛЕСОВ

Ты видишь в моем лице пятьдесят второго преемника первого шейха Гомелесов – Масуда бен Тахера, построившего Касар, исчезавшего в последнюю пятницу каждого месяца и появлявшегося только в следующую.

Твои родственники тебе кое-что уже рассказали; я доскажу остальное, открыв тебе все наши тайны. Мавры уже много лет находились в Испании, прежде чем задумали спуститься в долины Альпухары. В долинах этих жил тогда народ, называвшийся турдулами, или турдетанами. Эти туземцы сами себя называли таршиш и утверждали, что жили некогда в окрестностях Кадиса. Они сохранили много слов из своего древнего языка, на котором они умели даже писать. Буквы этого языка называли в Испании десконосидо⁴⁵. Под властью римлян, а затем визиготов турдетаны платили большие подати, взамен чего пользовались полной независимостью и сохранили древнюю религию. Они поклонялись богу под именем Яхх и приносили ему жертвы на горе, носившей название Гомелес-Яхх, что означало на их языке Гора Яхха. Завоеватели-арабы, враги христиан, еще сильнее ненавидели язычников или тех, которых считали язычниками.

Однажды Масуд нашел в подземелье замка каменную глыбу, покрытую древними письменами. Отодвинув ее, он увидел витую лестницу, ведущую внутрь горы; тогда он велел принести факел и один спустился туда. Там оказались комнаты, переходы, коридоры, но он, боясь заблудиться, вернулся. На другой день он снова наведлся в подземелье и заметил под ногами какие-то отполированные и блестящие частицы. Он собрал их, отнес к себе и убедился, что это чистое золото. Он совершил третье путешествие, и след золотого песка привел его к той самой золотой жиле, которую ты разрабатывал. Он обмер при виде такого богатства. Поспешно вернувшись, он не пренебрег ни одной предосторожностью, какую мог только выдумать, чтоб утаить от света свое сокровище. У входа в подземелье он велел поставить часовню и пустил слух, будто хочет зажечь жизнью отшельника, посвященной молитве и размышлениям. А между тем все время разрабатывал золотую жилу, стараясь нарубить как можно больше драгоценного металла. Дело подвигалось вперед медленно, так как он не только не решался взять помощника, но был даже вынужден тайно раздобывать стальные орудия, необходимые для горных работ.

Тут Масуд понял, что богатство вовсе не решает вопрос о власти: ведь у него было теперь больше золота, чем у всех властелинов мира. Однако добыча была связана с неслыханными трудностями; а потом он не знал, что с этим золотом делать и где его хранить.

Масуд был ревностным почитателем Пророка и пламенным сторонником Али. Он полагал, что Пророк послал ему это золото для возвращения калифата его роду, то есть потомкам Али, а в дальнейшем – для обращения всего света в ислам. Мысль эта овладела им

⁴⁵ desconocido – неизвестный (исп.)

безраздельно. Он отдался ей с тем большим пылом, что род Омейядов в Багдаде захирел, и возникла надежда на возвращение власти к потомкам Али. В самом деле Аббасиды истребили Омейядов, но для рода Али от этого не было никакой пользы, – наоборот, один из Омейядов прибыл в Испанию и стал калифом Кордовы.

Масуд, видя себя больше чем когда-либо окруженным врагами, умел тщательно скрываться. Он даже перестал добиваться осуществления своих намерений, но придал им такую форму, которая, если можно так выразиться, сберегала их для будущего. Он выбрал шестерых мужчин – глав семейств из своего рода, связал их священной клятвой и, открыв им тайну золотой жилы, сказал:

– Уж десять лет обладаю я этим сокровищем и до сих пор не мог найти ему никакого полезного применения. Будь я моложе, я мог бы набрать воинов и властвовать при помощи золота и меча. Но я открыл свои богатства слишком поздно. Меня знают как приверженца Али, и, прежде чем я собрал бы сторонников, меня убили бы. Я надеюсь, что наш Пророк когда-нибудь вернет калифат своим потомкам и что тогда весь мир перейдет в его веру. Время еще не пришло, но надо к нему подготовиться. У меня есть связи с Африкой, где я тайно поддерживаю последователей Али, надо и в Испании утвердить могущество нашего рода. И прежде всего мы должны затаиться. Нам не надо носить всем одну и ту же фамилию. Ты, мой родственник, Зегрис, со всем своим семейством поселишься в Гранаде. Мои останутся в горах и будут по-прежнему зваться Гомелесами. Другие удалятся в Африку и вступят там в браки с дочерьми Фатимидов. Особенное внимание надо обращать на молодежь, стараясь углубить ее образ мыслей и подвергая ее разным испытаниям. Если среди нее найдется юноша, наделенный незаурядными способностями и мужеством, он тотчас постарается свергнуть с трона Аббасидов, в корне истребить Омейядов и вернуть калифат потомкам Али. Я считаю, что будущий победитель должен будет принять титул махди, или Двенадцатого имама, и ознаменовать своим появлением предсказание Пророка, сказавшего, что «солнце встанет на западе».

Таковы были замыслы Масуда. Он записал их в книгу и с тех пор ничего не предпринимал, не посоветовавшись с шестью главами семейств. А в конце концов сложил с себя полномочия и передал одному из них звание великого шейха и замок Касар-Гомелес. С тех пор сменилось восемь шейхов. Зегриси и Гомелесы приобрели богатейшие владения в Испании, некоторые переселились в Африку, заняли важные должности и породнились с самыми влиятельными семействами.

Кончился уже второй век хиджры, когда один из Зегрисов осмелился провозгласить себя махди, то есть законным вождем. Он основал столицу в Кейруане, на расстоянии одного дня пути от Туниса, покорил всю Африку и стал родоначальником калифов Фатимидов. Шейх Касар-Гомелес послал ему много золота, однако вынужден был больше чем когда-либо окружать себя тайной, так как брали верх христиане, и Касару грозила опасность попасть к ним в руки. Вскоре появились у шейха и другие заботы, – в связи с внезапным возвышением Абенсеррагов, рода, враждебного нашему и совершенно несходного с нами по своему образу мыслей.

Зегриси и Гомелесы были угрюмыми, замкнутыми и ревнителями веры; напротив, Абенсерраги обращались любезно, учтиво с женщинами и приветливо с христианами. Они отчасти проникли в нашу тайну и окружили нас ловушками.

Преемники махди покорили Египет и были признаны в Сирии, а также в Персии. Власть Аббасидов рушилась. Туркменские князья овладели Багдадом. Но при всем том культ Али слабо распространялся, и суннитское влияние все еще имело над ним перевес.

В Испании Абенсерраги допускали все большую порчу нравов. Женщины показывались без покрывал, мужчины вздыхали у их ног. Шейхи Касара больше не выходили из замка и не касались золота. Такое положение длилось долго, пока наконец Зегриси и Гомелесы, желая оградить веру и королевство, не составили против Абенсеррагов заговор и не перебили их на Львином Дворе, в их собственном дворце под названием Альгамбра.

Это мрачное событие лишило Гранаду значительной части защитников и содействовало ее гибели. Долина Альпухары, следуя примеру всей страны, покорила победителю. Шейх Касар-Гомелеса разрушил свой замок и ушел в подземелье, в те самые комнаты, где ты видел братьев Зото. Шесть семейств укрылись вместе с ним в недрах земли, остальные попрятались по соседним пещерам, выходящим на другие долины.

Некоторые из Зегрисов и Гомелесов приняли христианскую веру или, по крайней мере, вступили в ряды оглашенных. В их числе были и Моро, которые сперва имели торговый дом в Гранаде, а потом стали придворными банкирами. Они не боялись недостатка капиталов, так как в их распоряжении были все сокровища подземелья. По-прежнему поддерживались и связи с Африкой, особенно с королевством Туниса. Все шло как надо до вступления на престол императора и испанского короля Карла. Закон Пророка в Азии, уже не блиставший так ярко, как во времена Калифата, распространился взамен этого по Европе, поддержанный завоеваниями османов.

В это время раздоры, уничтожающие все на земле, проникли и под землю, то есть в наши пещеры. Теснота еще сильнее обостряла несогласия. Сефи и Биллах заспорили о звании шейха, которого и в самом деле стоило помогать, так как оно давало право распоряжаться неисчерпаемыми богатствами. Сефи, чувствуя себя недостаточно сильным, хотел переметнуться на сторону христиан; Биллах вонзил ему в грудь стилет, после чего стал думать о том, как обеспечить общую безопасность. Тайну подземелья записали на пергаменте, который разрезали на шесть полос, перпендикулярных к строкам. Прочсть текст можно было, только соединив полосы. Каждая полоска пергамента была вверена одному из шести глав семей, и под страхом смерти было запрещено передавать ее кому-либо еще. Посвященный в тайну носил полосу на правом плече. Биллах сохранил над жителями подземелья право жизни и смерти. Стиллет, который он вонзил в грудь Сефи, сделался знаком его власти и переходил по наследству его преемникам. Наведя таким путем суровый порядок в подземельях, Биллах устремил всю свою неутомимую энергию на дела в Африке. Гомелесы занимали там несколько тронов. Они правили в Таруданте и Тлемсене, но африканцы – люди легкомысленные, повинующиеся прежде всего голосу страсти, и деятельность Гомелесов в этой части света никогда не была такой плодотворной, как следовало бы ожидать.

Около этого времени начались преследования мавров, оставшихся в Испании. Биллах ловко воспользовался этим обстоятельством. С неслыханной изобретательностью создал он систему взаимной поддержки между подземельями и людьми, отправлявшими высокие государственные должности. Они полагали, что покровительствуют лишь нескольким мавританским семействам, желающим остаться в покое, а на самом деле содействовали замыслам шейха, который в награду открывал им свой кошель. Наши летописи говорят также о том, что Биллах ввел, или, вернее, восстановил, испытания, которые должна проходить молодежь в доказательство своей стойкости. Ко времени Биллаха испытания эти были забыты. Вскоре произошло изгнание мавров. Шейх подземелья носил имя Кадер. Это был мудрый человек, не упускавший малейшей возможности укрепить общую безопасность. Банкиры Моро создали объединение уважаемых людей, занимавшихся якобы благотворительностью среди мавров; но под видом благотворительности они оказывали им тысячи услуг и брали за это большие деньги.

Изгнанные в Африку, мавры унесли с собой неутолимую жажду мести. Можно было думать, что вся эта часть света восстанет и затопит Испанию; но вскоре африканские государства пошли против них. Напрасно лились потоки крови в междоусобных войнах, напрасно шейхи подземелья сорили золотом, неумолимый Мулай Исмаил пожал плоды столетних междоусобий и основал государство, существующее до сих пор.

Тут я подошел ко времени своего появления на свет и поведу рассказ о самом себе.

Когда шейх произнес последние слова, ему доложили, что ужин на столе, и этот вечер прошел у нас, как накануне.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

Утром меня опять послали в подземелье. Я вырубил золота, сколько мог. В общем, я уже привык к этой работе, так как занимался ею целые дни. Вечера я проводил у шейха, где встречал своих родственников.

Я попросил его продолжить рассказ о его приключениях, и он начал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ШЕЙХА ГОМЕЛЕСОВ

Я познакомил тебя с историей наших подземелий, насколько она известна мне самому, а теперь перехожу к моим собственным приключениям. Я родился в большой пещере, прилегающей к той, в которой мы находимся. Свет падал в нее косо, неба совсем не было видно, но мы выходили в расселины скал дышать свежим воздухом, и отсюда было видно часть небосвода, а нередко даже и солнце. На поверхности у нас была небольшая клумба, на которой мы сажали цветы. Отец мой был одним из шести глав семейств. Поэтому он вместе со всей семьей жил в подземелье. А родственники его жили в долине и считались христианами. Некоторые поселились в предместье Гранады, носящем название Альбайсин. Ты ведь знаешь, там нет домов, и жители ютятся в пещерах на склоне горы. Несколько этих своеобразных жилищ было соединено с пещерами, доходившими до нашего подземелья. Окрестные жители собирались у нас по пятницам на общую молитву, дальние появлялись только по большим праздникам.

Мать говорила со мной по-испански, а отец – по-арабски, так что я очень хорошо знал оба языка, особенно второй. Я выучил наизусть Коран и часто углублялся в комментарии. С самых юных лет я был ревностным магометанином, твердым сторонником Али; к христианам мне привили отчаянную ненависть. Можно сказать, что эти чувства я всосал с молоком матери, и они возросли в потемках наших пещер.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я понял, что пещера давно гнетет и душит меня. Я томился по открытому небу; чувство это повлияло на мое здоровье, я стал слабеть, таял на глазах, и мать первая заметила это мое состояние. Она стала добиваться от меня, в чем дело; я открыл ей все, что было известно мне самому. Рассказал ей, что мне мучительно не хватает воздуха, что я все время испытываю какую-то невыразимую тревогу. Признался, что жажду во что бы то ни стало подышать другим воздухом, видеть небо, леса, горы, море, людей и умру, если мне этого не позволят. Мать, заливаясь слезами, сказала:

– Дорогой Масуд, твоя болезнь у нас – обычное явление. Я сама болела ею, и мне позволили тогда совершить несколько поездок. Я была в Гранаде и дальше. Но ты – другое дело. На тебя возлагают большие надежды; скоро тебя отправят в свет, и притом гораздо дальше, чем я бы хотела. Но ты все-таки приходи ко мне завтра пораньше, я постараюсь устроить, чтобы ты подышал свежим воздухом.

На другой день я пришел на назначенное мне матерью свидание.

– Мой милый Масуд, – сказала она, – если ты хочешь подышать более свежим воздухом, чем тот, что у нас в пещерах, тогда наберись терпения. Проползи под той скалой, и ты достигнешь долины, очень глубокой и узкой, но овеваемой вольным ветром. Ты сможешь даже вскарабкаться на скалы и увидеть у ног своих необъятный кругозор. Эта выдолбленная в камне дорога прежде была просто трещиной, побежавшей в разных направлениях и образовавшей целый лабиринт перекрещивающихся тропинок. Вот тебе несколько кусков угля, и на каждом распутье отмечай дорогу, по которой ты шел; иначе непременно заблудишься. Возьми вот эту сумку с припасами; недостатка воды ты испытывать не будешь – там ее вдоволь. Думаю, что ты никого не встретишь, но на всякий случай заткни себе за пояс ятаган. Угождая твоему желанию, я подвергаю себя большой опасности, так что долго не задерживайся.

Я поблагодарил свою добрую мать, пополз и выбрался в узкий выдолбленный проход, дно которого было, однако, покрыто травой. Потом я увидел озерцо с чистой водой, а дальше

– перекрещивающиеся овраги. День уже клонился к вечеру. Журчанье ручейка обратило на себя мое внимание, я двинулся по его течению и вскоре оказался на берегу озера, в которое он впадал. Уголок был восхитительный. Некоторое время я стоял, как вкопанный, в изумлении, потом голод дал себя знать, я вынул из сумки припасы, совершил предписываемое законом Пророка омовение и принялся за еду. Окончив трапезу, я снова совершил омовение и, решив, что время возвращаться, пошел той же дорогой обратно. Но вдруг я услышал странный плеск, обернулся и увидел выходящую из воды женщину. Почти всю ее покрывали мокрые волосы, но, кроме того, на ней было облегающее все тело зеленое шелковое платье. Выйдя из воды, волшебница скрылась в кустах и вышла оттуда в сухом платье и с заколотыми гребнем волосами.

Она взошла на скалу, словно желая полюбоваться видом, но потом вернулась к источнику, из которого вышла. Я сделал невольное движение, чтоб удержать ее, и стал ей поперек дороги. Сперва она испугалась, но я упал на колени, и эта смиренная поза немного ее успокоила. Она подошла ко мне, взяла меня за подбородок, подняла мою голову и поцеловала в лоб. И вдруг, с быстротой молнии бросившись в озеро, исчезла. Я был уверен, что это волшебница, как их называют в наших арабских сказках, – пери. Но я подошел к кусту, где она пряталась, и обнаружил там платье, развешенное словно для просушки.

Больше тут делать было нечего, и я вернулся в подземелье. Обнял мать, но не стал рассказывать ей о своем приключении, так как читал в наших газелях, что волшебницы не любят, когда выдают их тайны. Между тем моя мать, видя меня необычайно оживленным, радовалась тому, что свобода, которую она мне предоставила, принесла добрые плоды.

На другой день я опять отправился к источнику. Разметив накануне дорогу углем, я отыскал его без труда. Став на берегу, я стал изо всех сил звать волшебницу, прося у нее прощения, что осмелился совершить омовение в ее источнике. Но и на этот раз я сделал то же самое, потом разложил свои припасы, которые, повинувшись тайному предчувствию, захватил на двоих. Еще не приступив к трапезе, я услышал плеск и увидел выходящую из воды волшебницу, которая, смеясь, брызнула на меня водой.

Она побежала в кусты, переделалась в сухое платье и села рядом со мной. Она ела, как обыкновенная смертная, но не говорила ни слова. Я решил, что у волшебниц такой обычай, и смирился с этим.

Дон Хуан Авадоро познакомил тебя со своими приключениями, и ты, наверно, догадываешься, что волшебницей была его дочь Ундина, нырявшая под своды скал и проплывавшая из своего озера в этот водоем.

Ундина была невинна, – вернее, не знала ни греха, ни целомудрия. Наружность ее была так очаровательна, обращение так просто и привлекательно, что, в мечтах своих видя себя мужем волшебницы, я страстно ее полюбил.

Прошел месяц. Однажды шейх прислал за мной. Я застал у него шесть глав семейств в полном сборе. Среди них был и мой отец.

– Сын мой, – сказал он мне, – ты оставишь нашу пещеру и отправишься в те счастливые края, где исповедуют веру Пророка.

Кровь застыла у меня в жилах. Для меня было одно и то же: разлучиться с волшебницей или умереть.

– Дорогой отец! – воскликнул я. – Позволь мне никогда не покидать этих подземелий.

Не успел я произнести это, как увидел, что все стилеты занесены надо мной.

Казалось, отец мой готов первым пронзить мое сердце.

– Я согласен умереть, – сказал я, – только позволь мне поговорить с матерью.

Меня удостоили этой милости; я кинулся в ее объятия и рассказал ей о своих встречах с волшебницей. Мать очень удивилась и сказала:

– Мой милый Масуд, я не думала, что На свете существуют волшебницы. Впрочем, я в этом плохо разбираюсь, но недалеко отсюда живет один очень мудрый еврей, – я спрошу у него. Если твоя возлюбленная – волшебница, она всюду сумеет тебя найти. А с другой стороны, ты знаешь, что малейшее непослушание карается у нас смертью. Наши старшины

имеют на тебя большие виды, подчинись им как можно скорей и постарайся заслужить их благосклонность.

Слова матери произвели на меня сильное впечатление. Я решил, что в самом деле ведь волшебницы всемогущи и что моя найдет меня хоть на краю света. Я пошел к отцу и поклялся слепо повиноваться всем приказаниям.

На другой день я выехал в сопровождении одного жителя Туниса по-имени Сид-Ахмед, который сперва отвез меня в свой родной город, один из самых великолепных в мире. Из Туниса мы отправились в Загуан, маленький городок, славившийся выработкой красных шапочек – так называемых фесок. Мне сказали, что неподалеку от города находится своеобразнейшее строение, состоящее из маленького храма и галереи, окружающей полукругом небольшое озерцо. Из храма бьет струей вода, наполняя озерко. В древности вода из озерка поступала в водопровод и шла по нему в Карфаген. Говорили также, что храм посвящен какому-то божеству источника. Я, безумец, вообразил, что это божество – моя волшебница. Я отправился к источнику и стал ее из всех сил призывать. Ответом было только эхо. В Загуане мне сообщили также о дворце духов, развалины которого можно видеть, углубившись на несколько миль в пустыню. Я пошел и увидел круглое здание, выстроенное в необычайно красивом стиле. На развалинах сидел какой-то человек и рисовал. Я спросил его по-испански, правда ли, что этот дворец построили духи. Он ответил мне с улыбкой, что это – театр, в котором древние римляне устраивали бои диких зверей, и что место это, носящее теперь название Эль-Джем, было когда-то знаменитой Замой. Объяснение путешественника меня не заинтересовало; я предпочел бы встретить духов, которые сообщили бы мне что-нибудь о моей волшебнице.

Из Загуана мы отправились в Кайруан, прежнюю столиц махди. Это огромный город, с населением в сто тысяч человек, беспокойных и каждую минуту готовых восстать. Мы прожили там целый год. Из Кайруана переехали в Гадамес, маленькое независимое государство, составлявшее часть Белед-эль-Джери, то есть страны фиников. Так называется местность, протянувшаяся между горным хребтом Атласа и песчаной пустыней Сахарой. Финиковые пальмы так обильно плодоносят там, что одно дерево может прокормить круглый год человека умеренного, а тамошний народ состоит из таких людей. Однако и в других видах пищи нет недостатка, там есть зерновой злак, называемый дурро, и также бараны на длинных ногах и без шерсти, мясо которых превосходного качества.

В Гадамесе мы увидели большое количество мавров родом из Испании. Среди них не было ни Зегрисов, ни Гомелесов, но было много семейств, искренне нам приверженных; во всяком случае, это был край беглецов. Года не прошло, как я получил письмо от отца, кончавшееся так: «Мать просит передать тебе, что волшебницы – обыкновенные женщины и даже рожают детей». Я понял, что моя волшебница была такая же смертная, как я, и эта мысль немного успокоила мое воображение.

Когда шейх произнес последние слова, один из дервишей доложил, что ужин подан, и мы весело пошли садиться за стол.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ

На другой день я не преминул спуститься в рудник, где целый день усердно исполнял обязанности рудокопа. А вечером пошел к шейху и попросил его рассказывать дальше, и он приступил к делу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ШЕЙХА ГОМЕЛЕСОВ

Я тебе сказал, что получил от отца письмо, из которого узнал, что моя волшебница – простая смертная. Я был в это время в Гадамесе. Сид-Ахмед переехал со мной в Фесан, страну большую Гадамеса, но не столь плодородную и населенную чернокожими. Оттуда мы направились в Оазис Аммона, где должны были ждать вестей из Египта. Через две недели

наши посланцы вернулись с восемью дромадерами. Поступь этих животных невыносима, – однако пришлось ее выдерживать восемь часов подряд. Когда мы остановились, каждому дромадеру был выдан комок из риса, камеди и кофе; после четырехчасового отдыха мы снова тронулись в путь.

На третий день мы сделали остановку в Бахр-бела-ма, то есть у безводного моря. Это широкая песчаная долина, усеянная раковинами: нигде ни следа растений или животных. Вечером прибыли на берег озера, богатого натрием, представляющим собой разновидность соли. Там мы отпустили проводников и дромадеров и провели ночь одни – я с Сид-Ахмедом. На рассвете явились восемь крепких парней, которые посадили нас на носилки, чтоб перенести через озеро. Там, где брод был особенно узким, им приходилось идти друг за другом. Натрий крошился под их ногами, и, чтоб уберечь ноги от ран, они обвязали их шкурами. Так нас несли два часа с лишним.

Озеро выходило в долину, защищенную двумя скалами белого гранита, а затем исчезало под большим сводом, созданным природой, но довершенным рукой человека.

Тут проводники развели огонь и пронесли нас еще шагов сто – до чего-то вроде пристани, где нас ждала ладья. Проводники дали нам немного закусить, сами же плотно поели, выпивая и куря гашиш, то есть вытяжку из конопляного семени. Потом зажгли смоляной факел, далеко осветивший пространство вокруг, и привязали его к рулю. Мы сели, проводники наши превратились в гребцов и весь остаток дня плыли с нами над землей. Вечером мы прибыли в залив, откуда канал разветвлялся на несколько рукавов. Сид-Ахмед сказал мне, что здесь начинается знаменитый в древности лабиринт Озимандии. Теперь осталась только подземная часть сооружения, соединяющаяся с пещерами Луксора и всеми подземельями Фиваиды.

Ладью остановили у входа в одну из населенных пещер, кормчий пошел за пищей для нас; подкрепившись, мы завернулись в свои хаики и заснули в ладье.

На другой день – снова за весла. Ладья наша плыла под просторными сводами, выложенными плоскими камнями необычайных размеров; некоторые из них были сплошь покрыты иероглифами. Наконец мы прибыли в гавань и отправились в местный гарнизон. Командир отвел нас к своему начальнику, который взялся представить нас шейху.

Шейх приветливо подал мне руку и сказал:

– Молодой андалузец, братья наши из Касар-Гомелеса пишут мне о тебе с похвалой. Да пошлет на тебя благословение Пророк.

Сид-Ахмеда шейх, видимо, знал давно. Подали ужин, после чего вошли странно одетые люди и стали разговаривать с шейхом на непонятном для меня языке. Они говорили возбужденно, указывая на меня, словно уличали меня в каком-то преступлении. Я стал искать глазами своего спутника, но он исчез. Шейх пришел в ярость. Меня схватили, заковали по рукам и ногам и бросили в темницу.

Это была выдолбленная в скале пещера, местами прерываемая сообщающимися между собой яминами. Вход в мое подземелье был освещен светильником, и я увидел пару пронзительных глаз, а затем – страшную пасть, вооруженную чудовищными зубами. Крокодил просунул до половины в мою пещеру и грозил пожрать меня. Я был скован, не мог пошевелинуться; поэтому прочел молитву и стал ждать смерти.

Однако крокодил был на цепи; так хотели испытать мое мужество. Друзы составляли тогда на Востоке многочисленную секту. Возникновение ее связано с появлением первого фанатика по имени Дарази, который в действительности был только оружием Хакима Биамриллаха, третьего калифа из династии Фатимидов в Египте. Этот властитель, известный своим безбожием, стремился во что бы то ни стало восстановить древние пунийские суеверия. Он приказал, чтоб его считали воплощением божества, и предавался самому отвратительному распутству, к которому поощрял и своих учеников. В ту эпоху не вполне еще упразднены были древние мистерии, их совершали в подземельях лабиринта. Калиф велел, чтобы его посвятили в их тайну, но потерпел неудачу в своих безумных замыслах. Ученики Дарази укрылись от преследований в лабиринте.

Теперь они исповедуют чистейшую магометанскую веру, в том виде, в каком приверженцы Али некогда переняли ее у Фатимидов. Чтобы избежать ненавистного повсюду имени Хакимидов, они приняли название Друзов. Из древних мистерий Друзы сохранили только обычай испытаний. Я присутствовал при некоторых обрядах и отметил некоторые физические приемы, над которыми, несомненно, задумались бы первые европейские ученые; кроме того, мне кажется, что у Друзов существует такая ступень посвящения, на которой речь идет совсем уже не о магометанстве, а о предметах, о которых я не имею ни малейшего понятия. Но я был тогда слишком молод, чтобы понять это. Я провел целый год в подземельях лабиринта, часто ездил в Каир, где останавливался у людей, поддерживавших с нами тайные связи.

Собственно говоря, ездили мы только ради обнаружения наших тайных врагов суннитского направления, в то время господствовавшего. Сперва посетили Маскат, где имам твердо высказался против суннитов. Этот славный духовный священнослужитель принял нас очень радушно, показал нам список верных ему арабских племен и объяснил, что ему не составляет труда изгнать суннитов из Аравии. Однако его вероученье не допускает признания Али, поэтому мы не могли с ним объединиться.

Оттуда мы поплыли в Бассору и через Шираз прибыли в государство Сефивидов. Тут действительно признание Али было всеобщим, но персы предавались наслаждениям и домашним распрям, мало заботясь о распространении ислама за пределы страны. Нам посоветовали посетить езидов, обитающих на вершинах Ливана. Езидами называют разного рода сектантов, в частности, тех, что известны под названием Мутавалли. И вот мы отправились из Багдада через пустыню в Тадмору, которую вы называете Пальмирой, а оттуда написали шейху езидов. Он прислал нам коней, верблюдов и вооруженную охрану.

В долине близ Баальбека мы увидели в полном сборе весь народ. Тут мы испытали истинное удовлетворение. Сто тысяч фанатиков вопили проклятья Омару и прославляли Али. Совершалось погребальное торжество в честь сына Али – Хусейна. Езиды полосовали себе руки ножами, некоторые даже в иступлении перерезали себе жилы и умирали, плавая в своей собственной крови.

Мы задержались у езидов дольше, чем я предполагал, и получили в конце концов вести из Испании. Родителей моих уже не было в живых, и меня решил усыновить шейх.

После четырехлетнего путешествия я наконец благополучно вернулся в Испанию. Шейх усыновил меня со всеми обычными церемониями. Вскоре мне открыли тайны, неизвестные даже шестерым старейшинам. Решили, чтоб я стал махди. Прежде всего меня должны были признать в Ливане. Египетские Друзы высказались за меня, Кайруан тоже перешел на мою сторону; этот город я должен был сделать своей столицей. Перенеся туда сокровища Касар-Гомелесов, я вскоре мог стать самым могущественным властителем на земле.

Все это было неплохо придумано, но, прежде всего, я был еще слишком молод, а во-вторых, не имел ни малейшего понятия о военном искусстве. Поэтому было решено, что я, не откладывая, поступлю в оттоманскую армию, воевавшую тогда с немцами.

Отличаясь мирным характером, я хотел воспротивиться этим планам, но пришлось подчиниться. Меня снарядили, как подобает снаряжать славных воителей; я отправился в Стамбул и был включен в свиту визиря. Один немецкий полководец по имени Евгений разбил нас наголову и принудил визиря отступить за Туну, то есть Дунай. Через некоторое время мы решили снова перейти в наступление и продвинуться до Семиградья. Мы шли вдоль Прута, когда венгры, ударив нам в тыл, отогнали нас от границ страны и разбили в пух и прах. Я получил две пули в грудь и был оставлен на поле битвы, как убитый.

Кочевые татары подобрали меня, перевязали мне раны и в качестве единственной пищи стали кормить меня слегка прокисшим кобыльим молоком. Напиток этот, могу смело сказать, спас мне жизнь. Однако за год я до того ослабел, что не мог взобраться на коня, и когда орда переносила свои кибитки на новое место, меня везли в телеге под присмотром нескольких ходивших за мной старух.

Я испытывал такой упадок не только телесных, но и душевных сил, что не мог выучить ни слова по-татарски. По прошествии двух лет я встретил муллу, знавшего арабский язык. Я сказал ему, что я мавр из Андалузии и умоляю, чтоб меня отпустили на родину. Мулла переговорил обо мне с ханом, и тот дал мне денег на дорогу.

Наконец добрался я до наших пещер, где меня давно уже считали погибшим. Прибытие мое было встречено всеобщей радостью. Не радовался только сам шейх, видя меня таким ослабевшим и больным. Теперь меньше чем когда-либо был я способен к роли махди. Однако в Кайруан был отправлен посол, чтобы узнать, как там смотрят на это дело, поскольку желали как можно скорей приступить к осуществлению давнего замысла.

Посол вернулся через шесть недель. Все окружили его, слушая с великим нетерпением, как вдруг он посреди рассказа упал без чувств. Ему оказали помощь, он очнулся и хотел продолжать, но не мог собрать мысли. Понятно было только то, что в Кайруане свирепствует чума. Хотели его удалить от всех, но было уже поздно: к нему прикасались, переносили его вещи, и тут же все жители пещер стали жертвами страшного бедствия.

Это было в субботу. В следующую пятницу, когда мавры из долины сошлись для молитвы и принесли нам съестные припасы, они нашли только трупы, посреди которых ползал я, с огромной опухолью в левом боку. Но смерть меня пощадила.

Уже не боясь чумы, я приступил к погребению мертвых. Раздевая шестерых старейшин, я нашел шесть пергаментных полос, сложил их и узнал тайну неисчерпываемой копи. Шейх перед смертью открыл водопровод; когда я спустил воду, моим глазам представилось упоительное зрелище моих богатств, к которым я не смел прикоснуться. У меня была бурная жизнь, я жаждал покоя, и роль махди ничуть меня не привлекала.

К тому же я не был посвящен в тайну переговоров с Африкой. Магометане, обитавшие в долине, решили впредь молиться у себя, и я остался совсем один во всем подземелье. Я снова залил копи, собрал драгоценности, найденные в пещере, тщательно промыл их в уксусе и отправился в Мадрид под видом мавританского торговца драгоценностями из Туниса.

Первый раз в жизни увидел я христианский город; меня удивила свобода женщин и огорчило легкомыслие мужчин. Я затосковал о возможности переселиться в какой-нибудь магометанский город. Хотел удалиться в Стамбул и зажить там в отрадной независимости, время от времени возвращаясь в пещеры для возобновления своих капиталов.

Таковы были мои замыслы. Я думал, что обо мне никто не знает, но это было не так. Чтобы еще больше походить на купца, я ходил в места общественных прогулок и раскладывал там свои драгоценности. Я установил на них твердые цены и никогда не пускался ни в какие торги. Такой образ действий снискал мне всеобщее уважение и обеспечил доходы, к которым я совсем не стремился. Между тем, где бы я ни появлялся – на Прадо, в Буэн-Ретиро или в каком другом общественном месте, – всюду меня преследовал какой-то человек, острый, пронизывающий взгляд которого, казалось, читает в моей душе.

Вечно устремленный на меня взгляд этого человека повергал меня в невероятную тревогу.

Шейх задумался, словно вспоминая пережитое ощущение, и в это время доложили, что ужин подан; он отложил продолжение повествования на следующий день.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ

Я спустился в копи и снова занялся своим делом. Я добыл уже довольно много прекраснейшего золота; в награду за мое усердие шейх продолжал так.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ШЕЙХА ГОМЕЛЕСОВ

Я уже говорил тебе, что, куда бы я ни направлялся в Мадриде, какой-то незнакомец преследовал меня взглядом, нагоняя на меня этим несказанную тревогу. Однажды вечером я

решил в конце концов обратиться к нему с вопросом.

– Чего ты от меня хочешь? – спросил я. – Съесть меня глазами? Какое тебе дело до меня?

– Никакого, – ответил незнакомец. – Я только убью тебя, если ты выдашь тайну Гомелесов.

В этих коротких словах заключалось объяснение моего положения. Я понял, что мне надо забыть о покое, и мрачная тревога, вечный страж сокровищ, овладела моей душой.

Было уже довольно поздно. Незнакомец позвал меня к себе, велел подать ужин, потом тщательно запер дверь и, упав передо мной на колени, сказал:

– Властелин пещеры, приветствую тебя. Но если ты пренебрежешь своими обязанностями, я убью тебя, как Биллах Гомелес когда-то убил Сефи.

Я попросил своего необычайного вассала подняться, сесть и рассказать о том, кто он. Незнакомец, повинувшись моим желаниям, начал свой рассказ.

ИСТОРИЯ РОДА УСЕДА

Род наш – один из самых древних в мире, но мы не любим хвалиться нашим происхождением, и я ограничусь лишь упоминанием, что нашим родоначальником был Авишуй, сын Финееса, внук Елеазара и правнук Аарона, который был братом Моисея и первосвященником Израиля. Авишуй был отцом Буккия, дедом Озии, прадедом Зерахии, прапрадедом Мераиофа, который был отцом Амарии, дедом Ахимааса, прадедом Азарии и прапрадедом Азарии-второго.

Азария был первосвященником знаменитого храма Соломона и оставил после себя записи, продолженные некоторыми из его потомков. Соломон, столько сделавший для прославления Господа, под конец опозорил свою старость, позволив своим женам открыто воздавать почести идолам. Азария сперва хотел покарать это преступное безбожие, но, пораздумав, пришел к выводу, что на старости лет монархам приходится быть снисходительными к своим супругам. Он стал глядеть сквозь пальцы на злоупотребления, которым не мог помешать, и умер первосвященником.

Азария был отцом Азарии-второго, дедом Цадока, прадедом Ахитува, прапрадедом Селлума, который был отцом Хелкии, дедом Азарии-третьего, прадедом Серайи и прапрадедом Иоседека, уведенного в плен вавилонский.

У Иоседека был младший брат по имени Овадий, от которого мы как раз и происходим. Ему еще не было пятнадцати лет, когда он был взят в царские отроки и переименован в Сабдека. Там были и другие молодые евреи, тоже под иными именами. Четверо среди них не захотели есть с царской кухни – из-за нечистого мяса, которое там готовилось, и питались кореньями да водой, но по-прежнему оставались тучными. Сабдек один съедал предназначавшиеся для них блюда, но, несмотря на это, все больше и больше худел.

Навуходоносор был великий властитель, но, быть может, слишком потакал своей гордыне. Увидев в Египте колоссы шестидесяти футов высотой, он повелел соорудить свою собственную статую таких же размеров, вызолотить ее и приказал, чтоб все падали перед ней на колени. Еврейские юноши, не пожелавшие есть нечистого мяса, отказались также и бить поклоны. Сабдек, не обращая на это внимания, кланялся со всем усердием и, кроме того, в собственноручных записках наказывал своим потомкам всегда преклоняться перед царями, их статуями, фаворитами, любовницами, даже перед их собачками.

Овадий, или Сабдек, был отцом Салатиэля, жившего во времена Ксеркса, которого вы должны называть Широэсом, а евреи называли Агасфером. У этого персидского царя был брат Аман, человек страшно гордый и надменный. Аман объявил, что всякий, кто откажется бить ему поклоны, будет повешен. Салатиэль первый падал перед ним ниц, а когда повесили Амана, он опять-таки первый преклонился перед Мардохеем.

Салатиэль был отцом Малакиэля и дедом Зафеда, жившего в Иерусалиме в то время, когда Неемия был правителем города. Еврейские женщины и девушки не были особенно

привлекательны, мужчины отдавали предпочтение моавитянкам и азотянкам. Зафед взял в жены двух азотянок. Неемия проклял его, избил кулаками и даже, как рассказывает сам этот святой человек в своей истории, вырвал у него клочок волос из бороды. Однако Зафед в своих записках советует потомкам не считаться с мнением евреев, если им нравятся женщины из чужого племени.

Зафед был отцом Наасона, дедом Элфада, прадедом Зоровита, который был отцом Элухана и дедом Узавита. Этот последний жил в то время, когда евреи начали восставать под водительством Маккавеев. Узавит по характеру своему был против войны; он собрал все, что имел, и укрылся в Казииате, испанском городе, населенном в то время карфагенянами.

Узавит был отцом Ионафана и дедом Каламиэля, который, узнав, что на родине все спокойно, вернулся в Иерусалим, – однако сохранил свой дом в Казииате и другие владения, приобретенные в окрестностях этого города. Ты помнишь, что во время вавилонского плена род наш разделился на две ветви. Глава старшей линии – Иоседек был почетным и богобоязненным израильтянином, и все его потомки унаследовали от него эти качества. Не могу понять, отчего между этими двумя линиями возникла такая упорная вражда, что старшей пришлось переселиться в Египет и там посвятить себя службе богу Израиля в храме, выстроенном Онией. Линия эта угасла, или, верней, оборвалась на Агасфере, известном под прозванием Вечный Жид.

Каламиэль был отцом Элифата, дедом Элиазоба и прадедом Эфраима, при жизни которого цезарю Калигуле вздумалось поместить свою статую в Иерусалимском храме. Собрался весь синедрион; Эфраим, тоже входивший в его состав, настаивал, чтобы в храме была помещена не только статуя цезаря, но и статуя его коня, который был уже консулом; однако Иерусалим восстал против проконсула Петрония, и цезарь отказался от своей затеи.

Эфраим был отцом Небайота, при котором Иерусалим восстал против Веспасиана. Небайот не стал ждать развития событий, а переехал в Испанию, где, как я сказал, у нас были порядочные владения. Небайот был отцом Иосифа, дедом Симрана и прадедом Рефайи, который был отцом Иемии, придворного астролога Гундерика, короля вандалов.

Иемия был отцом Эсбана, дедом Уза и прадедом Еримота, который был отцом Аमतота и дедом Альмета. При этом последнем Юсуф бен Тахер вступил в Испанию с целью покорить страну и обратить народ в мусульманство. Альмет предстал перед мавританским военачальником с просьбой разрешить ему перейти в веру Пророка.

– Ты прекрасно знаешь, друг мой, – ответил ему военачальник, – что в день Страшного суда все евреи, превращенные в ослов, будут перевозить верных в рай. Если ты теперь перейдешь в нашу веру, нам может тогда не хватить вьючных животных.

Ответ был не особенно любезный, но Альмет утешился тем радушным приемом, который оказал ему Юсуфов брат Масуд. Тот оставил его у себя и стал посылать с разными поручениями в Африку и Египет.

Альмет был отцом Суфи, дедом Гуни и прадедом Иссера, который был отцом Шаллума, первого сарафа, то есть казначейщика при дворе махди. Шаллум поселился в Кайруане; у него были два сына – Махир и Махаб. Первый остался в Кайруане, а второй отправился в Испанию, поступил на службу к Касар-Гомелесам и поддерживал связь между ними, с одной стороны, и Египтом и Африкой, с другой.

Махаб был отцом Иофелета, дедом Малкиэля, прадедом Бехреза и прапрадедом Дехода, который был отцом Сахамера, дедом Суаха, прадедом Ахия, прапрадедом Бера, у которого был сын Абдон. Абдон, видя, что мавры изгнаны из всей Испании, за два года до захвата Гранады перешел в христианскую веру. Восприемником его был король Фердинанд. Но, несмотря на это, Абдон остался на службе у Гомелесов, в старости отрекся от Назорейского Пророка и вернулся к вере предков.

Абдон был отцом Мехриталья и дедом Азаэля, при котором Биллах, последний законодатель жителей пещер, убил Сефи.

Однажды шейх Биллах велел позвать Азаэля и обратился к нему с такими словами:

– Ты знаешь, что я убил Сефи. Пророк назначил ему эту смерть, желая вернуть халифат

роду Али. И я создал содружество четырех семейств: Езидов на Ливане, Халилов в Египте и Бен-Азаров в Африке. Главы трех перечисленных семейств поклялись за себя и своих потомков каждые три года по очереди присылать в наши пещеры человека смелого, умного, знающего свет, проникательного и даже хитрого. Его обязанность будет заключаться в наблюдении, соблюдается ли в пещерах надлежащий порядок, и, в случае нарушения предписаний, он будет иметь право убить шейха, шестерых глав семейств, – словом, всех, кто окажется виновным. В награду за свою службу он получит семьдесят тысяч слитков чистого золота, или по-вашему – сто тысяч цехинов.

– Могущественный шейх, – ответил Азаэль, – ты назвал только три семейства. А какое будет четвертое?

– Твое, – сказал Биллах, – и ты будешь получать за это каждый год тридцать тысяч золотых монет. Но при этом ты должен будешь поддерживать связи, вести переписку и даже войти в состав управителей подземелья. А в случае каких-нибудь упущений с твоей стороны одно из трех семейств обязано сейчас же тебя убить.

Азаэль хотел обдумать предложение, но жажда золота пересилила, и он взял на себя обязательство за себя и своих потомков. Азаэль был отцом Герсома. Три связанные тайной семейства получали каждые три года по семьдесят тысяч золотых монет. Герсом был отцом Мамуна, то есть моим. Блюдя обязательства своего деда, я усердно служил владыкам пещер и даже после чумы выплатил Бен-Азарам из своих собственных средств семьдесят тысяч золотых монет. Теперь я пришел, чтобы заверить тебя в своей неизменной верности.

– Почтенный Мамун, – возразил я. – Смилуйся надо мной! У меня в груди и так уж сидят две пули, и я совершенно не способен быть ни шейхом, ни махди.

– Что касается махди, – ответил Мамун, – будь спокоен: никто об этом больше не помышляет; но если ты не хочешь, чтобы через три недели тебя вместе с дочерью убили Халилы, ты не должен отказываться от обязанностей шейха.

– С дочерью? – воскликнул я в изумлении.

– Вот именно, – ответил Мамун. – Той, которую родила тебе волшебница.

Тут доложили об ужине, и шейх прервал свой рассказ.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ

Я провел еще один день в копи, а вечером шейх по моей просьбе продолжал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ШЕЙХА ГОМЕЛЕСОВ

Выбора не было, и мы с Мамуном занялись прежней деятельностью Касар-Гомелесов, – завязали отношения с Африкой и с важнейшими испанскими фамилиями. Шесть мавританских семейств поселились в пещерах; но африканским Гомелесам не повезло: дети мужского пола у них умирали либо рождались слабоумными. У меня самого при двенадцати женах было только два сына, да и те умерли. Мамун убедил меня не пренебрегать Гомелесами, перешедшими в христианство, и даже теми, кто наши кровные по женской линии и могут перейти в веру Пророка.

Таким путем Веласкес получил право породниться с нами: я предназначил ему в жены свою дочь – ту самую Ревекку, которую ты видел в цыганском таборе. Она воспитывалась у Мамуна, который обучал ее разным наукам и каббалистическим формулам.

После смерти Мамуна замок Уседы перешел по наследству к его сыну. С ним-то мы и разработали в подробностях, как тебя встретить; мы надеялись, что ты перейдешь в магометанскую веру или, по крайней мере, станешь отцом – и в этом отношении наши надежды оправдались. Детей, которые твои родственницы носят в своих лонах, все будут считать отпрысками чистейшей крови Гомелесов. Ты должен был приехать в Испанию. Правитель Кадиса дон Энрике де Са принадлежит к числу посвященных, и он рекомендовал тебе Лопеса и Москито, которые покинули тебя у источника Алькорнокес. Несмотря на это,

ты отважно поехал дальше – до Вента-Кемады, где встретил своих родственников, заснув под влиянием усыпляющего напитка, проснулся на другой день утром под виселицей братьев Зото. Оттуда ты попал в мою пустынь, где встретил страшного одержимого Пачеко, который на самом деле – всего-навсего бискайский акробат. Бедняга выбил себе глаз, выполняя опасный прыжок, и прибежал, как калека, к нашему милосердию. Я думал, что его печальный рассказ произведет на тебя впечатление и ты выдашь тайну, которую поклялся своим родственникам хранить; но ты твердо сдержал свое честное слово. На другой день мы подвергли тебя гораздо более страшному испытанию; мнимая инквизиция, угрожая тебе ужаснейшими пытками, не могла поколебать твоего мужества.

Мы захотели поближе с тобой познакомиться и отправили тебя в замок Уседы. Там, с садовой террасы, тебе показалось, что ты узнал двух своих родственников. Это и в самом деле были они. Но, войдя в шатер цыгана, ты увидел только его дочерей, с которыми, будь уверен, у тебя ничего не было.

Нам пришлось довольно долго задержать тебя у нас, и мы боялись, что ты соскучишься. Мы стали придумывать для тебя разные развлечения; так, Уседа, на основе семейных рукописей, познакомил одного старика из числа мне подвластных с историей Вечного Жида, которую тот верно тебе передал. В данном случае приятное было соединено с полезным.

Теперь тебе известна тайна нашего подземного жития, которое, наверно, уже недолго продлится. Скоро ты услышишь о том, что эти горы разрушило землетрясение: для этого мы приготовили неисчислимые запасы взрывчатых веществ, но это будет уже последнее наше бегство.

А теперь иди. Альфонс, куда зовет тебя свет. Ты получил от нас вексель на неограниченную сумму, во всяком случае способную удовлетворить все желания, какие, по нашим наблюдениям, тебе свойственны. Помни, что скоро уже не будет подземелья, и подумай о том, чтобы обеспечить себе независимое существование. Братья Моро дадут тебе средства для этого. Еще раз – прощай, обними своих жен. Лестница в две тысячи ступеней приведет тебя к развалинам Касар-Гомелеса, где ты найдешь проводников до Мадрида. Прощай, прощай.

Я поспешил вверх по витой лестнице и едва завидел солнечный свет, как передо мной предстали двое моих слуг – Лопес и Москито, покинувшие меня у источника Алькорнокес. Оба с радостью поцеловали мне руки и повели в старую башню, где меня уже ждал ужин и мягкая постель.

На другой день мы без промедления пустились дальше. Вечером прибыли в венту Карденас, где я застал Веласкеса, углубившегося в решение какой-то задачи, с виду похожей на квадратуру круга. Великий математик сперва меня не узнал, и мне пришлось медленно воскрешать в его памяти все события, происшедшие во время его пребывания в Альпухаре. Наконец, обрадовавшись нашей встрече, он обнял меня, но тут же с грустью сообщил, какое страдание причинила ему необходимость расстаться с Лаурой Уседой, как он называл Ревекку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двадцатого июня 1739 года я приехал в Мадрид. На другой день после приезда я получил от братьев Моро письмо с черной печатью, означающей какое-то печальное известие. В самом деле, я узнал из него о том, что отец мой умер от удара, а мать, сдав в аренду наше имение Ворден, удалилась в один из брюссельских монастырей, где решила спокойно окончить свой жизненный путь.

На третий день ко мне пришел сам Моро, заклиная строго соблюдать тайну его посещения.

– До сих пор, сеньор, – сказал он, – ты знал только часть наших тайн, но скоро узнаешь все. В настоящее время все посвященные заняты размещением своих капиталов в разных

странах, и если бы кто-нибудь из них, по несчастью, разорился, все мы тотчас пришли бы ему на помощь. У тебя, сеньор, был дядя в Индиях, который умер, почти ничего тебе не оставив. Чтобы никто не удивлялся твоему неожиданному богатству, я пустил слух, будто он оставил тебе большое наследство. Тебе нужно будет купить имения в Брабанте, в Испании, даже в Америке. Если ты позволишь, я этим займусь. Что же касается тебя, сеньор, я знаю твою отвагу и не сомневаюсь, что ты сядешь на корабль «Святой Захарий», отплывающий с припасами в Картагену, которой угрожает адмирал Верной. Английское правительство не хочет войны, но общественное мнение усиленно его к ней склоняет. Однако мир уже близок, и если ты упустишь эту возможность наблюдать военные действия, другая тебе вряд ли представится.

План, который мне предложил Моро, был давно уже составлен моими покровителями. Я сел на корабль со своим отрядом, входившим в состав сводного батальона. Путешествие прошло очень удачно; мы прибыли как раз вовремя и заперлись в крепости с мужественным Эславой. Англичане сняли осаду, и в 1740 году, в марте, я вернулся в Мадрид.

Однажды, когда я нес службу во дворце, я увидел в свите королевы молодую женщину, в которой сразу узнал Ревекку. Мне сказали, что это одна молодая принцесса из Туниса, бежавшая из родного края, чтобы принять нашу веру. Король был ее восприемником и дал ей титул герцогини Альпухары, после чего к ней посватался герцог Веласкес. Ревекка, заметив, что мне рассказывают о ней, бросила умоляющий взгляд, чтобы я не раскрывал ее тайны.

Потом двор переехал в Сан-Ильдефонсо, а я со своим отрядом расквартировался в Толедо. Нанял дом на узкой улочке, недалеко от рынка. Напротив меня жили две женщины, у каждой из которых был ребенок, мужья их, – как мне сказали, – морские офицеры, были теперь в море. Женщины эти жили совсем уединенно и, казалось, были заняты исключительно своими детьми, которые в самом деле были прекрасны, как ангелочки. Обе мамы целый день только и делали, что баюкали их, купали, одевали, кормили. Волнующее зрелище материнской любви так привлекало меня, что я не мог оторваться от окна. Откровенно говоря, руководило мной и любопытство: мне хотелось рассмотреть лица моих соседок, но они всегда тщательно их прикрывали.

Прошло две недели. Комната окнами на улицу была детской, и женщины в ней никогда не ели; но как-то вечером я увидел, что там накрывают на стол и как будто готовится какое-то празднество.

Большое кресло во главе стола, украшенное цветочным венком, обозначало место короля этого празднества; по обе стороны от него были поставлены высокие стулья, на которые посадили детей. Потом пришли мои соседки и знаками стали звать меня к себе. Я заколебался, не зная, что сделать, как вдруг они сняли с лиц покрывала, и я узнал Эмину и Зибельду. Я провел с ними шесть месяцев.

В это время прагматическая санкция и споры о наследстве Карла VI зажгли в Европе войну, в которой не замедлила принять действенное участие и Испания. Я оставил своих родственников и пошел в адъютанты к инфанту дону Филиппу. На всем протяжении войны я оставался при этом полководце, а после заключения мира был произведен в полковники.

Мы находились в Италии. В Парму приехал доверенный дома братьев Моро для истребования некоторых сумм и приведения в порядок денежных дел этого герцогства. Этот человек пришел однажды ночью ко мне и тайно сообщил, что меня с нетерпением ждут в замке Уседы, так что я должен сейчас же ехать. При этом он назвал одного из посвященных, с которым мне надо встретиться в Малаге.

Я простился с инфантом, сел в Ливорно на корабль и после десятидневного плавания прибыл в Малагу. Названный мне человек, предупрежденный о моем приезде, ждал меня на пристани. Мы сейчас же выехали и на другой день были уже в замке Уседы.

Я застал там многочисленное собрание: прежде всего шейха, его дочь Ревекку, Веласкеса, каббалиста, цыгана с двумя дочерьми и зятьями, трех братьев Зото, мнимого одержимого, наконец – десятка полтора магометан, принадлежащих к трем посвященным семействам. Шейх объявил, что, так как все в сборе, надо сейчас же поспешить в подземелье.

В самом деле, как только настала ночь, мы тронулись в путь и прибыли к цели на рассвете. Спустились в подземелье и через некоторое время легли спать. Потом шейх собрал нас всех и обратился к нам со следующими словами:

– Золотые копи, около тысячи лет составлявшие, так сказать, собственность нашего рода, казались неисчерпаемыми. Убежденные в этом, предки наши постановили употребить добытое в них золото на распространение ислама – в особенности исповеданья Али. Они были единственными хранителями этого сокровища, и охрана его стоила им огромных трудов и усилий. Я сам в своей жизни изведаль тысячи ужаснейших неприятностей. Чтобы избавиться в конце концов от заботы, которая день ото дня становилась все несноснее, я решил убедиться, действительно ли копи неисчерпаемы. Пробив скалы в нескольких местах, я обнаружил, что золотая жила повсюду подходит к концу. Сеньор Моро сообразовал подсчитать оставшиеся богатства и сколько приходится на каждого из нас. Расчет показал, что каждый из основных наследников получит миллион цехинов, а сонаследники – пятьдесят тысяч. Все золото добыто и сложено в отдаленной отсюда пещере. Сперва я отведу вас в копь, где вы убедитесь в истине моих слов, а потом каждый возьмет свою часть.

Мы спустились вниз по витой лестнице, подошли к гробнице, а оттуда – к копи, которая оказалась действительно совершенно исчерпанной. Шейх торопил нас как можно скорее обратно. Поднявшись наверх, мы услышали ужасный взрыв. Шейх объяснил нам, что это взорвана та часть подземелья, которую мы только что покинули. После этого мы пошли в пещеру, где было сложено оставшееся золото. Африканцы взяли свои доли. А Моро принял мою и почти всех европейцев.

Я вернулся в Мадрид и представился королю, который принял меня необычайно милостиво. Приобретя большие владения в Кастилии, я получил титул графа де Пенья Флорида и вступил в ряды первых кастильских титуладос. При моих богатствах заслуги мои тоже приобрели более высокую цену. На тридцать шестом году жизни я стал генералом.

В 1760 году мне было вверено командование эскадрой и поручено заключить мир с берберийскими государствами. Сперва я поплыл в Тунис, надеясь, что встречу там меньше затруднений и что примеру этого государства последуют другие. Бросив якоря в гавани возле города, я послал офицера с сообщением о моем прибытии. В городе уже знали об этом, и вся бухта Голетта была покрыта разукрашенными ладьями, которые должны были перевезти меня, вместе с моей свитой, в Тунис.

На другой день меня представили дею. Это был двадцатилетний юноша очаровательной наружности. Я был принят со всеми почестями и получил приглашение на вечер в замок под названием Мануба. Там меня провели в отдаленную садовую беседку и заперли за мной дверь. Потом открылась маленькая потайная дверь. Вошел дей, преклонил колени и поцеловал мне руку.

Скрипнула другая дверь, и я увидел трех закутанных в покрывала женщин. Они откинули покрывала, и я узнал Эмину с Зибельдой. Последняя вела за руку молодую девушку, мою дочь. А Эмина была матерью молодого дея. Не буду описывать, с какой силой заговорило во мне отцовское чувство. Радость мою омрачала только мысль о том, что мои дети принадлежат к религии, которая враждебна моей. Я не скрыл этого горького чувства.

Дей признался мне, что он сильно привязан к своей вере, но что сестра его Фатима, воспитанная невольницей-испанкой, в глубине души христианка. Мы решили, что дочь моя вернется в Испанию, примет там крещение и станет моей наследницей.

Все это совершилось в течение одного года. Король сообразовал стать крестным отцом Фатимы и дал ей титул герцогини Орана. Через год она вышла за старшего сына Веласкеса и Ревекки, который был моложе ее на два года. Я завещал ей все свое состояние, доказав, что у меня нет близких родственников по отцу и что молодая мавританка, породнившаяся со мной через Гомелесов, – единственная моя наследница.

Будучи еще молод и в расцвете сил, я, однако, стал подумывать о месте, которое обеспечило бы мне возможность наслаждаться сладостью покоя. Должность наместника Сарагосы была свободна, и я получил ее.

Поблагодарив его королевское величество и простившись с ним, я отправился к братьям Моро с просьбой вернуть мне запечатанный свиток, который дал им на сохранение двадцать пять лет тому назад. Это был дневник первых шестидесяти дней моего пребывания в Испании.

Я собственноручно переписал его и спрятал в железную шкатулку, где его когда-нибудь найдут мои наследники.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДЕНЬ СОРОК СЕДЬМОЙ⁴⁶

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЖАКА ЦЫГАН

Кавалер Толедо перестал думать о призраках и мечтал только о встрече с доньей Ускарис. Мы поспешили вернуться в Мадрид. Маленький нищий, вместо которого я дежурил у постели Суареса, приехал вместе с нами, и я тотчас же отправил его к больному. Проводив кавалера домой и сдав его на руки обрадованным слугам, я отправился к порталу святого Роха и собрал разбежавшуюся ватагу. От торговки, нашей постоянной поставщицы, принесли колбасы и каштанов, и мы устроили веселое пиршество, радуясь, что снова собрались вместе. Наша незатейливая трапеза приближалась уже к концу, когда какой-то человек остановился возле нас и стал пристально к нам приглядываться, словно колебался, к кому из нас обратиться. Мне уже приводилось встречать эту личность: почти ежедневно он проходил по нашей улице с угодливым выражением лица.

«Это, наверно, Бускерос», – подумал я и, подойдя к нему, спросил, не он ли тот мудрый и расторопный друг, советам которого Лопес Суарес так многим обязан.

– Да, это я, – ответил он, – и я, несомненно, устроил бы эту свадьбу, если бы не ночь и гроза, из-за которых я принял дом кавалера Толедо за дом банкира Моро. Но не надо опережать событий, герцог Санта-Маура еще не стал мужем прекрасной Инессы и никогда им не станет, не будь я доном Роке. А здесь я задержался, милый друг, чтобы выбрать среди вас малого потолковей, который смог бы выполнять мои поручения: поскольку ты знаешь историю Суареса, я остановлю свой выбор на тебе. Благодарю небо, что перед тобой открывается такая блестящая карьера. Поначалу твоя служба покажется тебе не слишком выгодной, ибо ты не будешь получать ни жалованья, ни одежды; что же касается твоего пропитания, то это меня тоже несколько не интересует, потому что в противном случае я доказал бы, что не верю в провидение, которое печется равно как о птенцах воронов, так и о потомстве могучих орлов.

– В таком случае, – отвечал я, – мне непонятно, какие же выгоды сулит мне служба у тебя?

– Ты поймешь это, – заметил Бускерос, – когда начнешь выполнять мои многочисленные поручения. Служа мне, ты будешь частенько бывать в передних вельмож, которые в будущем смогут оказать тебе покровительство. Наконец, я не запрещаю тебе в свободное время просить милостыню. Итак, еще раз возблаговари небо за счастливый жребий, а пока следуй за мной в лавку цирюльника, где мы сможем с тобой поговорить обстоятельней.

У цирюльника Бускерос в следующих словах перечислил поручения, которые я должен был выполнить:

– Друг мой, я видел, как, играя в карты, ты положил себе в карман несколько полуреалов. Возьми из этих денег две монеты и купи полпинтовую бутылку, затем пойди с ней на улицу Толедо к дону Фелипе де Тинтеро. Скажи ему, что дон Бускерос просит чернил для одного знакомого поэта. Наполнив бутылку, отправляйся к лавке бакалейщика, что на

⁴⁶ По версии, опубликованной в парижском издании 1813 г.

углу площади Севада. Там на чердаке ты найдешь дона Раньюса Агудеса. Узнать его легко, так как он носит один чулок белый, другой черный, одну туфлю красную, другую зеленую, а на голове у него вместо шапки, возможно, будут штаны. Отдай ему чернила и скажи, что я велю написать сатиру на грандов, вступающих в неравный брак; пусть напишет на двух языках: на испанском и итальянском. Оттуда возвращайся на улицу Толедо и войди в дом, который отделяет от дома Тинтеро узкий переулок. Постарайся разузнать, не собираются ли постояльцы оттуда переезжать; дело в том, что я снял этот дом и собираюсь поселить там свою родственницу, которая, надеюсь, выудит сеньора Тинтеро из его бессмертной чернильницы. Потом отправляйся к банкиру Моро. Поднимись на *cuarto principal*, то есть на второй этаж, спроси камердинера герцога Санта-Мауры и передай ему вот этот пакет, в который завернута лента. После этого иди в гостиницу «Под мальтийским крестом» и разведай, приготовлены ли комнаты для Гаспара Суареса, негоцианта из Кадиса. Оттуда как можно быстрее беги...

– Помилуйте, сеньор Бускерос, – вскричал я, – этих поручений мне хватит на целую неделю, не подвергайте мое усердие и ноги столь тяжкому испытанию.

– Желаю удачи, – сказал Бускерос. – Я хотел поручить тебе еще кое-какие дела. Ну, ладно, оставим это на завтра. Кстати, если у герцога Санта-Мауры спросят, кто ты, скажи, что тебя прислали из дворца Авилы.

– Сеньор Бускерос, – спросил я, – не кажется ли тебе, что у меня могут быть неприятности, если я буду так беспардонно бросаться знаменитыми именами?

– Бесспорно, – заверил меня мой новый патрон, – бесспорно, тебя могут поколотить; но нет худа без добра, и выгоды, которые ты от этого получишь, вознаградят тебя за некоторые неудобства. Итак, мой друг, за дело, не теряя даром времени!

Быть может, я отказался бы от чести служить дону Бускеросу, но любопытство мое было возбуждено тем, что он рассказал о моем отце и о своей родственнице, которая собиралась выудить его из чернильницы. Еще мне хотелось узнать, каким образом собирается Бускерос помешать герцогу Санта-Мауре жениться на прекрасной Инессе. Поэтому, купив бутылку, я пошел на улицу Толедо. Когда я оказался перед домом моего отца, меня бросило в дрожь, и я не мог сделать ни шагу вперед. Но тут на балконе появился дон Тинтеро и, увидев у меня в руке бутылку, кивнул, чтобы я вошел. Когда я поднимался по лестнице, сердце стучало у меня в груди, как молот. Наконец я отворил дверь и оказался лицом к лицу с отцом. Я чуть было не бросился к его ногам. Но мой ангел-хранитель уберег меня от этого, – и без того мой взволнованный вид возбудил подозрительность отца и явно его встревожил. Он взял бутылку, наполнил ее чернилами, не спрашивая даже, для кого они предназначаются, и открыл дверь, ясно давая понять, что задерживаться здесь незачем. И все же я успел бросить взгляд на шкаф, откуда упал в чан с чернилами, и на весло, которым тетка разбила чан и спасла мне жизнь. Я не мог справиться с волнением и, схватив руку отца, горячо поцеловал ее. Он испугался, вытолкнул меня за дверь и тотчас запер ее.

Хотя Бускерос велел мне сначала отнести бутылку Агудесу, а потом вернуться на улицу Толедо и разведать планы соседей моего отца, я, не видя в том большой беды, направился сперва к соседнему дому. Жильцы уже съезжали с квартиры, и я решил внимательно следить за будущими постояльцами.

Затем я побежал на площадь Севада, легко нашел дом бакалейщика, но к самому поэту добраться было много трудней. Я долго карабкался по черепицам, перелезал через водосточные желоба и навесы. Наконец, очутившись подле какого-то оконца, увидел фигуру, еще более курьезную, чем описывал Бускерос. Агудес, казалось, был во власти божественного вдохновения, и, увидев меня, он обратился ко мне с такими стихами:

О смертный, на пути своей воздушной колесницы
Ты топчешь шифера лазурь с кармином черепицы
И крыши острые коньки, что в небе из сапфира.
Быть может, принесло тебя дыхание Зефира?

Что привело тебя ко мне?

Я отвечал ему:

Я, бедный невежда,
Тебе, Агудес, чернила принес.

Поэт продолжал:

О, дай мне эту жидкость, чей секрет
В том, что в ней сталь свой растворила цвет,
А ядрышко чернильного ореха,
Смешавшись с шумной влагой Ипокрены,
В душе моей тотчас находит эхо
И пробуждает в ней восторг священный.

– Сеньор Агудес, – сказал я, – твоя похвала, несомненно, доставила бы огромную радость сеньору Тинтеро, который их изготавливает. Но скажи, сеньор, не мог ли бы ты говорить прозой: я привык именно к этому способу выражения мыслей.

– А я, мой друг, – ответил поэт, – никогда к нему не привыкну. Больше того, я избегаю общения с людьми из-за их пошлой и низменной манеры выражаться. Всегда, прежде чем написать стихотворение, я долгое время питаю свою душу поэтическими образами и разговорами сам с собой словами звучными, исполненными гармонии. Если сами по себе они не таковы, то становятся поэтичными, когда я их соединяю между собой, творя как бы музыку души. Благодаря этой способности, я создал совершенно новый род поэзии. До этого ее язык был ограничен жалким количеством выражений, считавшихся возвышенными. Я ввел в поэзию все слова из нашего языка. В стихах, которые ты только что услышал, я упомянул черепицу, шифер, чернильный орех.

– Конечно, тебе никто не запрещает пользоваться в стихах любыми словами, но скажи, становятся ли они от этого лучше?

– Лучших стихов вообще не существует; они пользуются огромной популярностью. Моя поэзия – универсальный инструмент, особенно описательная, которую я, собственно говоря, создал. Она служит для описания предметов, которые не стоят того, чтобы на них обращали внимание.

– Описывай, сеньор Агудес, все, что тебе угодно, но скажи, пожалуйста, написал ли ты обещанную дону Бускеросу сатиру?

– В хорошую погоду я сатиры не пишу. А вот когда настанут ненастные дни, пойдут дожди и небо затянется тучами, тогда приходи за сатирой.

Когда с дождями осень наступает
И душу и стихи тоскою наполняет,
Я ненавижу сам себя, клянусь я
Друзей и близких; горько негодуя,
Я в коготь, сажу погружаю кисти,
Изображаю торжество корысти
И изливаю свой безмерный гнев
На смрадный мир, сей чавкающий хлев.
Но стоит с колесницы быстрой Фебу
Разлить потоки золота по небу,
Нисходит снова Бог к душе поэта,
И, грязь презрев, она стремится к свету.

Последняя рифма не совсем удачна, на для импровизации сойдет.

– Уверяю тебя, твои стихи безупречны и во многом поучительны; теперь я скажу дону Бускеросу, что ты пишешь сатиры только в плохую погоду. Но как я проникну к тебе, когда приду за сатирой? Сегодня я взобрался по единственной лестнице в доме, которая привела меня прямо на крышу.

– Друг мой, в глубине двора есть приставная лестница, по ней легко попасть на чердак, где соседний погонщик мулов хранит солому и ячмень; таким путем можно попасть ко мне, конечно, когда чердак не набит битком сеном. В последнее время этот путь как раз недоступен, поэтому еду мне подают через окошко, в котором ты меня видишь.

– Наверно, ты очень страдаешь от неудобства подобного жилья?

– Страдаю? Разве можно страдать, когда твоими стихами восхищается двор и весь город только о них и говорит.

– Думаю, что в городе говорят еще и о своих собственных делах.

– Само собой разумеется, но тем не менее мои стихи – источник всех разговоров, их беспрестанно повторяют, вспоминают отдельные строчки, которые сразу же становятся пословицами. Отсюда видна лавка книгопродавца Морено: люди приходят туда, чтобы купить мои творения.

– Не стану с тобой спорить, однако думаю, что, когда ты пишешь сатиры, здесь не очень сухо.

– Когда льет с одной стороны, я перехожу на другую, но чаще всего я вообще не обращаю на это внимания. А теперь оставь меня, пожалуйста, я устал от разговора прозой.

Я покинул поэта и отправился к банкиру Моро. Поднялся на второй этаж и спросил камердинера Санта-Мауры. Паренек моих лет, служивший здесь на посылках, направил меня к одному лакею, тот к другому, наконец я попал к камердинеру, который, к моему великому удивлению, провел меня к герцогу, занятому своим туалетом. Я разглядел его сквозь облако пудры; он смотрелся в зеркало, а перед ним лежали разноцветные банты.

– Мальчуган, – произнес он резко, – если ты не скажешь, кто тебя прислал и дал этот пакет, тебя высекут.

У меня душа ушла в пятки, и я сказал, что пришел из дворца Авилы, где живу вместе с кухонными мальчишками. Герцог бросил на камердинера многозначительный взгляд и отпустил меня, дав несколько монет.

Теперь мне оставалось лишь побывать на постоялом дворе «Под мальтийским крестом». Гаспар Суарес уже приехал из Кадиса и разузнал все о своем сыне. Ему рассказали, что Лопес дрался на дуэли с одним дворянином, с которым ежедневно обедал, что теперь этот дворянин поселился у него, свел его с подозрительными женщинами и одна из них выбросила его из окна своего дома.

Эти известия, наполовину правдивые, наполовину вымышленные, были для Суареса тяжелым ударом; он закрылся у себя и приказал никого не впускать. Представители торговых фирм, с которыми он имел деловые отношения, приезжали предлагать свои услуги, но не были приняты.

После этого я отправился к Бускеросу, который назначил мне свидание в винной лавке напротив цирюльника, и отчитался в своих действиях. Он спросил, откуда мне известно о приключениях Суареса. Я ответил, что мне рассказал обо всем сам Лопес. Поскольку Бускерос имел весьма смутное представление о семье Суаресов и ее соперничестве с домом Моро, я рассказал ему обо всем довольно подробно. Он выслушал меня внимательно и сказал:

– Мы должны обдумать новый план действий, он будет состоять из двух частей. Сначала нужно посорить Санта-Мауру с семьей Моро, а затем помирить Моро с Суаресами.

Что касается первой части этого плана, то она далеко продвинулась вперед. Но прежде, чем объяснить тебе все это, я должен остановиться на некоторых обстоятельствах, связанных с родом Авилов.

Нынешний герцог Авила в молодости был одним из самых блестящих придворных,

удостоенных внимания и даже дружбы короля. Редко бывает, чтобы юноша не возгордился своими преимуществами, и герцог не был исключением из общего правила. Он считал себя выше грандов, которые были ему ровней, и вознамерился породниться с монархом.

Тут Бускерос прервал свой рассказ и воскликнул:

– Маленький попрошайка, как это случилось, что я снизошел до того, чтобы рассказывать тебе о вещах, которые не должны касаться слуха людей низшего сословия? Ведь ты небось и с дворянами-то никогда не был знаком.

– Я не знал, уважаемый маэстро, – отвечал я, – что должен доказывать свое право на то доверие, которым ты меня удостаиваешь. Но, даже не обращаясь к моему генеалогическому дереву, ты с легкостью убедишься, что я получил образование, какое подобает юноше из благородной семьи; из этого ты можешь заключить, что если я стал нищим, то виной тому не мое происхождение, а превратности судьбы.

– Превосходно, – заключил Бускерос, – да и твоя манера выражаться отличается от простонародной. Но скажи мне, кто ты, да поживее.

Я принял серьезный и даже удрученный вид и сказал:

– Ты мой покровитель и можешь, если захочешь, заставить меня говорить; но речь идет о трибунале столь же строгом, сколь священном...

– Не желаю ничего больше слышать, – прервал меня Бускерос, – и не хотел бы иметь ничего общего с трибуналом, который ты помянул. Итак, расскажу тебе все, что знаю об Авилах; охраняя свои тайны, ты будешь беречь и мои.

Удачливый Авила, гордый своими успехами и благосклонностью короля, задумал с ним породниться. Инфанта Беатриса выделялась среди своих сестер приятной манерой держаться, а также приветливым взглядом, говорившим о чувствительном сердце. Авила сумел пристроить к ней свою родственницу, которая пользовалась его полным доверием. Дерзкий замысел молодого придворного заключался в том, чтобы тайно обвенчаться с инфантой, но с объявлением подождать, когда монарх будет к нему еще милостивее. Насколько Авила преуспел в своих планах, неизвестно. Два года это оставалось тайной; тем временем Авила старался отстранить от власти Оливареса, но безуспешно. Более того, министр отчасти проник в его тайну. Авила был арестован, заключен в Сеговийскую башню, а вскоре после этого изгнан. Ему обещали прощение, если он женится на ком-нибудь другом; он отказался. Из этого заключили, что он был тайно обвенчан с инфантой. Хотели было арестовать родственницу Авилы, но побоялись скандала, – это могло бы запятнать честь королевского дома.

Инфанта вскоре умерла, сраженная горем. Авила, стремясь вернуться из изгнания, решил жениться на молодой Скара, племяннице Оливареса. От этого брака родилась дочь, которую он осмелился назвать Беатрисой, что было прозрачным намеком на его отношения с инфантой. Эта дерзость льстила его самолюбию; казалось, он боялся, что его роман забудется. Дон Луис де Гаро, наследник Оливареса, считал, что тайная связь существовала и есть якобы даже плоды этой связи. Предпринятые розыски ни к чему не привели.

Герцогиня Авила умерла; герцог поместил свою дочь в один из брюссельских монастырей, где она была отдана на попечение своей тетке, герцогини де Бофор. Она получила несколько необычное воспитание, скорее соответствующее нашему полу.

Беатриса шесть месяцев назад вернулась в Мадрид. Она необычайно красива, но в то же время непомерно надменна и, кажется, не расположена к замужеству. Она считает, что, будучи единственной наследницей, не обязательно должна выходить замуж и вправе жить независимо. Герцог укрепляет дочь в этих убеждениях. Старые придворные, хранящие память о прошлом, склоняются к мнению, что герцог был женат на инфанте и у них был сын, которого герцог рассчитывал признать. Но они осмотнительно молчат, и если я об этом осведомлен, то лишь благодаря кое-каким связям с дворцом Авилы.

Герцогиня Авила не выйдет замуж. Гордость ее настолько непомерна, что, я думаю, никто в Испании не осмелится просить ее руки. Но я рассчитываю на тщеславие герцога

Санта-Мауры и надеюсь убедить его, что Авила влюблена в него⁴⁷.

Послушай, как я стал осуществлять свои замыслы. Ты знаешь, что теперь в моде большие банты, которые женщины носят в волосах, на рукавах, на юбках. Модницы выписывают их из Парижа, Неаполя или Флоренции и ревниво наблюдают за тем, чтобы ни у кого не было лент того же рисунка.

Герцог Санта-Маура был принят при дворе в прошлое воскресенье; в тот же день вечером во дворце состоялся бал. Герцог отличается благородной внешностью, грациозно танцует, к тому же, как чужеземец, появившийся там впервые, он привлек к себе внимание всех красавиц. Казалось, все выразили ему свое благоволение. Но герцог был увлечен лишь одной гордой Беатрисой, которая отвечала ему высокомерным презрением. Герцог посетовал на это некоторым придворным и даже позволил себе пошутить насчет неприступности испанских дам.

В тот же вечер паж, делая вид, что подает лимонад, сунул ему в руку записку со следующими словами: «Не теряй отваги». Подпись отсутствовала, но к записке был приложен кусочек зелено-лиловой ленты, украшавшей в тот вечер наряд Беатрисы. Тогда же герцогине Авиле передали, что неаполитанский сеньор огорчен холодным приемом. Боясь прослыть невежливой, она сказала герцогу несколько любезных слов. С этого момента неаполитанец уже не сомневался в том, что кусочек ленты заменял подпись в записке. Он вернулся домой весьма довольный собой, а прежние замыслы, которые казались ему столь привлекательными по приезде в Мадрид, потеряли для него всякую прелесть.

Назавтра, во время завтрака со своим будущим тестем, Санта-Маура заговорил о герцогине Авиле. Моро сообщил, что эта дама, получившая воспитание во Фландрии, испытывает некоторую неприязнь к Испании и испанцам. По крайней мере, он лишь этим объяснял себе ее беспримерную гордость и нежелание выходить замуж. Моро высказал предположение, что герцогиня скорее всего выйдет замуж за иностранца. Простодушный банкир не подозревал, что своими словами расстраивает свадьбу, которая была ему весьма по сердцу. А Санта-Маура в самом деле решил, что располагает достаточно вескими доказательствами того, что Беатриса отдает предпочтение чужеземцам перед испанцами.

В тот же день утром герцог получил бумагу, сложенную как письмо, но содержащую лишь кусочек оранжево-лиловой ленты. Вечером в опере на герцогине были банты того же цвета.

– Надеюсь, сеньор попрошайка, – добавил Бускерос, – у тебя хватит ума догадаться, в чем суть интриги. Так вот знай, что камеристка герцогини, чьим особым расположением я пользуюсь, каждое утро присылает мне образчик ленты, которая будет на ее госпоже в этот день. В письме, которое ты отнес сегодня, была лента и известие о встрече у французского посла Тертуллия; Беатриса, несомненно, будет любезна с герцогом, так как сегодня утром она получила письмо от герцогини Осуна, дочери вице-короля Неаполя, в котором та много пишет о нем. Не может быть, чтобы между ними не завязалась беседа, а это не уйдет от моего внимания, поскольку посол Франции разрешил мне бывать на его приемах.

По правде говоря, я не принадлежу к числу наиболее знатных гостей, но слух у меня, слава богу, неплохой, и я слышу, что говорят в другом конце зала. Пожалуй, на сегодня хватит; ты, наверно, изрядно проголодался, и я не запрещаю тебе пойти пообедать.

Я пошел к кавалеру Толедо; у него была сеньора Ускарис, он отослал своих слуг, и за обедом прислуживал я. Когда дамы удалились, я рассказал ему об интриге, сотканной Бускеросом, чтобы поссорить Санта-Мауру с семейством Моро. История эта позабавила кавалера, и он обещал помочь нам; имея такого союзника, можно было не сомневаться в успехе планов Бускероса.

Кавалер Толедо был одним из самых именитых гостей французского посла. Он вступил в беседу с неприступной Авилей, и та отвечала ему с обычным своим высокомерием. Но

⁴⁷ в Испании принято называть знатных дам по фамилии; обычно говорят: Альба, Санта-Крус (прим авт.)

Толедо был наделен таким неотразимым обаянием, что герцогиня даже несколько раз улыбнулась. Тогда он заговорил с ней о Санта-Мауре. Беатриса выразила желание познакомиться с герцогом и даже несколько оживилась. Необычное поведение герцогини привлекло к себе внимание. Несколько придворных поздравили Санта-Мауру со столь блистательной победой, и он окончательно потерял голову; он уже видел себя супругом Беатрисы. Вернувшись домой, он подсчитал, насколько наследство Авилов превосходит приданое Инессы Моро, и с этого времени не скрывал своего пренебрежения к семье невесты.

На другой день утром кавалер Толедо позвал к себе Бускероса, для которого этот визит был великой честью. Решили послать герцогу письмо от Беатрисы, а вместо подписи приложить кусочек ленты. Подобная проделка ни у кого не вызывала угрызений совести. Письмо было загадочное: недоговоренность, намеки на какие-то трудности, а в конце назначалось свидание у герцога Икаса. У Санта-Мауры нельзя было отнять остроумия: вместо ответа он пунктуально явился на свидание. На этот раз Беатриса снова была надменна и неприступна, что могло расстроить все наши планы, но кавалер Толедо отвел Санта-Мауру в сторону и доверительно сообщил ему, будто Беатриса поссорилась со своим отцом, который во что бы то ни стало хочет выдать ее за испанца. Санта-Маура окончательно уверовал, что он любим, и ничто уже не могло омрачить его радости.

Мы продолжали переписку с нашим легковерным неаполитанцем; мнимые письма Беатрисы становились все многозначительнее, и вскоре из них можно было понять, что развязка близка. Но одновременно выражалось недоумение, почему Санта-Маура продолжает жить в доме Моро. Герцог и сам тяготился этим, но не знал, как порвать знакомство.

Однажды Санта-Маура вместо обычного письма получил длинное стихотворение под названием: «Сатира на грандов, вступающих в неравные браки». Начиналось оно так:

О, болот пактолийских ничтожные гады,
Хлынуть в сферы Эола вы были бы рады!
Но напрасно вы будете к небу стремиться,
Не дано вам с богами вовек породниться!
Вы забыли, глупцы, о судьбе Салмоней:
Он богам подражал и погиб, пламенея, —
Наглеца сам Юпитер, досадой исполнен,
Ниспроверг с колесницы ударами молний.

Сатира, как видно из этих строк, метила не столько в грандов, совершающих мезальянсы, сколько в богачей, которые стремились породниться со знатью. Творение было не плохим, не хорошим, как все, что выходило из-под пера Агудеса, но произвело ожидаемый эффект.

Герцог Санта-Маура не без злорадства прочел эту сатиру за обедом у Моро. Когда все с возмущением встали и удалились в другую комнату, герцог, не теряя времени на объяснения, велел запрягать лошадей и в тот же день переехал в гостиницу. На следующий день весь город узнал о случившемся. Мнимая Беатриса написала письмо, более нежное, чем обычно, и разрешила Санта-Мауре официально попросить ее руки. Что он и не замедлил сделать, но отец Беатрисы отказал ему, даже не сообщив об этом дочери. Он избавил тем самым неаполитанца от унижения и несколько уменьшил его сожаление об утрате Инессы.

Теперь оставалось примирить Суаресов с Моро. Произошло это следующим образом. Гаспар Суарес, разгневанный поведением сына, долго жил в гостинице затворником; наконец он решился выйти в город. Чтобы немного развлечься, он зашел в лавку виноторговца, которая находится около Ворот солнца. За одним из столиков сидели и оживленно беседовали между собой несколько мужчин, он подсел к ним и с видимым удовольствием прислушивался к чужому разговору, сам не проронив при этом ни слова. Это

было не очень вежливо и свидетельствовало о том, что у Суареса в Мадриде не было знакомых. В другой раз наш негодник сел рядом с двумя мужчинами, один из которых сказал:

– Я утверждаю, сеньор, что ни один торговый дом в Испании не может сравниться с домом Моро; утверждаю это с полным основанием, так как просматривал их торговые книги начиная с тысяча пятьсот восьмидесятого года, в которых записаны все деловые сделки за сто лет.

– Сеньор, – отвечал другой собеседник, – ты не станешь, конечно, отрицать, что Мадрид по своему значению уступает Кадису и торговля с Новым Светом позволяет заключать сделки куда более выгодные, чем мелкие денежные операции в столице. Поэтому я полагаю, что первый в Кадисе дом Суаресов достоин большего уважения, чем первый в Мадриде дом братьев Моро.

Поскольку это было сказано довольно громко, кое-кто из находившихся в лавке бездельников подсел к столу спорщиков. Суарес, с любопытством ожидавший продолжения беседы, отодвинулся к стене, чтобы лучше слышать и не быть на виду.

Тогда первый собеседник, еще больше повысив голос, сказал:

– Сеньор, я уже имел честь сообщить тебе, что видел книги Моро с тысяча пятьсот восьмидесятого года; история дома Суаресов также мне известна. Иньиго – тот, который, избородив немало морей, основал в Кадисе торговый дом и в тысяча шестьсот втором году посмел выдать Моро необеспеченный вексель. Подобный поступок мог бы погубить Суаресов, но Моро великодушно замяли это дело.

Возмущенный Суарес хотел было ему возразить, но тот продолжал:

– Примерно с тысяча шестьсот двенадцатого года Суаресы пустили в оборот слитки серебра одной и той же пробы, но неравноценные по стоимости, и Моро установили это при свидетелях. И снова, вместо того чтобы погубить Суаресов, благородно простили им.

Суарес с трудом сдержал негодование, а рассказчик тем временем продолжал:

– Мало того, Гаспар Суарес, не располагавший достаточным капиталом для торговли с Филиппинами, сумел войти в доверие к дядюшке Моро и одолжил у него миллион. Чтобы получить обратно этот злосчастный миллион, Моро вынуждены были подать в суд, и процесс, кажется, до сих пор еще не закончен.

Гаспар Суарес, не помня себя от гнева, готов уже был взорваться, когда какой-то незнакомец, обращаясь к защитнику братьев Моро, сказал:

– Сеньор, заявляю тебе, что в твоём рассказе нет ни слова правды. Вексель Иньиго Суареса имел обеспечение в Антверпене, и братья Моро не имели права опротестовывать его. Их письмо с извинениями находится в конторе Суаресов, есть там и другое письмо, относительно слитков; наконец, судебный процесс тоже представлен тобой в ложном свете, так как его начали не Моро, а Суаресы, которые хотели заставить Моро взять не одолженный у них миллион, а два миллиона чистой прибыли, полученной в последней экспедиции на Филиппины. Твой собеседник был прав, утверждая, что Суаресы – первые негодники в Испании, это так же бесспорно, как то, что у тебя, сеньор, язык без костей.

Сторонник братьев Моро малодушно струсил и поспешил ретироваться. Гаспар Суарес счел своим долгом выразить признательность своему защитнику; он подошел к нему и как можно любезней предложил прогуляться по Прадо, незнакомец согласился. Когда они присели на скамейку, Суарес обратился к новому знакомому с такими словами:

– Сеньор, твоя речь сделала меня твоим должником, ты это поймешь, узнав, что я тот самый Гаспар Суарес, глава торгового дома, которого ты отважно защищал от низкого клеветника. При этом я не мог не оценить, что ты хорошо разбираешься в торговой жизни Кадиса и в совершенстве знаешь историю моего дома. Ты, несомненно, искушенный негодник, поэтому прошу тебя, назови свое имя.

Человек, к которому обращался Суарес, был не кто иной, как Бускерос. Он решил пока сохранить в тайне свое настоящее имя и назвался Роке Мораредо.

– Прости, сеньор Мораредо, – сказал Суарес, – но твое имя не очень известно в

торговых кругах. По-видимому, обстоятельства еще не позволили тебе заключить сделки, соразмерные твоим талантам и достоинствам. Я предлагаю тебе участие в нескольких моих предприятиях, а чтобы ты не сомневался в искренности моих чувств, я поделюсь с тобой своими заботами. У меня единственный сын, на которого я возлагал большие надежды. Я отправил его в Мадрид, напутствовав тремя правилами: именоваться просто «Суаресом», а не «доном Суаресом», не иметь дела с дворянами и никогда не обнажать шпаги. А между тем, представь себе, сеньор, в гостинице его величают доном Лопесом, единственный его знакомый в Мадриде – дворянин Бускерос, с которым он дрался на дуэли. И в довершение всего его выбросили из окна! Такого не бывало ни с одним из Суаресов. Чтобы покарать непослушного и неблагодарного сына, я срочно решил жениться. Решение мое бесповоротно и окончательно. Мне нет еще сорока лет, и никто не осудит меня за подобное намерение. От будущей жены мне нужно лишь одно: она должна быть дочерью безупречно честного negociанта. Ты знаешь Мадрид, могу ли я рассчитывать на твою помощь в этом деле?

– Сеньор, – отвечал Бускерос, – я знаю дочь одного весьма почтенного купца. Она недавно отказала юноше знатного рода, так как стремится соединить свою жизнь с человеком, равным себе по положению. Отец в приступе гнева потребовал, чтобы она избрала себе мужа в течение недели и сразу же оставила родительский дом. Ты говоришь, сеньор, что тебе сорок, но на вид я не дал бы тебе больше тридцати. А теперь сходи в театр де ла Крус на пьесу «Горожанин из Гранады». После первых двух актов я зайду за тобой.

Гаспар Суарес отправился на «Горожанина из Гранады», и еще до того, как начался третий акт, он увидел своего нового друга. Бускерос вышел с ним из театра и повел по многочисленным улицам и переулкам, словно желая его запутать. Суарес хотел узнать имя девушки, но его проводник заметил, что подобный интерес нескромен, так как эта особа крайне заинтересована в том, чтобы все оставалось в тайне, если свадьба не состоится. Суарес согласился с этим доводом. После долгих блужданий они вышли на задворки какого-то большого дома, попали в конюшню, затем поднялись по темной лестнице и оказались в пустой комнате, освещенной несколькими светильниками. Тотчас же туда вошли две закутанные в покрывала дамы, и одна из них сказала:

– Сеньор Суарес, поверь мне, что этот поступок вызван не природной смелостью, которой я не обладаю, а пустым тщеславием моего отца, который хочет меня выдать замуж за знатного сеньора. Светские дамы получают воспитание, соответствующее тому обществу, в котором они вращаются, но мне-то что там делать? Блеск светских салонов затмит скромный свет моего ума; я не найду счастье в этом мире и потеряю в ином. Я хотела бы выйти замуж за купца. Суаресов я уважаю и поэтому хочу с тобой познакомиться.

С этими словами она откинула покрывало, и Суарес, ослепленный ее красотой, опустился на одно колено, снял с руки дорогой перстень и подал его ей, не говоря ни слова.

В это мгновение боковая дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился юноша с обнаженной шпагой, за ним следовали лакеи с канделябрами.

– Я вижу, сеньор Суарес, – сказал вошедший, – ты собираешься сделать предложение донне Моро?

– Моро? – вскричал Суарес. – Я не хочу жениться на донне Моро!

– Уведите отсюда мою сестру, – приказал молодой человек. – Тебя же, сеньор Суарес, который волочится за девушкой из дома Моро без намерения жениться, я должен попросту выбросить в окно. Но мне дорога честь моего дома, поэтому сначала я выпровожу слуг, а потом мы с тобой выясним отношения.

Когда слуги вышли, молодой Моро сказал Суаресу:

– Сеньор, нас трое; дон Бускерос, который пришел с тобой, будет моим секундантом.

– Не знаю, кого ты называешь Бускеросом, – ответил Суарес, – это сеньор Мораредо.

– Не важно, – заметил юноша. – Ты старше меня, но раз ты можешь стоять на коленях перед моей сестрой, значит, и сразиться со мной можешь. Обнажай шпагу или прыгай в окно.

Суарес, как и следовало ожидать, предпочел драться, но искусство фехтования он знал

не лучше своего сына, поэтому тотчас же был ранен в руку. Увидев кровь, молодой Моро удалился. Бускерос перевязал носовым платком рану Суаресу и отвел его к хирургу, после чего они отправились в гостиницу. Там Суарес увидел своего сына, которого как раз в это время принесли на носилках. Встреча эта потрясла его до глубины души, но, не желая выдавать себя, он стал упрекать сына:

– Ах, Лопес, ведь я запрещал тебе якшаться с дворянами!

– Увы, отец мой, – отвечал Лопес, – я встречался лишь с одним дворянином, которого вижу подле тебя. И смею тебя уверить, что знакомство с ним было вынужденным.

– Во всяком случае, ты не должен был драться с ним на дуэли; я запретил тебе обнажать шпагу.

– Не забывай, сеньор, – вступился Бускерос, – что ты сам ранен в руку.

– Я бы все тебе простил, – продолжал Суарес-отец, – если бы не то, что тебя выбросили из окна.

– Увы, – заметил Бускерос, – эта неприятность только что могла произойти и с тобой.

При этих словах Суарес сильно смутился. Но в это мгновение ему вручили письмо такого содержания:

«Сеньор Гаспар Суарес!

Пишу тебе от имени моего сына, Эстебана Моро, который нижайше просит у тебя прощения. Увидев тебя с Инессой в помещении наших конюхов, он счел своим долгом дать тебе понять, что не одобряет подобного поведения.

Незадолго до этого твой сын Лопес пытался проникнуть к Инессе через окно, но перепутал дом и, свалившись с лестницы, сломал себе ноги.

Подобные поступки могут навести на мысль, что вы задумали обесчестить нашу семью, и я имею полное право подать на тебя в суд, но предлагаю тебе другой выход: между нами идет тяжба из-за двух миллионов пиастров, которые, по-твоему, принадлежат мне. Я приму их, но с условием, что добавлю к ним еще два миллиона и передам все это твоему сыну вместе с рукой моей дочери Инессы.

Твой сын оказал мне огромную услугу, расстроив брак Инессы с неким грандом, которому я из глупого тщеславия хотел отдать свою дочь. Кара, сеньор Суарес, всегда равна вине; твой сын оказал бы нам честь, сделав Инессе предложение, но он предпочел проникнуть к ней через окно. Его поведение, несомненно, было следствием той неприязни, которую ты питаешь к нам в течение многих лет и которая была вызвана ошибками посредников, что мы по мере наших сил старались исправить.

Отрекись, сеньор Суарес, от чувств, несовместимых с христианским милосердием; они могут навлечь на тебя кару господню на этом и на том свете.

Прошу тебя об этом как будущий тесть твоего сына и твой нижайший слуга.

Моро».

Прочтя письмо вслух, Суарес опустился в кресло, терзаемый противоречивыми чувствами, которые бушевали в его сердце.

Лопес, заметив состояние отца, собрал все свои силы и, невзирая на пронзительную боль, бросился со своих носилок к его ногам.

– Сын мой, – воскликнул Суарес, – зачем ты остановил свой выбор на девушке из семьи Моро?

– Вспомни, – прервал Бускерос, – что ты сам стоял на коленях перед нею.

– Прощаю тебя, – сказал Гаспар.

Нетрудно представить себе окончание этой истории. Лопеса Суареса в тот же вечер перенесли к его будущему тестю, и заботы Инессы немало способствовали его выздоровлению. Гаспар Суарес так и не смог полностью избавиться от предубеждения к дому Моро и вскоре после свадьбы сына возвратился в Кадис.

Лопес уже в течение пятнадцати дней был счастливым супругом Инессы и собирался поехать с ней в Кадис, где их с нетерпением ждал Гаспар Суарес.

Осуществив свой замысел, Бускерос взялся за другой, которому придавал большое значение. Он задумал женить моего отца на своей родственнице Гите Салес; красавица уже поселилась в соседнем доме в переулке. Я дал себе слово расстроить эту свадьбу.

Прежде всего я отправился к почтенному театинцу, брату Херонимо Сантосу, но монах наотрез отказался помочь мне по той причине, что он не имеет права вмешиваться в мирские дела, исключение он делает лишь в том случае, когда речь идет о примирении супругов или пресечении пороков, все остальное его не касается.

Предоставленный самому себе, я хотел заручиться поддержкой кавалера Толедо, но тогда мне пришлось бы сказать, кто я, а это было невозможно. Поэтому я ограничился лишь тем, что постарался удалить Бускероса от кавалера, рекомендуя последнему остерегаться его назойливости. Но дону Роке порой не изменяло чувство такта. Кавалер разрешил ему бывать у себя, иногда прислуживать, и Бускерос, дорожа этим, старался не злоупотреблять оказанным ему доверием.